

Е. Н. ЧИРИКОВ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Е.Н.
ЧИРИКОВ

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

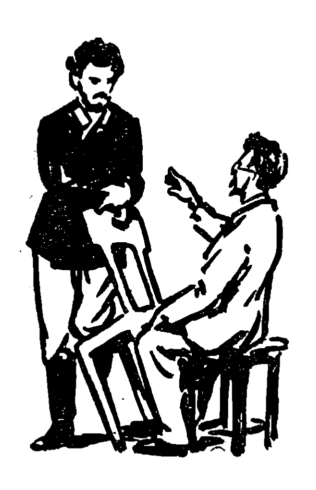






Е. Н. ЧИРИКОВ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва — 1961

Подготовка текста,
вступительная статья и примечания
Е. М. Сахаровой

Оформление художника
Ю. Казмичева

Е. Н. ЧИРИКОВ

(1864—1932)

(Очерк жизни и творчества)

Имя писателя Евгения Николаевича Чирикова мало известно большинству советских читателей, а между тем в конце XIX — начале XX века произведения Чирикова были очень популярны. Их с интересом читали в кругах демократической интеллигенции — и в столице, и в провинции, его пьесы шли на сценах многих театров — в том числе в Московском Художественном театре, а некоторые из них с успехом ставились и за границей. В период революции 1905 года Чириков был активным участником объединения писателей-реалистов, группировавшихся вокруг А. М. Горького и возглавляемого им издательства «Знание», которое играло в те годы прогрессивную роль.

Но Чириков, так же как и некоторые его товарищи по «Знанию», не сумел выйти за пределы расплывчатого мелкобуржуазного демократизма и тем более перейти на позиции революционного пролетариата. Этим объясняются его колебания в годы реакции, заблуждения во время первой мировой войны и, в конечном итоге, неприятие Великой Октябрьской революции и уход в лагерь эмиграции.

Е. Н. Чириков родился 24 июня 1864 года в Казани, в семье безземельного дворянина. Отец писателя — офицер в отставке, служил становым и помощником исправника в различных уездах Казанской и Симбирской губерний. Большая семья жила небогато.

Детство будущего писателя прошло в селах и уездных городах Поволжья, а товарищами его детских игр были обычно крестьянские ребятишки. Впоследствии Е. Н. Чириков вспоминал, что первыми его воспитателями, педагогами и наставниками были Волга, улица и общение с детворой всех классов и сословий, которые и дали ему «первые уроки равноправия и пренебрежения к узким рамкам сословности» [1].

Одиннадцати лет Чириков поступил в казанскую гимназию. В те годы в Казани среди интеллигенции и студенчества были сильно распространены народнические настроения, которые проникали и в гимназию. Много лет спустя, уже в эмиграции, Е. Н. Чириков вспоминал: «Время моего пребывания в гимназии — 1875—1883 годы — прошло под огромным воздействием идей народничества. Народническая революционность словно носилась тогда в воздухе, и уже в пятом классе гимназии мы все были «народниками», все, не исключая тех, кто никогда не жил в деревне и видел мужиков только на базаре в городе. Нелегально отпечатанные и распространяемые в гимназии студентами народнические брошюрки, стихи на революционные темы, отчеты о политических процессах приковывали наше внимание, фантазию, ум и чувство к революционному движению и его героям и героиням... В старших классах мы имели уже связи со студенческими тайными кружками и многие были «на побегушках» у революции: собирали деньги, прятали нелегальщину, сторожили от полицейских набегов тайные заседания кружков и т. д.»

Поступив в университет, Е. Н. Чириков сразу же примкнул к революционно настроенному студенчеству.

Горький, который наблюдал в эти годы казанских студентов, вспоминает в «Моих университетах»: «Жили (студенты. — *Е. С.*) в настроении забот о русском народе, в непрерывной тревоге о будущем России. Всегда возбужденные статьями газет, выводами только что прочитанных книг, событиями в жизни города и университета, они по вечерам сбегались в лавочку Деренкова со всех улиц Казани для яростных споров и тихого шепота по углам» [2]. Эта атмосфера целиком захватила и Чирикова. Именно в эти годы в лавке Деренкова Чириков впервые увидел Горького.

В 1887 году Николай Евграфович Федосеев организовал в Казани один из первых марксистских кружков в России. Чириков

---

[1] Цит. по кн.: С. А. Венгеров, Русская литература XX в., т. 2, М. 1915, стр. 71.

[2] А. М. Горький, Собрание сочинений, т. 13, М. 1951, стр. 535.

принадлежал к кругу тех студентов, которые поддерживали связи с Федосеевым[1]. С Федосеевым и членами его кружка Чирикова объединяло стремление бороться с социальной несправедливостью, протест против произвола властей.

В декабре 1887 года в Казанском университете произошли крупные волнения, вызванные репрессиями правительства против передового студенчества, ущемлением прав университетов. Как известно, в этих «беспорядках» активное участие принимал В. И. Ленин, исключенный за это из университета и высланный в село Кокушкино (Чириков об этих событиях и о своем участии в них вспоминает в рассказе «Судьба», написанном много лет спустя).

Через два дня после сходки в университете Чирикова арестовали в числе главных зачинщиков и выслали из Казани в Нижний-Новгород. В Нижнем Чириков остановился на квартире писателя Н. Е. Каронина-Петропавловского, с которым познакомился еще летом 1887 года и о котором на всю жизнь сохранил самые светлые воспоминания. Через несколько дней после его приезда в ночь с 14 на 15 декабря в квартире Каронина-Петропавловского был произведен обыск; Чирикова опять арестовали. Теперь его обвиняли не только в участии в «беспорядках» и «преступном сообществе», но также и в сочинении «Оды», оскорбляющей «очень высокое лицо» (это была сатирическая «Ода Александру III», которую Чириков читал на собрании народнической интеллигенции)[2]. Через два с половиной месяца Чирикова освободили за недостатком улик и отдали под надзор полиции на три года, с воспрещением жить во всех университетских городах и крупных центрах.

Начинается полоса скитаний в жизни Чирикова, вынужденного часто менять местожительства по не зависящим от него обстоятельствам. В 1888 году он живет в Царицыне, встречается там с Горьким и посещает вместе с ним собрания «неблагонадежных»; через несколько месяцев «волею администрации» переезжает в Астрахань, где происходит его встреча с Н. Г. Чернышевским, о

---

[1] Чириков хорошо знал студента Казанского ветеринарного института Н. А. Мотовилова, который оказал большое влияние на формирование взглядов Федосеева. Именно Чириков рекомендовал члену кружка Федосеева Г. М. Волкову обратиться к Мотовилову за программой для чтения. Об аресте Чирикова упоминает Федосеев в письме к Мотовилову в декабре 1887 г. (См. Н. Федосеев, Статьи и письма, М. 1958, стр. 32, а также материалы: «В казанском кружке», опубликованные Г. Е. Хаитом в журнале «Новый мир», 1958, № 4.)

[2] С. И. Мицкевич, Революционная Москва. 1888—1905. Гослитиздат, М. 1940, стр. 50.

которой Чириков впоследствии неоднократно вспоминал. Одно из таких воспоминаний очень колоритно рисует и облик молодого Чирикова, и значение Чернышевского для молодежи той эпохи: «Случилось мне тогда попасть в Астрахань, где в то время жил Николай Гаврилович Чернышевский, возвращенный из далекой Сибири... Велико было тогда среди молодежи обаяние имени Чернышевского, предтечи русского социализма. Чернышевский написал роман «Что делать?». Как не прийти к нему за советом и не спросить его, как теперь быть и что делать? как и где принести пользу своему народу?» Чернышевский вместо ответа рассказал о случае, происшедшем с ним в молодости, — когда он хотел помочь работнику, несущему вязанку дров, но сделал это так неумело, что лишь усложнил его работу. «Учиться надо, молодой человек!.. — сказал Чернышевский Чирикову, — прежде всего, а потом уже думать о пользе народа... А то случится вот так же, как со мной... Хотел добра, а сделал зло, хотел помочь, а заставил работать вдвое больше...» — заключил он, как бы предупреждая, что готовых решений и легких путей в жизни нет.

Вскоре после этого Чириков был опять арестован в связи с процессом молодых народовольцев, возглавляемых Сабунаевым[1], просидел полгода в Казанской тюрьме и был отдан на поруки матери.

Эти годы, прожитые под надзором полиции, когда жизнь на воле часто перебивалась арестами, когда трудности и нужду помогало переносить сознание неразрывных связей с единомышленниками, оказались самыми яркими и значительными в биографии писателя. К событиям этих лет Чириков будет обращаться на протяжении всей своей творческой жизни.

Печататься Чириков начал рано, еще в 1885 году его стихи публиковались в Казани в газете «Волжский вестник». Но днем, с которого Чириков стал считать себя писателем, было 7 января 1886 года, когда в том же «Волжском вестнике» появился его первый рассказ «Рыжий» — «очень трогательная мелодраматическая история с идейными нападками по адресу «сытых», как позднее охарактеризовал свое произведение писатель. Герой рассказа — маленький нищий, который, не выдержав голода, холода и побоев, умирает.

До 1894 года Чириков сотрудничает исключительно в провинциальной прессе, в тех городах, куда забрасывала его судьба, —

---

[1] М. В. Сабунаев в 1889—1890 гг. пытался возродить организацию «Народной воли», для чего создавал революционные группы в Москве, Ярославле, Костроме, Нижнем и других городах. Осенью 1890 г. Сабунаев и все члены его групп были арестованы. Это была последняя попытка возродить «Народную волю» как всероссийскую организацию.

в «Астраханском вестнике» и «Астраханском листке», в казанском «Волжском вестнике». Большим радостным событием явилось для Чирикова в 1894 году письмо от известного критика Н. К. Михайловского, редактора народнического журнала «Русское богатство». Михайловский писал, что посланный в «Русское богатство» и принятый к печати рассказ Чирикова — «Gaudeamus igitur» — понравился ему, и предлагал молодому писателю и в дальнейшем сотрудничать в журнале. «Надо знать, — вспоминал Чириков, — что значило в нашу пору для начинающих писателей попасть в толстый журнал, да получить еще благословение такого всесильного критика, каким был Михайловский! Мою радость можно было сравнить с чувством человека, который, долго блуждая по глухим грязным проселочным дорогам, неожиданно выехал вдруг на большую дорогу, с телеграфными столбами, с почтовыми станциями, с лихо мчавшимися тройками. Счетовод превратился наконец в настоящего писателя!..»

С 1894 года произведения Чирикова начинают периодически появляться и в других толстых журналах — «Мире божием», «Северном вестнике» и др.

В идейно-творческом росте писателя большое значение имело его пребывание в Самаре в середине 90-х годов. В Самаре Чириков входит в круг передовой интеллигенции, находит нужную, полезную и интересную для себя литературную среду. Он сотрудничает в «Самарской газете», а затем — в «Самарском вестнике», вокруг которого группировались в то время марксисты. И именно с этого момента, по свидетельству самого писателя, начался тот перелом во взглядах, который привел его вскоре к критической оценке народничества.

Поселившись в Самаре в одной квартире с братом своей жены, М. Г. Григорьевым, одним из первых русских марксистов, близко знавшим Федосеева и В. И. Ленина, Чириков получает возможность непосредственно наблюдать идейные столкновения марксистов и народников. В то время в Самаре находился Ленин, и это, несомненно, способствовало оживлению общественной жизни и активизации марксистов в их борьбе с народниками. Однако ни в этот период, ни позднее, во время сотрудничества в «Новом слове» и «Жизни», Чириков не стал революционным марксистом и соприкосновение его с идеями марксизма было весьма и весьма поверхностным.

В конце 80-х, в 90-х годах определились важнейшие особенности творчества Чирикова. Следуя традициям писателей-реалистов демократического направления 60—70-х годов — Н. Успенского, Решетникова, Левитова и др., — он пишет ряд рассказов о русской деревне, для которых характерно глубокое сочувствие мужику, правдивое изображение голодной, холодной, нищей деревни («Свинья»,

1888[1]; «В лесу», 1895; «Прогресс», 1896; «Хлеб везут», 1897 и др.). Задавленными нуждой, запуганными предстают в этих рассказах крестьяне, дошедшие до последней степени нищеты, не имеющие топлива, чтобы протопить промерзшие избы, питающиеся суррогатом хлеба, который не ест даже скотина.

Одно из наиболее значительных произведений Чирикова этих лет — «Танино счастье» (1901) — посвящено судьбе женщины из народа. В этой повести перед читателем проходит весь жизненный путь героини; вначале — молодой, привлекательной, сохранившей, несмотря на свое унизительное положение проститутки, способность к искреннему чувству; и в конце — больной, несчастной, всеми отвергнутой. В этом произведении писателю удалось создать яркий реалистический образ, показать, как условия жизни калечат человека.

Когда в 1905 году Горький задумал в издательстве «Знание» выпустить серию народных рассказов, он просил у Чирикова дать для этой серии «Танино счастье» (Чириков с сожалением ответил Горькому, что повесть «находится во владении Раппа»[2], харьковского издателя, который взялся «протащить» ее через цензуру и еще в 1901 году выпустил отдельным изданием).

Сильной стороной этих произведений Чирикова из народной жизни является реалистическое изображение темных сторон русской действительности того времени, глубокое сочувствие страдающему народу. Однако общественное значение их ослаблялось расплывчатостью положительных идеалов писателя, нечеткостью его позитивной программы. Этот же недостаток присущ и многим рассказам Чирикова, рисующим жизнь провинциальной интеллигенции. Он ограничивается в них изображением тусклого существования русских обывателей, засасывающей человека пошлости, мещанства, губящего все живое («Gaudeamus igitur», 1894; «Фауст», 1900 и др.).

Правда, писатель проявляет большой интерес ко всему тому, что в какой-то мере противостоит затхлому миру мещанства и пошлости. Чаще всего носителями протеста в творчестве Чирикова выступают женщины. Они обычно оказываются духовно богаче и сильнее мужчин, в них не угасает жажда иной, осмысленной жизни, они стремятся вырваться из тесной клетки мещанской среды («Роман в клетке», 1902).

Интерес писателя к сильным женским характерам, особенно сказался в тех произведениях, героинями которых являются женщины из народа («Именинница», 1900; «Марька из Ям», 1904). В этих

---

[1] В этом случае, как и в дальнейшем, указываются даты первой публикации.

[2] Архив А. М. Горького; письмо от 20 июля 1905 г. (ИМЛИ).

рассказах автор создает яркие, романтически окрашенные женские образы. В рассказе «Именинница» показан страстный протест человека против продажного мира собственников, стремление к чистой, достойной жизни. В трактовке образа героини рассказа, в изображении ее бунта Чириков приблизился к горьковскому пониманию жизни. Не случайно Горький высоко оценил «Именинницу», назвав ее «прекрасной», «чудесной вещью». В июне 1900 года Горький, находясь в Мануйловке, читал «Именинницу» местным мужикам, которых, как он сообщил Бунину, эта вещь тронула.

Однако ни в одном из своих произведений писатель не вывел героя, который вышел бы победителем из столкновения с действительностью. В одном из ранних рассказов «Студенты приехали» (1891) приехавшие на каникулы студенты, люди чистые, исполненные лучших побуждений, мечтают внести в провинциальное болото «новые идеи». Но взгляды их неопределенны, методы влияния на массу наивны, и в результате их культурнические поползновения кончаются крахом. Здесь Чириков пишет об этом еще с легким юмором. Но в целом ряде произведений, где показано, как мещанская среда подавляет, растворяет в себе даже тех людей, которые имели когда-то благородные стремления, мечтали о светлой жизни, начинают звучать скептические и безнадежные нотки («Gaudeamus igitur», «В лощине меж гор», «Капитуляция»).

На эту тему в 1913 году будет опубликован рассказ «Человек с прошлым» — о революционере, изменившем своим идеалам, который кончает тем, что выгодно женится, преуспевает в обществе и отказывается принять у себя старого товарища, вернувшегося из ссылки.

Но любимыми героями Чирикова на всем протяжении его творчества остаются неизменяющие своим взглядам представители демократической интеллигенции, обычно студенты, противостоящие и полицейскому режиму в стране, и окружающей их мещанской среде, всеми доступными им средствами протестующие против косности и произвола. И хотя протест их пассивен, а сами они бесконечно одиноки, подавлены своими неудачами, происходящими от незнания жизни, реальных условий борьбы, автор симпатизирует им, с явным сочувствием повествуя драматическую историю их жизни. Таков герой рассказа «Блудный сын» (1899) — исключенный из университета студент, который возвращается из ссылки в отчий дом. Между ним и обывателями города — стена отчуждения и непонимания. Будучи не в состоянии оставаться под одной крышей с людьми, чуждыми и враждебными ему по духу, он навсегда уезжает из отчего дома. На эту же тему написан рассказ «На поруках» (1904), сюжет которого развивается более напряженно, чем в «Блудном сыне», а

конфликт разрешается трагически; герой рассказа, осознавший бесплодность своих идеалов, в отчаянии кончает жизнь самоубийством.

Чириков рисует своих героев-неудачников с большой долей сочувствия. Это объясняется тем, что писатель, не видя опоры в народе, единственную положительную силу усматривал в протестантах-одиночках, которые, однако, в конечном итоге, сами признавали свое бессилие.

Образы «инвалидов» общественного движения вообще занимают в творчестве Чирикова большое место. Летопись их неудач наиболее полно дана в двух повестях конца 90-х годов — «Инвалиды» (1897) и «Чужестранцы» (1899). В этих произведениях Чириков одним из первых в русской литературе (одновременно с В. В. Вересаевым) отразил новые явления в общественной жизни России того периода, который характеризовался зарождением марксизма и его наступлением на народничество. В работе над повестями он в известной мере опирался на свои самарские впечатления.

Крюков, герой «Инвалидов», — интеллигент старого народнического толка, человек 70-х годов, вернувшийся из ссылки после многолетнего отсутствия. Он еще верит в сельскохозяйственную артель и мечтает избавить мужика от «кулака-мироеда». Непрактичный и наивный, как ребенок, он не замечает, что жизнь ушла вперед и доказала несостоятельность народнических идеалов. В спорах Крюкова с представителем нового политического направления — студентом-марксистом последний оказывается более стойким и практически зрелым. «Это светлая струя на сером фоне нашей жизни», — говорит о марксизме один из персонажей повести (в журнальной ее редакции). Крюков, показанный Чириковым как идейный инвалид, выглядит чужестранцем в родной стране. Растерявший единомышленников, неприспособленный к жизни, больной, он погибает, ничего не сделав для осуществления своих идеалов.

Повесть эта сильно задела народнических публицистов и послужила причиной разрыва Чирикова с народническим лагерем и его органом — «Русское богатство». Против Чирикова выступил лидер народничества — Н. К. Михайловский, упрекавший автора «Инвалидов» в том, что образ главного героя грубо тенденциозен, что Чириков не знает настоящих народников и не потрудился их изучить [1].

Однако упреки Михайловского, Скабичевского и других критиков были беспочвенны. Это отмечал еще Горький в письме к

---

[1] Н. К. Михайловский, Последние сочинения, т. 2, СПб., 1905, стр. 146—150.

[2] Архив А. М. Горького.

М. Е. Березину (февраль 1900 г.)[2]. Он писал, что не видит ничего обидного в чириковском толковании «инвалидов» и отмечал, что людей типа Крюкова он, Горький, «обижал» значительно больше. И действительно, образ центрального героя, хотя и нарисованный автором с легкой иронией, вызывает в конечном счете симпатию у читателей. Особенно подкупает то уважение, которое Крюков проявляет к взглядам своего идейного противника; он пишет перед смертью письмо студенту-марксисту с пожеланиями успеха на трудном поприще борьбы.

К «Инвалидам» по своему идейному содержанию примыкает повесть «Чужестранцы». Писатель рассказал здесь о жизни в провинциальном городе группы интеллигентов, связанных близостью мыслей и взглядов, стремлением противопоставить свои идеалы мещанской обывательской среде, помочь всему живому, мыслящему. Но, как и герои «На поруках» или «Блудного сына», они оторваны от народа, не знают жизни, и поэтому все их попытки воздействовать на окружающую среду кончаются неудачей, а сами они оказываются на положении чужестранцев в родной стране, никем не понятых, ни у кого не находящих опоры. История издания «чужестранцами» газеты, через которую они пытаются повлиять на окружающее общество, демонстрирует это с убедительнейшей наглядностью. Обыватель не понимал серьезных статей «с направлением», не мог оценить полемического задора, с которым авторы громили своих идейных противников. Газета теряла подписчиков и наконец разорила своих издателей. Хотя супруги Промотовы — инициаторы издания газеты — называют себя «марксистами», совершенно очевидно, что ничего общего с подлинными марксистами у них нет. Беспомощность и наивность, отсутствие какой-либо положительной программы, — вся деятельность супругов Промотовых напоминает попытки легальных марксистов воздействовать на массы при полном незнании подлинных интересов народа. Так, вероятно даже не ставя этой задачи, Чириков сумел показать, как нежизненны и по существу бесперспективны попытки легальных марксистов повлиять на ход общественной жизни.

«Чужестранцы» при своем появлении сразу же возбудили внимание читателей Это объяснялось прежде всего обостренным интересом интеллигенции к литературе злободневной, в которой она искала ответов на многие вопросы, мучавшие современников Чирикова. Горький. в письме к И. Груздеву от 29 октября 1935 года[1], вспоминая об этом, отмечал, что особенной популярностью произве-

---

[1] Архив А. М. Горького.

дения Чирикова пользовались среди оппозиционно настроенной провинциальной интеллигенции.

«Инвалиды» были напечатаны в «Новом слове», «Чужестранцы» — в «Жизни». Оба эти журнала в творческой биографии Чирикова сыграли положительную роль. Народническое «Новое слово», захиревшее и теряющее подписчиков, в марте 1897 года перешло в руки легальных марксистов. Одним из активных деятелей новой редакции стал В. А. Поссе. Новая редакция журнала печатала не только статьи легальных марксистов, но и направленные против либеральных народников статьи В. И. Ленина. Уже в декабре 1897 года «Новое слово» было закрыто специальным постановлением и декабрьская книжка его арестована.

В «Жизни» Чириков также сотрудничал в тот период существования журнала (1898—1901), когда редакцию возглавил В. А. Поссе. На его страницах шла полемика между легальными и революционными марксистами. В «Жизни» в это время опубликовал две свои работы В. И. Ленин — «Ответ г. П. Нежданову» и «Капитализм в сельском хозяйстве». Постоянным сотрудником журнала был А. М. Горький, напечатавший здесь «Фому Гордеева», «Кирилку», «О черте». На страницах «Жизни» была опубликована повесть А. П. Чехова «В овраге». «Жизнь» превратилась в лучший толстый журнал. «Недурной журнал! Беллетристика прямо хороша и даже лучше всех!» [1] — отмечал В. И. Ленин в апреле 1899 года.

Чириков в журнале «Жизнь», кроме «Чужестранцев», поместил уже упоминавшиеся выше рассказы «В лощине меж гор», «Фауст», «Именинницу» и публицистические очерки «Провинциальные картинки».

Рассказ «В лощине меж гор», в основе которого лежит анекдот о том, как земский врач не мог выехать к больному, так как лошади оказались заняты перевозкой борова земскому начальнику, вызвал одобрение Л. Н. Толстого: «Вот у вас в журнале... — говорил он Поссе, — появился, видимо, молодой писатель, Чириков, я его раньше не встречал. У него пробивается настоящий гоголевский юмор. С большим удовольствием прочел его рассказ «В лощине меж гор» [2].

Сотрудничество в «Жизни» сыграло плодотворную роль в развитии общественных настроений Чирикова. Большое влияние на писателя в этот период оказал А. М. Горький. Он принимает участие в литературной судьбе Чирикова, следит за его творческим ростом,

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 34, стр. 15.

[2] Цит. по книге: В. А. Поссе, Мой жизненный путь. ЗИФ, М. — Л. 1929, стр. 184.

рекомендует его произведения в те издания, которые считает полезными и где печатается сам.

После закрытия «Жизни» (в 1901 г.) Горький стремился создать такое издательство, вокруг которого можно было бы объединить идейно близких ему писателей демократического и реалистического направления, среди них не последнее место он отводил автору «Инвалидов».

В декабре 1901 года Горький в шутливой форме пишет Чирикову: «Ты, Андреев, я и Поссе — мы вчетвером могли бы здоровенный журналище создать, — как ты думаешь? Володя (Поссе.—*Е. С.*)— за кучера, в корню — изящный вороной беллетрист Леонидище (Андреев. — *Е. С.*), ты — правая пристяжная — на два фланга, и по беллетристике и по публицистике, а я бы — левая» [1].

Тогда же Горький выражает надежду на возможность объединения демократических писателей вокруг издательства «Знание», в котором ему принадлежала руководящая роль и где к этому времени уже начали выходить книги Чирикова и Андреева. С 1903 года издательство «Знание» начинает регулярно выпускать литературно-художественные сборники. «Мое мнение таково, — пишет Горький Н. Д. Телешову о содержании сборников, — не нужно гнаться за объемом и строго выбрать участников. Если сборник составится из работ: Чехова, Андреева, Куприна, Юшкевича, Телешова, Горького, Скитальца, Серафимовича, Бунина и Чирикова и если все эти лица постараются написать хорошие, крупные вещи, — это будет литературным событием» [2]. Все названные Горьким писатели явились активными участниками сборников (всего с 1903 по 1913 г. вышло 40 книг), сыгравших прогрессивную роль в организации демократических сил в стране в период подготовки и проведения революции 1905 года. В. И. Ленин отмечал, что это были «сборники, стремившиеся концентрировать лучшие силы художественной литературы» [3].

Деятельность Чирикова с 1901 года, с момента, когда в «Знании» начали выходить тома его рассказов, и до 1908 года связана с этим издательством.

В «Знании» выходит собрание сочинений Чирикова, а его новые, наиболее интересные произведения печатаются на страницах сборников. Так, во II сборнике за 1903 год был напечатан упоминавшийся уже рассказ «На поруках», о котором Горький сказал:

---

[1] А. М. Горький, Письма к писателям и И. П. Ладыжникову, Архив А. М. Горького, т. 7, М. 1959, стр. 34.

[2] А. М. Горький, Собрание сочинений, т. 28, М. 1954, стр. 282.

[3] В. И. Ленин, Сочинения, т. 34, стр. 380.

«Весьма недурно — и даже очень»[1]. Этот рассказ встретил большие трудности при прохождении через цензуру и только в результате усиленных хлопот К. П. Пятницкого, ведавшего делами «Знания», увидел свет, — причем, в урезанном виде. По требованию цензуры пришлось снять последние две главы, в которых рассказывалось о самоубийстве героя.

Одним из самых значительных произведений Чирикова начала 900-х годов явилась напечатанная накануне революции 1905 года пьеса «Евреи». В ней нашло отражение бурное предреволюционное настроение русского общества, острая борьба различных идейных лагерей. Пьеса имеет ярко выраженный социально-публицистический характер. И материал и сюжет пьесы помогли автору убедительно и остро раскрыть общественные противоречия, показать гнет и насилие самодержавного строя.

А. М. Горький проявлял большой интерес к работе Чирикова над «Евреями». «Думаю, что из намеченного тобою материала ты должен слепить крепкую отчетливую вещь»[2], — пишет он Чирикову. В августе 1903 года автор читает пьесу Горькому и Шаляпину, после чего сообщает Пятницкому: «Моя драма очень понравилась Алексею Максимовичу, и он хочет содействовать ее постановке и за границей и здесь»[3].

Отношение Горького к пьесе с наибольшей полнотой раскрывается в его письме к Пятницкому от 22 августа 1903 года: «А теперь — возрадуйтесь и возвеселитесь. Евгений Чириков написал пьесу «Евреи». Я вам скажу вот что — первый раз в русской литературе является произведение, так славно, метко, верно изображающее отношение к евреям... Евгений коснулся всего — и отношения русских к еврейству, взаимоотношения евреев социал-демократов, сионистов, ортодоксальных и ассимиляторов. И все это сделано — хорошо, очень хорошо! Пьеса заканчивается трагической картиной погрома, но и без этого она едва ли прошла бы в России даже сквозь общую цензуру. Возникает вопрос об издании ее в Германии...

Пьеса произведет огромный шум — это необходимо, это будет»[4].

Обращение Чирикова (как и других писателей-знаньевцев — Юшкевича, Айзмана) к жизни еврейской бедноты и, в связи с этим, протест против национального угнетения, имели большое прогрес-

---

[1] А. М. Горький, Письма к К. П. Пятницкому, Архив А. М. Горького, т. 4, М. 1954, стр. 142.

[2] А. М. Горький, Письма к писателям и И. П. Ладыжникову, Архив А. М. Горького, т. 7, М. 1959, стр. 44.

[3] Архив А. М. Горького.

[4] ЦГАЛИ (копия письма А. М. Горького).

сивное значение. Горький не ошибся — пьесу, боясь ее революционного воздействия, к постановке не разрешили, но в сокращенном виде «Евреев» после настойчивой борьбы с цензурой удалось опубликовать в сборнике пьес Чирикова, изданном «Знанием» в 1904 году. За границей же она шла на сцене театров Парижа, Лондона, Вены с большим успехом. В Германии пьеса впервые была поставлена русскими студентами и произвела огромное впечатление. Она входила в репертуар труппы известного русского актера П. Орленева, гастролировавшего по Европе (Орленев, по воспоминаниям современников, блестяще сыграл Нахмана). Об исключительном праве на постановку пьесы хлопотала В. Ф. Комиссаржевская.

Следует отметить, однако, что успех «Евреев» — пьесы в художественном отношении безусловно слабой (известный схематизм в обрисовке образов, статичность) — в те годы во многом определялся злободневностью ее проблематики.

Почти одновременно с «Евреями» была создана и другая, занимающая значительное место в творчестве Чирикова пьеса — «Иван Мироныч». Если в «Евреях» — в философско-публицистическом наполнении пьесы, в четкой социальной расстановке и ясной идейной позиции действующих лиц можно увидеть определенное влияние пьес Горького, то на «Иване Мироныче», несомненно, сказалось воздействие некоторых принципов чеховской драматургии. Известно, что Чириков очень любил Чехова. В «Иване Мироныче» и в написанной несколько ранее пьесе «На дворе во флигеле» (1902), Чириков берет близкую Чехову тему: он показывает мир мещанства и пошлости, в котором нет места живому чувству, свежей мысли, и раскрывает эту тему в морально-этическом, психологическом плане. Инспектор народных училищ Иван Мироныч — главный герой одноименной пьесы — представляет собой разновидность чеховского человека в футляре. Он угнетает весь дом, добиваясь, чтобы все в его семье, и в жизни вообще, шло по раз заведенному порядку. Этим тяготится и его молодая жена, стремящаяся к иной жизни, и дочь, всей душой сочувствующая мачехе, они тянутся к иным людям, симпатизируя проживающему в городе ссыльному интеллигенту, так непохожему на местных обывателей.

Правда, Чирикову не удалось достигнуть ни той глубины в обрисовке характеров, ни той силы обобщения, которая заложена в чеховских произведениях. Не было у Чирикова также способности подняться над изображаемой средой и над своими героями, которая отличает творчество Чехова.

Предреволюционные годы и 1905 год были вершиной творческого развития Чирикова. В 1905 году он создает произведения, отражающие революционные события в деревне. Аграрные волнения,

брожение среди крестьян показывали в своих произведениях многие знаньевцы — Серафимович, Муйжель, Скиталец, Тан, Гусев-Оренбургский. Чириков посвятил деревне периода революции драму «Мужики» и повесть «Мятежники». Писал он эти произведения по горячим следам событий, опираясь на личные, непосредственные впечатления. «Сегодня еду в Глухов (Черниг. губ.) на крестьянский процесс по разгрому Терещинских владений... Необходим материал для будущей пьесы», — пишет Чириков Пятницкому 2 сентября 1905 года [1]. В Черниговской губернии писатель провел почти месяц. 25 сентября 1905 года он сообщает Пятницкому: «Я только что вернулся из Глухова... Впечатления ужасны!.. В голове картины и сцены... Забеременел драмой... Если слажу — может выйти хорошая вещь, только боюсь, что пороху не хватит...» [2]

Учитывая общественный интерес к событиям в деревне, Чириков спешит быстрее закончить работу над пьесой «Мужики» и уже 11 ноября, сообщая Пятницкому об ее окончании, просит опубликовать как можно скорее: «Тема животрепещущая, а события бегут, как молонья... Прошу Вас написать мне, есть ли теперь возможность печатать» [3].

В повести «Мятежники», как и в «Мужиках», писатель раскрывает живущую в крестьянских массах мечту о земле и их ненависть к господам — и реакционным, и либеральным, и кающимся. Он показал в своей повести, как крестьяне, потеряв слепую веру в благодетельный манифест и надежду на милость царя, восстают, жгут усадьбы, поднимают руку на помещиков. К сильным местам повести следует отнести ее конец, рисующий страшную расправу с бунтовщиками. Но ограниченность демократизма Чирикова сказалась и здесь: признавая закономерность требований крестьян, их правоту, писатель испуган жестокостью бунта и, как он считает, бессмысленностью его. Не случайно в пьесе «Мужики» первой жертвой восстания падает сочувствующий крестьянам интеллигент, всей душой стремящийся помочь народу.

К произведениям, отражающим революционные события, относится и рассказ «Товарищ» (первоначальное название «В тюрьме»), опубликованный в XII книжке «Знания» за 1906 год. Он правдиво передает испуг реакции перед революцией, когда растерянная и озлобленная полиция подозревала в неблагонадежности всех и каждого. Однако, избранная писателем ситуация — арест по ошибке гене-

---

[1] Архив А. М. Горького.
[2] Там же.
[3] Там же.

рала и его смерть на допросе, — явилась анекдотической, надуманной и ослабляла социальное звучание рассказа.

И все же, несмотря на отмеченные идейно-художественные недостатки, Чирикову — в предреволюционные годы и в период революции 1905 года — удалось создать наиболее значительные в его творческом наследии произведения и, в меру своего таланта, подняться на быстрину знаменательных событий. 20 июля 1905 года в ответ на сообщение Горького о том, что в Петербурге предполагается издание новой газеты (первой легальной большевистской газеты «Новая жизнь») и революционно-сатирического журнала «Жупел», к сотрудничеству в которых Горький хотел привлечь Чирикова, последний пишет Горькому: «Газета — это очень приятно, и, конечно, прошу считать меня одним из «своих» сотрудников... «Жупел» — это еще лучше: язык чешется давно уже... Болтается «язык», а руки ни к чему... А тут надо руки и еще... умение умирать. Нельзя писать что-нибудь «созерцательное»: все кажется ненужным и кажется, что и писать теперь вообще не нужно» [1].

Однако, несмотря на категоричность и решительность такого рода высказываний, не следует делать вывод, что Чириков стоял на тех же позициях, что и А. М. Горький. Общественные взгляды Чирикова в тот период были типичны для многих представителей радикальной мелкобуржуазной интеллигенции, и характер этой позиции можно понять, исходя из известного высказывания В. И. Ленина о двух социальных войнах в стране эпохи 1905 года. «В современной России, — говорил В. И. Ленин в 1905 году, — не две борющиеся силы заполняют содержание революции, а две различных и разнородных социальных войны: одна в недрах современного самодержавно-крепостнического строя, другая в недрах будущего, уже рождающегося на наших глазах буржуазно-демократического строя. Одна — общенародная борьба за свободу (за свободу буржуазного общества), за демократию, т. е. за самодержавие народа, другая — классовая борьба пролетариата с буржуазией за социалистическое устройство общества» [2].

Вся общественная и литературная деятельность Чирикова шла «в русле общенародной борьбы за свободу», «за демократию» вообще. Несмотря на эту ограниченность, в определенный период истории России произведения Чирикова, как и других писателей-знаньевцев, стоящих на тех же позициях, объективно служили интересам пролетарского движения. Но сущность пролетарской идеологии, интересы рабочего движения навсегда остались чуждыми и

---

[1] Архив А. М. Горького.
[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 9, стр. 280—281.

непонятными писателю. Не случайно, говоря в автобиографии о разнообразии своих героев и перечисляя их («дети, студенты, интеллигенты в кавычках, чиновники, попы, мужики, гимназисты и гимназистки, барыни, бабы, солдаты»)[1], Чириков не называет рабочего. Образ рабочего появляется в произведениях Чирикова эпизодически и предстает обычно нарочито-сниженным (за исключением образа Изерсона в пьесе «Евреи»). Так, в рассказе «Волшебник» революционные события в городе рождают у героя рассказа — маленького мальчика из обеспеченной семьи — представление о том, что рабочие, устроившие стачку, сильные, всемогущие люди, волшебники. Но это впечатление сразу же рассеивается, как только он видит вблизи одного из рабочих — жалкого, запуганного человека.

Пролетариат, как решающая сила истории, как передовой класс, стоящий в авангарде революции, остался вне поля зрения писателя. Эта ограниченность позиции Чирикова, проявившаяся еще в произведениях 90—900-х годов (абстрактность его гуманизма, лишенного боевого, наступательного пафоса, смягчение противоречий идейной борьбы и т. д.) особенно сказалась в годы реакции — 1907—1910 годов. В это время происходит разрыв Чирикова со «Знанием». Последним его произведением, напечатанным в этом издательстве, был рассказ «На пороге жизни» (1908).

Вместе с Куприным, Андреевым, Буниным и другими писателями Чириков уходит из «Знания» и начинает сотрудничать в альманахе «Шиповник» и в сборниках «Земля» — изданиях модных в период упадка революционных настроений. Здесь печатались писатели (М. Арцыбашев, В. Винниченко, Ф. Сологуб), чуждые народу, скатившиеся в болото реакции. Они объединялись на платформе «беспартийности», которая на деле оказывалась маскировкой их буржуазно-реакционных взглядов.

Все буржуазное общество, по словам В. И. Ленина, было пропитано в это время «настроением веховским, духом уныния, отреченчества»[2]. Сборник «Вехи» (1909) был ярким документом, свидетельствующим об идеологическом ренегатстве либеральной интеллигенции. Многие представители интеллигенции, в прошлом сочувствующие революции, теперь отходят от общественной жизни, демократии и народа. Среди них был и Чириков. В воспоминаниях, изданных в эмиграции, он писал: «Революция 1905 года как бы раскалывает мою жизнь и творчество на две половины. Этот раскол начинается

---

[1] Цит. по кн.: С. А. Венгеров, Русская литература XX века, т. 2, М. 1915, стр. 68.

[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 22.

полным разрывом нашего литературного кружка с М. Горьким и его «Знанием»... В душе и творчестве наступает крутой перелом, переоценка всех революционных ценностей, своей жизни, своего миропонимания и мироощущения...»

В период реакции намечается отход Чирикова и от реалистических традиций, сказывается определенное влияние на писателя символизма, в некоторых его произведениях проявляются явные черты экспрессионизма. К произведениям, отразившим эти тенденции, следует отнести аллегорические пьесы «Легенда старого замка» и «Красные огни», идейно связанные между собой.

В драме «Красные огни» восставшие рабы, прокладывая себе дорогу вперед, пробивают стену собственными головами. На это идут лишь смельчаки, герои, — и погибают. Товарищи погибших собирают их кровь и мозг и зажигают красные огни, освещающие дорогу к свободе. А. В. Луначарский в статье «Драмы» [1] справедливо указал на то, что существенным недостатком пьесы является не только грубое овеществление отвлеченных выражений («пробивать головой стену», «горение крови»), несовместимое со здравым смыслом, не только надуманная, фальшивая манера письма, но и неверная идея, заложенная в пьесе. В понимании Чирикова между интеллигентами — союзниками борцов — и самими борцами из народа, рвущимися к свободе — пропасть. Народ, нашедший путь к свободе благодаря помощи своих союзников, забывает о них.

На серьезные дефекты драмы «Легенда старого замка» (напечатана в сборнике «Знание» за 1907 г.) указал В. Воровский в статье, специально посвященной этой пьесе. По мнению В. Воровского, автор «Легенды» подменил «целесообразное и необходимое» случайным (пирующие обитатели старого замка погибают не в результате победы народа, а потому, что в замке случайно оказался человек, зараженный страшной, поражающей всех болезнью). Это отразилось, по словам Воровского, «не только на художественном достоинстве пьесы, но и на моральной ценности вложенной в нее идеи», которая на деле свелась «к куцой мысли, что от судьбы ни за какими стенами не укроешься». Развязку драмы, по глубокому убеждению критика, следовало бы вырвать из рук слепой случайности и передать в руки сознательных борцов [2].

Сурово оценил «Красные огни» и «Легенду старого замка» А. М. Горький. «Не за свое дело берешься ты, кажется мне, и ста-

---

[1] А. В. Луначарский, Критические этюды, Л. 1925, стр. 153—204.

[2] В. В. Воровский, Сочинения, т. II, М. 1931, стр. 336.

вишь себя пред лицом читателя в смешную позу», — пишет он Чирикову и указывает, что «писать на такие темы не следует, не чувствуя духа времени, которое изображаешь, не видя лиц, о которых говоришь». Характеризуя литературу эпохи реакции в целом и имея в виду произведения Чирикова этих лет, Горький отмечает: «Чувствуется хаос духовный, смятение мысли, болезненная, нервозная торопливость», «исчезает простота языка и с нею — сила его», «литература слепнет и глохнет, отрываясь от героической действительности в область выдумок», и в результате делается непонятной роль «той группы писателей, которая в трудное время дружно будила мысль демократической массы» [1].

В аллегорической пьесе Чирикова «Лесные тайны» (1911) события реальной действительности не находят уже вовсе никакого, даже косвенного, отражения. Появляются у него в это время и произведения, написанные на религиозные сюжеты (монастырское сказание «Плен страстей человеческих», рассказы: «Искушение», «Девьи горы», «Невесты Христовы» из цикла «Волжские сказки»). Часто прибегает писатель к сказовой манере, стилизуя свой язык под народную речь.

Но и после ухода из «Знания» — в период с 1910 по 1917 год Чириков создал ряд произведений, написанных в его прежней реалистической манере и отражающих общественно-значимые события в истории страны. Они писались Чириковым по воспоминаниям и ярко воскрешали лучшие страницы биографии писателя. Это прежде всего автобиографическая трилогия «Жизнь Тарханова» (1911—1914), состоящая из романов: «Юность», «Изгнание», «Возвращение» [2]. В этом произведении представляет большой интерес описанная современником жизнь русской интеллигенции 80-х годов: революционная деятельность студентов, первые столкновения народников и марксистов, быт и взаимоотношения народнической интеллигенции в ссылке и т. д.

В 1910—1912 годах Чириков пишет целый цикл рассказов, составивших книгу «Цветы воспоминаний». Особое место здесь занимает рассказ «Судьба» (1912), где, как уже упоминалось, дано точное описание студенческих волнений в Казанском университете в 1887 году, и прежде всего — знаменитой сходки 4 декабря (исследователи той эпохи и биографы В. И. Ленина даже используют этот материал как документальный).

Во время первой мировой войны Чириков занял ярко выраженную оборонческую позицию. Он уезжает корреспондентом на

---

[1] А. М. Горький, Собрание сочинений, т. 29, М. 1955, стр. 17.

[2] В эмиграции Чириков написал четвертую часть — «Семья».

фронт, помещает свои официально-патриотические корреспонденции в газете «Русское слово» и отказывается от участия в журнале А. М. Горького «Летопись», ссылаясь на то, что журнал «пораженческий».

В 1916 году выходит сборник рассказов Чирикова «Эхо войны», отражающий взгляды писателя на империалистическую войну. Среди помещенных в сборнике рассказов — «Иван в раю», в идиллических тонах рисующий раненого солдата в госпитале, где он чувствует себя «как в раю»; рассказ «Сестра» — о том, как девушка, судьба которой сложилась неудачно, нашла себя во время войны, сделавшись сестрой милосердия — «белым ангелом» для раненых; «Добровольцы» — о двух гимназистах, обуреваемых жаждой военных подвигов и убегающих на фронт.

Пути писателя и его героев и пути народа все больше расходятся. Глубоко автобиографический смысл имеет рассуждение героя трилогии — Геннадия Тарханова — после встречи с революционером из крестьян: «Наконец-то жизнь столкнула меня если не с мужиком-социалистом, то хотя с мужиком-революционером по своим взглядам. От такой встречи и таких речей мужика я должен бы был почувствовать радость или удовольствие. Отчего же я шел домой с тяжелым чувством оскорбления, растерянный и обескураженный, ошеломленный этой знакомой мне «правдою»? Я впервые почувствовал, что я — как щепка в море, в этой исторической правде... что ценность моей личности взвешивается на исторических, а не на моральных весах, а для весов этих мои взгляды и убеждения — ноль! Не потому ли все стремления интеллигенции сблизиться с народом потерпели крах? Историческими судьбами родины мы с мужиком сделаны врагами, врагами наследственными и потомственными».

Чириков, сочувственно встретивший февральскую революцию, резко отрицательно отнесся к победе пролетариата в Октябре 1917 года. В 1920 году Чириков эмигрировал в Болгарию и жил в Софии, а с 1921 года — в Праге. Умер он 18 января 1932 года.

За рубежом писатель выпустил несколько романов и сборников рассказов. Некоторые из них («Зверь из бездны», «Мой роман») отличаются явной антисоветской направленностью и содержат злобные выпады против революции.

Но основное место среди произведений периода эмиграции занимают рассказы, рисующие дореволюционную Россию, преимущественно русскую провинцию. Некоторые из них воскрешают далекую юность писателя, его участие в студенческих волнениях, арест (например, рассказ «Невеста», опубликованный в 1927 г. и несколько напоминающий «Королевну», 1912 г.). Многие из этих рассказов сентиментальны, растянуты, лишены глубокого идейного содержания;

но в некоторых из них писатель создает ряд ярких образов и картин. Таковы, например, рассказ «Городок», правдиво рисующий нравы дореволюционного провинциального города; навеянная воспоминаниями о прошлом поэтическая повесть «Новодевичье» о любви юноши-студента к волжанке — дочери бакенщика, о любви, начавшейся так поэтично и окончившейся моральной капитуляцией героя

Все творчество Чирикова периода эмиграции посвящено России, но это Россия старая, знакомая уже по дореволюционным произведениям писателя, ничего нового, хоть сколько-нибудь общественно-значительного, писателю не удалось создать. Советской России, тем великим переменам, которые произошли на его родине, Чириков остался глубоко чужд. В одном из очерков 1919 года из-под пера писателя вылились горькие, но верные слова: «Никуда, видно, не убежишь от страшной правды жизни, которая сделала тебя чужим в своем отечестве».

Расцвет творчества Е. Н Чирикова относится к дореволюционному времени. Его произведения, особенно раннего периода и времени сотрудничества в «Знании», правдиво отражающие различные стороны русской дореволюционной действительности, содержащие яркие, типические образы и картины, будут с интересом прочитаны широкими кругами наших читателей.

Е. САХАРОВА

СОЗРЕЛ

Помню, как я последний раз посетил гимназию... Странное чувство испытывал я уже по дороге к угрюмому казенному зданию, окрашенному в какую-то дикую краску и украшенному престарелой вывеской с облупившимися, частью уже исчезнувшими, золочеными буквами: «Губернская ...азия». Это было чувство «победителя»... Раньше, бывало, я приближался к этому зданию с некоторым трепетом и с затаенной неприязнью человека, который знает, что втайне здесь готовятся ему всякие козни и мины. Теперь ничего подобного. Все величие, весь ореол страха, вся робость, воспитанная длинными годами моего созревания, исчезли, растаяли, как пар, рассеялись, как дым... Стоит дом как дом, немного старый, закоптелый и угрюмый; но ничего таинственного, подозрительного в его взгляде на меня нет. Напротив, этот дом смотрит очень добродушно, просто, без всякой затаенной мысли против меня и, как старый, добрый дедушка, улыбается мне навстречу... «А-а, Подгибалов! — казалось, говорил теперь этот дом, потерявший в моих глазах угрожающе-подозрительный характер, — кончил, братец! Молодчина!» Я без всякого трепета и опасения вошел в его широкое парадное крыльцо с навесом и с дверью, сверкавшей на солнышке стеклами, медной решеткой и ручками, и только что взялся было за скобку, — как дверь широко распахнулась как бы сама собою... Ко мне, сверх обыкновения, подскочил швейцар Кирилыч и начал стягивать пальто...

— Поздравляю, ваше благородие, с благополучным окончанием учения у нас!.. Желаю вам дослужиться до директора! — говорил Кирилыч с доброжелательной улыбкою на лице, бритом, усатом и строгом, и услужливо топтался возле меня.

Никогда еще Кирилыч не называл меня «вашим благородием», да и вообще так никто до сих пор не называл

меня. Поэтому, сказать откровенно, я почувствовал некоторое удовольствие, и на лице моем появилась ответная улыбка. Этот самый Кирилыч был моим личным врагом: он доносил на меня, если я приходил в гимназию без ранца, убегал с гимнастики или с последнего урока. Но я, право, не мог теперь сердиться на Кирилыча... «Пес с тобой»,— подумал я и сказал:

— Здравствуй, Кирилыч!.. Спасибо на добром слове...

— А уж ежели в дилектора попасть, так недалеко и до попечителя...

— Куда там!..

— А что?! Долго ли? Всяко бывает. Вот хотя бы господина Иванова взять, письмоводителя то есть,— вместе в роте были... Я был старшим унтер-офицером, а он так, рядовой по жребию... Бывало, частенько покрикивать на него доводилось, а теперь вот — пальто им подаю и под козырек делаю... — шепотом закончил Кирилыч и развел руками.— Это уж какое кому счастье, фортуна то есть.

— Я, Кирилыч, никому ни пальто, ни калош подавать не буду...

— Зачем же! Я это только — к слову!.. Фуражечку позвольте, ваше благородие, я ее на полочку положу...

Впоследствии я понял, что Кирилычу следовало дать на чай, а тогда как-то не сообразил и только крякнул, тряхнул волосами, поправил на носу очки и пошел на квартиру к директору.

Надо вам сказать, что я пришел на сей раз уже не в гимназической форме, а в отцовской визитной тройке и в его же пальто. Только форменная фуражка изобличала мое прошлое.

Директор был очень строгий человек, на лице которого я редко видел что-нибудь другое, кроме обычной кислой недовольной мины; эта самая кислая мина всегда пробуждала во мне чувство «самосохранения»; поэтому, приближаясь к дверям директорской квартиры, я как-то инстинктивно, на ходу стал застегивать пуговицы визитки, что было сделать нелегко, вследствие особого покроя ее фалд, расходящихся на две стороны, с прорезом, а затем, тоже инстинктивно, помочил слюнями ладонь руки и начал приглаживать непокорный хохол на загривке... За этот хохол, как и за преждевременные усы, мне, бывало, доводилось выслушивать от директора длинные нотации и объяснения, почему у гимназистов не должно быть ни хохлов, ни усов,

а кстати уж — почему гимназист не должен ходить с палкой... Так вот, несмотря на полную независимость своего нового положения, я не мог еще вполне отрешиться от чувства робости пред директором и, оправившись, не без страха подавил пуговку звонка. Хотя вокруг этой пуговки и было написано «прошу звонить!», но я не относил к себе этого любезного приглашения.

На звонок очень не скоро отворила мне директорская кухарка с грязной физиономией и засученными по локоть рукавами... Эта грубая баба, видимо, приняла меня за какого-нибудь посыльного или лавочника:

— Погодь здесь, малец!.. Как про тебя сказать-то?..

Это я-то «малец»!..

Я вспыхнул, но, конечно, не вступать же в объяснения со всякими дурами?..

— Окончивший курс гимназии, Императорской первой гимназии, Подгибалов — так и скажи! — огорошил я бабу. Она вытаращила глаза и убежала. Спустя несколько мгновений она явилась и заговорила со мной совсем другим тоном:

— Пожалуйте в кабинет барина! Сичас выдут сами...

Я вошел в кабинет и присел на софу. Долго я сидел тут в полном одиночестве и обводил взорами директорский кабинет, с которым у меня было связано несколько неприятных воспоминаний... Когда, бывало, директор приглашал нас в свой кабинет, то это не обещало ничего хорошего. Такое приглашение кончалось всегда или карцером, или «плохим поведением»... «Вот здесь, — думал я, — директор дал мне не так давно основательную «проборку» за папиросу, с которой я был пойман им в общественном саду; здесь же в прошлом году он распекал меня за дерзость учителю латинского и довел меня до слез (глуп был!)». И вот я снова приглашен в кабинет великого инквизитора — так мы называли эту комнату, — а чувствую себя совершенно иначе, да и самый кабинет уже иначе смотрит на меня... Я смотрел на массивный письменный стол, заваленный книгами, тетрадями и безделушками, на кресло-качалку, на портрет Гомера в черной рамке, того самого Гомера, который подставил мне ногу при переходе из VI в VII класс и заставил все красное лето зубрить и проклинать древних греков с их проклятыми грамматиками и исключениями, на приотворенную дверь в соседнюю комнату; прислушивался к тиканью бронзовых часов, так

мучительно медленно постукивавших когда-то в момент «проборки» и «распекания»... И мне сделалось вдруг скучно. Я позевнул, прикрыв рот ладонью, и слегка потянулся, ощущая во всем теле какую-то сладостную истому... Я положил было уже ногу на ногу и начал покачивать верхней, как вдруг — шлепанье туфлей!.. «Великий инквизитор!» — промелькнуло в моем мозгу; я быстро встал, тихо откашлянулся, поправил на скорую руку прическу и галстук... Дверь распахнулась,—и предо мною предстала фигура директора... Ничего грозного, величественного, недосягаемого: человек в пестром бухарском халате, в какой-то ермолке жует — доедает что-то, улыбается самым милейшим образом и, показывая на стул, любезно предлагает:



— Садитесь-ка! Гм... Ваше имя?..

— Егор Подгибалов...

Директор покачал головой, проглотил то, что жевал, и заметил:

— Теперь вы уже не Егор Подгибалов... Ваше отчество?

— Иваныч, — тихо ответил я, опуская глаза в землю.

— Так вот, Егор Иваныч... да... Кончили!.. Очень рад, душевно рад за вас и за ваших почтенных родителей... Позвольте пожелать вам дальнейшего движения!..

При этом директор протянул мне свою руку, которую я принял довольно нерешительно, с мыслью: не по ошибке ли он это делает?

Эту руку, худую, костлявую и холодную, я слегка подержал в своей и выпустил бережно...

— А вы садитесь! — бросил директор, опускаясь в кресло-качалку.

Я осторожно присел на кончик стула и ужасно пере-



конфузился. «Егор Иванович», директорская рука и предложенный стул как-то обескуражили меня. Я сел и начал напряженно думать, о чем бы заговорить с директором. На лбу моем выступил пот, а я все еще молчал... Я убеждался, что нам с директором решительно не о чем говорить... Сижу и глупо смотрю на бородавку, что сидит на директорском носу, и думаю про эту самую бородавку... Если бы это не было неприлично, я с этой именно бородавки и начал бы разговор с директором...

А директор, видимо, нисколько не стеснялся неловким молчанием между нами: он покачивался, непринужденно отдувался и, поглаживая бородку, смотрел куда-то мимо меня...

— Да-с... Егор Иваныч... Кончили... Не угодно ли? Курите? — спросил он вдруг и, раскрыв свой массивный серебряный портсигар, протянул его ко мне.

Вот было положение!.. Вы и представить себе не можете...

По правде говоря, я курю уже давно, с V класса, и директор это отлично знает... Но как я могу ответить утвердительно, когда всего два-три месяца тому назад в этом самом кабинете и этот самый человек, поймав меня в общественном саду с папиросой в зубах, кричал, топал ногами, грозил «выгнать вон»?..

Я чувствовал, что краснею до корня волос, что уши мои наливаются кровью, руки тяжелеют... Я внезапно вспотел от безвыходности положения, а он снова:

— Курите? Прошу вас!..

— Нн... да... собственно, не курю, но... позвольте... мерси!..

— Не стесняйтесь... Теперь можно и покурить... Quod licet Jovi, non licet bovi... [1] Гимназисту строго возбраняется,

---

[1] Что позволено Юпитеру — не дозволено быку (*лат.*).

а окончившим курс — никто не запрещает, Егор Иваныч...

Я привстал как-то одной ногою, протянулся с дрожащей рукою к директорскому портсигару и вытащил из него вместо одной — две папироски. Растерялся, хотел одну из папирос положить обратно, но уронил ее на пол и оскандалился: когда я наклонился к полу, из бокового кармана визитки выпала коробочка с моими собственными папиросами, моей любимой «Звездочки», 10 штук — 5 коп.

Директор расхохотался. Я тоже начал смеяться, хотя не потому, что мне было смешно, а просто потому, что больше ничего не оставалось делать... Спасибо директорше — выручила:

— Вася! — прозвучал ее голос из соседней комнаты. — Идите!

— Стаканчик кофе? Пожалуйте, Егор Иванович!

— Мерси... Я только что пообедал... То есть, собственно, позавтракал...

— А вы полноте, идите!

Директор растворил дверь и встал, пропуская меня вперед.

— Вот, душечка, позволь тебе представить Егора Ивановича Подгибалова, окончившего в сем академическом году курс в моей гимназии...

— С медалью? — перебила «душечка» и покровительственно, хотя и между делом, взглянула в мою сторону.

— Собственно, без медали, — ответил я, присаживаясь к столу.

— Но не из последних, — докончил за меня директор.

За столом, на высоком детском стульчике, сидела еще девочка лет трех-четырех, которая начала со мной заигрывать: глядя на меня исподлобья, она строила вызывающие гримаски, высовывала язычок и порывалась все заговорить со мною; долго не решалась, но наконец начала:

— Дядя дулак... ты дулак...

— Милочка, не хорошо... перестань!..

— А ты дулак... дул-а-ак!..

Светло начищенный самовар, блестящий кофейник красной меди, директор в халате, «душечка», милочка со своим «дулаком» и румяные пахучие булочки домашнего печенья— все это как-то разгоняло мою неловкость, мою робость и подбавляло сознания, что я уже не гимназист и что, в сущности, мне нечего стесняться.

— Madame, позволите? — обратился я к директорше, вынимая из коробочки собственную папиросу. Директор взглянул на меня как-то насмешливо и погладил бородку, но ничего не сказал.

— Ах, сделайте одолжение! — небрежно бросила директорша, углубленная в хозяйственные соображения.

Директор расспрашивал меня о том, на какой факультет я намерен поступить, давал свои советы и указания. Когда он узнал о моем намерении сделаться естественником, то многозначительно сморщил брови и, кажется, искренне не советовал этого делать. Медленно, с расстановкой, с паузами и вставочными разговорами с «душечкой» о посторонних предметах, он говорил о карьере, приводил факты плачевного положения у нас естественников, упомянул о каком-то Селиванове, который по окончании курса естественных наук два года утаптывал мостовую и лишь недавно пристроился в какой-то канцелярии за сорок рублей в месяц...

Я слушал и молчал, а директор все говорил и говорил...

— Поступайте, Егор Иванович, на филологический, — убеждал он меня, — благодарная, скажу вам, наука...

— Не хотите ли еще стаканчик? — перебила директорша, обратившись в мою сторону, но тон ее предложения был из таких, которые не только отнимают всякий аппетит, но даже лишают способности чувствовать благодарность за внимание.

Видя, что наступил момент, когда всего лучше было встать и откланяться, я поднялся и вежливо сказал:

— Не смею больше вас задерживать... Позвольте поблагодарить и пожелать вам всего лучшего!..

— И мы — тоже, — ответила директорша и протянула мне руку так небрежно, что я почувствовал даже обиду: как-то, знаете, через плечо, глядя в сторону...,

Директор проводил меня до кабинета. Здесь он остановил меня, взял двумя пальцами за верхнюю пуговицу и с какой-то таинственностью произнес:

— Ну, Егор Иванович, еще одно последнее указание: не увлекайтесь никакими там идеями... Лучше всего оставить их в покое и с подобными господами не связываться... Надо стараться получить диплом... Все эти идеи... (директор безнадежно махнул рукой). Я вам говорю, как отец, отправляющий своего сына в дальнее странствование.

Теперь вы, Егор Иванович, становитесь своего рода Одиссеем: отечество, как Пенелопа, будет ждать вашего возвращения...

И здесь директор, закрыв глаза, продекламировал несколько стихов из Одиссеи по-гречески.

— Так вот идите с миром и помните мой последний совет вам: сторониться всяких идей...

— Не беспокойтесь, Василий Феофилактович, я буду стараться без идей как-нибудь... — успокоил я, хотя, конечно, я не настолько же глуп, чтобы думать, что можно обойтись без идей... Идея — слово греческое, значит мысль...

— Так, так... Это — прежде всего, — уже издали донесся голос директора.

Я вышел и зашагал по пустынным коридорам гимназии в канцелярию.

В канцелярии я опять почувствовал себя как-то неловко от непривычного привета и любезности служащих. Дрожащим почерком я расписывался здесь в каких-то книгах и на листах бумаги, давал какое-то письменное согласие на что-то, писал кому-то и о чем-то прошение, продиктованное мне письмоводителем... Все это я делал торопливо, судорожно, с одной мыслью в голове: «кончил!» и, кажется, готов был в эту минуту подписывать что угодно и кому угодно, писать хоть сотню прошений, лишь бы поскорее отделаться и получить желаемый «аттестат зрелости»...

Но вот — свершилось!.. Удостоверение в зрелости положено в карман. Я вынимаю свою «Звездочку» и предлагаю письмоводителю:

— Не угодно ли?

— А ну-ка попробуем!.. Э, у вас покупные?! Не хочу.

— Как вам угодно.

— Давно курите?

— С пятого класса. В седьмом бросал, а в восьмом опять начал...

— На юридический поди?

— Нет, естественником буду...

— Напрасно!.. Попали бы в Плеваки, так узнали, где зимуют раки...

— Красноречия не имею, да и за деньгами особенно не гонюсь...

— Значит, уже вредные идеи в голове имеете...

Я удивленно посмотрел на письмоводителя.

— Что вы хотите этим сказать?

— Что хотел, то и сказал... Пренебрегаете деньгами, а это, батенька, начало всяких превратных идей...

«Вот дались им эти идеи!» — думал я, выходя в швейцарскую.

— Кирилыч! Пальто!..

Ответа не последовало. Я оглянулся вокруг, — никого не было. Сам надел пальто и достал с полочки фуражку.

Выйдя на крыльцо гимназии, я глубоко и свободно вздохнул влажный весенний воздух.

Был светлый майский день, радостный, торжествующий. Легкий дождичек «сквозь солнце» только что спрыснул гимназический сад, крыши домов, мостовую. Все это выглядело новым, свежим, молодым и, казалось, радовалось вместе со мною... Из сада неслись оживленное щебетание птиц и аромат распустившейся сирени, с улиц — несмолкаемая трескотня извозчичьих пролеток и пестрый шум голосов и звуков городской сутолоки.

Гимназия была расположена на горе. Предо мною раскрывалась дивная панорама: под ногами — хаос стен и крыш, белых, красных, зеленых, с выдвигающимися над ними куполами церквей, ослепительно сверкавших на солнышке позолотою, с кущами обывательских и городских садов и скверов... Вдали, за городом, необъятный луг, а дальше — окутанные сизым туманом неясные мягкие контуры волжских гор и дивная голубоватая даль, манящая к себе даль, навевающая грезы о чем-то далеком, несбыточном, но дивном...

Когда я окинул взором расстилавшийся под ногами город и необозримый горизонт голубых, подернутых местами белыми облачками небес, мое сердце защемило и запрыгало от избытка счастья, радости, — и мне захотелось полететь вместе с улетавшей по направлению к сизым горам птицею куда-то далеко-далеко и затеряться, утонуть в голубоватой дымке горизонта... Я снял фуражку, погладил себя по одурманенной голове и, сам не знаю почему, засмеялся... Как хорошо!... Ах, как хорошо!.. Хочется и плакать и смеяться, запеть что-нибудь...

Я спустился по деревянной, покрытой зеленым мохом, лестнице под гору и пошел вдоль улицы.

Мои ноги невольно бежали вперед. Я чувствовал, что мое лицо складывается в глупейшую улыбку, и едва сдерживал себя, чтобы не расхохотаться самым бесцеремонным образом среди улицы, по тротуарам которой сновали

беспрерывно прохожие, и некоторые из них, как мне казалось, смотрели на меня не без удивления. Какая-то толстая барыня даже улыбнулась, встретившись со мною взорами, после чего я чуть-чуть не заговорил с ней: так и подмывало меня сказать ей, что я — «кончил», а в доказательство вынуть из кармана и показать «аттестат зрелости»... При повороте в другую улицу меня кто-то окрикнул по фамилии. Я едва сдержал ноги и остановился. Это был мой товарищ Крюков, который тоже «кончил». Он храбро дымил папиросой; через распахнутое пальто виднелся ворот его красной рубахи; на голове его небрежно покоилась поярковая шляпа с широкими трясущимися полями; в руках он держал толстую корявую палку, конец которой касался тротуара и производил страшную трескотню.

— Куда, коллега? — спросил Крюков, сдвигая на затылок свою шляпу и отирая рукавом пальто потный лоб.

Я и сам не знал — «куда» и теперь только мысленно спросил себя: «Куда я, в самом деле?»

— Так... был в гимназии, получил аттестат...

— Я вчера еще получил его, коллега! Вот курьез, коллега! Ха-ха-ха!.. Сейчас встретился с нашим греком и разговаривал с ним... Откровенно признался, что никогда не писал сам домашних упражнений и не подыскивал слов, что на экзамене прекрасно списал, хотя и сидел за отдельным столиком... Его, братец, даже передернуло от бессильной злобы — надо полагать...

— Воображаю... И что же?

— Съел!.. Поморщился и сказал: «недобросовестно»... Это еще и в греческом языке совесть подавай!..

И мы от души хохотали над бедным «греком»...

— На медицинский?

— Конечно, коллега! А ты?

— Естественник.

— Тоже дельно!.. Медики и естественники — самый лучший народ.

— Ты был у директора?

— Был... Он мне советовал — на филологический...

— И мне тоже... Насчет идей говорил?

— Говорил...

И мы снова хохотали до слез.

Когда мы проходили мимо портерной лавки, на вывеске которой была изображена кружка пива, неестественно пе-

нившегося и льющегося через края посуды, Крюков предложил:

— Зайдем! Хлопнем, коллега, по кружечке...

Я согласился. Мы спустились по каменным ступенькам лестницы в подвальный этаж, вошли в мрачную, прохладную каморку и сели за отдельный столик.

— Человек! Бутылку пива! — повелительно крикнул Крюков, снимая шляпу.

— Какого прикажете?

— Какого, коллега? Светлого, надеюсь?..

— Конечно.

— Валяй, светлого! Живо!

После двух бутылок выпитого пива в наших головах зашумело. Мы о чем-то спорили, чуть не поругались, пробовали петь дуэтом «Gaudeamus» [1], «Дубинушку», говорили об «идеях»... Помнится мне еще, что, когда, выйдя из портерной и взявши друг друга под руку, мы шли по улице, Крюков вступал в разговоры и объяснения со всеми встречаемыми на постах будочниками, о чем-то все спорил с ними и многозначительно постукивал при этом своей толстой корявой дубинкою...

Ночью мне снились все тревожные сны. То я видел себя опять на гимназической скамье отвечающим урок и не знающим, что даже задано, то мне снилось, что меня распекает инспектор за то, что я хожу без ранца и не имею на фуражке установленного знака и не пришью сзади пуговицы... Тревожно пробуждаясь от сна, я моментально вспоминал, что я — «кончил», и с каким-то наслаждением прижимался снова к подушке и спокойно и быстро засыпал...

На другой день у нас был «семейный праздник»: по случаю благополучного окончания мною курса гимназии к нам собрались родственники и знакомые, пили чай, играли в карты, а за ужином распили две бутылки шампанского. Я был, конечно, «героем» этого праздника... «Егор Иванович, Егор Иванович!» — звучало во всех углах, и стоило мне только появиться, чтобы обратить общее внимание. Однако я предпочитал прислушиваться к разговорам издали.

---

[1] «Давайте веселиться...» (*лат.*)

— Теперь уж на дороге: главное перескочил!..

— Главный, так сказать, барьер взял... Хе-хе-хе!..

— Егор Иванович пойдет: он, кажется, весьма способный молодой человек.

Я проходил мимо серьезно и равнодушно, хотя рассыпаемые по моему адресу похвалы льстили моему самолюбию... Когда я появился в отцовском кабинете, где гости играли в карты, раздался возглас:

— А-а, господин студент! Присаживайтесь... В винтик играете?

— Нет.

— Плохо-с... Неполная зрелость... Учиться надо. Теперь вступаете в общество, неловко-с!...

— Чепуха! По моему мнению, это совершенно пустое времяпрепровождение, — заметил я смело и открыто.

— Ах, Егор Иванович, вольнодумствуете-с... Поживете — узнаете. И мы когда-то эти идеи имели-с... Они хороши только в теории, а на практике — мираж один...

Я ухмыльнулся, но промолчал.

В другом месте на меня напали дамы. С хохотом, визгами, наперебой друг перед другом, они тараторили все разом:

— Егор Иванович!

— Егорушка! по старой памяти можно так называть?

— Теперь вы — настоящий молодой человек: можете ухаживать...

— Нет рано... Надо сперва в университете кончить, а тогда начинать...

— Ха-ха-ха!.. Постойте, Егорушка! Посмотрите, у него усы есть!...

— На какой факультет поступите?

— На медицинский поступайте!

— Фи! С мертвецами возиться... Лучше — на юридический, — прокурором будете.

— Я, господа, поступаю в естественники, — обрезал я дамскую трескотню.

— Это ловить букашек, бабочек, а потом сажать их на булавки?

— Напрасно так думаете...

— Ну, а что же? Кем же вы потом будете?

— Человеком...

Общий хохот.

— А сколько потом жалованья? — спросила тетка, сухая, пожилая вдова, с жалобным лицом, постоянно ноющая и хлопочущая о каком-то пенсионе.

— Наука тетя, одно, а жалованье — другое.

— Науку поди есть не будешь?

— А ну вас!

Я повернулся и отошел...

Под конец вечера гости надоели мне хуже горькой редьки со своими советами, пожеланиями и допросами. Одни увещевали сделаться доктором, другие — прокурором, третьи — учителем, четвертые — попасть в инженеры, одна барыня стояла за артиллерийское училище. Прямо голова кругом шла от массы всяких дорог и тропинок. Я наконец вышел из терпения и за ужином начал огрызаться:

— Я ничего, господа, не знаю... Главное — сделаться честным человеком!...

— В этом мы, Егор Иванович, не сомневаемся. А все-таки надо же выбрать себе карьеру...

— Вероятно, молодой человек, у вас есть же к чему-нибудь особое пристрастие? — спросил папин начальник, глядя на меня через очки.

— Что ты больше всего любишь? — пояснил папа мысль своего начальника. — Историю, географию, язык какой-нибудь?

По мере того как папа перечислял предметы, в моем воображении вставали фигуры предподавателей, отрывки отдельных «уроков», отметки, случаи разные на уроках... При упоминании об истории я живо представил себе свою истрепанную, в сломанном переплете, книгу «Историю средних веков» Иловайского, потом откуда-то выскочила в мозгу страница про «Пипина Короткого», усеянный цифрами лист — «хронология», по которой готовился к выпускному экзамену, а затем в памяти встал и сам Яков Кузьмич, наш историк, чахоточный и злой, требующий от нас «хронологию в разбивку и с обоих концов по порядку». Какая-то каша имен, анекдотов, цифр, отметок... Вот она — история! Любишь историю?.. География... Но география... всегда стояла и стоит рядышком с историей, это — родные сестры... И преподаватель у них один... Да я до смерти рад, что наконец избавился от «истории с географией». Языки... латинский... греческий... Избави меня, господи!

И я молчал, не зная, что люблю и люблю ли что-нибудь...

— А физика! Ты ведь ее любишь? — помогла мама,— у тебя из физики, кажется, все пятерки?!

— Ну, вот, на физический факультет и поступайте, — сказал папин начальник. Некоторые из гостей переглянулись. Я посмотрел на папу: он покраснел.

— Про такой факультет я что-то не слыхал... В каком это университете есть такой факультет? — спросил я с иронией папиного начальника.

— А тот факультет, где эту физику изучают, молодой человек...

— Да ее изучают на медицинском, на математическом...

— Ну, вот! да... гм...

Произошло неловкое молчание, и меня оставили в покое, не разрешив вопроса о моем призвании.

— Только бы кончил да место приличное получил, а там все равно, — пропищала в момент общего затишья моя пенсионная тетушка.

Никто ее не поддерживал, но она продолжала резонерствовать вслух о трудностях жизни, о жалованье, пенсионе, казенной квартире и т. д.

Когда пили шампанское, то произносили тост за меня.

Гости разошлись поздно. Мама страшно устала и как тень бродила по комнатам в белой кофточке, водворяя хотя некоторый порядок в комнатах. Папа подпил, был весел и, несмотря на упрашиванья мамы — ложиться и дать всем покой, не хотел этого делать. Заложив руки в карманы брюк, он нетвердыми шагами гулял по зале и напевал: «Не искушай меня без нужды». Смешно, когда папа начинает петь романсы. (Он поет их только в тех случаях, когда выпьет.)

— Не ис-куша-а-ай мме-ня без ну-у-ужды... — вытягивал папа сиплым басом, ловил меня за талию, по-товарищески предлагал папиросу и похлопывал по плечу.

— Ну-с, Егор Иванович!... Мы с вами созрели, значит!

Я стеснялся такой необычайной фамильярности со стороны отца, особенно же после того, как папа начал расспрашивать меня о таких вещах, про которые как-то неловко и говорить-то с родным отцом! Предостерегая меня от увлечений, грубых увлечений, он советовал мне быть осмотрительным, жестикулировал указательным пальцем и приговаривал:

— Все, Егор Иванович, можно, все можно, но... осторожно-с!

Мама, услыхав наш разговор, рассердилась:

— Добру учишь?!

А когда папа начал говорить дальше, то она пожала плечами и сказала:

— Как вам не стыдно, Иван Панкратьевич? Удивляюсь!

И пошла вон.

— А почему бы и не называть вещи их настоящими именами? Что он, матушка, мальчик, что ли? институтка? Теперь он студент, а студенты...

Тут папа свистнул и щелкнул пальцами.

Он совсем спьянился. В этом я убедился, когда папа от любезностей по моему адресу неожиданно перешел прямо к ругани:

— Прохвосты, все вы прохвосты! — тихо бормотал он, сидя на диване со склоненной на грудь головою. — Вас поишь, кормишь, из-за вас в долги лезешь, петлю на шею надеваешь, а вы разве цените? Никогда! Выгонят из университета, и все прахом пошло! Идеи разные в башках заводятся... Как можно! Мы хотим мировые вопросы разрешать!.. Где бы поскорее кончить да на место — родителям жилы ослабить, они начинают погаными идеями головы набивать... Свиньи!.. Право! Егор!

— Что папа?

— Ты у меня изволь выкинуть из башки эту дурь!

— В моей голове никакой дури, папа, нет...

— Изволь вытряхнуть из башки всякие идеи!

— То есть как это? Не думать?

— Да! Не думать, коли на то пошло... Зуди, старайся стипендию получить!.. Пора перестать жилы из родителей тянуть... Когда получишь диплом, — думай, сколько тебе заблагорассудится, а покуда студент, — тише травы, ниже воды... Слышишь? Сми-р-но!

Папа так громко закричал: «Смирно!» — как кричат только на смотрах офицеры, командуя солдатами.

На этот дикий крик прибежала мама, испуганная за маленькую сестренку, и начала усовещивать отца. Кое-как ей удалось увести его в спальню. Он улегся, но долго еще в тишине ночи бранил идеи:

— У меня, брат, все эти прокламации — к черту! Выдеру, как сидорову козу... Идеи! Болван!

— Спи, пожалуйста!

— А ты не потворствуй! Он и сейчас уже начинает грубить старшим... «Где такой факультет?» Да как же ты, прохвост, смеешь так спрашивать?...

— Спи, ради бога!..

Я сидел в темном зале и печально прислушивался...

И мне было грустно, обидно и хотелось разрыдаться...

Чего все они хотят от меня?.. Мне стало жаль себя и жаль еще чего-то, что мне было так близко и дорого и над чем так грубо и безжалостно смеялись все они...

Я смахнул рукою с ресниц своих слезы, встал с кресла и ушел от всех их в сад...

Ярко блестели в небесной синеве звезды. Лунный свет скользил по деревьям сада и, пробиваясь чрез листву, дрожал на дорожках, играя с пугливыми тенями... Мирно дремали стройные, высокие березы, белея в расстилавшемся по земле сумраке своими стволами; плотными стенами стояли кусты сиреневых зарослей и аллейки акаций; цветы, поднимая свои головки, прислушивались к чему-то и дышали нежным благоуханием... Было так тихо, спокойно, торжественно... В загадочной тишине величавой ночи, полной лунного света и звездного сияния, казалось, совершалось какое-то таинство, непостижимое для человека, с его маленькими, ничтожными заботами и коротенькой жизнью...

Я словно вырвался из тесной тюрьмы, где было так душно-душно... Грудь жадно впивала прохладу ароматной весенней ночи и дышала легко и свободно. Я долго смотрел в бездонную глубь небес, где мерцали, то загасая, то вспыхивая, звезды, и не мог оторваться... Что-то притягивало меня к этим далеким неведомым звездным мирам, к тайне, крывшейся в их робком мерцании и в этом грустном лунном свете, заливающем землю...

И я перестал сердиться на отца... Обида потухла, и самолюбие смирилось... Мне жалко стало папу, и жаль бедную маму, и жаль всех людей... Зачем они враждуют, зачем не любят друг друга, как братья, как дети одного отца, который бросил на это глубокое синее небо мириады звезд?..

Когда я возвратился домой — все уже спали. Тихо, на цыпочках, прошел я через столовую в зал, казавшийся теперь каким-то пустынным и загадочным... В большие окна его смотрела лунная звездная ночь; на полу тяну-

лись голубоватые полосы лунного света, а под потолком, по углам, прятались тени... Осторожно отворив тяжелую дверь, я вышел на балкон...

Спит город, облитый лунным светом... Вон собор пятиглавый, вон полицейская каланча, а вон — университет... Массивные здания его гордо высятся над всеми ближайшими домами; стены и колонны кажутся белоснежными, на длинной веренице окон играет лунный отблеск... Целый замок, загадочный для меня замок, полный чудес науки, живущий какой-то неведомой для меня новой жизнью, жизнью, полной интереса и значения...

Скоро, скоро ты, чудесный замок, отворишь предо мною свои двери и примешь меня в число твоих юных питомцев, скоро ты раскроешь предо мною свою тайну и разрешишь все, что теперь кажется мне непонятным и непостижимым... Ключ к твоим дверям у меня в кармане: это — «аттестат зрелости»...

Студент!.. Да неужели я, Егор Подгибалов, студент?! Разве такие бывают студенты?..

И сердце снова запрыгало и застучало в груди моей, и снова мне захотелось смеяться, петь, расцеловать весь мир...

СТУДЕНТЫ ПРИЕХАЛИ

I

Если для жителей различных центров слово *студент* давно уже потеряло всякую привлекательность, очистилось от поэтических прикрас и утратило свой туманный, заманчивый ореол, которым это слово, подобно имени какого-нибудь богатыря древнего эпоса, было окружено «во время óно»; если с этим словом в сознании мирных, благодушных и благонамеренных граждан центра теперь связывалось неизбежное представление о небрежно одетом, полусытом, пожалуй, лохматом, но уж непременно неопытном молодом человеке, который во всякую минуту готов наделать неприятностей начальству или нарушить установленный порядок, — то для обывателей захолустного уездного городка Сердянска это словно сохраняло еще полную неприкосновенность...

Сердянцы имели весьма туманное представление об университетах: последние представлялись им как бы громадными фабриками, где выделывались доктора, судебные следователи, учителя и другие лица, получающие приличное содержание и сразу скачущие в титулярные советники. Естественно, что обстоятельство это внушало к студенту, можно сказать, неподобающее уважение, а вместе с тем заставляло сердянских жителей удивляться и той фабрике, которая в каких-нибудь четыре-пять лет сообщает молодому человеку столь чудесные свойства. Что творится в этой фабрике, — сердянец не знал; как там из одного молодого человека приготовляют доктора, а из другого — следователя, ему было неизвестно. Но житель справедливо полагал, что дело это — не легкое.

— Легко сказать, восемь лет в емназии, да четыре в университете! — восклицал он с благоговейным ужасом и задумчиво добавлял: — Да-а, наука-с!..

Сердянские жители, не будучи в состоянии понять, каким образом, например, из сына местного священника, Петеньки, который еще на памяти у всех бегал босиком

и даже, с позволения сказать, без штанов, можно было приготовить следователя, — были склонны признавать здесь нечто чудесное, почти фантастическое.

— Батюшкин-то сынок-с следователем! — замечал один.

— Полторы тысячи *одного* жалованья! — добавлял другой.

— Да-а, — задумчиво заканчивал третий, — вот оно, образованьице-то! Полторы тысячи!.. Наука-с великое дело!..

Так рассуждали люди степенные, отцы семейств. Матери смотрели гораздо проще: здесь наука совершенно игнорировалась, никто не восклицал, что она великое дело; напротив, на нее смотрели как на какого-то неприятеля, с которым борется учащийся сынок, как на ряд неприятностей, лишних трудов и мучений, которые приходится встретить на пути к выходу «в люди»... Наука представлялась матерям сильным врагом, с которым дети борются в течение многих лет и победа над которым награждается хорошим местом. Сердянские матери высчитывали по пальцам, сколько лет еще остается их мученикам-деткам до окончания гимназии, а потом — университета; сколько они будут впоследствии получать жалованья в год, вычисляли, сколько это составит в месяц, а находились и такие любознательные, что узнавали даже, сколько придется на день!.. Девицы опять смотрели по-своему. Для девиц студент представлялся идеальнейшим женихом, выйти замуж за которого казалось так же заманчивым, но недостижимым, как выиграть, не имея билета, двести тысяч или по крайней мере сделаться исправницей, то есть первою дамой во всем городе. Девицы считали студента первосортным кавалером, «душкою», от которого всегда пахнет духами, который умеет смешить до слез, рассказывать самые занятные анекдоты, танцевать мазурку и вообще — таким интересным молодым человеком, с которым «очень-очень весело!..» Почему так думали сердянские девицы, — сказать весьма затруднительно. До сих пор они не имели счастия видеть в своем обществе кавалера-студента. Приезжал года два тому назад в Сердянск студент ветеринарного института, который должен был бы окончательно разочаровать местных девиц, так как не удовлетворял созданному идеалу ни в одном из указанных положений... Но девицы не разочаровались: они почему-то не считали его студентом.

— Это какой студент! Ветеринарный! Ненастоящий!..

Теперь вы поймете, с каким нетерпением и тревогою в Сердянске ожидались *свои студенты*. Нынешним летом должны были приехать туда два вновь испеченных студиоза: сын местного почтмейстера, Гавринька (так все его звали гимназистом), и еще другой сын (представьте себе, чей сын!..), сын проживавшей на Бутырках бабы-садовницы!.. До сей поры местный «бомонд» не ожидал ничего хорошего от сына «бабы» и гнушался его сообществом. Теперь, когда Наум Григорьев, окончивши курс в гимназии с золотою медалью, сделался студентом, — ему простили плебейское происхождение и ждали с таким же нетерпением, как и сына почтмейстера.

Кончился май месяц, а студенты не появлялись. Местное дамское общество ежедневно прогуливалось на пристани и встречало пароходы. Пароходы тыкались к конторкам и, просвистевши подряд три раза, уходили прочь. Но в Сердянске никто не высаживался. Нетерпение возрастало с каждым днем. Барышни уходили с конторок грустными и вымещали недовольство на своих постоянных местных кавалерах — фельдшере и секретаре полиции, которые с каждым днем казались им все более и более скучными, теряли свой интерес и престиж и которые решительно не могли придумать уже, чем бы рассмешить своих дам... Почтмейстеру надоели с расспросами о сыне, и он начинал уже сердиться.

— Какое им дело? Мой сын, а не их! — ворчал старик, не успевая удовлетворять любознательность девиц. Зато почтмейстерша с удовольствием сообщала все подробности о своем Гавриньке:

— Экзаменты... чай, измучился, бедненький... Он у меня ведь слабенький и без того-то, а там еще... Ох, дети, дети!..

— Он по докторской части у вас?..

— Да, самый мучительный факультет: кости, кишки, жилы... всякая свое название имеет, — беда, да и только!..

— Лягушек потрошат, — вставлял секретарь полиции.

— Фи! Фи! какие гадости вы, Степан Ксенофонтыч, говорите! — вскрикивают, состроив гримасы, барышни.

— «Гадости!..» Зато после — тысяча двести в год!.. Вон они, эти гадости-то! — сурово замечает почтмейстер, и все замолкают, примиряются с «гадостями».

Но вот в один прекрасный вечер, когда одна из пароходных конторок была битком набита сердянским культурным обществом и сильно засорена шелухою подсолнечных семечек, с приставшего парохода слезли двое молодых людей в больших сапогах, широкополых шляпах, с массивными дубинками под мышками и чемоданами в руках...

На конторке поднялась страшная суматоха. Закачались в воздухе пестрые зонтики, запрыгали цветы на дамских шляпках... Пронесся гул общего восторга... «Приехали! Приехали!» — «Где?» — «Вон, вон!» Звонкий хохот, приветствия, восклицания, десятки жадных глаз впились в несколько смущенных молодых людей, неловко проталкивавшихся чрез плотную массу волнующейся публики.

Почтмейстер стоял солидно и старался скрыть то внутреннее удовольствие, которое он испытывал тайно при виде столь торжественной встречи сына... Но почтмейстерша, несмотря на то, что муж сердито подергивал ее за платье, забыла все на свете: влекомая к своему Гавриньке непреодолимою силою материнского чувства, она работала локтями на обе стороны, позабывши всякую вежливость, визжала, махала зонтиком над головами публики и кричала во все горло:

— Гаврюша! Гаврюша! Я здесь!.. Господи, как исхудал! Гаврюша!

Как бы вторя почтмейстерше, громким визгливым лаем заливалась замешавшаяся в толпе моська... Потом загудел пароходный свисток. С мостков парохода раздавалась громкая, с немецким акцентом, русская ругань капитана, чем-то сильно рассерженного.

— Гавря! Гаврюша! Сюда!.. я здесь!..

— Аттай нософой!.. Больфан!.. русски дурак!..

— Есть! — отвечал с конторки чей-то голос.

Студенты приехали!..

II

На «Бутырках», сейчас же позади односторонки, состоящей из ряда бедных невзрачных домиков, тянулись сплошным лесом фруктовые сады. В одном из таких садов, в маленькой однооконной хибарке, проживала садовладелица, солдатская вдова, Авдотья Григорьева. Сад был единственным средством ее пропитания; поэтому трудо-

любивая баба Авдотья всецело отдавала себя на служение яблонькам и вишенкам. С ранней весны и до поздней осени она возилась в саду: сама караулила его по ночам, постукивая палкой в разбитую сковороду; сама поливала, таская воду на коромысле из-под горы, с речки; сама окапывала и подвязывала деревья, ухаживала за больными и хилыми, выращивала «молодежь», бинтовала раненых, делала прививки, словом, справляла все, что требовалось для успешного произрастания кормильца-сада. В урожайные годы сад приносил около трехсот рублей дохода, — Авдотья чувствовала себя королевой; в неурожайные — доход падал более чем на половину, и Авдотья грустила и всплакивала по давно умершем муже... Плакала она еще и по своем единственном детище — Наумке, который покинул и мать, и хибарку, и сад, уехав в «губернию».

Пока Наумка обучался в местном уездном училище, Авдотье было много легче: Наумка был паренек здоровый, коренастый и круглое лето исправно нес обязанности наемного батрака. Но потом Наумка уехал учиться. Его смутил покойный уже теперь учитель ехать в «губернию» и поступить в гимназию... Авдотья плакала, упрашивала, стращала Наумку наказанием божиим, но упрямый мальчишка стоял на одном:

— Не отпустишь, — все равно удавлюсь, как дьячок Рафаил! (В то время пьяный дьячок в Сердянске повесился, что произвело большой переполох между всеми православными христианами.) Нечего делать, уступила Авдотья: благословила своего непокорного Наумку, сунула в руку на прощанье красненькую и отпустила с попутным мужиком в «губернию». Сильно ныло и болело материнское сердце. Сколько ни уговаривал покойный учитель темную бабу, сколько ни убеждал, что Наумка не пропадет, что он будет жить в городе у добрых и хороших людей, что Наумка умный и выйдет на хорошую дорогу, — Авдотья ревела и попрекала смутьяна. Только после, когда смутьян... уже спал непробудным сном в сырой земле, бестолковая баба поняла, что ревела понапрасну, поняла, когда ровно через два года, летом, Наумка домой в сюртучке с серебряными пуговицами заявился, а еще более того, когда Наумка стал ребятишек у мирового грамоте обучать и по семи целковых каждый месяц домой приносить. Тут Авдотья уже окончательно убедилась, что ее Наумка — действительно умный и действительно на хо-

рощую дорогу попал... После Наумка уехал и уже года четыре домой не наезжал, — писал, что с какими-то господами все в деревню ездит и тоже ребятишек обучает...

Никогда Наум у матери денег не просил, да мягко материнское сердце: сама раза три сынку по четвертной посылала, когда господь урожай яблочку посылал.

И вот теперь Наумка домой студентом приехал... Не наглядится Авдотья на своего ученого сына: узнать невозможно... Словно настоящий господский сын... Что он, что почтмейстерский — оба одинаковы: оба докторами будут, оба все с книжками возятся и толкуют между собою, как родные братья, умно так и полюбовно... Радуется Авдотья. Сердце ее так и стучит, так и прыгает... Об одном только жалеет она, что господь отцу не судил дожить до такого счастья...

Хибарка маленькая, чуть повернуться только в ней, зато живут они «в тесноте, да не в обиде». Авдотья все равно в саду, в шалаше ночует, — все воров в сковороду пугает; в хибарке только рано поутру у печи повозится да пообедать вместе с сынком туда приходит... А в хибарку теперь войдешь — диву дашься: и на окошке, и на столе, и на деревянной полке, и в углу — все книги да книги. «Господи! Сколько прочитать-то надо!.. Сколько ума-то здесь и премудрости!» — думает темная баба и с благоговением дотрагивается до переплетов разных анатомий, физиологий и химий.

На первых порах Авдотью сильно смущал человеческий череп, в котором Наум папироски тушит: она с ужасом смотрела на пожелтевшую человеческую голову с зияющими глазницами и постоянно мучилась мыслью: кому эта голова принадлежит — православному или нехристю?.. Но Наум рассказал ей, будто голова эта — турецкая, с войны привезена, и Авдотья успокоилась... С этих пор она только глубоко вздыхала и печально покачивала головою всякий раз, когда взгляд ее случайно падал на страшный, оскаливший зубы череп...

Сильный переполох произвело появление Наума на «Бутырках». Здесь все отлично помнили и знали Наума еще мальчуганом, когда он вместе с другими бутырскими ребятишками зимой в снежки играл, по рылам дрался, а летом в речке на яру купался, — «березку ставил», «ширну-мырну, где вымырну!» кричал, в лапту зажаривал и в козны лупился... Теперь его сверстники уже мужиками

стали, многие поженились и своими ребятишками обзавестись успели. Старые старики и старухи, молодые девки и молодухи, — все Наума знают, и все не нарадуются, глядя на своего «бутырского студента». Как только по односторонке молва прошла, что Авдотьин сын по докторской части обучается, так просто отбою не стало: кто просит лекарства, кто ребенка больного притащит, кто так, посоветоваться с умным человеком зайдет, поговорить или спросить о чем-нибудь...

Наум охотно вступал с соседями в долгие разговоры, много им рассказывал о жизни в чужом, далеком краю, о том, как и чему их в университете учат. Часто по праздничным дням около Авдотьиного сада собиралась серенькая публика; здесь были и любознательные бабы, и убеленные сединами старички, и подростки-ребята. Усевшись в холодке под плетнем, на травке, они внимательно слушали, что читал им Наум. А читал он разное: и смешное, и грустное, и пустое, и дельное... Читал про «Мороз — Красный нос» и про «Арину, мать солдатскую», читал о том, как следует ухаживать за плодовыми деревьями, как лечить их... Слушатели то охают и вздыхают, то со смеху покатываются, то вдруг загалдят всей артелью...

Наум был доволен. Обстановка его жизни в маленькой, заваленной книгами хибарке ему очень нравилась (обстановка эта так напоминала одного героя из любимого романа!). Наум любил праздничные беседы под плетнем, и копанье в саду, и свою грязную «мамыньку»... На душе было так хорошо и приятно... До сих пор Наум только горячился и спорил по вопросу о «деятельности», а теперь он работал... А работать так хотелось, такая жадность овладевала Наумом в этом отношении, что он не чувствовал полного удовлетворения... Наум думал широко и глубоко и фанатически верил в торжество правды и справедливости... На «Бутырках» Науму было тесно, ему страстно желалось расширить сферу своей деятельности... Наум мечтал о пробуждении и развитии сердянского самосознания, о борьбе с рутиной и пошлостью, захолустным невежеством, спячкой и «возмущающим душу индифферентизмом!». Наум ощущал в себе силу великую, богатырскую и, как витязь, вызывал на бой отважного...

Однако время шло, а мечты Наума оставались пока без осуществления, и только случайно, но зато резко и рельефно, Наум громил обывательскую косность.

Помогая матери таскать в город мешки с яблоками, а из города — мешки с мукою, Наум намеренно норовил пройтись по главной улице Сердянска, мимо окон местных порядочных домов, посвистывал и вообще старался заявить полнейшее пренебрежение к мнению местного «бомонда». Наум видел, что босые и грязные ноги Авдотьи, ее полинявший сарафан, а его русская рубаха и штаны в сапоги неприятно действуют на «бомонд» вообще и девиц его в особенности. Последние при подобных встречах почему-то краснеют, конфузятся, стараются не заметить, отвернуться или прищурить глазки, а после, конечно, ведут разговоры в таком духе:

— С какой это бабой наш студент прогуливается?

— Ах! разве вы не знаете? Ведь это — его мать...

— Что вы?!

— Да. Он ведь — солдатский сын...

— Да неужели?..

— Клянусь богом!

— Да что вы?

— Я вам говорю...

Барышни презрительно ухмыляются, поджимая губки.

Так полагал Наум и, к сожалению, не всегда ошибался.

Желая отметить глупость подобных воззрений, Наум очень часто увлекался и впадал в крайности: заметив намеренное уклонение встречных девиц от поклона и разговоров, Наум останавливал расфуфыренных барышень и начинал их по очереди рекомендовать своей бабе-матери, заставляя последнюю протягивать свою грязную, мозолистую руку совершенно растерявшимся девицам...

III

— Говорил с Ольгою?

— Говорил. Девка славная, хотя немножко барышня...

— Это ничего, пройдет...

— Конечно... С чего же начнем? С экономики?

— Нерационально.

— Почему?

— Multis de causis [1].

---

[1] По многим причинам *(лат.)*.

— А именно?

— Кто же это начинает с экономики? Прежде всего надо заставить личность критически отнестись к себе и к окружающему, разбудить нравственное чувство, сознание долга пред обществом, а потом уж... Необходимо начать с этики, — сказал серьезно Наум Григорьев, встряхнувши волнистыми черными кудрями.

Товарищи лежали в саду на лужайке, под яблонею: Наум — вверх спиной, подпирая руками голову, а Гавринька — вниз спиной, с непринужденно раскинутыми ногами.

Был тихий летний вечер. Солнце садилось. Веяло прохладою. Сад оглашался немолчным чиликаньем и стрекотаньем... Вдали, из густой зелени листвы, выглядывала серая крыша почтамта, с двумя закоптелыми трубами, а над крышей возвышалась полосатая жердь с шишкою на вершине... Еще дальше блестел купол собора, крест которого, казалось, упирался в белую, позолоченную по краям прозрачную тучку...

Гавринька долго не отвечал. Он задумчиво сосал зеленый стебелек какого-то растения, потом сразу встряхнулся, перевернулся на живот и высказался:

— Не хватить ли нам, брат, что-нибудь по женскому вопросу?

— Это дельно!..

— Тем более, что, по-видимому, нам придется иметь дело по преимуществу с женским элементом... Я имею в виду еще двух субъектов: Наталью Михайловну (ты ее знаешь... жена этого... пьяницы-то, землемера!) и Фимочку...

— Гм... выбор нерационален!.. — заметил Наум.

— Это почему?

— Multis de causis... Наталья Михайловна, кажется, довольно пустенькая барынька, и в голове ее «уж как веет ветерок...» А Фимочка... Неудобно... Отец может подгадить...

Гавринька вскипятился.

— Странные требования! Не здоровые нуждаются во враче, а больные... Наталья Михайловна искру божию имеет... Ты поговори-ка с ней по душе!.. Она давно тяготится пустотой жизни, давно ищет... Ее некому было только направить, она такой человек...

— Фразы. Оставь! — буркнул Наум.

Но Гавринька не унимался:

— Воспитываем женщину для кухни, балов и спальни... Воспитание виновато... Она не может создать себе вполне определенной цели жизни, которая бы, так сказать, того...

Гавринька неожиданно смолк и вытянул шею... Он заметил, как в зеленой листве скользнуло что-то белое...

— Тут чьи-то уши, — вполголоса сказал он и громко окликнул: — Кто здесь?

— А я кричала, кричала... — певуче прозвучал голос толстой почтмейстерши, неожиданно представшей перед собеседниками. — У нас Наталья Михайловна и Оленька... Идите в комнаты!..

— Зачем же в комнаты-то? Если им желательно видеть нас, могут прийти сюда, — небрежно ответил Гавринька.

Почтмейстерша недоумевающе посмотрела на сына:

— Да ты что, белены объелся, что ли? Это чтобы дамы к вам, лоботрясам, бежали?! Да чему вас там обучают?

Гавринька расхохотался, а Наум, слегка улыбнувшись, не без ехидства заметил товарищу:

— Что же ты, Гаврило, в самом деле! Поди — занимай дам!

— Невежи, больше ничего! — сердито сказала почтмейстерша и, круто повернувшись, пошла прочь.

— Однако шутки в сторону! — начал Наум, когда товарищи опять остались наедине. — Мы с тобою только разговоры разговариваем... Работать так работать!..

Гавринька перестал смеяться.

Из раскрытых окон почтмейстерской квартиры доносились минорные аккорды фортепиано. Легкий ветерок шелестил листьями. В садах на «Бутырках» грустно куковала кукушка. Где-то, замирая, звенели колокольчики...

Товарищи молчали. Наум был всецело поглощен обдумыванием «дела». Гавринька прислушивался к музыке, шелесту листьев и колокольчикам. По временам эти разнородные звуки сливались в чрезвычайно приятную гармонию и, относимые ветерком, вместе замирали, словно таяли в беспредельном пространстве... Гавриньку располагало к лени, к приятной истоме... Хотелось пока прекратить всякие рассуждения, ничего не думать и не обсуждать, а так вот лежать на спине и бесцельно смотреть в чистую небесную синеву.

Наум смотрел в землю и покручивал свой черный усик.

— С чего же начнем? — вслух размышляет Наум.

— С этики... — лениво отвечает Гавринька и опять щурит глаза и прислушивается к музыке. — Наталья Михайловна играет «Молитву девы»... Симпатичная она... бойкая... с искоркой... Глаза у нее хорошие...

— Да ведь ты предлагал по женскому вопросу?!

— Да, по женскому... Это все равно, — говорит Гавринька, и в его голове «женский вопрос» олицетворяется: мелькают головка Натальи Михайловны, толстая коса Ольги и белый фартучек гимназисточки...

— Вовсе не «все равно»... — сердится Наум.

— То есть одинаково рационально, — поправляется Гавринька и опять прислушивается к «Молитве девы», к кукушке, колокольчикам и шелесту листьев...

Гавринька сладко потягивается. Наум хмурится.

— Ты все-таки зря-то не болтай, — недовольно замечает Наум, — не откровенничай! Нужна строгая конспирация...

— Ну, вот еще!.. Конечно, конспирация... — легкомысленно отвечает Гавринька и своим несерьезным тоном только еще более сердит товарища.

— Начнем с Милля... О подчиненности женщин. А там можно коснуться и специально русской женщины, — продолжает Наум...

И Гавриньке представляется «подчиненность женщины» в виде домашней сцены: отец ругается с матерью, топает ногами и кричит на женщину... а та молчит и плачет...

Кукушка кукует так жалобно и грустно... С берега реки доносятся отголоски тоскливой бурлацкой песни:

Эх, раз-ок, да вот еще,
Ах, еще махонький разок!..

А над ухом жужжит шмель... Хорошо так... Не хочется говорить, думать... Хочется только лежать и смотреть в бездонное синее небо...

— Ты что, спишь, что ли? — над самым ухом басит голос Наума.

— А? Что? Я задумался!..

— Слышишь бабий голос? Разговаривают...

Гавринька приподнимается на локте и вытягивает шею...

— Вот вы где!.. Вас желают видеть, а вы и не почешетесь... Хорошо! Вежливо! Мило!..

Перед смущенными от неожиданности студентами стояли, взявшись под руки, два женских элемента: Наталья Михайловна и Ольга.

Наталья Михайловна — молоденькая барыня с плутовскими карими глазами, с завитой холкой на лбу и задорно приподнятым кверху носиком — казалась олицетворением беспечности и игривости. При первом взгляде на нее читатель вполне присоединился бы к Науму, согласившись с высказанным им мнением относительно этой женщины, что в голове ее «уж как веет ветерок». Ольга, наоборот, смотрела своими серыми глазами задумчиво, серьезно, немного грустно и мечтательно; она была причесана гладко, без холки, имела толстую русую косу и держалась строго и серьезно. Наталья Михайловна была брюнетка, бойкая, подвижная, с постоянною улыбкою на губах; Ольга — блондинка, стройная, с ленивыми, плавными движениями и плотно сомкнутыми губами; первая — низенькая, плотная, толстенькая, последняя — высокая, хрупкая...

Студенты оправились: Гавринька вскочил на ноги, а Наум сел и поправил пояс на русской вышитой рубахе.

— Вашу лапку! — обратился Гавринька к Наталье Михайловне, протягивая руку.

— Лапки у собак бывают! — ответила Наталья Михайловна бойко, со смехом. Ольга немного покраснела.

— У собак четыре, а у нас с вами по две, — вся и разница, — возразил Гавринька, — было время, когда наши предки ползали на четвереньках...

— Ну уж, пожалуйста!.. Может быть, ваши это ползали на четвереньках, а мои нет-с! Что? Съели?

— Все мы ползали, когда были ребятами, — робко вставила Ольга и опять покраснела.

— Вы — барышня полнокровная...— сказал Наум, вглядываясь в лицо девушки.

— А я? я? — пристала к Науму барыня.

— Позвольте! Этак вы мне рубаху изорвете! — грубо заметил Наум, отводя женскую лапку в сторону.

— Я вам новую вышью... Хотите? Я люблю вышивать... Хотите — гладью? А? — затараторила барыня, и ее карие глазки засмеялись и заискрились...

Гавринька пошел с Ольгою. Наум с Натальей Михайловной. Они направились в комнаты, где давно уже их ожидал тучный семейный самовар.

IV

Солнце давно уже спряталось за горизонтом, и румяные облачка на западе давно побледнели... Смерклось. Звезды одна за другою загорелись на темно-синем фоне небес.

Ольга с трудом отыскала Авдотьин сад и не без робости вошла в его низенькую калитку... Привязанный к плетню Шарик разразился громким лаем и со всех ног бросился вперед, с явным намерением растерзать девушку. Но крепкая веревка сдержала яростный порыв Шарика... Ольга вскрикнула и хотела было уже вернуться, но в этот момент Авдотья застукала в сковороду, а где-то в глубине сада, за деревьями, раздался и знакомый голос Наума Васильевича:

— Не трусьте! Собака привязана!..

Через мгновение в темноте обрисовалась высокая фигура бутырского студента. Ольга пошла навстречу.

— Вы одна?

— Одна!

— Где же Наталья Михайловна?

— Я ждала ее (хотела вместе идти), но не дождалась... Я думала, она у вас уже...

Ольга остановилась с видимым колебанием: идти ей дальше или распрощаться...

— Куда же вы? Идем! — сказал Наум и решительно зашагал в глубь сада...

— Как-то неудобно... Одной... Неловко... — заговорила девушка, нерешительно шагая за Наумом.

— Вот еще, пустяки какие! Что, я вас съем, что ли?.. Не бойтесь — я не австралиец... Останетесь целы и невредимы.

Наум расхохотался, и его басистый хохот гулко разнесся по темному саду... Девушка тоже засмеялась... Впереди, меж деревьями, блеснул огонек, а через минуту выросла перед ними и самая хибарка... Ольге вспомнилась сказка про бабу-ягу и ее избушку на курьих ножках.

— Входите!.. Наклонитесь, а то башечку ушибете! — предупредил Наум, растворяя дверь в избу. Ольга наклонилась больше, чем требовали обстоятельства, и вошла. За нею вошел и Наум. Девушка не без любопытства осмотрелась вокруг.

Небольшой стол у единственного окна был забросан книгами, газетами и бумагами; среди них светился зеленый абажур кургузой лампочки; свет ее падал на желтый корешок переплета, на белую страницу раскрытой книги и на желтую кость черепа... На одной стене болталось ружье и ягдаш, на другой — гардероб Наума. В одном углу лежал свернутый цилиндром войлок — постель Наума, а в другом — скребки, лопаты, грабли и какие-то палки...

Странное впечатление произвела на Ольгу эта обстановка. Чем-то новым, совсем непохожим на все, что до сих пор приходилось ей испытывать, повеяло на провинциальную барышню в этой оригинальной избушке... Чувство удивления перемешалось с любознательностью и от неодушевленных предметов обратилось на Наума... Ольга странно смотрела по сторонам и вопросительно переводила взоры на Наума... Перед ней встала вдруг какая-то загадка, к которой девушка не знала как подойти. Загадка эта стояла всюду, даже и сам Наум предстал теперь пред нею совсем в ином свете, получил новый интерес... Он олицетворял собою теперь отвлеченное понятие о студенте, с его внутренним миром и особенностями. В эту минуту Ольга думала, что так живут непременно все студенты, что все они должны быть завалены книгами, все лохматые, все непохожие на остальных людей — не студентов...

Ольга была мало похожа на других сердянских барышень. Она училась в епархиальном училище, провела несколько лет в губернском городе, интересовалась книгами и теперь не могла удовлетворяться местными интересами узко-женской специальности: новыми шляпами, платьями и сплетнями с романической окраскою, чем питалось большинство местных девушек. Ольга скучала, но скучала не так, как скучали вообще сердянские девицы; те тосковали, томясь жаждою супружества, она тосковала беспредметно: ее натура инстинктивно требовала большей содержательности от жизни, а жизнь была так однообразна, так тиха и неподвижна, как стоячая лужа дождевой воды... Отец Ольги был дьяконом одной из двух городских церквей, мать — попова дочка «с домашним образованием...» Родители бо́льшего, как выдать свою Олю за семинариста, будущего благочинного, не желали.

Ольге было скучно, невыносимо скучно. Она тайно завидовала каждой проезжей паре с колокольчиками и

с неизвестным путником, который куда-то и зачем-то едет; завидовала всем, кто уезжал из Сердянска на пароходе... «Господи! Хоть бы куда-нибудь уехать!» — с тоской восклицала девушка, возвращаясь после проводов легкого парохода домой, и, севши под окном, смотрела в заманчивую даль, за Волгу, где зубчатою стеною поднимался лес, убегавший далеко, далеко и исчезавший в голубоватой дымке летнего вечера...

И вот теперь, в маленькой и тесной хибарке, перед Ольгой раскрылась вдруг какая-то неведомая, новая «даль», заманчивая «даль», куда так хотелось взглянуть, куда тянуло, манило, куда рвалось сердце, и которая все-таки оставалась совершенно туманной...

Ольга подошла к столу и с какой-то жадностью стала рассматривать книги... Раскрывши одну из них, она прочитала эпиграф:

Милый друг! я умираю
Оттого, что был я честен;
Но зато родному краю,
Верно, буду я известен...

Девушка закусила палец, задумалась... Потом прочитала еще раз эпиграф и спросила:

— Как это понять: «умираю оттого, что был честен»?.. Разве можно умереть от честности?..

Глаза Наума загорелись, и он с одушевлением стал объяснять Ольге, что значат эти слова, и рассказывать, как умирают люди оттого, что были честны...

— Много людей гибнет потому только, что они честны, — закончил Наум, — но, увы!.. не всегда за это они делаются известными родному краю... А разве вы не читали этой книги?

— Нет... Дайте мне ее! Я хочу узнать, какие люди умирают от честности?

— С удовольствием... А что покажется непонятным — спросите... может, сумею растолковать...

Час времени прошел незаметно для обоих. Ольга закидывала Наума вопросами, а он не умел коротко отвечать. Увлечется, уйдет в сторону, забудет, с чего начал разговор, и распространится... А Ольга тоже забудется; она заслушается Наума: уж больно интересно и хорошо говорит. Случайно тема беседы остановилась на «цели жизни»... Ольга откровенно созналась, что у ней нет никакой такой особенной цели и что живет она просто потому, что

родилась... Наум долго смеялся. Потом он замолк и стал серьезным и строгим, как требовала того серьезность задетой темы. И опять потянулась целая лекция о жизни вообще, задачах и целях честного человека, его нравственном долге и ответственности...

— Правда, правда, Наум Васильевич! Я чувствую, что это правда. Но как же иначе? Что делать?

— Раз человек приходит к выводу, что так жить нельзя, ищет выхода...

— Я понимаю, но как? Куда идти? Что нужно делать?

Голос Ольги дрожал. В глазах девушки, доверчиво устремленных на студента, светилась просьба помочь, научить, рассказать; в тоне ее голоса, мягком, нежном, заискивающем, полном уважения к собеседнику, слышались и жалобы, и жажда новой, неведомой жизни, и недовольство собой, и горькое сознание своей беспомощности...

— Что делать? — переспросил Наум после продолжительной паузы и хмуро ответил: — Прежде всего надо сделаться полезным обществу человеком... А для этого нужны знания... Стало быть, прежде всего надо учиться...

— Это правда, правда... Но если нет средств? Если не на что учиться?

— Так рассуждает только тот, кто или вовсе не хочет учиться, или боится труда.

Губы девушки конвульсивно вздрогнули. Она замолчала. Замолчал и Наум.

В это время Авдотья застучала палкою в разбитую сковороду, и Ольга вспомнила, что она в гостях, что ее давно уже ждут дома и что мать, вероятно, сильно тревожится... Она испуганно вскочила с табурета и засуетилась, отыскивая шляпу.

— Так и не состоялось сегодня наше чтение! — сказал Наум. — Когда же соберемся? и где? Ко мне не придут, а у Гаврилы помешают... Нельзя ли у вас?

— Н... нет, у меня мамаша... неудобно...

— А... а! понимаю... Увидите Наталью Михайловну — скажите, чтобы она относилась к делу немного подобросовестнее...

— Хорошо. Вы меня проводите?

Наум взял из угла суковатую палку, набросил на затылок шляпу и растворил перед Ольгою дверь:

— Пожалуйста! только башечкой не стукнитесь!

Опять залаял Шарик. Опять сонная Авдотья забрякала в сковороду.

На небе мерцали тысячи звезд.

V

Гавринька вел свою линию. Как человек, принадлежащий к местному «бомонду», он имел дело по преимуществу с представителями этой категории. Посоветовавшись с Наумом, Гавринька затеял устройство спектакля в пользу бедных студентов. Эта мысль была встречена общим восторгом и настолько сочувственно, что предложение услуг в качестве сценических сил сильно превысило необходимость в них. Оказывалось, что все девицы Сердянска были страстные любительницы театра, прекрасные артистки. Всем им хотелось играть. Зато большой недостаток ощущался в мужском персонале. Эта неравномерность поставила Гавриньку в большое затруднение, так как он никак не мог подыскать вполне подходящую пьесу, то есть такую, где было бы одиннадцать женских ролей, и одна или две мужских. Затруднение увеличивалось наличностью еще некоторых других условий: так, необходимо было, чтобы в пьесе не было ни одного поцелуя между мужчинами и женщинами и, кроме того, чтобы в ней не было ни горничных, ни нянек, ни мещанок, на амплуа которых не находилось актрис, а чтобы больше фигурировали графини, баронессы или по крайней мере офицерши, и непременно молоденькие, а не старухи...

Гавринька метался как угорелый, рыская по обывательским книгохранилищам и отыскивая подходящую вещицу... Но увы!.. Везде ему попадались под руку только одни приложения к «Ниве», к «Лучу», к «Живописному обозрению», сборники переводных романов и повестей.

Между тем весть о предстоящем спектакле с быстротою телеграфного сообщения облетела все порядочные дома, взволновала их обитателей и создала неисчерпаемый источник болтовни, сплетен, интриг, ссор и крупных недоразумений. Одна мамаша обижалась за дочку, потому что студент упрашивает ее меньше, чем другую, капризничающую девицу; другая мамаша подозревала какой-то заговор против своей со стороны некоторых участников; третья кричала Манечке:

— Не позволю вихляться с фельдшером!

Дочки, все без исключения, принялись уже приготовляться к предстоящему событию: шили новые платья, совещались, соревновались, завидовали, злились, а многие даже и не раз поплакали... Отцы ворчали на жен и дочерей... Словом, поднялась такая кутерьма, какой не было уже в Сердянске с того времени, когда жена столоначальника, во время танцевального вечера в клубе, плюнула в физиономию жене акцизного надзирателя, заподозрив последнюю в шашнях со своим мужем.

Долго мучился Гавринька. Наконец ему удалось-таки отыскать пьесу, в которой было шесть женских ролей, три — мужских, только два поцелуя и одна горничная.

Лучшего не было...

Как же быть? Куда же девать пять остальных девиц, которым не хватало ролей? Каким образом выключить поцелуи, на которых построены целые сцены? Как поступить с горничной?..

— А, черт с ними! — сказал с досадою Наум на общем совещании, — роли две подбавим, сами присочиним, а остальных побоку!..

— А как же насчет целования? Ведь Марья Егоровна (исправница) и Вера Григорьевна, да и все другие и слышать не хотят, если их дочкам придется целоваться!..

— Уговорим... Скажем, что целовать будут в воздух...

— Не согласятся, не поверят...

— А тогда вот что: в ролях не напишем, а на сцене, когда будет нужно, лизнем, да и кончено!.. Там после пускай бесятся...

— А как делаться с горничной?

— Ах, шут их дери! пиши «бонна»!..

Таким образом были устранены главные препятствия, и Гавринька приступил к переписке ролей и раздаче их по рукам.

Но здесь-то и крылась погибель доброго дела. Фимочка, дочь исправника, и Фанечка, дочь воинского начальника, были обижены и возмущены до глубины души: первой досталась по жребию одна из бестолковых ролей, присочиненных Гавринькой, а второй — роль «бонны», чересчур уж смахивавшей на горничную.

— Что же это за глупая роль!.. Только и есть: пей чай, «здравствуйте» да «прощайте»!.. И только в одном действии!.. — заявила Фимочка на первой же репетиции в клубе.

— Очень благодарна!.. Какая это «бонна»! Разве бонны подают пальто?.. — роптала Фанечка.

— Ну, выкинем это, пальто можно и не подавать, — сказал Наум из маленькой суфлерской будочки.

— А это что: «Барыни дома нет-с»? Какая же это бонна?! Лакейская роль!.. Нет уж, мерси, играйте сами! — ответила Фанечка, сделала реверанс Науму и сказала подруге:

— Не больно нужно! Наплевать, Фима, пойдем!

И они, взявшись под руки, красные от чувства оскорбленной гордости и самолюбия, побросали свои роли и удалились из клуба...

— Ну, и с богом! — крикнул Наум вслед обиженным...

Гавринька обратился с просьбою принять свободные роли к оставшимся за штатом артисткам. Но те с негодованием отвергли предложение.

— Когда некому стало играть, так понадобились и мы. Больно нужно! Наплевать! — обиженно ответили они Гавриньке.

Все артисты разбежались, остались лишь двое: фельдшер и секретарь полиции. Но и те, в ожидании второго действия, пребывали внизу, в бильярдной, и стукали шарами...

— Нам не скоро!.. Успеем!.. Еще одну партию в пять шаров! — кричал фельдшер, когда Гавринька пытался извлечь артистов на сцену...

Наум долго сидел в будочке и ждал... Но наконец и у него лопнуло терпение.

— Какого лешего! У меня ноги свело! — сказал он и вылез из будочки.

Репетиция не состоялась и была отложена.

Гавринька растерялся. Он видел, что с каждым днем положение дел ухудшалось, — недовольство росло, ропот усиливался. Обиженные, при посредстве третьих лиц, усовещивали играющих подруг плюнуть, подвергали их едким насмешкам и колкостям, сочиняли компрометирующие сплетни и различные небылицы. Негодование одних и восторженное ликование других создало два враждебных лагеря.

Во главе оппозиции стояли две первостатейных особы города: исправник и воинский начальник, родительская гордость которых была затронута известным уже читателю обстоятельством. Доброе дело стояло на краю гибели, так

как исправник неожиданно отыскал циркуляр, которым возбранялось студентам устраивать спектакли с денежными сборами. Почтмейстер, по просьбе сына, ходил лично к исправнику ходатайствовать: но тот, хотя и принял гостя радушно, хотя и угостил его какой-то особенной настойкой с сорока трав, пьесы все-таки не разрешил, ссылаясь на то, что он, исправник, «не о двух головах» и что «у него также — своя семья, дети»...

Почтмейстер обиделся. Он намеревался было уже послать телеграмму «куда следует» с просьбою разрешить возникшее недоразумение. Но возмутившийся Наум, по своей горячности и непоколебимой вере в торжество правды и справедливости, испортил вконец все дело...

Наум решительно влетел в квартиру исправника и еще более решительно стал чего-то требовать... Тот сперва опешил, а потом возвысил голос. Наум тоже закричал. Исправник назвал его невежей. Наум попросил быть поосторожнее и т. д.

Объяснение окончилось крупной руганью и угрозой со стороны возмущенного Наума — предать эту историю на суд общественного мнения, сделавши ее достоянием гласности.

Ну, а после этого все рухнуло: клуб, где старшинствовал оскорбленный исправник, наотрез отказался дать под спектакль свой шестиоконный зал...

Так телеграмма и осталась в проекте...

— Ах он молокосос этакий! «Предам гласности!» — жаловался исправник, беседуя с воинским начальником и будучи не в силах забыть столкновения с дерзким студентом. — «Гласности!» Я тебя научу вежливости!..

— Мало их муштруют. Распущенность! Никакой дисциплины, — сочувственно заметил воинский начальник.

— Распущенность! — подтвердил исправник, — полнейшая распущенность!.. Помилуйте, они тут черт знает что делают: завели какие-то общества, книжки девчонкам дают... Я вас вижу, молодцы, насквозь!

VI

— Наум Васильевич! Опять у Натальи Михайловны несчастье... Опять дерется... Он ее убьет, а заступиться некому... Пойдемте!.. Пожалуйста!.. — задыхаясь от

волнения, проговорила неожиданно вбежавшая в хибарку Ольга.

— Опять напился?

— Да, пьяный... Он ее убьет.. Скорей... скорей!..

Наум грозно кашлянул, набросил на плечи пальто, а на голову шляпу и, мимоходом захвативши из угла свою суковатую дубинку, пошел заступиться...

При входе из садовой калитки они встретили Гавриньку, тоже чем-то, видимо, сильно озабоченного и расстроенного.

— Куда?.. Мне надо сказать два слова...

— После. Сейчас нельзя, — ответил, не останавливаясь, Наум...

Гавринька присоединился к ним. Они шли быстро, порывисто и молча... Ольга едва поспевала за студентами. Ее сердце сильно стукало от быстроты хода, а еще более — от охватившего ее душу волнения... Наум крепко сжимал свою дубинку в кулаке, словно приготовлялся с кем-то драться ею, сердито откашливался и отплевывался: он шел решительно, шагал широко и поводил бровями... Гавринька хотя и не знал, в чем именно дело и куда они идут, но настроение Наума живо передалось ему. Гавринька чувствовал, что какое-то важное, экстраординарное событие требует их немедленного присутствия «там», где им предстоит что-то неприятное, с чем придется столкнуться грудью, вступить в борьбу...

Подобное состояние он испытывал всегда, торопясь на пожар...

Гавринька не спрашивал, что случилось, не размышлял о том, какое дело предстоит ему... Он твердо верил Науму, знал, что если Наум идет так быстро и решительно, значит это нужно, значит совершается что-то возмутительное и значит требуется кому-нибудь братская помощь...

Когда компания перешла мостик и свернула в проулок, Гавринька понял, что они идут к Наталье Михайловне в дом, и сейчас же догадался, какого сорта возмутительное обстоятельство может там совершаться... Все трое как-то инстинктивно прибавили шагу...

Впереди, около небольшого домика с палисадником, толпилась группа серых обывателей... Некоторые, вытянув шеи, смотрели через изгородь, другие теснились к крыльцу,

третьи отошли на дорогу... Из раскрытых окон слышался визг, заглушаемый хриплым пьяным голосом...

— Господи! что это?.. Наум Васильевич!.. — зашептала Ольга плаксивым тоном, — идите!

Наум почти побежал, за ним последовал и Гавринька... Ольга отошла в сторону, с замиранием сердца ожидая момента освобождения бедной Натальи Михайловны...

— Что же вы смотрите? Видите, слышите и молчите! — выкрикнул возмущенный индифферентизмом Наум, проталкиваясь к крыльцу...

— Дело семейное... — ответил какой-то мещанин и тихо побрел прочь, испугавшись, как бы не попасть еще в свидетели...

— Убить может... Какое семейное дело! остолопы! — мимоходом заметил Гавринька, и студенты влетели на крыльцо. Наум с силою толкнул дверь, но она оказалась запертою. А визг и крики все усиливались... Наум во всю мочь застучал в дверь своей дубинкою, а Гавринька скользнул в палисадник и полез к окну...

— Отоприте! Немедленно отоприте! слышите? — кричал Наум, ботая в дверь дубиною.

— Как вам не совестно!.. Ах, вы!.. А еще интеллигентным человеком себя называете! — кричал в окно Гавринька.

В комнате землемера вдруг стихло... Было слышно только, как кто-то тихо, подавленно плакал, да кто-то сердито ворчал и буркал, грозно ступая по сеням...

— Кто тут? Не принимаю!.. — глухо сказал хриплый голос через запертую дверь...

— Отоприте! Или я...

Наум не договорил. Он засунул конец палки между косяком и дверью, злобно рванул в сторону и толкнул ногою... Дверь с грохотом распахнулась, и Наум предстал пред полураздетым господином с свирепою отекшею физиономией и колоссальной бычачьей шеей... Между тем Гавринька, видя крайнюю необходимость братской помощи, уже вскарабкался на подоконник и исчез, показавши публике свои пятки и панталоны с резко бросавшимся в глаза изъяном...

Пьяная рожа налилась кровью и посинела. Потерявший от пьянства подобие божие человек был готов броситься на Наума, но в этот момент позади его раздался резкий молодой голос Гавриньки:

— Как вы смеете драться? Живодер!

Пьяная рожа оторопела: неприятель был и с фронта, и с тыла.

— Позвольте, господа!.. Кто вы такие и на каком основании врываетесь в дом мирных граждан? — сурово, но смущенно спросила эта рожа.

— Мы — люди и пришли заступиться за брата! — резко крикнул Гавринька, петухом наступая на растерявшегося землемера.

— Кто бы мы ни были, это вам все равно... А мое основание — отвечать на насилие насилием! — сердито добавил Наум и пристукнул своей дубинкою.

— Студенты, вот кто! — присовокупил еще чей-то голос с крыльца.

Любознательная публика успела уже забраться на крыльцо и смело заглядывала теперь в сени.

— Студенты!.. А-а... любовники!.. ха-ха-ха!.. Ну, что ж? Милости просим!.. Эй! Наташка! Принимай своих любовников!.. — закричал землемер, уходя в комнаты.

— Молчать! Вы не понимаете, что говорите! — закричал Гавринька, сверкая глазами и сжимая кулаки.

— Наум Васильич! А ты бы его по пьяной харе-то!.. может, опомнится... — пискнул бабий голос из публики.

Пьяная рожа скрылась. Наум и Гавринька пошли следом за нею.

Здесь, в комнатах, произошла еще более возмутительная сцена. Пьяный человек разразился страшной, площадной руганью по адресу всех присутствующих и многих отсутствующих. Ругал жену, студентов, почтмейстера, себя и в заключение вынес какую-то книгу, растерзал ее в клочки, смял, затопал ногами и крикнул:

— Вот вам женский вопрос! Вот вам «Судьбы женщины»!..

Наталья Михайловна сидела растрепанная, маленькая и жалкая, забившись в угол, и плакала, опустив свое смуглое личико на руки. Перед ней стоял Гавринька с тальмою, шляпой и зонтиком. Он уговаривал ее уйти из дому...

— Куда я пойду? Некуда... — сквозь слезы говорила Наталья Михайловна. Гавринька уговаривал. Он предлагал ей пока идти к ним в дом. Потом он подготовит ее в сельские учительницы. Он готов даже уступить ей половину своей стипендии — «после, когда будут, отдаст...».

А Наум уселся в кресло и молчал, покуривая папиросу,

в то время как пьяный землемер продолжал хохотать и ругаться... Казалось, Наум хотел терпеливо выслушать все, что еще скажет и как еще сумеет изругаться «скотина», — так мысленно называл Наум пьяного землемера.

Прошло минут десять, и землемер действительно умолк. Он тихо убеждал себя в том, что жене вовсе не больно и что она только визжит, как кошка, притворяется, устраивая скандал на всю улицу... Он убеждал себя, что он нисколько не виноват, что ему простительно — он больной человек, с которым надо обращаться ласково, не раздражать его и не подзадоривать.

— Я знаю, что я подлец, прохвост, что я пьяница... Не следует!.. Я и сам понимаю, что я погибший человек. Ну, подожди, — издохну... все равно, тогда... — плаксиво бормотал он, ходя по комнате. — Дура! Баба дура — вот в чем весь женский вопрос...

Наталья Михайловна вдруг вскочила с места и торопливо стала надевать тальму и шляпу.

— Действительно, дура!.. Давно бы надо вас к черту послать, надоело уж вашей рабой-то быть... Пойдемте!..

Она мотнула хвостом и вышла. За ней двинулись Наум и Гавринька, по дороге подобрав с полу жалкие остатки «Исторических судеб женщины».

— Наташа! Не уходи! Не бросай! Ей-богу, утоплюсь! — отчаянно кричал с крыльца пьяный землемер.

— Врешь, не утопишься! — шепотом отвечала, не оборачиваясь, Наталья Михайловна.

— Наташа! Прости!.. Прости!.. Ведь я несчастный человек, — умолял пьяный землемер.

А Наталья Михайловна уже преобразилась. Она гордо шла вперед. На ее красивом личике уже играла игривая улыбочка... Глаза смотрели весело и лукаво.

— Проклятый! ущипнул как! до сих пор больно...

— Эй ты! долгогривый! — неистово заорал на всю улицу землемер. — Мало тебе дьяконовой дочки? Смотри, за двумя зайцами погонишься и одной не...

Никто не ответил.

— Наташа! Вернись!..

Никто не обернулся.

— Наташа! Не уходи-и-и...

И пьяный человек, опустившись на ступенях крыльца, разрыдался вдруг неутешными слезами и, всхлипывая, стал биться головою о лестницу...

VII

Освобожденную Наталью Михайловну студенты привели в квартиру почтмейстера. Миловидная землемерша давно уже пришла в обычное игривое настроение и беспечно приводила в порядок свою растрепанную прическу и кокетливый домашний костюмчик, позируя перед большим зеркалом, а Гавринька все еще не мог успокоиться и в сильном волнении ходил по комнате крупными шагами; его детски доброе свеженькое лицо отражало благородный гнев, сознание выполненного долга и твердую решимость действовать. Наум постоял в дверях, как-то недоумевающе посмотрел по стенам, мимоходом взглянул на стоявшую перед зеркалом землемершу, погладил свои черные кудри, вздохнул и вышел, не произнеся ни единого слова...

— Наум Васильич! Пойдемте вечером удить! — крикнула в окно Наталья Михайловна, случайно заметив уходившего Наума.

«Дура! Какое на нее нравственное воздействие!.. Пустая трата времени», — подумал Наум и, не остановившись, крикнул в сердцах:

— У меня есть занятия более интересные!..

— Какие? Постойте же!.. Какие занятия?.. Может быть, и я...

Но Наум не ответил и ушел.

А Гавринька все мерил зал своими энергичными шагами...

— Будет вам ходить-то! Устанете... — заметила ему землемерша...

Гавринька взглянул на Наталью Михайловну и улыбнулся. Он подумал совершенно противное тому, что думал Наум.

«Какая хорошая натура!.. Как она скоро забывает личное горе и страдание, как она умеет прощать!.. Такие натуры способны к самопожертвованию!» — мелькнуло в его голове, и никогда еще красивое личико землемерши не казалось ему таким милым, добрым, поэтическим, как сейчас... Никогда еще эти черные глазки не смотрели так ласково и беспомощно, словно глазки испуганной, пойманной птички, и никогда они еще не были так глубоки, так загадочно глубоки, как сейчас... О, если бы она жила в другой среде, при других условиях социально-экономической жизни, если бы она знала всю ложь, в которой... О!

тогда можно бы полюбить такую женщину, полюбить всем существом своим!.. Тогда можно бы смело подать ей руку, чтобы идти вместе, по-братски разделяя и горе и радость...

А Наталья Михайловна угадала смысл брошенного на нее Гавринькой взгляда...

— Что вы так посмотрели на меня?.. Вы — добрый, вам меня жалко? Да? Жалко?.. Хороший вы будете муж, вас будет любить жена...

Гавринька печально покачал головою и ответил:

— Увы!.. Я никогда не женюсь...

— Что же, в монастырь пойдете?

— Нет, зачем в монастырь. Нет, ты проживи в мире и сохрани душу, искру божию! вот это — достойная задача.

— Почему же вы не женитесь?

Лицо Гавриньки сделалось серьезным, и он объяснил почему:

— Иногда приходится отказываться от личного счастья... Жена связывает по рукам и ногам, заставляет человека идти на различные компромиссы, а отсюда...

— Куда идти? в комиссии?..

— На компромиссы, то есть сделки со своей совестью... А отсюда не далеко уже и до подлости... Вот, например, ваш муж...

— Ну уж, пожалуйста!.. Мой муж вовсе не подлец... Мы никогда подлецами не были... И с вашей стороны бессовестно так говорить. Я не ожидала, — проговорила впопыхах Наталья Михайловна и схватилась было за шляпу. Но Гавринька удержал ее.

— Вы меня не поняли, не дали договорить!.. Простите, ради Христа, Наталья Михайловна! Что вы!.. Я вовсе не говорю, что он подлец; я хотел сказать, что он глубоко виноват перед вами, что, раз он женился на вас, на его совести...

Гавринька слукавил. Он именно хотел сказать, что землемер — подлец... Теперь ему было стыдно перед самим собою, и он совершенно спутался, ибо хотя Гавринька мысленно и называл землемершу «дитя», но она все-таки догадалась, что выходит так: «Муж ее нехорош, а нехорошим сделался потому, что женился...»

— Какой бы он ни был, мой муж... Что же, я тут виновата, по-вашему?

— То есть как вы? Напротив — он...

— И он не виноват, — обрезала Наталья Михайловна, — виновата водка, вот кто! Я бы давно все кабаки проклятые закрыла и все водочные заводы сожгла, если бы...

— Вы не знакомы с финансовой политикой, потому так и говорите... Знаете ли вы, сколько доходов приносит питейная статья?..

— А ну вас с вашей питейной статьей!.. Все деньги только пропивают...

Гавринька неприятно поразился «незнанием», но простил такую близорукость. «С повязкой на глазах, — сказал он в душе, и внутренний голос добавил: — Твой долг, твоя нравственная обязанность снять с глаз эту повязку!»

Наталья Михайловна спросила, где мамаша и папаша.

— Отец в конторе, а мать, верно, ушла куда-нибудь.

Они замолчали.

Солнце садилось и косыми лучами заглядывало в почтмейстерский зал, а между прочим и на смуглую щечку сидевшей у окна Натальи Михайловны. Свет и тени рельефно обрисовывали красивый профиль миленького женского личика. Оно казалось таким изящным, словно было изваяно искусною рукою художника-скульптора... Черная прядь волнистых волос небрежно упала на лоб и прикрыла лукавый глазок. Маленькая ручка с тонкими пальчиками казалась совсем детской, особенно мизинчик, который, прихотливо оттопырившись, невольно приковывал к себе взгляд молчавшего Гавриньки. О чем думала эта милая головка, этот лукавый, прикрытый прядью волос глазок?.. Что таилось в бездонной глубине его?.. Зачем так прихотливо торчал мизинчик?.. О, конечно, не о «питейной статье» думала эта головка, и не потому так красиво топорщился мизинчик, что ему хотелось закрыть все кабаки в мире...

Ударил соборный колокол к вечерне и оторвал Гавриньку от разрешения тайн глубины глазок и мизинчика... А глазки и мизинчик тоже вздрогнули, — Наталья Михайловна вспомнила ужасную вещь: завтра день рождения мужа, заквашено тесто для пирога и может перестояться или прокиснуть...

— Что же делать?.. Господи!.. Надо идти! Как же я?..

Гавринька повторял опять, что выход есть: готовиться в сельские учительницы.

— Чего вы?.. Я не про то... Я — про пирог!..

И Наталья Михайловна звонко расхохоталась. Гавринька покраснел, но тоже расхохотался...

— Как же быть? Надо ведь идти... Боюсь — опять скандалить будет...

— Плюньте на пирог... Пустяки!.. А, впрочем, если вы пойдете, я не прочь сопутствовать... В обиду не дам, будьте уверены!.. Только стоит ли думать о пироге, когда... Странная психологическая загадка: в трудные, серьезные моменты человеку обыкновенно лезут в голову какие-нибудь пустяки... Помню, у Гюго есть одна вещица, где описываетя последний день осужденного на смертную казнь... Вы не читали?..

— Вон и ваша мамаша идет!.. Накупила чего-то!.. Анна Васильевна! Здравствуйте! Мы tête-à-tête!..

Головка Натальи Михайловны спряталась в стоявших на окне цветах. Гавринька подошел к столу и стал восстановлять остатки «Исторических судеб женщины», имевших несчастье попасть землемеру под пьяную руку.

Через несколько минут в комнату вошла, переваливаясь, как жирная, откормленная утка, толстая почтмейстерша и, бухнувшись в кресло, воскликнула:

— Уф!

Наталья Михайловна жалобным тоном беззащитного ребенка стала жаловаться ей на мужа, рассказывая все его зверства по отношению к ней и описывая его вандализм по отношению к книге.

— Уф!.. Озорник!.. Книга-то, чай, денег стоит... Твоя она, что ли, Гавря?.. По чему учиться-то будешь?.. Новую придется...

— Обойдусь... Она не особенно нужна, — ответил Гавринька. Рассказы и жалобы Натальи Михайловны уже успели опять растрогать его мякое, отзывчивое сердце, возмутить душу и пробудили жажду подвига...

— Живодер!.. Бросить его!.. Хуже ига монгольского... Мамаша! пускай Наталья Михайловна поживет пока у нас... Я подготовлю ее в учительницы... Это невозможно, — заговорил он, шагая по комнате.

Почтмейстерша сразу отдохнула от усталости. Эта толстуха была очень добродушна, но вместе с тем была, что называется у нас, хорошая хозяйка, то есть побаивалась, как бы гости не съели лишнего куска пирога, умела это сделать и притом выдержать тон полнейшего гостеприимства и радушия. Поэтому легкомысленное предложение

сына сейчас же подсказало ей о лишних расходах, совершенно ненужных... Она вспомнила, что вся провизия вздорожала, что сахар — по шестнадцати, а телятина — по десяти.

— Что ты, с ума сошел? Зачем будет жить у нас Наталья Михайловна? Только подождать, покуда протрезвится, а потом можно идти... Не в первый раз... В трезвом виде Антон Павлиныч золото, а не человек... Не в первый раз!.. А где же — у нас? Неудобно, да и сама Наталья Михайловна не захочет... Да разве можно, чтобы законная жена мужа бросила?.. Чего городишь!..

При этом почтмейстерша посмотрела вопросительно на землемершу, и та поспешила ответить:

— Конечно, конечно... Трезвый — он прекрасный человек... Проспится, будет у меня же ноги целовать...

Таким образом, проект Гавриньки был отвергнут... Гавриньке стало грустно, и он тоскливо стал насвистывать «Укажи мне такую обитель»... А почтмейстерша с землемершей увлеклись разговором о какой-то сарпинке, замечательно дешевой и хорошенькой...

Наталья Михайловна осталась ночевать, бросив пирог на произвол судьбы. Она только пожалела, что не успела захватить с собою работы... Гавринька поинтересовался, что работает Наталья Михайловна, и узнал:

— Вышиваю гладью рубашку... Одному молодому человеку, который мне очень нравится!..

Гавринька вспыхнул от мысли, что, может быть, тот молодой человек — он, Гавринька. Но краска мигом слетела с его щек, когда Наталья Михайловна попросила его никому не говорить о вышиваемой рубашке, так как это — секрет, и рубашка должна быть неожиданным сюрпризом на память... Гавринька моментально сообразил, что не он — этот молодой человек, который очень нравится Наталье Михайловне, и ему стало почему-то и обидно, и стыдно, и немного грустно... Сообразил он и то, что этот молодой человек не кто иной, как Наум... И, сказать по правде, в его сердце зашевелилось нечто вроде ревности и неприязни к другу.

— Сентиментальности! — сказал он небрежно.

Долго не спалось в эту ночь Гавриньке. Лежа в постели и покуривая папиросу, он смотрел в темное пространство и думал. Он думал о том, какая хорошая, милая женщина вышла бы из Натальи Михайловны при других

социально-экономических условиях... Впрочем, порой в эти думы совершенно насильственно врывались и другие. Пред Гавринькою вдруг вставал Наум в вышитой гладью рубахе и говорил: «Я, а не ты — тот молодой человек, который нравится этой милой и хорошей женщине!..» Между тем Наталья Михайловна спала и видела сон. Ей снилось, что ее пирог вылезает из квашни, шипит и топорщится, ползет и превращается в какое-то ужасное чудовище... Но бояться нечего: около нее стоит грозный Наум и, пристукивая своей суковатою дубинкой, хладнокровно заявляет: «Если ты позволишь только коснуться беззащитной женщины, — я заставлю тебя лечь опять в эту квашню вот этой дубиной!..»

VIII

Вышитая гладью рубашка имела чрезвычайно неожиданные и серьезные последствия...

С того дня, когда Гаврипька впервые узнал об этой рубашке, он стал все более и более убеждаться, что из Натальи Михайловны, при других социально-экономических условиях жизни, вышла бы чудная, милая женщина, — это во-первых, а во-вторых, он стал все более убеждаться, что сердце Натальи Михайловны тяготеет к Науму. Гаврипька заметил, что она скучает в его обществе, а ищет Наума, что она очень часто говорит о Науме и спрашивает и думает о нем. Однажды, например, когда все общество решило ехать на Студеный Ключ с самоваром и пирогами, дело расстроилось только потому, что Наум отказался участвовать в пикнике, резко заявивши, что он в принципе против пикников и вояжей. За Наумом последовал отказ со стороны Натальи Михайловны, которая откровенно сказала, что «без Наума Васильевича не стоит: уж ехать — так всем!..» Ну, а без Натальи Михайловны не согласились ехать ни Ольга, ни гимназисточка Ниночка, да и почтмейстерша, принявшая было мысль о поездке на Ключ восторженно, вдруг впала в сильнейшую реакцию и принялась роптать на пустые затеи, сопряженные лишь с неудобствами и неприятностями.

— Чаю можно и в саду напиться!.. Не все равно чай-то да пироги, что их пить да есть на ключе, что дома, — вкуснее не будут...

Гаврипька настаивал, но когда все его старания не

повели ни к чему, он почему-то рассердился и, взяв с собою краюшку черного хлеба, пошел на ключ один, обругавши всех, не исключая и Натальи Михайловны, обидными словами.

С Гавринькой совершилось что-то странное: он не так близко к сердцу стал уже принимать обязанность интеллигента заботиться о саморазвитии и на общих собраниях, когда не было здесь Натальи Михайловны, частенько позевывал, закрывая рот ладонью, несмотря на то, что Наум перешел уже к чтению и разбору «Исторической силы критической личности». Вместе с этим отношения товарищей стали заволакиваться дымкою взаимного непонимания и недоразумений. Простая, задушевная искренность стала исчезать и заменяться заметною холодностью. Гавринька почему-то стал скептически относиться к словам Наума, чего тот никогда прежде не замечал со стороны товарища, а Наум постепенно изменял к худшему мнение о Гавриньке, замечая в последнем склонность к отлыниванию от чтений и возраставшее день ото дня тяготение к бабьей юбке. Был случай, что Гавринька задремал во время монотонного чтения о «Рычаге прогресса», чем сильно рассердил Наума.

— Если тебе хочется спать, так лучше совсем не приходить, а то брать с собою хоть подушку! — заметил он пробужденному товарищу и посмотрел на Гавриньку с таким презрением, что тот уже более не засыпал, стараясь всякий раз, когда дрема клонила вниз его голову или одолевала позевота, кусать себе язык и растопыривать слипавшиеся веки глаз.

Не осталась без последствий вышитая рубашка и для Натальи Михайловны: муж, давно уже понявший разрешение «женского вопроса» в смысле, невыгодном для своих прав мужа, как-то случайно встретил Наума в подаренной Натальей Михайловной рубахе. Как ни конспирировала свою работу Наталья Михайловна, но муж все-таки видел ее и теперь вспомнил узор — «розы с листочками»... Неосновательная ревность нашла себе в этом новую пищу, а подозрение — основательный фундамент, и землемер опять нализался как сапожник и наскандалил на весь город...

В припадке безумия он бегал по улицам и кричал:

— Я ему покажу «вопрос»!.. Я ему сверну шею! я обоих зарежу!

Чуткое обывательское ухо уловило скрытый смысл этих непонятных слов, обывательская фантазия создала из них целый роман, и сплетня стала расти, как снежный ком, который катают школьники в теплые зимние дни, приготовляя гигантские «бабы».

Нельзя сказать, чтобы эти сплетни были близко приняты к сердцу Натальей Михайловной: она вполне усвоила уже преподанную Наумом науку — плевать на общественное мнение; но дело в том, что это обстоятельство повело за собою еще новые осложнения: дьякон, отец Ольги, до которого дошли слухи, строго-настрого запретил дочери водиться со студентами и грозил непокорной девушке пожаловаться исправнику, если та будет посещать «беззаконные сборища» и читать «социологические книжки». Дьяконица не стращала, а только уговаривала, усовещивала:

— Дело девичье... Долго ли до греха! опозорят, обесславят... Им что!.. Забава одна, развлечение... А после ни один хороший человек на тебя не взглянет!.. Разве прилично молодой девушке... Ну, та (то есть Наталья Михайловна) пускай!.. Вертушка!.. Связался черт с младенцем!.. Стыдно, Оленька!.. Грешно! — урезонивала дьяконица упрямую девушку, но та твердила свое:

— Глупости! Мало ли что болтают!.. Я не верю. — Ольга серьезно подумывала о поступлении на курсы. В ее голове стоял такой ералаш, копошилось столько дум, столько вопросов, что она уже перестала тосковать беспредметно и завидовать тем, кто только куда-нибудь ехал, безразлично — куда и зачем. Ольга чувствовала страшную жажду знаний, а курсы представлялись ей единственной возможностью разрешить все неразрешимое, понять все непонятное... Тоска приняла определенную форму и направление: это была тоска, обусловливаемая сознанием недостатка знаний и стремлением к образованию, но стремлением с непреодолимыми преградами...

Но — боже мой! — какая ужасная катастрофа произошла в доме отца дьякона, когда Ольга высказала свое желание — поступить на курсы!.. Отец дьякон и ругался, и плевался, проклинал студентов и курсы, чуть не побил мать дьяконицу и свою дочь, ударил кулаком по столу и простирал перст к небу.

— На курсы!.. Будь они прокляты!.. Еще недостает только, чтобы ты, моя дочь, принялась шить штаны и рубашки для кавалеров!.. Не допущу!.. Всех студентов буду

вон гнать... чтобы и глазу не смели казать!.. Обращусь к властям предержащим!.. Тьфу! И эту землемершу непутную на порог не пущу!..

Впрочем, напрасно отец дьякон упоминал о землемерше: Наталья Михайловна давно уже перестала дружить с Ольгою, — с тех пор как для нее стало ясно, что Наум отдает той предпочтение. С этого времени между приятельницами пробежала черная кошка, что стало особенно заметным после того несчастного вечера, когда на общем чтении Ольга нечаянно пролила чернила на облеченного в подаренную рубашку Наума.

— Это свинство! — крикнула тогда Наталья Михайловна. — Я трудилась, трудилась, а ты, словно нарочно, испортила!

— Извините, Наум Васильевич! Нечаянно! — сказала Ольга.

— Ничего, пес с ней, с рубашкой! Не в этом дело, — ответил Наум и этим ответом явно показал, что нисколько не дорожит ни подаренной рубашкой, ни памятью Натальи Михайловны.

— Очень благодарна! — обиженно заметила Наталья Михайловна. — Только все-таки, по-моему, свинство так относиться к чужим вещам!.. Пусть вышьет сама, а потом и мажет чернилами.. Очень даже вежливо!..

Гавриньке было тоже обидно за Наталью Михайловну, и он сильно рассердился на Наума, который так бесцеремонно невежлив и груб с женщиной...

Вскоре совершилось нечто ужасное и в семье почтмейстера. Отец Гавриньки неожиданно объявил, что Наталья Михайловна — шлюха и что она только кружит головы молокососам... Дело происходило за обедом и разрешилось крупною сценою между отцом и сыном.

— А тебе рано еще за чужими женами бегать!..

— То есть как это понять? — нахмуря брови, спросил Гавринька.

— А очень просто: не изволь бегать за землемершей! А лучше загляни в книги-то... Все, чай, из башки-то вылетело!..

— Это мое дело!.. Вы во всем видите одну гадость и пошлость! Весьма странно и прискорбно...

— Вот то-то и есть, что гадость!.. Хлыщут, как мартовские коты, прости господи!.. А та, шлюха, и не стесняется... На виду у всего города...

— Пошло и... и... мерзко! — раздраженно прошептал Гавринька, — от вас-то я этого уже никак не ожидал!.. Оказывается, что и вы недалеко ушли...

— Молчи, дурак!.. — крикнул в гневе почтмейстер.

— Если дурак, то в силу наследственности! — буркнул Гавринька и, не докончив обеда, выскочил из-за стола и ушел вон из дому.

На другой день Гавринька был невольным свидетелем, как почтмейстер почти выгнал вон пришедшую Наталью Михайловну, объявил ей, что «сыну их не нужны рубашки, — своих много!..»

IX

Наступил сентябрь, а с ним и хмурые дни, с заволоченным тучами небом, с меленьким частым дождиком, грязью и скукою... Обывательские домики, как-то посерели и стали казаться совсем маленькими, невзрачными... Большие болота дождевой воды преграждали пешее сообщение между противоположными сторонами улиц... Обыватели, с засученными панталонами и подоткнутыми юбками, осторожно пробирались по деревянным полусгнившим тротуарам и вытоптанным тропинкам... Лошади с трудом вылакивали телеги и тарантасы с облипшими грязью колесами из рытвин и ям... В воздухе висел неприятный туман...

В один из таких дней Гавринька печально бродил около землемерского домика с палисадником. Пальто Гавриньки намокло и отяжелело, грязные ноги сделались неимоверно большими от приставших к калошам комьев глины и чернозема и разъезжались в стороны; широкие поля шляпы обвисли, и с них, как с крыши, спрыгивали одна за другой водяные капли...

Сперва Гавринька прошел по той стороне, потом — по этой, потом постоял на углу и, прочитав объявление «о призыве новобранцев», опять пошел мимо домика с палисадником... Когда Гавринька подходил к землемерскому домику, он ускорял шаг, принимал деловой вид и вообще старался замаскировать истинную цель своего скитания вокруг да около... А цель этого скитания заключалась в том, чтобы как-нибудь увидеть Наталью Михайловну. Это было решительно необходимо. С того дня, как почтмейстер выгнал бедную, ни в чем не повинную женщину вон из

квартиры, Гавринька потерял всякое спокойствие... Его грызла совесть, ему было и стыдно и горько, его благородная душа скорбела за себя, за отца и за обиженную землемершу... Гавринька чувствовал какой-то гнет, словно он сделал какую-то скверную пакость, и искал покаяния... Да, именно — покаяния!.. Он хотел высказать, что он *тут* ни при чем, что отец — человек неинтеллигентный и позволил себе *это* по невежеству; он готов был искупить оскорбление собственным унижением, плакать, целовать, как пьяный землемер, ноги у напрасно и жестоко оскорбленной женщины, готов был ползать перед нею на коленях, вообще мучился, — как всегда бывает с порядочными людьми, которых случай делает невольными участниками угнетения и оскорбления беззащитных и слабых. Гавринька хотел объясниться, то есть выяснить все, что случилось, и хоть немного облегчить свои нравственные мучения... Он рассчитывал встретить Наталью Михайловну на улице... Быть может, она пойдет куда-нибудь, — и тогда он ее догонит и объяснится... Но увы! Наталья Михайловна как в воду канула... Она нигде не показывалась, перестала даже ходить по праздникам к обедне... А это исчезновение еще более утверждало Гавриньку в мысли, что бедная женщина не может очнуться после страшного, возмутительного оскорбления и, верно, теперь неутешно плачет... Гавриньке припоминается та сцена, которую ему пришлось увидеть в день освобождения Натальи Михайловны от рабства: она сидит, прижавшись в уголку, маленькая, беззащитная, и, опустив головку на руки, льет горькие слезы... Только теперь над ней глумится не пьяный муж, а отец Гавриньки... А Гавринька стоит и молчит, не имея мужества прекратить глумление.

О, если бы увидеть ее, поскорей увидеть!

Долго Гавринька ходил как тень мимо палисадника, долго месил ногами грязь и мок под дождиком, но его желание не сбывалось... А увидеть необходимо, — через три дня он уедет из Сердянска, и тогда на его совести останется навеки пятно... Как же быть? Разве решиться войти в дом?.. Страшно... Она — добрая душа... Она умеет забывать личное горе и страдание — это так, но... он, живодер?! Нет, надо во что бы то ни стало свидеться, объясниться — этого требует и совесть, и простая нравственная обязанность честного человека...

Гавринька неуверенно свернул к крыльцу. Поднявшись

на площадку, он на мгновение остановился, застыл в нерешимости... Но внутренний голос сказал ему: «Какое мальчишеское малодушие!» — и Гавринька пошел дальше... Дверь не заперта... Тихо... Только часы тикают да на подволоке мяучит кошка... Гавринька робко шагнул в переднюю. Снял калоши. Кашлянул...

— Кого надо? — раздался хриплый полупьяный голос, и в дверях зала показалась заспанная физиономия «живодера»... Гавринька растерялся и сказал:

— Наталью Михайловну можно видеть? мне надо с ней поговорить...

— Кого? Наташку тебе?.. Поговорить?.. А кто меня подлецом называет? А?

Глаза землемера засверкали огнем дикого бешенства, нижняя губа затряслась...

— Наташку тебе? Я вот тебя той же палкой...

При этих словах пьяный землемер шагнул за стоявшей в углу палкою с набалдашником. Гавринька вылетел, как бомба, из двери, почти спрыгнул с крыльца и, не разбирая характера почвы, поспешил поскорее уйти на приличную дистанцию от домика с палисадником.

На крыльцо вышел землемер, державший в руках какой-то предмет.

— Эй! Ты! получи свои худые калоши! — крикнул он хриплым басом и одну за другою пустил обе калоши в грязь на середину улицы...

Но Гавринька был так поражен негостеприимным приемом, что не хотел вернуться и спасти свои утопавшие в луже калоши...

Трудно описать душевное состояние Гавриньки в этот памятный день... Выражаясь языком поэтов, надо сказать, что в душе его был настоящий «ад»... Муки совести и оскорбленного самолюбия попеременно терзали юношу, не давая ни минуты забвения... Гавринька не обедал и не пил чаю, не выходил из своей комнаты и все валялся в постели, пряча в подушках лицо... Мать это сильно беспокоило, и она то и дело предлагала принять сыну хины. Но это только раздражало Гавриньку. Она не понимает и не может понять того, что переживает он!.. Никто не может!.. Кругом все — чужие люди: и отец, бесчеловечно оскорбляющий беззащитную женщину, и мать, которую больше беспокоит лихорадка, чем ужасные муки совести и оскорбленного человеческого достоинства... Что с ними

говорить!.. Им, пожалуй, все это покажется только смешным... Хотелось бы повидаться с Наумом и хотя перед ним разъяснить всю эту «гадость», но... к Науму он не пойдет более: они более — не друзья и даже не товарищи... Какая дружба, какое товарищество может быть, в самом деле, с тем человеком, который позволил себе выразиться, что он, Гавринька, начал свою деятельность не с этики, а прямо с бабьей юбки?..

После этого между ними, конечно, не может быть никаких отношений. И за что все это? За то только, что Гавриньке... нравится Наталья Михайловна и что он выпросил у нее фотографическую карточку! Что тут дурного? И какое ему дело, если бы даже... он и любил Наталью Михайловну?! Пошлость! Гадость! везде гадость!

Гавринька сжимал свою голову обеими руками, брякался, как сноп, в подушку, — и слезы отчаяния и злобы оставляли на белой наволочке мокрые пятна...

— Отец! с Гаврюшей что-то нехорошо... Не послать ли за фельдшером? — советовалась почтмейстерша с мужем. Тот пошел проведать.

— Гавриил! Отопри-ка! Чего заперся? — сказал озабоченный отец, постукивая в запертую дверь.

— Оставьте меня! Я ведь никому, кажется, не мешаю! — крикнул раздраженно Гавринька.

— Да отопри! Болен ты, что ли?..

— Болен, но этой болезни не понять вам!.. Распечатывайте да запечатывайте свои пакеты, а меня оставьте!

Отец отошел.

— Дурит, — сказал он жене, — набалбесничался всласть, вот и все. Будет ловеласничать-то... Пора и за науку приниматься... Лоботрясы!..

— Чего же ругаться-то! Уедет ведь послезавтра и так!.. Ты хоть на прощанье-то будь с ним поласковее!.. Когда теперь увидимся!.. — заметила почтмейстерша, и ей стало жалко милого Гавриньку...

— Дети, дети! Радость вы и мученье! — прошептала она со вздохом.

X

Была ясная сентябрьская ночь. Период дождей уже окончился, небо прочистилось, и бледно-голубая небесная синева вместе с золотым диском задумчивой луны напо-

минала о недавних летних ночах, канувших в вечность... Только бодрящая свежесть в воздухе да затвердевший грунт земли свидетельствовали о полном господстве холодной осени...

Большинство сердянцев уже спало безмятежным сном. Огни давно погасли, улицы опустели, всюду стихло... Лишь на берегу реки, на одной из пароходных пристаней, еще бодрствовали: на мачте горел сигнальный фонарик, на конторке замечалось некоторое оживление, слышалась легкая русская ругань и скрип мостков под ногами проходивших и уходивших с пристани...

Здесь ожидали запоздавший пароход.

Семья почтмейстера давно уже посиживала в миниатюрной каютке для чистой публики в томительном ожидании парохода и в грустном настроении по случаю скорой разлуки с отъезжающим в университет Гавринькой. Чтобы как-нибудь убить время, которое всегда в таких случаях тянется невыносимо долго, они пили чай, несколько раз гуляли по конторке и по набережной, снова возвращались и ели холодную телятину... Но пароход не торопился и, несмотря на то, что по расписанию должен был в девять часов отойти от Сердянска, не показывался на горизонте еще и теперь, когда часовая стрелка показывала одиннадцать.

— Не видать? — несколько раз осведомлялся Гавринька у матроса, выходя из каютки на палубу.

— Нет ни хрена! — отвечал матрос, замухрыщатый русский мужичок, и начинал ругать неаккуратный пароход скверными словами.

А «предъотъездное» томление все усиливалось. Сидели молча, чувствовали необходимость в последние часы говорить больше и не находили, о чем говорить. Почтмейстерша шевырялась все в узелках и картонках, в десятый раз ознакомляя Гавриньку с тем, где и что уложено и с чем следует был поосторожнее; почтмейстер сидел насупившись и молча читал расписание отхода пароходов и таксу. Гавринька слонялся из угла в угол. Всем было скучно, и все завидовали находчивому Грише, который, в ожидании прощания с братом, прекрасно покушал и теперь так же прекрасно спал на лавочке, обернувшись личиком к стене.

— Тут вот — яйца!.. Боюсь, не в смятку ли... Не разбей, еще беда будет — чай и сахар испортишь...

— Ладно...

— Как только приедешь, сейчас же напиши...

— Хорошо, напишу...

— Да поберегайся дорогой-то... Долго ли простудиться...

— Конечно...

Таков был характер прощальной беседы между расстающимися надолго людьми.

Река волновалась. Холодный ветер слегка покачивал конторку, — хотелось прилечь; монотонный скрип досок, из которых была сколочена каюта, и плескание вала в борт действовали усыпляющим образом. Почтмейстер сладко позевнул и посмотрел на карманные часы, за ним позевнула и жена... Гавринька предложил им идти домой спать, так как пароход мог и совсем не прийти сегодня... Разбудили Гришу... Посидели, встали, помолились богу и, расцеловавши Гавриньку и в лоб и в губы, пошли... Гриша ревел, и его рев долго доносился до Гавриньки и щемил ему сердце.

Но вот рев затих, — успокоилось и Гавринькино сердце. Гавринька остался в каюте один. Он чувствовал теперь себя бодрее и лучше, словно присутствие родных стесняло его свободу, — и сонливое настроение исчезло.

Гавринька приободрился, подтянул выше голенища охотничьих сапог, поправил ремень дорожной сумки, закурил папироску и пошел прогуляться и еще раз осведомиться — «не видать ли»... В дверях он столкнулся с Наумом, который с вещами и с мамынькой лез в каюту...

— Виноват-с! — извинился Гавринька и вежливо дал дорогу вошедшим.

— Ничего-с! — сказал Наум, с трудом протаскивая в узкое пространство двери чемодан и мешок с яблоками.

Гавринька почувствовал себя как-то неловко. Он не ожидал этой встречи и не знал, как теперь повести себя по отношению к бывшему другу и товарищу... Долго гулял он по берегу и по палубе конторки, отклоняя встречу с Наумом. Но войти в каюту все-таки пришлось очень скоро: Гавринька прозяб.

— Извините, я сложил ваши вещи со стола и с лавки вон куда!.. Полагаю, как равноправный пассажир, я имел на это право, — встретил его Наум.

— Сделайте одолжение!..

— Здравствуй, Гаврила Миколаич! Я тебя и не узна-

ла — богатым быть!.. — заговорила вдруг приютившаяся в углу на лавке Авдотья.

— Мое почтение!

— Что это ты совсем забыл нас?.. С кех пор я тебя не видала?!

— Так... некогда было...

— Ну, вот, вместе поедете, — все повеселей будет!..

— Да, вместе... Конечно, веселее... — согласился Гавринька.

Наум ходил по каюте в направлении с севера на юг, а Гавринька — с востока на запад. Они старались не задевать друг друга.

— Не хошь ли, Гаврила Миколаич, яблочков? Анисовые, наливные, вкусные! Наум! угости приятеля-то; чай, не жалко! — начала опять бестолковая Авдотья.

— Пожалуйста! вон они! — сказал Наум, показав рукой на мешок под лавкой, и слегка улыбнулся.

— А ты вынь! Самому ему, что ли, под лавку-то лезть?! — заметила Авдотья.

— Я не хочу... не беспокойтесь! — сказал Гавринька, увидя, что Наум в большом затруднении, и тоже улыбнулся.

— Холодновато! — сказал он, ни к кому не обращаясь.

— Да, не жарко... А мне вот в летнем одеянии так и совсем свежо! — ответил Наум.

Гавринька любезно предложил ему плед. Наум отказался.

Так, слово за слово, разошедшиеся друзья начали разговаривать, хотя все еще на «вы». Оба были очень довольны, что встреча разрешается так просто, обоим было смешно и хотелось положить конец этой комедии, но самолюбие заставляло их выдерживать раз принятый тон...

Наконец Гавринька выразил желание хватить рюмку водки, чтобы согреться, а Наум одобрил этот проект:

— Было бы недурно! Кстати, мне надо разменять трешну!..

— Идем! — сказал Гавринька.

— Куда?

— А вон в «Прогресс», там еще огни!

Они пошли в гостиницу «Прогресс», гостеприимно светившуюся на берегу своими окнами. Выпили по рюмке водки и крякнули. Гавринька предложил выпить бутылку пива.

— Пожалуй, — сказал Наум.

— Какое пьешь? — спросил Гавринька, незаметно переходя с «вы» на «ты».

— Все равно...

А за пивом беседа приняла и вовсе приятельский характер:

— Тебя, говорят, землемер выгнал и чуть не избил?..

— Нет, не то, чтобы выгнал, а принял действительно довольно сухо... Ну, да ведь могло ли быть иначе?.. Разве можно предъявлять к нему какие-нибудь нравственные требования... Живодер и скотина, подлец...

— А я слыхал, будто выгнал... Сплетничают... Видели, говорят, как ты вылетел с крыльца...

Гавринька вспомнил свои погибшие калоши, но все-таки не признался...

— Кто это говорит?.. Как не совестно!.. Я действительно поскользнулся (грязно было) и чуть было не упал... А они «вылетел»!.. Ну, и язычки же у нас!..

— Да, это верно, — произнес Наум и, немного помолчав, сказал: — И со мной, брат, ерунда вышла... Представь: прихожу вчера к Ольге за книгой... Никого дома нет — она одна... Ну, сидим болтаем... Вдруг входит мать... Ха-ха-ха!.. Представь только!.. Ведь это... ха-ха-ха!.. Ни с того ни с сего обращается ко мне и говорит: «Вот что, Наум Васильевич!.. если вы думаете жениться на Оленьке — так другое дело, а если так только, — так нечего попустому девушку смущать...» Ха-ха-ха!.. Дурная слава, говорит, бежит, а хорошая лежит!..

— Неужели?

— Да... Я стою как болван, глаза выпялил...

— Ну, а Ольга?

— Она кричит: «Мамаша, мамаша! что вы! Перестаньте!» — и ревет...

— Фу ты, ерунда какая.

— А дьяконица больше да больше... Вот, говорит, вам бог, а вот — порог...

— Ну?

— Ну... ну, и ушел... Плюнул и ушел... Жалко книгу. Добролюбова оставил...

— Аяй! ерунда!..

— Да, брат... Не так мы за «дело» принялись, — не с того конца...

— То есть как это?

— Нерационально...
— Почему?
— Multis de causis...
— А именно?

Но в это время подходящий к Сердянску пароход затянул протяжный свисток, и друзья, побросав стаканы с пивом, стремглав кинулись на конторку...

Гулко прогудели три торопливых свистка, прокатились громким эхом в прибрежных горах, и блистающий огоньками пароход, обдавая город Сердянск клубами черного дыма, отделился от конторки...

Вот прогудел он отрывочным свистком еще один, прощальной раз, ритмически похлопал плицами колес о воду, поплескал валами на песчаную отмель берега, мигнул зеленым кожуховым фонариком — и скрылся, исчез...

На конторке еще раз выругался матросик и, спустивши с мачты сигнальный фонарь, пошел спать... На конторке стихло. Окна гостиницы «Прогресс» померкли.

Не угасал только огонек лампы в доме отца дьякона; там сидела у окна Ольга с раскрытой книгой в руках и, глядя через окно куда-то далеко-далеко, тихо и задумчиво повторяла:

Милый друг! я умираю
Оттого, что был я честен;
Но зато родному краю,
Верно, буду я известен...

GAUDEAMUS IGITUR

Ежегодно, в день годовщины Казанского университета, в нашем уездном городке Сердянске собиралась местная интеллигенция, чтобы в задушевной беседе вспомнить дни своего студенчества.

Питомцев этого университета у нас было трое: толстяк мировой судья — Илья Ильич Невзоров, потерявший на должности судебного следователя зубы старичок Иван Петрович Стебельков и худой и тонкий земский врач Стеблицкий. Но к этим трем господам всегда каким-то непонятным образом присоединялись еще двое: становой Тычкин и почтмейстер Мямлин...

Оба последние никаких университетов не нюхали, но почему-то считали своей непременной обязанностью ежегодно участвовать в празднестве.

Бывало, дня за три-четыре Тычкин шлет десятского к следователю с запиской: «Уведомьте меня, предполагается ли нынче и каким образом праздновать нашу годовщину? Недурно бы на чистом воздухе и совместно с женским полом». Почтмейстер тоже осведомляется у мирового: «Добрейший Илья Ильич! По примеру прошлых лет, надлежит и ныне вспомнить наш храм науки. Следовало бы устроить хоть маленькую пулечку. Не откажите уведомить о намерениях и предположениях компании».

Земский врач, молодой еще сравнительно человек, желчный, нервный и раздражительный, неохотно присоединялся к этому веселому пиршеству: он угрюмо замечал, что не время теперь праздновать эти «годовщины», и начинал задумчиво грызть ногти... Однако после долгих и настоятельных увещаний со стороны Ильи Ильича сдавался:

— Хорошо... только, во всяком случае, я не желаю праздновать вместе с Тычкиным.

— Ах, Петр Петрович! Ну, что вам дался этот Тычкин? Безобидный человек, такой же, как и мы с вами... Пусть его!.. Не мешает ведь?

— Да скажите, пожалуйста, какого черта он будет с нами праздновать? Ведь он... он...

— Ну, что же «он»? Подпоручик в отставке-с! Ведь дело не в том...

— А в чем же-с?

— Ведь он, собственно, для компании...

— Ну, уж извините! Если вы для компании урядников еще пригласите, так я лучше дома один напьюсь!.. Да и какие тут празднества?.. Чепуха!..

— Как хотите!.. А если вздумаете, так приходите... Мы собираемся в клубе, — говорил Илья Ильич обиженным тоном и покидал «тяжелого человека».

— «С урядниками?!» Никто никаких урядников не приглашает... — ворчал Илья Ильич по дороге. — Всегда крайности... Невыносимый человек!..

Томимый одиночеством и скукою, доктор обыкновенно, после долгих посвистываний и похаживаний из угла в угол, брал фуражку и шел в клуб «посмотреть, что там делается», и всегда как-то случалось, что он, против собственной воли и желания, оставался там, присоединяясь к торжествующим.

Почти то же случилось и на этот раз.

Никто из питомцев университета еще не помышлял о приближавшейся годовщине своей «almae matris», как Тычкин уже напомнил о ней письмом к старичку следователю:

«Милейший Иван Петрович! Приближается день нашего празднества в честь вашей науки, и я предлагаю отпраздновать нынче как следует. Проектирую устроить поездку на Студеный Ключ, — это всего в двенадцати верстах от города; могу достать две тройки земских лошадей, но ставлю непременным условием — участие в поездке женского пола».

Надо заметить, что Тычкин, каждогодно настаивавший на участии в празднестве женского элемента, на сей раз стоял за это с особенной рьяностью:

«Что за удовольствие, — писал он, — быть без женского пола? Решительно никакого. Без женщины мужчина, как без паров машина, — говорится. Поэтому я предложил бы пригласить с собой девиц Недоносковых и Марью Гавриловну. Может быть, и ваша супруга примет участие. Что же касается супруги Ильи Ильича, то я, между нами будь

сказано, на них не надеюсь: заболят у них зубы, и тогда все дело примет мрачный колорит».

Старик следователь теоретически вполне разделял этот взгляд, но как только вопрос вставал в его голове вместе с мыслью о супруге, — он решительно был против.

— Я думаю, душечка, ехать в четверг на вскрытие... Мертвое тело давно валяется.

— А как же? Разве годовщину не будешь справлять?

— Гм... не знаю... Только тебе не советовал бы ехать... Если бы не было это неудобно, я и сам отказался бы...

Так подготовлял почву Иван Петрович.

Почтмейстер был решительно против участия женского элемента. Он понимал, что раз будут девицы Недоносковы, его жена ни за что не отстанет, — привяжется. Взять же ее с собою равносильно обречению себя на монашескую воздержанность во всем, начиная с картишек.

Жена почтмейстера Мямлина была одним из тех несчастных существ, которые ревнуют своих супругов к каждой женщине. Несмотря на то, что почтмейстер не имел ровно никаких шансов на успех в этом отношении, несчастная женщина не спускала мужа с глаз: она была такого убеждения, что «мужчине» достаточно быть немного лучше черта, чтобы все женщины падали в его объятия.

— Митя! машер! мне тебя нужно! — многозначительно, с повышением голоса, отзывает она всякий раз мужа, когда он заговорится с какой-нибудь дамою.

И почтмейстер покорно покидает собеседницу, прошептав:

— Виноват-с!.. я вас на минуточку оставлю.

Однако более он уже не возобновляет прерванного разговора с дамой из боязни скандала...

Доктор, по обыкновению, сперва уперся, а потом с кислой миною ответил:

— Ладно... прокачусь... Все равно надо в Сосновку заехать, — больные есть там...

Здесь я позволю себе сделать маленькое отступление, чтобы познакомить читателя поближе с некоторыми героями нашего рассказа.

Тычкин, как человек военный, был душою нашего дамского общества. Он первенствовал в клубе на вечерах и так отлично дирижировал танцами, что все танцующие, бывало, приходили в какое-то неистовство: молодой секретарь

полиции, с взъерошенною головою, подпрыгивал козлом и пожирал свою даму какими-то страшными, дикими взорами, а наш фельдшер так сильно притоптывал в такт музыки каблуками, что, казалось, намеревался проломить пол своими ногами.

— Кавалье! А гошь!! — оглушительным тенором выкрикнет, бывало, дирижер, махнет рукой и пристукнет шпорами...

Взор его полон божественного вдохновения, мечет искры и зажигает сердца танцующих какою-то бесшабашной самоотверженностью. «Кавалье» как угорелые бросятся в противоположную сторону и, кажется, готовы разорвать своих дам на две половины... А что, бывало, делалось, когда дирижер захлопает в ладоши и, торжественно объявивши «Polka», подаст пример искусства и ловкости!

Тут уж решительно страшно становилось смотреть!

Столоначальник вертел свою даму до потери сознания, а фельдшер так отчаянно стукал в пол ногами, что снизу, из бильярдной, приходил испуганный «человек» и виновато просил:

— Нельзя ли послабже?.. а то лампа того и гляди на бильярд свалится... А на бильярде буфетчик отдохнуть легли...

Земский врач, Петр Петрович Стеблицкий, принадлежал к типу людей вечно и всем недовольных. Постоянно «не в духе», вечно кислый, с кислыми минами и разговорами, раздражительный до последней возможности человек, болезненно самолюбивый — он был, однако, безукоризненно честным и отзывчивым на всякие общественные «злобы». В то время как другие члены местной интеллигенции наслаждались пикниками, картишками, сплетнями и, в лучшем случае, узко специальными делами по службе, Петр Петрович усердно перечитывал «Русские ведомости», волновался и начинал, ходя по комнате, разговаривать сам с собою.

— Петр Петрович! С кем это вы, батюшка мой, рассуждаете? — крикнет, бывало, подошедший к окну следователь.

— Помилуйте! Да это что же такое? Войдите... прочитайте! Это удивительно!.. Это черт знает...

— Нет, читать, батенька мой, не хочется... А я зашел к вам вот зачем: был в уезде, заезжал к вашему принципалу, то есть председателю-с. У него супруга капризничает:

какие-то галлюцинации, что ли... Он просил вас побывать.

— У меня больные и посерьезнее есть! — резко перебивал Петр Петрович и «начинал»: — Что же это такое? Кому наконец я призван служить? нервным барыням или голодным мужикам?.. Нет, «чумазый» делает земскую службу окончательно невозможной... Извольте видеть: какие-то галлюцинации у этой бабы в семь пудов весу!.. С жиру бесится, каналья, а врач изволь тут бросать дело, больных... это... это...

— Ну-ну! Завели!.. Полноте, пожалуйста!.. Смотрите на жизнь проще!.. Начальство есть у всех, не у вас одного, и... и... значит необходимо ехать... а то опять неприятности выйдут. Барыня у него кляузная.

— Брошу! брошу! брошу!.. Это невыносимо... это комедия какая-то...

Почти каждый день Петр Петрович чем-нибудь возмущался и решал бросить службу, но до сей поры не приводил этого решения в исполнение. Раза три он писал заявления о своем нежелании продолжать службу: «Считаю при настоящей постановке дела медицинской помощи народу свой труд бесполезным», — так всегда начинались эти заявления, а кончались: «считаю себя нравственно обязанным заявить, что служить более в N-ом уездном земстве не желаю и прошу немедленно же назначить мне преемника».

Потом эти заявления клались в боковой карман, и там их можно найти, вероятно, и теперь еще.

Это был один из многих «рыцарей на час», любящих помучить себя и других, потерзаться своим несовершенством.

Такие типы честных и хороших людей обыкновенно, рано или поздно, поглощаются окружающей средою, закисают, так сказать, и ассимилируются...

Илья Ильич тоже стоит того, чтобы сказать о нем два-три теплых слова. Начать с того, что он часто разбирал дела в халате, а переговаривался во время разбора дела с своею супругой постоянно.

— На основании такой-то статьи устава наказаний, налагаемых мировыми судьями, — начинал он скороговоркой и вдруг отрывал глаза от бумаги и обращал их на дверь. — Манечка! Закрой, пожалуйста, дверь: сквозняк!.. — После того уже доканчивал...

Да, это был действительно «мировой»! Когда ему удавалось примирить враждующие стороны, он испытывал большое наслаждение.

— Помиритесь, господа! — убеждал он. — Ну, что тут кляузничать? Ну, обругали друг друга, подрались... Мало ли что бывает между своими?.. К чему же свои кляузы ко мне-то переносить? Вы думаете, — мне нечего делать? Эх, господа!.. Мало ли кто с кем поругается да подерется... Если бы все к мировым лезли, то сколько бы мировых-то надо было? Пошли, выпили и помирились... вот и все!.. А тут еще не знай чем кончится... Плюньте, господа! Ей-богу, не стоит!..

Говорил он это так убедительно, что противники, взглянув друг на друга, улыбались и... мирились.

Две сестрицы Недоносковы блистали звездами первой величины на нашем уездном горизонте.

Это были типы наивных провинциальных барышень, красивых, кокетливых, увлекающихся светлыми пуговицами и черными нафабренными усами. У обеих было по таинственной шкатулочке и по альбому, куда поклонники вписывали собственноручно стишки «в знак памяти», вроде:

Рука моя писала,
Не знаю, — для кого...
Но сердце подсказало:
Для друга своего...

или:

Пройдут века, — и ты меня забудешь,
Но не забуду я до гробовой доски...
Ах, ты не знала, знать не будешь
Любовной страсти и тоски!!!

Нечего и говорить, что Тычкин был предметом страданий для обеих девиц и служил поводом для частых ссор их между собою. Когда, бывало, Тычкин вздумает спеть в клубе, на вечере, романс: «Милая, ты услышь меня!» — обе сестры стремглав летят к роялю, чтобы аккомпанировать, ссорятся, и дело кончается обыкновенно тем, что с Наденькой Тычкин пропоет «Милую», а с Варенькой — «Месяц плывет по ночным небесам».

Марья Гавриловна была замечательна в том отношении, что заменяла для горожан местный орган гласности, какой-нибудь «Сердянский листок». Марья Гавриловна знала решительно все выдающееся в городской жизни: от нее можно было узнать, что вчера в садике произошло

объяснение в любви между секретарем полиции и дочерью полицейского надзирателя, что почтмейстер Мямлин получил от супруги своей туфлей по физиономии, что у лавочника Пудикова родились двойни, а мировиха сшила себе «бордо», что Тычкин влепил Наденьке Недоносковой «безешку», а жене землемера сказал что-то двусмысленное, и т. д., и т. д.

Понятно, что при таком всеведении и вездесущии Марья Гавриловна была общим другом нашего женского общества и что без нее не обходился ни один скандал в городе. Марья Гавриловна успевала каждодневно обегать все «культурные дома», у всех напиться чаю, всем посплетничать и собрать материал для следующего номера.

Марья Гавриловна была полная старая дева, но чем более полнела и старела, чем более, так сказать, матерела, — тем сильнее жаждала замужества и надеялась, что вот-вот... Каждые святки она гадала, и каждый раз ей выходило, что нынче она выйдет замуж. Она уверяла, что видела в зеркале и своего «суженого-ряженого»: судя по всем описаниям его, жертвою Марьи Гавриловны должен был сделаться наш бедный доктор Петр Петрович, который, кстати сказать, не переносил даже ее голоса и всегда впадал в какой-то столбняк в присутствии этой невесты неневестной.

— Петр Петрович! Что это вы сегодня такой грустный, томный? — скажет, бывало, Марья Гавриловна, вскинувши на доктора полные «безумной страсти и тоски» взоры.

— Тошнит-с, Марья Гавриловна... — буркнет тот, покусывая свою бородку.

— Ах, бедненький! На-те, вот... у меня есть мятные лепешки... Я люблю их сосать...

— Не сосу, Марья Гавриловна.

— Ах, какой гадкий! Да вы попробуйте!.. Сейчас же во рту холодок будет, кисленько так...

— И так кисло, Марья Гавриловна.

— Ах, да вы, верно, влюблены? вот и тоскуете!.. Ну, скажите, в кого?.. А?..

И Марья Гавриловна смотрит, бывало, на бедного доктора таким сжигающим взором, словно ждет, что вот-вот сейчас доктор воскликнет: «В тебя!.. люблю тебя!.. тебя! тебя!..» — и заключит ее полную фигуру в свои тощие объятия...

Но — увы — напрасны ожидания!

Доктор корчит пренедовольнейшую гримасу и отвечает:

— Хуже, Марья Гавриловна... Катар-с!..

— Ах, шутник вы этакий!..

Настал день годовщины.

Погода благоприятствовала. Выдался чудный денек. Прохладный ветерок ослаблял действие палящих солнечных лучей, принося с лугов, из-за Волги, аромат свежескошенного сена. Городок словно дремал, убаюкиваемый тихим, ласковым плеском застывшей Волги, лениво раскинувшись и греясь на солнышке. Обыватели спустили на окнах занавесочки и сидели «по-домашнему», то есть в достаточно откровенных костюмах. Многие прятались в небольших тенистых садиках, посиживая за самоварчиками.

День был праздничный, поэтому чиновничество наслаждалось отдыхом от утомительно-однообразной работы, как наслаждаются школьники вакационным временем.

Из раскрытых завешенных кисейными занавесками окон Недоносковых неслись нестройные аккорды разбитого, древнего фортепиано. То Наденька Недоноскова рубила пальцами свои любимые «Дунайские волны».

Перед окном прохаживался индейский петух, который вытягивал шею и одним глазом заглядывал в окно, словно ему хотелось узнать, как это удается Наденьке испускать такие чудные звуки.

В это время к дому приближалась тонкая военновыправленная фигура Тычкина.

Индейский петух счел своей обязанностью громко пробормотать: «Здравия желаю, ваше брр-е!»

Звуки фортепиано вдруг смолкли, и из окна высунулась русая головка девушки.

— Ах! — испуганно вскрикнул тонкий, пискливый голосок, и головка спряталась. — Нельзя!.. Мы сейчас! Погодите! — донесся голосок чрез занавесочку.

— Пардон-с! Я, кажется, не вовремя... — с улыбкою на устах проговорил Тычкин, прикладывая к козырьку фуражки свои тонкие, украшенные кольцами пальцы.

— Нет, нет!.. Ничего... Мы сейчас... — пискнула Наденька...

— Погодите!.. Не уходите! — перебила ее Варенька.

Тычкин присел на лавочку под окнами и стал стряхивать надушенным носовым платком пыль со своих востроносых ботинок... Потом закурил тончайшую папиросочку и вполголоса замурлыкал: «Ми-и-лая, ты услы-ы-ышь меня-я-я...»

Недоносковы не заставили себя ждать: не успел Тычкин начать «под окн-о-ом тво-и-м», как головка Наденьки, с алою розою в русых волосах, выпорхнула из-за занавесок, а губки жеманно произнесли:

— Можно!

Тычкин вскочил с лавочки, сделал полный оборот на месте, дотронулся до козырька фуражки и молодцеватою походкой направился в комнаты. Индейский петух вытянул шею и подозрительно посмотрел ему вслед. Потом распустил веером хвост, побагровел от злости и неестественно громко расхохотался.

— Я к вам, mademoiselles, по поручению! — начал гость, покручивая нафабренный ус. — Мы празднуем сегодня годовщину нашего университета... Компания пожелала, чтобы в этом празднестве принимал участие и прекрасный... да, прекрасный пол... Так вот-с, извольте видеть, я счел своей нравственной обязанностью, священным, так сказать, долгом, предложить вам прокатиться с нами на Студеный Ключ. А-а... это, так сказать...

— Какая годовщина? — удивленно и мило расширив свои голубые, как васильки, глазки, спросила Наденька.

Тычкин взглянул в эти «васильки», на этот вздернутый задорный носик и, подумавши: «Поэтичная, черт возьми, девица!» — произнес уже вслух:

— Гм... м... Это... как бы вам сказать?! Знаменательный день, в который... обыкновенно... надлежит... как бы это вам сказать?.. Вообще — повеселиться и отпраздновать... Мы ежегодно устраиваем это... Вспоминаем, собственно, дни нашей юности...

— Что же это за годовщина, не пойму я все-таки! — перебила нетерпеливая Наденька.

— Гм... м... Например... Вы бываете именинница...

— Семнадцатого сентября я!

— Нет-с, позвольте! Я только например... Там тоже подобно именинам... Каждогодно, в определенный срок... Ну, да это все равно! Так вот мы и просим вас присоединиться...

— Monsieur Тычкин! — произнесла выпорхнувшая в зал Варенька.

Тычкин расшаркался.

— Ваше драгоценное здравие? — спросил он с поклоном.

— Ах, мерси!.. Слава богу.

Тычкин повторил все сначала Вареньке. Та не поинтересовалась, впрочем, узнать, что это за годовщина и почему и что празднуется. Ей было все равно, главное — прогулку она понимала, а до остального ей не было никакого дела.

— Ах, как я рада! как рада! Но если поедет Какоркова, мы не желаем, — закончила она неожиданным переходом из мажорного в минорный тон.

— Какоркова не поедет... Будьте спокойны... — авторитетно успокоил Тычкин.

— Ну, так мы согласны! Устраивайте эту штуку!.. Мы согласны, на все согласны!..

И Варенька захлопала в ладоши и завертелась на каблучках.

Почтмейстер встал сегодня раньше обыкновенного. За ночь он придумал весьма остроумный план спровадить свою жену на станцию «Безводное», к тамошнему смотрителю.

— Какая чудная погода! — закинул он, еще лежа в постели и потягиваясь. — Хорошо бы сегодня прокатиться в «Безводное».

— Что же, машер, прокатимся...

— Нельзя мне... Некогда... А как звали! И Настасья Семеновна, и Лука Лукич... Отчего бы тебе одной хотя не прокатиться? Они у нас два раза были, а мы ни одного... Обижаются...

— А как же годовщину справлять, разве не будут нынче?

— А ну их тут! У меня по горло работы...

— А лошадей, машер, дашь?

— Это пустяки... Тройку можно.

В то время как Тычкин приглашал девиц Недоносковых, почтмейстер усаживал в плетушку свою супругу.

Вместо обещанной тройки стояла одна кляча, печально повесившая голову и обхлестывавшая свои бока

облезлым хвостом. На облучке сидел чумазый мальчуган без шапки.

Почтмейстерша сердилась, влезая с помощью мужа в плетушку.

— Говорил — тройку, а дал какого-то одра?!

— Ничего, голубчик, не поделаешь... Всех лошадей взяли... Скажи слава богу, что и этого-то одра отыскали.

— Он одер-от одер, а ты постой, вот увидишь, как махать зачнет... Ровно конек-горбунок! — сказал сидевший на козлах мальчуган. Он огрел кнутовищем свою клячу, и почтмейстерша выехала со двора.

Как только серый зонтик почтмейстерши пропал в облаке поднятой плетушкой пыли, Мямлин побросал все свои бумаги и пакеты, торопливо натянул белую парусиновую пару и полетел к Ивану Петровичу.

— С годовщиной вас, милейший! Ну, что? Как сегодня? Едем, что ли?

— То-то, любезнейший, не могу; экстренная бумага: поджог... Скакать приходится...

— Поджог подождет — пустяки...

— Нельзя-с... И черт сунул мерзавца поджечь именно вчера!

— Дело не убежит... Прокатимся, выпьем, пулечку составим... Нельзя же так, не ознаменовавши торжественного дня.

— Не могу... Рад бы сам, да невозможно... Послал за лошадьми, через час еду.

Почтмейстер замолк и вздохнул.

— Ох, времена, времена! Бывало, лет пять-шесть тому назад, насильно нас приходилось от зеленого поля отгонять. Целые ночи просиживали! А теперь насилу партию-то составишь, да и то... Эх!

Почтмейстер опять вздохнул.

— Ну, а как же, справлять годовщину-то совсем не будете? Так-таки ничем и не ознаменуете? И этой телеграммы, как в прошлом году, посылать и спрыскивать не будете?

— Телеграмму пошлем... Доктор поди уж отправил.

— Ну счастливого пути! Я забегу к Петру Петровичу-то: тут ведь по пути.

Почтмейстер вяло пожал руку следователю и побрел к больнице.

— Эй! господин врач! — крикнул он, подойдя к окну

больницы, — небось людей морите, а про свою альму-матерь забыли?!

— Кто там? Что вам угодно?

Из окна выглянула недовольная физиономия доктора.

— Здравствуйте!

— Мое почтенье!

— Годовщину-то будем справлять?

— Какую еще годовщину?

— Ай-ай, молодой человек! Стыдно! Забыли свой храм науки! Публика на Ключ собирается... А по мне, чего лучше — в клубе?.. Чаю-то и в клубе прекрасно выпьем... Охота за семь верст киселя хлебать!.. Пулечку бы составили...

— Извините, мне не до пулечки... Операцию сейчас начну делать.

— Плюньте, дело не уйдет.

— До свиданья-с!

И физиономия доктора скрылась.

Почтмейстер поник головой и побрел прочь от больницы.

— Ну, и молодежь нынче! — прошептал он, поматывая головою, и направился проведать Илью Ильича.

Не прошло и четверти часа, как по мосту, через речку Сердянку, проскакала, громко стуча коваными копытами, тройка земских лошадок и, вихрем взлетев в горку, с шиком понеслась по направлению к больнице.

В тарантасе сидел Тычкин и ухмылялся от удовольствия, которое он ощущал от быстрой скачки.

— Тпру! — тенором выпустил молодцеватый кудрявый парень на козлах и разом осадил борзых коней.

Из тарантаса ловко выскочил Тычкин и очень грациозно вбежал по лестнице на крыльцо больницы.

— Доктор! Я от девиц... Прибыл с поручением тащить вас во что бы то ни стало. Сегодня именины вашего... как его?.. Берем гитару, закусочку... Изобилие женского пола... Без женщины мужчина, как без паров машина, — заговорил Тычкин.

Доктор сделал омерзительно кислую физиономию.

Оторвавшись от какой-то склянки, он так сердито посмотрел на Тычкина, что тот сразу потерял игривость, смутился и спутался.

— Вы нездоровы? — серьезно спросил доктор, устремив испытующий взгляд на гостя.

— Мерси. Я совершенно... Я...

— Благодарить нечего... Я спрашиваю: чем вы нездоровы?

— Да что вы?.. Я вполне здравствую-с... Я от девиц...

— Здесь, господин Тычкин, больница, и сюда приходят лечиться. Только лечиться... От девиц вы или от пожилых дам — это до меня не касается.

— При исполнении служебных обязанностей? — перебил Тычкин неуверенным тоном, который явно говорил о том, что он не знает, что делать: обижаться или принять все за простую шутку.

— Совершенно верно... Ну-с? Что же вам угодно?

— Что вы, доктор! Сегодня ведь годовщина, — забыли?

— Какая-с?... Вы-то о чем хлопочете? Вы-то тут при чем?

— То есть как это «при чем»? При том же, при чем и вся компания.

— Прошу вас оставить меня в покое... Не мешать мне... До свиданья!

И доктор отвернулся и опять стал болтать что-то в склянке.

Тычкин несколько мгновений стоял, пораженный, на месте, потом откашлянулся и быстро вышел.

— Нигилизм... — прошептал он, скрываясь за дверью.

Вскочив в тарантас, Тычкин крикнул:

— Пошел!..

А доктор бегал из угла в угол и теребил свою и без того уже реденькую бороденку так немилосердно, что, казалось, имел намерение выдрать ее окончательно.

— Черт знает что такое!.. Никакого покою не дают... Годовщина, девицы, почтмейстер, Тычкин... Нет, это невозможно!.. Брошу, брошу, брошу!! Все брошу и...

— Что, батенька, не надумали? — раздался под окном голос запыхавшегося почтмейстера. — Мы едем... Сейчас...

— Ах, подите вы все... к черту!

И почтмейстер услыхал, как что-то стеклянное упало и разбилось вдребезги...

«Тяжелый человек... с ума сходит совсем», — подумал он и больше не заговаривал. Отирая платком пот с лица, он зашагал дальше, и когда доктор посмотрел в окно, то увидел лишь его спину, широкую соломенную шляпу и

широкие же, раздувающиеся и треплющиеся, парусиновые панталоны.

— Фальстаф проклятый! — сквозь зубы произнес доктор и с сердцем захлопнул окно и запер его на задвижку.

Студеный Ключ — чудесное местечко!

В котловине, между капризных, поросших дубняком и калиною, горок и буераков, открывается пестреющий цветами лужок. Посредине его, скользя по камешкам и песочку, бежит журчащий колокольчиком ручеек студеной и прозрачной, как горный хрусталь, воды. Вдали, на пригорке, под тенью небольшой группы кудрявых березок, стоит старая полуразвалившаяся часовенка, а рядом с нею — колодец. Вода в нем до такой степени прозрачна, что вы видите, как со дна, будоража желтый песочек, выпрыгивают вверх тонкие струйки-ключики. Местечко дикое, безлюдное. Разве изредка только сюда заходят собирающие малину девчата, да подпасок забежит, чтобы, перегнувшись через сруб колодца, утолить свою жажду холодной и вкусной водою.

Здесь-то и собрались наши знакомцы с целью отпраздновать годовщину.

На двух разостланных по лужку коврах, в разных позах и положениях, восседали торжествующие. Тычкин, в безукоризненно-белом кителе, с молодцевато откинутой на затылок фуражкою, что-то шептал Наденьке Недоносковой. Наденька сидела, подобрав под себя ноги, и то и дело вспыхивала ярким стыдливым румянцем. Почтмейстер Мямлин косился в сторону молодой парочки и чесал за ухом. Ему хотелось присоединиться к остроумному занимателю женского пола, но он никак не мог придумать, с чего бы это начать разговор.

Марья Гавриловна гуляла под руку с женой мирового и рассказывала ей, видимо, что-то очень интересное, так как та поминутно восклицала:

— Да что вы?.. Да не может быть?..

Мировой сидел с Варенькой Недоносковой и жаловался ей, как трудно быть мировым, в доказательство чего приводил какую-то замысловатую кляузу, которую даже и сто мировых не могли бы разрешить без того, чтобы не посадить под арест обе тяжущиеся стороны. Варенька показывала вид, что слушает и сочувствует, но,

в сущности, ничего не понимала: она искоса посматривала в сторону сестры и Тычкина, и сердце ее ныло от ревности.

Молодой секретарь полиции, Травкин, очутился каким-то образом здесь же, в числе празднующих годовщину. Он чувствовал себя не совсем ловко и поминутно говорил:

— Мерси-с... я ничего... не беспокойтесь...

Хотя о нем решительно никто не беспокоился.

Зато не было ни следователя, ни доктора.

— Жарковато! — уже несколько раз повторил почтмейстер, желая присоединиться к разговору с Наденькой. Но все его заряды пропадали даром: Наденька и Тычкин были заняты исключительно друг другом.

Неуклюжий и неповоротливый сотский возился около самовара, раздувая его своими крепкими легкими.

— Дуррак! Сними сапог, да и валяй! — небрежно крикнул Тычкин в одну из пауз разговора с Наденькой, когда особенно сильно донеслось его раздувание за кустиком.

— Да сапогов-то, вашеско благородье, нет... в лаптях мы! — ответил сотский.

Все расхохотались.

Секретарь полиции не замедлил доказать свою деликатность и «готовность»: скорчившись, он моментально стащил с ноги сапог и, пустив им в мужика, крикнул:

— Держи!

— Ах, не пымал!.. Ах ты!.. — испуганно шептал мужик, не успевши схватить сапог Травкина, и виновато улыбался.

Мировиха и Марья Гавриловна, переговоривши о всех выдающихся «злобах», занялись приготовлением к чаю. Из близ стоявших тарантасов они вынимали узелки и свертки, бутылки, кедровые орехи, мятные пряники и т. п.

Варенька, воспользовавшись удобным случаем, бросила своего скучного собеседника и тоже занялась хозяйством.

Скоро разостланная по ковру белая скатерть была заставлена всевозможными яствами и питиями. Мужик вскипятил с помощью сапога самовар и, по примеру секретаря, бросил сапог обратно, крикнувши тоже:

— Держи!

Но сапог полетел по кривой и чуть не сшиб шляпу Наденьки.

— Ах!

— Ай!!! — завизжали дамы.

Подавая готовый самовар, импровизированный слуга сделал новую неловкость: он залез с лаптями на скатерть и очень изумился, когда сделали ему выговор.

— Как же, барыня? Приказали на середку поставить, а идти не велите?

— Не рассуждать!.. — крикнул Тычкин.

— Хитры больно, — бормотал сотский, — поставь им на середку, а сам стой на краешке!

Несколько стаканов чаю с коньяком развязали языки кавалеров и устранили то неловкое положение, в котором чувствовали себя все торжествующие, за исключением, впрочем, Тычкина, всегда веселого, развязного и находчивого. Теперь даже и секретарь полиции почувствовал себя как дома. Он играл с Варенькою в «чет или нечет?» и беззаботно каламбурил.

Звон стаканов, щелканье пробок, веселый звонкий смех Наденьки и остроумие Тычкина сплотили все общество воедино. Никто ни о чем не жалел, только одна Марья Гавриловна вспомнила доктора:

— Не поехал, чтоб ему!.. Упрямый козел.

— Выпьем-ка лучше!

Мировой выпил своей «хинной», дамы какого-то «кисленького», секретарь хлопнул рюмку коньяку, — и торжество началось...

Секретарь затянул было:

Пче-елка зла-та-аая... что...

Но Тычкин, вскочив с места, крикнул:

— Силенция, господа!! По примеру прошлых лет нам следует сперва спеть эту... Gaudeamus... Ну-ка, Илья Ильич! Затягивайте!

— Валяйте, Илья Ильич!

— Напев-то знаем... доктор его часто бунчит...

Мировой долго отказывался, но когда к упрашивающим присоединилась и его собственная супруга и стала говорить: «Илюша, не кобенься!» — Илья Ильич откашлянулся и сиплым старческим голосом начал:

Gau...

Хор подхватил недружно:

deamus igitur...

Произошло некоторое замешательство: никто не знал слов и только мычал «тра-та-та».

— Ну вас, с этой иностранной песней! — крикнула Наденька, — споем-ка лучше русскую!

— Нельзя-с! В годовщину, да не спеть эту песню! — возразил Тычкин.

Запели снова. Но дело не ладилось. Бросили.

— Выпьем лучше за здоровье нашего храма науки! — предложил Тычкин.

— Выпьем, господа!

— Следует! — отозвались с разных сторон мужские голоса.

— Рады случаю! — укоризненно произнесла жена мирового.

— Как не выпить за альму-матерь, — сказал ей почтмейстер, — у меня в ней двоюродный брат кончил курс... Теперь три тысячи получает... С именинницей вас, Илья Ильич! Ура!

— Урррааа!

Все, не исключая девиц, прокричали «ура».

— За того, кто любит кого! — выступил с тостом секретарь полиции.

— А вы погодите! — остановил его Тычкин. — Теперь не время... Пообождите...

Секретарь убрал руку с рюмкой и выпил, ни с кем не чокаясь, без всяких тостов.

А тосты следовали за тостами, дошли и до «того, кто любит кого», и скоро компания «начокалась».

В то время как Марья Гавриловна и девицы играли с Тычкиным и секретарем в «горелки», почтмейстер сидел с мировым поодаль и вел разговор об «alma mater».

Илья Ильич, вспомнив далекие дни своего студенчества, размяк душою и со слезами на глазах рассказывал, как он срезался на экзамене по римскому праву.

— А что это за штука такая? — вставил вопрос почтмейстер.

— Какая?

— А римская-то?

— Гм... Римское право... — пояснил захмелевший Илья Ильич.

— Ага!.. — выпустил почтмейстер.

— Марья Гавриловна! Вам гореть!..

— Ах!..

— И-их!.. — визжали девицы.

Марья Гавриловна вцепилась в Тычкина, а Наденька не давала:

— Мой!

— Нет, мой! — спорили дамы.

— О, я, медам, с наслаждением разорвался бы для вас на части, но, ей-богу, не могу! — острил кавалер.

— Прросвещение, — говорил почтмейстер мировому, — конечно, нет слов, вещь это занятная... Только все-таки скажу: опасный народ студенты, беспокойный! хоть взять прошлогодний случай... Ну, какого черта дикого им надо? Кончат курс, поступят на места, жалованье приличное... Я вот, верите ли, Илья Ильич, десять лет служил на тридцати трех рублях! Да и теперь чуть хватает (почтмейстер безнадежно махнул рукой)... Говорят — правда, нет ли? — оклад нашему брату хотят увеличить? Давно бы следовало...

— ...Бывало, — бунчит погруженный в воспоминания мировой, не слушая собеседника, — бывало, где-нибудь на чердачке, под крышей...

— Одним словом, детишкам на молочишко не хватает, — продолжает себе почтмейстер, не слушая мирового.

Скоро Илья Ильич окончательно ослаб. Свалившись под березками, он начал было петь «Gaudeamus», но язык ему не повиновался.

— Выпей вот!.. Натрескался! — злобно и вместе с тем преданно шипела его жена, тыкая в рот супругу стакан с холодной ключевой водой.

— М-м-м... — мычал мировой.

А солнце уже давно закатилось, спряталось за лесом, и вечерняя мгла душистой прохладой напоила летний воздух. Задергали коростели, застрекотали кузнечики, перепела закричали там и сям свое «пить-полоть! пить-полоть!». В чистом эмалевом небе мигнула звездочка. Ночной хищник просвистел в воздухе своими крыльями. И комар запищал надоедливо над ухом.

— Вп...п...рягай!.. Живо! — кричал Тычкин, покачиваясь на месте.

Дамы, с Марьей Гавриловной во главе, стояли, сбившись в кучку, и разрешали вопрос: идти ли им домой пешком или согласиться доехать с мужчинами?..

Ночью по улицам Сердянска бешено мчались две

тройки. Ямщик свистел соловьем-разбойником, колокольчики пели и играли, собаки, сбежавшиеся со всего города и гнавшиеся за тройками, страшно лаяли, а в тарантасе смеялись, визжали и пели песни...

Обыватели, успевшие уже «залечь», пробуждались, открывали окна и, выглядывая на улицу заспанными физиономиями, недоумевали, что бы могло это значить?

«Если свадьба — некому жениться... а если господа... не станут так скандалить...» — размышляли со сна многие обывательские головы.

Увлеченный газетами, доктор сидел в это время в раздумье:

— Gaudeamus igitur, — донеслось до его ушей. Он узнал в этом голосе Тычкина и вдруг неистово расхохотался.

— Мавра! Мавра! — закричал он свою кухарку.

Мавра спала в сенях «для прохлады» и, проснувшись, сердито спросила:

— Чаво тебе еще?

— Сходи за водкой!

— Что ты? Окстись... Кочета скоро запоют.

— Ничего, ступай! вот деньги!..

Ворча и охая, Мавра накинула сарафанишко и побежала.

— Нá вот, охальник! — сказала она, ставя на стол перед доктором бутылку водки и кидая медную сдачу.

Доктор молча налил и выпил. Потом походил и еще выпил. Ему было грустно. Тоска сжимала сердце. Ему чего-то было жаль. Душа куда-то рвалась, куда-то просилась... Чувствовалось полное одиночество и утрата чего-то дорогого, близкого, родного.

Выпьем мы-ы... за того... —

бурчал тоскливо доктор, ходя крупными шагами по комнате.

— «Выпьем!» — ворчала Мавра, ворочаясь в сенях на подстилке. — Вздумал когда выпить! Нашел время, нечего сказать...

Наша-а юность, друзья-я-я,
Пронесе-тся стре-л-о-ою... —

совсем плаксиво тянул доктор.

Проведемте ж, друзья,
Эту ночь веселе-е-ей...

— «Весело!» — ворчала Мавра, — эко веселье напало, прости господи!.. Не спится человеку...

И Мавра сладко зевнула.

Вдруг доктор во все горло запел:

> Gaudeamus igitur
> Juvenes dum su-mus!..

Но сейчас же оборвался. Судороги сжали ему горло, и он захлебнулся в слезах. Опустивши на стол голову, он замолк, притих и лежал долго-долго...

А петухи уже пропели, на горизонте сверкнула узкая золотая ленточка утренней зари...

ХЛЕБ ВЕЗУТ

Стоял жаркий июльский полдень. Небеса были чисты, безоблачны, и солнце жгло, как огнем. Земля дышала зноем, сохла в камень и трескалась. Растительность умирала от жажды... Луга желтели пожженной травою. Остатки ярового гибли под раскаленными лучами солнца, а полосы озимого пестрели реденьким жалким колосом.

Там и сям на ржаном поле краснели бабьи платочки и синели пестрядинные рубахи мужиков: то жители деревушки Безводной собирали скудную жатву...

Рожь была настолько плоха, что жать ее не было возможности. Редкий и низенький колос дергали руками, как лен, и только местами, где она родилась погуще и повыше, косили... На меже скучилось малолетнее население деревушки: в маленьких тележках и прямо на траве барахтались грудные ребята. Они отчаянно брыкались ножонками, отбиваясь от надоедливых насекомых, и «увакали»... А около них копошились подростки, тщетно унимавшие от слез своих сестренок и братишек, угощая их жевкою из ржаных зерен...

Петруха, свернув с дороги, пошел по меже. Он вел за руку пятилетнюю девчонку и шагал тихо, о чем-то размышляя... На желтом, изборожденном морщинами лице его застыла грустная мина, отпечаталось выражение полной безнадежности. Петрухе не хотелось идти в деревню, в свою избу. Он был бы рад совсем не являться туда, но так как это было невозможно, то он старался протянуть время.

Тяжело было на душе у Петрухи. Тоска сосала ему сердце, и некуда было уйти от нее... Не смотрел бы на свет божий — тошно!.. Руки опускаются, кости болят, брюхо ноет... Повалился бы наземь, да так и не встал бы, на все плюнул бы... Либо ушел бы куда-нибудь на край света, в чужую сторону, все бы из башки выкинул, все думы, все заботы, все, что не дает покоя... Всех бы бросил: и избу,

и коровенку, и мертвого Митьку... Пусть, как хотят... Как-нибудь тут сделаются, а он... Все равно, хуже этого не будет... Жена?.. Вместе не суждено жить. Кто знает, что будет? Живет она в городу, в чужих людях, далеко... Да и что проку? Теперь уж не оправишься... Лошаденки нет — ни пахать, ни боронить; засеять нечем, да и силушки не хватает... Жрать нечего... Придет осень — холода наступят... Одежонки нет... Ребятенки ревут, жрать просят. Они, глупые, не понимают, им давай! А где возьмешь?..

Долго плелся Петруха до околицы, а как увидел ее, — вздрогнул, словно чего-то испугался: он думал, что идти еще далеко, а тут вдруг прямо перед глазами и ворота, и прясла, и сторожка...

Печально выглядела деревушка. Единственная улица ее была пустынна и заброшенна. Некоторые избенки были покинуты и как-то задумчиво смотрели своими наглухо забитыми окнами... Кругом было тихо и сонно... Казалось, деревушка вымерла... Не скрипят ворота, не слышно мычания коров, визга поросят; по дороге не бегают взапуски белоголовые ребятишки... Изредка только через улицу перебежит тощий поджарый кобель, да неунывающие воробьи пронесутся стайкой с оживленным чириканьем с прясла на крышу...

Петруха с Агашкой дошли до дому и вошли в избу... На лавке у окна лежал Митька в полинявшей кумачовой рубашке. Его худое мертвое личико смотрело полураскрытыми глазами серьезно и озабоченно... Русая головка растрепалась. Живот раздуло... Из-под рубашонки торчали тонкие, как лутошки, ножонки... Руки были сложены на груди... Множество мух облепило мертвого ребенка, разгуливая по его лицу и ручонкам... Слабый ветерок, врываясь в разбитое окно, играл русыми локонами Митьки, а пучок солнечных лучей скользил по его губам и подбородку...

В избе было душно, смрадно... Пахло трупом. Из клети доносился отчаянный рев больной Акульки.

— Дочка! Подь, дай Окульке испить! — слабым больным голосом сказал Петруха, присев на конник, где стоял новенький, наскоро сбитый гробик для Митьки.

Петруха посмотрел на этот белый ящик и вздохнул. «Мал, низок... живот-от вздулся... новый надо сделать», — подумал Петруха. Он пошел было на двор — поискать подходящих досок для нового гробика, да вернулся и подошел к Митьке! «Прикинуть надо, — брюхо-то большое».

Отец подошел к Митьке и задумался...

Долго и пристально смотрел он в мертвое лицо своего сына... О чем он думал? Думал ли он о том, где взять подходящих досок для гроба и тридцать копеек на отпевание Митьки? Жалел ли он Митьку или радовался за него, радовался, что Митька не хочет и никогда более не захочет уже есть?..

Долго Петруха стоял перед трупом ребенка и тупо, сосредоточенно смотрел в личико страдальца... Смотрел до тех пор, пока в избу не вошла Агашка и гнусаво не затянула:

— Тять! А тять!.. Окулька жрать просит!..

Тогда Петруха оторвал глаза от Митьки...

— Где я вам возьму?! — сказал он и тихо заплакал...

Заплакала, глядя на отца, и Агашка.

Солнышко приветливо заглядывало через оконницу и целовало мертвого Митьку в губы, а ветерок играл его русыми волосенками...

Вечером пришла Акулина и принесла для Митьки новую рубаху из белого холста. Она же обмыла грязного мальчугана и обрядила его...

Петруха уволок от забора Николая Епифановича большую доску и сделал новый гробик для сына. В гробик постлали соломки, уложили Митьку и поставили на стол в передний угол... Помолились перед образом и поклонились Митьке в ноги... В шабрах дали два желтых огарка восковых свеч. Зажгли их и поставили один перед Николаем Угодником, другой в головах Митьки...

Солнышко село. Из поля народ пошел, заходить в избу стали... И все молились за упокой «новопреставленного младенца Митрия», все желали ему царства небесного, и все кланялись Митьке в ноги...

А отец стоял в сторонке и угрюмо, исподлобья смотрел в передний угол...

— Когда понесешь хоронить? — спрашивали Петруху.

— Не знай... Гроша медного нет...

— Ты сходил бы к Николаю Епифановичу!..

— Не дает... Коровенку бы продал, да некому...

— Сходи к нему... У Косого борова взял...

На другой день утром Петруха пошел к Николаю Епифанычу.

— Что нужно? Поди опять клянчить? Нет ничего!

— Нет, нашто клянчить... Коровенку не купишь ли?.. Стельна!

— Куда мне?..

— Прасолу продашь... Мне деньги больно нужны, — ждать-то несподручно...

— Тощая?

— Тоща-то тоща, только все-таки хорошая корова... Покормишь — оправится... Ежели ее теперь кормить по-божески, она, знаешь, какая корова!... Задешево отдам...

— А сколько?

— За шестерку возьми...

— Еще сдохнет... Трешну хошь?

Николай Епифаныч махнул рукой и пошел прочь.

— Возьми за пятерку!..

— Трешна!

— Стельна ведь!.. Накинь рублевку!

— Ну, чатыре цалковых... Тебе хлеба надо?

— Как же без хлеба?!

— Так вот: три пуда ржаной хошь?

— Мне бы деньжат маленько...

— Ну, два пуда и цалковый, пес с тобой!.. Веди на двор, — я погляжу... Может, хворая, сдохнет...

— Как можно!.. Тоща только. Покормишь — оправится...

Петруха вышел.

Два пуда муки и еще в придачу целковый, — это показалось теперь Петрухе таким богатством, что он разом повеселел и бодро зашагал к дому.

Бурена стояла под поветью и апатично смотрела в пустую колоду, задумчиво похлестывая грязным, усаженным репьями хвостом по впалым бокам... Петруха подошел к ней, похлопал ее по спине рукой и накинул на шею веревку. Агашка подала мешок для муки. Петруха взял его под мышку и повел со двора остальную животину...

Агашке было жалко Бурену. Девчонка вышла за ворота провожать и долго, пока Петруха с Буреной не скрылись под горкой, — смотрела, закусив палец...

Петруха благополучно сдал корову и вернулся с мукой и деньгами...

Петруха помолился, потом пошел в клеть к Акульке. На Петруху вдруг нахлынула какая-то нежность к ребятам, чего давно уже не бывало... Войдя в клеть, он подсел на

пол к больной девчонке и стал ее гладить своей мозолистой рукой по голове.

— Не плачь, дочка! Завтра хлеба испечем. Митьку поминать будем...

— А ты седни испеки! Я есть хочу!..

— Погодь маленько!.. Вот завтра... Пораньше вставай! Я те вот какой ломоть, во весь каравай, отрежу... да посолю!..

Акулька перестала реветь. Она только пожелала, чтобы Агашка сейчас же пришла в клеть и легла спать с ней рядом...

— Пущай лягит вот тута... Где она?

— Погодь, придет... Завтра, чуть свет, печь затопим... я тебе вот какой ломоть отхвачу, во весь каравай!.. — приговаривал Петруха и утирал своей рукой грязный нос Акульке...

Пришла «с горохов» Агашка и принесла стручков.

— Хошь, тятька?

— Окульке дай!

Агашка отсыпала кучу стручков отцу и пошла к сестренке.

— Ложись, Огашка!.. Чаво ты убегла?.. — встретила ее Акулька.

— Хошь?

— Хочу...

— Стручки... А вот ягоды... Кра-а-сны!.. Сла-а-а-дки!..

— Давай!..

И Агашка накормила Акульку «волчьими ягодами»...

На другой день, не взошло еще солнце, пришла Акулина и стала возиться около печки.

Петруха надергал у соседей из прясла кольев и затопил печь, потом стал собираться в село — Митьку «хоронить». Он обулся в новые лапти, расчесал голову, надел чистую рубаху.

Когда солнце взошло, Петруха разбудил Агашку:

— Дочка! вставай! Подь простись с Митькой! Поцелуй его!

Агашка торопливо встала и пошла в избу.

— Помолись, дочка!

Агашка перекрестилась и, встав на лавку, поцеловала Митьку в лоб.

— Вот умница!.. Еще поцелуй!.. Три раза!..

Агашка поцеловала Митьку еще два раза, а Петруха

пошел в клеть, взял на руки сонную Акульку и принес ее в избу, тоже «прощаться»... Он ткнул ее лицом в Митькины губы и сказал за нее:

— Прощай, братец Митенька!..

Акулька заплакала.

— Не плачь, дочка! Ужо хлеб испечем... Я тебе, знаешь ли, какой ломоть отворочу?! Посолю-ю!.. Не плачь!..

Петруха отнес Акульку в клеть и положил, а сам вернулся в избу.

Помолившись пред божницей, он трижды бухнулся Митьке в ноги, перекрестил его и несколько раз поцеловал, приговаривая:

— Прости нас! Царство тебе небесное, сердечный!..

Потом простилась Акулина. Она всплакнула и, когда Петруха забивал крышку гробика, стояла у косяка чулана и утирала рукавом слезы...

— Ну, с богом!.. Господи, благослови!.. — произнес Петруха, взял гробик и пошел из избы...

Петруха возвращался с кладбища соседнего села. Он схоронил Митьку и за всеми расходами имел еще гривен шесть денег.

День был воскресный. Только что отошла обедня. Около трактира, на площади, толпились мужики; парень с гармоникой сидел на лавочке у трактира и грыз семечки. Петрухе хотелось есть, но, когда он приметил кабак, ноги самовольно заворотили к нему... «Выпью стаканчик, Митьку помяну...» — подумал Петруха, засунул руку в карман и позвенел медяками...

Выпитый стаканчик водки за семь копеек ожег пустой желудок Петрухи, и хмель сразу бросился ему в голову... Повеселей маленько стало на душе, и, поразмыслив, Петруха решил выпить еще один стаканчик «за пять»... Выпил, посидел, с мужиками поговорил. Пожаловался на свое житье-бытье, рассказал, что у него Митька помер, а жена — в городу и не знает ничего... Послушал и чужих речей... Узнал, что в село недавно приехал земский начальник и что он самолично беседовал с народом на площади... Не велел пьянствовать, а работать, приказал шапку перед всеми господами скидавать, а главное, скверными словами не ругаться на улицах... Здесь же, в трактире, Петруха узнал и радостную новость, что к становому

в слободу Отрадную от исправника хлеб привезли — тысячу пудов муки — и что муку эту раздавать народу будут... Совсем повеселел Петруха. «Может, как-нибудь поправимся», — подумал он и выпил еще стаканчик «за пять»...

Целый час терся Петруха в трактире — все говорил да слушал... Когда он вышел оттуда, чтобы двинуться домой, время близилось уже к полудню.

— Ну, прощай! Бог с тобой! — сказал Петруха, обернувшись к кладбищу, перекрестился на церковь и зашагал...

При выходе из села Петрухе вдруг петь захотелось, и он затянул:

Эх ты, Ваня, разудала твоя голова!..

Да затянул так громко, что песню услыхали в барском доме, что стоял на пригорке, весь в садах...

— Не ори! — крикнул выбежавший из ворот мужик с жестяной бляхою на груди.

— А что мне не орать-то? — ответил Петруха и опять залился:

Разз-удала-яяя, головушка твоя-я-я!..

Десятский подбежал и дал Петрухе тычок в спину. Петруха тоже ударил десятского. Выбежали еще мужики. Петруха стал скверно ругаться. Его сгребли в охапку и притащили к палисаднику...

За столиком, в тени акаций, какой-то барин в халате сидел и газету читал. Перед барином стоял самовар... Барин встал и начал кричать на Петруху... Петруха обиделся.

— А позвольте спросить, — сказал он, — кто такой вы будете?

Но барин не сказал Петрухе, кто он такой, и только в кутузке Петруха узнал, что это и есть приехавший недавно земский начальник...

Продержали Петруху долго, но он не скучал и не просился. «Некуда торопиться, поспею...» Нашлись сотоварищи, и в кутузке было весело, тем более что здесь нашелся мужичок, который божился, что «своими глазаньками» видел, как на двадцати подводах к становому хлеб провезли... Обсуждали «хлебный вопрос», спорили, горячились и не заметили, как за разговорами время прошло... Только жрать больно захотели, а то хоть бы еще столько же просидеть!..

Часов в пять некоторых выпустили: одних так, другим «острастку дали». Петруха попал в число последних. Но

он так был занят мыслью о привезенном к становому хлебе, что лег под розги с самоотверженностью Муция Сцеволы, крикнув «валяй!..». А когда экзекуция была окончена, он проворно оправил свой незатейливый костюм и переспросил поровшего его десятника:

— Тысячу пудов, говоришь? Не больше?

— Тысячу, — ответил тот, складывая прутья.

— На всю волость?

— Не знай... Может, и на уезд.

— Мотри, на волость? На уезд чего тут!.. По кусочку не достанется...

И с надеждою, что привезенная к становому мука предназначена именно для той волости, где проживают *они*, Петруха помолился господу и пошел домой...

Чем ближе Петруха подходил к родной деревушке, тем настойчивее убеждал себя, что мука привезена для них.

— Бесприменно нам... Мы давно мякину да отруби жрем... — рассуждал он сам с собою.

Так что, когда Петруха вошел в околицу, он бесповоротно решил уже, что мука — для них, а потому и не стерпел, чтобы не поделиться этою радостью со своими однодеревенцами:

— Эй! Кто дома? — крикнул Петруха под окнами первой же избенки, постукивая подожком в ставень.

— Кого надо? Что еще? — ответил чей-то недовольный, озлобленный голос.

— Скажи: «Слава богу!» Хлеб нам везут! Даровую мучку!..

— Ну? что ты?

— Верно!.. От казны... способие... тысяча пудов!

— Не врешь?

— Вот те и «врешь»! Сам лучше соври! — ответил Петруха и начал действительно уже подвирать, будучи не в силах остановить необузданную фантазию голодного брюха: — Субсидия! По тысяче пудов на волость... Может, потом прибавка будет, потому чаво тут на всю волость? А покудова — тысяча... Мука хоррошая!.. Сухая!

Из окна уже торчали несколько голов, одна над другою... Все обитатели избенки старались как можно более высунуться из окна, чтобы посмотреть на принесшего столь радостное известие человека.

— Да ты что долго ходил?

— Земский пымал... Поролся...
— В какой плепорции?
— Чаво?
— Да хлеб-от?
— Говорю, тысяча пудов! Оглох, что ли?..
— Верно ли? — допытывались бабы.
— Сам земский сказывал... врать не будет... Ну, идтить надо домой... Взопрел...
— Испить не хочешь ли? — предложила баба.
— Давай! Да махонький кусочек хлебца прихвати!.. Чаво-то в горле сухо... С хлебом-то лучше продерет...
— Бабы! хлеб-от есть?.. Прихватите маленько!
Скоро из окна выставился ковш воды, а на нем — посоленный ломоть черного хлеба.
— На-ка, родимый!
Петруха быстро съел весь хлеб, отпил маленько воды, вытер усы и, выплеснув из ковша оставшуюся воду, сказал: «Спасибо», — перекрестился и пошел далее.
По дороге он порадовал еще одну избенку, в окно которой смотрела баба.
— Матрена!
— Ась?
— Скажи: «Слава богу!»
— Нашто?
— Хлеб везут... Субсидия... Раздавать нам будут... Тысяча пудов! — прокричал Петруха, не останавливаясь.
— Что ты?! Погодь-ка! Подойди к окну!
— Неколь... Верно уж! Сам земский сказывал...
— А ты постой! Я мужику скажу...
— Неколь! Домой надо! В глотке саднит...
Придя домой, Петруха бросил картуз на лавку и лег на конник. Он сильно устал.
— Ты что, тятька, долго? Окулька совсем помират... Рвет ее, — сказала Агашка.
— Ничаво, протерпит... Скоро муку привезут... А хлеб испекли?
— Испекли... Нешто не слышишь дух-то?
— Где он?
— В чулане... Я принесу...
— Принесь, дочка!
Агашка принесла каравай. Петруха распоясался, сел к столу, перекрестился, отрезал большой ломоть, круто посолил и стал с жадностью уничтожать его.

— А Окульке давала?

— Давала... Не жрет... Рвет ее...

— Оправится... Недолго... — говорил Петруха, уписывая за обе щеки...

Радостная весть, принесенная поротым Петрухою в деревушку, распространилась с быстротой молнии.

Никогда еще здесь не было такой радости, такого подъема духа, такого оживления, как на другое утро после прихода домой Петрухи.

На улице бегали рысцой бабенки с грудными ребятишками. Под окнами шла оживленная беседа: здесь всесторонне обсуждался «хлебный вопрос»... Мужики ходили быстро, проворно и перестали охать и накидываться на баб. Радостное известие подняло упавший дух безводнинского населения. Все ожили, приободрились, сбросили гнет мучившей мысли о голоде... Там и сям, у завалин, собирались кучки крестьян и спорили о тысяче пудах муки...

— Васянька! беги на поле, скажи там, чтобы шли... Сход, мол, сбивать будем... Хлеб скоро привезут!..

— Робята! Надо самого Петруху спросить... Все самим-то услыхать безопасней... Больно по-разному народ-то болтает...

— Известно, сам-от верней расскажет... Позвать надо Петруху.

— Зовите самого!

Из поля торопливо бежали в деревню, словно боялись, что без них тут съедят всю тысячу пудов... Народ сбился в круг. Привели Петруху, поставили в средину и стали внимательно слушать, что он скажет.

А Петруха путался: по его рассказу, который он повторил уже несколько раз, можно было принять с достоверностью только два положения: что Петруху выдрали — это во-первых, и что к становому привезена мука для раздачи народу — это во-вторых... А кому мука именно предназначена и «в какой плепорции» — этого понять было совершенно невозможно.

— Сперва в трахтере болтали, а потом, как я, значит, в каталажке сидел, доподлинно узнал, что тысяча пудов... А опосля, как, значит, выдрали, я и спрашиваю: зачем мука? На какой предмет? — пояснял Петруха, жестикулируя левой рукою...

— Ты говорил, — прибавка будет?

— Это действительно... Народу, говорит, велено раздавать... Ну, я подвязал гашник и пошел...

— Сам земский сказывал?

— Сам... Только, значит, не мне... Я сам-от не посмел его спросить... Отрадинский десятник говорил... Тысяча пудов... К становому, а от него в правленье, по волостям...

— На всю волость али нам только?

— И нам, стало быть... Как меня выдрали, я и спрашиваю...

Так ничего и не поняли. По словам Петрухи выходило, что муку прислали им, а кому именно — совсем не выходило... Сперва Петруха говорил, что вся мука должна достаться им, а потом так, что она прислана на всю волость; сперва говорил, что будет прибавка, а потом — что всего, с прибавкой, тысяча пудов.

Один из слушателей, тщетно старавшийся разобраться в этой путанице, вышел из терпения, плюнул и со злостью сказал:

— Мало тебя там драли, вот что! Не всю дурь-то выколотили...

— Какого лешего! Ничего не разберешь...

— Говори толком!

— Я и говорю тебе: еще допрежде того, как мне пороться...

— А ну тебя!.. Нарочного надо послать! Хорошенько узнать...

— Нарочного!

— Нарочного!

Порешили отправить нарочного прямо к становому, чтобы на месте разузнать все доподлинно.

— Пущай Петруха и едет! Он там знат...

— Нашто Петруха? Вишь, он спутался... Кого-нибудь посмелее!

— Митрия Косого!

— Митрий! Где Митрий?..

— На чем я поеду?.. — ответил голос из толпы. — Жену, что ли, оседлаю?..

— На моем жеребчике смахашь!..

— Чаво тут... Надо прямо подводы наряжать... Коли што, пускай везут прямо... Кому же?... Не становой же съест ее, тысячу-то пудов?..

Поднялось галдение. Стали считать, сколько в деревне лошадей. Оказалось — только восемь голов.

Как ни трепали «хлебный вопрос», а в конце концов все-таки пришли к необходимости послать к становому нарочного. Митрий Косой, расторопный и юркий мужичок с кудрявой головой и с косым глазом, был избран послом к становому.

Привели сивого жеребчика.

— Повремените, я поем маленько... — заговорил было Митрий Косой, но кто-то уж догадался: принес Митрию ломоть хлеба.

— Садись и махай!

— Счастливо!

— Порасспрошай хорошенько! Похлопочи, чтобы всю тысячу!..

— Пухнем, мол!..

Митрий Косой вскочил на жеребенка, хлыстнул кнутом лошадку и поскакал галопом вдоль улицы. Его босые ноги свесились низко и хлопали лошаденку по животу; руки прыгали в локтях, как бы подсобляя лошаденке скакать галопом...

— Проворней, кульер!.. — напутствовал Митрия голос из толпы.

Митрий Косой ускакал, скрылся... А мужики не расходились, продолжая обсуждать «хлебный вопрос»...

Долго не спали в этот памятный день в деревне Безводной. Долго по завалинам сидели мужики и бабы, и все говорили о субсидии. На улице было шумно, слышался говор, смех, а где-то, на другом конце, даже пискнула в этот вечер и вятская гармоника...

А Петрухе и совсем не привелось уснуть в эту ночь: Акулька совсем расхворалась: билась в жару, стонала... Ее мучила неутолимая жажда и одолевала рвота. Отец поил ее водой, залезал ей в рот своим грязным, закорузлым пальцем, брал на руки, качал, предлагал ломоть хлеба и сулил завтра напоить молоком... Акулька ничего не понимала...

Зато Агашка спала в свое удовольствие... Она туго набила сегодня брюхо свежим хлебом и свистела носом на всю избу...

Только на свету Акулька успокоилась и уснула.

Тогда Петруха осторожно положил ее на конник, а сам брякнулся на полу, рядом, и заснул как мертвый.

Прошла ночь, прошел еще день — и все рушилось.

Все надежды Петрухи и всех голодных брюх разбились вдребезги... Приехал от станового Митрий Косой, сердитый, озлобленный, и с руганью и проклятиями объявил, что Петруха «нагородил».

Муку действительно прислали, но вовсе не тысячу, а всего сто пудов, и предназначалась она вовсе не для них...

И рассеялись, как дым, мечты и фантазии голодных брюх... Своего «запасу» у Петрухи осталось мало: роздал взаймы по фунтам с условием, «чтобы не задерживать»... Акулька помирала, а Агашка маялась брюхом...

А к окну беспрестанно подходили однодеревенцы и ругали Петруху за то, что он зря народ смутил и вздоры нагородил...

— Словно махонький!..

— Тысячу пудов!.. Дурак!..

Петруха молчал и не оправдывался. Он так был пришиблен неожиданным оборотом дела, так упал духом и телом после кратковременного нервного возбуждения под влиянием «тысячи пудов», — что не мог теперь даже и говорить; не хотелось, язык не ворочался...

И опять у Петрухи засосало под сердцем, опять заболели кости, заныло брюхо, и опять стало тошно смотреть на свет божий... А тут еще пристают и попрекают... До



того дошло, что даже и Акулина, которой Петруха отдал почти половину своего «запаса» до получки способия, пришла и стала скулить над ухом:

— Налил зенки-то, вот тебе и померещилась тысяча пудов... Сын помер, а он прямо в кабак!.. Бога в вас нет...

— Отвяжитесь! — закричал наконец выведенный из терпения Петруха и ушел из избы.

Он прошел задами на огород и лег здесь под талом. Петрухе никого не хотелось видеть и ничего не хотелось слышать: ни Акулининых попреков и брани, ни стона умиравшей Акульки, ни плача больной Агашки... Петруха лежал на брюхе и прятал свою физиономию в траве... Он думал... Думал о том, куда уйти, что делать и как теперь быть? «Плюнул бы на все и ушел в город... Жену проведал бы... Если бы не ребята, сейчас встал и ушел бы... А с ними куда? Ежели Окулька помрет, — возьму Огашку и уйду, — думал Петруха. — Пойдем в город, к жене... Как-нибудь перебьемся. А избенку продать... Кому только ее нужно?.. Что в ней, в избе-то, если жрать нечего?..»

И тут в его голове блеснула счастливая мысль: сжечь избу и получить за нее от земства вознаграждение... «Сожгу избу, выдадут деньги, — возьму Огашку и уйду... Окулька помрет, чуть жива...»



Долго пролежал Петруха на огороде и все думал. А чем больше он думал, тем подробнее развивал свой план... Голодное брюхо снова пустилось фантазировать, и впереди рисовалась заманчивая картинка:

Петруха служит дворником или кучером, а жена в том же доме куфаркой... Живут они вместе, на кухне. С ними и Агашка... Живут хорошо, дай бог всякому так пожить!.. Каждый день варево... Всем довольны, ничем не обижены, нечего бога гневить... А Акулька помрет...

Акулька действительно не заставила себя долго ждать: на огород пришла хворая Агашка и с плачем сообщила, что Акулька, верно, померла: «Холодная и не дышит...»

— Бог с ней! — сказал Петруха, поднялся на ноги, взял за руку Агашку и пошел в избу.

Акулька померла.

Опять пришла из шабров Акулина, и опять началось обряжание. Петруха смастерил еще гробик. Теперь он не вздыхал и не жалел ребенка, а ходил молчаливый, задумчивый и все о чем-то размышлял.

— Ты что, Петруха? — спросила как-то Акулина.

— Ничаво...

— Что ты все молчишь?

— А чаво мне болтать-то?..

И больше ни словечка... Ушел в сени, а оттуда на огород. Акулина испугалась — пошла присмотреть, куда пошел Петруха и зачем... Заглянула в щель под поветью, смотрит: Петруха лежит под талом... Успокоилась Акулина, однако на всякий случай сообщила в соседях, что с Петрухой что-то неладно; нелюдимый стал, не говорит, бурчит только себе в бороду и все на огород ходит, под талом валяется...

— Как бы греха не вышло... Руки на себя не наложил бы... — заметила Акулина, и все решили, что за Петрухой надо присматривать...

Была глухая полночь. Ноченька выдалась темная-темная, хоть глаз выколи!.. В деревне все спали. На улице не было ни души...

Только Петруха не спал... Он валялся на коннике и чесался, все ждал чего-то... Агашка спала с ним рядом, а Акулька давно уже покоилась в сырой земле...

Тихо, осторожно Петруха спустил ноги на пол и при-

слушался: кругом такая тишь, что слышно, как жужжит спугнутая Петрухой муха и как дышит больная Агашка...

Петруха встал и пошел. Приблизившись к печке, он стал что-то нащупывать, шарить... Потом опять прислушался и пошел... Выйдя на двор, Петруха посмотрел на небо и направился на зады... Пролез на огород и, крадучись, пополз туда, где на крыше повети осталась еще солома...

Только Петруха зажег спичку, как рядом на дворе хрипло залаяла собака...

Петруха мигом задул спичку и припал к земле... Оправившись от испуга, он осмотрелся вокруг и прислушался: все тихо... Опять приподнялся Петруха и вздул спичку...

— Чаво делашь, мошенник! — раздался вдруг над ухом Петрухи хриплый сердитый голос, и кто-то навалился на него всем телом.

— Васька! Сюда! Поджигатель!

Петруха не сопротивлялся. Навалившийся парень ударил его по лицу. Прибежал Васька и тоже ударил. Взбулгачили народ.

— Ах ты окаянный... — приговаривал парень, стягивая руки Петрухи веревкою. — Кабы я не спал на огороде, что бы было? Спалил бы?..

— Кого пымали?

— Поджигателя... Петруха...

— Ну?!

— Окаянный попутал, сгубил лукавый, — слабо бормотал Петруха и даже не просил отпустить. — Вяжите, братцы, вяжите... Крепче, братцы... — шептал он и всхлипывал...

На другой день поутру Петруху повезли к становому. Собравшийся народ провожал его руганью и насмешками. Припомнили и «тысячу пудов».

— Вот те и тысяча пудов!.. Поди-ка вот теперь к становому-то, поговори с ним...

Петруха сидел, опустив низко голову, на телеге и упорно отмалчивался. Агашка плакала и просилась к отцу:

— Тять!.. а тять!.. И я с тобо-ой... — выкликала она сквозь слезы, но Акулина крепко держала Агашку за руку и не пускала:

— Куда, дура, рвешься?.. Не реви!.. С ним нельзя: его к становому...

— И меня к становo-о-му-у-у...

А Петруха смотрел в землю, не оборачивался...

ИНВАЛИДЫ

Повесть[1]

I

В комнате было почти темно.

Отблеск потухшего зимнего дня печально мерцал в окне, наполовину завешенном листом большой столичной газеты. В дрожащем мерцании сумерек слабо рисовался контур стоявшего на столе самовара и тянулась кверху темная бутылка с воткнутым в ее горлышко огарком свечи. Висевшие на стене принадлежности мужского костюма, с накинутою на тот же гвоздь шляпою, в темноте напоминали человека; казалось, спиною к вам стоит какой-то господин в шляпе набекрень и, широко расставивши ноги, сосредоточенно о чем-то думает...

Из соседней комнаты, через легкую дощатую перегородку, доносилось монотонное гудение изучавшего историю гимназиста; через потолок слышались глухие звуки пианино. Из самоварного крана медленно, с правильными интервалами, падали на поднос тяжелые капли воды.

Заломив обе руки на полысевшую уже голову, постоялец Крюков лежал неподвижно на кушетке, смотрел в темноту и слушал.

— Тоска! — произносил он время от времени, ворочаясь на своей жесткой постели, и кушетка жалобно визжала под телом Крюкова, словно и ей было тоже тоскливо.

Да и трудно было не поддаться грустному настроению. Сумерки зимнего вечера всегда навевают на душу тихую печаль, смутное сожаление о чем-то. А тут дело осложнилось еще некоторыми побочными обстоятельствами: гимназист Володя, сын квартирной хозяйки, зубрил историю

---

[1] Повесть эта появилась в разгар полемической борьбы двух литературных лагерей. Один из них в самом заглавии повести усмотрел личное оскорбление. Теперь полемический пыл остыл, и всякий беспристрастный читатель увидит, что под «инвалидами» автор разумел не тот или другой лагерь, а вообще всех «воинов» политического движения, выбывших из строя. (*Прим. автора.*)

Иловайского, заткнув пальцами уши, а так как через стенку отдельных слов слышно не было, то получалась томительная, ноющая жалоба, лишь изредка прерываемая короткими передышками. Прислушиваясь к этому изучению истории, Крюков то вспоминал чтение псалтири над своей покойной матушкой, которую он потерял в детстве; то ему казалось, что Володя обратился в большую стальную муху, которая, попав к пауку в тенета, жалобно молит о спасении; то Крюков уносился вдруг мыслью и воспоминанием в места отдаленные, и Володя превращался в убогого инородца, напевающего среди безграничного моря снегов и угрюмых лесов тайги свою монотонную, тоскливую песнь без конца и начала...

Но всего сильнее щемили сердце Крюкова глухо звучавшие в темноте гаммы и экзерсиции на пианино. Эти скачущие то вверх, то вниз по клавиатуре нотки, то одинокие, то парные, лишь изредка перемежавшиеся тоже своего рода передышками-аккордами в минорном тоне,— какой-то странной болью отзывались на душе Крюкова и будили в ней тысячу неясных, неопределенно-тоскливых ощущений, унося его назад, в далекое прошлое, и напоминая о чем-то или навсегда утраченном, или даже и не испытанном вовсе, недостижимом...

— Тоска! — прошептал еще раз Крюков и вместо вздоха, медленно, через губы, выпустил из легких длинную струю отработавшего воздуха... Затем с старческим кряхтением он поднялся с кушетки, отыскал коробочку спичек и зажег огарок в бутылке. Слабый огонек мигнул красноватым пламенем, и пугливые тени побежали торопливо по комнате и стали прятаться под потолок, по углам. Все звуки, к которым Крюков прислушивался в темноте, словно испугались этого огонька: глуше, отдаленнее стали звучать гаммы, совсем не слышно стало падения водяных капель из самоварного крана, а Володя, громко выкрикнув «аминь», крепко стукнул переплетом г. Иловайского по столу и прекратил свое монотонное гудение...

Красноватое пламя свечи упало на физиономию постояльца. Что-то детски наивное проглядывало в этом, в сущности, уже постаревшем лице: глаза смотрели доверчиво и печально, бородка из небольшого клочка темных волос напоминала совсем еще юношу, а между тем большой лоб был испещрен морщинами и казался бесконечным от сквозной лысины, и на висках серебрились кудрявые

завитки волос. В общем лицо Крюкова напоминало не то устаревшего и сошедшего со сцены тенора оперы, не то холостяка художника, переживающего хроническое неблагополучие в финансовом отношении... У нас встречаются такие лица еще у некоторых людей «без определенных занятий...»

Таким именно человеком и был постоялец Крюков.

Бо́льшая половина прожитой Крюковым жизни протекла в скитаниях. Эти скитания начались со дней далекой юности, когда чуткая душа горела жаждой подвига и сердце болело за всех униженных и оскорбленных... В кругу своих друзей Крюков наскоро разрешил все «вопросы» и присоединился к программе деятельности по формуле «все для народа и все посредством народа»... В полгода Крюков изучил общину, артель и кустарную промышленность. выяснил роль своей личности, как интеллигентного человека, и... затем был подхвачен волною движения... Эта волна закружила Крюкова, как щепочку, и стала носить по тюрьмам и этапам, пока наконец не выкинула на берег пустынных волн, предоставивши ему стоять здесь со своими великими думами и с беспомощно опущенными руками...

После многолетних скитаний и мытарств, когда вместо темных кудрей на голове Крюкова зловеще засияла черепная коробка, когда лицо, некогда цветущее и румяное, избороздилось морщинами, мысль стала терять свою легкость и остроту, а взор утомленно потухал и из беспокойного, искристого становился ровным, печальным и задумчивым, — тогда Крюков, с одним из попутных ветров внутренней политики, вернулся... Вернулся он с какими-то фантастическими надеждами, планами и замыслами, с горячею верою в свое прежнее дело и с непреодолимым желанием начать все сызнова.

Но действительность безжалостно посмеялась над Крюковым.

Как герой сказки, Крюков, казалось, проспал целое столетие, и когда проснулся, то вокруг него люди говорили уже на другом наречии, завели другие обычаи, иначе стали думать и иначе делать, и как Крюков не понимал их, так и его никто не понимал, и что всего тяжелее, даже, по-видимому, и не желал понимать. Человек с горячею верою в силу какого-то особого «уклада» русской народной мысли и народного миросозерцания, с фантастическими проектами путем общины и артели осуществить

идеал всеобщего на земле счастия, Крюков оторвался от действительности и продолжал жить прежними мечтами и воспоминаниями далекой юности... Одинокий член обанкротившегося товарищества на вере, Крюков не желал считаться с фактами и тиранически распоряжался ими, откидывая неприятные и притягивая за волосы приятные, и делал все это искреннее, без заранее, так сказать, обдуманного намерения. Вера, с которой дожил Крюков до старости, была настолько живуча и непоколебима, что наложила на него печать какой-то неприязни и нетерпимости ко всяким «новшествам» даже в своей собственной программе, не говоря уже о новых направлениях в общественной мысли и жизни. Встречая в периодических журналах статьи подобного характера, Крюков с ироническою улыбкою пробегал их поверхностным взглядом и, обыкновенно, не дочитывал до конца, пораженный и возмущенный какой-нибудь мыслью автора, казавшейся чистым абсурдом неприязненно настроенному читателю, и, напротив, трепетал от удовольствия, встречая возражения людей, более или менее единомыслящих... Иногда, читая «глупые статьи», Крюков схватывал вдруг перо и начинал нервно писать возражение, ответ... Но никогда эти ответы не дописывались и служили лишь самоуслаждением. «Не стоит, — думал Крюков, — даже и возражать...»

II

Крюков был одинок.

Прежних товарищей, полных единомышленников, не находилось, а с кем сталкивал случай, Крюков не сходился и не чувствовал желания сближаться. Всякое новое знакомство начиналось обыкновенно с взаимных недоверчивых оглядок, нащупываний, какой-то «пробы на зуб»... Времена стали такие подлые, что лучше не говорить по душе... И в результате получалось взаимное разочарование. «Федот, да не тот», — печально думал Крюков о новом знакомстве, а новый знакомец, знакомясь с миросозерцанием Крюкова, скептически улыбался и мысленно называл Крюкова ископаемым...

Со времени своего возвращения Крюков все путешествует и все чего-то ищет.

Казалось, Крюков хотел наверстать долгие годы

сиденья и потому нигде не оседал теперь. Многолетняя скитальческая жизнь развила в нем какую-то жажду бродяжничества, и Крюков нигде не мог обосноваться на более или менее продолжительное время: приедет в один город, помытарствует в поисках за подходящею работенкою, покорректирует местную газету, напишет несколько обличительных корреспонденций в столичных газетах и несколько статей о кустарных промыслах и дешевом кредите для народа — в местных, потолкается среди интеллигентных обитателей и начнет тосковать. Ему вдруг покажется, что он приехал не туда, что где-то там есть подходящие люди, есть более благоприятные условия для деятельности и что там именно и можно «начать все сызнова».

Крюкова потянет куда-то ехать и чего-то или кого-то искать. Он собирает свои жидкие пожитки, свои рукописи с проектами, вырезки из газет с неопровержимыми фактами живучести русской общины и безграничной власти земли над мужичком; укупоривает истрепанный чемодан со множеством клейм русских железных дорог и в легком пальтишке и в тяжелых сапогах-ботфортах, как Агасфер, отправляется в свое бесконечное путешествие...

Город Н-ск, где мы застаем теперь Крюкова, седьмой по счету из тех, в которых он успел уже пожить после своего возвращения из ссылки, и трудно сказать, почему на сей раз выбор Крюкова остановился на этом городе, ничем особенным, кроме своей грязи и пыли, не замечательном...

Впрочем, последнее переселение совершилось так быстро и неожиданно, что не было времени долго раздумывать и выбирать резиденцию.

Крюков приехал больной и печальный, потерпев полнейшую неудачу в своей попытке вновь перейти к практической деятельности... Вышло это следующим образом.

Крюкову удалось попасть на постройку новой железной дороги в качестве дистанционного конторщика. Он уехал в глухой угол С-ой губернии на службу акционерного общества с затаенною мыслью найти более благоприятные, чем в городах, условия для живой, осмысленной работы. Со стороны Крюкова это был, конечно, компромисс, но он твердо верил, что это лишь «средство», и больше ничего... Другие называли эту постройку дороги прогрессом, Крюков печально ухмылялся, потому что он знал, что народ будет только строить эту дорогу, а затем эта

дорога явится для него потоком деморализации, а для акционерного общества — орудием эксплуатации этого самого народа...

На первых порах Крюков был в восторге: ему удалось убедить молодого инженера, начальника дистанции, сдать в виде опыта небольшой участок земляных работ самостоятельной артели землекопов, помимо посредника-подрядчика. Крюков долго говорил с этим юным инженериком о задачах интеллигенции, и в конце концов тот, быть может, искренне, а может быть, просто потому, что не желал отделить себя от этой интеллигенции, согласился произвести опыт.

Крюков был глубоко убежден, что этот опыт даст прекрасные результаты, и не сомневался, что со временем ему удастся расширить это дело, совершенно устранить кулаков-подрядчиков, ввести ряд самостоятельных артелей, а затем соединить их в одну громадную артель, которая и будет всецело владеть всеми земляными работами на линии. В перспективе Крюкову рисовалась грандиозная ассоциация труда с девизом «все для одного и один для всех», и Крюков ожил, помолодел и почувствовал такой прилив сил и энергии, что готов был и сам поступить в артель на равных основаниях... Если он не сделал этого сейчас же, то исключительно из осторожности и тактичности, из боязни испортить дело...

В лесных дебрях стучали топоры, и звонким эхом разносился под крышею угрюмых сосен веселый стук складываемых в штабеля дров; падали с глухим ропотом столетние деревья, визжала пила, а вдоль просеки копошились люди, маленькие, хлопотливые, спешно делая насыпи и настилая наскоро шпалы и рельсы для рабочих поездов. Людской говор, перекликание, смех и ругань как-то странно, неуместно звучали здесь, нарушая безмолвие окружающей природы и оскорбляя серьезность старого леса, с его таинственностью, с его вечным сумраком и прохладой... Позади, блистая холодной сталью, уже протянулись рельсы, убегая далеко-далеко и теряясь где-то там, за изгибом узкой просеки... Изредка в лесу пронзительно и дерзко кричал свисток паровоза, обрывался вдруг и взвизгивал. И этот резкий визг долго носился по лесным полянкам, заставляя прятавшихся окрест птиц пугливо срываться со своих мест и лететь в глубь леса, в глухую чащу, где царствует вечная тень и спокойствие и куда дерзкий человек

не приходил еще с топором и пилою... А потом и сам прогресс, в образе старого, хмурого и закоптелого паровоза, медленно выползал словно прямо из лесу и на «кривой» кряхтел по-старчески, охал, отдувался и, громыхая буферами платформ, нагруженных балластом, бряцая сцепами, приближался и вырастал в какое-то черное чудовище с двумя тусклыми глазами — стеклами незажженных фонарей. «Уф! Уф!» — пыхтел прогресс и выбрасывал под откосы клубы белого пара, который ложился по придорожному молодняку, по бледно-зеленым мхам, по желтому песку, и таял медленно, нехотя... Клубы черного дыма с каждым вздохом прогресса вылетали из кургузой трубы его и расползались по лесу, пробиваясь через зелень хвои и листвы к голубому небу... Люди начинали бегать, кричать, суетиться... Сотни лопат сбрасывали с платформ балласт, ровняли его вдоль насыпи, похлопывали и сглаживали; сердитое поощрение дорожного мастера висело в воздухе; мелькали руки, бороды, лопаты и головы... Здесь насыпали балласт и делали «бермы», а там, впереди, гремело и лязгало железо, гулко стучали молотки — там укладывали рельсы и скрепляли их, ежеминутно расширяя владения прогресса... А еще дальше, впереди, рыли «выемки» и громоздили насыпи...

— Готово?

— Готово! — переговаривались чьи-то деловитые голоса.

Паровоз отвечал им протяжным свистком с его конечным «ай, ай!» и, немного подумав, начинал снова охать, сперва редко и грозно, потом чаще и чаще, и весь лес, казалось, вздрагивал от испуга и негодования... Пятясь задом, прогресс уползал, как гигантская змея, в глубь просеки и, изгибаясь полукольцом на «кривой», постепенно задвигался за угрюмые сосны и исчезал. Только дым, то черный, то сизый, долго клубился еще над лесом, да глухое уханье еще долго висело в воздухе...

Иногда на паровозе приезжал и Крюков. Лицо его, веселое и довольное, выглядывало из-за стенки тендера еще задолго до остановки поезда, и не успевал машинист затормозить, как Крюков соскакивал наземь... Толкаясь среди грязных землекопов, Крюков жалел их и заговаривал о подрядчике; рассказывал, что у них на дистанции выгнали подрядчика, сама артель работает... Мужички почесывались и протяжно говорили «та-ак», а потом, сплю-

нув в ладонь, снова принимались рыть и копать жесткую землю...

— Конечно, как можно! Вестимо, без подрядчика слободней...

— Инструменту, барин, нет... Опять залог подай!.. А где его взять, залог-от?..

Пропаганда изгнания подрядчиков среди землекопов не приводила к желанным результатам, а господа инженеры в большинстве случаев были такой народ, что с ними не стоило и говорить о «задачах интеллигенции»... Так что мечты Крюкова о единой грандиозной артели не переходили области фантазий. Пока надо было заняться организацией маленькой артели на своей дистанции, Крюков старался быть, по возможности, в стороне и свое участие проявлял лишь чрез посредство одного умного, грамотного и толкового парня, давая ему советы и делая коекакие разъяснения о значении самого факта...

Организовалась «опытная артель». Восторгу Крюкова не было конца. Целый рой корреспонденций полетел из глуши в столицы и центры умственной жизни, корреспонденций восторженных, теплых, жизнерадостных, с выстрелами по адресу противников и маловерующих...

Но прошло лето, наступила осень, и опытная артель отцвела...

Эта артель (Крюков называл ее в корреспонденциях своих «крюковской артелью»), как водится, установила свои распорядки, свою справедливость, общую ответственность друг перед другом за прогулы, выборного старосту и т. д. А так как прогулы были значительны, да и количество работы превышало силы артели, то и произошла «недоделка», то есть работы не были закончены к назначенному сроку; поправить это дело оказалось невозможным, так как артель не допускала посторонних к работе, по воскресным и праздничным дням желала отдыхать, а за прогулы присуждала с товарищей четверть водки, распивала ее и тем считала нарушенную справедливость восстановленной. Начальник участка метал громы и молнии: «Нет никаких гарантий, что работы будут закончены к какому-нибудь определенному сроку, не с кого спрашивать и некому набить морду!..»

— Иметь дело с одним толковым мерзавцем, внесшим залог, гораздо удобнее и резоннее, чем с сотней голоштанных дураков! — кричал он и послал к черту

Крюкова, когда тот попытался заговорить об артельном начале.

— Подите вы ко всем чертям с вашими теориями! Здесь дело делают, а не в бирюльки играют... Сейчас же отобрать работу и сдать подрядчику Еропкину, — строго сказал начальник участка молодому инженерику, способствовавшему образованию «крюковской артели». — А этим олухам объявить, чтобы они шли к Еропкину и нанимались, если хотят жрать хлеб, а не желуди... Пожалуйста, не мудрите.

— Слушаю! — покорно ответил покрасневший инженерик и так злобно посмотрел на Крюкова, что тот даже смутился...

«Крюковская артель» сделалась артелью Еропкина, а Крюков — простым конторщиком, обязанным слепо исполнять то, что ему приказывают.

Не прошло и недели со дня разгрома опытной артели, как на голову Крюкова упал удар еще более тяжелый и неожиданный.

При нагрузке рабочего поезда раздавило буферами молодого парня-рабочего...

Так как к этому случаю не было возможности применить «собственную неосторожность» погибшего, то общество строителей могло поплатиться значительной суммой денег на удовлетворение претензии стариков, отца и матери убитого. На глазах Крюкова происходил позорный торг инженера с мужиком. Мужик плакал и говорил: «Бога вы не боитесь!» — но когда инженер предложил ему получить за сына триста рублей, мужик повалился в ноги и так благодарил инженера, что на лице того скользнула тень раскаяния: «Можно было дать только сто или полтораста...» Крюков сидел как на иголках, краснел и сдерживал свое негодование... Ему поручили отправиться в ближайший уездный город, снабдили тремя сотнями, приказали выдать их старику чрез нотариуса и взять нотариальную расписку с обязательством не иметь впредь никаких претензий к обществу...

Крюков нашел прекрасный выход из идиотски глупого положения: по дороге в город к нотариусу он начал уговаривать мужика отказаться от трехсот рублей и возбудить иск к обществу, пообещав этому мужику целые тысячи. Мужик долго восклицал: «О?» — но не соглашался и только на крыльце у нотариуса остановился в раздумье:

— Тысячу, говоришь?..

— Не меньше. *Твое* дело, конечно; только я тебе по совести говорю: откажись и подай в суд!..

— А то подать?.. а?.. Надо подать... Разя сын этого стоит?..

— Пойдем в трактир, чайку испьем, поговорим! — предложил Крюков.

За чаем мужик согласился отказаться от денег. Крюков поехал обратно и сообщил начальнику участка, что сделка не состоялась, так как мужик потребовал вдруг ни с того ни с сего тысячу рублей...

А на другой день после этого в контору заявился этот самый мужик и чистосердечно признался, что его «спутал» барин, с которым они ехали в город, уговорил не брать денег, а жаловаться в суд.

— Прохвост!.. Я так полагаю, что не взял ли он эти деньги себе?.. Я согласен, вполне согласен, ваше благородие!.. Довольно с меня: избу новую поставлю и лошадь куплю... Давай деньги!..

— Ничего не получишь. Давали — не брал, а теперь поди, жалуйся! — закричал инженер.

Мужик опять бухнулся в ноги и начал плакать. Теперь он соглашался взять двести рублей и просил только накинуть трешну «на помин души».

На чем покончил инженер с мужиком — неизвестно, но с Крюковым он покончил весьма определенно: вызвав его в контору с дистанции, инженер сказал Крюкову.

— Получите расчет! Нам таких служащих не надо...

Крюков собрал свои пожитки, рукописи и книги и перебрался в уездный городишко. Отсюда он разослал во все концы корреспонденции о возмутительном факте и, когда месяца через полтора получил гонорар, нанял подводу и добрался до города Н-ска, где мы теперь и застаем Крюкова.

III

С чувством душевной и физической усталости приехал Крюков в Н-ск. Временный подъем сил, жизнерадостное настроение и нравственное удовлетворение после описанной выше неудачи сменились полнейшим упадком, тоской и сознанием чего-то пакостного и мерзкого, ощущением какой-то странной виновности перед самим собою...

«Пошел на службу к капиталу во имя чистой и святой идеи, допустил некоторый компромисс с совестью во имя этой идеи — и в конце концов остался в дураках, попал на положение прислужника!» Надо было в тот момент, когда ему приказывали вести мужика и обдуть его по всем правилам узаконений, — заявить, что он, Крюков, считает это подлостью, низостью, недостойной не только интеллигентного, но даже просто мало-мальски порядочного человека, имеющего каплю, одну только каплю, неподкупной совести... Надо было сказать: «Я более не служу вам и вашим подлостям». А Крюков промолчал и получил «расчет»...

— Этакая пакость!.. Уф!..

Размышляя о своей неудаче, Крюков приписывал ее всецело вине инженеров... «Были б другие люди — все пошло бы прекрасно, а эти сытые господа с алчущими карманами и с закормленной совестью не способны отрешиться, хотя на минуту, от интересов мамона и интересов золотого кумира, в услужении у которого они находятся»... Могли ли быть на этом деле инженеры, единомыслящие с Крюковым, — такого вопроса у него не являлось.

— Этакая пакость! При других, более благоприятных условиях можно бы создать кое-что...

При приезде в Н-ск Крюков прежде всего сделался тем, чем, кажется, всю жизнь суждено было ему быть, а именно: «постояльцем». Снял дешевую комнату в одном из грязных и отдаленных кварталов, привез свой чемодан, развесил на гвоздиках, по стенам, свой более чем скромный гардероб и потребовал самовар. Целый день Крюков усиленно пил чай и крупными шагами ходил взад и вперед по комнате, затем позвал квартирную хозяйку.

— У вас, кажется, есть сын?

— Есть сынок, один...

— Гимназист?

— Да.

— Учится хорошо?

— Слава богу!.. Только по латинскому прихрамывает... Трудный язык, не дается...

Хозяйка тяжело вздохнула.

— Может быть, надо репетитора? а?

— Нет. Где уж нам!.. И так еле-еле перебиваемся...

— Гм...

Крюков потеребил бородку и подумал.

— А сколько вам надо вперед за комнату?

Хозяйка приветливо улыбнулась и, ожидая приятных последствий от такого вопроса, поторопилась сообщить, что «у них в Н-ске всегда уж за месяц вперед полагается».

— Ага! — глубокомысленно выпустил Крюков и, расставив ноги и спрятав руки в карманы брюк, начал что-то соображать.

— Можно и за месяц вперед, — разрешился наконец Крюков после продолжительного напряженного молчания с обеих сторон, но сейчас же, к удивлению хозяйки, добавил:

— Только не сейчас. Это — главное. Дайте собраться с мыслями.

— Да вы, батюшка, собирайтесь с мыслями, я вам мешать не буду, только вперед-то уплатите!

— Да я вам, матушка, про то и толкую, что этих самых... денег-то покуда у меня нет... Только на текущие расходы осталось...

— Как же это?.. У нас в Н-ске так уж принято, чтобы за месяц вперед...

— Не верите? Не угодно ли в таком случае взять пока, так сказать, в обеспечение, мой новый сюртук?

С этими словами постоялец снял с гвоздика свой новый сюртук, сшитый ровно семь лет тому назад, и протянул его к хозяйкиной физиономии.

— Вот-с извольте получить!.. Только, чтобы моль не съела...

— Зачем же? Я и так поверю, — печально произнесла хозяйка, полагая, что ничего лучшего, как «так поверить», в данном случае не остается.

Покончив переговоры с квартирной хозяйкой, Крюков начал искать подходящего заработка или, как он выражался, труда независимого и по существу своему не противоречащего убеждениям. (Неудачная попытка по постройке дороги была своего рода исключением и теперь лишь еще более сделала обязательным для Крюкова такой труд.) Отыскивался такой труд весьма туго, а Крюков скорее соглашался по неделям питаться одним черным хлебом, чаем и воблой, чем идти на компромиссы с врагами. И надо сказать, что в этом отношении Крюков был закален: для него, казалось, не существовало вовсе забот о пропитании. «Кусок хлеба и стакан чаю, — говорил он, — можно всегда заработать без уступок». Потребности

Крюкова были доведены до возможного только для немногих избранных натур минимума, и права желудка попирались им самым наглым образом... Крюков без малейшего колебания бросал работу, если ему почему-либо казалось, что эта работа покушается на целомудрие его убеждений.

Прежде всего Крюков обыкновенно совался в редакции газет. На сей раз он поступил так же.

— Хозяюшка?

— Что угодно, батюшка?

— У вас здесь ведь есть газеты?

— Как же, есть, две газеты... Ругаются все между собою...

— Не выписываете?

— Нет, где нам!.. А вот у соседей выписывают, можно попросить.

— Попросите, голубушка!

Хозяйка принесла «Н-ский листок» и сказала:

— В этом похлеще пишут!

Крюков внимательно прочитал его, отыскивая «направление», но никакого направления не обнаружил.

Облачившись в свою новую сюртучную пару, Крюков вышел на улицу. Чтобы ознакомиться с другой газетой, он зашел в молочную лавку. Попросив себе стакан молока, он схватился за старый номер «Н-ского вестника» и начал напряженно отыскивать «направление»... Передовая статья о крестьянском банке. «Дельно написано!» То же самое можно было прочитывать время от времени в «Русских ведомостях».

В соседстве с Крюковым сидел, за отдельным столиком, какой-то господин в очках и сосредоточенно смотрел в газету.

Крюков мимолетным взглядом окинул этого господина в очках, а кстати поинтересовался, что этот господин читает? В руках его были «Русские ведомости».

Довольно интеллигентное лицо, а главное «Русские ведомости» дали смелость Крюкову заговорить с незнакомцем.

— Извините, — начал Крюков, приблизившись к этому господину. — Вы, кажется, местный абориген?.. Скажите, пожалуйста, которая из здешних газет приближается к этому органу и вообще каково их направление?

— Гм...

Господин с сдержанной улыбкой взглянул на Крюкова.

— Вы говорите, вероятно, о чистоплотности? Я, батюшка, читаю много газет, столичных и провинциальных, но... собственно, направления никакого и нигде не вижу... Может быть, оно и есть, но, во всяком случае, его можно видеть только под микроскопом...

— Позвольте с вами познакомиться! — откланиваясь, произнес Крюков, которому очень понравился ответ господина в очках. — Крюков! Бывший студент.

— Очень приятно... Земский начальник Оболдуй-Тараканов. И тем более приятно, что я тоже универсант...

Крюков как-то опешил и смутился. На лице его застыла мина неожиданности.

— Вы, видимо, не здешний? — спросил Оболдуй-Тараканов.

— Нет, приезжий...

— По каким делам? И откуда?

— Собственно... из... Орла... Получите за молоко! — с каким-то отчаянием крикнул вдруг Крюков и, не допивши молока, сухо поклонился Оболдуй-Тараканову и торопливо вышел, вернее вылетел из молочной лавки и вернулся домой в самом скверном расположении духа, словно ему нанесли личное оскорбление или сделали какую-нибудь неприятность.

— Околоточный приходил... Ваш документ требовал, — сообщила Крюкову хозяйка тоном полного неудовольствия своим квартирантом.

— У меня нет никаких документов... Затеряны где-то. Меня должны знать в полиции, — ответил хмуро Крюков.

На лице хозяйки отпечаталось страшное недоумение.

Выйдя за дверь постояльца, она даже остановилась, пораженная новым достоинством своего квартиранта. «Вот золото-то пустила! — вздыхая, подумала она и печально качнула головою. — Не только за месяц вперед, а даже и документов нет!..»

А человек без документов походил по комнате, потом лег на кушетку и отдался размышлениям.

Под эти размышления незаметно подкрался зимний вечер. Наверху, по обыкновению, началось разыгрывание гамм и экзерсиций на пианино: гимназист начал зудить уроки «к завтраму»...

Крюков долго прислушивался к этим звукам и к своим ощущениям, и безотчетная грусть начинала потихоньку заползать в его душу... В таких случаях Крюков имел

обыкновение ходить к «своим». Но «своих» не было... Полное одиночество стояло перед взорами Крюкова щемящим сердце призраком, какой-то холод пробегал по всему телу, и ему казалось снова, что он приехал не туда...

— Тоска!..

Провалявшись часов до семи на кушетке, Крюков встал и начал думать, куда идти искать работы... Завтра он отправится в редакцию «Вестника». Нет ли какой-нибудь статейки, чтобы утилизировать ее в смысле гонорара?..

Крюков раскрыл чемодан и стал рыться в нем, вытаскивал и просматривал свои тетради и заметки. Вот статья: «Опыт организации крюковской артели и причины ее гибели», а вот и капитальная вещь: «Как избавить нашу деревню от кулаков и мироедов»; этот проект — плод многолетних трудов и уединенной жизни автора; он начат еще в Сибири и немного не окончен, недостает фактических данных и некоторых цифр, но в общем вещь довольно солидная. «Надо заняться и кончить».

Крюков взял в руки довольно объемистую тетрадь и углубился в чтение.

— Недурно! — произнес Крюков, отрываясь от своей рукописи, и, раздевшись, лег и стал думать о завтрашнем дне.

На другой день он снова облачился в свою новую пару и отправился в редакцию «Н-ского вестника».

— Редактора можно видеть?..

— Редактора нет. К секретарю пожалуйте, — сообщил конторщик.

— Что угодно? — неприветливо буркнул секретарь, сделав кислую гримасу и отрываясь от чтения.

— Вот рукопись... Быть может, найдете удобным поместить?..

Крюков вынул из бокового кармана тетрадь, свернутую в трубку, и положил на стол секретаря.

Это был проект «Как избавить нашу деревню от кулаков и мироедов».

Секретарь, прочитав заглавие рукописи и увидя толщину тетради, сбросил с лица кислую мину и положил на него деликатную улыбку.

— Сейчас я вам, конечно, ничего не могу сказать... Потрудитесь зайти через несколько дней...

— В среду можно?..

— В среду?.. Гм... Сегодня у нас понедельник!.. Гм...

— Ну, в четверг?..

— Не знаю... Столько, знаете, работы... Гм... в четверг.

— В пятницу?..

— Нет, потрудитесь уж лучше в понедельник!.. — умоляюще произнес секретарь.

— А вот еще небольшая заметка: «Опыт организации артели»... — глухо сказал Крюков, вынимая дрожащей рукою из кармана свернутый лист бумаги...

Секретарь развернул и наскоро пробежал взором по строкам.

— Это про «крюковскую артель», если не ошибаюсь? — спросил секретарь, внезапно отрываясь от листа бумаги...

— Да... О моей артели...

— Вы — господин Крюков?

— Да...

— Виноват!.. Садитесь, пожалуйста!.. Это очень интересно... Это, конечно, пойдет...

— Скоро?

— А вам это важно?

— Очень важно, потому что необходимы деньги.

— Я вам предложу взять авансом... Сколько же тут? Гм? триста — триста пятьдесят строк?.. Возьмите пока десять рублей... Потом сочтемся... Надеюсь, вы будете сотрудничать и впредь?..

Из полученного совершенно неожиданно аванса Крюков хотел заплатить вперед за месяц хозяйке, но сапоги отказывались служить, разъезжались по всем швам. Крюков купил сапоги, а ботфорты отдал в починку.

Вечером он написал новую заметку: «Еще несколько слов о крюковской артели».

IV

Город Н-ск успокоился от дневных треволнений, стих и погрузился в сон...

Улицы опустели. Яркие огни погасли. Магазины и лавки угрюмо выглядывали в темноте ночи своими наглухо запертыми дверями и окнами. Керосиновые фонари мерцали красноватым пламенем, слабо освещая часть тротуаров, белых стен ближайших каменных зданий и золоченые

вывески. Там и сям, на перекрестках улиц стояли «на очереди» сонные извозчики. Изредка торопливой походкою мелькали тени запоздавших обывателей.

В типографии «Н-ского вестника» было сонно и тихо. Помещение наборной скупо освещалось маленькими коптящими лампочками, скромно ютившимися на шрифтовых кассах. Оранжевое пламя этих лампочек, с тонкими струйками копоти, освещало клетчатые ящики с свинцовым шрифтом, кусок серой, покрытой плесенью, стены, кусок оконного косяка и часть грязного, залитого чем-то пола.

В арках и сводах, по углам, висели густые сумерки. Небольшие окна, забранные железными решетками, придавали наборной мрачный, угрюмый характер... Ручные станки для оттисков афиш и объявлений, переплетный обрез и пресс выстроились в ряд, вдоль всего помещения, параллельно с конторками-кассами. На большом столе, рядом с сверстанным номером газеты, согнувшись в дугу, спал чутким, тревожным сном метранпаж Игнатьев. Его худое и бледное лицо было изборождено морщинами и отливало зеленоватым оттенком; при свете, падавшем на голову Игнатьева от ближайшей лампочки, это лицо казалось мертвым, безжизненным, и, если бы метранпаж Игнатьев не свистел носом и время от времени не шевелил щетинистыми усами, можно было бы подумать, что он никогда уже более не проснется.

Из-под стола торчали ноги в худых и стоптанных башмаках: там спал мальчик, очередь которого выпала на сегодняшнюю ночь.

В печатной было тоже темно. Машинист дремал, полулежа на подоконнике, а накладчик, грязный, испачканный типографской краскою, валялся на полу около машины.

Только в маленькой комнатке без окон, рядом с печатной, не спали: здесь сидели на полу два здоровенных чумазых молодца — вертельщики и играли в засаленные, истрепанные карты, выжидая, когда сердитый спросонья машинист крикнет громко: «К машине!»

Редакция «Н-ского вестника» состояла из небольшой в два окна комнаты, сплошь заваленной разным бумажным хламом. На одном столе, где занимался секретарь, казалось, никогда никто не убирал, зато на другом, предназначенном для внезапных визитов редактора-издателя,

был образцовый порядок. На полу валялись изрезанные и смятые газеты, клочки бумаг, обрывки бандеролей.

Комната освещалась большой бельгийской лампой, стоявшей на секретарском столе. Здесь было тихо, только большие стенные часы медленно и солидно стукали массивным маятником, отбивая долгие секунды.

Секретарь редакции дремал, положив голову на руки, за столом. Перед секретарем стояла недопитая бутылка пива.

Вот он приподнял с рук голову и уставился взором в пространство, потом посмотрел на карманные часы и склонился...

Стенные часы зашипели, а спустя несколько мгновений мирный сон окружающего был нарушен их громким, отчетливым боем. Медленно, медленно раздавались эти удары и гулко разносились по сонной типографии.

Метранпаж вздрогнул при первом ударе, открыл глаза, тупо посмотрел вокруг и снова ткнулся носом. Машинист зевнул и стал чесаться. Вертельщики перестали играть «в три листика» и стали молча считать удары.

Но пробил последний, двенадцатый удар, его металлический отзвук долго носился под угрюмыми сводами типографии и замер в тишине ночи.

И опять воцарилась тишина.

Так прошел еще час.

Наконец завизжала на блоке задняя дверь, громко стукнула стеклами, и раздался резкий детский голосок:

— Цензура!

В типографию вошел мальчик лет двенадцати, проворный и смышленый. В руках его был черный портфель с цензурными оттисками.

Метранпаж моментально очнулся, соскочил со стола, встряхнулся, — и сна как не бывало. Под столом зашевелились торчавшие ноги, и оттуда вылез мальчик, грязный и ободранный, с сонным, испачканным краскою личиком и с всклокоченной головой.

— Цензу-у-ра!

— Цензура! — прокричали радостные голоса в разных углах.

Машинист встал с подоконника и поднял опущенный фитиль лампы.

В печатной сделалось светло и уютно.

— Будет дрыхнуть-то! — недовольно окрикнул машинист и ткнул ногой накладчика.

Шум в типографии быстро донесся до ушей секретаря. Этот шум был так характерен, что секретарь соскочил со стула и кинулся в типографию, желая поскорее узнать, что «не прошло», и собственными глазами обозреть гранки. В дверях он столкнулся с метранпажем. Последний нес в руках гранки, презрительно тряс их и смотрел сердито и недовольно.

— Что? — тревожно спросил секретарь, сверкнув глазами.

Метранпаж промолчал... Он только безнадежно махнул рукою, положил гранки на стол и ушел из комнаты.

Секретарь сел за стол и дрожащими руками начал разбирать оттиски. Красный карандаш резко выделялся на белом фоне бумаги; на полях кое-где были сделаны сердитым почерком надписи: «ерунда», «мне ничего неизвестно», «оставить впредь до получения мной официального уведомления», «это — сплетни» и т. д.

Секретарь застыл в позе полнейшего отчаяния... Схватив звонок, он энергично затряс им. Явился метранпаж.

— Корректор здесь?

— Нет его...

— Опять запил?

Метранпаж промолчал и отвернулся: «Не мое, дескать, дело».

— Что же я буду делать?.. Опять до рассвета сидеть здесь?.. Уф!.. Черт знает что такое...

Случайно взор секретаря упал на заметку «Еще несколько слов о крюковской артели», крест-накрест перечеркнутую красным карандашом, и секретарь выдумал комбинацию! Отыскав на рукописи адрес автора, он послал к нему мальчика с запиской: «Зайдите сейчас же. Необходимо переговорить».

— Живо! вот тебе на извозчика...

Минут через двадцать явился и Крюков.

— Здравствуйте! Садитесь. Видите?

Крюков посмотрел и увидал свое погибшее произведение...

— Я, собственно, пригласил вас еще по одному делу: не согласитесь ли вы принять на себя корректуру газеты? Наш корректор опять запил... Способный, интеллигентный человек, бывший студент университета, но пьянствует

ужасно... Жаль, но наше дело такое, что ждать вытрезвлений не приходится... Бились, бились, но решили наконец покончить...

— Я могу — временно, до вытрезвления вашего корректора... — произнес Крюков.

— Нет, я вас прошу принять корректуру окончательно... двадцать пять рублей в месяц... Дежурство — ночное, от восьми-девяти часов до двух, а иногда и до трех часов ночи...

— Что же, я согласен.

— В таком случае будьте любезны остаться теперь здесь и начáть работу... Вам это дело знакомо?

— Очень хорошо!.. Собаку съел...

— Тем лучше!.. Сегодня много будет возни... Весь номер придется переверстывать... Понаблюдите, чтобы не проскочило что-нибудь вычеркнутое... А я не могу... Устал до смерти... Поеду... Прямо в постель.

Между тем неприятное известие о том, что печатание номера отлагается на неопределенно долгое время, быстро распространилось по типографии. Метранпаж угрюмо слонялся по закутанным темнотою углам и, покуривая цигарку, недовольно поплёвывал в сторону. Механик ругался вслух, никого не стесняясь, причем его брань относилась вообще к жизни и ни к кому — в частности, ибо ему было все равно, от кого бы ни зависела эта вторая бессонная ночь...

Накладчик насвистывал «Матаню», ходя вокруг машины и похлопывая по глянцевитым, марающим краскою валам ее.

Только вертельщики отнеслись безразлично к факту: не все ли равно — вертеть тяжелое колесо машины с двенадцати ночи до четырех утра или от четырех утра до восьми? Пожалуй, последнее еще лучше, так как в азарте своего сражения в «три листика» вертельщики позабыли о времени и пространстве...

Пробило два часа. Новый корректор сидел в маленькой комнатке без окон и корректировал...

В наборной шла горячая работа. Полупьяный наборщик Соколов, с опухшей физиономией, всклокоченный, небритый и злой, стоял у кассы и набирал объявления из «Правительственного вестника», чтобы заткнуть ими излишек пустых мест в сверстке.

— Пес вас дери! протрезвиться не дадут, анафемы! Каторжная жизнь, будь она проклята совсем! — ворчал

Соколов. Руки его дрожали и совались не туда, куда следует; в голове били молотком; глаза слипались, а в груди жгло и резало.

Бледный мальчик, с впалыми, лихорадочно горящими глазами, правил последнюю сводку: он проворно вытаскивал шилом из набора «ошибки» — буквы и так же проворно заменял их новыми, пристукивая черенком шила... Метранпаж возился тут же, около сверстанного номера, ворчал, вытаскивал гранки набора и, перенося их на другой стол, тоже проклинал жизнь.

V

Завизжала на блоке задняя дверь, гулко хлопнула стеклами, — и типография огласилась зычным густым баритоном:

Эх вы, братцы мои,
Вы това-а-рищи-и...

— Не ори, Миша! — хрипло крикнул Соколов. — У нас новый, брат, корректор...

Сослужи-и-те вы мне-не
Слу-у-жбу верную...

Посреди типографии выросла высокая худощавая фигура в валеных сапогах, в летнем пальто горохового цвета, с сдвинутой на затылок шляпой и с бутылкою водки в руке...

— Воронин! Водка есть? — осипшим радостным голосом воскликнул Соколов и бросил работу.

— Есть, братец! Пей! пей и горе залей! — пробасил устраненный корректор и снова громогласно запел:

Уж вы сбро-о-сьте меня-я
В Во-о-лгу ма-а-а-тушку-у...

Соколов взял у Воронина бутылку и прямо из горлышка стал с жадностью глотать напиток.

— Опять, Михаил Петрович, запили? — спросил откуда-то детский голос.

— Да, опять, милый мальчик Синицын, опять! — пробасил Воронин.

— Секретарь сидел-сидел, да не дождался вас... Сам хотел корректировать, а потом другого нанял... — пропищал мальчик.

— Что там корректировать! Не в этом дело... Всех ошибок не исправишь, братцы... Жизнь надо корректировать...

Все расхохотались.

— А кто там, этот новый?.. Надо познакомиться...

Воронин пошел по направлению к корректорской.

— Оставь, Миша! Не ходи!..

— Бросьте!..

— Нет, надо познакомиться... Может быть, прохвост, а может быть, и порядочный человек... — пробасил Воронин и пошел.

— Мое почтение, милостивый государь!.. Позвольте познакомиться, — начал Воронин, остановившись в дверях корректорской.

Крюков оглянулся и молча поклонился.

— Бывший студент пятого курса физико-математического факультета Императорского Казанского университета Михаил Воронин!.. Говорю на немецком и французском... Ne pouvez-vous pas rèpondre français? [1]

— Виноват, — смущенно произнес Крюков, слегка приподнимаясь со стула, — я говорю только на одном русском языке.

— И то, брат, наверно, плохо? а?.. Давай руку! Кто ты такой?

— Гм...

Крюков подал руку и сказал:

— Я тоже бывший студент...

— Милый!.. Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат!..

Воронин схватил в охапку Крюкова, крепко сжал его в объятиях и начал целовать, обдавая запахом перегорелой водки...

— Вы меня отпустите... Ей-богу, некогда... Потом, после...

— Сколько они тебе дали жалованья? — грозно спросил Воронин, выпуская Крюкова из объятий.

— Двадцать пять рублей в месяц.

— Подлецы!.. Я, брат, получал тридцать. А тебе сбавили... Гнут, мерзавцы!..

— Извините... право, некогда...

---

[1] Вы не можете ответить по-французски? (*франц.*)

— Ну, корректируй! Пес с тобой! Еще выпьем как-нибудь... Ну... прощай!..

Воронин опять схватил Крюкова и, поцеловав в нос, пошатываясь, вышел из корректорской в наборную.

Уж вы, бра-а-тцы мои,
Вы-ы...

— Братцы-то братцы, а выпить-то нечего, — прохрипел мрачно Соколов. Воронин полез в карман и выбросил на стол горсть серебра и меди. Несколько монет упало на пол и покатилось в разные стороны.

— Ребята! Кто за водкой? — прокричал Воронин.

— Теперь не достанешь, все кабаки заперты.

— У Митрича можно... Со двора надо! — посоветовал накладчик и изъявил готовность сбегать.

— Мы добудем! Завсегда можно... Пустяки!.. — говорил он, собирая с полу деньги.

Минут через десять он принес новую бутылку водки и вынул из кармана соленый огурец.

— Вот выпивка, а вот закуска! — произнес накладчик, ставя бутылку на окно и кладя огурец рядом. — Чай, и мне дадите за труды? Что-то в горле саднит...

— Пей, братцы!

Пили все, не исключая мальчика Синицына.

Соколов, большой любитель пения, стал упрашивать Воронина спеть что-нибудь.

— Спой, Миша, что-нибудь печальное!.. Ахни «Не одна-то в поле дороженька», — сипло умолял он Воронина.

Метранпаж останавливал: он боялся внезапного приезда «хозяина» — так называли рабочие редактора.

— Он вам так споет, что заплачете...

— Ничего не будет... Спой, Миша!

— Моя песенка, братцы, спета... — печально произнес Воронин и опрокинул горло бутылки в рот. — Ну, черт с вами, спою...

— Спой эту... Про Еремушку-то!..

Воронин передал бутылку Соколову, встал посреди типографии в позу артиста на эстраде и громко, с пафосом, запел:

Жизни вольным впечатлениям
Душу вольную отдай.
Человеческим стремлениям
В ней...

Здесь голос певца оборвался. Гулкое эхо разнеслось под сводами типографии и замерло...

Крюков тревожно вслушивался в эту песню пьяного человека, и его сердце сжималось болью...

— Не могу, братцы!.. Голос пропил...

Соколов с какой-то странной нежностью обнял Воронина и стал целовать его.

— Душевный ты человек, Миша! Люблю тебя! На, выпей! — говорил он, тыча в рот Воронина горлышко бутылки.

Когда Крюков кончил работу и проходил через наборную, он увидал под столом Соколова и Воронина: обняв друг друга, они громко храпели.

В окна уже смотрело бледное утро. В типографии было совершенно тихо. Только из печатной слышалось бряканье машины да шелест больших листов газетной бумаги...

Вернувшись домой, Крюков повалился, не раздеваясь, на свою скрипучую постель и, как убитый, без движения проспал до шести часов вечера. Он, быть может, проспал бы и дольше, если бы его не разбудила хозяйка, которая стала подозревать, не помер ли уж ее новый «квартирант без документов».

Вечером у Крюкова был визитер. Пьяный Воронин отыскал как-то квартиру нового корректора и, несмотря на протесты хозяйки, вломился в его комнату.

— Я нашел тебя, друг!.. Ты меня понимаешь... Не осудишь... Дай мне, ради бога, тридцать копеек!.. Умираю без водки... Я, брат, такой же интеллигентный пролетарий, как и ты... Инвалид я, братец!.. Не вини меня, друг мой... Да, инвалид...

Крюков дал ему тридцать копеек... Воронин поцеловал его и ушел.

VI

Таким образом, «труд независимый и по существу не противоречащий убеждениям» был найден Крюковым на этот раз очень легко и скоро.

Крюков стал ночным корректором «Н-ского вестника».

Независимость этого труда заключалась в том, что за двадцать пять рублей в месяц Крюков днем спал, а ночью бодрствовал, иногда же не спал и по целым суткам — что уже предоставлялось его собственному усмотрению, наконец

он мог спать и целые сутки, для чего стоило только отказаться от двадцати пяти рублей в месяц. Что касается убеждений, то последние оставались совершенно в стороне от труда, который, таким образом, и не противоречил им. Крюков имел дело по преимуществу с отдельными буквами и словами, а из убеждений имел соприкосновение лишь с теми, которые касались буквы «ѣ», двоеточий, многоточий и других невинных знаков...

С восьми часов вечера Крюков появлялся в корректорской комнате и, склонившись над испещренными поправками оттисками, при свете пышащей жаром большой лампы под зеленым абажуром, исправлял ошибки авторов и наборщиков вплоть до четырех, а иногда и до пяти часов утра следующего дня... В короткие промежутки бездействия он ложился на широкий стол, за которым работал, подкладывал под голову переплетенный экземпляр «Вестника» и, поджав ноги, дремал чуткой, тревожной дремой под грохот типографских машин и шорох шрифтовых касс. На рассвете Крюков возвращался домой, сонный, с помятой физиономией и опухшими и красными глазами, шагая неровной походкой усталого и больного человека по сонным и пустынным еще улицам города, и встречные гуляки, возвращавшиеся с кутежей из притонов разгула и разврата, приветствовали его улыбкой солидарности и двусмысленными замечаниями.

Квартирная хозяйка еще более встревожилась, когда «человек без документов» начал аккуратно пропадать на ночь, возвращаться домой на цыпочках и на рассвете. Это таинственное исчезновение и возвращение квартиранта казались хозяйке страшно подозрительными, и она стала страдать бессонницей и головными болями.

Лежа в постели, хозяйка все думала, что бы это могло значить, и не смыкала глаз, прислушиваясь к каждому шороху в комнатах. Когда спавшая в передней на сундуке кухарка, на легкий, подозрительно осторожный стук пальцами в стекло окна, с ворчанием и протестом поднималась со своего логовища, чтобы отпереть дверь «шаромыжнику-постояльцу», — хозяйка садилась в постели, настораживала слух и переставала дышать...

Вот он идет на цыпочках... Вот скрипнула дверь в его комнату. Вот он тихо, осторожно сморкается и откашливается, воображая, что, кроме кухарки, никто не знает о его возвращениях в такое неурочное время...

Квартирант ложился на кушетку, тяжело вздыхал и отдувался.

Сейчас видно, что делал что-то неладное: не то таскал что-то тяжелое, не то бежал что есть духу от кого-то...

Хозяйка уже собиралась заявить «куда следует», когда дело, к удовольствию обеих сторон, разрешилось без участия полиции.

По прошествии недели Крюков позвал к себе хозяйку:

— Вот вам и деньги за месяц!.. Может быть, хотите за полтора месяца? и это можно... хотя, виноват, не хватит, должно быть, за полтора... Да, не хватит!...

— Так-то оно так, — задумчиво глядя на предлагаемые квартирантом деньги, ответила хозяйка, — только как будто бы и нехорошо, что вы каждую ночь на свету приходите! Можно с вами, батюшка, и беды нажить... Нынче как строго! Коли жизнь правильную будете вести, я возьму, а то уже лучше того... подыскивайте себе квартиру... У меня — сын...

Крюков расхохотался.

— Что вы, что вы, матушка! Да я самую правильную жизнь веду: водки не пью, в карты не играю, на службу хожу аккуратно... Чего вам больше?

— На какую такую службу это вы ходите? — обиженно возразила хозяйка и потупилась. — По ночам, батюшка, кажись, все добрые люди спят...

— У меня служба такая, ночная служба. Я — ночной корректор в «Вестнике».

— Ну, извините!.. — радостно воскликнула хозяйка, протягивая руку за деньгами, — извините уж... Случается... А мы все тут не знали, что и думать... Как ночь, так и нет нашего кавалера. Пра-а-во! И невдомек... Скажите пожалуйста!..

Хозяйка всплеснула руками и задушевно расхохоталась.

— Уж теперь нечего, батюшка, греха таить: я ведь хотела в полицию заявить.

Прошла еще неделя, прошла и другая...

Жизнь Крюкова протекала бессмысленно, однообразно, как жизнь бездушной машины, на которой печатался «Вестник». Полусонное бодрствование ночью и тревожный, клочками и урывками, сон днем... Ошибки, ошибки, ошибки, значки, черточки, крестики, буквы, слова, механическое бормотание через зубы каких-то фраз... Голова тупеет и тяжелеет, словно наливается свинцом: пред

глазами лампа с зеленым абажуром, в ушах грохот машины и шорох шрифта... Запах краски, керосина, сырости и какой-то особенной типографской вони... Во рту неприятный осадок сладкой свинцовой пыли от шрифта... В руке постоянная ручка...

И в голове и в душе оседает какая-то копоть и носится туман, в котором беспомощно плавают одинокие «хорошие мысли»... Наскоро обед, наскоро чай, кушетка, стол и опять значки, буквы и слова. И так до бесконечности!

Немного иначе проходили дни праздничные. После праздников газета не выходила, а потому праздники полагались на отдых. Наборщики и другие типографские служащие отдыхали, напиваясь до положения риз. Крюков отсыпался, отлеживался и ходил взад и вперед по комнате до изнурения и отупения. Это хождение осталось у Крюкова, как наследие его «одиночного заключения»: в свободное от корректорских обязанностей время он, как пушкинский ученый кот, ходил по комнате кругом...

— Будет вам ходить-то! Обещание, что ли, дали? — скажет, бывало, хозяйка, слушая бесконечное глухое топанье постояльца. — И как только ноги у вас не откажутся?..

Попытки почитать книгу в эти свободные дни Крюковым делались очень часто, но в мозгу так было мутно от изнурения, в глазах так туманилось, что книга бросалась... Идти было некуда — не было знакомых.

От секретаря и редактора Крюков сторонился: они ему не нравились. Единственная родственная и симпатичная Крюкову душа — «бывший студент» Воронин, редко бывал трезв, и все старания Крюкова остановить его от пьянства оставались тщетными. Крюков большую часть свободного времени проводил на кушетке, отдаваясь воспоминаниям или спячке... Однажды, в праздничный день, к нему явился Воронин, больной, худой, с трясущимися руками, и умолял со слезами на глазах дать ему последний раз тридцать копеек.

— Я, Воронин, куплю вам водки... Останьтесь у меня и пейте!.. Но знайте, что больше купленной порции вы не получите... Я вас не выпущу из комнаты, пока вы совершенно не отрезвеете... Пора, голубчик, очнуться!..

— Да я рад бы, Дмитрий Павлович, да сил нет!.. Ну... голубчик!.. Вы понимаете меня!.. Больной я человек... — со слезами на глазах ответил Воронин.

На предложенное условие он согласился и целых два дня прожил у Крюкова. Как раз выпало два праздника подряд, газета не выходила, и Крюков любовно валандался с больным и несчастным человеком... На второй день Воронин был уже совершенно трезв и ужасно стеснялся и краснел, как девушка, рассказывая Крюкову свое прошлое.

Рассказ этот был очень краток, а история Воронина — одна из самых обыкновенных.

В конце восьмидесятых годов, в одну из эпидемий студенческих беспорядков, Воронин вылетел из университета «по первой категории», то есть навсегда утратил право окончить свое образование; вместе с этим изгнанием возник какой-то процесс, длинный, спутанный и туманный, в котором Воронин был сперва только свидетелем, а потом вдруг попал в обвиняемые... Тянулся этот процесс долго, но ничем не кончился... Воронина вместе с другими освободили и только отдали под опеку полиции. И с тех пор началась каторга.

Воронин женился очень рано, так что ко времени преждевременного окончания курса имел уже на руках жену, больную, чахоточную и хрупкую, и двухгодовалого ребенка. Началось искание «мест», так как всем хотелось ежедневно кушать. Никаких мест, однако, для Воронина не оказывалось... Кроме колких оскорблений молодого самолюбия, унижений и подозрительных взглядов и выпроваживаний из передней под присмотром высланной прислуги, эти поиски ничего не дали...

— Как бы не стащили там шубу... — явственно расслышал однажды Воронин мелодичный женский голос из гостиной, торопливо настукивая калоши на ноги после неудачного просительства в доме либерального присяжного поверенного.

Однажды дело совсем было сладилось: Воронин поступил конторщиком в одну из коммерческих контор, но на третий же день пришлось оставить «место». Хозяин конторы, отъевшийся русский буржуй, по заведенному раз навсегда обычаю, обращался со всеми служащими, как с лакеями или крепостными.

— Эх, дурень! А еще ученый... А ты в другой раз будь поумнее! — заметил он Воронину при первом его промахе по службе.

Воронин вспылил, попросил без «фамильярностей».

— Вишь, вельможа какая! Много вас шляется нынче... Не хошь, так повертывай лыжи-то, а мне не грубиянь, — ответил хозяин.

Воронин схватил шапку, накинул пальтишко и как ошпаренный вылетел с крыльца конторы...

После этого происшествия Воронину долго не подвертывалось никакого места.

И вот, как утопающий хватается за соломинку, Воронин ухватился за местную газету и стал изо всех сил строчить... «Летучие заметки», репортерские сообщения, жиденькие фельетончики, рецензии и библиографические статейки, различные «нечто» и «несколько слов», — короче говоря, все, что можно было поэксплуатировать в смысле двухкопеечного построчного гонорара, Воронин тащил в газетку...

Получив гонорар, он забегал в лавочку, брал там колбасы, хлеба, чаю и сахару и торопливо бежал к себе на чердак. А там его уже нетерпеливо ждали. Вместе с колбасою, чаем и сахаром на чердак, где они жили, входило некоторое оживление, бодрость духа. Тогда там не диво было услыхать и смех и шутки. Они усаживались у столика, на котором появлялся самоварчик, и как-то съежившись, принимались поглощать «построчную плату».

Бывало время, когда по нескольку дней подряд не было ни колбасы, ни чаю, ни сахару. Из редакции в счет будущих благ не выдавали. Материалов для заработка не находилось. Фантазия бездействовала, и бумага с пером оставались без употребления.

Тогда на чердаке водворялось глубокое молчание, лишь изредка прерываемое протестующим урчанием желудка голодающих интеллигентов. Воронин сердился и хмурился, сердился и на себя, и на жену, и на ни в чем не повинную девочку... За что? А за то, что ему не писалось и не о чем было писать... Воронину казалось, что они мешают ему «сосредоточиваться».

Это вольное строчение продолжалось более года.

Последовавшая с газетой катастрофа — переход ее в новые руки, к владельцу типографии, где газета печаталась, — отразилась на Воронине самым благоприятным для

него образом: Воронина пригласили в секретари. Семьдесят рублей ежемесячного жалованья вдохнули в семью Ворониных струю счастья, отдыха и надежд.

Правда, жизнь Воронина в смысле труда была такой же каторжной; работа была изнуряющая, иссушающая мозг и сердце; но зато исчезло мучительное опасение за завтрашний день. Семьдесят рублей дали возможность нанять небольшую, но теплую, светлую и веселую квартирку, ежедневно обедать и не ходить более в худых калошах.

Воронин втянулся в газетную работу и со всей страстностью своего темперамента отдался литературному труду.

Тяжел был этот труд, тяжел не только в физическом, но и в нравственном отношении!..

Редакция газеты состояла всего из трех лиц: редактора-издателя, секретаря и репортера Васьки. Всех других сотрудников новый хозяин для сокращения бюджета рассчитал.

Воронин хотя и носил скромный титул секретаря, но, в сущности, подобно большинству секретарей в провинциальных газетах, представлял собою почти единственную и самую крупную величину редакции. Он был истинным редактором ее, самым усерднейшим сотрудником, публицистом, беллетристом, рецензентом, одним словом — всем, чем угодно. С утра до ночи Воронин был занят газетой, отдавал ей всю свою душу.

Репортер Васька был создан самой газетою, он вырос около газеты и типографии. Сперва он был мальчиком в типографии и учился набирать, но искусство это ему не давалось, и Ваську перевели на побегушки: он разносил счета, ходил за справками, подметал пол в редакции, приводил в порядок газеты и переписывал то, что ему давали. Мальчик был шустрый, проворный, умел красиво писать и бойко читать... Васька рос и присматривался. Возросши среди газет, он начитался, освоился с духом «хронической литературы» и нахватался банальных выражений ее, вроде «не мешает обратить внимание кому следует», «комментарии излишни», «прискорбный инцидент имел место» и т. п. Васька имел массу знакомств, уличных, трактирных, вертелся на бирже и всегда имел массу самых свежих новостей, пикантных событий и сенсационных сплетен. Новый владелец газеты благоволил к Ваське, и Васька как-то вдруг, неожиданно, попал в «литераторы». Хозяин пору-

чил ему бегать по мировым, получать торговые сведения с биржи и собирать полицейскую хронику.

Сам редактор писательством не занимался. Он только смотрел «в оба», чтобы писательство всегда находилось в должных границах, то есть чтобы оно не посягало на доходы и барыши и вообще не причиняло никаких неприятностей ни ему лично, ни его супруге, ни родственникам, ни лицам, положение и вес в городе имеющим. Для этого хозяин обязательно прочитывал «последнюю сводку» и выкидывал из номера все «неподходящее».

Странные отношения установились между членами редакции. Издатель и секретарь были вечно настороже по отношению друг друга: издатель побаивался, как бы Воронин не «подпустил свинью», тиснув что-нибудь неподходящее, а Воронин побаивался того же со стороны редактора-издателя. Последний был убежден, что все стремления секретаря направлены к тому, чтобы как-нибудь провести его, а Воронин был глубоко убежден, что это необходимо и что иначе невозможно работать.

Что же связывало этих боящихся друг друга людей? Простая необходимость во взаимных услугах. Воронин был незаменимый труженик, ибо работал, как вол, за маленькое сравнительно вознаграждение, а издатель был необходим Воронину, как простой работодатель, капиталист. И эти люди, при всей неприязни друг к другу, при постоянных тайных опасениях и взаимном недоверии, не расходились.

Их отношения осложнялись еще присутствием третьего сотрудника — репортера Васьки.

Васька имел вполне самостоятельный взгляд на газету: он видел в ней одну цель: «пробирать», «продирать с песком» — как он выражался — и сообщать исключительно пикантные новости, кровавые ужасы и невероятные случаи, и в этом отношении проявлял некоторую солидарность с хозяином, который постоянно твердил:

— Ради бога, побольше смеси и поменьше отвлеченных рассуждений!..

Васька стоял в оппозиции к секретарю и в фаворе к хозяину. Издатель верил в Ваську больше, чем в самого себя. По временам, когда на издателя нападала «пьяная линия» и он не появлялся в редакции в течение целой недели, Васька присматривал за секретарем и, в случае чего, моментально докладывал если не хозяину, то хозяйке. В это

время Васька поднимал голову: его походка, тон, отношение к типографским служащим совершенно изменялись, делаясь величественно-снисходительными. Васька брал в руки «Московский листок» и ножницы и, непринужденно расставив ноги в стороны, сидел в кресле за редакторским столом и сердито посматривал на секретаря.

Положение Воронина было мучительно тяжелое. Страшные муки совести испытывал порой Воронин. Его грызла совесть при мысли, что, работая при таких условиях, он делается невольным сообщником кое-каких пакостей, играет в руку темным элементам, покрывает прохвостов и мошенников. По временам на Воронина находила тоска, и он печально, вяло и неохотно ходил в редакцию, а оттуда возвращался измученный, усталый и злой. Упавши на кровать, он отказывался обедать и по целым часам лежал молча, с обращенным к стене лицом. Он думал о том, куда уйти и что делать?

А уйти было некуда, и никакого дела, кроме «свободной профессии» провинциального литератора, найти не представлялось возможности. Не было даже возможности сняться с места и уехать куда-нибудь: жена постоянно хворала, было уже двое ребят и очень много долгов — они жили «вперед»...

Оставалось одно: направить весь свой ум, всю свою тактичность, энергию и хитрость на то, чтобы в газете не проскальзывало какой-нибудь чрезмерной пакости или подлости. На это и тратились, главным образом, силы и способности Воронина...

Когда пакость все-таки проскальзывала, Воронин прибегал к успокоению посредством алкоголя...

Зато, когда хозяин впадал в «пьяную линию», секретарь утолял свою литературную жажду... Однако и в этом случае приходилось вести тонкую политику. Желая гарантировать себя от доносов газетного молодца Васьки, секретарь умеренно распускал вожжи, давая Ваське некоторую свободу ругаться и лягаться. Из двух зол приходилось выбирать меньшее. Васька был удовлетворен, смягчен и растроган и не бегал к хозяину, когда натыкался в сводке на резкие обличения заказчиков типографии, городского головы и приятелей издателя. Васька только задумчиво тряс головою и произносил:

— Ну, и нагорит же нам с вами!

— Ничего... Нельзя!

— Вы бы уж почище! — соглашался Васька. — Все равно, семь бед — один ответ... По-моему, уж если продирать, так продирать с песком. Ну и я всыпал содержателю «Батума»!.. Не прочихается...

Вступив в некоторый компромисс с Ваською, Воронин делался полновластным лицом в редакции и спешил «насладиться»... Газетка временно изменяла свою физиономию, принимала приличное обличье серьезной и искренней представительницы местных нужд и интересов.

Но вот появлялся издатель. В редакции наступало затишье. Васька говорил робко, кашлял в кулак и ходил на цыпочках. Наборщики ежились. Секретарь делался чрезмерно серьезным и молчаливым... Мало-помалу все «беды», которые натворил Воронин в отсутствие хозяина, раскрывались и выплывали на поверхность. Хозяин становился день ото дня мрачнее, пыхтел все громче, швырял вещи и, наконец, «разряжался».

Начинались объяснения с секретарем. Сперва кричал только издатель, потом начинал кричать и секретарь. Васька незаметно, как-то боком, удирал из редакции и притворял за собою дверь.

— Ругаются! — шепотом говорил он в конторе, махнув рукою по направлению редакции.

— Пора бы оставить уж все эти идеи! Никому они не нужны-с! — кричал издатель.

— Идеи тут ни при чем... Прошу их не касаться! Я ваших идей не трогаю...

— Никаких идей у меня не было и не будет! — кричал издатель.

Воронин хватал шапку и уходил из редакции, сердито хлопая дверью, с твердым решением никогда уже более сюда не возвращаться.

Но ведь уйти ему было некуда!.. И на другой день утром он снова сидел за своим столом и молча «строчил» или резал газеты...

Так промучился Воронин два года, все чаще и чаще припадая к защите алкоголя. Жена у него умерла, на руках осталось двое ребят... Некому стало упрекать Воронина в пьянстве, некому остановить, умолять не пить... Не стало единственного друга, на груди которого можно было выплакаться, покаяться, дать обет — бросить водку...

Воронин стал пить все чаще и все больше... А когда обе девочки его, пораженные дифтеритом, ушли за матерью,

он совершенно упал духом и опустился. Издателю он сделался ненужным, из секретарей был удален и начал постепенно спускаться сперва до случайного фельетониста, потом до репортера и, наконец, до корректора...

Теперь он сделался непригодным даже и для этой скромной роли.

VII

Прошел месяц «труда независимого и не противоречащего по существу своему убеждениям».

Крюков похудел, осунулся... Глаза его ввалились глубоко в орбиты и обрисовались темными кругами; нос словно вырос длиннее, подбородок сделался острым... Все чаще и чаще он страдал бессонницей, головными болями и сердцебиением и все чаще, лежа с открытыми глазами на своей кушетке, тяжело отдувался и произносил:

— Тоска!..

Прошло еще недели две — и эта тоска начала глодать Крюкова безостановочно. До омерзения надоел ему «Н-ский вестник», надоел секретарь редакции, одним видом своим уже раздражавший корректора, надоела комната без окон, корректурные оттиски. А квартирная хозяйка своей предупредительной заботливостью о здоровье выводила квартиранта из терпения.

— Батюшки! как вы похудели, Дмитрий Павлыч! Да вы здоровы ли? — с соболезнованием восклицала она, принося в комнату чайную посуду.

— Здоров, совершенно здоров!.. Благодарю вас! Не беспокойтесь! — с раздражением в голосе отвечал Крюков и отвертывался в сторону.

— Глаза-то, глаза-то!.. Право, краше в гроб кладут!..

— Будет вам, Дарья Петровна... Пожалуйста, того... не беспокойтесь!..

Хозяйка уходила, а Крюков соскакивал со стула, бежал к двери, плотно затворял ее и ворчал:

— Какого черта лезет? Вот заботливость одолевает!..

В праздничные дни он начал уже развертывать большую карту русских железных дорог и внимательно рассматривать ее, переводя взоры с юга на восток и с востока на запад.

Это означало, что Крюков больше не в силах жить в Н-ске и что он ищет город, куда бы ему переселиться и где бы еще попытать счастье...

— Орел... гм... Орлово-Грязская... Гомель, Киев, — Киев! Не махнуть ли в Киев? Город университетский, студенчество, три органа гласности, а главное — выбор интеллигенции... Киев имеет весьма почтенное прошлое...

Нет сомнения, что Крюков скоро был бы уже в Киеве, если бы одно случайное обстоятельство не задержало его в Н-ске.

Однажды, корректируя первую страницу газетного листа, Крюков наткнулся на объявление: «Доктор медицины Н. В. Порецкий, возвратясь из-за границы, возобновил прием больных», далее следовали часы приема и адрес.

Крюков впился глазами в это объявление и начал потирать пальцами свой лоб и лысину.

— Порецкий Н. В.? хм... да, Николай Васильевич... Неужели он?

Крюков застыл в раздумье. Перед ним встал образ одного из лучших его товарищей по гимназии и по университету, который, как и он, исчез с горизонта после «волнений»... Хороший был парень, хотя по убеждениям они не сходились; Порецкий тянул к «вольцам»: горячий, упрямый и решительный, он смеялся над Крюковым, называя последнего «елейным народником»...

— Вылез! гм... А может быть, случайное совпадение? Док-тор ме-ди-ци-ны... да! гм...

Крюков долго ковырял пером это объявление, обчерчивал его по буквам чернилами, рисовал какие-то замысловатые фигурки, то улыбался, то хмурился и выпускал «гм»...

На другой день, в часы, объявленные доктором медицины Порецким для приема больных, Крюков торопливо шагал по объявленному адресу... «Забрался, каналья, на главную улицу», — думал он, отыскивая дом Козочкина.

Но вот и дом Козочкина, большой, двухэтажный, с балконами и зеркальными окнами. «Неужели Порецкий таким барином стал?» На одной парадной двери — дощечка: «Присяжный поверенный», на другой — доска в черной раме, за стеклом, с надписью: «Доктор медицины Николай Васильевич Порецкий» и т. д.

— Да, Николай Васильевич!

Крюков отступил назад, загнул к небу голову и обозрел дом Козочкина, словно по внешности дома рассчитывал определить, тот ли это Николай Васильевич живет здесь, который когда-то называл его «елейным народником».

«Если не он, — попрошу «выслушать» — и кончено! Кстати, у меня сердцебиение теперь». С замиранием духа подавил Крюков пуговку звонка. Отворила дверь молодая девушка в белом переднике, румяная, здоровая, с бойкими карими глазами.

— К доктору?

— К доктору.

— Больной?

— Совершенно здоровый, — ответил Крюков, почему-то вспомнив свою заботливую хозяйку, надоевшую ему расспросами о здоровье.

— Теперь они только больных принимают. В другое время пожалуйте.

— Доктор — брюнет? — спросил Крюков.

— С проседью, — с улыбкой ответила девушка и перед самым носом Крюкова захлопнула дверь.

Крюков постоял с оскорбленною миною на физиономии у двери и медленно спустился со ступеней крыльца... Глупо сделал. Надо было сказать: «Больной».

Спустя несколько дней Крюков опять стоял у подъезда дома Козочкина и звонил.

Опять дверь отперла та же девушка в белом переднике.

— Дома Николай Васильевич?

— Дома-с!

— Можно?

— Больной, так опоздали: прием кончился...

— Нет, нет. Совершенно здоровый!

— Пожалуйте. Как о вас доложить?

«А черт знает, как это сделать», — подумал Крюков и сказал:

— Скажите — друг юности, Крюков.

Девушка бросилась было снимать с Крюкова летнее пальто, но он остановил ее намерение: сунул ей в руку свой плед, а пальто смахнул с быстротою молнии сам и сам же сунул его на вешалку, поверх богатой николаевской шинели с бобровым воротником.

— У вас, кажется, гости, — тихо спросил горничную Крюков, оправляя съехавший с шеи галстук.

— Нет никого... Обедают...

— А эта шуба...

— Барина-с.

Горничная бросила вопросительный взгляд на гостя, а гость еще раз посмотрел на богатую шинель с бобровым

воротником и подумал: «А когда-то говорил, что пальто на вате максимум его требований».

Крюков страшно взволновался: у него началось сердцебиение и стук в висках. Он чувствовал неловкость, смущение и робость, какую чувствует молодой человек, не достигший совершеннолетия, являясь с твердым намерением объясниться в любви и просить руки любимой девушки. Крюков даже вспотел.

Девушка привела его в приемную и попросила подождать, а сама направилась «доложить».

— Позвольте карточку! — сказала она, возвратившись в приемную.

— Карточку? Какую карточку? Ах, да... Нет... скажите: друг юности, Крюков...

Оставшись один, Крюков сел в удобное кресло. Под его ногами расстилался мягкий ковер с цветами и зеленью осени, над его головой висел портрет Пирогова и словно щурился, рассматривая неизвестного гостя; перед ним ряд громадных окон, задрапированных красивыми тяжелыми занавесями, ниспадавшими до полу в эффектных складках... Две пальмы, высокие, широко развесившие свои листья, похожие на кисти человеческих рук... На потолке, высоко — рельеф... Камин, заслоненный какой-то фантастической ширмой. Посредине комнаты небольшой столик, заваленный газетами и юмористическими журналами — для развлечения ожидающих очереди пациентов...

— Да он ли это? Не случайное ли совпадение имен?

Откуда-то издалека доносился звон посуды, лязг ножей, говор, детский голосок. Где-то мелодично наигрывал заводной баульчик, переливаясь серебристыми колокольчиками... Слышался издали приятный басок и женское контральто. Обедали шумно и весело, а главное — долго, не торопясь...

Крюков чувствовал себя в этой роскошной обстановке чужим, неуместным, и в его сознании уже начало просыпаться смутное раскаяние в том, что он пришел сюда... Крюков то вставал с кресла, подходил к столу и смотрел «Будильник», то опять садился, поправлял галстук, прическу и вообще выказывал беспокойство...

А время тянулось невыносимо долго, часы выстукивали свои удары маятником медленно, лениво как-то... И никто не шел... Словно забыли или не хотят знать, что здесь сидит и ждет человек...

— А черт с ними со всеми! — прошептал вдруг Крюков, выскочил в переднюю и схватил с вешалки свое пальтишко. Если бы не шинель с бобровым воротником, которую он по неосторожности уронил на пол, Крюков сбежал бы и никогда более сюда уже не возвратился. Шинель помешала: когда он совал ее на вешалку, эту чертовски тяжелую шинель, и не мог попасть петлей ее воротника на крюк вешалки, потому что руки его дрожали, — в дверях появилась высокая, стройная фигура доктора с недоумевающей вопросительной физиономией (горничная доложила только, что пришел какой-то «друг», но фамилию этого друга забыла).

Увидев этого «друга», возящимся около своей дорогой шубы, доктор сделал сердитое лицо и остановился в полном недоумении. «Друг» повесил наконец шинель на место и, обернувшись, застыл в позе пойманного на месте преступления вора.

— Что вам, милостивый государь, угодно?

— Не узнаете?.. Крюков! Вместе учились в саратовской гимназии...

— Ба-а! Дмитрий? Ты?

— Я, Коля, я!..

В передней послышалось целование и шум, словно здесь боролись в шутку два человека.

— Ну посмотри на меня, шут гороховый! Облысел? Ах, ты... Как? Почему? Где?..

И снова в передней звучали сочные поцелуи друзей юности, на глазах которых блестели слезы.

— Идем... Варя! Варя!

— Ау, — донесся приятный женский контральто из дальних комнат.

Крюков уперся:

— Постой! Ты — женат?

— А как же! Ха, ха, ха! Вот чудак!

— Жена поди того... барыня?

— Ха-ха-ха! Барыня, барыня, и какая прелестная барыня!.. И знаешь, на ком я женат?

— На женщине... А больше ничего не знаю...

— На Варе. На Варваре Петровне, за которой ты когда-то ухаживал и в которую был влюблен вплоть до настоящей лысины...

Крюков покраснел до корня волос. Перед ним промелькнул задернутый дымкою времени образ девушки

с толстой русой косой, с смеющимися глазами и с задорно приподнятым носиком. Что-то давно-давно прошедшее, свежее, чарующее, обвеянное грезами юности и теплом чистой любви, первой любви, с ее чарами поэзии и туманными порывами куда-то в заманчивую даль, к беспредельному счастью, хлынуло вдруг в душу Крюкова мягкой волною и защемило сердце сладостной болью и грустью по невозвратном...

Крюков провел ладонью руки по своей лысине и как-то виновато усмехнулся.

— На Варе... да... знаю, помню... еще бы! Рад! Друзьями были тоже когда-то, — растерянно проговорил он.

Ноги Крюкова дрожали, по лысине пробегал холодок, а сердце стучало часто-часто...

— Постой!.. Не могу... сердцебиение... водицы бы стаканчик! — прошептал он и присел на стул в большом зале с паркетными полами и с угрюмой громоздкой роялью под чехлом в углу...

— Эх, братец взволновался? Груша! Дайте стакан воды! — крикнул доктор.

В зал выскочил и покатился на тонких ножках по паркету кудрявый мальчик лет пяти.

— Володя! Поди сюда, познакомься! — крикнул отец. Но мальчик смутился, визгнул и исчез...

— Твой? — спросил Крюков, тяжело отдуваясь.

— Конечно, мой! вот чудак... ха-ха-ха!

Груша принесла на миниатюрной фарфоровой тарелочке стакан воды. Крюков трясущейся рукою взял этот стакан и стал жадно глотать воду. Стекло стакана стучало по его зубам, а голова, закинутая назад, дрожала...

— Уф! все... еще бы стаканчик!.. — произнес Крюков, возвращая пустой стакан.

— Нет, брат, там нас ждут: кургузый самоварчик и Варя, — сказал, взяв под руку Крюкова, доктор и повел его в столовую.

VIII

Навстречу им вышла изящная дама, с русским открытым лицом. В этом лице было что-то привлекательное, спокойное, женственно-мягкое и удовлетворенное. Серые глаза озаряли это лицо доброй улыбкой и придавали ему

выражение безмятежного счастья и уверенности в его бесконечной продолжительности, прочности... Когда эти серые глаза слегка прищуривались, — по лицу женщины скользила легкая тень гордости, а когда к этому присоединялся еще густой контральто, певучий, бархатный, сильный, то становилось очевидным, что судьба баловала свою любимицу... От Варвары Петровны так и веяло силой, здоровьем и счастьем любимой и любящей жены и матери...

Приветливо, радостно озарилось это милое лицо улыбкою, когда смущенный Крюков протянул молча свою руку Варваре Петровне, но сейчас же на нем появилось вопросительно-недоумевающее выражение.

Варвара Петровна не узнала Крюкова.

— Не узнаешь? — игриво улыбаясь, спросил доктор.

Варвара Петровна сделала большие глаза мужу.

— Неужели забыли? — промычал Крюков.

— Да Крюков, Дмитрий Крюков! Твой обожатель в юности, — подсказал доктор.

— Вы? Неужели? Боже мой!.. — воскликнула Варвара Петровна и стала крепко жать и трясти протянутую ей руку. — Как же вы постарели, изменились... Вас нельзя узнать, Дмитрий...

— Павлович! — подсказал доктор и, смеясь, добавил: — Инвалиды мы с ним, в отставке. Я хоть с мундиром и пенсией, а он...

— Я — с одним мундиром.

И все дружно расхохотались.

— Садитесь, господа!.. Дмитрий Павлович! Вот сюда, поближе ко мне!.. Ну, рассказывайте!.. Не женились?

Крюков махнул рукою.

— Некогда все было, а потом уже поздно.

— Опоздал, пропустил, подпись родителей... Помнишь, в наших гимназических классных журналах?

И доктор расхохотался приятным баском.

— А у нас... Володя. Поди сюда! Покажись гостю!.. У нас сын и дочь.

— Да еще ожидаем в недалеком будущем, — со смехом добавил доктор.

Варвара Петровна смущенно покраснела поправила на груди складки свободного платья.

— В рост, братец, пошли, как большинство наших товарищей, — заметил весело доктор. — Да и что по нынешним временам делать, как не возрастать и приумножать

«молодую Россию»! Особенно нам... Наша песенка, брат, спета, мы — инвалиды, время сойти со сцены и уступить поле деятельности другим, свежим силам... Ну, посмотри ты, например, в зеркало на свою образину! Куда она годится? Одна плешь осталась.

— Что ж... плешь... плешь и у тебя будет, — с улыбкой смущения произнес Крюков.

— Да как же вы, Дмитрий Павлович, попали сюда, в Н-ск?.. — спросила Варвара Петровна.

— Прибыл... — промычал в затруднении Крюков.

Варвара Петровна звучно расхохоталась.

— Прибыл... ха-ха-ха!.. Это очень мило сказано. Но когда? Зачем?

— Сие неизвестно, — угрюмо сказал Крюков, затрудняясь ответить на это «зачем?».

— Но по крайней мере откуда?

— Из С-ой губернии... Железную дорогу строил...

— То есть как это строили?

— Служил конторщиком...

— Хотел, значит, к капиталу примазаться, — пошутил доктор.

Разговорились про строящуюся железную дорогу. Крюков рассказал про свою «опытную артель» и про то, как она погибла...

— А как бы прекрасно все это было! — печально закончил он свой рассказ...

— Для кого? — скептически спросил доктор.

— Для всех... Для народа, конечно, главным образом, а затем и для самого дела; много дешевле и добросовестнее, чем это будет теперь, с подрядчиком.

— Гм... строители, видишь, думают иначе... Для них оказывается это далеко не прекрасным: им приятнее иметь дело с этими... Еропкиными... Что касается народа, то, конечно, для него это было бы прекрасно. Однако, друг мой, что за неволя им думать о народе? Что он Гекубе и что ему Гекуба?..

— А... а я убедил бы их всех! Я доказал бы им!.. — выкрикнул Крюков.

— Да позволь, не горячись! — остановил его доктор, — они давно убеждены и убеждены твердо... Да оно и понятно... По-моему, этот... начальник-инженер прав по-своему, если на дело смотреть чисто с практической стороны... Еропкин даст обязательство, гарантирует его

крупною неустойкою, будет принимать всевозможные меры, в собственных интересах, к скорейшему исполнению работ... Еропкин толковый, и с ним один разговор: «Сделай или лишишься залога». А потолкуй с твоими артелями!.. Ведь надо любить их, идейно любить, любить голодный народ, чтобы возиться, разбирать, убеждать...

— Меня удивляет такое рассуждение, — раздраженно сказал Крюков, — наша обязанность, нравственная обязанность интеллигенции...

— Позволь! О чем идет речь? Об интеллигенции или о постройке железной дороги? Если бы ты, интеллигент, черт тебя побери совсем, занялся постройкой дороги и употреблял бы в дело свой капитал, какового у тебя за душой не имеется, то ты мог бы проводить в практической жизни свои «обязанности»... Другой вопрос — вышел ли бы какой-нибудь толк из этого, но мог бы, имел бы физическую возможность... Но ведь ты только жалкий конторщик. Что ты такое в этом процессе? Мразь! Акционерам нужен известный процент на капитал, а все эти «наши обязанности» для них плевка не стоят.

— Ну, господа, вы, кажется, для первого же свидания поссориться хотите?.. — вмешалась в спор Варвара Петровна. — Берите чай, выпейте и немного успокойтесь!..

— Ну, что за пустяки. Какие там ссоры!.. Говорим... — ответил доктор и стал энергично мешать в стакане ложечкой.

— Ты мне, Варя, положила сахару?

— Положила... Давно вы вернулись из Сибири? — обратилась Варвара Петровна к Крюкову, чтобы прервать неловкое молчание.

— Давно уже... Да вот до сих пор не могу еще избрать постоянного жительства. Измучил себя и полицию, а пока все еще ни на чем не остановился... Думаю перебраться в Киев... буду хлопотать о разрешении...

— Тучки небесные, вечные странники, — продекламировал доктор, переходя в прежний добродушный тон. — А ты «чист» теперь совершенно?

— Чист, насколько это возможно в моем положении. Жить могу очень во многих городах, особенно в уездных...

— Ха-ха-ха! Да ты покажи им свою лысину!.. Снимись самостоятельно в фотографии и при прошении отправь куда следует... И все убедятся, что ты уже не способен потрясать ничем, кроме остатка кудрей твоих...

— Я о себе лучшего мнения, чем ты обо мне... — ответил Крюков.

— Ого! А скажи, пожалуйста, в своих взглядах и убеждениях ты по-прежнему неизменен и велик? Сохранил своих «китов», то есть артель, общину, народный дух и т. д?

— Неизменен, хотя и не велик...

— И не думаешь, что твои «киты» уже пошатнулись и заметно рушатся, как это доказывают или стараются доказать люди нового направления?

— Ерунда! — с оттенком пренебрежения сказал Крюков и неестественно, с ноткой какой-то досады, засмеялся.

— Что же ты смеешься? Ведь не будешь ты отрицать, что господин капитал сделал за последние десять — пятнадцать лет значительные завоевания, а что в «китах» образовались бреши? Теперь доказывают, что...

— Ничего не докажут!.. — с сердцем оборвал Крюков. Он начал уже сердиться, раздражаться и вспыхивать, между тем как Порецкий оставался совершенно спокойным...

— Да, Дмитрий Павлович, устарели-с!.. Пора на покой... — острил доктор.

— А ты удивительно молод!.. Быть может, вследствие этого ты и хватаешься за модные теории?.. — отпарировал Крюков.

— Что там мода и теории... Всякая теория бывает сперва модною. Это ничего не доказывает... И мы с тобой когда-то примкнули к модным теориям. Но теперь нам время сознаться, что мы были беспочвенны... Горсть смельчаков, одушевленных самыми лучшими намерениями и не считающихся с условиями места и времени... Вот почему мы так же быстро исчезли, как и появились...

— Вовсе не исчезли... Это вздор!.. — перебил Крюков.

— А где? Что-то не слышно... Ты? Так ты просто археологическая редкость!..

— А в литературе?..

— Да таких, как ты, даже в книжках и журналах не осталось... Подобные «консервы» могли сохраниться только там, откуда ты вернулся и где продолжал с чувством глубочайшего почтения и беспредельной преданности — как пишут в письмах — хранить свои мечты и планы... Колесо жизни, брат, продолжало свои круговращения, а ты сидел себе во втулке этого колеса, в неподвиж-

ной дыре и был убежден, что кругом все по-прежнему стоит неподвижно...

Варвара Петровна не вмешивалась уже в разговор друзей. Она разливала чай, делала хозяйственные распоряжения появлявшейся горничной и лишь мило улыбалась.

Казалось, что «все это» ее не касается и нисколько не трогает...

— Скажи, пожалуйста, что ты здесь делаешь? Чем занимаешься и чем живешь?

— Корректирую вашу газету по ночам... В общем, живу, как вьючный скот... Днем сплю, ночью работаю... Ем... Пью чай...

— Ах, я вам и забыла налить... простите! — воскликнула Варвара Петровна и протянула руку за стаканом.

— Я еще не допил, — глухо произнес Крюков.

Крюков сделался вдруг каким-то грустным, убитым... Склонившись над столом, он смотрел в стакан и молчал...

IX

Было часов одиннадцать ночи, когда Крюков вспомнил, что на его обязанности лежит исправление чужих ошибок.

На дворе стояла непогода. Сердитая вьюга крутила снегом в воздухе и засыпала белой пылью стекла окон. Ветер жалобно плакал где-то и стучал железной крышей и водосточными трубами. Жутко было на улице, и так не хотелось оставлять теплых, светлых комнат.

Крюков живо представлял себе, как злой вихрь будет трепать полы его легкого пальтишка, срывать со злобою шляпу, сыпать холодной и колючей крупой за шею, в лицо...

Идти далеко. Ни зги не видно. Пусто. Фонари едва маячат тусклыми пятнами в белом море бурана... Холодно!.. От одного уже представления об этом путешествии по спине Крюкова пробегала дрожь.

— Надо идти, — в раздумье говорил он, но не шел, а стоял у окна и смотрел на залепленные снегом стекла наружных рам, на синеватые огоньки и серебристые искорки, игравшие в снеговых кристаллах от комнатного света... Смотрел и не двигался с места.

Доктор сидел в венской качалке, с сигарою в зубах, и слегка покачивался, лениво работая правой далеко

отставленной ногою... Около красивой головы доктора носились клубы табачного дыма, то синие, то бледно-желтые, и, расползаясь, улетали под высокий потолок. Варвара Петровна сидела за роялью и играла бетховенскую сонату.



Изредка Крюков оглядывался и смотрел на нее сзади; смотрел на ее руки, полные и белые, выхоленные, красиво опускавшиеся и еще красивее поднимавшиеся над клавиатурою: смотрел на прозрачные и легкие рукава ее пеньюара, которые, как крылья, трепетали и колыхались в воздухе; на ее голову, красиво склоненную набочок, с массивным узлом русых волос с золотистым оттенком; на красивый, словно выточенный из мрамора рукою художника, изгиб шеи...

И Крюков старался уверить себя в том, что это та самая Варя Игнатович, которая когда-то была фельдшерицей-курсисткой и беззаветно отдавалась на студенческих «вечеринках с рефератами» вальсам, кадрилям и полькам...

Бедовая была девушка! Однажды, между двумя фигурами кадрили на такой вечеринке, споря с своим кавалером по поводу прочитанного реферата, Игнатович сорвалась неожиданно со стула и громко заявила:

— С такими буржуями я не танцую!

Сказала и решительным шагом прошла через весь зал в «мертвецкую».

Здесь был шум, споры, пение. В одной из групп спорящих был и Крюков.

— Крюков! Идемте в зал! Мне нужен кавалер, чтобы докончить кадриль...



— Я не танцую, не обучен, — ответил Крюков.

Но Игнатович настояла на своем, вывела Крюкова под руку в зал и заставила его таки выводить спутанные, кривые и ломаные линии ногами, к общему удовольствию хохотавшего молодого общества.

— Браво, Крюков! — гремели вокруг веселые голоса зрителей — студентов.

А Крюков старался...

Потом они встретились в одном «кружке саморазвития», вместе читали, спорили, разрешали мировые вопросы и, прокаталажившись до петухов, провожали домой друг друга... Крюков полюбил эту живую, умную и веселую девушку... Она, кажется, тоже симпатизировала ему... Но — и только...

То было время, когда стыдно было говорить о любви и разводить «любовную канитель». Надо было «дело делать»...

Втайне Крюков мечтал о женитьбе на Варе и лелеял в душе эту дивную мечту, но она, эта мечта, хранилась глубоко в тайниках души, держалась крепко под замком и никогда не вырывалась на волю... Потом эта мечта

улетела вместе с Крюковым далеко-далеко и здесь тихо замерла, растаяла, как тает вот этот дым от докторской сигары, исчезла пред лицом суровой действительности и прозы жизни.

Это был единственный роман в жизни Крюкова, роман без начала и без конца, и теперь, спустя много-много лет, Крюков перечитывал его поблекшие дорогие страницы.

Колесо жизни вертелось. Не стало прежней Вари. Но здесь, рядом с ним, дорогое воспоминание воплощалось в этой красивой, но далекой и чужой ему женщине... И присутствие этой женщины воскрешало так ярко улетевшие в вечность дни золотой юности и призраки возможного, быть может, счастья, печально улыбнувшегося и скрывшегося в бесконечном пространстве времени...

Что-то очень-очень знакомое, прежнее, былое и позабытое моментами проскальзывает и в лице этой «чужой женщины», и в ее манере держать голову, в интонации ее голоса, и Крюков ловит эти моменты с какой-то жадностью, и сердце его замирает от тоски, сожаления и исчезнувшего призрака неуловимого счастья...

Крюков стоял и смотрел. И ему хотелось бы стоять бесконечно долго, смотреть на эту женщину, слушать музыку и вспоминать.

Эта музыка в каком-то тумане проплывала мимо, и бетховенская соната была только чудным аккомпанементом к той нежной, тихой и грустной мелодии, которая звучала теперь в сердце лысого «бывшего студента».

Вдруг соната оборвалась.

Крюков вздрогнул и очнулся.

Лицо бывшей Вари обернулось к нему и сделалось таким, как тогда, в далекие дни юности... Губы полуоткрылись, блеснули белые зубы, и глаза заискрились смехом...

— Помните? — сказало это лицо.

Варя заиграла громкими аккордами студенческую песню и запела.

— Да подтягивайте же, господа! Ну!..

У-кажи мне та-ку-ю оби-тель...

По телу Крюкова пробежал экзальтированный трепет, и он, подняв голову кверху, сиплым тенорком чувствительно и печально подтянул. А доктор пустил издали, не

вставая с качалки, октавой, грозной и положительной... Вышло недурное трио. После первого пропетого куплета на глазах Крюкова навернулись слезы!.. Бог весть, были ли то слезы печали, слезы о былом и отлетевшем, или слезы счастья от сознания близости родных хороших людей и еще того, что вот прошло так много-много лет, колесо жизни все вертелось и вертелось, а они по-прежнему вместе и по-прежнему поют свою любимую студенческую песню и остаются прежними печальниками «сеятеля».

— Готово, барыня! — произнесла девушка в белом переднике, внезапно появившись в дверях.

— Коля! Дмитрий Павлович! Ужинать. Я вас накормлю, а потом прощайте! — спать пойду... Детишки просыпаются рано, я тоже с ними...

Все двинулись в столовую.

Крюков, печальный и задумчивый, шел позади всех...

За ужином как-то никому не говорилось. Ели молча, лишь изредка перекидываясь короткими фразами и замечаниями.

— Ну-с, господа, я спать!.. Желаю вам покойной ночи, главное — не поссориться! — с улыбкою произнесла Варвара Петровна, поднимаясь с места.

Зашумели и застучали отодвигаемые стулья. Все вышли из-за стола. Хозяйка крепко пожала руку Крюкову и, подарив его своей лучистой улыбкою, попросила приходить почаще и без всяких церемоний; потом она подошла к мужу, и в ушах Крюкова прозвучал крепкий чужой поцелуй... Впечатление от этого звонкого поцелуя долго оставалось в ушах Крюкова, в левом ухе оно звенело даже после того, как бывшая Варя, мелькнув белой тенью в дверях, на пороге полутемной комнаты, исчезла, и лишь шаги ее мягко шелестели вдали...

Доктор посмотрел на карманные золотые часы, звонко щелкнул крышечкой и сладко позевнул...

— Устал я что-то сегодня... Эхе-хе!..

— Надо, однако, и мне отправляться, — ответил на эту позевоту Крюков.

— Я тебе посоветую остаться у меня ночевать... В гостиной на диване прелестно всхрапнешь!

— Не могу.

— Почему?

— Надо все-таки в типографию забежать... Черт знает как там без меня... Свинство, собственно говоря...

— Знаешь, Дмитрий, приходи к нам каждый день к обеду. По утрам я занят, а в это время всегда к твоим услугам...

— Не обедаю.

— Как так?

— Очень просто: пью чай и жру колбасу.

— А может быть, стесняешься? Смотри, брат, у меня чтобы все эти церемонии к черту.

— Нет, право, так... Желудок отвык обедать. Попробовал было раза два пообедать по всем правилам искусства, да и мучился за это целую неделю...

Вихрь крутил вдоль улицы снегом, сыпал с крыш крупой, залеплял стекла уличных фонарей и складывал целые снежные холмы на панелях...

Крюков, плотно завернувшись в плед, торопливо шагал посреди улицы, рисуясь темным пятном в белесоватой мгле бурана...

Сперва он торопился в типографию, но потом вдруг передумал и круто свернул по направлению к своему жилищу.

В эту ночь Крюков почти не спал... Долго-долго в его одинокой комнатке брезжил свет лампы, а сам он выстукивал ногами свои грустные думы. А потом, когда Крюков перестал ходить, — он до самого света ворочался с боку на бок в постели и о чем-то вздыхал...

X

«Татьянин день» в Н-ске всегда справлялся с помпой... Устраивали его местные питомцы университетов по подписке в квартире доктора Порецкого, которому въезжало это удовольствие все-таки рублей в двести своих собственных денег. Почему именно у него, у Порецкого? Действительно ли Николай Васильевич до сих пор остался одним из тех признательных питомцев храма науки, которым дорога память о светлых днях чистой самоотверженной юности, с ее горячими, беззаветными порывами к добру и правде, и дорога не только одна память, но и все то, что уносят из-под крыши этого храма немногие, зато лучшие во всех отношениях питомцы?..

Бог знает почему... Нельзя даже сказать, чтобы Порецкий особенно настаивал на том, чтобы праздновали у него...

Так как-то, раз уступил свою квартиру под «Татьянин день», а потом и пошло у него да у него... Теперь даже никто не ставил вопроса «где?». Разумеется, у Порецкого!.. Где же иначе?.. Теперь даже и сам Порецкий не сомневался, что именно у него должно быть совершено празднество, и нисколько не удивился, когда дней за пять до 12 января появились в городе печатные приглашения «милостивых государей» пожаловать на обед и празднество в «Татьянин день» в квартиру Николая Васильевича Порецкого, в шесть часов вечера.

Нынче этим празднеством Варвара Петровна тяготилась и думала как-нибудь избавиться от него, но, увидев экземпляр приглашения, напечатанный в типографии «Н-ского вестника» и принесенный оттуда Крюковым, только сердито посмотрела на красивый листок и вздохнула.

— Приходите и вы! — печально сказала она Крюкову.

— Не по карману... Десять рублей обед... Да я, Варвара Петровна, два месяца буду кормиться на эти деньги.

— Вот пустяки какие!.. Я вас приглашаю не по подписке, а так, как своего близкого человека.

— Неудобно...

— Даже очень удобно... Вы знаете, что нам это торжество обходится в сто пятьдесят — двести рублей?.. Могу я, стало быть, пригласить вас?.. Приходите, я буду сердиться, если не придете...

— Во всяком случае — не обедать... Попозже, может быть... Посмотреть на людей...

— И себя показать?

— Неинтересен, Варвара Петровна!..

Крюков покраснел.

Но кто был заклятым врагом этого торжества, так это мать Порецкого — Татьяна Игнатьевна, женщина пожилая, рыхлая и прямая до грубости в своих симпатиях и антипатиях. Как раз в этот день она была именинницей и проклинала это совпадение самым энергичным образом... Где бы встать, сходить к ранней обедне, попить чайку, состряпать пирожок с осетринкой и, хотя в день своего ангела, отдохнуть от хозяйственных забот и от крика и писка надоедающих бабушке ребятишек, — приходилось два дня подряд метаться, как в жару, разрываться между кухней и детской, бегать сломя голову по лавкам и магазинам, волноваться, иногда даже плакать...

Одним словом — ад, настоящий ад, или по крайней мере каторга...

Поэтому Татьяна Игнатьевна дня за два до своих именин начинала уже — как выражался доктор, ее сын — «сатанеть»: ворчала, кричала и шлепала ребятишек, чертыхалась и била посуду.

— Достанется мне это торжество, прости господи!.. И непременно у нас! Им что? Придут, нажрутся, напьются, да и уйдут. А ты тут майся! И отдохнуть нельзя... — говорила она в пространство, со злостью, и жалобой еще накануне празднества.

— Обычай, Татьяна Игнатьевна... Ничего не поделаешь, — тихо возразил сидевший в углу Крюков. — Традиция!..

— Хм... Обычай!.. Вы думаете, что они, как добрые люди, соберутся, поедят, выпьют, поиграют в карты, да и по домам разойдутся? Держи карман! Начнут языки чесать — речи свои бестолковые говорить, орать начнут, подкидывать друг друга, а потом...

Татьяна Игнатьевна махнула рукой и, понизив тон, продолжала:

— Потом стыдно смотреть будет... Налакаются, — прямо уходи вон! В прошлом году двое молодцов так и свалились в гостиной!.. Диван испортили... Двадцать целковеньких пришлось за одну обивку отдать... Хм!..

— Будет вам, мамаша, — недовольно заметил Порецкий...

— Мамаша, мамаша... Намаялась с вами мамаша-то, хлебнула горя. Если бы не мамаша, так ты, пожалуй, тоже всю бы жизнь свою в Сибири пробыл... Вот что! Кто за тебя хлопотал, пороги обивал да прощенья вымаливал? Ах вы, неблагодарные!.. Ни стыда в вас, ни совести. Уж если мать не жалко, так хоть бы жену-то пожалел!.. Да разве можно в таком положении...

Порецкий состроил гримасу, махнул рукой и ушел к себе в кабинет.

— Дмитрий Павлович! иди, брат, сюда! — крикнул он издали.

— Небойсь, Дмитрий Павлыч сумел бы ценить мать свою, если бы она его теперь на ноги поставила... — проворчала Татьяна Игнатьевна...

Крюков шевельнулся в кресле, кашлянул и поправил

галстук. Этот комплимент неприятно кольнул его самолюбие и заставил покраснеть...

— Пора в типографию... — произнес он и встал.

— Сидите! Куда вы? В кабинет, что ли? К нему?

— Нет... В типографию надо идти. На всю ночь, до утра...

— Ходил бы вот этак же в какую-нибудь типографию на всю ночь, если бы не мать, а то и еще хуже, вроде Воронина... — еще раз проворчала по адресу отсутствующего сына Татьяна Игнатьевна и с жалостью посмотрела на Крюкова.

— Так-то, батюшка! Наглупим в молодости, а потом и маемся всю жизнь. До свиданья, голубчик!

— А кто такой этот Воронин? — спросил Крюков, желая узнать, не об известном ли ему Воронине идет речь.

— Есть тут один стрикулист. Тоже студентом был... В прошлом году затесался незвано-непрошено на это самое торжество и такого скандалу наделал, что за полицией пришлось посылать... Пропойца.

— Дмитрий! Ты уходишь? — спросил доктор, отворяя дверь кабинета, когда Крюков шел в переднюю.

— Иду... Мне пора... Скоро восемь.

— Приходи завтра.

— Может быть... Разве из типографии, если не будет поздно...

— Какое там поздно! Завтра начнется, а послезавтра кончится... Приходи!.. Посмотришь публику.

— Ладно, постараюсь... Прощай!..

— Будь здоров, голубчик!.. Да... я сейчас еду; быть может, по пути, подвезу тебя? Ах, нет!.. Нам, впрочем, в разные стороны. Тебе направо, а мне налево... Груша! Груша! Где же вы?..

Явилась горничная.

— Подайте же пальто! Неужели вам каждый раз говорить?

— Да они не даются, — недовольно сказала Груша.

— Я сам, сам... Не надо!

Но Груша, раздраженная несправедливым выговором барина, схватила за один свободный еще рукав пальто Крюкова и натянула его со злостью на гостя.

— Ты, оказывается, знаешь Воронина? — спросил Крюков, стоя в пальто и шляпе в передней.

— Знаю. А что?

— Вот несчастный человек! Мне его старшно жаль.

— Спился... Я уж с ним возился, братец, да бросил: два раза одевал его и обувал, пробовал ввести его в трезвое общество, и никаких толков не вышло... Продержится неделю, много — другую, и опять та же история, опять гол, как сокол, и является клянчить тридцать копеек...

— Такой симпатичный парень... — задумчиво произнес Крюков, берясь за скобу двери. — Ужасно жаль!..

— Чего тут жаль! Стрихнином надо насытить, жалеть совершенно бесполезно. В больницу надо его и стрихнином... Пьяный — невозможный человек, и я советую тебе быть все-таки подальше... Привяжется, так трудно будет отвязаться... Скандалист ужасный.

— Поклонись Варваре Петровне!.. Я с ней не простился, — сказал, растворяя дверь, Крюков и почувствовал, как в лицо его бросилась краска.

— Ничего!.. Ей сегодня нездоровится, капризничает... Все это празднество виновато... — ответил вслед исчезающему за дверью Крюкову доктор и, когда дверь затворилась и сама заперлась, строго приказал горничной:

— Пусть подают лошадь. Живо!

— Лошадь, барин, готова, ждет у крыльца, — ответила горничная.

— А в таком случае — шинель!

Груша кинулась к вешалке. Доктор немного нагнулся, принял на плечи шинель и, надев бобровую шапку, подошел к большому зеркалу и поправил ее, сдвинув немного набок. Потом покрутил ус, ловко подхватил борты шинели и двинулся к дверям.

Груша поспешно и предупредительно опередила барина и распахнула их, отойдя в сторону.

Груша в своем коричневом платье и белом переднике, со своим румянцем и лукавостью в карих глазах, своей молодой и здоровой вертлявостью опять обратила внимание барина, и он, проходя мимо, выставил руку из-под борта шинели и слегка ущипнул девушку повыше локтя.

— Оставьте! барыне скажу! — сердитым шепотом крикнула Груша и с веселой и довольной улыбкой отскочила в сторону...

Дверь громко хлопнула. Вздрогнул колокольчик. Мигнула лампа на столике перед зеркалом... и доктор исчез...

XI

— Уф! устала до смерти...

С этими словами Татьяна Игнатьевна бухнулась своим грузным корпусом в кресло и беспомощно опустила пухлые руки...

— С ангелом, Татьяна Игнатьевна! — проговорила она с досадой, переводя дух.

Татьяна Игнатьевна измучилась...

Да и было, впрочем, от чего измучиться.

Сегодня с раннего утра она не присаживалась на место. На кухне шла кипучая лихорадочная деятельность, с «баталиями» между прислугой и старой барыней, с вспышками и раздражением с обеих сторон, с кухонными несчастиями и т. д. Новая кухарка Маланья (Татьяна Игнатьевна меняла кухарок чаще, чем меняют «порядочные люди» перчатки), не успевшая еще ориентироваться на новом месте и освоиться с новыми господами, делала промах за промахом и своим резонерским оправданием: «Как сразу угодить: одни любят перепрето, другие недопрето», — только еще более бесила впечатлительную в кухонном отношении Татьяну Игнатьевну.

Было около пяти часов вечера.

Большой зал уже был приготовлен к приему «милостивых государей». Здесь, в сумерках нахмурившегося зимнего вечера, белел скатертями ряд составленных для пиршества столов, накрытых на двадцать восемь кувертов. Посреди стола сплошною массой темнела зелень цветов, над которой, резко очерченными силуэтами, топырились руки-ветви лапчатых пальм. Вина, в красивых фигурных бутылках и хрустальных графинах, теснились под сень зелени, словно им хотелось спрятаться от жадного взора ожидаемых «милостивых государей». Слабый свет уходящего дня, прорываясь сквозь кисейные занавеси больших окон, слабо вибрировал на хрустале, фаянсе и металлических колпачках бутылок. Стеариновые свечи торчали вдоль стола, как телеграфные столбы на почтовом тракте, а венские гнутые стулья, как солдаты, построились в каре вокруг столов и спокойно выжидали атаки...

Казалось, большой и пустынный пока зал сознавал всю важность наступающего момента и торжественно и величаво, в глубоком молчании, ждал его... Нарушали это молчание только двое часов: стенные и бронзовые, что стояли

в докторской приемной в амбразуре над камином; стенные стучали солидно и степенно, не торопясь, в то время как бронзовые тикали как-то беспечно и легкомысленно...

— Уф! — еще раз ухнула Татьяна Игнатьевна, — и хоть бы кто помог! Хоть бы этот Крюков пришел... Так шляются, а как работать — нет никого!.. Охо-хо-хо! Глаза бы мои не смотрели на вас...

Солидные часы начали медленно выбивать удар за ударом.

— Раз, два, три... — считала про себя Татьяна Игнатьевна и, насчитавши пять, уже вслух подумала: Через час съезжаться начнут, а Коля спит еще и огня нигде нет... Нечего сказать, порядки!» Груша! Груша! Где ты? Вечно запропастятся... Так шныряют, а когда надо — никогда не дозовешься...

Татьяна Игнатьевна с кряхтением поднялась с кресла и неистово закричала:

— Гру-ша! Грушка!

— Здесь! иду! — откликнулась откуда-то издалека горничная.

— Что прикажете?

— Где вы вечно шляетесь? Черт вас носит, прости господи!

— Что прикажете? — повторила смиренно девушка.

— Этакое мученье! Зажигай огни!

Затем, ворча что-то себе под нос, Татьяна Игнатьевна отправилась будить сына.

Доктор делал сегодня серьезную операцию и возвратился хотя и довольный своим успехом, но усталый и теперь в кабинете спал крепко и сладко, как невинный младенец.

— Коля! Николай Васильевич! В пять велел разбудить, а пять пробило уж...

— Гм... отвяжитесь ради бога. Скажите, дома нет.

— Да ведь торжество у нас скоро должно открыться. Опомнитесь!

— Мм... Оставьте ради бога!

— Да университет-то вспоминать!..

— А-а-а... да, да... Ах! а-а...

Николай Васильевич лениво потянулся и нехотя поднялся с турецкого дивана. Посмотрев на часы, он еще несколько раз зевнул, хрустнул пальцами, энергично плюнул и хриплым и сердитым голосом закричал:

— Приготовьте фрачную пару!

А сам пошел в одной жилетке к мраморному умывальнику.

В зале загорелись огни. Убранный стол словно ожил и красиво поднялся из темноты; засиял и заблистал хрусталь, фарфор, бутылки, графины; пальмы словно выросли вдруг и гордо раскинулись, разбросавшись ветвями...

А спустя четверть часа к парадному подъезду стали с шиком подкатываться легкие санки с худыми и упитанными «милостивыми государями»...

Когда, покончив корректуру, Крюков пришел к Порецким, измученный и раздраженный каким-то неприятным разговором с секретарем редакции, торжество было в разгаре. Крюков пришел «сзади», через черное крыльцо. Как человек «свой», он нашел это более удобным для себя и для хозяев. В случае чего, всегда можно обратиться вспять, да и лучше войти незамеченным, без звонков, без встреч... Черт их знает, как еще все это будет? Быть может, тут такой шик и изысканность, что не совсем и удобно заявиться в таком костюме. в сюртуке с тремя пуговицами и в брюках с бахромой. Да и рубашка не первой свежести... Лучше посмотреть сперва, так сказать, издали...

Крюков разделся в темной передней заднего входа, положил комом свое пальтишко на один из стоявших здесь сундуков, а калоши, чтобы не искать их долго в случае надобности, вложил в рукава пальто... Все это он накрыл пледом, поправил ладонью остатки своих кудрей, сдвинул на место галстук, похлопал ладонью руки, вместо щетки, низы своих брюк и тихо, высматривая вперед и заглядывая в стороны, двинулся к столовой.

Из дальних парадных комнат доносился гул смешанных голосов, хохот, выкрики, звон посуды, хлопанье откупориваемых бутылок...

В столовой за самоваром сидела злая, как фурия, Татьяна Игнатьевна и с остервенением разливала чай, злобно швыряя ложки и стукая крышкой большого чайника.

— Мое почтение, сударь! — неприветливо сказала она, увидев входящего Крюкова.

— С ангелом, Татьяна Игнатьевна! — тихо сказал тот, подходя к имениннице с протянутой рукою.

— Хорош ангел! Благодарю покорно...

— Гм... да... у вас веселье? — произнес Крюков, присаживаясь к чайному столу.

— Хорошо веселье! Как в кабаке! — недовольным тоном ответила Татьяна Игнатьевна. — Половина уже перепилась, теперь остальные накачиваются...

Зашуршали шелковые юбки. — и в столовую вошла, в роскошном белом платье, сильно декольтированная, вся какая-то воздушная и легкая Варвара Петровна. Запахло духами, повеяло неуловимо-нежным и тонким ароматом, словно вместе с Варварой Петровной ходила сама весна, устилая путь этой красивой женщины только что распустившимися цветами...

Крюков как-то испуганно вскочил со стула, покраснел и раскланялся.

Но Варвара Петровна была чем-то сильно занята и озабочена. Она подала Крюкову свою руку, сказала «здравствуйте», а потом, наклонившись к уху Татьяны Игнатьевны, что-то ей шепнула и, помахивая надетым на руку веером из страусовых перьев, быстро исчезла. Остался только нежный и тонкий аромат...

Как-то немного обидно стало Крюкову. Не спросила даже, как он очутился в столовой и когда пришел?.. «Ах, да что тут обижаться? Конечно, человек «свой, нечего церемониться», — успокоил себя сейчас же Крюков.

— Выпейте-ка со мной стаканчик чаю! Извольте-ка! — сказала Татьяна Игнатьевна, подавая Крюкову стакан чаю. — Вот варенье, а вот сливки, лимон... С чем хотите...

— Спасибо. Выпью. Давно уже у вас собрались?

— С шести часов маюсь... Одного чаю поди стаканов сто налила...

— Речей еще не говорили?

— Нет, батюшка, рано еще... Не все перепились! Речи у них после, когда все уж налижутся...

Крюков ухмыльнулся.

— Жаль мне Варю, ей бы в капотах ходить, а тут затягивайся... Экая неволя, подумаешь!..

— А кто говорит речи хорошо у вас?

— Да тут адвокат один есть у нас, Красавин ему фамилия... Потом помощник у него, молодой — холостой еще, — тоже в прошлом году говорил... Болтал не меньше часа... Да вы ступайте туда! Что вам со мной, старухой, сидеть?.. Соскучитесь.

— А что мне там делать? Покуда посижу здесь.

— Вы, никак, ведь не пьете?

— Нет.

— Сели бы в карточки поиграть... Вот учителя, которые не пьют, все уселись в кабинете и смирненько играют себе. Пошли бы и вы к ним в партию!..

— Не умею и в карты играть, Татьяна Игнатьевна.

— Надо, батюшка, выучиться. Без этого скучно непьющему человеку...

На этом их разговор оборвался. В столовую влетел Николай Васильевич немного в возбужденном состоянии.

— Ба! Ты здесь? Что же ты сидишь тут, как сыч? Идем!

Доктор подхватил Крюкова под руку и потащил. Крюков упирался.

— Коля! а ты тише! сюртук ему изорвешь... у него поди последняя одежонка-то, — заметила Татьяна Игнатьевна, останавливая порыв сына.

— Ничего, сошьем новый... Идем же!.. эк уперся!..

— Да погоди, сам пойду... Нечего мне там делать, — уклонялся Крюков.

— Удивительно! Точно из Австралии приехал... Боишься ты, что ли, людей? А еще «деятелем» себя считаешь?!

— Вовсе не боюсь, а просто сейчас нерасположен.

— Да отвяжись ты от него, Коля! — вставила опять Татьяна Игнатьевна.

— Пойдем, я тебя познакомлю с студиозом, с братом Варвары Петровны... Самый свежий, только что присланный из столицы... Такой же, брат, как ты, пролетарий!..

— Ну, погоди немного.

— Чего тут ждать?..

И доктор силой выволок Крюкова в зал.

Гостей здесь было очень много, и все оживленно болтали или наслаждались уединением со стаканом вина.

Был здесь Красавин, блестящий адвокат, не брезгливый в выборе дел и успевший сколотить себе порядочный капиталец. Это был человек, с наукой никаких отношений не имеющий, если не считать, конечно, за науку бесчисленного множества изученных и изучаемых им «кассационных решений», «разъяснений» и т. п. От времен студенчества в нем осталось очень немного: любовь кутнуть по-молодецки, изредка сбросить все стесняющие условности своего солидного положения в городе и в обществе, своей извест-

ности, попеть хором «Из страны, страны далекой», изредка даже помальчишествовать, подурачиться. Но все-таки Красавин был достаточно «прогрессивен»: читал газеты, следил за иностранными известиями, порой довольно резко высказывался. Вообще ретроградом Красавина назвать было нельзя, либералом — тоже нельзя, а для нашего родного консерватора он был слишком умен... Сам про себя Красавин говорил, что он «свободомыслящий»...

Был здесь директор гимназии, сухой, желчный старичок, с геморроидальным страданием на лице, с седыми с виска на висок зачесанными волосами. Был помощник Красавина, который в прошлом году — «болтал не меньше часу». Был старший врач больницы, субъект колоссальных размеров, с брюшком, с толстой в складках шеей, с мутно-оловянными глазами навыкате, сильно сопевший и напоминавший Петра Петровича Петуха. Был городской голова из купцов первой гильдии, плотный, коренастый, с бородой лопатою и со своим «знаком». Было много педагогов, судейских, врачей, двое городских судей, земский начальник Оболдуй-Тараканов и еще много других.

— Господа! Вот рекомендую, некто Крюков, бывший питомец университета, — закричал Порецкий, вводя в зал Крюкова.

Некоторые обратили внимание, а очень многие даже не посмотрели.

— Ну, ты, прокурор! вот познакомься! Материал для тебя... Слышишь? А ты его не бойся, — добавил Порецкий, обращаясь к Крюкову.

Прокурор, хмельной, но еще вполне приличный, несколько сконфузился и молча подал руку Крюкову.

— А вот наш старейший «питомец»... Эскулап, старший врач больницы... Несколько тысяч уж отправил ad patres! [1]

Эскулап тянул какую-то жидкость из стакана и поздоровался с рекомендуемым тоже молча, глядя куда-то мимо...

— А вот и тот студиоз, брат Варин, о котором я говорил тебе... Последнее «издание»! Тоже сидит, как сыч, в углу, не пьет, не кушает, молчит; одним словом, вы — два сапога пара!

— Игнатович! — серьезно отрекомендовался студент, слабо пожал руку Крюкова и опять сел в кресло, в углу.

---

[1] К праотцам! (*лат.*)

— Крюков! бывший студент, — ответил Крюков.

Дальнейшая рекомендация оборвалась, ибо Порецкий, приглашенный кем-то выпить, бросил обоих «сычей», ушел и забыл об их существовании.

Крюков взял свободный стул и подсел к Игнатовичу.

— Давно вы здесь? — спросил Крюков.

— Только сегодня приехал.

— Надолго?

— Не знаю.

— За что?

— Тоже не знаю... — тихо ответил Игнатович, искоса посмотрев на соседа...

Посидели, помолчали. Разговор не клеился. Игнатович оказался человеком несловоохотливым.

Крюков поднялся со стула и пошел бродить по комнатам.

Публика разбилась на группы: более солидные сидели за столом, другие уединенно беседовали по углам, сидя и стоя. Из приемной слышалось: «Трефы! Мои. Бубны! Мои. Пас! Вист!»

Помощник Красавина взял Крюкова за талию и начал с ним разговор о студенчестве, вспомнил «наше время, когда», не совсем лестно отозвался о своем принципале, Красавине, пожаловался на скудость практики в Н-ске и не без пафоса произнес:

— Разве мы, идеалисты, можем когда-нибудь устроить свое благосостояние? У нас — разные принципы, убеждения!.. Все это подлецам на руку... Я, например... да разве я не имел бы давно уже состояния, если бы захотел? Мы, батенька, жертвы собственной порядочности...

— Виноват!.. Я сейчас... извините! — проговорил Крюков и оставил вертлявого господина в пенсне и с широкой, закинутой за ухо тесьмой. Этот господин раздражал Крюкова; долго он сдерживался, терпел, но больше не стало сил, — улизнул от «идеалиста».

XII

Освежившись от потока шумных и бестолковых впечатлений и успокоив вызванное разговором с «идеалистом» раздражение мимолетной беседой с Варварой Петровной, Крюков опять пошел в зал.

В одном углу сгруппировалась кучка гостей и крикливо спорила. Подойдя поближе, Крюков услышал, что стоящие то и дело упоминают о Марксе. Это его заинтересовало; он пододвинулся еще поближе.

Центр группы составляли три лица: молодой земский врач в очках, с пышной шевелюрой и с семинарским выговором на «о»; кандидат на судебные должности, худой, с длинной шеей и чахоточным лицом, и, к удивлению Крюкова, — земский начальник Оболдуй-Тараканов.

Вокруг них стояло несколько человек, которые хотя непосредственного участия в споре не принимали, но тем не менее проявляли это участие мимикой, жестами, односложными восклицаниями «верно!», «чепуха!», «само собою разумеется!» и т. п.

Подошел еще Порецкий, послушал, вмешался и влез в центр. Земский врач с семинарским акцентом ругал самыми обидными словами новое направление. Упоминались журнальные полемические статьи и произносились буквальные выдержки из них. Кандидат на судебные должности защищал новое направление. Оболдуй-Тараканов ругал оба направления...

Крюков долго слушал и не стерпел: присоединился к земскому врачу, явившись весьма солидным для него подкреплением. Оболдуй-Тараканова побили. Этот постепенно уступал и начал переходить на сторону земского врача и Крюкова. Зато к кандидату на судебные должности присоединился доктор Порецкий... Начался горячий бой, хотя и достаточно бестолковый, хаотический, в котором оратор не только не щадил врага, но очень часто наносил крепкие удары даже самому себе, не говоря уже о союзниках...

— Все для народа и все посредством народа, — певуче формулировал что-то Крюков.

— Позвольте-с! А если это одно лишь пожелание? Благими желаниями ад вымощен...

— А как это «посредством»? — загремел баритон Порецкого. — Как-с? Это посредством того народа, который тебя, интеллигента, как пса смердящего, убивает, когда ты идешь защищать его от холеры? Который не понимает, кто его друг, который в нужде и невежестве своем...

— Позвольте! — сильно ударяя на «о», перебивает земский врач, поправляя спадающие очки. — Надо этой нужде помогать, надобно просвещать, надобно...

Чахоточный кандидат на судебные должности не дает ему докончить:

— Эка, Америку открыли! Эка... Не надо быть, кажется, и радикалом, чтобы...

— Позвольте-с! дайте мне докончить мысль! — кричит земский врач. Но кандидат не обращает внимания и кричит еще громче, с пеной у рта:

— Не надо быть радикалом, чтобы верить, что ученье свет, а неученье тьма! Достаточно не быть только идиотом. Я говорю о более широких задачах и программах... Вы мне докажите...

— Позвольте-с!

— Вы нам докажите, что ваша община способна создать в будущем новое общество, близкое к идеалам...

Тут кандидат вытянул шею, посмотрел, где сидит прокурор, и шепотом докончил:

— Социализма...

Как только кандидат начал шепотом, Порецкий ударил баритоном, громким и смелым:

— Известно, господа, что теперь даже ваши единомышленники сознаются, что община и все другие ваши «киты» не развиваются, а разрушаются... Стало быть, вопрос можно поставить так: способны ли мы, интеллигенция в широком смысле этого слова, остановить это разрушение; заметно ли такое направление и есть ли шансы в самой возможности повернуть клячу, именуемую прогрессом, вбок, в сторону?

— Есть, есть! — послышались голоса из публики.

— А я вам скажу: есть только одно ваше желание... Вопрос в том, где вожжи и кнут, чтобы стегнуть клячу?.. Вы стоите и думаете: «Да если бы мне в руки вожжи и кнут, так я бы!..»

Раздался общий дружный хохот.

Заинтересовался, видно, спором и молчаливый Игнатович: он подошел и стал, скептически улыбаясь, слушать, но никакого желания вмешиваться не выказывал.

— А в телеге сидит господин капитал, и, если вы вознамеритесь присесть хоть на задок (вы, интеллигенты!), он стегнет вас кнутиком... — с апломбом говорил Порецкий. — Почему кляча вдруг, ни с того ни с сего, повернет в сторону?..

— Как ни с того ни с сего?..

— А идеи? Наука?..

— Господа! — выступил опять кандидат, — позвольте!

— Вы говорите, что капитал съест сам себя? — закричал на «о» земский врач. — Почему? Где доказательства? А может быть, стадии его развития будут бесконечно повторяться, как повторяются видимые фазы луны?..

— Оставим это! Что там будет в тумане времен, — перебил кандидат, — нам, положим, неизвестно. Но что происходит в данный момент, — мы видим...

— Ничего не видим! — крикнул чей-то голос из публики.

— Жаль! возьмите глаза в зубы! — огрызнулся на сторону кандидат и продолжал: — Цифры, факты, действительность, ежедневный опыт дают нам полное основание думать, что мы не ошибемся, если последуем за передовыми людьми Запада... если мы подготовимся и воспользуемся наглядным уроком истории...

— Это мерси-с!

— Глупо!

— Совсем по-идиотски!

— Господа, господа! Оставьте!..

Кружок спорящих вдруг разом рассыпался в стороны, словно в средину его была брошена разрывная бомба. Роль этой бомбы сыграла музыка: Варвара Петровна, чтобы остановить висевшую в воздухе ссору, подошла к роялю и заиграла вдруг что-то громкое и бравурное.

На мгновение музыка заглушила смешанный гул голосов, криков, смеха и звона посуды... Когда Варвара Петровна громко окончила бравурную вещь, — в зале сравнительно стихло. Помощник Красавина, «идеалист» в пенсне с широким, закинутым за ухо шнуром, стоял позади хозяйки, склонившись над нотами, и скашивал свой взор на приколотую к груди ее розу... Потом он что-то сказал ей, отодвинулся, встал в позу, поправил на носу пенсне и громко крикнул:

— Я прошу одну минуту внимания! Господа!..

Когда все обратили на него внимание, он выпятил вперед грудь, заложил правую руку за борт сюртука и начал с чувством декламировать, картавя на букве «р», стихотворение Надсона:

Мы спорили долго, до слез напряженья...
Мы были все в сборе, но были одни...

Пафос декламатора возрастал, голос подымался все выше, переходя в неприятно-крикливые визги... Но вот этот голос упал и замер: «идеалист», жадно пожирая Варвару Петровну очами, почти зашептал:

И молча тогда подошла ты к рояли.
Коснулась задумчиво клавиш немых,
И страстная песня любви и печали,
Звеня, из-под рук полилась твоих...

Когда декламатор кончил — загремели аплодисменты... Даже жирный эскулап, все ниже и ниже склонявшийся над стаканом и все громче и громче пыхтевший, приоткрыл посоловелые глаза и лениво, двумя пальцами, похлопал по ладони...

Крюков еще не успокоился после спора. Он ходил крупными шагами по комнатам, отирал платком выступивший на его лбу и шее пот; на лице его нервно вздрагивал глазной мускул и в горле ощущалась какая-то сухость... Крюков о чем-то усиленно думал, иногда улыбался торжествующей, а иногда досадною улыбкою, потирал руки и наконец подсел к угрюмому Игнатовичу...

— Невозможно говорить: все кричат разом, не дают говорить и не слушают... — заговорил он, опускаясь на соседний стул.

— Как на сходке... — согласился Игнатович.

— Вы что же молчали? — спросил Крюков.

— В данном случае считал бесполезным говорить. Интересно было только послушать... этот базар...

— Никак опять этот господин хочет декламировать?.. Вот субъект!

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат!.. —

раздалось в минорном тоне.

Игнатович и Крюков переглянулись и подарили друг друга многозначительными улыбками.

— Это мне нравится... — иронически заметил Игнатович.

Крюков оживился и почувствовал себя хорошо с Игнатовичем. Симпатичный парень; кажется, довольно дельный... Во всяком случае, здесь это единственный человек, который ему близок, с которым он может говорить прямо и искренне...

— Что же вы будете здесь делать?

— Еще и сам не знаю... Буду искать работы.

— Паршивый городишко!.. Трудно. Я вот ночным корректором служу в «Вестнике» за двадцать пять рублей в месяц. Эксплуатируют нашего брата...

— В порядке вещей... Мы — маленькие колесики одной большой машины... Стерлось это колесико, сломался у него какой-нибудь зубчик, — и к черту! Таких колесиков имеется в распоряжении легион... Да и вообще мы, интеллигентный пролетариат, в этом отношении ничем не отличаемся от обыкновенного, неинтеллигентного.

Декламатор пел и кричал, а Игнатович с Крюковым, сидя в дальнем углу, тихо беседовали.

— Читали «Кошмар»? — спросил Крюков с улыбкой удовольствия и надеждой сочувствия со стороны собеседника.

— Читал.

— Ловко он отхлестал наших модников?

— Не нахожу. Кошмар... Именно кошмар! Ненормальное состояние всех способностей, — резко ответил Игнатович. — Очень удобный прием для полемики: устроить себе чучело в виде человека, заставить это чучело говорить всякую чушь, дребедень и потом разбивать эти собственные глупости и кричать «ура». Впрочем, теперь кто только не лягается?.. Пусть! Полают и отстанут...

Игнатович говорил это резко, злобно, отрывисто. Около губ его пробегала язвительно-презрительная усмешка, глаза метали молнии, а рука нервно царапала ручку кресла.

Крюков долго молчал, смотрел куда-то в пространство, а когда переводил беглый взгляд на собеседника, то в этом взгляде проскальзывала уже неприязнь.

— Со многим я все-таки согласен, — глухо произнес наконец Крюков.

— А именно?

— Да вот хотя бы относительно квиетизма... Если все совершается в силу какой-то естественно-исторической необходимости, то не о чем нам с вами и стараться! Все образуется само собой...

— На такое возражение, право, как-то не хочется и отвечать... Что же, вы полагаете, что многое совершается в силу не естественно-исторической необходимости? — ехидно спросил Игнатович.

— На подобный вопрос я считаю лишним отвечать вам.

— Очень жаль! А я хотел задать вам еще несколько

вопросов... Мне было бы, например, интересно узнать, что делают в настоящее время народники? Ноют? Плачут? Твердят, как сороки про Якова, о том, что нужно поддерживать общину, и плачут, когда их не слушают? Поддерживать кустарей, уже разбившихся на группы зажиточных буржуа и простых наемных рабочих! Или еще что-нибудь новое придумали?

— Что же, мы ведь тоже — продукт естественно-исторической необходимости, — произнес Крюков угрюмо и недружелюбно.

— Без сомнения... Не с неба, конечно, свалились... Что же, однако, отсюда следует? Квиетизм... Народные печальники! Проливают слезы горькие тайком...

Крюков вдруг вспыхнул и соскочил со стула. Глаза его злобно искрились, губы дрожали, на лбу собрались морщины...

— Да знаете ли вы, молодой человек, что когда еще материно молоко на ваших губах не подсохло, я был уж *там*? — хрипло, задыхаясь, прокричал Крюков и показал рукою куда-то в пространство. — Как вы смеете мне это говорить?.. Это нахальство!

— Вежливость! — тихо и сдержанно сказал Игнатович и тоже встал со стула, приняв оборонительную позу.

Со всех сторон потянулись любопытные.

— Как вы смеете? — шептал Крюков, наступая на Игнатовича.

И вот два интеллигентных, честных человека, так же по существу своему близкие друг другу, как дети одной матери, стояли врагами, самыми злейшими врагами, готовыми безжалостно оскорблять друг друга и все то, что дорого каждому из них, унижать и оплевывать!..

— Молокосос! — крикнул Крюков, потрясая дрожащей рукою в воздухе.

— Психопат! — громко ответил Игнатович.

Все это совершилось так быстро, неожиданно и гадко, омерзительно гадко...

XIII

Когда Крюков выскочил из дома Козочкина на улицу и холодный морозный воздух пахнул в разгоряченное лицо его, он куда-то побежал... В глазах его были слезы, а душу угнетало сознание чего-то непоправимо-скверного и

пошлого. К этому примешивалось еще чувство глубокого оскорбления. В ушах его все еще отдавался нелепый язвительный хохот Игнатовича и это безжалостно брошенное ему вдогонку слово «психопат».

На улице было мертво и безлюдно. Все окна и двери магазинов уже были заперты, и только кое-где из обывательских окон еще вырывались полосы света. Иногда лихо пролетал мимо рысак и комья снега разбрасывал коваными ногами во все стороны. Изредка встречались девушки в белых платочках, как тени скользившие по панелям; заискивающе заглядывали они в лицо Крюкова и покашливали, подчеркивая этим свою несчастную профессию...

— Молодой человек! — обратилась одна из таких девушек к Крюкову.

— Что, голубушка? — ласково и смиренно ответил Крюков, остановившись.

Он чувствовал какую-то приниженность, потребность стать на одну доску и слиться со всеми униженными и оскорбленными. Ему хотелось как-нибудь проявить, передать это другому человеку... «Все мы жалкие, ничтожные людишки, пошлые, злые, беспощадные... А зачем эта злоба? Зачем эти заушения? Из-за чего? За что?..»

— Угостите, молодой человек, папиросочкой!

— Не курю, голубушка!.. И не молодой я человек... Нет! Прошла она, молодость... давно прошла.

— Проводите меня!

— Нет. Зачем? Вам холодно и скверно? Я знаю. И мне скверно и холодно... Вам ведь нужны деньги, потому вы и унижаетесь, приглашая меня воспользоваться вашим безвыходным положением? Я вам дам денег так, без унижений и оскорблений... Вот возьмите!.. Немного... Сколько есть, — говорил Крюков, роясь дрожащею рукою в своем кошельке.

— Это за что же? — удивленно и растроганно спросила девушка, растерявшись от неожиданности.

— За что? За то, что вы несчастный человек, и за то, что мы все виновны перед вами... Просто по-человечеству, от души. Все ведь мы жалкие и, главное, — редко понимаем друг друга... Чужие, одинокие... Да, одинокие...

Крюков сунул в руку девушки свой последний двугривенный, беззвучно заплакал как-то одними губами и, быстро отвернувшись, зашагал по панели...

— Спасибо! — крикнула ему вслед девушка и, спрятав двугривенный в муфточку, куда-то пошла торопливой походкою...

— Ну, что же теперь делать? что? — шептал Крюков, шагая по панели. Губы его дрожали, складываясь в мину готового расплакаться ребенка, и холодная дрожь пробегала волнами по телу.

«Надо идти... Надо все это рассказать», — думал Крюков.

Такой выход был единственным, потому что, что же можно было сделать в его положении, кроме того, что рассказать, пойти к кому-нибудь и рассказать и тем облегчить свои муки.

А идти было некуда и рассказать некому, кроме Воронина.

К нему и пошел Крюков.

Воронин, растрепанный, с опухшим лицом и воспаленными глазами, ходил взад и вперед по чердаку, мягко ступая обутыми в резиновые калоши ногами, горбился и тщательно запахивал полы стареньного летнего пальтишка. В комнате было холодно и страшно накурено. В облаках табачного дыма мигал желтый огонек жестяной лампы с бумажкой вместо абажура. Свет лампы падал на некрашеную доску стола и на стенку, где висела гравюра «Последние минуты жизни Белинского». На столе стояла бутылка, валялась растерзанная вобла и объедки черного хлеба. На лежанке, в общей кучке, было свалено рваное цветное одеяло, белье, книги; рукав крахмальной рубашки, отделившись от всей этой рухляди, болтался на воздухе...

Когда Крюков вошел в комнату, лицо Воронина омрачилось и передернулось судорогою...

— Опять? Спасать пришли? — закричал он дрожащим голосом. — Спасители! Вы станете мне опять говорить, что надо бросить пить, что это скверно, подло, вредно? Ах, все это я, господа, знаю, давно знаю... Ну, а еще что? — закричал он, хватаясь обеими руками за голову. — Вам меня жалко? Это я тоже тысячу раз слыхал и... верю!.. Оставьте только меня в покое... Я никому не нужен, и мне никто не нужен...

— Воронин!.. Я пришел к вам так... просто... Тяжело мне сейчас и, кроме вас, не к кому пойти...

— Ну, прости!.. Если так, спасибо тебе, спасибо и еще

спасибо!.. Прости меня!.. Ты меня понимаешь и понимаешь, что здесь хлопотать не о чем. Вот, когда сдохну, схоронить надо...

Крюков опустился на табуретку. Он чувствовал полный упадок сил; его ноги дрожали, мучила одышка...

— Высоко вы живете. Насилу взлез... устал... — переводя дух, прошептал Крюков.

— Философу, брат, необходимо жить не ниже третьего этажа... Стою я вот здесь у окна и смотрю: крыши домов, трубы, купола церквей, пернатые... Вверху — небеса, а внизу — улица... Людишки, такие крохотные, пигмеи, толкутся, копошатся... Собаки тоже бегают. Стою и смотрю. И все, брат, мне отсюда кажется таким маленьким, ничтожным, мелочным и пустым! Да оно так, братец, и есть. Отсюда я вижу всю суть жизни, вижу, что все людишки жрать хотят... В этом весь секрет!.. А у меня, брат, никакого аппетита нет... Катар... И, стало быть, мне нечего суетиться и можно выпить...

Воронин подошел к столу и выпил залпом две рюмки.

— Может быть, и ты выпьешь? На! чего тут сторониться? Тебе тяжело — выпей!..

Крюков протянул дрожащую руку за поданной ему Ворониным рюмкой, плеская водку, донес рюмку до рта и опрокинул.

— Вот молодец! Давно бы так!.. Нет веры, и никто не возвратит ее нам... Зачем обольщаться? Все прохвосты! И я прохвост, и ты прохвост, а если не прохвост, то тебя заставят сделаться прохвостом... И наплевать!.. Пропаду я, пропадешь ты, — кому до нас дело? Всем наплевать. И нам наплевать!.. Пей еще, другую!..

— Нет, не могу... Не могу, Воронин!

Что-то тяжелое, давящее стало подступать к горлу Крюкова и душить его. Захотелось разрыдаться, громко разрыдаться...

— Прощай... я пойду, — едва слышно прохрипел Крюков и, не простившись с Ворониным, вышел за дверь...

Так и не рассказал.

«Что рассказывать? Кому это нужно и кому интересно? Надо идти домой, в свою одинокую каморку и остаться там одному, без людей... Бог с ними со всеми!..»

И Крюков пошел домой.

Там он лег на свою постель и долго смотрел в темноту ночи застывшим, каким-то удивленным взором; лежал поч-

ти неподвижно, лишь изредка перекладывая руку с груди на постель, какую-то тяжелую, словно чужую руку, совсем лишнюю и ненужную... Под самое утро он закрыл глаза и задремал, и эта дрема была каким-то полусознательным состоянием, в котором попеременно вставали сладкие и тяжелые грезы, проплывали мимо лица «бывшей Вари» и пьяного Воронина, корректурные оттиски и гигантские буквы... И то Варя крепко жала ему руку, прощаясь у ворот дома, где она жила лет двадцать тому назад, то секретарь редакции совал в руку оригиналы рукописи и просил быть внимательнее...

Когда глаза Крюкова раскрылись — было уже утро. Лучше бы не просыпаться, а дремать долго, долго и ловить в призраках сна сладкие грезы прошлого...

Странное чувство охватило Крюкова, когда он снова закрыл глаза... Какая-то теплота и приятная слабость изнеможения разлились по всем членам... Где-то там играли на рояли гаммы и экзерсиции, где-то разговаривали, где-то смеялись, где-то стукали маятником часы... Но все это его не касалось и только глухо отдавалось в ушах... Где-то там есть квартирная хозяйка, которой Крюков обещал сегодня отдать деньги за комнату... Но какое ему дело до хозяйки, до каких-то там денег? Смешно!

— Дмитрий Павлыч! — окликнула хозяйка в двери.

Но Дмитрий Павлыч, хотя и слышал этот окрик, но, во-первых, он прозвучал для Крюкова где-то далеко, а вовторых, так и остался звуком: где-то кто-то сказал «Дмитрий Павлыч».

— Дмитрий Павлыч! Вы обещали принести деньжонок, — снова прозвучал голос, а Крюкову вдруг стало смешно, и он расхохотался больным, расслабленным смехом.

— Я вас без шуток прошу... Дров не на что купить!..

— Дров... дров... Кому-то там нужно дров... Это странно и смешно.

И Крюков опять начал смеяться, подскакивая в постели и впиваясь кистями рук в подушку.

— Да вы что? — уже тревожно спросила хозяйка.

Последовала продолжительная пауза, а потом вдруг истерические рыдания словно прорвались, понеслись из комнаты постояльца и всполошили не только хозяйку, но и все население квартиры.

— Дмитрий Павлыч! Дмитрий Павлыч! Что с вами, батюшка?.. О чем это, голубчик? — участливо говорила хозяйка, наклонившись над Крюковым, все тело которого судорожно подскакивало в постели и дрожало.

— Что вы, голубчик?.. Володя! Принеси-ка стаканчик холодной водицы, — сказала она своему сынишке, который стоял в дверях с перепуганным, тревожным личиком.

— Полноте, батюшка! Да что же это такое? Дмитрий Павлыч! Умер, что ли, кто у вас?

— Да, да, умер... — сквозь всхлипывание и рыдания прокричал наконец постоялец...

— Пейте-ка вот! Вода холодная... Пройдет!..

Гимназист стоял у постели и удивленно испуганными глазами смотрел на большого и лысого человека, который, приподнявшись на локте, плакал в своей постели, как маленький, самый маленький гимназист, получивший «единицу».

— Пейте! Еще пейте! Лучше будет...

Крюков жадно пил холодную воду и громко глотал ее, высоко вверх закидывая свою лысую голову.

— Ну, чего вы собрались? — огрызнулась хозяйка на собравшуюся в дверях публику из кухарок и горничных. — Человек болен, не в себе, а они лезут!? Экая, подумаешь, невидаль...

Публика конфузливо ретировалась.

— Ну... хорошо теперь... Спасибо... уйдите, — шепотом сказал Крюков, опускаясь на подушку...

— Как это можно уйти, бросить человека?.. — возразила хозяйка нежным, заботливым голосом.

— Уйдите! Ради бога, оставьте меня... — умоляюще прохрипел постоялец.

И его оставили.

Он провалялся в постели весь день и всю ночь, вздрагивая телом, и думал, настойчиво думал о том, зачем жить, зачем вся эта канитель, называемая жизнью? Зачем и о чем плакать, кому нужны эти глупые ребячьи слезы?.. Думал долго и настойчиво о том, что, в сущности, жизнь уже прошла, что впереди ничего, ровно ничего не осталось, и нечего ждать, и нечего искать, что он — больной, разбитый и изломанный человек, смешной окружающим и никому не нужный, что он человек, который давно уже умер...

XIV

Когда наступило утро, зимнее, яркое, солнечное утро, с веселым, чистым небом, и приветливо заглянуло в комнату Крюкова, он поднялся с постели и стал задумчиво ходить из угла в угол, потом наскоро надел свое летнее пальто, накинул на плечи серый плед с бахромой, взял свою шляпу, измятую, с растянутой, безжизненно обвисшей вокруг тульи резинкою, и пошел...

Дойдя до двери, Крюков остановился, подумал и вернулся. Бросив плед в сторону, он подсел в пальто и шляпе к столу, взял лист бумаги, перо и начал быстро и некрасиво писать:

«Удаляясь со сцены жизни, я хочу вам, господин Игнатович, сказать несколько слов на прощанье. Без злобы, без всякой неприязни к вам я скажу вам эти последние слова. Да, хотя мы с вами и расстались врагами, но ведь это была ошибка, ужасная ошибка!.. В сущности, мы друзья, в ослеплении не узнающие друг друга. Ведь смешно, мой хороший, честный юноша, еще самому себе создавать врагов из людей, с которыми связан общим интересом, общей задачей жизни — послужить, по мере сил своих, униженным и оскорбленным. Я хочу вам сказать еще, юноша, что вы были жестоки и бессердечны ко мне, старику... Пусть я — психопат, никуда не годный человек, инвалид, смешной на ваш взгляд и окончательно бесполезный... Но ведь я отдал всю свою жизнь, с ее юностью, молодостью, с ее житейскими радостями и благополучием, на служение идее, которая делает нас братьями... Пусть все мое прошлое — одна сплошная ошибка, мираж в ваших глазах, но ведь для меня-то это прошлое — все, чем я жил и чем был жив... Вы еще молоды, и бог весть что выйдет в будущем, когда ваша голова станет седой и лысой, как у меня... Быть может, на смену вам придут новые люди, которые признают ваши взгляды и вашу деятельность тоже ошибкою... Как все это знать? Надо все это принимать во внимание... Я, действительно, больной и исковерканный человек, но неужели я был достоин такого оскорбления? Я вам и сам скажу: да, я болен, болен и нравственно и физически и никуда не годен... Вы меня оскорбили и этим оскорблением только напомнили мне о том, что я знал и о чем давно думал, а именно о том, что моя песенка спета, и больше мне нечего делать. Именно нечего делать. И моим

последним делом я считаю последний братский, товарищеский совет вам, совет искреннего друга: не будьте жестоки к людям!.. Исправляйте ошибки, но исправляйте их осторожно, щадя человека; не думайте, что это легко и просто... Прощайте! Передайте мой последний привет вашей сестре и скажите ей то, чего я никогда ей не говорил: скажите, что когда-то, давно-давно, двадцать лет тому назад, я любил ее чистой, святой любовью юности и сохранил память об этой любви незапятнанной до последних дней моей жизни. Д. Крюков».

Написав все это, Крюков начал искать конверт, но конверта не было. Подержав в дрожащей руке свое письмо, он изорвал его вдруг в клочки, упал на стол головою и горько, как маленький ребенок, расплакался, обливаясь теплыми слезами...

И не было у него сил подняться с места, и не хотелось вовсе подниматься... Так тяжело было шевельнуть рукой и поднять голову...

Когда вошла хозяйка, чтобы сообщить постояльцу, что за ним прислали из типографии, она испуганно остановилась в дверях: постоялец лежал на полу, в пальто; шляпа и плед валялись тут же. Осторожно, на цыпочках подошла она к Крюкову и, нагнувшись, заглянула в его лицо...

Это лицо, измученное, истощенное, искривленное судорожным сокращением лицевых мускулов, со впалыми щеками и с резко очерченными глазными орбитами, с сухими, побелевшими и слегка раскрытыми губами, совершенно напоминало мертвеца... Но постоялец дышал учащенным темпом, из углов глаз его медленно скатывались слезы, а пальцы рук тонкие, желтые, какие-то, дрожали и сгибались.

— Дмитрий Павлыч!.. Что с вами?..

— Мне хочется спать... — тихо прошептали губы больного.

— Да вы разденьтесь! Лягте на постель!..

— Хорошо... — больным, слабым голосом сказал Крюков, шевельнул ногами и сделал попытку сесть...

Но силы его совершенно ослабли, и он снова медленно опустился на пол.

— Ну, держитесь за меня!.. Вот так!.. тихонько!.. — Крюков, не раскрывая глаз, на коленях дополз при помощи хозяйки до постели и с ее же помощью улегся.

— Вам бы надо покушать!.. Целые сутки в рот ничего не брали... Конечно, человек ослабеет... Разве можно?!

Но Крюков, шевельнув губами, попытался сделать рукой отрицательный жест и отвернулся к стене.

— Ну, усните!.. Сон подкрепит маленько силы-то! я уйду... Не послать ли Володю за вашим знакомым доктором?.. — шепотом спросила она, возвращаясь к постели.

Но Крюков молчал и не шевелился.

— Ох, господи! — вздохнула хозяйка и ушла, осторожно притворив за собою дверь.

— Болен он, не может, — сказала она типографскому мальчику, присланному секретарем редакции за корректором.

— А что сказать велел? Какой ответ будет?..

— Скажи, что болен. Что же человека беспокоить?.. Он заснул теперь...

Спустя час мальчик снова явился.

— Секретарь сказал, что если он не придет сегодня, то другого наймут!..

— Неужто у вас и захворать человеку нельзя?.. — возмущенно спросила хозяйка.

— Кто их знает! Так сказал...

Хозяйка тихонько вошла в комнату постояльца и прислушалась. Крюков часто-часто дышал, с боку на бок ворочал на подушке свою голову и разметал руки... «Совсем больной человек. Куда же ему идти? Он в жару лежит».

Хозяйке было жалко разбудить постояльца, но она боялась, что его прогонят с «места». А место найти трудно. Надо держаться уж... «Экий грех, прости господи», — прошептала она и, выйдя из комнаты, сказала ожидающему в передней мальчику:

— Скажи, что завтра придет... Просит уж извинить... Так и скажи: просит извинить, болен лежит, а завтра непременно придет... Просит, мол, никого не нанимать на его место... Постарается...

Но пришло «завтра», а постоялец не встал с постели и ничего не отвечал, когда его спрашивали, не хочет ли он съесть кусочек хлебца с чайком... Раскрыв на мгновение горевшие каким-то странным блеском глаза, с большими зрачками, постоялец снова впадал в забытье и был совершенно индифферентен к окружающему. «Дело плохо... захворал не на шутку», — думала хозяйка и, отправляя своего

Володю в гимназию, наказала ему непременно зайти по пути к доктору Порецкому и сказать, что его приятель опасно захворал и просит его навестить.

Не было еще десяти часов утра, как к воротам, грациозно перебирая ногами, подкатила пара вороных. Из удобных и легких саней, ловко откинув отороченный медвежьей шкурою полог, выскочил высокий господин в николаевской шинели и бобровой шапке и, войдя во двор, стал смотреть по сторонам на домики и лачужки, видимо кого-то отыскивая...

— Скажите, пожалуйста, где тут найти господина Крюкова? — спросил он приятным баритоном шедшую к помойной яме с лоханью в руках простоволосую бабу с засученными до локтей рукавами.

Баба сперва вылила помои, а потом уже посмотрела на господина и сказала:

— Кого вам?

— Крюкова.

— Что-то не слыхать здесь такого... Да он кто такой? Чем занимается?

— В газете служит...

— А-а это вон тут, должно быть, налево!.. Туда газету приносят. Поджарый такой, в платке ходит?

— Да, да.

— Ну там! вон крыльцо отворено!..

— Сюда, сюда, батюшка! — закричала, выскочив на крыльцо, хозяйка Крюкова, увидавшая доктора через окошко.

Доктор последовал за хозяйкой. Дверь была так узка, что пришлось пройти бочком, с опасностью зацепиться за что-нибудь шинелью и изорвать ее. В передней было только одно окно, выходящее к брандмауеру соседнего дома, поэтому здесь было темновато; проникавший через это окно свет имел какой-то желтоватый печальный оттенок, притом еще здесь пахло жареным луком, постным маслом и еще чем-то, неприятно режущим непривычное к такой обстановке обоняние. Доктор потянул носом и, поморщившись, сбросил на руки кухарки свою шинель.

— Где больной?..

— Сюда пожалуйте!.. Вторые сутки лежит, батюшка... Вот в коридорчик, а там дверь направо! — поясняла хозяйка, идя за доктором. Доктор согнулся, чтобы не стукнуться

головою, и осторожно, с боязнью в чем-нибудь тут еще испачкаться, прошел по полутемному коридору к двери направо.

— Ну-с, что тут с тобой случилось? — приятной октавой произнес доктор, растворяя эту дверь.

Доктор подошел к постели, взял за плечо Крюкова и потряс.

— Дмитрий? А Дмитрий? Слышишь?

Крюков раскрыл глаза, долго неподвижно смотрел на стоявшего над ним человека, а потом слабо улыбнулся больной, детскою улыбкою и снова смежил веки...

— Плохо, брат!.. Давно свалился?.. — спросил доктор, не обертываясь к хозяйке, стоявшей молча у порога.

Та рассказала все подробно, как постоялец плакал, как он был найден ею на полу, как она послала Володю за доктором...

Стянув выше, к локтям, рукава серенькой визитки и обшлага рубашки, доктор начал возиться около больного. Расстегнул на его груди жилет и рубаху, слушал грудь, мял живот, поднимал пальцем веко глаза, по золотым часам следил за пульсом.

— Плохо, Дмитрий Павлович! Плохо-с! Дайте, пожалуйста, воды!

— Вам холодной? Может быть, ледку нужно?

— Нет, руки только помыть...

— Ах, так пожалуйте вот сюда, к рукомойнику!.. Я вам сейчас мыльце принесу...

Хозяйка принесла для доктора душистое мыло, которым умывала только свое лицо и никому не давала, прятала. Доктор, не спуская поднятых рукавов, подошел к рукомойнику и постучал там его железным стержнем без шишечки. Хозяйка подала ему чистое, аккуратно сложенное полотенце.

— Гм... да... Плохо... Будьте добры, прикажите моему кучеру въехать на двор, к крыльцу, и прийти сюда... Я возьму больного с собой.

— А как же, батюшка, с комнатой? За ними ведь деньжонки остались!.. — ответила хозяйка.

— Комната... гм...

Доктор обвел взором комнату, поморщился и сказал:

— Вы не беспокойтесь!.. Пусть комната остается пока за ним... Сколько там надо будет, я заплачу.

— С удовольствием... Я для Дмитрия Павлыча с удовольствием... Хороший человек, смирный... С удовольствием!

Пришел кучер Павел, бравый, здоровый, с окладистой бородою, в синей поддевке, с широким кушаком, поднятым много выше талии, и с серьгой в одном ухе.

— Чем же мы его оденем? Где его шуба? — проговорил доктор, рассеянно блуждая взором по комнате.

— У них ведь нет шубы, батюшка!.. у них пальто... — заметила хозяйка, видя, что доктор ищет глазами несуществующую шубу.

— Пальто? гм... Ну, где это пальто по крайней мере?..

— Пальто на них!.. Как свалились в пальто, так и не раздевались... Плед еще у них есть! Вот плед!

— Плохо-с.

— Пологом, барин, закроем... Полог на меху, что твоя шуба! — посоветовал кучер.

— Совершенно верно... Ну, проворней! Застегни на нем пальто, оберни сверху пледом и неси в сани, — приказал доктор кучеру.

Павел начал укупоривать постояльца.

— Эка беда какая! И пуговиц-то мало, — шептал он с искренним сожалением. Потом развернул плед и начал завертывать в него больного. Голова Крюкова послушно болталась под руками сильного и энергичного Павла, и все это вялое тело как-то безжизненно переваливалось и мирилось со всяким положением своих частей.

— Словно мертвый, право! — рассуждал с собой Павел.

В этот момент в передней поднялся страшный крик и шум. Визжала хозяйка, визжала кухарка, и оглушительно гремел бас, хриплый и страшный. Володя альтом кричал, и лаяла старая комнатная собачонка.

— Господин доктор! — жалобно заговорила хозяйка, появившись в дверях комнаты. — Пришел этот... пьяница... и ломится, требует пустить его к Дмитрию Павлычу... Я говорю ему, что нельзя, что Дмитрий Павлыч болен, а он лезет... Ничего не можем сделать!

— Какой пьяница?..

— Я, я, я, — пьяница! — хрипло пробасил голос, и за хозяйкой встало лицо Воронина, в шапке, с папиросой, с нагло смеющимися глазами...

— Что вам, господин Воронин, угодно? — с сердцем спросил доктор.

— Нет, ты мне скажи, господин Порецкий, что тебе здесь нужно? — ответил дерзкий голос. — Я знаю, что мне нужно, а вот ты не знаешь.

— Ну-с, пожалуйста — вон! Сейчас не место и не время разговаривать с вами! Выйдите вон!.. Павел!

— Да я с такими прохвостами и не желаю разговаривать... Я пришел к другу-человеку... Митя! Друг мой, брат мой! — заорал Воронин, потрясая комнату своим мощным голосом.

— Павел! Убери! — сказал доктор.

Павел оставил больного.

— Уходи! Ну... С богом! — спокойно заговорил он, наступая на Воронина.

— Молчать, холуй! — закричал Воронин.

Последовала возня, борьба с криками, руганью, ударами.

— Сходите за полицией! — крикнул доктор.

— Меня в полицию? Ах ты, передовой человек! Прохвост ты передовой...

Опять борьба, удары, визг хозяйки и лай комнатной собачки. Потом все стихло. Павел вернулся в комнату красный, вспотевший.

— Силища в нем какая!.. Смотри, пожалуйста, пьяный, а чуть-чуть сладил... — заговорил он, возвращаясь к прерванному делу.

Павел взял в охапку Крюкова и понес его из комнаты. Доктор следовал за ним и только бросал: «Осторожней! осторожней!» Долго укладывали больного в сани: очень трудно было поместить этот живой груз под пологом; голова и плечи осталась непокрытыми, на сиденье.

— Хорошо! Сам я как-нибудь... Прекрасно! Трогай! Только на ухабах поосторожней...

И удобные санки двинулись со двора и потом быстро покатились вдоль улицы, поскрипывая железными полозьями по снегу.

Доктор сидел в санках на отскочке, и одна нога его, в тяжелой высокой калоше, неудобно болталась в воздухе. Левой рукой он поддерживал голову Крюкова, лежавшую на сиденье санок и на ухабах толкавшую доктора в бедро.

Укладывая в сани Крюкова, доктор решил везти его к себе, но решение это было сделано сгоряча, и теперь по

пути к дому доктор начинал уже колебаться.. Чем ближе был дом, тем сильнее было колебание и раздумье.

Не удобнее ли и не лучше ли будет, даже и для самого Крюкова, лечь в больницу? Безусловно так. Варя в таком положении, когда всякое волнение, всякий пустяк, испуг и неожиданность могут иметь скверные последствия... И это будет так, да! С другой стороны, кто же будет сидеть у постели больного? Некому. Та же наемная сестра милосердия, что и в больнице. Затем, где его положить?

Доктор мысленно рассматривал комнаты своей обширной квартиры, делал в ней размещения, переносил мебель, расставлял кровати и т. д., и выходило все как-то, что, несмотря на обширность помещения, подходящей для больного комнаты не было, все выходило неудобно; неудобно, главным образом, для самого больного, а затем и для них.

— В больницу! На Никитскую! — крикнул вдруг доктор, ткнув пальцем в спину Павла.

Сани со скрипом медленно повернулись назад, лошади дернули и снова помчались веселой рысью...

Навстречу ехали все в теплых шубах, в ергаках и в мохнатых шапках; мелькали запушенные белым снегом бороды и усы, лошадиные морды с сосульками у раздувавшихся ноздрей, женские ротонды, в которых утопали миленькие, раскрасневшиеся от мороза личики с лукавыми глазами и со спрятанными носами... Некоторым из этих личик доктор приветливо раскланивался и получал в награду такую милую улыбку, стрельбу глаз! Это были пациентки доктора, умевшие ценить в нем опытность и искусство врачевателя женских болезней...

Доктор ехал и думал о том, что в больнице будет удобнее во всех отношениях, спокойнее для него и для них, да и в смысле ухода тоже больнице надо отдать предпочтение... А главное, как же это он так опростоволосился! Ведь с *ним*, может быть, тиф или какая-нибудь другая пакость... Как же ввести к себе в дом такого больного? Даже глупо!..

Думая так, доктор искоса поглядывал на голову Крюкова и на бледную, как у мертвеца, щеку его и заботливо прикрывал капюшоном своей шинели...

Утро было великолепно... В ясном морозном воздухе блистали на солнце снежинки; дым из домовых труб, окра-

шенный в лиловатый и оранжевый оттенки, поднимался столбами к небу. Деревья садов и бульваров стояли запушенные мохнатым инеем. Снег приятно похрустывал под ногами деловых утренних пешеходов. Куполы церквей ярко горели на холодном солнце, и благовест большого соборного колокола сотрясал воздух своей могучей октавой...

Бодрость, свежесть такая была во всех деталях этой картины зимнего утра!

Но Крюкову было все равно и не было никакого дела ни до людей, ни до этого чудного, яркого зимнего утра, с опушенными инеем деревьями, с лиловым дымом и бледно-синим холодным и бесстрастным небом...

ЦЕНЗОР

Платон Алексеевич Середа лежал в постели неподвижно, и можно было подумать, что он умер. Нос у него заострился, сухое старческое лицо было похоже на пергамент, а веки глаз, глубоко впавших в резко очерченные орбиты, не прикрывались плотно и оставляли две щели. В эти щели сквозило стекло глаз, потускневшее, мутное, напоминавшее о смерти... В комнате было почти темно: спущенная на окне штора из тоненьких деревянных спиц окрашивала проникавший сюда дневной свет в какой-то янтарно-желтый больной цвет, скучный и тревожный, а мерцающая в полутемном углу красноватым огоньком лампадка делала комнату похожей на часовню или усыпальницу... Тихо, на цыпочках, входила сюда жена больного, Глафира Ивановна, худая пожилая дама в черном, с мученическим выражением на лице; сперва она прислушивалась к дыханию больного, потом переводила взор на икону, где дрожал красноватой звездочкой огонек, и, крепко прижимая к груди свои худые, костлявые руки, шевелила губами... Иногда в дверях появлялся с тревогою на лице юноша в студенческой куртке и, молча постояв на пороге, уходил с опущенною головою... Девочка лет шести, с тоненькими, как палочки, ножками, приходила посмотреть на папу; крадучись, она приближалась к ногам больного и заглядывала, и ей становилось страшно от этих слегка приоткрытых глаз отца, в которых для нее всегда светилась только горячая любовь, нежная ласка и радость и которые теперь внушали ей только один инстинктивный страх... От страха маленькое сердечко Ниночки вздрагивало и замирало, — и она выбегала из полутемной комнаты с таким ощущением, словно ее хотел схватить кто-то сзади, в зал, где было нестрашно, где ярко сияло солнышко морозного зимнего утра и где желтая канарейка пела звонко и весело...

— Не проснулся папа? — грустно спрашивала ее мать.

— Нет.

— Сходи еще, посмотри!

— Я боюсь. Он страшный, — отвечала девочка переставая играть резиновым мячом, и личико ее делалось вдруг серьезным, похожим на лицо матери.

— Что ты, дурочка!..

— Глаза у него, мама, смотрят, а сам он не шевелится...

Глафира Ивановна отвертывалась к стене, чтобы Ниночка не заметила, как брызнули вдруг у ней слезы, а девочка сейчас же забывала про папу и опять играла мячиком и разговаривала с ним.

В первом часу дня раздался громкий и резкий звонок. Этот звон казался дерзким, бессердечным и неуместным, потому что все в доме старались ходить на цыпочках, а говорить — шепотом или вполголоса. Глафира Ивановна вся встрепенулась и сделала движение прикрыть руками свои уши, словно от этого колокольчик мог стихнуть, понять свою неделикатность; а потом, вздохнув, она пошла в переднюю, чтобы поскорее пустить доктора. Но студент обогнал ее.

— Доктор! — прошептал он, промелькнув по зале как метеор.

Студент больше всего надеялся на Семена Григорьича. Доктор казался ему теперь единственным человеком в мире, имеющем право ходить не на цыпочках, говорить громко и даже смеяться и шутить. В передней послышалась возня, стук калош, кряхтение, а потом прозвучал знакомый спокойный и даже немножко беспечный голос:

— Ну-с, как наша жертва гласности?

— Спит...

— Отлично!.. Самое лучшее дело...

— Здравствуйте, Семен Григорьич! — с мольбой в голосе произнесла Глафира Ивановна, встречая в дверях доктора.

— Ах!.. Морозец сегодня, Глафира Ивановна, изрядный... Похрустывает... Люблю!.. Восемнадцать по Реомюру. Мое почтение! Как Платон Алексеич?

— Спит... Давеча скушал сухарь с чаем... А рука правая не действует все... Нет! И нога тоже... И говорит, что глаз один плохо видит...

— Ничего, ничего! Не надо отчаиваться... Похрустывает!.. Восемнадцать по Реомюру! а?

Доктор посмотрел на канарейку, погладил по русой головке Ниночку и сказал:

— Ну, а ты, стрекоза, как прыгаешь?

— Я не стрекоза.

— Ну, блоха!

— А ты клоп!..— укоризненно, склонив головку, сказала девочка.

Доктор расхохотался, а девочка, спрятав мячик за спину, встала у стены и исподлобья стала смотреть на «дядю, который ругается». Доктор был средних лет и средней полноты, с добродушным лицом и смеющимися глазами, с уравновешенной душой и с мягкими, словно обточенными движениями. Он был всегда в хорошем расположении духа, всегда «только что подзакусил», всегда «чуточку соснул» и казался свежим и жизнерадостным человеком. И это хорошо действовало как на больных, так и на окружающих их людей, потому что внушало им надежды, иногда, быть может, и напрасные, но всегда необходимые застигнутому горем человеку.

— Пойдемте, Семен Григорьич, в столовую позавтракать!.. А он тем временем, наверно, проснется...

— Только что, голубушка, подзакусил! Адмиральский час: выпил рюмку и съел два пирожка, один с мясом, а другой с капустой...

— Ну, стаканчик чайку? — плаксиво сказала Глафира Ивановна.

— Чайку? Чайку — пожалуй!.. Хорошо с морозцу... Пользительно!

Пошли все в столовую. Здесь бурлил на столе самовар, такой светлый, пузатенький, словно подбодрившийся, и пахло сдобными булками; здесь было светло, уютно, весело, и казалось, что столовая не хочет знать о том, что Платон Алексеич нездоров и что он не может двигаться. Самовар был по-прежнему — франт, скатерть — белоснежная, булки — румяные и пахучие, заставлявшие курчавую болонку облизываться и служить перед доктором, как она несколько дней тому назад служила перед Платоном Алексеичем. Все было по-прежнему, словно ничего не случилось. Даже по-прежнему на столе лежал новый, только что доставленный разносчиком и еще неразвернутый номер местного органа гласности. «Пошехонского курьера», от которого пахло типографской краской, сырой бумагой и еще чем-то... Это горничная, позабыв распо-

ряжение Глафиры Ивановны, по привычке положила опять на стол газету, которую барыня не могла теперь видеть.

— Не кладите, ради бога, на стол эту газету! Я просила вас!.. — прошептала Глафира Ивановна и спряталась за самовар, потому что из глаз ее брызнули слезы. Студент пожал плечами и, схватив газету, куда-то унес ее, а когда он вернулся и сел на прежнее место, Глафира Ивановна плакала.

— Она убила вашего отца, — слышался из-за самовара ее шепот, и стол вздрагивал, а посуда тревожно звенела.

— Ох, Глафира Ивановна! Плакать рано-с, не о чем! — сказал доктор, помешивая в стакане ложечкой. — Дело поправимое... Рука будет брать, нога — ходить, глаз — смотреть... Не надо теряться. Надо больше покою и вам и Платону Алексеичу... Больно уж вы с ним чувствительны. А позвольте спросить: как это наш подполковник Шамшурин живет совсем без ног? а? Не плачет. Живет. И еще какой развеселый! Получает пенсию и хвалит господа...

— Нам еще три года до пенсии, — плаксиво ответила из-за самовара Глафира Ивановна, отирая платком слезы.

— А у нас их двое, — добавила она, сморкаясь.

— И прекрасно, что двое: студент кончит и будет служить (только не по цензурной части!), а стрекоза подрастет, — замуж выйдет. Будет отличный зять!..

— Хотя бы эти три года-то дотянуть как-нибудь! — облегченно вздохнувши, сказала Глафира Ивановна, — дослужил бы и вышел!.. Да нет, где уж? Платон Алексеич совсем изнемог... Проклятая газета! Всю жизнь она нам исковеркала. Как попал на эту должность, так и пошло все под гору да под гору... Каждый день ссоры, крик, жалобы, неприятности... Стал раздражительный, сон пропал, аппетиту не стало... Хандрит и всего боится, точно злодей какой, которого ищут, чтобы казнить... Право! Шальной все ходил последние дни. Точно не в себе человек... А потом... — Глафира Ивановна вынула носовой платок, приложила его к глазам и шепотом докончила: — А потом... это и случилось...

И я хочу вам рассказать, как все это случилось...

Платон Алексеич прожил всю жизнь тихо и скромно, как живут все чиновники средних окладов. Без

крайностей нужды, но и без всяких достатков. Это была серенькая жизнь, с серенькими радостями и горестями, без сильных ощущений и без ярких впечатлений. Он был счастлив счастьем малознающего и недалекого человека; сердце у него было доброе, но оно никогда не билось особенно сильно и было целиком отдано семье. Горизонт духовных очей Платона Алексеича не раскрывался дальше губернского правления, где он служил сперва младшим, а потом — старшим советником, да клуба с зелеными столами и винтом «по маленькой». Все шло ровно, гладко, и казалось, что жизнь катится по рельсам. Давались своевременно чины за выслугу лет, порадовал однажды Станислав 3-й степени, увеличивалась семья, — увеличивался и оклад. Сын учился в гимназии не отменно, но и не скверно, переваливаясь из класса в класс, как бочонок, подталкиваемый ногою... Росла Ниночка, пела канарейка, к пасхе давалась награда. Шли года, мелькали проворно осени и зимы, весны и лета. В свое время пришли болезни — геморрой, в свое время заблестело темя, и морщинка за морщинкой ложились под глазами... Платон Алексеич дожил так до пятидесяти восьми лет. Для таких лет и своего чиновничьего положения Платон Алексеич был достаточно бодр; другие, уже будучи младшими советниками, обыкновенно успевают высохнуть, как препараты, и превратиться в археологическую редкость. Он был, как говорила Глафира Ивановна, «еще мужчина в соку» и смотрел вперед без мысли о том, что путь его жизни недалек и что скоро он придет на последний этап, где будет закупорен в тесный деревянный ящик для передачи по назначению...

Приехал в город новый губернатор. Не в пример прочим губернаторам, он нашел, что газета, о которой давно уже мечтали просвещенные горожане, будет полезна для Пошехонского края, — и мечты осуществились. Город получил первый орган гласности, «Пошехонский курьер»...

Вице-губернатор все ездил: зимой в Крым, а летом на Кавказ, а когда он никуда не ездил, то непременно хворал. Старший чиновник губернского правления должен был сделаться цензором, и Платон Алексеич сделался. Когда пришло разрешение открыть газету, то все ликовали и радовались и надеялись, что теперь пойдет какая-то новая жизнь, с чем и поздравляли друг друга. На главной улице появилась золоченая вывеска «Редакция Пошехонского

курьера». Началось, по обыкновению, с молебна, на который собралось очень много друзей гласности, и все очень усердно молились и подпевали «многая лета» сперва губернатору, а потом редактору, издателю и всем сотрудникам... Про Платона Алексеича забыли, хотя он был тут же, и это ему было обидно... Губернатор сказал речь. Речь была такая хорошая и эффектная, что все сильно аплодировали и чувствовали искреннюю признательность. Аплодировал и Платон Алексеич, хотя он делал это умеренно, за спиной отца диакона, и только двумя пальцами, потому что бог знает, как еще на это взглянет губернатор... Подобных случаев в жизни Платона Алексеича не было. Губернатор говорил, что гласность — великое дело и что провинциальная печать имеет громадные заслуги перед обществом. Вообще, он так отменно отозвался об этом деле, что Платон Алексеич проникся полным уважением к «писателям», а особливо к Михаилу Ивановичу, редактору «Пошехонского курьера». Когда губернатор высказал надежду на то, что и «Курьер» встанет в ряды именно тех органов, которые имеют заслуги, Платон Алексеич заметил, что губернатор остановил на нем глаза. Он смутился и осмотрел свой костюм. Все было в порядке. Оказалось, что это — недаром: губернатор вдруг обратился в сторону Платона Алексеича и сказал:

— В заключение маленький post scriptum... У нас принято думать, что цензор — враг гласности. Это, господа, только анахронизм, пережиток... Разумный цензор — такой же друг гласности, как и все истинно просвещенные люди... Надеюсь, Платон Алексеич, что вы будете именно таким цензором и что вас не будут называть гонителем.

— Нет! Никогда, ваше превосходительство! — сказал растерявшийся и вспотевший вдруг Платон Алексеич дрожащим голосом, и у него вдруг появилась на реснице слезинка. Он так захотел быть настоящим другом гласности, что душа его переполнилась каким-то непонятным порывом к чему-то такому, что было неясно, но похвально — и слеза была результатом этой эмоции...

— Будьте, господа, друзьями, идите рука об руку к свету истины, сторонясь тех крайностей, которые всюду и всегда только вредят делу, а такому делу как печатное слово — в особенности, — закончил губернатор, затем сделал общий поклон, вышел, сел на свою пару дышлом и

уехал, оставив сильное впечатление своей просвещенностью и гуманностью во всех друзьях гласности.

Потом стали обедать, как это бывает всегда, когда у нас желают что-нибудь отпраздновать, вспомянуть или ознаменовать. Обедали оживленно, шумно и весело. Речи говорились одна другой гуманнее. Блюд было очень много, и казалось, что обед никогда не кончится. Платон Алексеич был предметом особого внимания со стороны представителей нарождающейся гласности и скоро забыл про то, что про него забыли, когда пели «многая лета». По одну сторону его сидел редактор, Михаил Иванович, а по другую — издатель, просвещенный коммерсант, имеющий в городе образцовую бакалею. И оба они не давали Платону Алексеичу ни отдыха ни срока и все угощали разными настойками, винами и ликерами, которые называли в шутку по имени разных отделов своей газеты: простая водка называлась «передовая», коньяк — «телеграммы» вина — «иностранными известиями» и т. д.

— Ну, рюмочку последних известий, Платон Алексеич!

— Не могу, почтеннейший Михаил Иванович! Голова кружится...

— Так я вам — хроники? а? слабенькое!

В голове Платона Алексеича отдавался нестройный шум многочисленных голосов, а перед глазами мелькали лица «писателей», как Платон Алексеич называл вообще всех сотрудников газеты, включая сюда репортеров и корректора. Все они были ему представлены, но он путал их фамилии и специальности.

— Вы чем изволите заведывать? — переспрашивал он, — если не ошибаюсь, иностранными делами?

— Нет, это хроникер, господин Косолапов! — подсказывал редактор. — А это вот, на углу сидит, Николай Петрович Потрясовский, наш передовик...

— А который же заведывает иностранными делами? — интересовался Платон Алексеич.

— Вон на кресле! Носом клюет!

— Русский подданный? — шепотом спрашивал Платон Алексеич, наклоняясь к уху издателя.

— Русский! Чистокровный! — радостно и со смехом восклицал издатель и наливал «разных разностей», как он называл ликеры.

Сотрудники тоже были крайне любезны. Все уже изрядно подпили. Заведующий иностранным отделом под-

сел к Платону Алексеичу, хлопал его по коленке и говорил:

— Заграничная жизнь, батенька, — великая штука!

— А вы изволили быть за границей?

— Не в этом дело! Не в этом! А вся суть в том, что это — школа! Это — сама история! — потрясая указательным пальцем в воздухе, выкрикивал собеседник и мутными глазами смотрел куда-то очень далеко, как бы в глубь самой истории...

— Еще бы! Еще бы! — произносил Платон Алексеич и покачивал головой, и ему было хорошо и приятно, и он чувствовал себя так, словно бы и он сделался губернатором и глубоко уважает теперь гласность и отлично понимает, какое важное и великое дело совершается при его участии и содействии...

Провозглашались тосты, речи становились все шумливее и стали терять сперва архитектурность своего построения, а потом и логичность... Все громче звенела посуда, хлопали бутылочные пробки, и табачный дым носился клубами над пирующими... Заведующий иностранными делами провозгласил тост за Платона Алексеича, и все с ним чокались и кричали «ура». Только передовик, Потрясовский, сидел в углу, мрачный, и не встал, чтобы стукнуться бокалом с Платоном Алексеичем; он сердито посмотрел на редактора и пожевал губами, а когда стихли, приподнялся, погладил свои волнистые волосы и начал декламировать стихотворение про мысль:

Она, рожденная свободной,
В оковах не умр-р-ет...

Дда, не ум...умррет, господа, — повторил он и закричал «ура».

И все поддержали Потрясовского и стали опять чокаться друг с другом и с Платоном Алексеичем, а Потрясовский пристал к нему, чтобы и он сказал тост:

— Ты все молчишь, друг Горацио. Ты все только чокаешься, — угрюмо сказал он. — И ты скажи! Скажи свое profession de foi.

— Как-с?

— Свою программу! Как ты будешь с нами?.. Я — прямой человек, не люблю, кто все молчит... да!

— Валяйте, Платон Алексеич!

— Тише, господа!

Платон Алексеич встал с бокалом. Рука у него вздрагивала и выплескивала на скатерть «иностранные известия». Он был смущен, потому что никогда не говорил в своей жизни речей и не знал, что он теперь скажет...

— Тише! — прогремел Потрясовский, полагая, что Платон Алексеич молчит оттого, что нет абсолютной тишины.

— Господа!..

Платон Алексеич опустил на грудь голову и повел в воздухе свободной левой рукою.

— Тише!

— Господа!

Платон Алексеич опять повел рукой.

— Я... что же я скажу?.. Я всегда... буду другом Михаила Иваныча и... гласности. И-и... Господа... Давайте еще выпьем за Михаила Иваныча и... гласность!

— Это все он бобы разводит! — гудел Потрясовский. — Ты нам скажи: прав поэт, слово не умрет? Ну, скажи! Прямо, откровенно!

— Не умрет, — согласился Платон Алексеич и сел, потому что его давило к земле и ноги казались свинцовыми.

А когда сказал «не умрет», то его схватили и при криках «ура» стали качать. И он чувствовал себя хорошо, словно у него за спиной выросли вдруг крылья и он летает по воздуху и сладко дремлет под дуновением ветерка, так приятно ласкающего разгоряченное тело...

— Спит, господа! — сказал басом Потрясовский, когда Платона Алексеича перестали качать и хотели поставить на ноги...

— Кладите его в корректорской на диване! — распорядился издатель.

— Не умрет... не умрет, господа, — шептал, не открывая глаз, Платон Алексеич, когда его клали на диван, а когда положили, то глубоко вздохнул и отбросил одну руку прочь.

На первых порах все шло благополучно. Платон Алексеич получил триста рублей «добавочных» и был в полном восторге от гласности...

— Как раз нашему студенту, по двадцати пяти в месяц! — говорил он и радовался, потому что теперь «Петька» может учиться в Москве спокойно, — задержки в высылке денег не будет... Редактор с издателем оказались прекрасные люди. Они сделали визит Платону Алексеичу, а Платон Алексеич — им. Мать редактора, Михаила Иваныча,

познакомилась с Глафирой Ивановной, и они также остались довольны друг другом, потому что обе были скромные пожилые дамы, обе ходили в черных платьях и в одинаковых наколках на голове... У редактора имелась девочка, дочка покойного его брата, Любочка; она была одних лет с Ниночкой, и потому получилась еще одна связь между цензурой и гласностью... Сам Михаил Иваныч был человек очень мягкий и деликатный и внушал Платону Алексеичу полнейшее доверие, которое окончательно окрепло после того, как редактор сам предложил однажды:

— А что, Платон Алексеич, не выкинуть ли нам эту чертовщину?

— А что? — тревожно спросил Платон Алексеич и сейчас же обмакнул перо в красные чернила.

— Да, черт знает... Чтобы неприятности не вышло... Помнится, был циркулярик...

— А-а! Ну тогда — конечно! Весьма благодарен, дорогой мой, весьма! Я ведь совсем неопытен... Вы уж мне помогайте, батюшка! — попросил Платон Алексеич, торопливо перекрещивая сомнительные строки. «Не разрешаю», — написал он на полях и два раза подчеркнул написанное.

— Сомнительного ничего нет? — спрашивал он потом Михаила Иваныча, когда тот самолично заезжал к Платону Алексеичу, чтобы процензировать что-нибудь спешное.

— Нет.

— Чего-нибудь этакого... неудобосказуемого? — повторял Платон Алексеич, испытующе глядя через сползшие с переносья очки в лицо Михаила Иваныча...

— Нет, Платон Алексеич! — твердо отвечал Михаил Иваныч.

Тогда Платон Алексеич, смело опускал руку и писал: «Печатать разрешаю».

— Я ведь, батюшка, не могу все до слова перечитать... У меня и так много дела по службе... то есть — как следует прочитать, со вниманием. Некогда. Да, признаться, и стар стал: много думать начнешь — сейчас мигрень... Все, что учил, — позабылось, вылетело из головы... Другой раз титулы и те забываю... Раз князю взял и да и хватил «его превосходительству»! Это — князю-то? Каково! Точно вот затмение какое другой раз находит... И глаза стали что-то дурить... Я ведь вот как должен отставить газету, чтобы читать! Рука устает держать... Собираюсь,

все сделать себе этакую подставку, чтобы удобнее было... как, знаете, для игры по нотам на скрипке...

— Пюпитр?

— Вот-вот!

Но такое миролюбивое, дружески-теплое отношение продолжалось не более двух месяцев. Первое недоразумение вышло из-за иностранных дел.

— Здравствуйте, Платон Алексеич! Вы звали меня в телефон?

— Звал, звал, батюшка! — озабоченно сказал Платон Алексеич.

— К вашим услугам... Что прикажете?

— Приказывать я, Михаил Иваныч, не могу, а просить хочу вас... Я все забываю, кто у нас иностранными делами заведует?

— Клюкин.

— Русский подданный?

— А что?

— Да так... Есть, значит, основание... Не могу, Михаил Иваныч, сказать... Я, знаете ли, такой человек: дружба — дружбой, а служба — службой...

— Да что такое?.. Вы хоть дайте самую нить-то ваших дум!

— Не нравится мне, знаете ли, что он постоянно про эту революцию упоминает в своих сочинениях. Так вот и норовит, чтобы ее где-нибудь вставить!..

— Это вы напрасно, — с улыбкой и с удивлением возразил Михаил Иваныч.

Платон Алексеич махнул рукой и сказал:

— Совсем, батюшка, не напрасно... Это, собственно, между нами говоря, я не сам заметил, а такие люди, которые...

— Гм... Да хоть бы и упоминал, — что из этого? Да возьмите любой номер газеты, журнала — вы везде встретите теперь этот исторический факт. Решительно ничего предосудительного!

— Так-то оно так, а все-таки мы с вами лучше не будем о ней говорить... И мне и вам спокойнее... Бог с ней совсем! Вот здесь опять есть эта революция, — сказал Платон Алексеич, шевыряясь в оттисках. — Экий неосторожный человек этот... Клюкин!

Долго спорили о революции, но ни к чему прийти не могли.

— Ну, пусть все это верно!.. А все-таки я прошу вас, почтеннейший Михаил Иванович, сделайте мне, старику, такое одолжение!.. Ну, слово, что ли, другое придумайте для этой штуки!

Решили называть впредь революцию, если уж явится крайность упоминать о ней, — «катастрофой», и оба остались немножко недовольны друг другом. Это было началом охлаждения. Потом пошли споры и недоразумения почти ежедневно, вплоть до настоящей катастрофы.

— Почему вы, Платон Алексеич, вычеркнули из заграничных известий всю Францию?

— Потому что довольно уж мне и так!.. — уклончиво и хмуро отвечает Платон Алексеич.

— Да вы укажите, что именно заставило вас перечеркнуть весь столбец?

— Все-с.

— А именно?

— Из-за вашей Франции... вчера... Одним словом — нахожу неудобным!

— Так нельзя-с, Платон Алексеич!

— А вот, значит, можно! — сердился Платон Алексеич и добавлял, глядя в сторону: — Черт с ними, с вашими Франциями!.. Из-за них ничего, кроме неприятностей, выйти не может.

— Не понимаю-с.

— Вот и я не понимаю-с! — упрямо повторял Платон Алексеич.

С этих пор Платон Алексеич начал вычеркивать Францию без всяких разговоров.

— Я буду жаловаться... Так нельзя, — официальным тоном говорил Михаил Иваныч.

— Михаил Иваныч! Вы что же думаете, что я вот так, ни с того ни с сего, взял да и начал чертить? а?

— Это уж, Платон Алексеич, опять-таки ваше дело-с...

— Что же вы думаете, что я имею что-нибудь против каких-нибудь государств?

Глафира Ивановна подходила к кабинету и, прислушиваясь, мотала головой и думала: «Что они вдруг всё ссориться стали?.. В толк не возьму».

— Михаил Иваныч! Это вам не стыдно моего старика обижать? а? — укоризненно говорила она, растворяя дверь в кабинет мужа.

— Оставь, Глашенька! Тут, ей-богу, с ума с ними спятишь, — сердито восклицал Платон Алексеич.

— Ай-ай, Михаил Иваныч! Вам бы его пожалеть было надо: ему и так много неприятностей из-за газеты, а вы еще его же обижаете.

— Помилуйте! Платон Алексеич нас обижает, а не мы его!

— Этому уж я не поверю, — сказала Глафира Ивановна. — Он у меня мухи не обидит...

В губернском правлении и на дому — у Платона Алексеича были телефоны, и где бы он ни был: дома или на службе, то и дело трещал звонок, и спрашивали: «Платон Алексеич?»

— Что же вы, батенька, делаете?

— Кто говорит?

— Я! Начальник дороги.

— Я слушаю.

— Как же вы, батенька, пропускаете...

Платон Алексеич держал около уха резонатор телефона, и лицо его делалось воплощенным недоумением.

— Я буду жаловаться... — кончал телефон.

Платон Алексеич сердито тыкал резонатор на место и отходил. Но не проходило и пяти минут, как раздавался новый звонок.

— Кто у телефона?

— Губернатор!

Лицо Платона Алексеича застывало от ужаса. Он как-то почтительно пригибался к аппарату и, виновато улыбаясь, повторял то и дело «слушаюсь».

— Я не знал, ваше превосходительство! Виноват, ваше превосходительство! Слушаюсь!..

Лицо Платона Алексеича становилось все беззащитнее, и капли пота появлялись у него на носу.

— Уф! — пыхтел он, отходя от телефона. — Добавочные! Гм! От себя дал бы триста!..

Однажды в служебный кабинет Платона Алексеевича заявился впопыхах Михаил Иванович и, захлебываясь, начал негодовать:

— Это наконец невозможно! Я вас не могу понять!.. — взвизгивал редактор. — Почему вы перечеркнули статью о канализации?

Оказалось, что зачеркнута статья не без основания. Недавно Платон Алексеич пропустил одну статью о несо-



вершенствах городского хозяйства. В этой статье было что-то переврано, и на нее обиделся голова. Голова говорил что-то по этому поводу губернатору, а губернатор сделал Платону Алексеичу выговор.

— У меня чтобы не было никаких оскорблений личностей! Что это за намеки? Как это вы читаете и ничего не понимаете? Смотрите в книгу...

С тех пор Платон Алексеич стал наблюдать, чтобы не было «личностей». Но трудно было догадаться, где есть эти «личности», а где — одна гласность.

— Про голову ничего не пропущу! Обижается... и... одни неприятности... Я уж говорил вам...

— Да тут нет ничего обидного для головы. Тут про канализацию!

— А это что-с!

И Платон Алексеич прочитал то место, где говорилось, что в городе грязь, что скопление всяких нечистот заражает почву, что слишком большая смертность и что пора, наконец, вытащить из комиссии вопрос о канализации...

— Все это — верно! — произнес Михаил Иванович.

— А я скажу, что даже и неверно! — возразил Платон Алексеич, которому от страха казалось, что, действительно, все это — выдумки, придирка и что у них нет никаких гнезд заразы, а даже чище, чем в других городах.

— Я буду жаловаться! Это уж слишком!

— Сделайте такое одолжение!

Михаил Иванович сухо раскланялся и, захватив корректурные оттиски, уехал. Спустя часа полтора времени он вернулся и опять запыхавшийся и негодующий.

— Я был сейчас у головы, и он читал... Не нашел ничего для себя обидного... Вот подпись есть его рукою... «Ничего не имею против». Извольте взглянуть!.. «Ничего... не имею...»

— А я имею! — упрямо возразил Платон Алексеич.

Тогда Михаил Иванович схватил опять оттиски и исчез. А спустя минут двадцать затрещал телефон.

— Кто у телефона?

— Губернатор... Почему вы не пропускаете о канализации?

Платон Алексеич вспыхнул, глаза у него стали бегать, как бы чего-то отыскивая, потом он побледнел и повел рукой в воздухе, как это он сделал на торжественном обеде в честь гласности, и ответил упавшим голосом:

— Слишком, ваше превосходительство, мрачно...

— Что такое? Не слышу! По-че-му не пропустили о ка-на-ли-за-ции?

— Краски, ваше превосходительство, очень сгущенные, мрачные...

— Что такое? Громче!..

Платон Алексеич еще раз повторил про краски и потом слушал. Рука, которая держала около уха резонатор, тряслась, опять поскакали на носу капли пота, и во всем лице был ужас и трепет. И, должно быть, Платон Алексеич слышал в резонаторе очень неприятные для себя слова, потому что когда все кончилось, то он едва добрел до кресла и опустился в изнеможении, точно поднял сейчас только непосильную тяжесть и надорвался... Он закрыл

глаза и долго сидел неподвижно; только рука, которая держала резонатор, продолжала вздрагивать, и мускул около правого глаза все подергивался судорогой...

Потом он пил воду, но ощущение надорванности и какой-то тревоги во всем организме не исчезало, и сердце работало с перебоями... Должно быть, вид у Платона Алексеича был очень скверный, потому что когда к нему в кабинет вошел младший советник, то он сейчас же подумал о том, что Платон Алексеич долго не проживет и что скоро откроется наконец вакансия... Платон Алексеич не мог оставаться в правлении и уехал домой на извозчике. В этот день он не обедал, — совсем не было аппетита, — и вечером, когда мальчик принес из типографии оттиски, везде написал неровным почерком «разрешается» и лег в постель.

— Скверно что-то, Глашенька! Нехорошо... — сказал он.

В телефон то и дело звонили, и это всегда так пугало Платона Алексеича, что тревога во всем организме поднималась и приливала горячей волной к сердцу, и он приподнимался на постели и смотрел и прислушивался. И все ему казалось, что там, в резонаторе телефона, звучит сердитый голос: «почему вы не пропустили?» или «как это вы пропускаете?..» Едва Платон Алексеич впадал в забытье, как ему казалось, что к его уху кто-то приложил резонатор или что над ним наклоняется господин «заведующий иностранными делами», с которым на днях у них были личные объяснения, — и злобным шепотом говорит, что он последний раз спрашивает, будет ли Платон Алексеич допускать Францию?.. Даже кум Платона Алексеича, заведующий городскою ассенизацией, не оставлял его в покое: и он мерещился Платону Алексеичу с искаженным лицом и кричал: «Это личности! У меня обоз в образцовом порядке, а вы чуть не в каждом нумере позволяете издевательства? Я буду жаловаться».

Потом что-то такое произошло там, в организме, непонятное... Что-то оборвалось, и что-то билось и дрожало. И когда Платон Алексеич хотел взять со столика, рядом с постелью, стакан воды, то рука не повиновалась, и у него явилось такое ощущение, словно это не рука, а какой-то посторонний предмет.

— Глашенька! — крикнул Платон Алексеич и не узнал своего голоса, потому что он прозвучал как-то сипло

и очень тихо... Жена была в дальних покоях, но на зов Платона Алексеича пришла с мячиком в руках Ниночка и звонким голосом спросила:

— Что, папочка? Маму позвать тебе?

И когда вошла Глафира Ивановна, то Платон Алексеич плакал и не хотел сказать ей, что у него не действует рука, и не действует нога, и что один глаз не видит...

Когда Глафира Ивановна рассказала доктору, как все это случилось, то часы пробили два.

— Однако мне пора!

— Может быть, он проснулся, — плаксиво заметила Глафира Ивановна и встала, чтобы посмотреть на больного.

— Будем посмотреть! — сказал доктор и направился следом за Глафирой Ивановной.

И когда они вошли, то увидали Платона Алексеевича неподвижным, с раскрытыми глазами, которые с каким-то страдальческим недоумением смотрели на образ...

КАПИТУЛЯЦИЯ

Садитесь, пожалуйста!

Степан Михайлович неловко опустился на обитое кожею кресло против письменного стола и застегнул верхнюю пуговицу черного сюртука, некрасиво сидевшего на его худощавой фигуре.

— Вас рекомендует Павел Павлыч?

— Да, Павел Павлыч.

Начальник учреждения улыбнулся как-то одними щеками, гладкими, тщательно выбритыми и поблекшими, и углубился в рекомендательное письмо. Собранные в улыбку морщины около носа и губ стали разглаживаться, и все лицо его быстро преобразилось: сделалось вдруг строгим и холодным, совершенно безучастным к сидевшему напротив человеку.

Степан Михайлович вынул платок, отер им влажное, покрывшееся красными пятнами лицо свое и окинул взором большой, высокий кабинет с его портретами, шкафами, с этим массивным письменным столом и сидящим за ним чужим человеком, который, читая письмо, слегка пошевеливал усами и сдвигал брови... Где-то с тягучей медленностью стенные часы отрезали маятником кусочки времени от непонятной вечности, и Степану Михайловичу казалось, что он сидит тут давно-давно и никогда уже отсюда не вырвется... Тихо растворялась створка двери, чья-то физиономия заглядывала в кабинет и проворно пряталась, словно пугалась Степана Михайловича; спустя некоторое время опять заглядывала другая — и опять проделывала то же самое; потом за дверью кто-то громко и весело произнес: «А-а! мое почтенье!» — и от этого восклицания, казалось, смягчилась вся окружающая обстановка, и в потемневшей душе Степана Михайловича точно проскользнул луч солнца. Он поправил ноги и стал смотреть на пол, а в тоскливой и угрюмой тишине ему все еще звучало это веселое «А-а! мое почтенье!»

— Насколько я понял из письма Павла Павлыча, вы... человек с прошлым? — произнес наконец начальник учреждения, откинувшись на спинку кресла, и начал разглаживать то одну, то другую бакенбарду, склоняя соответственно этому и свою голову — то вправо, то влево.

Степан Михайлович слегка шевельнулся на кресле, откашлянулся и ответил:

— Это уж давно... Теперь у меня семья. Где уж тут!

— А вы не кончили университета?

— Нет. Я был... уволен...

— Вероятно, по беспорядкам?

— Да... Но это было так давно, что...

— Это еще не большая беда! — перебил начальник учреждения. — Кто в молодости не устраивал беспорядков?.. Потом все проходит, все!..

Степан Михайлович неопределенно улыбнулся и, помяв в руках свою шляпу, заговорил нескладно и неровно о том, что всякий человек в молодости увлекается, а потом, когда явится у человека семья, когда нужда начнет преследовать его по пятам и когда жизнь изомнет ему душу и тело, — тогда все исчезает, и остаются только одни воспоминания... Степан Михайлович говорил, а начальник учреждения молчал, но, должно быть, ему очень нравилось это сознание беспомощности и решение смириться, потому что он медленно покачивал головой, и обе бакенбарды его, казалось, вполне одобряли Степана Михайловича...

— Да, воспоминания, — сказал начальник, — и, как всякие воспоминания, они могут быть приятны, ибо связаны с прошлым... Не угодно ли? Не курите?.. Это нынче большая редкость... Так вот, относительно воспоминаний...

И с приятной улыбкою и смеющимися глазами он сообщил Степану Михайловичу, что до сих пор у него хранится от времен студенчества шляпа и палка.

— Да! вот с этакими полями! И палка, похожая просто на дубину!.. Хе-хе-хе!.. Тогда носили, и нам казалось, что чем больше у шляпы поля и чем толще эта дубина, — тем лучше!.. Иногда я вынимаю эту шляпу, надеваю и смотрю на себя в зеркало... И что-то, знаете ли, вдруг шевельнется в душе этакое... неуловимое, но чрезвычайно приятное... Вы где-нибудь служили?

— Нет, до сих пор я занимался так называемыми свободными профессиями...

Степан Михайлович начал говорить о том, как его смяла жизнь и как ему захотелось наконец просто отдохнуть от вечного скитания, от проклятых уроков, статистических карточек, репетирования тупиц, репортерства в газетах...

— С семьей это тяжело, невыносимо тяжело, и я решил как-нибудь покончить со всем этим, — тихо произнес он и смолк.

— Вы — дворянин?

— Да, дворянин... Потомственный, — поспешно подтвердил Степан Михайлович, почувствовав по тону вопроса, что хорошо это, что он — дворянин.

— Имеете свидетельство от депутатского собрания?

— Нет, я не приписывался. Не было в этом надобности.

— Очень жаль. Это — большая опрометчивость. Теперь будет много хлопот.

И Степан Михайлович узнал, почему хорошо, что он дворянин: дворяне, окончившие среднеучебное заведение, получают чин всего через год.

— Без чина же я не могу дать вам классную должность. Впрочем, подумаем. Можно будет зачислить исполняющим должность...

— Мне, ваше превосходительство, все равно...

— К сожалению, я еще не превосходительство, а только высокородие, а имя мое — Виктор Алексеевич...

Степан Михайлович покраснел и все время думал потом, как бы Виктор Алексеевич не усмотрел в этой ошибке желания польстить.

Виктор Алексеевич несколько раз предупредил Степана Михайловича, что, принимая его на службу, он делает некоторый риск, что думать всякий может, что ему угодно, — так как это — дело совести, — но поступки человека должны быть строго сообразованы с тем положением и с теми обязательствами, которые человек принимает на себя, поступая на службу...

Теперь Степан Михайлович молча кивал головою, и казалось, что он все это отлично понимает, одобряет и готов жить, как ему прикажут.

— Так уж я буду надеяться, что вы спрячете свои воспоминания в сундук, как я спрятал свою шляпу и палку, и только изредка будете вынимать их, — смеясь, произнес Виктор Алексеевич и велел подать прошение.

— Прошение у меня приготовлено...

— Отлично! Сейчас у меня нет вакансий, но при первой возможности постараюсь... Так и передайте Павлу Павлычу... До свидания!..

Степан Михайлович отвесил поклон и вышел из кабинета красный, с влажным лбом, похожий на человека, только что побывавшего в жаркой бане, и стремглав зашагал по коридору.

— Не сюда, господин! Не сюда! — остановил его курьер. — Пожалуйте направо, а потом прямо!

— Заблудился, — странно улыбаясь, проговорил Степан Михайлович и пошел направо.

По пути ему попадались чиновники; они вскидывали на него вопросительные, недоумевающие взоры, пропуская мимо, — оглядывались ему вслед и оставляли по себе такое впечатление, будто они замечали в Степане Михайловиче что-то в высшей степени любопытное и странное. Из попутных комнат, чрез настежь раскрытые двери в коридор вылетал шум от говора, щелканья счетов, шелеста бумаги, и у Степана Михайловича явилось такое же ощущение, какое он испытывал, заходя в часовой магазин, где масса разнокалиберных часов мелькают бегающими по стенам маятниками, производя бестолковый стук, странный шорох и неугомонную сутолоку.

Швейцар снисходительно подал Степану Михайловичу его подержанное пальто на вате, без вешалки, пододвинул ногой калоши и снисходительно же принял сунутый ему в руку гривенник.

Когда Степан Михайлович вышел на улицу, яркое солнышко морозного зимнего дня ослепило ему глаза, холодный воздух, блиставший бесчисленными искрами инея, пахнул в лицо, а в душу повеяло вдруг простотой, искренностью и свободой. Словно Степан Михайлович долго пробыл в одиночном заключении и теперь впервые вышел на волю. Ноги бежали вперед, дальше от этого места, и хотелось поскорее вернуться домой, чтобы почувствовать себя самим собой и не чувствовать больше того тягучего ноющего гнета, который лег ему на душу в том доме и который, казалось, вышел оттуда следом за Степаном Михайловичем и не желал покидать его, продолжая давить мозг смутным сознанием чего-то унизительного и недостойного... Словно ему надавали там плюх, а он побла-

годарил и раскланялся... Замедлив шаги, Степан Михайлович начал усиленно отыскивать источник этого подлого самочувствия. На лице его блуждала улыбка сконфуженного человека, а в походке было что-то приниженное, и он шагал, понурив голову и глядя в землю, как человек, что-то обронивший и отыскивающий. «Собственно, ничего особенно скверного еще не случилось. Служат тысячи людей, среди которых, без сомнения, есть всякие — и дурные и хорошие, умные и глупые, честные и подлые. Самый факт еще ничего не доказывает, и только прямолинейные господа способны бросить в человека камнем за то, что жизнь смяла и загнала его в тупой угол... Ничего не произошло, ничто не изменилось: как был, так и остался тем же Степаном Михайловичем». На память пришел и все вертелся перед глазами Павел Павлович, бывший товарищ по университету, теперь чиновник, занимающий значительное положение.

— Безусловно порядочный человек! безусловно! — повторял Степан Михайлович, и встречные прохожие удивленно взглядывали на этого чудака, с самим собой, видимо, спорящего. И все-таки внутри Степана Михайловича что-то продолжало не соглашаться со всеми этими доводами, и это «что-то», игнорируя порядочность Павла Павловича, настойчиво воспроизводило ощущение нравственного гнета и плюх, которые будто бы надавали Степану Михайловичу... И домой он пришел все с теми же плюхами, сердитый и усталый, какой он возвращался иногда с охоты на уток, но без уток, а с одними промокшими ботфортами, с голодом и непреодолимым желанием сбросить поскорее охотничью сбрую, грязную одежду и отдохнуть...

— Без результатов? — спросила жена, как она всегда спрашивала последнее время, когда Степан Михайлович возвращался с поисков за местом.

— С блестящими! — иронически ответил Степан Михайлович.

— Ты шутишь?

— Нисколько... Прошение принято, обещана первая вакансия...

— Почему же ты такой кислый?

— Не знаю. У меня такое ощущение, будто я сделал какую-то пакость и будто я уже теперь не Степан Михайлович, а кто-то другой...

— Что же делать! Тут уже нечего резонерствовать, когда приходиться барахтаться, — начала успокаивать жена и первым делом сослалась тоже на Павла Павловича...

— Павел Павлыч! Павел Павлыч! Черт с ним, с твоим Павлом Павлычем! Я не Павел Павлыч, а Степан Михайлович... Поняла? Я — Степан Михайлович! — закричал Степан Михайлович и начал колотить себя в грудь.

— Успокойся, ради бога! Ну, плюнь! не служи! бегай опять по урокам, ругайся с газетами!

Степан Михайлович смолк. Он прилег на постель и стал думать о том, что, в сущности, Павел Павлыч тут ни при чем, а виновата проклятая жизнь, заставляющая плясать по своей дудке, — делать не то, что хочется и надо, и говорить не так, как думаешь... Необходимо иметь свою собственную дудку, — а ее нет. Когда-то была она, эта дудка, да теперь спрятана в сундуке, как шляпа и дубинка у Виктора Алексеевича... А разве уроки, сотрудничество в газете и все эти «кустарные промыслы» — лучше службы? Разве там он не пляшет по чужой дудке? Набиваешь головы подрастающего поколения всякой белибердой по программе, пишешь в газете дребедень, которую допускает тоже известного сорта программа...

— Один черт на дьяволе! — сказал громко Степан Михайлович, поднялся с постели и добавил: — Давайте обедать! Жрать хочется... Нет своей дудки — пляши под чужую...

За обедом сидели надутые, недовольные друг другом. Степан Михайлович ел нехотя, а все больше катал шарики из черного хлеба и о чем-то думал. Анна Васильевна чувствовала какую-то неловкость, не смотрела на мужа и вполголоса делала замечания девочкам — Вере, Надежде и Любови, — которые переговаривались друг с другом многозначительными взглядами и какими-то особыми жестами на пальцах.

«Зачем было вторить Виктору Алексеевичу, когда он говорил о блаженстве молодости, и умиленно улыбаться, когда он рассказывал о своей шляпе и дубинке? Зачем этот покаянный тон, ссылка на увлечения? Зачем было рассказывать о том, как смяла Степана Михайловича жизнь? Не деликатнее ли было по отношению к своему человеческому достоинству обойти эту сторону вопроса молчанием? А он взял, да и вытащил из сундука свою «палку» и свою

«шляпу»... И «дворянин» сейчас же вылез наружу, как только оказалось выгоднее быть именно дворянином... Откуда это холуйство? Можно подумать, что Степан Михайлович всегда был холуем по натуре и только дожидался удобного случая...» Степан Михайлович сердито посматривал на Веру, Надежду и Любовь, и ему казалось, что все это — камни, которые ему кто-то привязал к ногам и к рукам и которые мешают двигаться... Эти именно камни и заставляют Степана Михайловича пойти на унизительную капитуляцию... Если бы Степан Михайлович был один, — он знал бы, что делать... С детей он переносил взгляд на Анну Васильевну и думал, что она народила кучу ребят и, кажется, считает свою миссию законченной...

Надо было идти на уроки. Степан Михайлович с озлоблением вспомнил о союзах ut и quod, надел хомут, — как он называл крахмальную манишку, — напялил свое пальто на вате, без вешалки, и, проворчав: «Кончится ли когда-нибудь эта каторга?» — ушел...

Вакансия освободилась: умер делопроизводитель Илья Васильич, которого сослуживцы называли в шутку «детопроизводителем», потому что у него было очень много детей. Хотя Илья Васильич был стар и всегда прихварывал, тем не менее никто не ожидал от Ильи Васильича ничего подобного: он поразил всех своих знакомых, особенно же сослуживцев, среди которых так недавно еще сидел на обычном месте и в десятый раз рассказывал самый значительный эпизод из своей жизни: как, лет десять тому назад, когда Илья Васильич был еще помощником делопроизводителя, у них была ревизия, и как он тогда сконфузился...

— Приготовил я все книги, все дела в порядок привел, а разный хлам собрал в одну обложку и написал на ней: «Разная разность за разные года»... И попадись это дело ревизору!.. «Что за разная разность?» — Молчу. Он посмотрел и спрашивает: «Что за чепуха?» — Это, говорю, бумажки, соответственного места себе не находящие. — Он поморщился и говорит: «Вы нашли себе место, да, кажется, тоже несоответствующее!» — И все хохотали до слез. И сам Илья Васильич смеялся, кашлял и отмахивался рукой. От смеха у него сделалась боль под ложечкой, и он

ушел со службы ранее обыкновенного. И больше уже не приходил: умер.

Когда известие о смерти Ильи Васильича прилетело в палату, чиновники начали сбиваться в кучки, вспоминали рассказанную Ильей Васильичем, незадолго до смерти, историю про «разную разность» и удивлялись, как все это на свете устроено:

— Живешь, живешь — а потом вдруг умрешь... И черт знает зачем жил и зачем было родиться...

— Вот тебе и разная разность за разные года! — печально и серьезно произносили сослуживцы Ильи Васильича. Одни вздыхали, а другие, глядя в землю, задумчиво вытягивали: «Да-а».

— Господа, на веночек Илье Васильичу?! — громко объявлял, проходя по комнатам, канцелярист Иванов — франт с бирюзовой булавкою в галстуке, похожий на парикмахера, — и потрясал в воздухе подписным листом.

— Деньги можно — двадцатого! — успокоительно добавлял он.

В той комнате, где сидел Илья Васильич, все говорили: «Как же! нельзя! хороший был старик», — и, записывая полтинники и четвертаки, старались как можно разборчивее написать слово «копеек», словно боялись, что неразборчивостью могут воспользоваться и вычесть потом рубли, а не копейки. Но в других комнатах подписка шла туговато. Канцелярист Иванов несколько раз выкрикивал: «Господа! на веночек покойному!» — и оглядывался, не отзовется ли кто на призыв. Но все усиленно писали. Тогда канцелярист Иванов подходил поочередно к каждому и слащаво говорил, дотрогиваясь до плеча:

— А вы? на веночек Илье Васильичу?

— Собственно... я мало знал его...

— Все-таки вместе служили... Все умрем! — улыбаясь и расшаркиваясь, говорил Иванов.

Тогда убеждаемый неохотно брал лист и, прежде чем подписать, долго рассматривал, кто и сколько подписал, боясь подписать больше старших по должности, чтобы не вылезать вперед, и меньше младших, чтобы не остаться позади. Взвесив все эти обстоятельства, чиновник подписывал двугривенный, выбрасывал на стол монету и недовольно говорил:

— Отметьте, что с меня получено! Не забудьте отметить! Я уплатил наличными!

Пустой стул Ильи Васильича напоминал не только о смерти, но еще и о том, что открылась вакансия, и у многих, под личиною соболезнования и философских размышлений о смерти, пряталась радостная тревога от копошившихся на душе надежд получить повышение по службе. Когда открывается вакансия, то это бывает похоже на игру в свои соседи, когда один из играющих говорит, что он всеми недоволен, после чего происходит сумятица, во время которой играющие занимают новые стулья. Илья Васильич умер, и это все равно, что он сказал: «Всеми недоволен!» — на его место сядет другой, на место того — третий и т. д.; один стул, самый дальний и плохой, останется пустым; туда посадят новенького, скромненького, забитого юношу или расползающегося по всем швам старичка, дадут ему немножко денег и очень много работы... Поэтому, не успел еще Илья Васильич хорошенько умереть, как сослуживцы начали делить его ризы. Сперва этот дележ происходил тайно, в глубине душ; потом начали разговаривать о вакансии двое на двое в укромных уголках, несмело и шепотом, а потом перестали стесняться, отодвинули смерть на задний план, а вперед выставили вакансию и принялись громко обсуждать: «как все это должно устроиться», какие перемены могут произойти и кто и на что может теперь рассчитывать.

— Кто-то сядет на этот стульчик? — спрашивал чиновник, указывая пальцем на осиротевший стул Ильи Васильича.

— Вероятно, Гаврил Никитич... Хотя имеет шансы и Павел Семеныч...

— Ну, а на место Гаврилы Никитича?

— Перепелкин.

— Никогда! Ивану Павлычу обещано давно уже...

— Пустяки: ему дано обещание не лично, а через Марью Павловну...

— Это, брат, еще вернее!..

Потом начали обсуждать, кто кого победит: Гаврилу Никитича тянет Александр Николаевич, а Павла Семеновича — Матвей Кузьмич. Конечно, всякий — своего... Об этом не стоит говорить, а кто победит? Александр Николаевич — молодец: умеет постоять за своих — изо рта вырвет вакансию.

— Помнишь, как он тогда?..

— Он — молодчина!..

— Зато Матвей Кузьмич имеет руку по женской линии: его жена «винтит» с женой управляющего, а это кое-что значит.

— Правда ли это? Кажется, они поссорились?

— Помирились уж! — слышался чей-то голос, сожалевший об этом примирении.

Такие возгласы велись во всех углах, то громко, то вполголоса, с оглядкой. Изредка начальники разных сортов проходили деловито, сосредоточенно, словно несли в себе какую-то тайну государственной важности, — и низшие торопились посторониться и делались похожими на собак, подбирающих свои хвосты.

Гаврил Никитич, помощник покойного Ильи Васильича, старичок с седыми бакенбардами, очень похожими на бакенбарды управляющего, — чем он втайне гордился, — немного тугой на ухо и потому всегда имеющий вид недоумевающего человека, как-то особенно присмирел: обстоятельства указывали на него, как на естественного заместителя покойника. Гаврил Никитич не вмешивался в разговоры сослуживцев и усиленно разбирал какие-то бумажки, словно все эти разговоры его нисколько не касались и не интересовали. Он считал себя прямым и законнейшим наследником Ильи Васильича, и его тянул тот самый Александр Николаевич, который умел вырывать изо рта вакансию, — так что Гаврил Никитич не сомневался. Но он съел на службе зубы и потому умел вести себя тактично: он теперь избегал даже смотреть на опустевший стул, а к подчиненным обращался особенно мягким и кротким голосом, словно понизился вдруг в должности; когда требовались справки, он подходил сам, а не звал к своему столу и, кроме того, говорил то и дело:

— Не беспокойтесь!

И подчиненные, в свою очередь, вели себя так, словно Гаврил Никитич уже занял вакансию: они были особенно предупредительны, торопливы и угодливы. Они делали это на тот случай, если Гаврил Никитич действительно сядет на стул Ильи Васильича: тогда должен выйти целый ряд новых комбинаций, в которых Гаврил Никитич сыграет видную роль.

Самым опасным конкурентом Гаврилы Никитича был Павел Семенович, которого тянул Матвей Кузьмич, имевший руку «по женской линии». А Гаврил Никитич всего более боялся в таких случаях именно «бабы»: на протяже-

нии двадцати с лишком лет своей службы ему трижды вставала поперек дороги баба, и теперь он боялся повторения этих случаев. Обуреваемый думами о вакансии, Гаврил Никитич рылся в бумагах, читал их, плохо соображая, задумывался и начинал выводить пером на бумаге: «Где черт не сможет, баба, баба, баба». На этом именно занятии и застал его конкурент, Павел Семенович.

Павел Семенович зашел понюхать. Это был пожилой упитанный мужчина, с ухмыляющимся плутоватым лицом; он любил острить, рассказывать и слушать анекдоты нескромного характера и очень редко сидел на своем стуле. Раскроет дело, поставит счеты в такое положение, какое они принимают при работе, и вообще устроит обстановку только что покинувшего труд человека — а сам уйдет. Прогуливаясь из комнаты в комнату, Павел Семенович вносил с собою в томительно-однообразный день чиновников струю чего-то, совершенно чуждого всем этим делам в синих обложках, далекого от этих закоптевших стен и потолков, конторок и столов с согбенными спинами людей, и все при появлении Павла Семеновича испытывали такое ощущение, словно отворялась вдруг в духоте форточка. С его приходом чиновники словно просыпались от гипноза и возвращались к жизни: сухие застывшие лица их, похожие на пергамент, просветлялись улыбками; они откидывались на спинки стульев и с наслаждением вытягивали под столом свои ноги, казавшиеся тогда чрезмерно длинными.

— Что хорошенького? — спрашивали они, ежась и позевывая.

И Павел Семенович, оглядевшись по сторонам, начинал рассказывать новый анекдот про купца Тита, как этот Тит, после масленичных безобразий, проснулся в чистый понедельник с туманом в голове, начал молиться, повторяя: «Помилуй Тита», — и вдруг, по созвучию, перешел на «тита-тита-ти-та-та» и стал подплясывать, заложив руки за жилетку.

И когда Павел Семенович уходил, то чиновники долго еще не могли погрузиться в обычный транс и долго смотрели куда-то мимо своими потухшими взорами.

— Здравствуйте, господа!

— Павел Семеныч!

— О чем, Гаврила Никитич, мечтаете? — спросил Павел Семенович конкурента, присаживаясь верхом на стул покойного Ильи Васильича.

— Какие там мечтания!..

— Сколько подписали на веночек?.. Вам подобает подписать больше всех...

— Как-с?

— Умер, говорю... Вот свинство!

— Господня воля! — хмуро ответил Гаврил Никитич конкуренту.

— «Жизнью пользуйся живущий, мертвый мирно в гробе спи...» Так ведь, Гаврил Никитич?

Гаврилу Никитичу не нравился этот легкомысленный тон разговора, ибо он не соответствовал значительности смерти, и потому Гаврил Никитич ничего не ответил.

— Вас поздравить можно?

— Как-с?

— Поздравить, говорю, можно? Что это вы — как будто бы еще туже на ухо стали...

На лице Гаврилы Никитича появилось выражение печали, кротости и сожаления.

— Человека еще не похоронили, и нам с вами следует сперва помолиться об успокоении души его, — с упреком ответил он Павлу Семеновичу.

— Это разумеется: и похороним и помолимся... А вакансия все-таки освободилась для вас...

Чиновники жадно прислушивались к этой замаскированной пикировке конкурентов и, заложив ручки за ухо, смотрели, чем все это кончится...

— А, может быть, она для вас? — разводя руками, произнес Гаврил Никитич и уткнулся носом в бумаги, давая понять Павлу Семеновичу, что подобный разговор неуместен.

— Где нам, дуракам, чай пить?! Вы, кажется, в Севастопольской обороне еще участвовали, а я что? Нигде не сражался. Свеженький, господа, анекдотец!.. Горяченький!..

И Павел Семенович начал рассказывать. А когда он рассказал и ушел, то Гаврил Никитич долго пыхтел, боролся с самим собой и наконец не выдержал:

— За меня бабы не орудуют... Я — сам! — глухо сказал он, полный неприязненных чувств ко всем женщинам.

— Это — верно, — ответил чей-то одинокий голос.

— Умей зацепиться за бабу — быстро пойдешь вперед. А так, своим хребтом, ничего не высидишь!

В коридоре и уборной толкалась мелкота, которая тоже волновалась предстоящею игрою в свои соседи. Мелкота шушукалась, спорила и переругивалась, откровенно высказывая все, что совалось под язык. Никаких околичностей здесь не было, а дело велось напрямик. Эти были все полуголодные люди, которых держали в черном теле и которые из-за пятирублевой прибавки готовы были перегрызть друг другу горло.

— Почему ты считаешь себя более достойным?

— Потому что больше тебя работаю.

— Мою работу не видать: у меня цифра. Другой раз из-за копейки бьешься целые сутки...

— Бьешься! Мух считаешь!

— Мух? За это, брат, морду бьют...

— Руки коротки!

— Господа! в зал на панихиду!

Чиновники потянулись в зал, унося в сердцах своих зависть, злобу, интригу и неприязнь друг к другу: каждый считал себя обиженным, обойденным и, стоя на панихиде, меньше всего думал об Илье Васильевиче...

А после панихиды канцелярист Иванов, запыхавшись, прибежал в комнату, где стоял стул покойного Ильи Васильича, и громко объявил:

— Новость, господа!.. Вакансия замещена не нашим!.. Поздравляю!

Все повскакали с мест, окружили канцеляриста Иванова и требовали повторения новости. Только Гаврил Никитич остался на своем посту. Он покраснел, закрылся делом в синей обертке, и никто не заметил, как лицо его подергивалось судорогой и как он вытер кулаком непрошеные слезы...

Однажды утром пришел господин в очках, похожий на профессора, сел на стул покойного Ильи Васильича и окончательно разбил все планы и надежды окружающих людей. Чиновничий муравейник притих, но лишь на поверхности. В глубину ушли все страсти и там, как змеи, таились в сумерках души... В палате было общее недовольство. Александр Николаевич, которому не удалось вырвать изо рта вакансию, считал себя оскорбленным; Матвей Кузьмич, надеявшийся на Марью Павловну, был обижен тем, что не исполнили данного ему обещания относительно

Павла Семеновича. Гаврил Никитич сердился на Александра Николаевича, который не хотел отстоять его законного притязания на вакансию; по этой же причине сердился Павел Семенович на Матвея Кузьмича; остальные были тоже недовольны и говорили, что им посадили на голову корреспондента, — так они называли Степана Михайловича.

Степан Михайлович очутился как бы в неприятельской стране, где мирные жители, не воюя открыто, тем не менее всегда носят за пазухой камень и при каждом удобном случае не преминут подпакостить врагу.

Гаврил Никитич, считавший себя естественным заместителем покойного Ильи Васильича, вдруг оглох и на другое ухо и, когда Степан Михайлович обращался к нему с деловым вопросом, настойчиво спрашивал «как-с?» и разводил руками, а то и прямо говорил:

— Ничего не знаю-с.

Когда подвертывалась сложная бумага, с упоминанием статей закона, со сноской на какие-то отношения, значившиеся под номерами, бумага, где было трудно отыскать основную мысль, — тогда Гаврил Никитич сам шел к Степану Михайловичу и кротко просил:

— Не знаю, как поступить? Соблаговолите разъяснить.

Степан Михайлович брал бумагу и углублялся. Мелькали «ввиду изложенного», «принимая во внимание», «имея в виду» и цифры отношений. Он подпирал голову руками и читал другой раз, третий...

— Позвольте: где же тут сказуемое? — мычал Степан Михайлович, теряя терпение и краснея.

— Как-с? — нагибаясь, спрашивал Гаврил Никитич.

— Сказуемого не найду... «Имея в виду»... гм... гм... «а также принимая во внимание»...

— Кто ж его знает! — говорил Гаврил Никитич, пожимая плечами. — Может быть, его вовсе и нет тут...

— То есть как же это? — вскидывая удивленные глаза на Гаврилу Никитича, спрашивал Степан Михайлович. А канцелярист Иванов, желая поддержать Гаврилу Никитича, произносил с места, ни к кому не обращаясь:

— Бывает и без сказуемого... «На дворе метелица...» Где сказуемое?

— Подразумевается, — шептал сосед Иванова.

Когда нужно было отыскать отношение за номером, — оно не отыскивалось; когда нужна была справка, — оказывалось, что чиновник, могущий дать эту справку, занят спешным делом, которое поручено ему самим Александром Николаевичем. Все писали, считали, занимались своей работой, все проявляли полную покорность новому начальнику, обращались к нему вежливо, с поклонами, смягчали свою речь смиренным «с», но каждый теперь смотрел на свою работу, как на средство «подложить свинью» Степану Михайловичу, и все старались превзойти друг друга в изобретательности. Когда один «подкладывал свинью», остальные обменивались молчаливыми взглядами; и в этом обмене взглядов была для них бездна наслаждений. Наиболее чувствительные не могли сдерживать улыбок и прятали свои лица за спину товарищей, корчили там рожи и напоминали обезьян в клетке. Тогда вся комната наполнялась скрытым напряжением мелкой подлости. Когда Степан Михайлович выходил из комнаты, это напряжение разряжалось дружным шепотом, хихиканьем и радостными возгласами:

— Потерял сказуемое!..

— Пусть ищет... А еще корреспондент!..

Гаврил Никитич, душа которого тоже ликовала, считал тактичным понизить тон восторженности:

— Не наше, господа, дело... Пусть каждый занимается своим делом!..

Ближайшим начальником Степана Михайловича был Александр Николаевич. Оскорбленный за себя и за своего протеже, он томился тихой ноющей досадою и досаду эту, конечно, изливал на Степана Михайловича. Вызывая к себе в кабинет Степана Михайловича, он сердито говорил: «Обождите!» — и заставлял нового делопроизводителя очень долго стоять у порога на положении курьера. Однажды, когда Степан Михайлович, в ожидании очереди своего доклада, присел на стул, Александр Николаевич любезно заметил:

— Вы меня извините, но я должен сказать вам, что у нас это не принято... Вообще у нас совсем не так, как в редакции... Без приглашения у нас не садятся.

Составленные Степаном Михайловичем бумаги Александр Николаевич перечеркивал крест-накрест.

— Извините за нескромность: вы где воспитывались? — спрашивал он, черкая бумагу.

— Окончил гимназию, был и в университете...

— А-а! Тем не менее не годится... Чересчур уж литературно, знаете ли... Вы попросите Гаврилу Никитича составить эту бумажку: он хотя в университете и не был, но превосходно владеет пером.

— В чем же дело? — вспыхивая, спрашивал Степан Михайлович.

— У нас есть известная форма... Наша литература существенно отличается от вашей... Для газеты, быть может, годилось бы, но для нас — слишком литературно!.. Да вы обратитесь к Гаврилу Никитичу... Он поможет вам.

Возвращаясь от начальника отделения, Степан Михайлович опять испытывал такое ощущение, словно ему надавали плюх, и долго сидел неподвижно и грустно смотрел на свою перечеркнутую бумагу... Щеки его горели от стыда и бессильной досады, он кусал свой ус и испытывал желание крикнуть: «А, ну вас всех к черту!» Но желание это тихо умирало в угрюмой комнате, под шорох бумаг, щелканье косточек и тиканье маятника, такое ровное, спокойное, гипнотизирующее.

— В чем тут дело, Гаврил Никитич?

— Как-с?

— Вот посмотрите-ка!

Гаврил Никитич подходил к столу, переламывался пополам и читал, хмуря брови, перечеркнутую бумагу.

— По-моему, недурно написано... Здесь вот только надо написать «сообщить», а не «уведомить», а здесь «вследствие отношения», а не «распоряжения».

— Не все ли равно?!

— Э-э!.. Громадная разница! Куда писать — уведомить, куда — сообщить, куда — доложить, — это громадная разница... И потом здесь надо «вследствие отношения от такого-то числа, месяца и года», а у вас «запроса за номером»...

Пересоставив бумагу, Степан Михайлович нес ее к Александру Николаевичу; тот опять держал его с полчаса на ногах, не замечая его присутствия, а потом холодно спрашивал:

— Что вам угодно-с?

И когда Степан Михайлович подавал ему новый проект составленного им отношения, то Александр Николаевич, небрежно мотнув головой, тихо бросал:

— Оставьте! посмотрю...

А затем приходил курьер, подавал Степану Михайловичу перечеркнутую сердитой рукой бумагу, а Гавриле Никитичу робко говорил:

— Вас они просят...

И опять Степан Михайлович испытывал ощущение плюх, и опять ему хотелось закричать: «А, черт с вами!» Но он не кричал, а лишь краснел и кусал ус.

— Экое наказание божие! — шептал Гаврил Никитич, сердито отодвигал счеты и шел. А когда он возвращался, то молча садился, минут пять что-то писал и затем приказывал:

— Господин Иванов! Потрудитесь переписать и подать Александру Николаевичу!..

Канцелярист Иванов брал бумагу и всем существом своим давал при этом понять, что у него и без того много работы:

— Третий раз! — произносил он со вздохом.

— Ну кто же тут виноват? — отзывался Гаврил Никитич. — Я, что ли, виноват?

Все молчали, но все, и даже Степан Михайлович, прекрасно чувствовали, что виноват новый делопроизводитель, не умеющий путно составить такой пустяковой бумажки. Степан Михайлович растерянно смотрел на своих подчиненных, и все они, начиная с Гаврилы Никитича и кончая канцеляристом Ивановым, казались ему людьми совсем особой породы и конструкции, людьми, знающими что-то такое, чего он не может вовсе узнать и никогда не узнает. Часто он ловил недружелюбно остановленный взгляд того или другого из этих людей, и тогда ему казалось, что он — европеец, а кругом все дикари, и будто они давно порешили съесть его, Степана Михайловича, и ждут только условного сигнала, который должен подать Гаврил Никитич; а Гаврил Никитич будто, в свою очередь, ждет условного знака от Александра Николаевича и время от времени ходит к нему в кабинет совещаться, — не пора ли уже съесть Степана Михайловича. В самом деле, Гаврил Никитич возвращался всегда из кабинета Александра Николаевича с каким-то странным лицом, искоса посматривал на Степана Михайловича, понюхивая табак из своей черепаховой табакерки, и как будто в глазах его была какая-то затаенная мысль, ожидание и особая решимость...

В кабинете, действительно, происходили совещания, касающиеся Степана Михайловича.

— Ну, как ваш корреспондент?

— Сидит.

— Говорят, все сказуемое везде отыскивает?

Гаврил Никитич молча махал рукой.

— Что же, рыба ищет, где глубже, человек — где лучше, — загадочно говорил он, намекая на свое намерение уйти из палаты.

— Погодите, не торопитесь! — успокаивал Александр Николаевич. — Будет праздник и на нашей стороне...

Входил и присаживался Матвей Кузьмич. Прежде они с Александром Николаевичем были на ножах и только тем и занимались, что подгаживали друг другу в кабинете управляющего. Теперь они, оба оскорбленные, как бы заключили перемирие и приветливо улыбались друг другу.

— О чем беседуете?

— Да вот, Гаврил Никитич жалуется, что корреспондент все только сказуемое ищет в бумагах...

И все трое смеялись, чувствуя себя друзьями.

— Скажите Марье-то Павловне, чтобы она *там* постаралась снять с шеи Гаврилы Никитича этого публициста!.. Сказуемое-то мы и без него как-нибудь отыщем...

— Что женщины! — обиженно произносил Гаврил Никитич, задетый по больному месту. — Про них поется: «Плачет, смеется, а отвернется...» — И он не договаривал и махал рукой. Даже курьер давал чувствовать Степану Михайловичу, что он — на стороне «своих» и ему наплевать на этого стрекулиста в очках, усевшегося на стул умершего Ильи Васильича. Когда он обносил чай, то всегда Степану Михайловичу не хватало стакана, и ему приходилось постоянно напоминать курьеру, чтобы тот подал еще стакан.

— Совсем позабыл! — говорил курьер и приносил Степану Михайловичу стакан желтенькой водицы.

Когда кончались занятия и служащие выходили в переднюю, курьер прежде всего подавал шубу Гавриле Никитичу, а если случалось выбирать, кому прийти на помощь с услугами — Степану Михайловичу или канцеляристу Иванову, то он предпочитал последнего и вообще старался сделать так, чтобы Степану Михайловичу пришлось одеться без его помощи.

Степан Михайлович начал все чаще ловить себя на мелочном самолюбии: ему было обидно, что Гаврил Никитич говорит с подчиненными так, как бы он, а не Степан

Михайлович, был делопроизводителем; было обидно, что служащие обращаются по преимуществу к Гавриле Никитичу, а его игнорируют, что когда Гаврил Никитич сидит на месте, то в комнате тихо, все сидят по местам и работают, а как только Гаврил Никитич уйдет, то все повскакают со своих стульев, начнут болтать и свободно разгуливать по комнате, не придавая никакого значения присутствию Степана Михайловича; ему было даже обидно, что курьер предпочитает ему канцеляриста Иванова и все позабывает про чай. Все это начинало его волновать, злить, и, впитывая в свою душу мало-помалу всю мелочь и всю пошлость этой новой для него жизни, он все чаще стал вспыхивать желанием показать всем им, что он, Степан Михайлович, вовсе не пешка, а делопроизводитель; что он вовсе не так прост, как думают о нем все эти остолопы, и что он заставит уважать в себе если не человека, — что этим остолопам не по силам, — так хотя бы начальника. Тогда у него делалось вдруг совсем другое лицо, сердитое, почти злое, и появлялся совсем необычайный голос; изменялись у него глаза, улыбка делалась какой-то деревянной, кашлял он громче, чем обыкновенно, и иначе отвечал подчиненным.

— Не откажите объяснить, как поступить в сем случае? — вкрадчиво начинал канцелярист Иванов, лукаво посматривая на сотоварищей.

— Точно так же, как поступали раньше. Слышите? — с небрежностью начальника отвечал Степан Михайлович.

— Не было случаев, — почти шепотом говорил изумленный Иванов, направляясь к своему месту.

— Были! — безапелляционно решал Степан Михайлович и вскидывал на Иванова такой взгляд, что тот торопился застегнуться на все пуговицы.

— Гаврил Никитич!

— Как-с?

— Потрудитесь объяснить господину Иванову, как надо поступить... Он служит здесь очень давно, а все еще ничему не научился!

В комнате все стихало: слышался только скрип перьев по бумаге да щелканье счетовых косточек. А Степан Михайлович, машинально пробегая глазами деловую бумагу, думал о том, какой он молодец и как он всех их огорошил... И по лицу его пробегала улыбка удовольствия, и он победоносно смотрел на канцеляриста Иванова,

который из большого нахала превращался вдруг в маленького и ничтожненького человечка... «Да, с ними иначе нельзя, с ними всегда так надо. В этом вся суть», — думал тогда Степан Михайлович, и ему казалось, что он открыл наконец секрет всех этих людей — понял их конструкцию, и теперь все пойдет иначе. Но проходил момент, — Степан Михайлович, прислушиваясь к тиканью часового маятника, успокаивался, удовлетворенное самолюбие умолкало, и проходила злость, а на смену являлось вдруг такое чувство, словно он сделал что-то гнусное, унизительное для самого себя...

— Господин Иванов!.. Вы меня извините, я был резок с вами, — меланхолически произносил Степан Михайлович после некоторого колебания.

— Что ж, я человек маленький, — глухо отвечал издали голос канцеляриста Иванова.

И Степану Михайловичу делалось невыносимо стыдно, и вся храбрость его исчезала, как дым; он впадал в настроение покаянного смирения и кротости и долго уже не мог взять тех нот, которые так отчетливо прозвучали было в его голосе. А в это время опять поднимал голову Гаврил Никитич, и опять начиналось все по-старому: курьер опять подавал Степану Михайловичу жиденький чай, Гаврил Никитич, прежде чем ответить на вопрос, спрашивал по пяти раз подряд: «Как-с?» — и при этом кривил свою физиономию, а канцелярист Иванов опять начинал шипеть и показывать вид, что, в сущности, он делает все исключительно из любезности.

Степан Михайлович возвращался домой крайне утомленный, с апатичным лицом, с душой, полною сумерек, и казалось, что он приносил с собою всю скуку жизни...

Степан Михайлович похудел и осунулся, сделался молчаливым и сосредоточенным, и казалось, что он постоянно обсуждает втайне какой-то чрезвычайно важный для него вопрос. Жену беспокоили и эта замкнутая задумчивость, и хмурый вид, а всего больше цвет лица, желтый и тусклый, и худоба мужа. Анна Васильевна хлопотала о том, чтобы Степан Михайлович больше кушал, и старалась готовить любимые им блюда. Подавая на третье любимые Степаном Михайловичем блинчики с вареньем, Анна Васильевна озабоченно осведомлялась:

— Как твой желудок?

— Желудок? — переспрашивал Степан Михайлович,

вскидывая на жену взгляд глубочайшего презрения, и однажды не вытерпел и вспылил:

— Что у тебя за особая любознательность по отношению именно к желудку?

— Но у тебя совсем больное лицо!

— Как будто бы я состою из одного желудка! У меня есть мозг, сердце, нервы...

И Степан Михайлович сердито отставил тарелку с блинчиками. Ему показалось, что жена не способна идти в своих догадках дальше желудка и что для нее важнее всего, чтобы хорошо варил желудок. Походив по комнате и жалобно попев «виют витры, виют буйны», Степан Михайлович отправился «освежиться»; так он называл общение с своими прежними товарищами по оружию разного рода, «свободными художниками» с крайне ограниченными чертами оседлости...

— Ты куда? — спросила жена.

— К Николаю Павловичу... Узнать, как у него желудок...

— Это очень остроумно, — обиженным тоном проговорила Анна Васильевна.

Он ушел из дому с огорчением на душе и всю дорогу думал о том, что жизнь сняла всю позолоту с пошлости, и остался один желудок... С этим чувством Степан Михайлович шел к своему приятелю, Николаю Павловичу, который тысячу раз говорил, что «семья есть омут погибельный», и всегда жалел Степана Михайловича. Во дни юности они учились в одном университете и вместе устраивали беспорядки. Теперь, спустя много-много лет, судьба столкнула их здесь снова на одном деле: оба были «свободными художниками» и сотрудниками в местной газете, один в роли фельетониста, другой — репортера...

Николай Павлович жил на краю города в мансарде. Он жил совершеннейшим аскетом, болел чахоткой, но не «сдавался» и по-прежнему был полон воинственного настроения, веры и жажды подвигов... Ходя по скрипучему полу своей мансарды, Николай Павлович горячо спорил с другим «свободным художником», Спартаковым, о том, какой момент переживается теперь русским обществом... Глаза его горели лихорадочным блеском, руки болтались и жестикулировали, и весь он, подвижный, горящий каким-то внутренним пламенем, походил на льва в деревянной клетке или на пророка, которого некому слушать...

— Здравствуйте, господа!

— Здравствуй! — бросил Николай Павлович и, мимоходом сунув руку гостю, продолжал говорить с прежним жаром и верой в свои пророчества... Степан Михайлович молча поздоровался со Спартаковым и присел на кушетку. Спор продолжался, причем на Степана Михайловича спорящие не обращали никакого внимания, словно его тут и не было. Он попытался ввернуть свои два-три слова, но они прошли незамеченными, и Степану Михайловичу сделалось как-то неловко. Когда спор кончился, Николай Павлович сел, закашлялся и, только успокоившись, заметил наконец печальную фигуру нового гостя.

— Что, братец, служишь? — спросил он Степана Михайловича и посмотрел на него своими горящими глазами не то печально, не то насмешливо.

— Служу... — хмуро ответил из угла Степан Михайлович.

Спартаков посмотрел в сторону Степана Михайловича, улыбнулся и резонерски произнес: «Служить бы рад — прислуживаться тошно...» И все замолкли, и это молчание длилось долго и казалось невыносимо тягостным.

— Ну, а как ты, братец, смотришь теперь на судьбу русского капитализма? — спросил вдруг Николай Павлович и стал кусать свою бородку...

— Это что же... насмехаться изволите? — спросил Степан Михайлович.

— Это зависит теперь уже от взглядов его ближайшего начальства, — со вздохом заметил Спартаков.

И опять наступило молчание, неловкое и какое-то странное, полное содержания, значения и неизбежности... В этом молчании, казалось, решалось что-то очень серьезное и важное в жизни Степана Михайловича, и только впоследствии он понял, что именно решалось...

Вернувшись от приятеля, Степан Михайлович погрузился в размышление. Он думал о том, что произошло там, в мансарде? Как будто бы ничего особенного не случилось: несколько отрывочных фраз и замечаний, несколько взглядов, молчаливых моментов. А между тем что-то рухнуло, оборвалось, отодвинулось. Он думал о себе и называл себя «ни богу свечкой, ни черту кочергой», но потом жалел себя, старался отнестись к себе с полным уважением и смягчить произнесенный над собою приговор.

— Удивительные люди, Анюта! — произнес он вдруг, останавливаясь около жены и вызывая ее на откровенное излияние.

Анна Васильевна, польщенная дружески-доверчивым обращением, сейчас же простила ему недавнее огорчение из-за желудка и заботливо спросила:

— Кто, Степа?

— А вся эта, наша так называемая интеллигенция в кавычках...

— А что?

Степан Михайлович произнес обвинительную речь. Он говорил, что эта интеллигенция прямолинейна, что она неделикатна, что она деспотична, а главное — жестока; что она любит все человечество, а человека любить не умеет; что она не умеет прощать человеческих слабостей, а сама битком набита этими слабостями...

— Летай прямо, как галка!.. А если у меня подбито одно крыло? Тогда вон из стаи... Не надо!.. Допустим, что я сделал скверно, что я поступил, как не должно поступать, но ведь надо же, Анюточка, взвесить; надо принять во внимание все, что говорит в мою пользу...

Жена молча кивала головой и сочувственно смотрела в потускневшее лицо Степана Михайловича. Потом подошла к нему близко и положила руки ему на плечи... Так они стояли и говорили, подбадривая друг друга в трудный и решительный момент жизни...

— Он спросил меня: «Служишь, братец?..» Но как спросил!.. Словно сказал: «Что, братец, подлецом оказался?..»

— Наплевать, Степа... А что такое сам Николай Павлович?

— Фельетонная букашка! И Спартаков тоже со своей иронией... «Пусть и мое ослиное копыто знает...»

Степан Михайлович начал смеяться, но на лице его продолжала блуждать жалкая улыбка, и казалось, что сейчас он заплачет и опять побежит в мансарду к Николаю Павловичу.

Только теперь стало ясным, что совершилось тогда в мансарде в минуты продолжительного тягостного молчания: Степан Михайлович порывал с болью в сердце последнюю связь с своим «прошлым»... Скоро он резко обособил свое я от «них», как стал называть Степан Михайлович интеллигенцию в кавычках...

— Теперь мы с тобой, Анюта, интеллигенция, но без кавычек; иначе говоря, ни богу свечка, ни черту кочерга... Что ж делать?.. Стерлись кавычки... Помнишь, на школьных скамейках задавали нам задачи: раскрыть скобки и привести все к одному знаменателю!.. С нами жизнь произвела эту операцию... Осталось стереть с доски все вычисления и написать конечный результат.

И жизнь проворно стирала с доски черновую работу, приближая дело к этому конечному результату.

Степан Михайлович успешно осваивался с новыми формами новой жизни. Он все чаще покрикивал на подчиненных, и во взглядах его все чаще проскальзывало сознание делопроизводителя. Казалось, Степан Михайлович решил вдруг и бесповоротно сделаться хорошей кочергой: он аккуратно являлся на службу и, когда кто-нибудь из подчиненных приходил позднее его, вынимал из жилетки часы, смотрел на них и, щелкнув крышечкой, громко и членораздельно произносил:

— Четверть одиннадцатого!

Тогда опоздавший на цыпочках подходил к Степану Михайловичу и начинал с подобострастной улыбкой объяснять причину своего запоздания.

— Ничего-с, ничего-с... — холодно говорил Степан Михайлович, но лицо его отражало неудовольствие, и провинившийся уходил без внутреннего успокоения.

— Я попросил бы вас, Павел Семенович, не рассказывать здесь скабрезных анекдотов: это мешает работе, да и само по себе неинтересно, — обрезал он Павла Семеновича, который еще раз вздумал рассказать про купца Тита. Так же обрезывал он Гаврилу Никитича с его «как-с?» и канцеляриста Иванова с бирюзовой булавочкой в галстуке. Курьеры были приведены к почтению еще проще: Степан Михайлович стал носить форменную фуражку и, выходя в гардеробную, кричал:

— Пальто!

И курьеры подлетали стремительно и называли его вашим высоким благородием.

— Позвольте и фуражечку, ваше высокоблагородие!..

— Возьми! — небрежно бросал Степан Михайлович, и курьер с благоговейным трепетом, осторожно, словно боясь разбить, принимал фуражку Степана Михайловича и почтительно ставил ее на полку обособленно от других фуражек. Степан Михайлович старался поскорее взять в руки

вожжи: так называл он служебную компетенцию. Тщательно перечитывая переписку, циркуляры, приказы и всю эту тяжеловесную канцелярскую литературу, Степан Михайлович очень скоро встал на ноги и перестал нуждаться в советах и указаниях своих подчиненных. Чувствуя под собой твердую почву, он круто изменил свое отношение и к Александру Николаевичу, своему ближайшему начальнику: когда тот говорил: «Подождите!» — Степан Михайлович отвечал: «У меня спешное дело. Я зайду через четверть часа», — и уходил. Когда Александр Николаевич черкал бумагу, составленную Степаном Михайловичем, тот вступал в спор, и дело доходило до управляющего. Управляющий вызывал к себе в кабинет Степана Михайловича и спрашивал:

— Что такое у вас вышло там с Александром Николаевичем?

— Я полагаю, что это недоразумение чисто дипломатического характера: Александру Николаевичу нравится все, написанное рукою Гаврилы Никитича, и не нравится все, написанное моей рукою... Извольте, ваше превосходительство, взглянуть...

Степан Михайлович показывал бумагу управляющему, и тот приказывал оставить ее в первоначальном виде. Тогда Степан Михайлович снова переписывал свое сочинение и, подавая его к подписи Александру Николаевичу, кротко замечал:

— Его превосходительство изволили одобрить...

Война с Александром Николаевичем начинала делаться для Степана Михайловича тем центром, вокруг которого стали вращаться все духовные интересы его. Каждая частная победа над этим врагом заполняла сердце Степана Михайловича трепетной радостью и заставляла его удваивать служебную энергию. Наконец пришел день, когда торжество Степана Михайловича завершилось. В Петербурге готовилось особое совещание при министерстве по рассмотрению вопроса об общине с точки зрения интересов фиска. Управляющий палатою особого взгляда на этот вопрос не имел и, как всегда в таких случаях, сделал на запросе резолюцию: «рассмотреть и доложить». Когда этот вопрос рассмотрели и доложили, то управляющий долго пыхтел и расчесывал свои бакенбарды, а потом вдруг вспомнил о том, что у них есть человек, с которым можно по этому делу посоветоваться. Человеком этим

оказался Степан Михайлович. Община сыграла большую роль в жизни Степана Михайловича: совершенно упал в глазах управляющего Александр Николаевич и высоко поднялся Степан Михайлович. С этих пор управляющий во всех затруднительных случаях посылал курьера за Степаном Михайловичем.

— Вас просят его превосходительство! — говорил курьер, с таким умилением обращаясь к Степану Михайловичу, словно и Степан Михайлович был тоже миниатюрным его превосходительством.

— Сейчас иду! — отвечал Степан Михайлович, но не вскакивал с места, давая понять, что он совсем не трепещет перед его превосходительством.

И эти приглашения в кабинет оказывали магическое действие на окружающих: все робко сторонились, когда Степан Михайлович шел в кабинет, а курьеры спешили растворять перед ним двери.

— Где делопроизводитель? — громко и с сердцем спрашивал Александр Николаевич, входя в комнату.

— Их пригласили его превосходительство к себе в кабинет...

— А-а-а...

Сердитая гримаса слетала с лица Александра Николаевича, и он тихо уходил, озабоченный этим новым приглашением.

— Не знаете, по какому делу? — тихо спрашивал он у Гаврилы Никитича, останавливаясь в дверях и оборачиваясь.

— Не могу знать-с...

Через год Степан Михайлович, утвержденный в правах дворянства, получил чин коллежского регистратора, а еще через два — орден Анны 3 степени с особой грамотой, в которой было написано: «Нашему коллежскому регистратору в воздаяние отлично усердной службы и особых трудов».

ТАНИНО СЧАСТЬЕ

I

Никифор нашел себе наконец место: он поступил банщиком в торговые бани купца Вавилова. Когда у него взяли паспорт, он почувствовал, что «теперь дело уж крепко», и довольная улыбка озарила его красивое лицо с темной бородкой и с такими ясными, синими глазами, какие бывают у нарядных и дорогих детских кукол. Он тряхнул головой, покрытой темной шапкой завившихся по концам в кольца волос, и показал такие белые и свежие зубы, словно он никогда еще не ел ими. В конторе Никифору выдали по две смены красных рубах и белых штанов, два пояска, пестрые, с вытканными на них пословицами «без бога ни до порога», старые опорки и медный гребень с редкими зубьями для ношения на бедре на тесемочке, как это полагалось всем банщикам в банях Вавилова. Потом ему велели снять лоснящийся от грязи полушубок, с дырами, чрез которые выглядывал пожелтевший овечий мех, размахрившиеся лапти с онучами и, оставив все это на отведенной ему тут же, при банях, квартире, идти в общее дворянское отделение за десять копеек, хорошенько вымыться и надеть выданную ему форму.

Квартира помещалась в конце полутемного коридора нижнего этажа, где было мрачно, пахло вениками, плесенью и мылом и всегда пели на разные тоны сверчки. Это была крошечная комнатка, с окном в форме растянутого прямоугольника под самым потолком, и оттого, что окно это пропускало очень мало света и было затянуто переплетом железной решетки, комната напоминала тюрьму. В одном углу ее были свалены беспорядочной кучей веники, и они страшно шумели сухими листьями, когда их задевали; в другом углу стоял некрашеный липовый столик с табуреткой, а в двух остальных — нары: одна была пустая, гладкая и лоснящаяся, словно ее натерли воском, а другая — покрыта серым колючим байковым одеялом

с красными поперечинами и забросана старым пальто, с прорванными петлями и вытертым плисовым воротником, жиденькой подушкой в цветной ситцевой наволочке и еще разным хламом из разных видов мужской одежды. Пустая нара и должна была поступить в распоряжение Никифора.

— Светится, — сказал он про эту нару, — видно, что достаточно на ней поелозили!..

И стал располагаться на новоселье. Снял свой полушубок и накрыл им нару мехом вверх; пещер со своим движимым имуществом повесил на стену, на гвоздик, а лапти с онучами снял и пихнул ногой под нару. Потом он сел на овечий мех и почувствовал себя очень хорошо... Лениво почесываясь, он прислушивался к нестройному банному шуму. Сюда доносился глухой и отдаленный звон медных тазов, шум воды, стремительно вырывающейся из открываемых кранов, гул бесчисленных визгливых голосов из простонародного общего женского отделения... Все это сливалось в пестрый, немолчный, какой-то странный хаос звуков, и казалось, что весь этот большой каменный двухэтажный дом был пропитан какой-то бестолковой сутолокой, шумливой, кружащейся вихрем...

— Весело у вас! — заметил Никифор вошедшему в комнату Василию, его будущему сотоварищу и сожителю. Тот был чем-то озабочен, забежал только на минутку и, увидев Никифора, сделал недовольное лицо, потому что в комнате было и без этого Никифора очень тесно.

— Весело, говорю, у вас! — повторил Никифор.

— Как в сумасшедшем дому! — вскользь бросил Василий и скрылся.

Посидев минут пять в приятном самочувствии, Никифор вышел из своей берлоги с бельем под мышкой.

— Куда, почтенный, идти-то? — спросил он у кассира.

— Наверх, прямо, потом налево, первая дверь! — крикнул ему кассир из своего окошечка и показал пальцем на лестницу.

Никифор защелкал каблуками опорышек по каменным ступеням лестницы и нашел дверь общего дворянского отделения.

В большом и высоком предбаннике стояли, как в больнице, в несколько рядов мягкие, накрытые простынями койки, блестели светло начищенные и сложенные в порядке тазы, белели новым деревом опрокинутые вверх дном и уложенные пирамидой шайки. Публики здесь было немного:

на трех-четырех дальних койках сидели, как мертвецы в саванах, люди в белых простынях, а на некоторых — лежали в приятном изнеможении, закинув руки за голову. На сером, аляповатой работы, деревянном диване спал, поджав ноги в стоптанных ботинках, цирульник Иван Павлыч, человек с рыжими торчащими щетиной усами, — и одной рукой на всякий случай держался за свои часы с цепочкой, а другую спрятал под голову. Около дивана возвышалось старое трюмо со столиком, а на столике лежала черная каучуковая гребенка с выломанными зубцами, в которых так много скопилось грязи, что никто из посетителей не решался этой гребенкой причесываться и, взяв в руки, сейчас же клал на старое место. Вдоль внутренней стены колыхалась похожая на широкий половик портьера, и за этой портьерой слышался смех и восклицания: там свободные банщики играли в карты и позванивали медными монетами. В узком пространстве между пологом и вешалками дремал Игнат, старый солдат, который хранил платье и вещи публики и был, кроме того, начальником над банщиками этого отделения.

Никифор вошел и осмотрелся. Первое, что было опять-таки очень приятно, — это теплота, а второе — чистота и обширность... Было похоже, что Никифор вошел к господам, а между тем он здесь — на своем месте. Однако Никифор не решился сесть на мягкую койку, потому что все-таки сомневался... Он заглянул под «полог» — как он назвал мысленно портьеру, и, увидя людей в красных рубахах, понял, что это — свои люди и что их можно спросить насчет коек.

— Поигрываете? — спросил он.

Но никто не ответил: все были в азарте, сверкали белками глаз и стучали кистями рук по ящику, побивая «взятки».

— Надо мыться, — произнес Никифор, желая подойти к решению вопроса издали. Ему не хотелось, чтобы новые его товарищи поняли то затруднение, в которое он поставлен своим невежеством, но так как никто не ответил и на это «надо мыться», то Никифор спросил уже прямо:

— Чай, на этих мягких-то местах нельзя раздеться?

— Валяй! — небрежно бросил кто-то.

Тогда Никифор, уже с сознанием права, расположился на одной из коек и начал раздеваться.

— Мягко! — произнес он, и опять улыбка удовольствия набежала на его лицо. Но очнулся от сладкой дремы Игнат и закричал на Никифора:

— Куда залез? Вот где ваше помещение! Деревня!

Никифор собрал свою одежду и пошел за портьеру, а проснувшийся цирульник Иван Павлыч первым делом справился рукой, не проспал ли он часов с цепочкой, а потом, потягиваясь, спросил:

— Что такое за крик?

И когда Игнат объяснил, в чем дело, то Иван Павлыч опять прилег на диване и, подбирая свои ноги, сказал:

— Посади свинью за стол, она и ноги — на стол!.. А я сплю и вижу, будто брею господина и обрезал ему щеку, а он закричал...

— Мочалку возьми! Деревня! — ворчливо крикнул Игнат шедшему мыться Никифору и бросил ему комок желтой спутанной мочалы.

— А мыло у тебя есть? — спросил он опять сердито.

— Нет! Обойдемся... — ответил Никифор.

— Обойдешься... Вас надо скребком лошадиным, а не то что без мыла... На! Возьми! Вымойся, как люди!.. Деревня!

В бане Никифор удивлялся, как хорошо все прилажено и пригнано: если тебе надо кипятку — отверни один кран, если надо студеной воды — отверни другой... Дождем можно себя облить.

Пол был здесь асфальтовый, гладкий и мокрый, и было так хорошо ходить, что Никифор без нужды, а лишь для удовольствия расхаживал из конца в конец и все думал: «Десять целковых и квартира — жить можно». Примостившись около кранов, он начал наконец мыться. Обмылок, который ему дал Игнат, был из хорошего сорта, и Никифор все удивлялся, какой хороший дух идет от этого мыла.

Когда Никифор вымылся, надел свою форму и подошел к зеркалу, чтобы сделать на голове пробор, то цирульник долго смотрел на него и потом сказал:

— А ты, братец мой, имеешь вид настоящий, приятный! И здоров ты, верно, как бык?!

— Здоровье ничего себе, слава богу, не хвораем...

— А доктор тебя смотрел уж? — спросил Иван Павлыч.

— Нет... Нечего нас смотреть-то, — ответил в смущении Никифор и стал рассматривать медный гребень на бедре.

— В наших местах народ гладкий, красивый, здоровый, как яблочко с дерева — без одной червоточинки! — похвастался из своего уголка Игнат.

— А вы с ним разве из одних краев? — полюбопытствовал Иван Павлыч.

— Соседских губерний: я — Ярославской, а он — Нижегородской...

— Разница между вами, однако, есть! — иронически воскликнул Иван Павлыч.

Игнат был плюгав и невзрачен, и потому цирульник имел основание ухмыльнуться.

— Теперь уж, конечно, стар, износился, — пояснил Игнат, — а раньше был тоже и я этакий...

Никифор пошел к товарищам за «полог». В карты здесь уже не играли, а кто лежал, кто стоял или сидел, и тихо разговаривали о разных удивительных случаях, какие бывают в жизни. Разговоры были занятные, и Никифор со вниманием входил в каждый такой случай. Вся эта жизнь, из которой рассказывались разные случаи, была для Никифора новой, полной интереса и немножко страшной, — и Никифор неподвижно останавливал свои синие кукольные глаза на рассказчике, раскрывал рот и весь уходил в положение героев повествования.

День прошел незаметно. К вечеру банный шум стал усиливаться; стеклянная дверь на блоке то и дело хлопала и звенела, посетители в нее лезли и лезли, и мягкие койки начинали кишмя кишеть от одевающихся и раздевающихся, которые беспрестанно кричали повелительно и громко: «Банщик!» Дело шло бойко, суетливо. На стул, к зеркалу, то и дело присаживались люди, — и Иван Павлыч, нагнувшись, ходил вокруг и звонко пощелкивал ножницами... Большой раздевальный зал был наполнен разговорами соседей, звонкими голосами детей, приведенных чадолюбивыми отцами, шумом, который врывался сюда из бани и состоял из смешанных звуков от стука тазами, шайками, плеска воды, кашля и кряхтения... Никифор немного растерялся от всей этой суматохи, хотя и она ему нравилась. Он подавал тазы, шайки и мочалки публике, свертывал уходящим разбросанное белье и приводил в порядок освободившиеся койки. День, однако, кончился для

Никифора не совсем ладно: с ним стряслась беда, которая испортила ему приятное настроение. Позвали банщика, а все они были заняты, и Игнат послал Никифора.

— Кто требовал? Кого мыть? — спросил Никифор, довольный, что и он попал в настоящее дело.

— Сюда, голубчик! — ответил сидевший на лавке человек.

— Ложись! — сказал Никифор...

— Дурак! Невежа! Как ты смеешь мне так говорить! Я — полковник!

— Ну, сиди... можно и так устроить, — сказал оторопевший Никифор.

Кругом все перестали мыться и, обернувшись, смотрели на полковника и Никифора. Полковник долго ругал Никифора, а потом растворил дверь в раздевальный зал и начал шамкающим беззубым ртом ругать всех: и купца Вавилова, и Никифора, и самое баню. Никифор потихоньку прошел за «полог» и, сев на кушетку, стал усиленно думать, чем он не угодил этому старику и что теперь будет? Время от времени «полог» раздвигался, и в отверстие заглядывало сердитое лицо Игната.

— Дурак! Деревня! Олухи! — говорил Игнат, и «полог» закрывался, потому что Игнату было некогда хорошенько поругать Никифора и он пользовался для этого только свободными минутами.

Когда банный день кончился, общие отделения опустели и были приведены в порядок, — банщики разошлись по своим конурам. Войдя в свое помещение, Никифор зажег спичку, чтобы на что-нибудь не наткнуться в темноте, и увидел, что Василий уже лежит под своим серым, с красными каймами, одеялом и смотрит в потолок.

— Не спишь еще? — спросил Никифор.

— Долго мне не спится... Все шум в ушах, тазами бренчат, и как стану засыпать, то чудится все, что банщика кричат... О, господи Иисусе! Как сверчки верещат, окаянные!..

Чрез окошечко под потолком падал свет от ближайшего уличного фонаря и дрожал на сухих листьях веников. Глаз мало-помалу привыкал к темноте, и когда Никифор улегся и, вытянув ноги, завернулся в свой овечий мех, то ясно уже стал различать потолок и стены.

— За что он меня? — произнес Никифор.

— Кто? Полковник-от?

— Да.

— Вспыльчивый он... даром что отставной!.. Гар-рячий!

— Вот како дело-то! — прошептал Никифор.

— Господам должен ты сказать: «Вы, ваше благородие», — или еще можно: «Ваша милость», — а чтобы прямо — ложись! — этого нельзя, деликатность не дозволяет...

— Конешно.

— Охо-хо!.. Хотя оно, наше дело, с виду и легкое, а все-таки надо приснорови́ться, — позевнув, сказал Василий, — самый разнообразный народ у нас: и благородные, и купцы, и из простых, и чиновники, и из духовного звания... Хорошо, ежели ты его знаешь, если уж известно тебе, как к нему подойти и как за него взяться... А ведь много и новых бывает... У всякого своя привычка, свой карактер... Охо-хо! Господи Иисусе!..

Василий опять позевнул и, понизив тон, опять заговорил с каким-то умилением:

— Боже ты мой, сколь я на своем веку людей перемыл и перепарил! Пропасти! Легионы людей!

— А давно служишь по этой части?

— Давно уж... Годов пятнадцать, если не больше... Спервоначалу каждому трудно бывает. Боишься, конечно, что не угодишь, и смелости в руках нет. Либо больно стараешься, либо слабо берешь, а это — кто как любит. Опять же эта духота одолевает: весь день — в жару, мокрый, спать охота, голову клонит... Да уж и бел больно! Одним словом — банный человек!..

Никифор слушал, и ему делалось все страшнее и страшнее: дело, по рассказам Василия, казалось теперь Никифору таким сложным, запутанным и трудным, что тревога и беспокойство начинали овладевать им, и в душу прокрадывалось сомнение: справится ли он с этим трудным делом?..

II

К рождеству Никифора перевели в номера. Перевод этот был вызван не заслугами Никифора как банщика, а тем, что он был видный, красивый и не пил водки, ходил опрятно и расположил в свою пользу управляющего простотой и честностью. Товарищи завидовали Никифору и ругали его «стерьвой», потому что всем им хотелось по-

пасть к номерам и все этого добивались и вели по этому поводу интригу друг против друга. Попасть туда было выгодно, потому что хотя жалованье оставалось и то же самое, но было много доходов посторонних и, при уменье и сноровке, можно было заработать рублей тридцать — сорок в месяц.

— Вот счастье стерьве проклятой! Без году неделя служит, а к номерам попал, окаянный! — говорили между собой банщики.

Но сам Никифор не понимал еще хорошенько преимуществ своего нового служебного положения и думал, что все они заключаются в большем спокойствии и в том, что дело при номерах — чище и благороднее...

У номерных банщиков была в коридоре комната с большим настоящим окном на улицу, без железной решетки, и жили они вообще с большими удобствами и комфортом, чем все другие. К этому времени Никифор успел немного оправиться от бедности: он завел сапоги и крытый черным солдатским сукном полушубок, купил коричневый войлок для подстилки и подушку из сена. Он был очень аккуратен и любил, чтобы постели были прибраны и чтобы не было на полу сора и окурков. С ним вместе жил теперь новый товарищ, по имени Петр, который ходил не в красной рубахе, а в парусиновом пиджаке и в летних старых брюках сиреневого цвета; поэтому Никифор на первых порах относился к нему с почтением и называл его «Вы, Петр Петрович». У Петра были серебряные часы с эмалью на крышке и цепочка с массой самых разнокалиберных брелоков, и это обстоятельство сильно поднимало Петра в глазах Никифора.

— Сколько дали? — спрашивал он, покачивая в руке тот или другой из брелочков, показываемых ему товарищем.

— Три рубля!

— А энтот?

— Пять! — врал нагло Петр Петрович, а Никифор проникался уважением и убирал постель своего сожителя и ставил самовар, который тоже принадлежал будто бы Петру Петровичу, и тоже действовал, как часы с эмалью и цепь с брелоками.

Но это продолжалось недолго. Никифор был все-таки человек неглупый и сметливый: видя, что управляющий называет Петра Петровича — Петькой, а его — Никифором, Никифор стал сомневаться в правильности устано-

вившихся отношений, и когда Петр Петрович начинал на него покрикивать, Никифор начинал говорить: «А вы потише! Не страшно!» Часы с эмалью и цепь с брелоками как-то тоже перестали импонировать, а про самовар и говорить нечего. Мало-помалу Никифор стал выходить из-под власти сожителя и начинал чувствовать себя ничуть не хуже. Постепенно он спускал в разговорах с сожителем тон почтительности и с «Петра Петровича» перешел на «Петра», с «вы» — на «ты», а затем и на «Петьку».

Петька был шустрый и хитрый и всеми силами старался отстранить Никифора от доходных банных предприятий, охотно уступая ему право мыть, парить и получать за это «на чай». Но и такое положение дел не могло продержаться долго. Сперва Никифор думал, что Петька ленится мыть людей и что он — зажиточный, потому что когда он раскрывает свой большой замшевый кошелек, то там всегда есть кредитки. Но потом и в этом стал сомневаться. Как-то раз прежний сожитель Никифора, поймав его на лестнице, спросил:

— Скоро ты за ум возьмешься?

— А что?

— Вчера Петька пятерку получил, а дал ли он тебе хоть двугривенный с дырой?

Они поговорили, и Никифор понял, почему у Петьки всегда деньги в кошельке.

И с этого дня Никифор стал оборонять свое право на участие в доходах.

— Это что же означает? — спросил он раз Петьку. — По какой причине ты людей мыть не хочешь? Ты думаешь, дурака нашел? Мы это очень хорошо даже понимаем!

И когда вышел такой случай, что потребовали банщика, а Петька хлопотал по специальности, Никифор уперся:

— Поди, мой вон энтого стрикулиста в шестом номере! Требует банщика. Я сейчас вымыл одного, теперь ты ступай!

Петька сперва прикрикнул, но, видя, что крик не действует, стал заискивать:

— Никифор! Или не видишь, что я не могу? Нешто товарищи так делают?

— Не вижу и видеть не хочу! Пойду к управляющему, — пусть он скажет, почему я один всех парить должен.

Дверь из номера отворилась: в коридор вышел пьяный господин в одной жилетке и стал кричать Петьку. Петька подбежал, о чем-то они тихо поговорили между собой, и потом Петька взялся за картуз.

— Ты куда? Я захворал, не могу.

— Как это «не могу»?

— А очень просто! Я сегодня четверых вымыл, а ты ни одного... Пойду к Михал Павлычу и скажу...

Петька постоял, произнес «эх!» и, отозвав Никифора в сторонку, сказал:

— Постарайся уж! Я тебе пару пива выставлю.

— Не надо пива... Не пью. Мой людей!

— Да ведь видишь — мне ехать надо? Как это ты понять не можешь?

— Понимаю, очень даже хорошо понимаю... И я, брат, съездить-то могу. Не велика тут мудрость.

Когда Петька увидал, что ничего не поделаешь, он сказал: «Ну, поезжай ты! Все одно! Потом разочтемся...» — и подробно рассказал, куда ехать.

— Вот давно бы так! — ухмыляясь, сказал Никифор и отправился.

У бань всегда стояли извозчики до самого свету, и все они знали, зачем теперь выскочил из дверей Никифор в накинутом на плечи полушубке.

— Куда тебе?

— На Мокрую.

— Садись!

Никифор вскочил в санки, и извозчик погнал лошадь. Город уже спал, на улицах было пусто и тихо; изредка стучали ногами по обмерзшему тротуару запоздавшие пешеходы, иногда тянулись шажком пустые и рысцой — занятые извозчики; магазины и лавки были заперты, караульщики звонко постукивали своими трещотками, и порой резкий полицейский свисток прорезал тихий морозный воздух. Ночь была ясная, звездная, — снег визжал под санками и казался усыпанным синими огоньками... Никифор ехал так быстро, как ездят только на пожар, и в глазах его мелькали окна и фонари, и замирал дух. Когда лошадь уморилась и пошла шагом, Никифор стал думать, хорошо ли он сделал, что вмешался в это мерзкое дело. «Все-таки, что ни говори, а мерзость всегда мерзостью останется!» И был момент, когда Никифор готов был выпрыгнуть из санок. Но извозчик опять пустил лошадь

быстрой рысью, и санки опять полетели словно на крыльях.

— Тпру!

Извозчик разом осадил лошадь, и Никифор чуть не вылетел из саней.

— На этом дворе... Иди прямо, мимо помойной ямы, а потом — налево, увидишь там домик маленький с крылечком...

Никифор вылез и пошел отыскивать. Двор был тесный и грязный, с лабиринтом тропочек и закоулков, между хлевушками и амбарушками. Нашел Никифор и маленький домик с крылечком. В одном окне светился огонек. «Надо быть, тут». Никифор осторожно пошел к огоньку и посмотрел в окошко: видит — стол, на столе лампа с зеленым бумажным абажуром и круглое зеркало; перед зеркалом сидит женщина в белой кофточке и расчесывает длинные волосы; видно, что она собирается спать: постель раскрыта. Когда эта женщина стала заплетать косу и повернулась, Никифор увидал молодое и красивое лицо; лицо это было задумчиво и таким оставалось все время, пока женщина заплетала свою русую косу. «Не больше семнадцати лет... вот она мерзость-то!..» — подумал Никифор и продолжал стоять и смотреть, потому что ему было очень любопытно посмотреть со стороны, что это за люди такие и как живут и что делают, когда сидят дома одни. Когда женщина кончила заплетать косу и отбросила ее рукой за спину, то облокотилась на стол и опять стала о чем-то думать. «Пригорюнилась», — подумал Никифор, а он никак не думал, чтобы такие люди тосковали, и ему стало жалко эту женщину. «С виду совсем барышня, молоденькая, хорошенькая... Ей бы за хорошего человека замуж выйти, счастье свое найти, а оно вон что!» — подумал Никифор. Особенно заболело у него сердце, когда он увидал, что девушка встала и начала молиться богу; помолившись, она перекрестила подушку, загасила лампу и задернула занавеску. Никифору стало неловко и стыдно чего-то. Тихонько ступая по снегу, он отошел от окна и начал в раздумье похаживать около крылечка. И все он не решался стучаться; в его голове осталась эта картина, как молилась девушка и как она перекрестила свою подушку, и это отнимало у него смелость.

— Что же, долго я буду ждать? — спросил извозчик, похрустывая снегом под ногами.

— Да все не знаю, куда стучаться... Как бы тут кого не обидеть...

Тогда извозчик крупными, решительными шагами подошел к крылечку и начал сердито стучать в дверь сперва кнутовищем, а потом железной защелкой. Стук этот звонко разносился по двору, и Никифору было неловко, и он чего-то боялся.

— Кто там безобразничает? — спросил наконец голос изнутри.

— За Таней! — ответил извозчик. — Дома она?

— Дома-то дома, да пожалуй, что не поедет... Скучает она сегодня.

— Из этого ничего не выходит, что скучает... Ты — куфарка, твое дело сказать, а не разговаривать...

Никифор стоял в стороне и, слушая эти переговоры, чувствовал себя так, словно он в чем-то был виноват, и он думал опять, что не следовало бы впутываться в это мерзкое дело. Отворив дверь, кухарка убежала, потому что была в одной юбке.

— Стерьвы! — вслух подумал извозчик и сказал, обращаясь к Никифору:

— Иди!.. Скажи, порядочный господин требует, а не то чтобы шваль какая, — скорее соберется...

Появился огонек и в другом окне: это кухарка принесла в залу лампу и пригласила войти туда Никифора. Никифор вошел и начал с любопытством осматривать помещение: чисто, прибрано, стульчики по стенкам расставлены, на столе вязаная скатерть, на окне — кисейная занавесь, у порога половичок... В переднем углу — образ... Все, как у людей... На стене висела картина: старик со звездой у борта фрака стоял рядом с молоденькой девушкой под фатой, и лицо у девушки было печальное, а у старика — важное и довольное. Никифор рассматривал эту картину; он понял, что это — за немилого замуж отдают... Где-то торопливо стукали маятником маленькие стенные часики, а через стену был слышен разговор:

— Не хочется, Ариша... Смерть не хочется!

— А коли так — нечего томиться...

— А ничего, Ариша, не поделаешь... Верно, уж ехать, что ли...

Никифор вздрогнул и кашлянул.

— Скучно вам дожидаться? — спросил женский голос из соседней комнаты.

— Ничего, подождем! — ответил Никифор.

— Может быть, пива выпьете?

— Много благодарны, не употребляю...

— Соскучитесь, покуда я стану одеваться, — опять сказала Таня и сладко позевнула, шурша крахмальной юбкой.

— Спать бы теперь, а уж что касается пива, окончательно не могу...

В это время вышла кухарка и заметила с досадой Никифору:

— Вы думаете, только вам одним спать-то хочется?.. Она вон третью ночь отдыха не видит!

— Надо бы себе спокой дать! — ответил Никифор, а в оправдание себя добавил: — Посылают нас, ничего не поделаешь...

— На том свете всем спокой будет, — сказала Таня, появляясь в дверях.

Никифор встал, и опять ему стало неловко. Он смотрел на Таню и думал: «Шубка, шляпка, мухта в руках!.. настоящая барышня и красотка!»

— Вы от кого?

— От Вавилова прислан...

— А Петр разве не служит уж там?

— Служит, а только его нет... Меня послали, — немного смутившись, ответил Никифор.

— А вас как зовут?

— Никифор... Миколаич по батюшке.

— Смотрите, Никифор Николаич, я только рубль посыльному даю. Чтобы не было потом неприятностей — я этого не люблю! — сказала Таня, а Никифору так стало вдруг стыдно, что у него загорелись уши.

— Что вы! Мне ничего не надо... Я не возьму ничего...

— Зачем же ничего! Я даром не хочу. Как обыкновенно, рубль... Вот еще какой добрый. Петр все торгуется и все недоволен, а вы — даром! Добрый человек нашелся...

Они пошли, и, пока проходили двором, Таня говорила:

— Добрый человек нашелся!.. А то все норовят кусок изо рта вырвать: извозчику плати вдвое, за квартиру — вдвое, коридорному дай, посыльному дай!.. Больше половины вырвут... Вот добрый человек нашелся!

— Совсем лошадь застыла... Этак ждать — рубля не возьмешь! — заворчал извозчик, когда они вышли из ворот и стали усаживаться в санки.

Лошадь рванула с места, сделала крутой поворот и помчалась, играя селезенкой. И опять стало захватывать дух, огоньки замигали кое-где по окнам, и фонари побежали назад длинной цепью... Никифор сидел и сбоку посматривал на соседку: она дремала, уткнувшись лицом в муфточку, и покачивала пером шляпки. На одном ухабе их сильно подбросило: Таня ахнула и отняла от лица муфточку.

— Сон видели? — спросил Никифор.

— Мочи нет, как спать хочется... Так бы, кажется, ехала и ехала, чтобы и конца не было.

— А зачем поехали! Надо бы себе передышку дать, — сказал Никифор.

— Нельзя. Нынешний месяц совсем плохо... Жить тоже и нам надо...

— Это конешно!

— В субботу срок за квартиру, — десять рублей надо, а у меня в кармане-то всего полтинник... Маменьке в среду красненькую послала... Трудно очень жить...

И Таня замолчала и опять спрятала лицо в муфточку. А Никифору стало ее жалко, и он подумал: «Хорошая девушка! Богу молится, мать родную помнит — сердце, значит, доброе; а вот, поди же! От мерзости человеческой живет, сама кормится и родительнице помогает», — и это ему было непонятно, и он тупо смотрел на снег, скользивший под санками... Некоторое время они ехали молча; а потом Таня спросила:

— Вы мне скажите, Никифор Николаич, по правде: к трезвому или пьяному гостю меня везете?

— Надо правду сказать: выпимши, хотя не так, чтобы окончательно...

— Если бы раньше сказали, — я, может быть, и не поехала бы...

— Этого я не знал, а то, конечно, почему не сказать... В другой раз буду знать...

— Мука мученская с пьяными... Очень уж противно!.. — сказала Таня.

— Пьяный человек — охальник... это правильно...

— Некоторые, если пьяные, добрее бывают... Но уж очень трудно! Скандалистов я очень боюсь. На прошлой неделе один такой — еще чиновник! — все платье изорвал... А платье новое, только к праздникам шила, шерстяное...

— Тпру! — фальцетом выкрикнул извозчик, и санки остановились.

— Приехали, — со вздохом произнесла Таня и стала вылезать из саней.

Долго в эту ночь не спал Никифор. Он все думал о Тане и о человеческой мерзости, а когда он закрывал глаза, то пред ним светилось окно, а в окне было видно, как молится девушка в белой кофточке с косой и потом крестит подушку...

— Фу ты, боже мой! Нет сна — и кончено! — тихо говорил он, поворачиваясь с боку на бок.

А Петька храпел, и вся комната наполнялась его сопеньем.

«Не гребтится человеку», — думал Никифор и отдувался.

III

Один раз Никифор встретил Таню на улице. Он бежал из бани, без шапки, в портерную за пивом, а Таня проходила по панели.

— Никифор Николаич! Постойте-ка! Я вам рубль должна... Куда-то вы тогда пропали, и я не могла вам заплатить... Извините меня!..

— Я не возьму, — сказал Никифор и отмахнулся рукой, — я так считаю, что мне не за что!..

— Вот добрый человек нашелся! — сказала Таня и весело засмеялась, с удивлением оглядывая Никифора своими карими глазами. — Когда-нибудь зайдите ко мне так, по знакомству — я буду очень рада, если зайдете посидеть...

— С большим удовольствием! Отчего же не зайти, если вам мое знакомство неприятности не сделает.

— Что вы, бог с вами! Чем же это мне гордиться перед вами? Нечем, Никифор Николаич!

— Так-то оно так, а все-таки интересу я для вас мало имею! — ответил Никифор.

— Напрасно так думаете! Я без всякого интереса вас зову... Хороший человек мне очень приятен, потому что у меня нет вовсе таких знакомых, которые бы так, без интереса, меня знали...

— В таком разе зайду... Весьма благодарен, Татьяна Семеновна, что не гнушаетесь моим знакомством!

— Будет вам! Какие пустяки говорите! Ну, до свиданья! Буду ждать вас! — сказала Таня и подала Никифору руку в лайковой перчатке. Никифор пожал эту руку, и опять у него скользнула мысль, что Таня похожа на настоящую барышню... Он долго смотрел ей вслед, пока не вспомнил, что в бане ждут пива...

В первое же воскресенье Никифор отпросился до обеда. Светло начистив свои сапоги со сборками и нарядившись в пиджак, купленный им за целковый у Петьки, он сперва пошел к обедне, а оттуда отправился с визитом к Тане.

— Вот это вы хорошо сделали, что пришли! — встретила его Таня. — Вы меня извините, я не успела еще и голову причесать... Присаживайтесь! Я — сейчас...

— Спали долго?

— Какой наш сон!

Кухарка Ариша принесла и поставила на стол самовар, поздоровалась с Никифором за руку и спросила:

— У Вавилова служите?

— У него.

— Много ль получаете?

— Пустое! всего десять цалковых, — ответил Никифор, которому теперь десять целковых не казались уже такими большими деньгами, как сначала, когда он поступил...

— Сбегай, Ариша, за булками! На вот тебе десять копеек, — сказала Таня, выходя из спальной, а потом поклонилась еще раз Никифору и подсела к столу, с другого края.

— Кофием я вас угощу, Никифор Николаевич... У обедни, верно, были?

— Был, у спаса, поют там очень хорошо...

— А я не помню, когда уж и в церкви-то была!.. Где уж нам! Некогда о боге-то вспомнить, — произнесла Таня и поджала губки...

Она была нарядная. На ней было голубое платье с белыми кружевцами по вороту и обшлагам рукавов, в русых волосах алел воткнутый искусственный цветочек от летней шляпки, а в руках она держала носовой платок и обмахивалась им, как веером... Глаза у ней оставались как-то прикрытыми, а когда она приподнимала веки с ресницами и карие глаза останавливались на лице Никифора, то он смущался и не знал, о чем бы еще поговорить.

— Сегодня морозит порядочно... Все деревья как будто мукой обсыпаны!

— А у меня, слава богу, тепло! Я очень довольна своей квартирой, а только вот хозяйка очень уж неделикатная, навязчивая...

— Дорого платите?

— Десять.

— Дороговато...

— Кушайте кофий, пожалуйста! — сказала Таня и, положив в стакан очень много сахару, подала Никифору и спросила: — Может быть, вы — без молока привычку имеете?

— А как сказать? Не доводилось этого кофию пить, — смутившись, ответил Никифор.

Когда Таня доливала кофейник из самовара, то держала мизинец на отскочке, и рука ее, белая и маленькая, с колечком на безыменном пальце, удивляла Никифора: «Как барышня», — думал он и опять начинал стесняться перед Таней. В момент такого стеснения он смотрел на висевшую на стенке олеографию, где был изображен старик со звездой и девушка под фатой, и, заметив это, Таня сказала:

— Очень уж печальная эта картина! Называется «Неравный брак». Видите, он старик, лысый, а она — совсем херувим...

— Что же, родители силком выдают? — спросил Никифор, подходя к картине.

— А уж это неизвестно... Может, родители, а может — и сама, для выгоды... Нужда заставит — выйдешь за всякого, — вздохнувши, сказала Таня.

— Случается, — ответил Никифор, присаживаясь опять к столу.

Потом они стали разговаривать о родине.

— Летом домой собираюсь съездить... Маменька уж старая, умереть может, так и не увидишь... Только все с деньгами не соберусь... Буду вот каждый месяц по рублю откладывать... Как уехала, — не видала маменьку. Три года, четвертый... Пятнадцать лет не было, меня увезли...

Таня покраснела, потому что вспомнила что-то, и замахала платочком.

— Жарко очень! — сказала она.

— Вам бы вместе с матерью жить надо...

— Этого никак нельзя... Она не знает, что я такая стала... А узнает, не дай бог, что будет!..

Никифор напился кофею, вытер красным платком пот с лица, потом еще посмотрел картину и стал прощаться. Таня стала его упрашивать, чтобы посидел.

— Служба не дозволяет. Только до часу отпущен... Зайду в другой раз, а теперь счастливо оставаться, покорно благодарю на угощении!..

— Будемте знакомы! Я вас буду ждать... Не обманете?

— Зачем же...

Таня вскинула на Никифора свои карие глаза и улыбнулась ему.

— Возьмите вот этот цветочек, — сказала она, вынув из волос алый бутончик с двумя листочками. — Когда увидите его, вспомните обо мне и придете...

— Я и так буду помнить, — ответил Никифор, взял бутон, рассмотрел его со всех сторон и положил в карман пиджака.

— Счастливо оставаться!

— Ну, смотрите: я буду ждать!

Никифор ушел, и Тане стало скучно. Она подбежала к окну и увидела, как Никифор, мелькнув на мгновение, исчез за хлевушком. Таня села на стул, и лицо ее сделалось печальным.

— Что пригорюнилась? — спросила Ариша, убирая со стола посуду.

— Так что-то... Сердце что-то скучает... Когда, Ариша, с хорошим человеком поговоришь, то всегда тоска нападает...

— Пошла бы погулять! Праздник, на улице весело...

— Не хочется, Ариша... Что ходить одной!.. Никто не подойдет, точно к гадине какой...

Потом Таня пошла в спальню, легла в постель и стала тихонько плакать...

Когда наступил праздник, Таня как проснулась, так сейчас же вспомнила, что, может быть, сегодня придет Никифор Николаевич. Она принарядилась и долго смотрела в зеркало и поправляла волосы, потому что ей все казалось, что не выходит прическа... До двенадцати часов она была веселая, напевала «За рекой на горе лес зеленый шумит», а после двенадцати стала нетерпеливой и все смотрела в окошко. Но Никифор не приходил, и

Тане было так скучно, что она опять стала тихонько плакать...

Зато в следующее воскресенье ее ожиданья не были напрасными: Никифор пришел, и ей было почему-то смешно и хотелось шутить. Она опять напоила его кофеем, а потом принесла бутылку вишневки, колбасу в ломтиках на тарелке и две рюмочки.

— Выпейте, Никифор Николаич?

— Одному как-то не выходит...

— И я с вами за конпанию выпью! Ну, за наше знакомство с вами!

Они чокнулись и выпили, а когда Никифор поставил свою рюмку на стол, то на скатерти осталось красное пятно.

— Экий грех! Изгадил вам вещь!

— Пустяки! Оставьте! Ничего не составляет, — успокаивала Таня и смеялась звонко и весело над Никифором, который был очень обескуражен промахом и все старался как-нибудь ослабить пятно, а оно только шире расползалось по скатерти.

— Вы не были в моей комнате? Подите-ка посмотрите, как у меня мило! — похвасталась Таня, и когда Никифор вошел туда, ему очень понравилось. Над круглым зеркалом был приколот японский бумажный веер, стол накрыт кумачом до самого пола, а на столе разные безделушки, пузырьки и коробочки. И все это в порядке.

— Одеяло новое купила, — сказала Таня, видя, что главного-то Никифор и не замечает.

— А чьи это патретики? — спросил Никифор, показывая рукой на стену, где была целая коллекция старых, выцветших фотографических карточек.

— Кто их знает! Это так! для виду...

— А я думал, сродственники или знакомые...

— Кто нам даст свою карточку? Никто. Нехорошо... И вас, если я попрошу, тоже ведь не дадите?!

— Почему не дать? Нет только у меня.

Таня стала упрашивать, чтобы Никифор снялся и чтобы подарил ей карточку.

— Я вас на столе у себя поставлю в спальной и буду на вас каждый день смотреть.

С тех пор Никифор начал захаживать к Тане каждый праздник, а иногда забегал ненадолго и буднями. Когда не удавалось вырваться из бани, Никифор сердился и на-

чинал ворчать: «Нет никакого спокою человеку... даже в праздник отдыху не знаешь!» — и кому-то потихоньку грозил, что как только получит жалованье, то сейчас же сойдет с места. А когда он получил это жалованье, то первым долгом отправился в фотографию и снялся, заказав две карточки: одну для Тани, а другую решил послать в деревню, к своим... Потом, когда Никифор получил эти карточки, то долго смотрел на себя и все удивлялся, что он такой красивый вышел... А с карточки смотрело какое-то испуганное лицо, с черными, словно вылезавшими с картона глазами, и было похоже на то, что в то время когда фотограф снимал Никифора, то его кто-то крепко и неожиданно ударил в спину. Когда Никифор показал свою карточку Петьке, тот завистливо ухмыльнулся и сказал:

— Больно уж тут ты красив вышел!

И потом Петька смотрел на себя в зеркало и все думал, что и ему тоже надо сняться.

Тане карточка не особенно понравилась.

— В натуральности вы, Никифор Николаич, много лучше, чем здесь! — застенчиво сказала она, но все-таки была так довольна подарком, что сейчас же сбегала в кухню показать карточку Арише.

— Кто это? — спросила она с улыбкой Аришу.

— Кто! Конечно, Никифор!.. Как живой!

Потом она вернулась и то и дело вынимала карточку из кармана, смотрела сперва на нее, потом на настоящего Никифора и смеялась.

Когда через неделю Никифор пришел к Тане, она вынесла на подносе белую расшитую по воротнику и рукавам розами рубаху и шелковый пояс с кисточками.

— Это примите от меня в знак памяти! — сказала она и добавила: — К брюнетам белое очень идет...

— За что это, Татьяна Семеновна? — смущенно произнес Никифор.

— Ни за что, а так!.. Хорошего человека приятно подарить... Я этим себе удовольствие делаю...

Однажды Никифор вечером зашел к Тане и увидел в передней на гвозде пальто с светлыми пуговицами, а на полу резиновые полуботинки на красной фланелевой подкладке с медными буквами на пятках. И как только он это увидел, то ему стало обидно, и лицо его сделалось недовольным и серьезным. Войдя в залу, он осмотрелся: здесь было очень светло, потому что горели две лампы, одна на

столе, другая — на стенке; Таня была не одна. Сама она сидела в одном углу, в том самом голубом платье, в котором впервые принимала Никифора, и опять у ней в руке был носовой платочек; а в другом углу, около окна, сидел студент в тужурке и пьяными глазами смотрел на Таню. Он развалился и, сдерживая икоту, что-то говорил.

Увидев Никифора, Таня встрепенулась, покраснела и улыбнулась виноватой улыбкою.

— С праздником поздравляю! — сказал серьезным тоном Никифор.

— Садитесь, гостем будете, — смущенно ответила Таня, поправляя одной рукой юбку, а другой — волосы.

— У вас, Татьяна Семеновна, и так гости. К гостям-то кстати! — произнес Никифор, но руки не протянул.

— Тань, а Тань! — бурчал пьяный студент.

— Что вам?

— Тань-встань! Тань-встань! — повторил пьяный студент и стал манить ее рукой.

Верно, ему очень понравилось это «Тань-встань», потому что он повторял его много раз.

— Ну, что вам? Вы мне прискучили! — раздраженно воскликнула Таня.

— Поди сюда и сядь! Тань! Встань и... сядь! — клоня голову и указывая себе на колени, пробучал студент.

— Ровно при людях-то и нехорошо, господин! — злобно сказал Никифор. — А еще студенты!

— Что такое? — грозно спросил студент, поднимая голову.

— А вот то же самое! — сказал Никифор, тряхнув кольцами волос. — А, между прочим, дело Татьяны Семеновны... Может, они и сядут, а мне прикажут вон уйти.

Таня вскочила с места и скрылась за дверью спальни, а потом шепотом позвала Никифора.

— Что скажете? — холодным и недовольным тоном спросил Никифор, войдя к Тане.

— Что это вы, Никифор Николаич! Бог с вами! Разве я вас на кого-нибудь променяю? Как вам не стыдно! Только как он гость, так приходится терпеть... Мое дело такое...

— А в таком разе мне уйти? Хорошо, я уйду.

— Не пущу! ни за что не пущу! Сиди тут! — прошептала Таня, и не успел Никифор опомниться, как Танины

руки обвили его шею. Оторвавшись, Таня вышла в зал и притворила за собой дверь, а Никифор сел на постель и был похож теперь на свой портрет как две капли воды. Он очнулся лишь тогда, когда услыхал стук в зале и сердитый голос Тани: «Оставьте!» Тогда он выбежал как зверь, схватил студента в охапку и поволок его к дверям. Затем он пихнул дверь ногой и, когда дверь с шумом раскрылась, ткнул студента в спину, и он стремительно застучал по сеням ногами.

— Никифор! Опомнись! Что с тобой? Ведь — гость он!.. — сказала Таня.

— Я здесь гость! — закричал Никифор и, схватив с гвоздя форменное пальто, а с полу калоши, выкинул их в сени. Потом вернулся, сел и стал тяжело дышать.

— Какой ты ревнивый! — прошептала Таня и стала смеяться нервным смехом от страха и непонятной радости. — И стоит того, ревновать ихнего брата! Плюнь, и все тут! На-ка выпей водицы!..

Покуда Никифор пил воду, Таня смотрела на него пристально своими карими глазами и, улыбаясь, говорила:

— Чисто бешеный ты! Право! Стоит ревновать! Я так даже их и за мужчин не считаю... Что вот этот стол, что они — для меня все равно...

Потом Таня наклонилась к Никифору и прошептала:

— Тебя я, бешеный, люблю... А эти... все равно что нет их! слышишь?

— Как-то неладно будто, Танюша, выходит... — произнес Никифор.

— А чего не ладно-то? Ты — мой предмет, а они — гости! Им моя любовь не нужна, а мне на ихнюю — наплевать... А ты... Тебя буду любить всем сердцем... Одного только! Понял?

Когда поздно ночью Никифор возвращался домой и, похрустывая крепким снегом, шагал по дороге, то он думал о Тане и о том, что случилось, и совсем не удивлялся этому, будто так и должно было быть... Ему казалось, что он любит Таню очень давно и что только любовь эта не выходила наружу, а сидела где-то внутри и пряталась.

— Где шатался? — спросил Петька, когда Никифор вошел в комнату.

Но Никифор не ответил, а поскорей разделся, лег и стал думать о Тане...

IV

Петька был доволен, потому что Никифор перестал в его дела вмешиваться. Никифор стал задумчивым и молчаливым и часто не слышал, что ему говорят: уставится своими кукольными глазами, смотрит и ничего не слышит и не видит.

— Что ты шальной какой! — заметил однажды Петька.

— Это не твоего ума дело, — презрительно ответил Никифор.

Он тосковал по Тане и томился от праздника до праздника. По ночам ему плохо спалось, и он все думал о Тане и о том, что он — предмет... «Так-то так, да все что-то неладно», — шептал он, а Петька спрашивал:

— С кем ты это говоришь?

— Не с тобой!

Никифор мечтал по ночам о том, как было бы хорошо, если бы они с Таней состояли в законе; мечты эти в тишине ночи разрастались, и Никифор засыпал со счастливою улыбкою на лице. Но утром мечты улетали и оставляли на душе Никифора только смутную тревогу и горечь. И, одеваясь, чтоб топить печи, мыть коридор шваброй и чистить медные тазы, Никифор упрекал себя в глупости: «Разе ты можешь? — мысленно говорил он себе, шаркая тряпкой по звенящей меди, — она ходит в шубке, в шляпке с мухтой, квартира у ней десять целковых; каждый месяц родительнице десять посылает, кофий там и прочее... Жизнь у вас совсем неподходящая... На щи да кашу этакую кралечку не посадишь... А ты всего-то десять целковых получаешь...» И таз стучал под его руками, и казалось, что он хочет протереть его тряпкой насквозь.

Иногда, глядя на Танюшу, Никифор говорил:

— Кабы бросить тебе эту самую мерзость!..

— Вот накоплю денег, тогда брошу... А покуда... молчи. Терпеть надо... Маменька старая уж, надо ей помогать, надо самой жить...

— На место бы поступила...

— Куда поступишь? С желтым билетом некуда деться... И денег мне надо столько, что нет этаких мест... Вот накоплю, тогда... Потерпи!

А у Никифора все меньше и меньше делалось этого терпения, и все чаще он делал неприятности Тане и ее «гостям».

— Бешеный ты, право! Как это ты сдержать себя не можешь?

— Не могу и не могу! — разводя руками, отвечал Никифор.

Чтобы не было этих неприятностей и чтобы сам Никифор не терзался напрасно, Таня разрешила ему приходить только раз в неделю, по субботам, и никого уже в этот день не принимала. Когда Никифор, после субботней каторги, усталый, приходил к Тане, Ариша сейчас же запирала ставни на болты, двери — на крючки и защелки и никому не отпирала, говоря, что «нет ее дома». На столе появлялся светлоначищенный самоварчик, наливочка, колбаса, французская булка, и у Никифора делалось на душе покойней.

— Теперь моя окончательно!

— Твоя, твоя!.. Ты один, и словно ничего не было...

Таня начинает ластиться и придумывать для Никифора разные эпитеты, которые приводят того в восторг и заставляют смеяться.

— Экая ты выдумщица! — говорит он, а сам рад.

Но вдруг раздается стук в дверь, требовательный и нетерпеливый. Они вздрагивают и умолкают.

Со двора доносятся голоса, смех, крики.

— Дома ее нет! — говорит, не отпирая двери, Ариша.

— Отопри!

И опять стук, болтанье, ругань... А когда все стихнет, прежнее настроение к Никифору больше не возвращается, в душе опять начнет подниматься тревога, и он делается задумчивым и хмурым.

— На что ты сердишься?

— Не то чтобы сержусь, а не могу! Мысли разные в башку лезут...

— Брось! Не думай! Выпей вот лучше наливочки... Редко видимся, а ты еще — думать! Что тут думать? Часы-то, милый, бегут, бегут и все в одну сторону, а там и жизнь пройдет... Давай чокнемся — что ли? ничего не придумаешь, все равно...

Никифор выпьет и как будто станет повеселей.

— Давай польку танцевать! Ну, вставай!

Таня силой стаскивает Никифора со стула и начинает его вертеть. Но у нее не хватает сил потому, что Никифор — неповоротлив.

— Не выходит ничего с тобой... уф!

Никифор смеется.

— Где уж нам польку! Только ногу тебе отдавил... Больно?

— Это ничего не составляет! — запыхавшись, отвечает Таня. — А ты смотри, как полька танцуется, гляди мне на ноги!

Она схватывает венский стул вместо дамы и, подпевая «трала-тата-трала-ла», начинает вертеться по комнате. А Никифор смотрит и, довольно ухмыляясь, думает: «Барышня, да и только! А между прочим, моя она», — и ему не верится глазам, словно все это — во сне, а не наяву.

Но когда Никифор ранним утром шагал по улицам города, окутанного еще сумерками уходящей ночи, к своим баням, он был печален и чувствовал, что все-таки ему чего-то недостает и что все-таки на душе нет покоя... И ночью он опять думал, почему нет спокою и почему «все что-то как будто неладно»... И наконец он додумался: «Любит, так на всякую бедность пойдет, мухта не остановит!» — и когда он додумался, то пошел к Тане и серьезно и тихо начал:

— Надо, Танюша, все это устроить... Надо тебе замуж пойти...

— За кого это? ты что?!

— Само собой, за меня! Пойдешь?

— Нет, не пойду.

— Это почему же так? — обиженно и удивленно спросил Никифор.

— Какая же я тебе жена? Уж жениться задумал, так честную возьми...

— Это опять же мое дело, кого взять... Ты говори: пойдешь?

— Нет.

— Не можешь от этой самой мерзости отстать?

Таня не ответила, а только вздохнула.

— Паскуда! — закричал вдруг Никифор и ударил кулаком по столу.

Таня убежала в спальню, уткнулась головой в подушку и начала вздрагивать плечами.

Никифор подошел, и ему стало жалко Таню. Подсев в ногах на постели, он сказал:

— Прости, Танюша!

— Бешеный ты! — сказала сквозь слезы Таня и, сев на постели, стала смеяться и плакать вместе.

— Вот ты теперь меня паскудой ругаешь, а когда женой стану, — и подавно! А все-таки, Никифор, тебе стыдно: кому другому я — паскуда, а для тебя — честная...

Потом она встала, налила две рюмки наливки и сказала:

— Что тут говорить да плакать! Люби покуда любишь... На! бери! да не ругай вперед так, а лучше брось — и все тут!.. Пей!

Никифор приласкал Таню. Гладя ее по волосам, он сказал:

— Как же бросить-то, когда у меня сердце по тебе болит, когда тоска по тебе спать не дает?!

Действительно, Никифор тосковал. Иногда он плакал в своей комнате, лежа ночью в постели, и Петька, просыпаясь, прислушивался и удивленно спрашивал:

— Никифор! а Никифор! Во сне ты, что ли, это?

Но Никифор не отвечал, потому что ему делалось стыдно того, что он плачет, — и Петька решал, что это во сне.

— Налакался, видно, ночью-то! — произносил он и скоро начинал всхрапывать.

А Никифор вздыхал. Он думал о том, что вот он здесь лежит, а теперь, может быть, у Тани — какой-нибудь гость или за ней прислали извозчика и увезли куда-нибудь.

Только на страстной неделе Никифор немного смирился, и любовь его сделалась тихой и ровной. Таня говела и ни с кем, кроме Ариши, не хотела видеться: ей хотелось подальше уйти от всех житейских помыслов.

— Не ходи уж и ты, Никифор Николаич! Надо немного опомниться хоть перед святыми-то днями...

И Никифор не ходил, но был спокоен и скучал как-то кротко, со смирением. Иногда его подмывало пойти хоть на минуточку, чтобы только увидать Таню и услыхать ее голос, но великопостное настроение всего окружающего, сравнительная тишина на улице, протяжный трезвон колоколов, грусть вечеров предвесеннего времени — все это помогало ему бороться со своим желанием, и он оставался дома и думал: «Пусть отдохнет от всего, бедная!»

Таня, действительно, отдыхала. По утрам она ходила к «часам», не пивши чаю, читала дома нараспев евангелие, не пропускала вечерен... Она стала такой серьезной и тихой, и ей казалось, что все, что было так недавно, отодвинулось, отошло далеко назад, и что началась совсем новая жизнь, и сама она — стала другая... В церкви она стояла

такая скромная, с сокрушенным выражением в глазах, в позе, во всей фигуре и молилась усердно, все больше на коленях, перед образом спасителя. Когда на амвон выходил батюшка в черном с серебряными крестами облачении и начинал: «Господи, владыко живота моего», — Таня сейчас же опускалась и не поднималась, пока батюшка не уходил... К вечерне она приходила очень рано, когда церковь была еще почти пустая, и тишина храма, с его сводами, полусумраком и редкими огоньками восковых свеч и лампад, сообщала ее душе благоговение, почти страх... Но у ней была твердая вера в прощение грехов, и она трепетала благодарностью перед ликом спасителя, устремляя на него свои глаза, печальные и умоляющие... Здесь она была просто человеком, таким же грешным, как все люди, и ей казалось, что и другие все думают теперь так же и видят в ней равного себе по грехам человека. Она так же, как и все, прикладывалась к евангелию, к образам, к плащанице, хоронила вместе со всеми Христа и держала, как и все другие, горящую свечу... Как все, исповедовалась и причащалась... И не было никакой разницы ни в чем... Когда пели: «Не рыдай мене, мати, зряще во гробе», — на ресницах Тани дрожали слезы, и ей казалось, что она сама лежит в гробе, а мать плачет, и ей поют: «Не рыдай мене, мати...» И Никифор Николаич стоит тут же у гроба и, опустив голову, вспоминает о Тане и о том, как она его любила...

А Никифор, действительно, стоял тут, почти рядом: он узнал, где говеет Таня, и хотел только спросить, куда она пойдет к заутрене, чтобы быть вместе... Когда вечерня кончилась и Таня вышла из калитки церковной ограды, Никифор подошел к ней, скромно поздоровался и спросил, — так что великую заутреню они стояли рядом, и, как только священник громко сказал с амвона: «Христос воскресе!», а на клиросе ответили ему радостным тропарем, — они похристосовались и дали друг другу по красному яичку. Потом они вместе разговлялись, и у обоих было так хорошо, светло и ясно на душе, словно они были не взрослые люди, а дети, у которых нет ни грустных воспоминаний, ни злобы, ни корысти...

На святой неделе они часто виделись и однажды ходили на Арское поле, за город, где стояли балаганы, качели с ящиками и с лошадками, была панорама и где весело гудели голоса пестрой, нарядной толпы, заглушаемые неистовым ревом военной музыки, одновременно гремевшей во

всех балаганах, отчего все заботы, казалось, отлетали, и хотелось прыгать, что и делали мальчуганы и девчурки, шныряя между взрослыми... Таня и Никифор были одеты франтовато: Таня — в розовом, с зонтиком, в перчатках, в весенней кофте, с широкими, модными рукавами, а Никифор — в новом летнем пальто ярко-синего цвета, в новом картузе с блиставшим на солнышке козырьком, в новых сапогах и новых пристукивающих и поскрипывающих калошах, с часами, которые он только что выиграл в лотерею у пропившегося цирюльника Ивана Павлыча... Таня ходила с Никифором под ручку, и кавалер держал свою руку вполне правильно. Они катались на качелях: сидели рядышком в ящике и высоко возносились над толпой и радовались открывавшейся панораме на город, блиставший на солнце множеством церковных куполов и крестов... Когда ящик с быстротой падал вниз и при этом откидывался далеко вперед, душа у Тани трепетала от страха и приятного замирания, и Таня крепко прижималась к Никифору и смеялась. Таня была так счастлива, как никогда в жизни: она то и дело заглядывала веселыми, задорными глазами в лицо Никифора, потом сжимала своей рукой его руку, за которую держалась, и шептала: «Милый ты мой!..» А Никифор был страшно добр и ласков к ней.

— Может, хочешь в балаган?.. Пойдем... деньги есть! — предложил он, когда на живодрягущих мостках-балконе появился в желтом с зелеными разводами паяц в колпаке с бубенчиком и, потрясая колоколом, закричал:

— Сейчас начинается! Сейчас начинается!

Тут грянула музыка, и Таня сказала: «Ну, пойдем уж!» — Никифор взял билеты сидеть, а не стоять, и это очень польстило Тане.

— Сколько заплатил? — с благодарностью спросила она.

— По три гривенника... Видать тебе? Может, сюда сядешь, на мое место?

— Сиди, сиди! Видно, хорошо видно...

— Танечек! — прошептал сзади чей-то голос.

Таня слышала, но не обернулась, а только покраснела. Тогда голос опять слащаво сказал: «Танечек».

Никифор обернулся, злобно сверкнул своими круглыми синими глазами и нашел того, кто сказал.

— Вам, господин, что нужно?

— Не с тобой!

— Однако?

— Оставь, наплевать... Хуже! — шепнула на ухо Никифору Таня.

— Я вам покажу «Танечка»! — проворчал Никифор и еще много раз оборачивался назад. — Тоже — чиновник: рожу следует раскровенить... — ворчал он, не будучи в силах успокоиться.

А Таня чувствовала молчаливую благодарность к Никифору, и у ней было такое ощущение, словно она — маленькая, а он — большой и сильный и не даст ее никому в обиду...

V

Но прошла пасха, перестали трезвонить колокола, и все пошло по-старому. И по-старому на Никифора стала находить тоска, по-прежнему в душе закопошилась тревога, и ревность мешала ему спать по ночам. Особенно стала одолевать Никифора эта тоска и ревность, когда пришла настоящая весна, зацвела в садах сирень и черемуха, вишни оделись белым цветом, как снегом, и ночи, тихие и светлые, сделались такими коротенькими, что вечерняя заря потухала, а утренняя уже шла ей на смену, и не успевал замолкнуть соловей, как начинали просыпаться и чирикать воробушки, а под окном ворковать голуби... Часто в такие ночи Никифор не отходил от раскрытого окна в коридоре; перекинувшись всем корпусом чрез подоконник, он слушал, как шаркают по панелям сапоги прохожих, как где-то звонко лает собака, как внизу, близко где-то, должно быть, на лавочке у ворот, потихоньку беседует влюбленная парочка, как из общественного сада разносится по городу последний печальный марш военной музыки, и как все тише и тише становится на улице, и только собака где-то все лает, не унимается. «Что-то поделывает Танюша?» — думал Никифор и вздыхал. И, как нарочно, теперь у Никифора стало больше хлопот по службе, и днем было легче вырваться, чем вечером. Всю ночь нельзя отлучаться. Один раз Никифор не вытерпел и без спроса утек, и за это — два рубля штрафу... Только в праздник и можно было отдохнуть и позабыть баню, тазы и мочалки.. Как только этот праздник наступал, Никифор надевал поддевку поверх красной рубашки и, поскрипывая сапогами в своих кожаных калошах, которые он надевал и в сухую погоду, шел на Мокрую улицу, к Тане. Тогда они отправлялись либо в общественный сад, где в крашеном павиль-

ончике ели мороженое и пили баварский квас, либо за город, на Арское поле, в рощу, а потом приходили и пили чай в сенях для прохлады и еще потому, что здесь было меньше мух. Но к семи часам Никифору надо было быть дома, — и он, ругаясь, возвращался. Однажды, в такой праздничный день, Тане вздумалось покататься на лодке. Река уже стала спадать, но воды было еще много, и катанье на лодках было в самом разгаре.

— В лодке бы покататься! — сказала Таня.

— Ну, так что? Пойдем, и только... Вот только, никак, денег-то...

— У меня есть! Ничего не составляет!

Они пошли; дорогой Таня купила вяземских пряников и воложских орехов.

— Угодно вам? — сказала она, сияя от охватившей ее радости.

— С нашим удовольствием! — ответил Никифор, запуская руку в бумажный пакет с орехами.

Когда они вышли на крутую набережную, и под горой засверкала гладкой как стекло поверхностью тихая река, а взор ушел в глубь зеленых лугов заречья, Таня даже засмеялась от радости: она почувствовала себя так, словно вырвалась на свободу после долгого заключения. Река катилась под городом, широкая и спокойная, за рекой тянулся яркий зеленый ковер только что обмытых вешнею водою лугов, и вдали белела колокольня пригородного села Савинова; на голубоватой речной поверхности там и сям скользили, разрезая носом воду, крашеные лодки, сверкавшие на солнце веслами, белые чайки кувыркались над водой; где-то пели хором: «Вниз по матушке по Волге...»

Таня проворно сбежала под горку и затопала каблуками по мосткам купальни, где можно было взять напрокат лодку. Лодочник сильно запрашивал и дорожился, и Никифор назвал его «татарской мордой», потому что он был татарин. Но Таню брало страшное нетерпение, и хотелось поскорее поехать в лодке.

— Ну, ладно, ладно... Сорок так сорок!.. Наплевать! — сказала она и прыгнула в одну из лодок, выкрашенную внутри белой краской. Лодка закачалась, и Таня вскрикнула, но прыгнул в лодку Никифор и поддержал Таню. Никифор сел на весла, а Таня на руль. Татарин, погремев цепью, на которой была прикована лодка, сильным движением мускулистой руки оттолкнул ее — и она тихо поплыла

от берега... Таня смотрела в воду, где отражалось голубое небо с разбросанными на нем там и сям белыми облачками, и ей казалось, что они полетели по воздуху... Вверху — голубые небеса, внизу — тоже небеса; город, с его хаосом зеленых, красных и серых крыш, с каланчой, куполами, сверкающими на солнце стеклами, с длинными фабричными трубами и отдаленным гулом извозчичьих пролеток, стал отодвигаться назад, и спустя полчаса от него остались только купол с крестом, фабричная труба и полицейская каланча... С нагорного берега поползли к воде сады и роща, по другому — бесконечный зеленый ковер лугов, пропадающих в дымке горизонта, и стало наносить оттуда ароматом трав и полевых цветов... Впереди, посредине реки, возвышались кудрявыми зелеными головами острова, куда горожане ездили с самоварами и удочками, и там курился тонкой струйкой палевый дымок костра.

— Хорошо! — сказал Никифор, переставая грести, и сбросил картуз в лодку.

— Уж как я рада, как рада, что мы с тобой поехали! — ответила Таня и улыбнулась Никифору.

— Главное — одни, вдвоем... И никому до нас нет дела, — добавила она и спросила: — Хочешь пряничка?

— С нашим удовольствием!

Когда навстречу им плыла лодка, в которой сидели: господин в соломенной шляпе с большими полями, дама под светлым зонтиком с кружевами и девочка лет шести с вьющимися локонами, Таня подумала, что это проехали муж с женой, и что она, Таня, тоже не одна, и что у ней есть свой предмет, которого она любит все равно как мужа и который любит ее, как любят настоящих жен...

Но счастье Тани всегда чем-нибудь омрачалось. Когда они были уже близко к островам, бок о бок с ними проплыла большая лодка, полная военными писарями. Писаря были пьяны, играли на гармонике и пели нестройно, но очень громко.

И один из этих писарей, когда уже лодки разъехались, встал на ноги и, замахав фуражкой, закричал: «Здравствуй, Танька!..»

А все другие захохотали и стали свистать и мяукать по-кошачьи...

Таня вспыхнула и закрылась от Никифора зонтиком, и вся радость души куда-то улетела сразу, и ей было обидно до слез...

Никифор нахмурился и налег на весла, чтобы поскорей уехать от неприятности, а Таня круто свернула руль, чтобы направить лодку в затопленные водою кусты тальника и закрыться от оскорблений, но на большой лодке, медленно уплывавшей к городу, стоял без мундира военный писарь, махал фуражкой, и по тихой воде неслось: «Тань-ка-а-а», — а острова отвечали эхом и тоже кричали: «Тань-ка!»



— Никуда не скроешься от этой мерзости! — сказал Никифор, оставляя весла, и в его сердце шевельнулась досада на Таню.

После катанья на лодке Никифор вернулся домой злой и недовольный, и когда Петька показал ему свою фотографическую карточку, то он послал его к черту.

— Я твою глядел, ничего... А ты не можешь?

— А пес тебя возьми совсем и с твоими патретами.

Ночью он, по обыкновению, сидел на подоконнике и слушал, как из раскрытых светящихся окон дома противоположной стороны вырывались то громкие, то тихие аккорды рояли. И, слушая эту музыку, Никифор ощущал какую-то тревогу, и ему было жаль чего-то и хотелось сказать Тане о чем-то, чего он и сам не знал хорошенько... Откуда-то наносило ландышем, и от этого было еще грустнее и сильно тянуло к Тане, потому что ему вспомнился стакан с пучком ландышей, который он видел у Тани на столике, в спальне. Военные писаря испортили им прогулку, и из-за них Никифор неласково простился с Таней, — и это его теперь беспокоило, и он жалел об этом... Так он просидел до тех пор, пока слабый отблеск наступающего утра не заставил побледнеть коротенькую ночь



и пока в садах, за заборами, не стали чирикать проснувшиеся воробьи. Тогда Никифор, осторожно ступая по коридору и по лестницам, вышел на двор, а оттуда на улицу. За воротами он некоторое время постоял в нерешительном раздумье, а потом скорым шагом направился к Мокрой улице; ему все казалось, что идет он медленно, а что идти далеко и времени остается до утра мало, поэтому он сел на извозчика... Уже восток стал алеть и начали попадаться громыхающие тяжелыми колесами крестьянские телеги, тянущиеся к базарной площади, когда Никифор подъехал к дому Иванова.

У Никифора билось сердце тревожно, и ему было немного страшно, когда он взялся за скобу двери маленького домика. Сперва он стукнул тихо и подождал, что будет... Все оставалось по-прежнему тихо. Тогда он застучал громче и нетерпеливее, но все-таки не было ответа. Никифора стала разбирать досада, и он, стиснув зубы, заботал в дверь каблуком сапога...

— Кто это безобразничает? — спросил сонный и сердитый голос Ариши изнутри.

— Отвори! Я!

— А, это ты, Никифор!.. Не узнала по голосу-то... К нам нельзя.

— Все равно, отопри! Покурю да уйду!

— Погоди... Схожу, спрошу Таню...

Ариша ушла, а Никифор стоял, держась рукой за скобу двери, и злоба и обида боролись в нем между собою.

— Не велит пускать, — сказала наконец Ариша.

— Не велит? Меня не велит?

— Нельзя... нехорошо... Иль не понимаешь?

— Понимаю! Очень даже хорошо понимаю вас, шлюх проклятых! — громко и злобно ответил Никифор и, спрыгнув с крылечка, подбежал к окнам, — и стекла зазвенели и посыпались на землю.

На крыльце появилась Таня, в накинутом на голые плечи каньевом белом одеяле, с такими испуганными и негодующими глазами.

— Что ты, бешеный, в своем уме или нет?

— В своем собственном! — ухмыляясь, надменно произнес Никифор.

— Не имеешь права! Что я тебе? жена, что ли? Мужик!

— Вот ты как?!

Никифор развернулся и наотмашь ударил Таню по щеке с такой силой, что она покачнулась. А когда она, оправляя сползшее с плеча одеяло, со слезами на глазах, хотела что-то сказать, то Никифор не дал ей опомниться и, размахнувшись, звонко ударил по другой щеке и, злобно прошипев: «Стерьва!» — толкнул ее в грудь кулаком, после чего Таня покатилась на землю и закричала раздирающим душу воплем, немного хриплым и визгливым, похожим на крик человека, которого душат... А Никифор повернулся и пошел прочь и скоро исчез за амбарушками.

На двор выбежала растрепанная, в одной юбке, Ариша и помогла Тане, задыхавшейся от оскорбления и бессильной злобы, встать на ноги и подняться на крылечко.

— Посиди! Отдышись! Я тебе воды сейчас принесу...

Таня сидела в темной кухне, на постели у Ариши, и тяжело дышала... Белки ее глаз сверкали в темноте, и голые руки дрожали на коленях... Она еще не чувствовала физической боли, но оскорбление клокотало у нее в груди, и

она ненавидела в этот момент Никифора всеми силами поруганной и оплеванной любимым человеком женщины... Только когда Ариша дала ей напиться воды и помочила голову, Таня разрыдалась. Упав головой на грудь к Арише, она жалобно и беспомощно завыла.

— Перестань, перестань! — шептала ей на ухо Ариша, — вспомни, что там гость... слышит... нехорошо...

Но Таня рыдала и тряслась, цепляясь кистями рук за худые, костлявые плечи Ариши.

— Черт знает что за безобразие!.. Сволочь! — раздался чей-то грубый голос, и дверь громко стукнула в передней.

— Вот видишь, и ушел! И нехорошо!.. Надо сдержать себя... — шептала Ариша.

— Это за что же? за что же это, Аришенька?! — вскрикивала Таня между воплями.

— Вот ты ничего не понимаешь, девка... Послушай-ка! Не реви-ка!

И Ариша стала, наклонившись над Таней, говорить, что если бы Никифор любил ее так же, как все прочие гости, то он не стал бы марать рук, а только плюнул и ушел бы... Значит, Никифор ее любит совсем по-другому, по-настоящему, как жену или милую любовницу. Ревность его терзает, и нет мочи у него сердце сдержать... А иначе не стал бы марать рук...

— Ты, девка, радуйся, а не плачь! Верно тебе говорю! Кабы не любил, не стал бы так зверовать. Это все — от большой настоящей любви... Так-то, сударушка! Выпей-ка еще водички-то!

Ариша зажгла свечу и, сладко позевнув, пошла в сени за водой...

— Пей! Да не плачь, а радуйся!.. Я вот тебе расскажу, сударушка...

И Ариша стала рассказывать про деревенские обычаи и приметы и рассказала много случаев из жизни, когда муж, любивший жену, бил ее, а как любовь в нем остывала, так переставал бить.

— А твой Никифор — наш, деревенский... Это у вас, у городских, по-другому, а у нас — этак, сударушка!

Таня прилегла на кровати у Ариши, поджала ноги и слушала, и обида как будто делалась меньше, но зато горели щеки, закрывался глаз, и было очень больно в груди.

— Принеси-ка, Аринушка, зеркальце маленькое!.. Там, у меня на столике...

Ариша принесла круглое зеркальце, и Таня, глядясь в него одним незакрывшимся глазом, сквозь слезы говорила:

— Обезобразил, бешеный! Уж какой характер ревнивый — нет сил никаких!..

А сама смеялась, потому что, действительно, чувствовала, что все это — от большой, настоящей любви.

— Это все пустяки, пройдет! — ворковала Ариша. — Милые бранятся, только тешатся... Вот какая пословица есть!..

— Не смеши ты меня, Аринушка! Хорошая потеха! Х-ха-ха! Посмотри-ка, глаза не видать!

— Вот уж фабрика гудит... До которых пор прокаталажились... — сказала Ариша, — люди выспались да и за работу, а мы только спать собираемся...

И Таня опять хохотала сквозь слезы и прикладывала к вздувшемуся глазу намоченное водой полотенце...

VI

«Назло Таньке» Никифор пошел шататься по разным скверным местам и, потушив злобу и потребность мести, вернулся домой, растерянный и несчастный, очень поздно. Весь день он провалялся на кровати с головной болью, и у него не было никакого страха, когда Петька сообщил, что управляющий хочет прогнать его с места. Случилось что-то скверное и непоправимое, пред которым боязнь за место совсем стушевалась... Пусть выгонят с места... Наплевать! Теперь уж все равно, потому что прежнее не вернется, а без этого «прежнего» все равно тяжело и горько — будет он при месте или без места... Никифор слонялся по коридорам, потерянный и странный, и у него было такое чувство, словно он потерял самое дорогое и главное в жизни... Равнодушно выслушал он выговор управляющего, и ему было нисколько не совестно, когда тот говорил:

— Это тебе и не совестно, пьяная твоя рожа? Как ты людям-то будешь в глаза глядеть? а?

А Никифору было наплевать на всех людей, и в то время когда управляющий читал ему нотацию и объяснял,

что значит честный человек, а что — подлец, Никифор думал о том, что, когда придет суббота, он пойдет к Тане и будет просить у ней прощения.

— Понял? — спросил управляющий, кончив нотацию.

— Так точно, — ответил Никифор, хотя и не слушал даже хорошенько, что говорил управляющий.

— И если я еще замечу, что ты... Покаешься! — сказал управляющий и погрозил пальцем.

— Так точно, — безучастно ответил Никифор, а управляющий пошел и думал, что Никифору очень стыдно и что он все-таки имеет совесть, которая его, видимо, мучает...

Наступила суббота. Когда Никифор освободился от работы, он оделся и пошел бродить по улицам города. Зашел в трактир с заднего хода и потребовал себе бытулку пива: гул пьяных голосов, тресканье бильярдных шаров, звон посуды, табачный дым — все это на первых порах как будто и ослабляло немного глухую тоску о потере «прежнего», но только — на первых порах. А потом, когда он допил пиво и расплатился, то не знал, что ему еще сделать, — и опять тоска задрожала в нем, и явилось чувство, что он потерял самое дорогое и главное в жизни и никогда не найдет его... Выйдя из трактира, он опять стал бродить по улицам. Его тянуло к Тане, но идти к ней было страшно и совестно, и не было надежды, что она простит ему обиду, потому что она — гордая... «За что я ее?» — думал Никифор и сам разводил руками. Однако ноги словно распоряжались теперь Никифором, и он все приближался к Мокрой улице, колеся обходами и проулками и значительно удлиняя тем путь к дому Иванова. И незаметно Никифор дошел до этого дома и остановился у ворот его. Долго он не решался войти в калитку, сидел на лавочке у ворот и прислушивался, что делается во дворе дома Иванова. А там ровно ничего не делалось и было тихо, потому что было очень поздно и все обитатели перестали шевелиться. Вздохнув, Никифор медленно пошел прочь от ворот, но потом вдруг остановился, подумал и вернулся к воротам. Нырнув под железную цепь калитки, он стал тихо пробираться между хлевушками и амбарушками к маленькому домику с крылечком и был похож на вора, который все оглядывается и боится, как бы его не увидали, не поймали. Когда в окошке маленького домика мигнул огонек, то Никифору вспомнилось, как он смотрел когда-то в это окно и видел, как де-

вушка в белой кофточке молилась богу и крестила свою подушку... И теперь, как тогда, Никифор подошел к этому окну и, затаив дыхание, стал смотреть. Но окно было плотно закрыто занавеской, и ничего не было видно, кроме человеческой тени, то мелькавшей, то исчезавшей на белом фоне занавески. Но Никифор не уходил, стоял и все не решался стукнуть два раза пальцем в стекло, как у них было условлено. Только когда огонь потух и у Никифора вздрогнуло сердце, он робко стукнул два раза. Занавеска моментально приподнялась, Таня стукнула тоже два раза, и послышался ее голос:

— Ты это, Никифор Николаевич?

— Я.

— Иди! Иди!

Слышно было, как метнулась Таня и босыми ногами застукала по полу. Защелка брякнула, дверь приотворилась, и послышался опять Танин голос:

— А я ждала-ждала... Думала уж, что ты не придешь... никогда не придешь больше, — радостно прошептала Таня и, пропустив вперед Никифора, заперла дверь, попробовала, крепко ли заперто, и тогда обхватила шею Никифора теплыми голыми руками.

— Пришел небойсь! — сказала она, ластясь и смеясь.

— Задержали... — ответил Никифор, который был и обрадован и поражен столь неожиданным для него концом всех терзаний, пережитых им за последние дни. И от такого конца ему было еще больше стыдно, и он избегал смотреть в лицо Тани.

Таня зажгла свечку и сказала:

— Посмотри, бешеный, что ты со мной сделал!.. Ах ты, ревнивый мой!..

— Что-то такое нашло на меня... И сам не понимаю...

— Ну ладно, все равно!.. Хотела я рассердиться на тебя, да нет сердца, ничего не поделаешь... Не смотри на меня! Не надо! — конфузясь и закрывая лицо ладонью руки, сказала Таня и погасила свечку.

— Некрасивая я стала... Глаз вздулся, на щеке ссадина... Гостям не показываюсь, а тебе, бешеному, и подавно!.. Разлюбишь! Некрасивая! Третий день сижу дома, никого не принимаю... Денег нет ни копейки, сахару нет... вприглядку с Аришей пьем! Вот ты что с нами наделал!

— И сам понять не могу...

— У-у! Ревнивец! Не сержусь уж я!.. Неужели не веришь ты, что я перед тобой невинна? а?

— Ну оставь! Больше этого не будет!

— Ах ты, маловерный! Да ведь ты у меня один! На кого я тебя променяю?

— Оставь! Больше этого не будет!..

Но прошла неделя, и опять вышло то же самое: Никифор опять разбил окна, избил Таню, и она опять плакала от обиды и боли, а затем опять ждала Никифора и встречала его с такой радостью, словно ничего не было: ни этих побоев, ни мук обиды и оскорбления...

А потом это стало повторяться чаще и чаще. Но разница была в том, что Никифор с каждым таким случаем все меньше мучился раскаянием, переставал при этом чувствовать, что он теряет что-то самое дорогое и важное в жизни, и когда Таня, ластясь, вспоминала о своих синяках и побоях, то он начинал сердиться и говорил: «Оставь!» — таким тоном, в котором было больше раздражения, чем сознания своей жестокости и несправедливости по отношению к Тане. Но Таня крепко держалась за свое счастье и убеждала себя, что все это — от любви, от настоящей любви, какой любят мужья своих жен.

— Он у меня бешеный характер имеет!.. А все-таки я знаю, что он терзает меня от любви, — говорила она, показывая портрет Никифора своей соседке Кларе, такой же, как она, девушке с желтым билетом, которую офицеры называли «Кларочка», а студенты — «Кляриссима».

Клара — это был ее псевдоним, а попросту она звалась Ольгой — было завидно, потому что ее некому было терзать, и никто не любил ее никогда настоящей любовью.

— Видный из себя мужчина! — говорила Клара, рассматривая портрет Никифора, и со вздохом добавляла: — А у меня никого нет, и некого мне бояться...

Однажды Никифор застал Таню в слезах. Она не вышла, как всегда, с радостной и счастливой улыбкой встретить Никифора, и он подумал, что ее нет дома, и рассердился на то, что понапрасну «такую даль отмахал».

— А где Татьяна? — недовольно спросил он у Ариши, отворившей ему в этот раз дверь.

— Плачет все она что-то... — шепотом ответила Ариша и показала рукой по направлению спальной.

— Это почему так? — спросил Никифор.

— Спроси сам! — махнув рукой, сказала Ариша.

Таня сидела на постели, поджав под себя ноги, и, увидев Никифора, грустно улыбнулась ему навстречу.

— Что это означает, что у вас глаза красные?

— Так, ничего.

— Али глаза на мокром месте? Что-то неладное происходит...

— Так себе... Что-то тоскливо мне...

— А ты скажи прямо! Вижу, что есть что-то... Другой, что ли, завелся? а?

— Что ты, Никифор, говоришь! Как не стыдно? — сказала Таня, и слезы сделали ее глаза влажными.

— А в таком разе почему ревела?

Таня закрыла лицо руками и заплакала. Никифор подсел на кровать и снисходительно приласкал ее. Ему всетаки эти слезы не нравились, и его раздражало, что у Тани нет радости от его прихода.

— Будешь реветь, так уйду! Всю неделю маялся, а тут еще бабьи слезы... Не люблю я этого — вот что! — сказал он и встал с постели.

— Что со мной случилось... Подойди, не сердись, я тебе все скажу... — прошептала Таня и рассказала то, что с ней случилось: она захворала, надо идти в больницу... Теперь лучше покуда Никифору не приходить... Завтра ей велели прийти... И, может быть, ее оставят там...

— Лучше уж ты покуда не ходи... Когда выздоровею, тогда опять будешь приходить... А то еще и сам через меня захвораешь... Этого я не хочу... — сказала она и опять стала плакать.

Никифор почесал в затылке и задумчиво произнес:

— Это весьма и очень неприятно. Хм!

— А будешь ты ко мне приходить, если оставят меня там, в больнице? — не поднимая опущенной головы, тихо спросила Таня.

— Само собой! Хм!..

Они сидели долго, но оба молчали. Никифор все выпускал «хм!», а Таня исподлобья как-то взглядывала на него, но сейчас же опускала глаза и начинала вертеть в руках свою косу с ленточкой в хвосте.

Слезинки скатывались с ее ресниц на щеки и струйками катились и щекотали.

— Теперь ты меня разлюбишь, — сказала она.

— Зачем же! Из этого ничего не выходит! Поправишь, чай... — ответил Никифор.

— А когда я выздоровею, я тебе скажу...

— Само собой! Дело неважное...

И они опять замолчали и сидели, словно впервые увидавшие друг друга люди, и не знали, о чем им говорить.

— Затем надо отправляться, — сказал Никифор. Но прежде чем проститься, стал ходить по зале, рассматривая картину «Неравный брак», которую сто раз рассматривал раньше, и наконец вернулся в спальню и протянул Тане руку.

— Ну, надо отправляться! Покуда досвиданьице!

— Посиди хоть маленько... Больно уж тошно что-то и тоскливо.

— Конечно, хорошего мало, — согласился Никифор.

— Посиди, Никифор Николаевич, маленько!.. Давай хоть в дурочки сыграем!.. Больно уж тошно мне одной оставаться... Поиграем в карты маленько! — растягивая слова, упрашивала Таня. Они стали играть в дурочки. Никифор был рассеян и все о чем-то думал, нехотя покрывая и принимая карты, но все-таки Таня три раза осталась дурой. После этого Никифор посмотрел на свои выигранные у цирульника часы и, звонко щелкнув крышечкой, произнес:

— Пора отправляться.

— Ну, еще одну, последнюю партию, сыграем? Скучно тебе со мной? — печально спросила Таня.

— Нет, Танюша, зачем скучно, а только идти надо... Сегодня Петька нездоров, я — один в коридоре... Не вышло бы каких опять неприятностей... Один раз уж это было... Управляющий грозил рассчитать.

— Ну, тогда нечего делать, ступай уж, — сказала Таня и рассыпала карты по одеялу, выкинув их из руки.

— Может, забежишь завтра, узнать как со мной будет...

— Надо зайти, постараюсь...

Когда Никифор уходил, Таня стояла в передней и смотрела, как он надевал свои кожаные калоши. А потом она накинула на плечи платок, сказала: «Знобит что-то меня», — и пошла провожать Никифора до улицы. За воротами она долго стояла, смотрела вслед удалявшемуся быстрой походкой Никифору и думала о том, что красивее и лучше Никифора она никого не встречала на свете... А когда она вернулась в комнаты, то ей стало грустно, как тогда, когда Никифор ушел после первого визита. Она пошла в свою комнату, села опять на постель и, вынув

из кармана портрет Никифора, долго смотрела на него... И опять у ней скатывались с ресниц слезинки и щекотали щеки.

Ночью Ариша услыхала, что Таня плачет, и пришла в спальню в одной рубашке.

— Что ты, девка, ревешь? Полно тебе! — сказала она, подходя к постели.

— Все теперь пропало, Аринушка, все, все! — не отрываясь от подушки, прошептала Таня.

— Экий грех!..

Дня через три после этого зашел Никифор. Никто его не встретил. Дверь была не заперта, и он прошел через все комнаты и потом заглянул в кухню. Здесь Ариша гладила белую кофточку и, увидя Никифора, сказала:

— Нет нашей Танюши! Оставили ее там...

— Оставили, — задумчиво повторил Никифор и, присев на табурет, стал крутить на указательном пальце свой картуз с лакированным козырьком.

— Белье вот ей глажу... Завтра пойду к ней... Не забыть бы еще: наказывала твой патрет захватить...

— Хм! — выпустил Никифор и закурил папиросу.

— Чай, зайдешь к ней как-нибудь в больницу-то проведать? Очень просила тебя... — сказала Ариша, продолжая гладить утюгом кофточку.

— Само собой! Эхе-хе! — вздохнул Никифор и встал. Потом он пустил в папиросу слюны, подавил мундштук и отбросил окурок в сторону.

— Надо отправляться, — сказал он, но, надев на голову картуз, продолжал стоять.

— Надо отправляться...

— Кланяться, чай, от тебя?

— Само собой! Эхе-хе! Ну, пока досвиданьице!.. Надо идти...

И Никифор вышел и медленно и задумчиво прошел двором и скрылся за воротами.

VII

На первых порах Никифор сильно тосковал, особенно когда наступала суббота и кончался банный день. Но в больницу он все-таки не шел: что-то совестно было ему идти, и он все откладывал. Да, как нарочно, и обстоятельства складывались так, что шли навстречу совести: в боль-

ницу допускали посетителей только по четвергам да по воскресеньям и лишь от двенадцати до трех часов; в будни Никифору уходить было совсем нельзя, а по праздникам было бы можно, да опять разные препятствия вставали неожиданно. В одно, первое воскресенье после того как Таня лежала в больнице, Никифор пошел, долго бродил около парадного входа в больничное здание, но зайти было совестно: все там знают, какого Таня поведения, и будут думать, что он ей родственник... В два следующих праздника от 12 до 3-х часов нельзя было вырваться: Петька запил и нельзя было «без никого» коридор верхний бросить... А потом уж как-то не тянуло особенно и позабывалось... Никифор стал поигрывать с сотоварищами в домино и начал увлекаться этой игрой до такой степени, что готов был с утра до ночи стучать костями и медными деньгами. Так прошел месяц и другой... Потом и в субботу не являлось уже у Никифора никакого томления, и он шел в трактир с заднего хода и пил пиво в товариществе с извозчиками, с интересом слушал чтение о разных случаях, напечатанных в выписываемой трактиром газете, и сам любил поговорить и побалагурить о том о сем... Только раз вернулась к Никифору тоска по Тане, но и то ненадолго: роясь однажды в своем сундучке с имуществом, он увидал подаренную ему Таней рубашку; рубашка уже износилась, розы совершенно вылиняли, и местами просвечивали дыры. Долго Никифор смотрел на эту рубаху, — и воспоминания о Тане стали выплывать, проясняться и тревожить сердце... Знакомая тоска вспыхнула вдруг ярким, но последним пламенем. Вспомнились Никифору тихие лунные ночи, вспомнились балаганы, острова, святая заутреня, вспомнилось, как Таня танцевала со стулом польку, нарядная и хорошенькая, как барышня, — и Никифор ушел из бань куда-то... Вернулся он на другой день поздно и совершенно пьяным.

— Это что же такое за безобразие, братец мой? — сказал ему управляющий.

— Никакого нет безобразия, — ответил Никифор, — выпил лишнее, и все тут!

— Молчать, пьяная рожа! — крикнул управляющий.

— А вы все-таки не кричите, Михаил Павлыч, я — не из пугливых, — дерзко ответил Никифор.

Никифора позвали в кассу, выдали ему паспорт и два рубля заслуженного жалованья и велели уходить вон. Долго

Никифор шатался без места, продал свое летнее пальто, кожаные калоши, а потом и выигранные им у цирульника часы с цепочкой, — и ему всякий раз, когда он продавал эти вещи, было досадно, и он думал, что «все это из-за Таньки...» Промотавшись без места более двух месяцев, Никифор упал духом. Как-то раз он зашел к своему первому сожителю, Василию, посидеть и погреться в его похожей на тюрьму конурке, и от Василия узнал один «случай из жизни»: Петька заложил хозяйский самовар, который когда-то выдавал Никифору за свой собственный, и за это управляющий набил ему морду и спустил с лестницы, предварительно отобрав закладную квитанцию.

— Сходи... может, опять поступишь... — посоветовал Василий.

Никифор пошел. Управляющий встретил его на лестнице и спросил:

— Ну что, Никифор, где служишь?

— Без места, Михаил Павлыч! Бог наказал, — жалобно ответил Никифор.

— То-то вот и есть! — моргнув бровями, сказал Михаил Павлыч, и тон его ответа был такой, словно он был рад, что Никифор без места.

— Все это, Михаил Павлыч, из-за шлюх этих проклятых!

— То-то вот и есть! Что имеем, не храним — потерявши, плачем...

— Именно, Михаил Павлыч, именно!

Видя, что управляющий в добром расположении духа, Никифор смиренно сказал:

— Что же, Михаил Павлыч, с кем греха не случается?.. Теперь ученый... этого не будет... К вам бы хотел опять поступить, сделайте такую милость! Никогда больше этого не будет...

— То-то вот и есть!.. Да! Ну, поди в кассу и отдай паспорт. Скажи, что я велел записать!

И Никифор, действительно, стал стараться, и скоро опять завел часы, и даже с эмалью, и цепочку с брелоками, и опять купил кожаные калоши. Петьки не было, перестал Никифор стыдиться и скоро не уступал Петьке ни в ловкости, ни в хитрости...

Была поздняя осень. Небо было облачно, и ветер гнал по тротуарам снеговую порошу. Смеркалось теперь очень рано, поэтому с четырех часов появлялись уже в окнах

магазинов огни, какие-то тусклые и печальные. Прохожие ходили торопливо и были неприветливы и раздражительны. Появлялись уже люди в шубах... В один из таких дней, под вечер, Никифор, ежась от ветра и холода, перебегал через улицу, возвращаясь из портерной, куда был послан за пивом. Когда он уже готов был скрыться в дверях бань, его кто-то окрикнул по имени и отчеству, Никифор приостановился и оглянулся.

— Здравствуйте, Никифор Николаич! Не хотите и оглянуться...

Никифор с трудом узнал Таню. Она была худая и бледная, и все лицо ее было покрыто какими-то красными точками; глаза смотрели тускло, и не было в них прежней радости жизни. На Тане была кофта на вате, какую носят кухарки неважных господ, и рукава этой кофты были коротки и открывали красные кисти рук; на голове у Тани был серый платочек, а на ногах некрасивые разношенные башмаки.

Никифор сердито посмотрел, но, узнав «Таньку», принужденно улыбнулся и сказал:

— А! Мое почтеньице! Как живете-можете?

— Плохо, Никифор Николаич, совсем плохо... Что вы так на меня смотрите: нехорошая я стала?

— Конечно, болезнь не красит человека...

У Тани навернулись слезы.

— Знаете, Никифор Николаич, у меня маменька умерла, и теперь я одна на свете осталась.

— Что же, при вашем деле это сподручнее, а, между прочим, что вам угодно?

— Повидаться захотелось... Вы ко мне ни единого разика так и не пришли...

— Не доводилось... делов много, некогда...

— А еще хотела я вас об одном попросить... — опустив глаза, начала Таня и замолчала. На бледных щеках ее показался румянец, и с ресниц скатилась на щеку слеза.

— Что такое, говорите!..

— Не дадите ли вы мне рубля три денег? — понизив голос, сказала Таня. — Совсем теперь беда!.. все продала, и нет ни копейки... Поверите ли, Никифор Николаич...

— Три рубля?.. Хм!

Никифор долго рылся в своем кошельке и наконец вытащил измятую рублевую бумажку и подал Тане.

— Извините уж... сколько могу... Не при деньгах я.

— Что же, и за это спасибо... Трудно. Совсем невозможно!..

— Однако я заболтался... Счастливо оставаться! — бросил Никифор и, не подав Тане руки, скрылся в дверях.

Таня стояла на месте, крепко сжав рублевую бумажку в руке, и слушала, как стучали по лестнице сапоги Никифора. Когда шаги его замерли в отдалении, она тихо побрела по панели, стуча тяжелыми башмаками по ледяным кочкам, и скрылась за углом.

И с тех пор Никифор никогда не видал Тани.

Потом спустя много лет, когда молодость прошла и улетела, когда в голове у Никифора засеребрилась седина, кровь стала не такая горячая, когда Никифор был женат и имел уже много ребятишек, — он все чаще и чаще вспоминал о Тане. Когда все это отодвинулось назад, то издали будто стало Никифору виднее. Он любил рассказывать своим товарищам этот «случай из жизни» и когда заканчивал свой рассказ, то непременно добавлял:

— Припомню теперь, как я издевался над человеком, как бил ее, как надругался, — и как только терпела! Уму, братец, непостижимо! Из-за меня ее с квартиры гнали, из-за меня в бедность впала, родительнице перестала помогать, сколько всяких неприятностей — и-и! конца-краю не было! А вот, значит, любила крепко: посердится, поплачет, обругает мужиком и... забудет. Да-а! Вот я теперь уж женат давно, ребятишек имею, а все-таки скажу: дай бог, чтобы жена кого так любила, как любила меня Таня! Верно говорю. Теперь все прошло, и ничего не будет, не воротится... Конечно, грешная была женщина, не своей смертью притом же померла — отравы она выпила, — однако господь блудницу простил и нам прощать велел... Дело это суда божьего... нам не подсудно!..

И когда Никифор кончал эти размышления, то ему делалось тяжело на душе и всегда вспоминалось, как он вместо трех рублей дал Тане только рублевку. Тогда он вздыхал и тихо произносил, глядя себе в бороду:

— Сколько, братец, этого зла в человеке! Боже мой, сколько в нем этой самой подлости!..

НА ПОРУКАХ

I

Каждый вечер Марья Тимофеевна ходила на станцию железной дороги к пассажирскому поезду. Поезд всегда подкатывался к деревянной платформе как-то неожиданно для Марьи Тимофеевны и всегда заставал ее врасплох на неотвязных думах о том, что там случилось с Колей и что теперь будет... Удар сигнального колокола и шипение пара пробуждали ее, углубленную в эти думы, и она опрометью кидалась на платформу и начинала метаться от вагона к вагону, отыскивая Колю. Она жадно рассматривала толпившийся на платформе народ, заглядывала в окна вагонов, — и ее сердце вздрагивало всякий раз, когда на глаза попадались золотые пуговицы или фуражка с синим околышем.

Так было уже несколько дней: поезд подползал к станции, выбрасывал маленькую кучку серереньких людей, торопливо отвечал станционному колоколу визгливыми свистками и улетал вдаль, оставляя по себе клочки разорванной ленты сизого дыма. Однажды приехал местный исправник, встреченный исправницей и кучей ребятишек; в другой раз приехали докторша и настоятель мужского монастыря о. Порфирий... А Коля не приезжал... «Что же это значит? Ах, дети, дети!» Марья Тимофеевна наскоро отирала с глаз слезинки и продолжала блуждать взором по платформе. Не доверяя себе, она спрашивала мужика в фартуке и с бляхой на груди:

— Куда теперь этот поезд отправился?

— В Москву, бабушка, в белокаменную, бабушка, — шутливо отвечал мужик, очищая метлою заслеженную платформу.

— А приходил он из Киева?

— Из Киева, из Киева, — уже сердито говорил мужик.

Марья Тимофеевна смотрела в ту сторону, где, по ее расчету, должен был находиться Киев, — и лицо старухи

складывалось в странную улыбку, грустную и нежную, потому что там, далеко-далеко, в тумане наступающих сумерек весеннего вечера, перед ней вставал дорогой образ смуглого юноши в студенческом мундире.

— Постой-ка, старушка! Посторонись маленько! — говорил мужик с бляхой, задевая метлою по ногам Марьи Тимофеевны.

Она отрывалась от Киева, образ смуглого юноши исчезал, и, вздыхая, Марья Тимофеевна уходила прочь, полная тревоги и горечи, беспомощная и растерянная, действительно похожая теперь на одну из тех божьих старушек, которых всякий считает себя вправе называть «бабушкой». Сперва она шла медленно, а потом торопилась: всякий раз у ней появлялась надежда на то, что, быть может, она проглядела Колю и, возвратившись, найдет его дома. Плохо стала видеть, а в сутолоке долго ли проглядеть? Надо завести очки... Чем ближе Марья Тимофеевна подходила к дому, тем надежда застать там Колю казалась ей правдоподобнее, и она с бьющимся сердцем входила в калитку маленького, утопавшего в зелени домика, такого же старенького, как сама Марья Тимофеевна. Наверное, Коля сидит, а отец бранит его... Что уж тут бранить? Не воротишь. Главное — был бы здоров. Не все кончают курс в университете, а живут себе... С тревогой Марья Тимофеевна бралась за скобку калитки, с тревогой поднималась по ступенькам крыльца и с замиранием духа отворяла дверь в комнаты...

Нет! Не приехал!

Старик ходил по комнате в стоптанных туфлях, сердито откашливался, стараясь скрыть свое волнение, — и, когда в дверях появлялась одна Марья Тимофеевна, без Коли, — отворачивался и ворчливо произносил:

— И нечего встречать!..

Потом он оборачивался к старухе, разводил руками и добавлял:

— И понятно!

Наступало продолжительное молчание. На душе у обоих было тяжело, оба думали об одном и том же, оба были готовы расплакаться, но крепились и упорно молчали, — и от этого молчания в комнатах становилось тоскливо и душно. Большие стенные часы с гирями протяжно стучали маятником и, казалось, повторяли фразу Степана Никифоровича:

— Нечего ждать!.. Нечего ждать!..

И старикам рисовались всякие ужасы...

Иногда к ним приходил местный казначей, Ардальон Михайлович. Они со Степаном Никифоровичем были большие приятели... Ардальон Михайлыч говорил им, что есть какая-то крепость, куда сажают *этаких* людей: маленькие окошечки вверху, а в стене есть дверка, и если ее отворить, то сейчас же хлынет вода — и все кончено!..

— Я сам читал, — говорил Ардальон Михайлыч. — И даже видал картину: стоит на кровати барышня из *этаких*, а в дверку хлыщет вода...

— Господи боже мой! — шептала Марья Тимофеевна, и в глазах ее дрожали слезы.

— Вешают тоже часто, — задумчиво добавлял Ардальон Михайлович. — Случается, конечно, что и выпускают, но это очень редко, — добавлял он, желая утешить стариков. — Необходимо покаяние... Я читал в «Русской старине» про этих... Как их?.. Декабристов...

И Ардальон Михайлович рассказывал, что он читал; при этом он много фантазировал, путал «Русскую старину» с разными историческими романами, прочитанными им в «Ниве», и наводил на стариков такой ужас, что они иногда всю ночь напролет не спали, ворочались и вздыхали...

И потому Степан Никифорович всякий раз, когда жена возвращалась со станции одна, повторял:

— И нечего ждать!

Говорил он это довольно сурово, но потом шел на огород. Там была у них старая, обросшая травой баня с одним квадратным окошечком. Старик потихоньку уходил в эту баню, запирался там и на свободе плакал, как маленький ребенок, и с отчаянием причитал:

— Только бы остался жив, господи! Только! Больше ничего не надо!..

Однажды утром, когда Степан Никифорович был на службе, а Марья Тимофеевна возилась на кухне, — к домику подъехал, дребезжа ржавыми крыльями, старомодный шарабан. Марья Тимофеевна посмотрела в окно и выронила из рук тряпку: около шарабана стоял студент, тощий, долговязый, и ждал, когда возница взвалит себе на плечи старый чемодан. Студент стоял к окнам спиною, но для Марьи Тимофеевны было достаточно этого старого чемодана, чтобы кинуться на крыльцо.

— Коля! Колюша! — закричала она и со смехом сквозь слезы кинулась к юноше и стала целовать его. Она просто не верила своим глазам, что Коля вернулся, смотрела ему в лицо и все спрашивала:

— Здоров ли? Здоров ли?

— Ничего...

— А мы просто измучились! Чего только не передумали! Простили, что ли, тебя?! Господи!.. Жив!..

Юноша, смуглый, с худым нервным лицом, отвечал грустной улыбкой и как-то конфузливо, словно чувствовал неловкость перед этой задыхающейся от счастья старухой и ее чрезмерными ласками, от которых он давно отвык.

— Дай-ка мне узел-то! Я — сама! Вот, когда не ждешь-то... А я каждый день хожу тебя встречать... Просто ума не приложим: что с тобой случилось?!

— Ничего особенного... Посидел маленько...

— В крепости?.. И господь вынес?! Я, Коленька, молилась. Совсем простили?..

— Не простили, а... прислали к вам на поруки, — конфузливо улыбаясь, сказал студент.

— А потом? Что с тобой сделают?..

— Да ничего особенного... Через два года опять поступлю...

— Я как то раз увидала студента: проезжал мимо нашей станции, — спросила про тебя, а он ничего про тебя не знал...

— Где же всех знать! Нас много, мамаша...

— Ты, наверно, есть хочешь?.. Какой ты худущий! Я — сейчас!..

II

Вот он и дома!

Все по-старому. Чисто прибраны маленькие комнаты; на окнах — занавески, чахлые цветы: герань, винная ягода, плющ; на стене — знакомые часы с гирями и подковой для правильности хода; круглый стол перед вычурным диваном покрыт вязаной скатертью домашнего изделия, с узорами, напоминающими о чем-то далеком, минувшем... Кажется, с самого рождения видел он эти узоры и вот это ржавое пятно от пролитых чернил! В простенке меж окнами — гвоздик, и на нем аккуратно висят нумера газеты

«Свет». Из окон видна широкая лужайка и улица — тихая, безлюдная... Все так же торчит на угольном доме скворечница, а на воротах вертится игрушечная мельница... Гуси ходят по лужку с желтыми пушистыми гусенятами, а в крапиве, под забором, спит, вздрагивая ушами, свинья...

Николай улыбнулся: словно только вчера он видел и этих гусей, и эту свинью!..

Голубое, безоблачное небо опрокинулось над городком: такое кроткое, ласковое и ленивое. Ласточки высоко-высоко вьются в небе, а черная галка, раскрыв клюв и ослабив крылья, сидит на длинном заборе. Собака плетется чрез лужок, высуня язык, апатичная, безучастная, с опущенным хвостом. А вот и человек идет!.. Не торопится тоже: пылит сапогами, смотрит в землю и плюет шелухой подсолнечных семечек. Мальчишка с большим животом и босыми ногами, подстегивая себя кнутиком, проскакал через улицу верхом на палочке, а другой, оставшийся у ворот, заплакал. Должно быть, этот, с большим животом, отнял у него лошадку... Воробьи шумят в кустах сирени в палисаднике, суетятся, дерутся, торопятся и кричат, как торговки на базаре... Один воробей вскочил на ветку, около самого окна, и боком, с осторожным любопытством, посмотрел на Николая. Потом зачирикал и улетел, и сейчас же прилетели и сели на ту же веточку два воробья... На подоконнике — тарелка с коричневой бумагой, на которой нарисована одна большая муха в середине и очень много маленьких — вокруг. На этой бумаге лежит вверх ножками одна настоящая, мертвая, муха... Отец с ранней весны принимается воевать с мухами. Он любит это занятие. Наверно, и хлопушка есть где-нибудь. Да вон она, — на стене, над ломберным столом. Все на том же месте, где висела когда-то давно...

Николай присел к окну и стал смотреть на улицу, — и радость, которая шевельнулась в сердце юноши в тот момент, когда шарабан с грохотом подкатил к родному домику с палисадником, вдруг потускнела, затуманилась и исчезла. И Николаю сделалось скучно. При виде этой улицы со скворечницей, гусями на лужке и свиньей под забором он почувствовал себя одиноким в этих чистеньких уютных комнатках со «Светом», вязаной скатертью и хлопушкой. Никому здесь не важно и даже не интересно, что делается где-то там, далеко, в больших городах, где жизнь кипит, как вода в котле над огнем, и где казалось,

что все, случившееся там за последние месяцы, полно глубокого смысла и значения для всех без исключения людей. Теперь у Николая явилось такое ощущение, словно есть две жизни, совершенно различные, не имеющие между собой ничего общего и обреченные на вечное непонимание и разобщенность: одна там, откуда он приехал, а другая здесь, и та жизнь похожа на прочитанную сказку, а эта — самая настоящая, непреложная и неизменная, как закон природы.

— Ты ведь, Коленька, любишь рыбу?

Николай оглянулся: мать, полная хлопотливости и радости, стояла в дверях с засученными рукавами.

— Рыбу?.. Ничего... все равно...

— Так я тебе рыбки обжарю... карасей в сметане!..

Николай вспомнил сказку про «Золотую рыбку», вспомнил, как, вернувшись домой, старик нашел опять старое, худое корыто. Должно быть, старик испытывал тогда нечто подобное тому, что испытывает теперь он, Николай...

— А покуда иди-ка закуси! Ты раньше очень любил эту штуку! — сказала мать, ставя на стол шипящую сковородку. — Бунтари вы этакие! Из-за чего бунтуете? Чего хотите?

Марья Тимофеевна не дождалась, что ответит сын, и, видимо, не интересовалась тем, «чего они хотят»; она сейчас же скрылась в кухне, где потрескивало на огне кипящее масло... Потом она принесла тарелку с целой горой хлеба и посоветовала:

— Не спорь только, Коленька, с отцом: посердится и перестанет. Ты соглашайся с ним — он старик, прожил много, а ты только на ноги поднимаешься. Жизнь-то прожить — не поле перейти!..

— А отец когда приходит?

— Все по-старому: в три.

— Где он теперь служит?

— Все там же, в опеке, заседателем... И жалованье, все то же... Не прибавили! Да и то, слава богу: он ведь уж стар, совсем писать не может — рука у него трясется...

— Трясется? — тревожно спросил Николай.

— Трясется, Коленька! Я тебе писала ведь: вроде паралича с ним было. Вот мы все надеялись, что... Ну, да что уж! Не воротишь... Кушай, покуда не простыло!..

Николай ел вяло, по временам взглядывал на мать и думал о том, что она сильно постарела за эти два года, которые он пробыл в Киеве: больше седых волос и углы рта опустились еще ниже, руки стали еще как-будто костлявей, а спина согнулась еще больше.

Марья Тимофеевна тревожно посматривала на часы: она ждала Степана Никифоровича из опеки и волновалась от радости, страха и нетерпения. Ей хотелось, чтобы Степан Никифорович поскорее обрадовался приезду сына, но она боялась, как бы отец сгоряча не обидел сына, а сын не сказал бы чего-нибудь лишнего отцу, — и Марья Тимофеевна трепетала и от радости, и от страха за то, как все это обойдется...

— Еще отцу два часа сидеть в опеке. Очень уж у них там мух много. Раздражают они папашу, и он всегда приходит домой сердитый, — предупредила Марья Тимофеевна.

Николай тоже волновался. Он и желал поскорее увидеть отца и тревожился, как бы встреча с ним ни омрачилась упреками. Главное: не поймет ведь он — как ни объясняй, что иначе нельзя было поступить. А разговор об этом неизбежен. Николай чувствовал себя правым и все-таки тревожился; неприятная робость копошилась в его душе, — и он тоже посматривал на часы, стрелка которых медленно подползала к трем.

— Папаша идет!

Медленно и чинно шагая по лужку, приближался к дому Степан Никифорович. Николай узнал его издалека по походке, которая была чрезвычайно величественна. Видимо, Степан Никифорович чувствовал себя в родном городке немаловажной персоной. На нем была широкая люстриновая крылатка стального цвета, на голове — фуражка с кокардой, в руке — массивный дождевой зонтик, а под мышкой — портфель.

— Что-то несет отец...

— Это портфель! — ласково заметила мать. — Он всегда его носит с собой. — Иногда — пустой, а носит. И зонтик тоже: и без дождя берет... На всякий случай...

Когда Степан Никифорович поравнялся с гусями и гусыня, вытянув вперед шею, устремилась с явным намерением ущипнуть за ногу Степана Никифоровича, он приостановился, поднял высоко голову и погрозил пальцем. И гусыня сейчас же опустила шею, подобрала ее

и, вздрагивая хвостом, вернулась к гусенятам, а Степан Никифорович чинно и важно последовал дальше, размахивая крыльями своей широкой накидки.

Николай вышел за ворота.

Степан Никифорович не торопился: он уже знал, что Колька приехал — ему сказали об этом в опеке.

— А-а! Пожаловал! — произнес он, слегка улыбнулся, но не прибавил шагу, продолжая идти с прежним величием. Степану Никифоровичу казалось, что неуместно обнаруживать перед провинившимся молокососом ту радость, которая всколыхнулась в родительском сердце при виде совершенно целого и невредимого Кольки, того самого Кольки, которого он только накануне видел во сне в ужасном положении; будто бы его приговорили к расстрелу, и он прибежал домой проститься, растерзанный, бледный, с запекшимися губами и почему-то босой...

— Здравствуй, отец!

— Здравствуй, братец!

Старик поцеловал Кольку довольно холодно, крякнул и спросил:

— Давно приехал?

— Сегодня утром.

— Очень рад, очень рад! — сказал Степан Никифорович таким тоном, каким он встречал гостей.

На крыльцо выскочила Марья Тимофеевна. Она, по обыкновению, пропустила важный момент: не видела, как произошла встреча отца с сыном. Видя, что они идут молча, не глядя друг на друга, Марья Тимофеевна начала смягчать положение дела:

— Слава богу, папаша: вернулся-таки твой Колька! И напрасно ты испугался вчерашнего сна: жив и здоров, а это — главное... Идите обедать! Что, мухи тебя там, папаша, заели?

Степан Никифорович не ответил на вопрос о мухах: он отлично понимал, что мухи тут больше для отвода глаз. Сели за обед. Папаша ел серьезно, словно священнодействовал, и с каким-то благоговением ломал хлеб и опускал в щи ложку. Только изредка он задавал сыну краткие вопросы:

— Выпустили?

— Да.

— Арестантом, значит, побыл?

— Да.

— На поруки к родителям, значит?

— Да.

Только после щей старик начал говорить пространнее.

— Что же ты, братец, намерен теперь делать?

— Потом поступлю опять.

— Сначала, значит. Ну, а если опять выгонят? Опять сначала?

— Ну, уж ты, папаша! Все сначала да сначала!.. Бог даст, когда-нибудь и конец будет, — смягчила Марья Тимофеевна.

— Всему конец бывает: это, Марья Тимофеевна, закон природы, — хмуро возразил Степан Никифорович, отирая усы салфеткой. — Когда-нибудь и нам с тобой будет конец... Пожили — умирать пора... За что же, братец, тебя выгнали?

— За участие в беспорядках...

— Так. Отменно! Ну, а посадили за что?

— Так. Собственно, я и сам не знаю...

— «Так»? Гм! Так ничего, братец, не бывает... Что имеем — не храним, потерявши — плачем! Вот уже никак не ожидал от тебя, братец, таких художеств!

— Художеств? Странное понятие! — промычал Николай и стал ерошить на голове волосы.

— А то как же? Восемь лет в гимназии платил, репетитора нанимал; ранцы, книги, пеналы там разные, сюртучки да брючки... Рассчитывал, что когда-нибудь все это мне зачтется, а выходит, — на том свете, братец, угольками!..

— Это уж, папаша, ты напрасно высчитывать стал, — вмешалась Марья Тимофеевна, видя, что разговор принимает жесткий характер. — У всех есть дети, и все на них тратятся. Без этого уж нельзя. Мальчик не виноват, что ему нужны сюртучок да брючки... Да и нехорошо оно както выходит... Считать-то! Грех это!..

— Я это так, к слову пришлось... Какие там счеты! — смущенно откашливаясь, возразил Степан Никифорович. — Нам с тобой ничего не надо. Нам с тобой недолго жить осталось, — все равно, для нас никакой корысти тут быть не может. Я это так, к слову... Но только обидно, жалко и досадно! Хотелось поскорее на ноги поставить, в люди вывести, хоть одним глазом увидеть, что добился этого, а там и лечь на покой... Ну, что ж... видно, всяк сам своего счастья кузнец!..

— Счастье счастью рознь, — тихо, с хрипотой в голосе произнес Николай. — Всякий понимает счастье по-своему, и в этом все несчастье... Другому честь дороже всякого счастья...

— Велика честь, коли нечего есть! — сердито, возвысив голос, ответил Степан Никифорович и начал молиться после обеда.

— Где уж нам понять, — сказал он, окончив молитву, — мы люди старые, отжившие... На что мы годимся? Свалить нас скорее в могилу, как мусор, — вот и все!

Марья Тимофеевна моргнула старыми глазами Степану Никифоровичу и с досадой махнула рукой.

— Ты, Коля, ничего не ел... с разговорами-то вашими! — сказала она.

— Благодарю вас, — сказал Николай.

— Не стоит, братец! — со вздохом ответил отец.

Николай взял фуражку.

— Ты куда же, Коленька? — с беспокойством спросила мать.

— Пойду... пройдусь...

Когда Николай вышел на крыльцо, через раскрытые окна слышался сердитый шепот объясняющихся стариков: Марья Тимофеевна говорила, что нельзя же так сразу накидываться на мальчика, — как-никак, а единственный сын! Надо пожалеть ребенка! Он и сам не рад... А Степан Никифорович упавшим тоном повторял:

— Но что особенного я, матушка, сказал? Что особенного?

III

Николай ушел за город. Грустно посвистывая, он медленно шагал по дороге, мимоходом срывал с придорожных березок молодые клейкие листочки, мял их в руке и о чем-то сосредоточенно думал. По временам он останавливался, окидывал взором необъятное море зеленеющих хлебов, синюю даль бесконечной равнины, и опять в душу его лилось безнадежное отчаяние. Кругом было безмятежно тихо. Где-то в поднебесье заливался жаворонок. Белые тучки висели неподвижно в недосягаемой высоте... В кустах, по овражку, грустно куковала кукушка. Все жило своей жизнью, и все, чем он жил там, в большом городе, что считал самым важным и значительным в жизни, здесь

казалось случайным, мимолетным и неприменимым. Здесь главное — здоровье, и если здоровье в порядке, то задача жизни кажется вполне разрешенной. Остается смотреть на эту благодатную мирную картину зеленеющих равнин, утопать душой в созерцании этих бесконечных полей и кротких небес и успокоиться: ничего не ждать, как ничего не ждут эти поля, это бесстрастное небо, эти неподвижные белые тучки. Все будет по-старому: будут приходить зима и лето; поля и луга будут в свое время зеленеть или покрываться белой скатертью глубоких сугробов; будет петь жаворонок или каркать ворон на сухой сосне; будут скрипеть по извивающимся проселочным дорогам крестьянские телеги; по понедельникам на городской площади будут происходить базары, с криком, скрипом немазаных колес, с пьяными мужиками, с слепыми нищими... И больше ничего не будет...

Однажды Николай запутался в незнакомом городе. Шел-шел и думал, что идет все вперед и что ушел очень далеко... И вдруг, совершенно неожиданно для себя, увидал, что пришел именно к тому месту, к тому перекрестку, откуда вышел. Теперь случилось что-то похожее: как далека казалась эта безмятежная, невозмутимая тишина! Николай даже стал забывать о ней — воображая, что ушел навсегда... А теперь она вдруг вернулась и молча смотрит в глаза и говорит:

«Ну, что же теперь, братец, ты намерен делать?»

Солнце садится... Кукует в лесу кукушка... Сколько тоски в ее жалобной песне! Она словно жалуется на то, что все идет, как шло сто лет тому назад, и что не будет ничего нового в мире...

«Буду ходить на реку, в лес, в луга... Буду охотиться», — думал Николай, повертывая обратно, к городу...

Заходящее солнышко умильно играло на стеклах окон обывательских домиков. Ребятишки звонко, как птицы, щебетали своими голосами, поглощенные игрой «в ловилышки». За воротами на лавочке сидели, грызя семечки бабы, кормящие грудью младенцев. Чинно прошел через дорогу, пыля массивными сапогами, хозяин мучной лавки, в длиннополом сюртуке с засаленным брюхом. Николай вглядывался в физиономию улицы и узнавал дома, переулки, лужаечки и грязные болотца, — словно вчера только видел все это...

— Наше вам почтеньице!

Николай посмотрел на приподнявшего картуз парня в жилетке и вспомнил:

— Гаврила?

— Я! Вспомнили?

— Как не вспомнить...

— Еще бы! Поди вместе когда-то в лапту играли, на кулачках дрались...

— Как поживаешь, Гаврила?

— Слава тебе, господи. Дай бог всякому! Служу в трахтере, в «Мадрите»! восемь целковых на всем на готовом! Как вы, Николай Степаныч, свою жизнь устроили? Кончили ученье-то али все еще маетесь?

— Остановка вышла... На два года...

— Почему такое? — удивился Гаврила.

Николай хотел было рассказать, почему вышла остановка, но, взглянув на глуповато-самодовольное лицо жирного парня, — не рассказал.

— До свиданья, Гаврила!

— Счастливо оставаться, Николай Степаныч! Может, когда к нам заглянете? Пивка бутылочку выпить, шарики на белиберде покатать? Полюбопытствуйте: у нас порядочные господа бывают.

Гаврила приподнял картуз, улыбнулся во весь рот и довольно фамильярно раскланялся с шагавшим по другой стороне улицы господином в чесучовом пиджаке и чиновничьей фуражке.

— Это наш контролер, Иван Петрович... Хорроший господин! — отрекомендовал Гаврила и закричал через улицу:

— За вами должок есть, Иван Петрович!

Николай посмотрел на этого господина внимательнее и спросил Гаврилу:

— Это не Карягин?

— Он! Карягин! — радостно подтвердил Гаврила.

Карягин шел по деревянному скрипучему тротуару так вяло и апатично, словно ему давно уже надоело ходить, и если он двигает теперь ногами, то исключительно для того, чтобы не упасть... Николай знал этого Карягина в то время, когда был гимназистом шестого класса. Тогда Карягин был студентом и, приехав летом сюда на уроки, служил предметом общего внимания и зависти молодых людей. Карягин представлялся тогда Николаю счастливейшим человеком, самым умным и интересным в городе. Он давал

Николаю читать книжки и брошюрки и говорил, что думает посвятить себя на служение какому-то святому делу. Теперь Карягин оброс бородой, ходил в акцизной фуражке, в чесучовом пиджаке и в клетчатых брюках; растолстел и сделался похожим на обыкновенного благодушного чиновника. Глаза его смотрели кротко и ласково, все движения округлились, плечи сделались шире, и вся фигура получила законченность сытого человека, которому некуда торопиться, который попал наконец на свою мертвую точку, любит поесть, крепко поспать после обеда, а потом за вечерним чаем почитать газетку и покалякать о конституции...

— Иван Петрович!

Карягин посмотрел и приветливо улыбнулся Николаю, но с тротуара не сошел, выжидая, когда молодой человек подойдет к нему: он постарше...

— Приехали? — спросил Карягин, подавая Николаю свою мягкую руку.

— Приехал.

— Науку двигаете?

— Какое там науку! Не сошлись мы с ней... Характерами...

— Что так?

— У науки характер спокойный, а у меня...

— Сварливый, как у моей жены? — докончил Иван Петрович и засмеялся добродушным смехом над собственной остротой.

Николай объяснил, как он разошелся с наукой, но никакого отклика со стороны Карягина не нашел.

— Напрасно, батенька! Ничего из этого не выйдет... Жаль молодежь... Что вы сделаете с нашим обществом? Его ничем, батенька, не прошибешь... Это — идиоты, эфиопы, микроцефалы! — пискливо говорил Карягин. — Им бы только жрать, пить да спать!..

Карягин искренне возмущался обществом и находил, что для «таких свиней не стоит жертвовать худой подошвой, а не только карьерой».

— Я, батенька, тоже кое-чем пожертвовал и теперь каюсь... Мои товарищи — коллежские советники, а я всего губернский секретарь!.. Жарко сегодня!..

Карягин снял фуражку и погладил себя по голове. Потом он сообщил Николаю, что служит в акцизе, по монополии; что служить в акцизе хорошо и что монополия

имеет громадную будущность. На прощанье он сказал: «Захаживайте», — но сказал таким тоном, в котором звучало недосказанное: «А еще лучше, если не будете захаживать».

— Вон красный домина!.. Вроде университета! Это — наша монополия! — громко сказал Карягин, показывая пальцем куда-то через улицу. — Все там будем! — сострил он и опять весело расхохотался над собственной остротою.

Они разошлись...

Стадо возвращалось с пастбища; городок все более наполнялся звуками: мычали коровы на разные голоса, блеяли овцы, телки кричали контральтом, а бык гудел октавой. В эти звериные голоса врывались выкликания женщин, протяжно и ласково призывавших к дому «красулек» и «пестравок»; иногда длинный кнут пастуха, как змея окручивавшийся в воздухе, стрелял, словно пистолет, и сердитый голос кричал: «Трях, проклятая!» «Куда, куда? Али ослепла?» Над домиками висела золотая пыль... Если не считать базаров, это время было самым оживленным в городе...

IV

Шли дни за днями. Прошла неделя. Степана Никифоровича вызывали в полицию и отобрали от него какую-то подписку. Велели еще, чтобы Николай тоже побывал здесь: «Надо, чтобы он тоже в чем-то расписался». Степан Никифорович был и у исправника. Это был полный добрый старик, который гордился тем, что его находили похожим на генерала Драгомирова. Исправник был крестным отцом Николая: он крестил его еще в то время, когда был становым приставом. О чем говорил исправник со Степаном Никифоровичем, осталось тайной, — но с этих пор отец сделался несколько мягче и только время от времени повторял Николаю:

— Главное: веди себя поскромнее... Почему ты не сделаешь визит крестному?.. Это — невежливо...

— Как-нибудь зайду, — говорил Николай и не шел ни к крестному, ни в полицию, куда его просили уже несколько раз. Николай любил уединяться и иногда весь день бродил с ружьем на реке, в лугах или в лесу...

Однажды вечером он вернулся с такой прогулки. Ста-

рики сидели в палисаднике за самоваром. Отец, прихлебывая чай с лимоном, читал «Свет», а мать штопала папашины носки. Лицо у отца было хмурое, недовольное, а у матери — виноватое, немного испуганное. Должно быть, опять они говорили о Николае и поссорились. Мать налила стакан чаю и, подставляя его Николаю, участливо спросила:

— Где побывал?

— Шлялся, — ответил Николай и, бросив фуражку на куст сирени, подсел к столу.

— Отменное занятие! — промычал Степан Никифорович, не отрывая глаз от «Света». Николай вспыхнул, но сдержался и на этот раз, как он сдерживался очень часто. Они сидели за столом молча, и только Марья Тимофеевна обрывала томительное молчание отрывочными фразами: «Не было бы дождя», «На ужин окрошку сделаю»...

После продолжительного молчания отец положил в сторону газету и сказал:

— Повестка из полиции пришла! Я тебе десять раз говорил: «Сходи, сходи!» Дождался! В какое положение ты ставишь меня?

Николай начал было говорить, что ничего особенно дурного не случилось, что повестка — дело обыкновенное, но старик вспылил и оборвал:

— Не учи! Я сам понимаю!.. На меня и без того указывают все пальцем, а ты продолжаешь свои фокусы... Почему ты не сходишь к крестному? Мне стыдно, *мне*, отцу твоему!..

— Приятного аппетита! — прозвучал скрипучий старческий голос.

В листве зелени, за оградой, торчала голова в соломенной шляпе: это был казначей Ардальон Михайлыч Самоквасов, закадычный приятель Степана Никифоровича.

— Чаек попиваете? — спросил он сладким голоском.

— Заходите! Заходите! — приветливо крикнула Марья Тимофеевна, обрадовавшись чужому человеку, который был теперь, по ее мнению, очень кстати.

Скрипнула калитка, и в палисадник вошел низкорослый, кургузый старичок в соломенной шляпе, всей фигурой, голосом и ухватками напоминавший водевильного дядюшку. Поздоровались. Отец отрекомендовал Николая:

— Наш социалист!

— Очень, очень приятно, весьма рад! — склонив голову, произнес Ардальон Михайлыч. — Я вас уже имел честь видеть издали, но вблизи — в первый раз, в первый!..

Подогрели самовар и снова начали пить чай. Начался обычный допрос, какой делал Николаю всякий приходивший к старикам в гости.

— На медицинском, говорите?

— Да.

— На два года, говорите?

— Да.

— Жаль. Теперь, вероятно, каетесь?

На этот вопрос обыкновенно отвечал за Николая отец.

— Конечно! Но, как говорится, близок локоть, да не укусишь!

— Прискорбно. Чем же, собственно, вы были недовольны?

Николай затруднялся отвечать на такие вопросы обывателям, которые спрашивали об этом с искренним недоумением.

— Да так... вообще...

— Они и сами не знают! — сказал Степан Никифорович и со злостью добавил:

— Выдрать бы хорошенько, основательно!

Между стариками начался разговор о беспорядках. Ардальон Михайлыч высказывал свои политические соображения. Он страшно не любил Англии и готов был видеть на каждом шагу ее «подлые проделки». Хотя прямо он не сказал, но косвенно намекнул на возможность участия и в студенческих беспорядках «иностранного влияния». Это показалось парадоксальным даже Степану Никифоровичу, который относился к казначею с большим уважением за его «начитанность».

— Это уж что-то того... мудрено, — заметил Степан Никифорович.

— Через жидов! Через жидов она, подлая, действует! — тоненьким голоском воскликнул Ардальон Михайлыч.

— Ага, — протянул Степан Никифорович.

— А то как же? Через жидов!

— Ну, это — другое дело... Возможно, возможно! — согласился Степан Никифорович.

Потом старики начали говорить, как поправить дело.

Ардальон Михайлыч и этот вопрос разрешил очень просто:

— А исправник? Крестный он или нет? Да ему стоит только захотеть... Он — родственник генерала Драгомирова!

— Нет! Он похож на него только, но не родственник!

— А я вам говорю: родственник! Я это отлично знаю... Пусть сходит к исправнику, попросит хорошенько... И самому тебе, Степан Никифорович, надо сходить...

— Я ходил! Я ему сто раз говорил: сходи к крестному! Так где тут! Пойдет он просить... Гордости у него больше, чем у генерала...

Начался один из обычных монологов, которых так боялись Николай и Марья Тимофеевна, потому что во время этих монологов чувствовалось невыносимо скверно и казалось, что вот-вот что-то порвется и произойдет семейная катастрофа.

— Я старик... У меня трясется рука! Извольте взглянуть! Смотри и ты, герой! — крикнул Степан Никифорович и протянул руку, которая дрожала как в лихорадке. Но героя не было: он незаметно вышел из палисадника и отправился шляться. Он шлялся до самой ночи, и ему не хотелось возвращаться домой. Заметив чрез щель в ставне огонь в «Мадрите», Николай постучал палкой в окно. Дверь приотворилась, и выглянула сонная физиономия Гаврилы.

— Пусти меня, Гаврила!

— С удовольствием.

— Дай мне пива!

— Пожалуйте!

Николай долго сидел в «Мадрите» один перед бутылкой пива и, подперев рукой голову, думал о том, что ему теперь делать... От этих дум становилось тяжело, и он потихоньку тоскливо вытягивал:

Эх, тоска, братцы-товарищи, в грудь запала глубоко...

— Гаврила, дай-ка еще бутылочку!

Он пил, и тоскливые думы сторонились и давали дорогу хорошим воспоминаниям. И эти воспоминания все росли и росли, и боль на душе затихала. Исчез, позабылся родной городок; Николай перестал слышать сухой треск

бильярдных шаров в соседней комнате, перестал видеть грязный пол и стены трактира. Перед Николаем вставал Киев, блистающий электрическими огнями, кишащий народом, полный света, шума, смеха, музыки, песен и нервных звонков...

Лицо Николая просветлело, по губам его скользнула улыбка, и он спросил дремавшего за стойкой Гаврилу:

— Ты никогда не бывал в Киеве?

— Не доводилось! — сонно ответил Гаврила и, после некоторого раздумья, с одушевлением спросил:

— Чай, там столько этих трахтеров, портерных?!

Николай громко расхохотался и, махнув рукой, взялся за фуражку.

— Получи за пиво!

Была ночь, лунная, тихая, задумчивая. Городок, весь залитый лунным сиянием, казался таким миниатюрным, игрушечным. На колокольне били часы, и звук колокола — меланхоличный, задумчивый, — падал сверху и медленно расплывался в серебристых лучах лунного света. Николай шел домой не торопясь, и шаги его по деревянным тротуарам звучали громко и разносились по мертвой улице. Николай шел-шел, потом приостановился, посмотрел в звездное небо и вдруг громко запел «Марсельезу». Из подворотен хриплым басом залаяла проснувшаяся собака — и Николай оборвал пение. Собака смолкла, и опять все стихло, и только шаги Николая как-то дерзко врывались в кроткую тишину задумчивой звездной ночи...

V

Долго не спалось Николаю в эту ночь. Он лежал в зале на диване и вспоминал все, что случилось с ним в Киеве. Одно воспоминание особенно ярко вставало в его душе и смутно тревожило тоской и радостью... Однажды, когда Николай сидел в тюрьме и дни казались ему целыми годами, когда он долго, бесконечно долго, видел только голые серые стены своей одиночной камеры, кусочек тюремного двора, обнесенного высокой каменной оградой, да клочок синего весеннего неба; когда он чувствовал себя всеми забытым, одиноким, заживо похороненным в каменном гробу, дверь камеры раскрылась, и надзиратель сказал:

— На свидание!

Сказал и ушел. Остался дядька с шашкой и револьвером.

— Пожалуйте! — сказал дядька.

Николай накинул на плечи шинель, набросил на затылок фуражку и пошел следом за дядькой. Они шли длинным сумрачным коридором с симметрично расположенными дверями камер, и Николай думал о том, что здесь похоже на зверинец: двери занумерованы, и за каждой дверью — клетка со зверем... Кто же мог прийти к Николаю? Неужели приехала мать? Этого не может быть: она до сих пор не знает, что его посадили. Кто-нибудь из товарищей? Нет. Товарищи либо тоже сидят, либо разосланы... Да и не пустят товарища!.. Некому.

— Кто пришел? — спросил Николай дядьку.

Дядька пропустил Николая вперед, а сам пошел сзади и ничего не ответил. Николай повторил вопрос.

— Нельзя нам говорить с вами.

— Может быть, это — ошибка? Не ко мне?

Дядька осмотрелся вокруг и тихо сказал:

— Невеста ваша!

...Невеста? Николай на мгновение приостановился и глубоко вздохнул. Сердце у него сжалось, и ему захотелось громко, на всю тюрьму смеяться...

— Идите, идите!

Николай знал, что только очень близкие люди допускаются на свидание, а из «посторонних» одна невеста может повидаться иногда с женихом. Стало быть, он — жених... Жених! Какое это странное, смешное слово! Николай шел, улыбался, глаза его искрились от счастия и волнения, и сердце дрожало все сильнее. «Кто же она, моя невеста?» — думал Николай и быстро шагал впереди дядьки, который побрякивал за его спиной шашкою и револьвером. Николая ввели в маленький чуланчик; в этом чуланчике было одно квадратное окно, которое выходило в мрачную желтую комнату. В этом окне не было стекол; вместо стекол была двойная медная решетка, частая, похожая на сито. И через это сито Николай увидел девушку в весеннем костюме, в соломенной шляпке с васильками.

— Здравствуй! — сказала эта девушка и, приветливо улыбаясь Николаю, закачала своей головой.

Около девушки стоял усатый унтер-офицер и, переминаясь с ноги на ногу, мелодично позванивал шпорами.

— Здравствуй, — ответил Николай, и они уставились друг на друга.

— Не хандришь?

— Ничего.

Николай вглядывался в лицо девушки и старался припомнить, не встречался ли когда-нибудь с нею раньше. Лицо девушки было закрыто легкой голубоватой вуалью, и частая решетка пестрила его своей сеткой. Может быть, поэтому он не может узнать...

— Сними вуаль! — потупившись, попросил Николай.

— Изволь!

Унтер-офицер насторожился. Он, всякий раз, когда девушка шевелила руками, брякал шпорами и кашлял, давая этим понять, что он все видит и все слышит. Девушка подняла вуалетку, и Николая обожгли два веселых карих глаза... Милое лицо! Николай вспыхнул и опять опустил глаза... Нет! Ее он никогда раньше не видал!..

— Ты, наверно, забыл уж свою Галю!

— Нет, — глухо ответил Николай и улыбнулся.

Девушка звонко расхохоталась; ее зубы сверкнули через решетку, и глаза сделались такими большими и странными!.. Унтер-офицер звякнул шпорами и сказал:

— Позвольте просить потише!

— Вот тебе раз! Неужели я не могу смеяться?! — задорно спросила девушка.

— Смеяться здесь громко не дозволяется.

— А плакать? Ты никогда здесь не смеешься? — обратилась она к Николаю.

— Не хочется здесь ни смеяться, ни плакать...

Они помолчали, потом Николай спросил:

— Должно быть, хорошо теперь на воле?

Галя заговорила быстро, торопливо о том, что весна пришла. Днепр разлился широко-широко, прилетели аисты, распускается акация, звезды сделались большими-большими и светят так ярко, словно стали ближе к земле, и все сильнее пахнет цветами...

— В следующий раз я принесу тебе цветов... Ты любишь фиалки?

— Я поставлю их у себя в камере и буду вспоминать... вас! — дрожащим голосом произнес Николай, посмотрел пристально в лицо девушки и покраснел... Милое лицо!..

— Ты не грусти! Я буду приходить к тебе каждую субботу.

Они посмотрели друг на друга и потупились. А потом часы пробили «два», — и свиданье кончилось.

— Пожалуйте! — сказал дядька, отворяя дверь чуланчика.

— Прощай! Не грусти! Где бы ты ни был, помни, что у тебя есть друзья! — звонко крикнула Галя и, приветливо улыбаясь, опять стала кивать ему головой часто-часто... Николай грустно улыбнулся, кивнул головой и пошел за дядькой. На ресницах Николая дрожали слезинки, и на душе было так хорошо, что хотелось расплакаться от радости и счастья. И когда он вошел в свою одинокую келью, а железный засов лязгнул у него за спиной, он громко запел хохлацкую песню: «Буду до тебя ходити, буду тебя любити!»

— Петь и плясать здесь не дозволяется, — проговорил чей-то строгий голос. Этот голос проник в камеру через маленькое отверстие в двери, и казалось, что это дверь заговорила вдруг человеческим голосом. Николай оборвал песню и спросил:

— А любить здесь дозволяется?

Ответа не было.

— А чувствовать я могу?

Ответа не было.

И весь этот день Николай был странно весел и, казалось, не хотел знать, что он в тюрьме. То он мурлыкал песенку, то с поднятой головой ходил, как зверь в клетке, по камере и кому-то грозил кулаками, то, как школьник, подпрыгивал на месте; пробовал даже танцевать.

«Вот ты и погляди на него! Словно именинник!» — думал дежурный по коридору, тайно заглядывая в маленькую дырочку.

Наступил вечер. Была суббота. Загудели колокола далеких городских церквей. В гулком весеннем воздухе эта музыка перекликающихся колоколов звучала с грустной торжественностью, навевая на душу тихое раздумье и тревожа смутные, позабытые воспоминания детства. Николай притих, пропала веселость, и грусть полилась в душу, тихая такая и сладкая... Он раскрыл фортку и стал слушать звон колоколов и смотреть на клочок синего неба. На тюремной стене играли розоватые блики солнечного заката, а на синем небе изредка вырисовывались и пропадали

силуэты пролетавших голубей: розоватые блики будили в душе грусть, а пролетавшие птицы — щемили сердце, напоминая о воле...

Ночь была теплая, совсем весенняя. На клочке синего неба ярко горела звезда и, казалось, смотрела прямо в окно камеры. Откуда-то, должно быть из квартиры тюремного смотрителя, прилетали с попутным ветерком обрывки музыки, и где-то совсем близко, за тюремной оградой, щелкал соловей... Тоска щемила сердце все сильнее, и хотелось кому-нибудь рассказать про эту тоску...

«Кто она, эта милая Галя?..»

Захотелось писать стихи. Николай взял обожженную спичку и стал ею царапать на сырой стене:

Ярко блещут звезды в синеве небесной,
Чрез окно струится аромат весны,
Над землей уснувшей, роем бестелесным
Носятся на крыльях феи грез и сны...

Защелкал соловей, донесся чей-то задорный смех, пахнуло в фортку распускающейся акацией. Николай поспешно стер рукавом тужурки все, что написал, и, бросившись в кровать, тихо заплакал горячими слезами...

«Кто она, эта милая Галя?..»

Всю неделю Николай ждал субботы, и ему казалось, что эта суббота никогда не придет. Теперь он жил этой субботой и с утра до ночи думал о ней... По ночам он спал тревожно и, поминутно просыпаясь, вспоминал о субботе и соображал, сколько дней еще осталось ждать. Наконец пришла эта суббота. День был пасмурный, небо серое, моросил мелкий дождик. Но Николай не замечал этого. Он то и дело настораживался и прислушивался к каждому стуку, к каждому шороху за дверью камеры. Принесли обед.

— А на свидание?

Ему не ответили. Он не притронулся к обеду и все ждал, ждал... Он звонил, спрашивал дежурного по коридору: «Что же на свидание?» — но ему не отвечали. Уголовные арестанты запели хором молитву перед ужином, — значит, не придет... После ужина надзиратель, делая поверку, заглянул в камеру Николая и подал ему растрепанный букет фиалок. Николай вздрогнул, покраснел, почти вырвал цветы из рук надзирателя и спросил с ноткой отчаяния в голосе:

— А свидание?

Надзиратель ухмыльнулся и вышел. И когда дверь камеры захлопнулась, Николай услыхал голос за дверью:

— Все вы тут женихи!..

Николай смотрел на цветы и думал о том, что эти цветы были недавно в руках Гали, и от этого фиалки казались какими-то особенными, необыкновенными фиалками... Николай припадал лицом к нежным лепесткам и дышал ароматом, от которого веяло весной и волей... Он, как ребенок, нянчился с этими цветами, стараясь поддерживать в них жизнь. Но цветы быстро тускнели и блекли — смерть шла к ним быстро, и не было сил остановить ее. Цветы погибли. Осталась только одна фиалка, которую Николай положил в книгу. Раскрывая книгу, Николай вперялся взором в засохший цветок и думал: «Кто она, моя милая Галя?..»

VI

Николай проснулся от какого-то странного шепота. Этот шепот, казалось, наполнял собою весь маленький домик и неприятно беспокоил тихое весеннее утро. Что это такое? Николай насторожился, прислушался и вспомнил: это отец молится богу. Шепот то стихал, то усиливался и тогда становился каким-то сердитым; порой было слышно, как стучали старые кости ног, сгибаемых для коленопреклонения, и как лысый лоб старика касался пола. Степан Никифорович молился об упокоении и о здравии бесчисленных родственников.

— И заблудшего сына их, раба твоего, Николая, — со вздохом прошептал старик и, встав с полу, начал отряхать рукой свои брюки.

— Вставай! Сегодня тебе в полицию! — строго сказал он, проходя мимо.

— Хорошо.

— Не «хорошо», а пора встать, умыться, помолиться богу и идти в полицию!

Старик поднял шторы с буфами и отворил окно в палисадник. Ласковое утро пахнуло в комнату свежестью, зеленью, щебетанием птиц, солнечным светом. Слышно было, как мать в палисаднике пугает обступивших ее куриц и как она бренчит чайной посудой. Где-то глухо ворковали голуби и шумно дрались воробьи. Николай не шевелился. Он закрыл глаза и старался вспомнить, что он видел во сне.

Что-то хорошее, яркое, как это раннее утро, от чего сердце приятно сжималось и хотелось смеяться. Ах, да! Приходила во сне Галя, в легком белом платье, в соломенной шляпке с васильками и, наклонившись над изголовьем, о чем-то шептала ему на ухо... О чем она шептала? Забылось...

— Вставай! Тебе надо в полицию! — ласково сказала Марья Тимофеевна в раскрытое окно. Николай вздрогнул, и думы о Гале испугались и улетели, как птицы, которых спугнула старуха, пролезая меж кустов сирени к окошку.

— Слышишь? Тебе надо в полицию!

— Слышу! — раздраженно ответил Николай.

С некоторого времени самое слово «полиция» приводило Николая в нервное возбуждение; такое же действие производило на Николая теперь и слово «крестный», которое странно сплелось в голове Николая с «полицией». Николай с досадой одевался, с досадой плескался около умывальника, с досадой причесывался, безжалостно выдирая из головы упиравшиеся волоса, и вышел в палисадник в скверном расположении духа. Пили чай молча. Мать подставляла Николаю сливки, сдобные лепешки, клала в стакан очень много сахару, — вообще, проявляла особенное внимание. Старуха придавала очень большое значение тому, что Николай сейчас пойдет в полицию: ей это дело представлялось очень большим и трудным, пугало и вместе радовало, будя в душе какие-то смутные надежды. «Дай тебе бог!» — мысленно говорила старуха, подставляя сдобные лепешки Николаю, и смотрела на сына с такой любовью и жалостью, словно провожала его на опасный подвиг... Степан Никифорович не смотрел на сына и угрюмо морщился и покрякивал; раскалывая щипцами сахар, он собирал со скатерти сахарные крошки себе на ладонь и сыпал их в стакан, — и от этого Николаю было как-то неловко пить и есть, словно его молча упрекал кто-то в дармоедстве.

— Не мешало бы обстричь пейсы, — с помощником исправника будешь говорить! И, пожалуйста, будь там повежливее и не порти здесь моих отношений с порядочными людьми! — строго произнес старик, уходя на службу.

Когда он ушел, Марья Тимофеевна стала говорить громче, а у Николая увеличился аппетит.

— Где ты вчера пропадал? — спросила мать. — Уж мы ждали-ждали... Не знали, что и подумать... Хоть в полицию заявляй!

Николай покраснел и бросил чай.

— Полиция, полиция... На каждом шагу у вас полиция!.. Чаю не дадите напиться без полиции!..

— Да ведь как же, Коленька? Беспокоились: на поруки ты нам отдан. Не вышло бы неприятности для папаши...

— Хорошо! Хорошо!

— Тебе никуда нельзя уходить надолго: подписку с папаши взяли...

— Не уйду! Некуда тут уйти!

— То-то и есть! А вечером за тобой от Карягина присылали... Переписка есть: отчеты какие-то.

Николай молчал, а мать начала очень подробно говорить о Карягиных.

— Кончил ученье, получил хорошее место, нашел невесту, женился, — все как следует, — со вздохом говорила она и грустно смотрела на сына.

— Я тоже нашел себе невесту! — с иронической улыбкой сказал Николай.

— Кто же она такая? — недоверчиво спросила мать.

— Не знаю...

— Вот тебе и раз! Из дворянок или из купеческого звания?..

— Не знаю...

— Фамилия-то как?

— Не знаю...

Марья Тимофеевна засмеялась.

— Девок-то много, все они невесты... Да теперь никто не пойдет за тебя, Коленька...

— Пойдет! Она — пойдет...

— Разве какая-нибудь отчаянная... Эх ты! Кончил бы курс, поступил бы на хорошее место, взял бы приличную девушку... Счастье-то свое потерял, Коленька!

— Будет вам причитать! И так тошно! — отмахиваясь от мух, сказал Николай.

— Не сердись, я правду говорю. Тебя жалко! — слезливо прошептала мать.

— Не жалейте... У меня своя правда...

Когда Николай шел в полицию, мать стояла у калитки и крестила спину сына. «Помоги тебе бог!» — шептала она.

На соборной площади стоял старый, выкрашенный охрою дом, над крышей которого высилась несуразная каланча, увенчанная похожим на ухват шпилем; на широком крыльце этого дома всегда сидели мужики в лаптях и

бабы в платочках, и позы этих людей напоминали о бесконечном терпении. Когда Николай увидел этот унылый дом, — ему вспомнился «крестный», вспомнились все монологи отца и вздохи и жалостливые взгляды матери, и вся тоска одиночества снова встала перед юношей и, казалось, уперлась в этот старый желтый дом, к которому со всех сторон бежали по лужку тропинки и который казался Николаю каким-то роковым домом из страшной, прочитанной когда-то в детстве сказки... Когда Николай всходил на крыльцо, сидевшие здесь крестьяне, из почтения к светлым пуговицам студенческой тужурки, встали: мужики сняли шапки, а бабы начали кивать головами; послышался плач грудного ребенка и заунывный припев: «а-а-а», кто-то прошептал: «О, господи милостивый!» — и в этом шепоте была целая бездна тоски и смирения... В широких полутемных сенях пахло плесенью и мышами; здесь на полу сидели бабы, а около баб вертелся будочник, молодцевато крутил ус и шутил с молодухами... Николай спросил, чего ждет весь этот народ, и несколько голосов, мужских и женских, с тоской и мольбой ответили ему:

— Свидетели мы, родимый! Свидетели!

И в этих торопливых ответах явно зазвучала надежда: быть может, этот господин со светлыми пуговицами может что-нибудь сделать для томящихся свидетелей...

Николай прошел наверх. В передней стоял будочник, который спросил: «Кого надо?» Пришлось ждать в приемной для чистой публики. Николай сидел на желтом липовом диване и прислушивался к голосам жизни желтого дома: доносился скрип перьев, изредка слышались шаги на цыпочках, перешептывание, шелест бумаги, — и все это вызывало потяготу, позевоту и сонливость... Николаю казалось, что жизнь из его тела постепенно уходит, тускнеет мысль, исчезает способность говорить и двигаться и что с ним совершается сказочное превращение в какой-нибудь неодушевленный предмет...

— Войдите!

Николай раскрыл глаза: будочник трогал его за рукав и махал рукой на дверь, куда следовало идти. Николай встал, но не сразу опомнился: в голове гудел какой-то звон, одна нога одеревенела и отказывалась повиноваться...

— Отсидели ножку-то! — шепотом сказал будочник и еще раз показал на дверь. Николай вошел в большую серую комнату с несколькими столами, за которыми сидели

серые люди и писали. Один стол был лучше других, и человек за этим столом чувствовал себя непринужденнее, чем все другие. Очевидно, это и есть секретарь.

— Вы секретарь?

— Я! — с гордостью подтвердил этот человек. — Пожалуйте! Прошу присесть... Вы — сынок Степана Никифоровича?

— Сын.

— Очень приятно. На поруки, значит, к родителям?.. Мы со Степаном Никифоровичем большие приятели. Не угодно ли папиросочку?.. Проходное свидетельство останется у нас, а вы потрудитесь прочитать вот эти узаконения и дать нам подписочку... Это так, для проформы, — виновато улыбаясь, говорил секретарь.

Николай прочитал «правила»: воспрещается выезжать из города, воспрещается заниматься уроками, воспрещается состоять в различных обществах, участвовать в спектаклях, воспрещается... Было очень много параграфов, и каждый начинался словом: «воспрещается»...

— Все это только на бумаге страшно, а в жизни с нами случается страшнее этого! — как бы извиняясь и успокаивая, сказал секретарь и предупредительно подал Николаю обмакнутое в чернило перо. Николай подписал, а секретарь сейчас же пристукнул подпись прессом и облегченно сказал:

— Вот и все!

Позади Николая шептались, и когда он оглянулся, то увидел, что все серые люди смотрят на него любопытно-удивленными глазами.

— Если не ошибаюсь, наш исправник — ваш крестный папаша?

— Папаша! Папаша!

— Не были у них?

— Нет...

— Вы попросите крестного, чтобы нам не посылать к вам на квартиру надзирателя. Лучше сами будете заходить к нам раз в неделю... Посидим, поболтаем, покурим... Все это так, для проформы...

Николай чувствовал, как в его душе оседает копоть от этих серых стен, шепота, шелеста и от этих людей, на лицах которых застыла смесь угодливости со злостью. Ему было душно и хотелось поскорее выйти на свежий воздух. Но пришел какой-то прилизанный человек в пиджачке с

короткими рукавами и сообщил, что помощник исправника требует студента в кабинет. Николай вспыхнул, его неприятно кольнуло слово «требует».

— Зачем ему?

— Приказали... Я не знаю...

— Надо зайти, — вздохнув, прошептал секретарь, — порядок такой...

Николай закурил папиросу и пошел сердитой походкой следом за прилизанным господином... Они шли длинным коридором, в котором опять пахло мышами, а прилизанный человек говорил:

— У нас очень много мышей... В прошлом году после масленицы мыши съели у нас одно очень важное дело... Руки масленые... Блины, конечно... Бумаги пахнут маслом... Все дело съели, остались только обложка и корешки...

— Должно быть, у вас бывают очень вкусные дела! — иронически бросил Николай.

Они вошли в большой зал, посреди которого стоял длинный стол, покрытый красным, обшитым по краю золотою мишурой сукном.

— Присутствие! — таинственно произнес прилизанный человек. — Папиросочку надо бросить...

— Сейчас докурю...

Николай приостановился и изо всех сил втягивал дым в легкие и выпускал через нос, а прилизанный человек повторял: «Нельзя здесь... неудобно», — и разгонял табачные облака носовым платком. Николай бросил окурок на пол, прилизанный человек проворно подобрал его и, затрудняясь, куда деть, положил наконец в карман своей жилетки; затем он подошел на цыпочках к двери, послушал ухом, робко приоткрыл дверь и ласково так сказал:

— Они пришли.

— Прошу! — пробасил голос за дверью.

— Пожалуйте! — ласково попросил прилизанный человек, раскрыв пошире дверь и давая дорогу Николаю.

Николай вошел. Помощник исправника сидел за письменным столом, углубленный в чтение. Он молча показал Николаю на стул, а сам продолжал читать, сопровождая чтение глубокомысленным мычанием. Помощник исправника мычал, а Николай злобно смотрел на него и сдерживался, чтобы не крикнуть: «Что вам от меня надо?» Наконец мычание кончилось; помощник исправника отложил в сторону бумаги, погладил бакенбарды и спросил:

— Вы сынок Степана Никифоровича?

— Да.

— Ай-ай-ай! — помощник исправника укоризненно покачал головой. — Что вы там натворили? — спросил он, потом встал, плотно притворил дверь и опять сел. Николай смотрел в сторону и молчал.

— Чего вы, собственно, хотите? А? Равенства? Но этого, молодой человек, не может быть!.. Вы вот худой и тоненький, а я плотный. Один любит арбуз, а другой свиной хрящик. Один человек способен от природы, а другой бывает глуп. Сама-с природа, молодой человек, сама не хочет, а вы...

— Я ничего не хочу.

— Я вам должен сказать, что не следовало слушать смутьянов, которые болтают об этом равенстве... Никакого равенства никогда на свете не было, нет и не будет, молодой человек... Я очень люблю вашего батюшку и говорю все это вам не как помощник исправника, а как расположенный к вам человек, поживший, опытный человек. Вы думаете, что я никогда не мечтал о равенстве? Боже мой!.. Все мы, молодой человек, в свое время мечтаем и заблуждаемся... Но наступает время, когда здравый рассудок берет верх... Все можно поправить, все можно загладить... Теперь вы у нас на поруках и, конечно...

— Извините, мне некогда.

Николай встал и вышел. Лицо у него было бледное, бескровное и усталое; веко левого глаза подергивалось, и дрожали смуглые руки, а глаза сверкали холодным блеском ненависти.

VII

Цвела в палисаднике сирень — белая и лиловая; рано поутру под окном ворковали голуби, а по вечерам в липах, на огороде, пел соловей. Домик совсем спрятался в зелени: даже на крыше, меж полусгнившего теса, выглядывала трава. Дни стояли жаркие, и тянуло к воде. Как только дома начинали охать и жаловаться на судьбу, на недостаток средств, на трясущуюся руку и на то, что Николай не оправдал надежды, — он брал ружье и отправлялся за реку. В лугах за рекой были озера, такие глубокие, тихие и задумчивые; в рамке ракитника и камышей эти озера были похожи на большие зеркала, отражавшие синее небо и

легкие облака, — и так хорошо было сидеть здесь одному, слушать, как жужжат коромысла, как камыши говорят сказки, прислушиваться к тому, как на душе делается все спокойнее, ровнее, как затихают все огорчения жизни и начинают отражаться, как синее небо в озере, тихая радость бытия и счастье юности... Иногда тихие думы и грезы нарушались опустившимся на воду селезнем; он красиво и гордо держался на воде и тихо звал утку, медленно оплывая зеленые камыши; его можно было убить очень легко, но Николай не брал ружья: затаив дыхание, он весь уходил в созерцание, и ему чудилось, что он постигает какие-то тайны жизни... Николай забывал о доме и о самом себе и отдыхал от упреков, жалоб и советов, которые давал ему всякий, с кем он встречался дома и на улице.

А жалобы и упреки становились все более частыми и резкими. Мать больше вздыхала, но отец не мог пройти мимо Николая, чтобы не сделать какого-нибудь обидного для юноши замечания. Если сын читал на огороде книгу, отец говорил: «И так уж зачитался»; если сын валялся на траве без дела, отец говорил: «Мягко, привольно, сытно, а главное — нечего делать»; если Николай уходил надолго из дому, старик говорил о подметках, которые тоже следует пожалеть, как и родителей... Все это Степан Никифорович говорил не потому, чтобы хотел оскорбить или упрекнуть сына, но потому, что этими замечаниями он надеялся исправить «бедного Кольку», надеялся повлиять на его «образ мыслей», как стал выражаться Степан Никифорович после того, как помощник исправника рассказал ему, как Николай вел себя в присутствии.... Во всякой мелочи старик находил теперь скверный образ мыслей. Поднимая с пола брошенный Николаем окурок, старик ворчал:

— Где ни попало... Ничего не признаем!..

Заметив на ногах сына рыжие носки давно не чищенных сапог, старик вздыхал и говорил:

— Зачем их чистить? При нашем образе мыслей можно ходить и в опорышках...

Однажды Степан Никифорович встретился на улице с исправником и сконфузился. Теперь он боялся встречаться со всеми значительными в городе лицами: ему казалось, что он в чем-то провинился перед ними, что он сделал что-то очень скверное, чего никто из этих лиц не ожидал от дворянина и такого почтенного чиновника, имеющего пряжку за тридцатилетнюю беспорочную службу.

— Что не заглядываете? — спросил исправник.

— Собираемся... да все как-то того, не выходит... — опустив глаза, ответил Степан Никифорович и сослался на Марью Тимофеевну, которая будто бы все прихварывает.

— Ну и крестничек мой, хорош! Носу не покажет!..

Степану Никифоровичу сделалось окончательно не по себе. Это, в самом деле, большое невежество со стороны Николая, которому он тысячу раз говорил, указывал, настаивал... Вот — дождался!..

— Стесняется он... Накуралесил там и прячется теперь. Стыдно глаза показать! — покачав головой, ответил Степан Никифорович и глубоко так и кротко вздохнул.

— Ничего, ничего... Быль молодцу не в укор! — сказал исправник.

— А он стесняется... Он думает, что вы очень недовольны и, может быть, не желаете... Ведь как знать?.. С одной стороны — крестный, а с другой — что ни говорите, исправник...

Исправник добродушно расхохотался.

— Ничего! Что было, то прошло... И на старуху бывает проруха... Пусть зайдет. Я его пожурю, но не как исправник, а как крестный отец... Бедовая молодежь пошла: чуть-чуть усики прорежутся, сейчас же начинает требовать республику!

Исправник смеялся, и полная фигура его вся вздрагивала от добродушного смеха. Степан Никифорович был страшно обескуражен этой добротой и снисходительностью: у старика даже слезинки заискрились в глазах, и трясущаяся рука запрыгала от радости. Надо было пользоваться случаем.

— Все были молоды, все глупили... Он ведь, в сущности, хороший у меня мальчик: добрый, смирный, почтительный, — и что с ним вдруг сделалось — понять не могу!..

Исправник сочувственно кивал головой, и потому старик отважился и начал просить: «Нельзя ли как-нибудь исправить ошибку молодости — возвратиться к наукам?»

— Поживем — увидим, авось что-нибудь и придумаем, — сказал исправник, пожал трясущуюся руку старика, и они расстались. Степан Никифорович раза два оглядывался, смотрел на медленно удалявшегося исправника и произносил:

— Уди-ви-тель-ный человек!

Старик возвращался домой веселый, помахивал зонтиком и, шамкая беззубым ртом, напевал:

Фонарики-сударики
Горят себе, горят...
Что видели, что слышали,
Про то не говорят...

За обедом он ласково смотрел на сына, шутил с Марьей Тимофеевной и ни разу не вспомнил, что у него трясется рука. На третье были блинчики с молоком, и старик, пододвинув коробку с сахарным песком поближе к Николаю, пошутил:

— Посолите, господин социалист!..

А после обеда, помолившись с особенной теплотой богу, старик заложил обе руки за спину, ходил и опять пел:

Фонарики-сударики
Горят себе, горят...

— Что ты сегодня распелся? — удивленно спросила Марья Тимофеевна, но старик, вместо ответа, остановился и, дирижируя трясущейся рукой перед самым носом Марьи Тимофеевны, пел дальше:

Что видели, что слышали,
Про то не говорят...

Марья Тимофеевна тоже повеселела. Она приготовила в палисаднике чай на новой скатерти, с новым вареньем и хлопотливо суетилась в кустах под сиренью около светло начищенного самовара. Сели пить чай, — и Степан Никифорович раскрыл наконец свои карты:

— Социалист! Пожалуйте-ка сюда! Есть кое-что утешительное... Поближе! Я тебя не укушу!..

Николай вздрогнул и побледнел. Непонятный страх овладел юношей от радостного настроения отца, и он подсел на лавку и весь как-то сжался от охватившего его предчувствия чего-то скверного, что должно сейчас случиться. Он насторожился, проникся оборонительным самочувствием и притих, ожидая неизбежного...

— Я тебе сто раз говорил, что надо сходить к крестному...

«Так и есть!.. Опять — крестный».

Старик рассказал про свою встречу с исправником, передал весь разговор, причем как-то невольно безгрешно

переврал слова исправника, который будто бы пообещал непременно выхлопотать возвращение к наукам, если Николай опомнится и выкинет из головы «социальную дурь»...

— Уди-ви-тель-ный человек! — несколько раз повторил Степан Никифорович и категорически закончил:

— В воскресенье иди к обедне, а оттуда к крестному! Зарекомендуй себя как следует — и все уладится...

Николай сидел и молча рассматривал узор на скатерти, а отец говорил, что пора оставить эти глупости и понять, что «сама природа не терпит этого глупого равенства и тому подобное»...

— Голова не отвалится, если ты лишний раз поклонишься!..

— Случается, что и отваливается...

Старик покраснел от гнева. Он строго посмотрел на бледного Николая и, бросив зазвеневшую чайную ложку, крикнул:

— Значит — глупая это голова! Дурацкая! Понял?

— Понял.

— Изволь сходить! Я дал слово... Слышишь?

— Не пойду... — глухо сказал Николай и встал.



— Что такое?..

Мать не знала, как остановить ссору. Она умоляюще смотрела на Степана Никифоровича, трогала его за рукав и шептала:

— Побойтесь вы бога!

Николай схватил фуражку и быстро вышел из садика. Он ушел на реку. Там он долго сидел на крутом берегу, неподвижный, молчаливый, и смотрел вдаль. Губы его дрожали и складывались в улыбку, а глаза туманились от слез... Медленно уходил летний день за горизонт, перспективы задергивались голубоватой дымкой сумерек, и тихий вечер с грустной улыбкой смотрел на тускнеющую природу. Тени начали ползти под гору и сгущались там, над темно-зеленой водою. Задумались река и лес и луга, и только далеко, в речном заливе, играли на тихой воде последние блики розового заката. Из овражка все сильнее тянуло сыростью, пахло сгнившей листвою и глиной. Небеса тускнели все больше, и фиолетовые облака делались тяжелее, резче обрисовывались и принимали причудливые формы чудовищ. Становилось кругом все тише, спокойнее, и в этой тишине было что-то кроткое, ласковое и вдумчивое. Изредка в синих сумерках слышался одинокий крик пролетавшего кулика, или дикая утка, напуганная кем-то, проносилась с заречных озер, тревожно свистя в воздухе сильными крыльями... Теплый ветерок осторожно, украдкой, прилетал к березкам, под которыми сидел Николай, и таинственный шепот молодых листочков перемешивался с едва слышным журчанием ручейка, бегущего по глинистому оврагу...

Николай смотрел, как медленно умирал летний вечер, и уносился мыслью далеко, за реку, за луга, за синевший в тумане лес... Куда? Он не знал. Куда-нибудь на Днепр, в глухой уголок старой усадьбы с балконами, с аистами на крыше, с угрюмым парком, с купальней у зеленого берега... Там в тихом вечернем воздухе раздается звонкий голос девушки с карими глазами, и в густых зарослях старого парка мелькает легкий силуэт в белом платье и соломенной шляпке с васильками...

Николай сидел и думал о Гале. Он был счастлив, потому что никто не мешал ему думать, а тихая уснувшая река и голубоватые туманы дали, казалось, рассказывали о том милом крае, где живет девушка с карими глазами... И, думая о ней, Николай с сладкой томящей грустью тихо пел,

смотря за реку: «Меж горами ветер воет и в лесах шумит...» Кругом было тихо и безлюдно, и песня уныло звучала на горе и, словно жалуясь кому-то, улетала с ветерком на реку и там пропадала, расплываясь в синих сумерках... Быть может, теперь и Галя сидит где-нибудь на берегу Днепра и вспоминает о нем... Николай вперялся грустными глазами в синие туманы заречья, и еще тоскливее звучала его песня:

Ой, Галина, ой, дивчина, серденько мое!..
Как тоскую я!.. Ты одна...

Выплыл двурогий месяц, река заискрилась, и серебристый туман заколыхался над водою. Полевщики зажгли в лугах костры.

— Распеваете в уединении?..

Николай оборвал песню и растерялся, словно его застали на месте какого-нибудь преступления. Оглянулся и увидел в полутьме фигуру в соломенной шляпе, с зонтиком.

— Не узнаете?.. Ардальон Михайлович Самоквасов, казначей местного казначейства, друг вашего папаши!..

— Аа...

— Чудесный вечер!.. Отменная погода!.. Пойте, пойте! Я послушаю... Люблю пение... Раньше дирижировал хором в соборе, а теперь не могу...

Ардальон Михайлыч спустился с горки и с старческим кряхтением опустился на травку, около Николая.

— Ходили к крестному-то?..

Николай вскочил на ноги, нахлобучил фуражку и пошел прочь.

— Подите вы все от меня к черту! — не оборачиваясь, сказал он со слезами в голосе и исчез за кустами молодых березок...

— Ого-го-го! — произнес ошарашенный Ардальон Михайлыч и долго смотрел на кусты, за которыми исчез этот дерзкий молодой человек.

VIII

Долго бродил Николай по берегу реки, а потом по окраинам города. Ночь была лунная. Лягушки звенели в болоте, за околицей, и кто-то пел дребезжащим тенором в поле тоскливую песню. Кое-где в домиках мигали огоньки, но

было тихо, удивительно тихо, и казалось, что месяц остановился и думает, почему это так тихо... Собака лаяла где-то на другом конце города, и ее лай разносился в серебристых сумерках ночи, такой бесстрастный и звонкий. Изредка с колокольни падали удары колокола и долго плавали в воздухе, догоняя друг друга и, казалось, не хотели затихать... Из-за длинных, утыканных гвоздями заборов таинственно выглядывали деревья и, казалось, хотели узнать, что это за человек бродит ночью по глухим проулкам и что ему надо... Встречный караульщик, завидя унылую фигуру Николая, сильнее ударил в колотушку, и трескотня ее, отскакивая эхом от заборов, встревожила мирную ночь резкими, бьющими в ухо стуками.

— Что за человек? — строго спросил он, поравнявшись с Николаем, но сейчас же рассмеялся и тихо сказал:

— Не узнал вас, барин... Не спится?..

— Не спится...

— Ночка-то больно хорошая, а дело-то молодое... Одному-то и не спится! Охо-хо-хо!..

И старик пошел дальше, переваливаясь с ноги на ногу. А в поле за околицей, в дрожащем серебристом тумане, все плавала тоскливая песня, и лягушки дребезжали на болоте. Опять с белой колокольни стал падать звон отбивающего часы колокола; Николай стал считать, и когда последний удар замер в тишине, направился к дому. По пути он заглянул в уютно светящееся окошко небольшого домика; за столом сидел в одной жилетке человек и с аппетитом ел из глубокой тарелки гречневую кашу с маслом; он широко раскрывал рот, давая место ложке, и стриженные под гребенку волосы на его голове шевелились, когда он жевал кашу. А напротив стояла молодая, крепкая такая женщина и, подперев щеку рукою, с удовольствием смотрела, как ел этот человек кашу с маслом.

— Господь напитал — никто не видал, — сказал человек, положил ложку, встал и потянулся.

— А кто видел — тот не обидел, — сказала женщина, убирая тарелку.

Господин в жилетке крякнул, потянулся еще раз и крепко шлепнул женщину. Николай улыбнулся и пошел прочь. «Ничего им тут не надо и ни до чего на свете нет дела...» Чем ближе Николай подходил к родному домику, тем более замедлял шаги: там, в этом уютном домике с палисадником, где прошло беззаботное детство и где его так долго

и так много любили, теперь ему было тяжело и душно, и туда не хотелось возвращаться, словно за зеленой решеткой палисадника его сторожило теперь что-то страшное и неизбежное...

Степан Никифорович сидел на лавочке за воротами. Николай не сразу заметил отца, потому что тень от наклонившихся над ним кустов сирени тушевала его темную неподвижную фигуру. Николай уже взялся за скобу калитки, когда старик кашлянул и спросил с хрипотой в голосе:

— Это ты, Николай?

Николай вздрогнул от неожиданности, растерялся и сказал:

— Сидишь?

— А ты все шляешься? Погоди-ка, друг мой любезный!

— Ну!

— А ты не нукай... Был я сегодня у исправника... Уди-ви-тель-ный человек!.. Хотя ты и невежа, но все-таки ты ему крестник... Понял?

— Понял.

— Он велел тебе написать прошение, что ты все это... по недоразумению, что тебя смутили... Понял?

— Понял.

— Что ты во всем раскаялся и просишь простить тебе все эти глупости... Что ты никогда не будешь... соваться... Слышишь?

— Слышу.

— А я в свою очередь напишу прошение... Я — старик, у меня трясется рука... Я тридцать пять лет тяну лямку верой и правдой... Слышишь?

— Слышу.

— И все уладится. Исправник в свою очередь напишет...

Николай стоял у калитки, как приговоренный к смерти. Он тупо смотрел в землю, опустив руки, и молчал, повторяя «понял» и «слышу». Комар жалобно пищал, кружась у него над ухом, и его жалобный писк, протяжный, нудный и настойчивый, отдавался в мозгу Николая, как чей-то бесконечно-долгий жалобный стон. Тявкала где-то собака. Звезды ярко горели в кротких небесах, бесстрастные и холодные. Кругом было тихо, напряженно тихо, словно ночь затаила дыхание и слушала, что делается на душе у Николая...

— Завтра сходи и поблагодари!

Николай безмолвствовал.

— И все уладится... Опять возвратишься к наукам.

— Никуда я не пойду и ничего не буду писать! — задыхаясь, чуть слышно, сказал Николай и пошел прочь.

— Почему? — закричал старик, встал со скамейки и пошел следом за сыном.

— Не могу...

— А жрать можешь?

— Оставьте меня! — дико закричал Николай и, ускорив шаги, пошел мимо крыльца на огород, в баню, куда он переселился несколько дней тому назад.

— Ах, подлец, подлец! — прошептал старик и, когда скрипнула калитка, ведущая на огород, громко закричал:

— Подлец!

И этот крик разбудил молчаливую ночь. Она вздрогнула и звонким эхом повторила: «Подлец...»

Николай вошел в баню и зажег огарок свечи. Тени побежали по полу, по черным закоптелым бревнам стен и спрятались по углам. Красное пламя свечи заколыхалось во мраке этой черной комнаты, и сверчок, живший на полатях около печки, перестал верещать... Здесь было сыро и пахло печиной. На перевернутой вверх дном кадке лежали в беспорядке книги и тетради; один стул стоял около широкой лавки, и на его спинке висела студенческая тужурка. Николай растворил маленькое окошко и долго ходил по черной комнате, как зверь в клетке; потом почувствовал вдруг страшную усталость во всем теле, погасил огонь и, повалившись на лавку, лег вверх лицом и замер, прикрыв глаза кистями рук. Когда он затих, в окошечко бани стала смотреть летняя ночь; за стеной в крапиве трещал кузнечик, где-то звенели колокольчики сперва все громче, а потом все тише... Кто-то куда-то едет... Счастливый!.. Надо куда-нибудь уехать, непременно уехать... скорее уехать... Господи, как он устал, невыносимо устал!.. Сверчок снова стал верещать, и какие-то шорохи поползли и под окном и в бане... Где-то запел петух, хлопая жесткими крыльями... Что такое? Николай испуганно приподнялся на локте и замер от ужаса.

— Кто тут? — спросил он и схватился за ружье.

— Это я, я, Коленька! я, миленький, — сквозь слезы зашептал под окном старческий голос, и на светлом фоне раскрытого окошка обрисовалась голова матери.

— Это-ты?

— Не спишь? Тоскуешь? — с безграничной нежностью и жалостью прошептала старуха и смолкла. И было слышно, как она потихоньку плачет, припав к стеклу маленького окошка. Николай подошел к матери.

— Перестаньте, ради бога, — умоляюще прошептал он, сдерживая давившие горло судороги.

— Милый ты мой! Сердце у меня изболело за тебя, — нет силы не плакать...

Николай шарахнулся от окна и, уткнувшись лицом в угол, зарыдал слезами бесконечной тоски и отчаяния. Мать потихоньку, ощупью, прокралась в баню, опустила свою голову на вздрагивающую спину сына и тоже заплакала... И долго они стояли так и рыдали в темном углу; потом оба притихли, сели на лавке и замолчали. Мать взяла руку Николая и не выпускала ее из своей, и Николай чувствовал, как старые кости стараются покрепче сжать его руку...

— Я... не могу... у вас... жить, — нервно всхлипывая, прошептал наконец Николай. — Я... должен куда-нибудь... уехать...

— Обидел тебя отец? Сильно обидел?.. За что он тебя обидел?..

Старуха припала к сыну и стала гладить его по голове. Голова Николая покорно склонялась под этой лаской, и ему казалось, что он делается маленьким, маленьким; что он опять гимназист и что он по-прежнему любит мать, бесконечно любит и готов для нее отдать все, даже жизнь...

— Что мне делать... Я не знаю... Я не могу... Понимаете: не могу! — шептал он, прижимая к сухим губам руку матери. — Я уехал бы куда-нибудь, убежал бы...

— А папашу тебе не жалко? Он, вон, тоже плачет теперь. Ты думаешь, ему легко?.. Ты уважь его старость, послушайся, не гордись... Эх, вы!

Мать тихо и ласково говорила о жизни, о старости, о смерти, о родительском сердце... Смысл ее речей не доходил до сознания Николая, но его убаюкивала тихая, ласковая воркотня, в которой было очень много любви и нежности...

— Напиши ты, — чего он там просит...

Николай вспомнил и отрицательно закачал головой.

— Не могу... Понимаешь: не могу!.. Если ты меня любишь, не проси об этом... Я куда-нибудь уеду...

— Куда же, Коленька? Нельзя тебе никуда ехать... ведь папаша ответит за тебя...

— Да, нельзя... — кротко согласился Николай и умолк...

И долго они сидели, думали о чем-то и молчали... Теплая ночь смотрела на них чрез маленькое окошечко и слушала, что делается на душе у этих спрятавшихся в темноте людей...

А в комнате маленького домика с палисадником светился красноватый огонек: там, пред сиявшим от теплящейся лампады образом, валялся во прахе Степан Никифорович и жарко молился богу о том, чтобы он, всемогущий, смирил и вразумил заблудшего отрока...

IX

Небо было безоблачно и, пропитанное полдневным солнечным блеском, сияло так ярко, что на него нельзя было смотреть. Воробьи купались в пыли по дорогам, и вороны сидели на крышах, распустив крылья. Городок изнемогал от зноя, безмолвный, сонный и кротко-спокойный. Жители попрятались по своим норам, и, казалось, никому не было дела до того, что случилось в домике с палисадником. У калитки его стояла лошадь, запряженная в плетушку, и, понурив голову, лениво отмахивалась хвостом от надоедавших мух; мужик в пиджаке сидел на лавочке и кнутовищем, не спеша, ковырял грязь на своем сапоге. Из раскрытых окон домика доносился чей-то стон, протяжный и тяжелый, и чьи-то голоса тихо переговаривались в сенях, и чьи-то торопливые шаги тревожно стукали по лесенке... На мгновение затихало, словно в домике вдруг все засыпали, а потом опять слышался стон, точно кто-то задыхался от страдания, и опять слышались голоса, шаги и шорохи...

— Кто приехал? — шепотом спросил у мужика запыхавшийся Ардальон Михайлыч.

— Доктор!.. Илья Ефимыч...

Ардальон Михайлыч перевел дух, сложил распущенный зонтик и стал со страхом заглядывать чрез ограду в палисадник... Кого-то он поманил пальцем и отошел, отирая платком потное лицо. Калитка приотворилась, — выглянула баба Анисья; лицо у ней было ужасное, растерянное, и как только баба увидела Ардальона Михайлыча, так сейчас же у ней заморгали глаза и потекли слезы.

— Ну, как... у вас?

Баба Анисья махнула рукой и закрыла лицо передником; всхлипывая, она сообщила, что теперь отхаживают старого барина.

— Разбило его, совсем разбило!.. Ни рукой, ни ногой... И не говорит ничего, только смотрит жалобно так... — всхлипывая, говорила она и сморкалась в фартук. — Зайдите!..

— Ну что тут?.. Не поможешь, — со вздохом прошептал Ардальон Михайлыч и сел на лавочку.

Мужик встал, считая невежливым сидеть рядом с барином.

— А молодого-то не видали? — спросила Анисья.

— Нет... Где он?..

— В бане лежит... Хорошенький, как живой!.. Словно спит, сердешный! — с жалобным умилением сказала Анисья, закрыла лицо фартуком и скрылась за калиткой... По лужку сюда шел еще какой-то старичок в синих очках и фуражке с кокардою. Он подошел к Ардальону Михайлычу, тихо спросил его о чем-то и стал смотреть чрез зеленую решетку.

— Зайти, что ли... Неудобно как-то...

Ардальон Михайлыч отрицательно покачал головой, и оба старика задумчиво пошли по широкой зеленой лужайке, прочь от домика с палисадником. Оба раскрыли зонтики и сделались похожими на два больших удалявшихся гриба...

Около старой, обросшей крапивой и репейником бани толпилась кучка баб и ребятишек. Они стояли около маленького квадратного окошка с выбитым стеклом и заглядывали туда страшными большими глазами... Дверь бани была запечатана, и у порога ее стоял караульный, с медной бляхой на груди... Чрез окна были видны ноги лежащего на лавке человека. Эти ноги, обутые в новые, только что связанные носки и как-то странно вытянувшиеся вдоль лавки, притягивали и пугали любопытных детей и женщин; они дергались, пугались и перешептывались:

— Его ноги-то?

— Его!

— Пусти, что ли!.. Поглядела, и будет!..

— Резать, дяденька, будут?

— А как же?

— О господи Иисусе!..

Это Николай лежал на лавке, такой спокойный, словно он заснул сладким сном усталого человека и не хотел больше знать, что говорят, делают и думают живые люди... На полу, около лавки, валялась записная книжечка и синяя засохшая фиалка...

X

Во вторник хоронили Николая. На кладбище провожал его весь маленький городок, с хором соборных певчих. День был веселый, яркий, ликующий, и перезвон с соборной колокольни грустно и торжественно разносился в прозрачном утреннем воздухе... Пели певчие, а когда они замолкали, то в садах, за заборами, пели птицы... Гробовая крышка колыхалась над толпой, и солнце играло на позументе ослепительным блеском. Марья Тимофеевна шла за гробом, едва передвигая ноги: ее поддерживали с одной стороны крестный, а с другой — его помощник. Она не плакала. Впившись мутными глазами в уносимый гроб, она что-то шептала и качала головою. Ардальон Михайлыч шел с хором певчих и, вытягивая высоким разбитым тенорком «Святый боже», по старой привычке дирижировал рукою; лицо у него было озабоченное, деловое, и казалось, что для Ардальона Михайлыча было важно не то, что хоронят Николая, а то, как поют соборные певчие: по временам он сердито оглядывался и делал глазами какие-то знаки певчим, но те смотрели на своего регента и не обращали внимания на эти знаки; тогда Ардальон Михайлыч пожимал плечами и переставал петь...

Все значительные лица города старались держаться поближе к исправнику и грустными глазами смотрели то на гроб, то на Марью Тимофеевну. Всем было жалко Николая и эту старушку.

На кладбище выдвинулся Карягин и, опустив низко свою стриженую голову, начал говорить Николаю прощальное слово. Это слово начиналось стихами: «Не рыдай так безумно над ним: хорошо умереть молодым...» Как только Карягин сказал, что хорошо умереть молодым, Марья Тимофеевна зарыдала и стала биться в руках крестного и его помощника. Крестный старался успокоить старуху; со слезами на глазах он кротко и очень жалобно говорил, наклоняясь над Марьей Тимофеевной:

— Что делать? Надо смириться... Плакать грех... Все в руках господа...

А с другой стороны наклонялся помощник крестного и шептал:

— Все умрем, все!

Но Марья Тимофеевна не слушала: она рыдала все сильнее и громче, и от этого не было слышно, что говорил Карягин, печально качавший головою в такт своей речи.

— Коля?! Что ты наделал? — закричала мать, когда гроб закачался над ямой и стал в ней прятаться.

Исправник вынул носовой платок и начал усиленно сморкаться. На глазах у стоявших вкруг ямы заблестели слезы... В зеленой листве берез, заглядывавших ветвями в могилу, пели птицы, а комья глины глухо стучали о гробовую крышку...

Когда Николая засыпали землей, то все тихо, задумчиво побрели прочь с кладбища, и оно скоро опустело. Остались только птицы да Марья Тимофеевна. Птицы пели, а старуха сидела на глинистом кургане, забросанном белой и лиловой сиренью, мутными глазами смотрела в землю и с укоризной шептала:

— Эх вы! Эх вы!..

КОЛЯ И КОЛЬКА

Однако дедушка-мороз сердится не на шутку, разгуливая по снежному, пустынному и безбрежному, как океан, полю...

На далеком горизонте эти безлюдные пустыни сливались с потускневшими уже облачными небесами, и нельзя отличить, где кончаются снежные сугробы и где начинаются причудливые облака... И небеса похожи на снежное поле. Куда ни погляди — везде бело: и внизу, и вверху, и впереди, и позади, и вправо, и влево... Всюду снег, снег, снег... Ветерок гуляет по полю, крутит снежной пылью и несется по снежным целинам, как белый дымок... Не было бы бурана...

Жутко теперь ехать по полю одному... Зато как приятно делается вдруг, когда заслышишь вдали заунывный колокольчик встречной тройки или нагонишь длинный-длинный, скрипучий обоз, гуськом плетущийся по дороге! Как спокойно делается на душе, когда увидишь этот длинный обоз и рядом с ним мужиков в овчинных, туго опоясанных тулупах, с перевальцем шагающих возле своих побелевших от инея лошадок! Разноголосые бубенчики булькают и тенькают как-то удивительно мягко и мелодично, словно рассказывают о чем-то грустном, милом сердцу... Мужики крепко похлопывают рукавицами, крякают и разрывают мелодию бубенчиков своими поощрительно-ласковыми окриками:

— Ого-го-го! Родимая!

Как рад бываешь такой встрече и как хочется, чтобы этот обоз тянулся дольше-дольше, чтобы скрип саней-розвальней, бульканье разноголосых бубенчиков и ласковые «ого-го!» не прекращались...

Не на шутку сердится дедушка-мороз!..

Придорожные путеводители — вехи, там и сям торчащие вдоль дороги, он опушил снежными кристаллами; понурых лошадок принакрыл, словно шелковой тканью, се-

ребристой пылью, а на мордах, у глаз и губ, понавесил ледяных сосулек; мужикам посеребрил бороды и, кажется, намерен пошутить над ними: сморозил им усы и бороды так, что трудно становится раскрыть рот, чтобы засовать туда трубку и подымить махоркой... Даже и на крестьянские сани набрасывается дедушка-мороз: они то и дело пощелкивают и потрескивают от холода и визжат, словно плачут, по снегу...

Ух, как холодно! Хорошо бы теперь в тепло, к самоварчику!..

Вечереет. По снежной, безбрежной равнине трусит пара запряженных гусем лошадок. Глухо дребезжат колокольчики, скрипят сани, обтянутые рогожей, фыркают лохматые, заиндевевшие лошадки... На облучке сидит ямщик лет тринадцати — Колька, из села Ракова. На голове у него отцовская шапка необычайной величины, надвинутая до самых плеч. Эта шапка сползает на нос и закрывает Кольке глаза, и он то и дело поправляет ее и бранится:

— На вот! Назола какая!

На руках у него большие рукавицы, а на ногах — громадные валеные сапоги, белые с горошком. Сидит он боком и держит в левой руке вожжи, а в правой кнут, длинный, похожий на змею...

А в санях, весь укутанный в шубы, одеяла и обложенный подушками, едет Коля, гимназист второго класса, возвращающийся на рождественские каникулы в родной деревенский дом, на хутор «Отрадное».

Дедушка-мороз бежит за санями и беспокоит как Кольку, так и Колю... Колька раз двадцать ругнул уже дедушку нехорошими словами; а он все-таки бежит, не отстает и то щипнет Кольку за нос, то подует ледяным дыханием за валеный сапог, дернет за большой палец на руке или заберется за шею и погладит по спине. На Колькины сапоги он надел снежные калоши, а выглядывающие из-под шапки волосы сделал седыми, как у старика...

Колю дедушка-мороз беспокоит меньше. Однако и его не оставляет без внимания. Уж кажется, что до Коли нет никакой возможности добраться, — так нет тебе, отыщет хитрый дедушка где-нибудь скважинку и начнет в нее подувать...

— Колька!..

— Чаво еще тебе?

— Подоткни мне сбоку... дует!..

— Тпру!..

Колька вскакивает с облучка, сдвигает с глаз шапку и идет к саням. Сняв громадную рукавицу, Колька начинает подтыкать сбоку одеяла...

— Зяблый ты!.. Ладно, что ли?.. Промерз?..

— Ну, поезжай!..

— Нос-от спрячь! Приедешь домой без носу... Вишь, какой он у тебя красный...

— Не твое дело!.. Поезжай!..

Колька выбьет нос, наденет рукавицу, вскочит на облучок, хлопнет длинным кнутом и крикнет сиплым голосом:

— Но! лихие!..

И опять дребезжат колокольчики и скрипят сани, а перед глазами Коли торчит Колька, очень похожий сзади на огородное чучело...

Коля боится шевельнуться: он чувствует, что как только сделает это, дедушка-мороз отыщет себе сейчас же где-нибудь новую дырочку и начнет опять надоедать и беспокоить. А Коле это будет очень неприятно. Теперь у него в голове все такие веселые, радостные мысли! Он думает о том, как лошади подъедут к воротам большого дома, как весь этот дом сразу засуетится, оживет от Колиного появления... В окнах замелькают детские головы, и маленькие руки застучат в стекла; забегают по сеням, захлопают дверями, на крыльцо выбежит Дуняша помогать ему вылезть из саней... Потом он увидит папу, милую мамочку, дядю Ваню и тетю Дуню, маленьких драчунов-братишек Леву и Борю и черноглазую сестренку Сашурку!..

Коля воображает, как все будут рады, довольны и счастливы!

— Как хорошо жить дома!.. Только ведь недолго жить-то: всего две недели... А потом опять — в город, в гимназию... Можно похворать с недельку... Только бы согласился папочка!..

Одно смутно беспокоит Колю: он везет домой табель за вторую четверть, и там есть двойка из арифметики... Проклятая двойка!.. Если бы не эта двойка, Коля был бы совершенно счастлив!..

Как-нибудь обойдется... Коля скажет, что он не виноват тут нисколько: что у них очень строгий учитель из арифметики и не дает хорошенько подумать, придирается...

И Коля сам начинает верить, что учитель напрасно поставил ему двойку. Потом двойка забывается; Коля начинает представлять, как будут рады подаркам, которые он везет братишкам и сестренке на елку... Теперь уже наряжают елку... Какая нынче выйдет елка? Интересно... Мама писала, что купила граммофон!.. Господи, сколько интересного!..

А бестолковый Колька ничего не понимает. Коле кажется, что Колька ни о чем не думает, ничего не желает, что ему — все равно... Выбьет нос, пощелкает сапогом о сапог, похлопает рукавицами и гнусаво и хрипло закричит:

— Нну! лихие!

А «лихие» еле тащатся и не обращают никакого внимания на маленького ямщика.

— Поезжай скорее! вскачь! — сердито говорит Коля и тыкает рукой Колькину спину.

Колька дергает вожжами, хлопает в воздухе кнутом и опять ежится.

— Говорят тебе — скорей! — повторяет Коля.

— Поспешь! Чай, не на пожар? — хладнокровно отвечает Колька. — Надо тоже и скотину пожалеть... Ты вот сидишь, а она тебя везет... Вечор бревна возили, седни тебя... Этак-ту заморишь...

И Коля ничего не может возразить на доводы Кольки. Он только еще больше сердится и на Кольку и на лошадей. Коле кажется, что лошади чуть-чуть тащатся, ползут, как тараканы...

— Ну, уж и лошади у тебя!.. У нас Савраска один перегонит твою пару...

— У вас — овес жрет, а у нас — сено... А овса-то дают только понюхать... — возражает Колька. — Ты вот тоже какой гладкий!.. Поди все сахар сосешь?

Коля смеется... Глупый Колька! Он думает, что вкуснее сахару ничего нет на свете!..

— Белу калабашку все ешь...

Коля смеется: губы смерзлись, улыбка выходит какая-то странная...

— Ты читать умеешь? — спрашивает Коля.

— У-у!.. Читаю здорово!.. Мужики соберутся — всегда меня заставляют читать им...

— А писать?

— По-печатному умею... А тебе много ли годов учиться-то осталось?

— Семь лет в гимназии да пять в университете. Я буду доктором!

— У-у!.. Заучишься совсем!..

— А ты в городе был?..

— Не доводилось... Нно! лихие!..

Уже совершенно стемнело. Навстречу подувает резкий, режущий лицо ветер; твердые снежные крупинки бьют в щеки и колят их, как острые иголки. У Коли уже течет из носу и из глаз, начинают мерзнуть и деревенеть ноги; он старается шевелить ими в валенках, отдернуть ступни ног от подошв, — ничто не действует.

Колька спрыгнул с облучка, хлестнул коренного, потом гусевую и побежал рядом с ними. Лошади пошли под уклон вскачь; Колька быстро-быстро засеменил ногами, замахал в такт руками, стараясь не отставать. Но скоро все-таки отстал, остался позади...

Коле это не нравится: он не любит, чтобы ямщики оставляли предназначенное для них место.

«Ах, да скоро ли Колька сядет на козлы!..»

А Кольки нет...

Дедушка-мороз сердится все сильнее. Гуляет он по чистому полю без пути, без дороги, носится злобным вихрем над снежными целинами: то поднимется снежной пылью высоко вверх, то опустится вниз и помчится по равнинам так, что только белый дым клубится у него под ногами...

Коле жутко. Того и гляди выскочит откуда-нибудь волк: загрызет и лошадей и Колю; а то какой-нибудь разбойник с ножом нападет и убьет его... Как будут плакать тогда милая мамочка, папа, Лева, Боря и Сашурка!.. Небось и тетя Дуня поплачет!..

Коля озирается по сторонам и почти уверен, что где-нибудь близко непременно спрятался и караулит разбойник или волк... Моментами Коле чудится, что у березы что-то шевелится, Коля закрывает глаза и думает: «Что будет, то и будет... Господи!»

— Нно! лихие!

Коля открывает глаза и видит, что Колька по-прежнему сидит на козлах.

«Слава богу!» — мысленно произносит Коля и спрашивает:

— А ты не боишься?

— Чаво?

— Волк нападет...

— Какие тут волки?.. Да коли он услышит колоколец, убежит, окаянный!..

— А может напасть разбойник...

— Разбойник?! Окстись! Какие тут разбойники?! Тут все хорошие люди проживают... А ты вот чего бойся: перед рождеством по полям всякая нечисть рыскает... Дядя Макар сказывал, что когда он парнишкой был, вот этак же, как я, ездил, — видел, как в поле леший плясал!.. А ты не смейся!.. Подбодрился, проклятый, да вприсядку около березки!..

— Ну!..

— А он, дядя-то Макар, запел «Деву днесь»... Как это он услыхал, — кубарем, кубарем! А потом в снежный буран оборотился и убег по полю.

— Это все враки!

— Вот те и враки!.. А в сочельник и не то бывает!.. Ведьмы в ступе разъезжают, черные чертенята в хороводы играют, визжат и дерутся... Вплоть до самой заутрени беснуются, проклятые; а как ударят в колокол к заутрени, — все кубарем, кубарем!.. Кто в овраг, кто в сугроб, кто в дупло...

— Враки это... — повторяет Коля, а сам сжимается от страха и прислушивается. И ему чудится, что где-то кто-то свистит и смеется потихоньку...

— Чу, как свистит окаянная сила! — говорит Колька и, сняв шапку, крестится...

— Кто это?.. Ты, пожалуйста, не пугай уж!.. Ничего нет вовсе...

— Не обошел бы лошадок, а то до утра не доедем!.. Коля хотя и не верит в лешего, но ему очень страшно, и он думает, что все-таки лучше на всякий случай перекреститься...

Небеса темные, облачные... Коля ничего не видит: впереди колыхается темная спина Кольки, наверху, над глазами, торчит какой-то темный клин: должно быть, это кончик башлыка... Вот и все, что может различить Колин глаз. Коле чудится, что он плывет в каком-то темном пространстве; что вот-вот лошади ступят в раскрывшуюся перед ними пропасть и все: и сани, и Коля, и Колька, и лошади — стремглав полетят вниз... Ух, страшно! Коля

удивляется, как это Колька правит лошадьми... Как он ухитряется разглядывать в такую темноту дорогу, и как он может запомнить, что по этой именно дороге надо ехать в «Отрадное»? Вот молодец! И недавняя пренебрежительность к Кольке смягчается; Коля мало-помалу начинает чувствовать к Кольке уважение — не уважение, а так что-то в этом роде...

«Небось с Колькой не заплутаешься! Довезет!»

Впереди моргнул красноватый огонек, другой, третий... Неужели это «Отрадное»?!

— Ямщик! Что это светит?..— с замиранием сердца спрашивает Коля.

— Чаво?.. Известно — огонь! — не понимает бестолковый Колька.

— Я спрашиваю, какое село?..

— Не сяло... Оно это, «Отрадное»!..

Коля радостно вздрагивает; его сердчишко начинает беспокойно колотиться, и невольная улыбка шевелит ему застывшие губы... Коля смеется сперва только сердцем, потом вслух, все громче и громче... Теперь Коле уже не холодно, а жарко; он нетерпеливо ерзает на месте, вытягивает шею и смотрит на подмигивающие огоньки. Один из этих огоньков непременно у них в доме... Коля смеется громко-громко...

— Ты чаво?..— обернувшись, спрашивает удивленный Колька.

Коля смеется еще сильнее.

— Ничего, ничего! Поезжай скорей!..

— «Ничаво»-то у меня в кармане много...— серьезно острит Колька и кричит тоже бодро и весело:

— Ух вы, лихие! Зажаривай!..

Вот и «Отрадное»! Знакомый овраг, мост... На мельнице огонек светит. А на горе — господский дом!.. Ворота распахнуты настежь, словно приготовлены для Колиной встречи. «Лихие» вбежали во двор, и как Коля рисовал себе картину своего приезда, так оно и вышло. По двору поднялась беготня: Гаврила, Михайло, Парашка — бегают как угорелые и кричат что-то; они в одних рубахах, без шапок; у Гаврилы — фонарь в руке... Собаки визжат и лают от радости: и Полкан и Шарик!.. На крыльцо выскочила Дуня со свечой в руках, но ветер задул свечку... А лошадки пофыркивают и побрякивают колокольчиками...

В окнах дома — бегает огонек... «Кто это там с лампой в руке?.. Господи, да это мамочка!!»

— Ну, вылазь!..

— Ой, ногу отсидел!..

Спустя минуту Коля — за круглым столом, на котором пыхтит громадный самовар, такой знакомый, родной, что обнять его хочется. Вокруг все дорогие лица... Господи! сколько радости, поцелуев, смеха, расспросов, рассказов, новостей!.. Кажется, в целый год не перескажешь!..

— Мамочка, я последнюю станцию с мальчишкой ехал!..

— Как с мальчишкой?.. А разве не с Никифором?

— С Колькой!..

— Да неужели?..

— Ей-богу!..

Папа рассердился на Никифора: как он смел отправить Колю с молокососом?..

— Где он?..

— На кухне, барин... Лошадям дал сена, а сам на кухне греется...

Отец пошел в кухню, и за ним все ребятишки...

Колька разулся, распоясался и сидел за столом. Кухарка поила его чаем. Лицо у Кольки было красное, нос лупился, русые волосы лежали на большой голове на два ряда и были подстрижены в скобку... Как есть мужик...

Папа улыбнулся...

— Как же это, братец мой, тебя отпустили?.. Да много ли тебе лет?..

— Чай, я не махонький! — ответил Колька, отирая нос указательным пальцем. — Я в Игумново езжу, а не то что досюда!..

— Мало ли что может случиться в дороге!.. Ты и с лошадьми-то не справишься...

— Я-то?! — ухмыльнулся Колька. — На тройке могу, а не то что на паре!..

— Скажи пожалуйста, какой молодец!..

Лева, Боря и Сашурка смотрели на Кольку удивленными глазами и все ближе и ближе подходили к нему, намереваясь заговорить...

— А у нас будет елка!.. — сказал наконец Боря.

— Уходите! Нечего вам тут делать! — сказал отец, и детишки нехотя пошли вон из кухни... Но как только ушел

отец в кабинет, Боря опять пробрался в кухню разговаривать с маленьким ямщиком.

— А у нас будет елка!.. — сказал Боря.

— Ну, пущай будет!.. Скажи мамаше, чтобы прогоны принесла — рупь восемь гривен!..

Колька пил себе чай бесконечно... Он вспотел, ухал, смотрел в окошко и говорил:

— Эка непогоды! Придется заночевать... Ты, чай, меня не прогонишь? — спросил Колька у кухарки.

— Колька у нас ночует! Колька ночует!! — радостно защебетал детский голосок, и эта весть всполошила детские умы, как событие громадной важности...

— А где ты ляжешь? — спрашивал Лева.

— На лавке...

— А на чем?

— На лавке, говорю!..

— А подушки у тебя нет? — осведомлялась Сашурка.



— А я валены сапоги положу... Принесь-ка мне сахару, малец! Я за твое здоровье пососу... — попросил Колька у Бори.

Боря где-то раздобыл сахару и принес Кольке. А Лева принес грецкий орех, Сашурка — сломанную куклу.

Ребята бегали из комнат в кухню, а из кухни в комнаты и сообщали матери, что сказал Колька, как он будет спать, как он икает, словно там, на кухне, завелся какой-нибудь зверек.

В это время Коля возился уже с граммофоном, о котором много мечтал в городе и особенно дорогой.

Наконец граммофон наладился и, шипя и постукивая, начал играть марш, петь песни и говорить...



— Коля! покажем Кольке...

— Мамочка! позволь привести Кольку!..

— Зачем это?!

— Мы ему покажем граммофон!..

Все ребята набросились на мать с мольбами и радостно захлопали в ладоши, когда мать разрешила пустить Кольку в комнаты.

— Натопчет... Пусть снимет сапоги...

— У него валенки!.. Он снял их...

Коля пошел за Колькой. Тот долго упирался и не шел.

— Чаво я там не видал?! — говорил он, глядя исподлобья на гимназиста.

— А вот и не видал!.. Я тебе лешего покажу...

— Врешь ты все...

— А вот пойдем! Увидишь!

— Ну, айда! Пойдем, что ли...

Маленький дикарь пошел следом за Колей. Когда дверь в столовую растворилась, Колька попятился назад: он увидел барыню...

— Ничего, голубчик, ничего... Иди!

— Смотри, шкатулка с трубой, а в шкатулке сидит леший...

— Врешь ты все...

— Вру? вру?.. — обиженно повторял Коля и, повозившись около граммофона, пустил его...

Колька вздрогнул и попятился: глухой, словно из шкатулки, голос запел вдруг прямо в ухо Кольке песню, и музыка заиграла...

— Фу ты, окаянная сила! — прошептал Колька, засматривая в трубу...

Все ребятишки засмеялись дружно и весело, а Колька

стоял разиня рот и не отрывал удивленного взора от ящика. На хохот ребят пришел папа, потом — мама...

— Что такое?

— Колька, папа, боится...

— А вот и не боюсь... Машина это... Сказывали у нас про эту штуку-то!..

И Колька очистил нос с помощью пальцев.

Как только он это сделал, мама состроила гримасу, переглянулась с папой и сказала, тронув Кольку за плечи:

— Ну, довольно! Иди, иди!..

— Мамочка! пусть побудет!.. Я заведу «Куда, куда, куда вы удалились...»

— Он ничего не понимает... Все равно ему...

Колька пошел в кухню. На пороге столовой он обернулся и сказал:

— Барыня! а ты мне прогоны-то отдашь?..

— Конечно!..

— А ты теперь отдай, а то утресь чуть свет уеду, — ты спать будешь...

— Иди, иди!.. Пришлю с кухаркой...

— А ты мне отдай: оно вернее... Чуть свет уеду. Отец наказывал не ночевать. И то ругаться будет...

В столовую вышел Боря.

— Прощай, барчук! — сказал Колька и протянул руку.

Боря протянул было ему свою, но раздумал и закинул за спину.

— С мужиками нельзя за руку... — сказал он, наклоняя курчавую голову...

— А что же с ними, за ногу, что ли, надо? — тихо, с усмешкой, спросил Колька.

— Ну, будет тебе тут рассуждать! — строго сказала барыня. — Мужик — так мужик и есть!.. Невежа!.. Убирайся!!

Колька, опустив голову, вышел из столовой.

— А видно, барыня-то у вас злющая? — спросил он кухарку.

— А что?..

— Зря ругается... Пес с ней — мне бы только прогоны получить... Ты попроси прогоны-то у ней!..

Прогоны Колька получил, завязал их в тряпку, сунул в валеный сапог и успокоился... Растянувшись на лавке,

он прикрылся тулупом и смотрел на кухарку, которая приготовляла господам ужин.

— Чаво поджариваешь?

— Зайца разогреваю...

— Они все жрут... У нас барин голубей жрет... Ей-богу!..

Когда господа поужинали, в комнатах заиграли на рояле. В кухню глухо и мелодично доносились мягкие звуки вальса, и Колька слушал и удивлялся.

— Эх, как зажаривают!.. Весело живут!.. А ведь вот на том свете нам лучше будет!

— А кто знат! — сказала кухарка.

— Я тебе говорю!.. Помяни мое слово!.. Кто здесь смеется, тот на том свете плакать будет... Это уже поверь...

Долго звучала музыка, и под эту музыку Колька думал о господах, о господской жизни, о том свете. Кухарка погасила лампу...

— С ними и про лошадей-то забудешь!.. — неожиданно вымолвил Колька, заворочался, застучал по полу босыми ногами и забренчал ведрами.

— Ты что там делаешь? — тревожно спросила задремавшая было кухарка.

— Лошадей надо попоить!..

— Ведры-то эти у нас чисты!..

— Все одно... Лошадь-то, чай, не заяц...

— Ну, ладно, пусть пьют себе!.. — зевнув, промолвила кухарка.

Колька надел валеные сапоги, вышел на двор, напоил лошадей, поговорил с ними, посмотрел на небо.

— Прояснят маленько... — промолвил он и похлопал лошадку по крупу.

— Баловашь! — строго крикнул он, когда лошадь шевельнулась под его рукой.

Коля спал крепко в теплой постели, когда Колька выезжал из ворот барского дома. Дом какой-то темный, сердитый; все ставни в его окнах были закрыты наглухо. Колька посмотрел на этот дом, вспомнил Колю, Борю, машину, и, когда его воспоминания остановились на барыне, он крепко хлопнул кнутом, дернул вожжами и крикнул:

— Нно! лихие!..

И сани быстро покатились под горку и стушевались в сумерках. Только колокольчики долго еще динькали в предрассветной тишине...

ДОБРЫЙ БАРИН

Ехал барин из города и сердился: до самых праздников затянули земские собрания, которые надоели, как ноющий зуб; голод, тиф, ссуды на прокормление, ссуды на обсеменение, ссуды, ссуды, ссуды!.. Когда это кончится? За границей нет ничего подобного... Конечно, урожай скверный, но кто виноват, что мужик не умеет делать сбережений на черный день? В прошлом году они, сукины дети, меньше, как по рублю в день, косить не хотели; гнули рыло, когда за жнитво бабе по восьми гривен платили! Ну, и отложи! Сбереги! Пропили, промотали, прожрали, а теперь — ссуды... А господа, которые на своей шкуре не испытали мужицкой руки, говорят жалобные слова, проливают гражданскую слезу... И что это за манера тянуть до самого рождества Христова?..

— Прибавь! Прибавь!.. Опоздаем...

— Тижало, барин... Возок у нас тижелый, а дорогу всю замело... Лошади ваши, только... жалко скотину... Вишь, как коренник дышит!..

Нынче всю зиму прожили в городе, а на праздники решили поехать в имение: очень упрашивали дети. Где бы ехать всем вместе, а тут...

— Прибавь, Спиридон!..

Спиридон бил лошадей и покрикивал:

— Ну, ну, ну, выдирайся, что ли!..

Действительно, приходилось выдираться: тяжелый возок вяз в рыхлых сугробах, которыми перерезало дорогу, как песчаными насыпями. И чем дальше, тем хуже. Казалось, что кто-то недоброжелательный умышленно устраивал на дороге снежные преграды. Это еще больше сердило барина и возвращало его мысли снова к мужику:

Ссуды! Вот возьми лопату и иди работать! Ни пройти, ни проехать, а у нас получат ссуду, лягут на печь и чешутся до весны... И никак не могут придумать, как

заставить мужика работать!.. Именно — никаких ссуд!.. Хочешь жрать, иди работать.

Приходили в голову барину все обиды, какие он когда-нибудь видел от мужика, и было досадно, что нельзя было собрать всех, которые обижали весной и летом, и сказать им:

— В прошлом году вы куражились, голубчики, ну, а теперь позвольте покуражиться мне.

Уныло звенели колокольчики, скрипел снег под возком; возок нырял, как лодка на волнах, а барин мечтал, как летом он научит их дорожить хорошими отношениями с барином, и не заметил, как свечерело. Вместе с сумраком подул резкий ветер, закрутились, задымились снежные насыпи, заволокло горизонт прыгающими сверху и снизу хлопьями снега, а проселочная дорога, на которую свернули лошади, стала совершенно пропадать в сугробах.

— Подними-ка, братец, фартук!

Спиридон попробовал сделать это на ходу, но не вышло. Пришлось остановить лошадей и слезть с козел.

— Холодно...

— Пуржит, барин!.. Ну и дорога... Прямо волоком тянут... Запарились лошади... Не знай уж, как... Не пришлось бы кормить.

Мелькнула перед барином мохнатая от снега голова Спиридона и исчезла: в поднятом фартуке возка осталась только узкая полоска просвета. В возке казалось, что перестал и притих ветер, что дорога отличная, что все хорошо на свете, — и барин закрыл глаза и начал погружаться в благодушное безразличие... Казалось, что плывешь куда-то в тепле и спокойствии, и не хотелось останавливаться... Постепенно деревенело все тело, труднее шевелились члены, и лицо складывалось в улыбку...

— Тпру!..

Возок нырнул, и барин почувствовал, что он, с лошадьми, с возком, с Спиридоном, стремглав полетел в черную бездонную пропасть...

— У! — вздохнул барин и раскрыл глаза.

Что-то случилось. Слышно, как Спиридон пыхтит и ругается. Они не едут.

Или это кажется, а на самом деле продолжают ехать?.. Нет, стоят.

Барин приоткрыл фартук и спросил:

— Что там у тебя?

— Гусем надо перекладывать... По брюхо пристяжная увязла... Тпру, что ли!

Было темно. По-прежнему крутило и дымило вокруг, и снежная степь пугала своей безграничной белесоватой мутью, в которой прятались даже лошади.

— Верно ли едем?

— Надо быть, верно... А кто знат?.. Ни хрена не видно...

— Суходолье проехали?

— То-то, нет!.. Не видать... Пора бы, а что-то неприметно. Тпру, что ли!

Барин рассердился опять.

— Стало быть, неверно... Что же ты, чертова балаболка, со мной делаешь!

И барин стал ругать Спиридона скверными словами. А Спиридон продолжал свое дело и только хмурился. У него что-то не ладилось и как-то вырвалось в досаде:

— Ах ты, чтоб тебя!..

Быть может, барин принял это восклицание на свой счет, а может быть, просто не держалась внутри злость и досада, но он продолжал ругаться даже после того, как снова поехали. Спиридон молчал, слушал и восхищался: «Как он здорово загибает!.. Почище другого мужика... и не придумаешь...»

— Тебе говорю или нет?..

— Слышу, барин!.. Чай, я не святой, чтобы без дороги правильный путь чувствовать...

— Тебе, сукин сын, морду набить надо!..

Спиридон сердито хлестнул лошадь и проворчал:

— Слышу!.. Тпру!

— Куда ты, дубина?

— Пойду дорогу поищу... Мягко тут больно... В сугробе не увязнуть бы нам... — ответил Спиридон, пропадая в белесоватом снежном вихре.

Барин выпустил ему вдогонку еще несколько крылатых слов и погрузился в свирепое молчание. Он думал о доме, о том, как сердится там жена и как дети липнут к окнам, поджидая папочку с елочными игрушками и украшениями. Хотелось есть, поэтому представлялся еще стол, на нем — поросенок под хреном, жареный гусь с капустой, апельсиновая настойка... Проглотив слюну, барин схватил вожжи и дернул лошадей. Тихо, бессильно брякнули ко-

колокольчики, заскрипел возок и стал опять нырять, словно лодка по волнам.

— Черт с тобой, догонишь! — проворчал барин и стал бить лошадей... Надрываясь, накреняя головы, тащили лошади возок, но минут через пять встали, увязнув по колени.

— Спи-ри-дон, так твою-юююю...

— Ууй-юююю! — запела пурга и заглушила голос барина...

— Однако... Не ночевать бы в снегах...

Пришел в голову случай: в прошлом году в дороге поп ноги отморозил. Жутко стало. Напрасно уехал без Спирьки... Вот, мерзавец!.. Теперь не найдет, пожалуй...

— Спи-ри-дон!.. — что было мочи закричал барин, но ветер отнес голос назад, а пурга закрутила его и бросила в сугробы.

Стемнело, и пропали на горизонте даже те розовые полоски, которые хотя немного подбадривали барина. В крутящемся белом вихре остались только два лошадиных крупа в снежных кружевах с серебристой бахромою...

— Спи-ри-дон!..

Фыркали уставшие лошади, вздрагивали, встряхиваясь всем телом, и тогда колокольчики булькали жалобно, словно звали тоже Спиридона. Пристяжка временами оглядывалась и презрительно так смотрела на барина, словно говорила:

— С этим никуда не уедешь...

— А я думаю, куда делся барин... — неожиданно послышалось сбоку.

И опять злость вернулась к барину и полилась на Спиридона:

— Куда же, чертов сын... Я тут жду, а он, распро...

— А я на прежнее место пошел!.. Не туда поехали... Спиридон вскочил на облучок и стал круто оборачивать лошадей.

— Сбились...

Оказалось, что часа два уже гнали в другую сторону, и теперь было ясно, что домой к празднику не поспеть. Барин так ругался, что вдруг подавился и закашлялся. А в этот момент Спиридон и успел сказать в свое оправдание:

— Бывает, что и замерзают... Слава господу, что Дворики недалеко, а то бы... ночевать в поле!.. Не от

меня, чай, пурга-то, а от господа... Кабы я был сукиным-то сыном, так я нюхом бы дорогу чуял, а в том оно и дело, что я тоже православный... Гляди, как кружит!.. Нечистая сила в чихарду играет...

— Дворики!.. Черт бы тебя взял с Двориками!.. Мне надо домой, а он — Дворики...

— Чай, и мне, барин, тоже домой-то лучше бы!.. И у меня хозяйка есть...

— Ну, так какого же черта...

— А могло и хуже выйти... Никуда бы не приехали... А в этакую непогодь и занести может. Прикроет снежком начисто, и следа не останется...

Это соображение несколько примиряло с Двориками: злость переставала крутиться в сердце, как пурга в поле, да и весь запас ругательств истощился, а при повторениях выходило не так выразительно и пропадал темперамент. Барин ворчал что-то в башлык, а Спиридон доброжелательно покрикивал на лошадей и, спрыгивая, шел рядом и направлял возок, когда он слишком кренился набок.

— Дворики!.. Где же там ночевать?..

— Четыре двора... Люди живут... Стало быть, не пропадем... Чуешь, дымом потянуло? Это оттендова, от Двориков... Вон оне, лошади, сразу зачуяли... Ну-ка, милые!.. Ого-го!.. Ай-яй!..

Напали на жесткую дорогу с снежными заграждениями; в белом тумане замаячили уцелевшие вехи-прутья с одиноко болтавшимися прошлогодними листочками. Стало веселее на душе у людей и у лошадей. «Теперь не пропадем!..» Потянуло не только дымком, но еще и навозцем, а скоро, как несколько темных куч среди снега, обрисовались и Дворики... Тявкнула собачонка. Мигнул одинокий огонек...

— Что же, ночевать здесь?..

— Как хотите, барин!.. Пургу надо бы переждать... К утру стихнет.

— Черт знает... Дома ждут, а... а... У людей — светлый праздник, а-а...

— И тут он будет, барин... Чай, люди же живут...

— Ты, собачья голова, лучше помолчи!.. Не рассуждай!..

Подъехали к огоньку избенки, потонувшей в сугробе: куча соломы с светящейся дырочкой. Спиридон постучал кнутовищем в оконце. Скоро заскрипели, как немазаные

колеса, ворота, и возок вполз в темный дворик, сплошь скрытый и потому показавшийся барину хлевом...

— Вылазьте, барин!.. Прибыли...

Не хотелось вылезать. Ноги казались деревянными, щекотало в подошвах, червячки ползали по спине.

— Помоги, что ли! Стоит, рот разинул...

— Посвети, дедушка!..

Старик с кудельной бородой, в одной пестрядиной рубахе, поднял фонарь и осветил хмурое лицо барина.

— А ты свети под ноги, а не в рыло! — сердито сказал барин, с трудом вытаскивая свои ноги.

Спиридон подхватил барина за рукав и прошептал:

— Ножку отсидели...

Вылез наконец барин и грузно так пошел в своем ергаке, едва волоча высокие калоши с опушкой. Впереди шел старик с фонарем, и в темноте казалось, что это паровоз тронулся и загремел вагонами.

В избе было душно, дымно, пахло печеным хлебом, овчиной, онучами и еще чем-то удушливо-тяжелым...

— Кислятина какая! — прошептал барин, поведя носом, и, сделав гримасу, осмотрелся вокруг. У перегородки «чулана» стояла баба; кто-то возился на печке, и кто-то шврялся под потолком. По стенам, за лубочными картинами, скрипели тараканы. Баба поклонилась и сказала:

— Добро пожаловать, барин!.. Положь на конник-то! — посоветовала она, видя, что барин затрудняется, как быть с снятым ергаком, подошла и помогла барину. Погладила ергак.

— С обеих сторон в мехах!.. В этакой не замерзнешь... Какого зверя эта шуба?..

— Сверху олень, а внизу — белка...

— Ах, ты... Погладишь, и то хорошо...

— Ну, бабынька, потом погладишь, а покуда нельзя ли самоварчик?

— А ведь у нас, сердешный, нет его, самовара-то!..

— Азия! — сердито произнес барин.

— Что ты говоришь?.. Не поняла я...

— Ничего.

— Котелок можно... Долго ли воду скипятить?

— Ну, котелок, что ли!... Только проворней.

— Мишка!.. Слезай, наколи лучины!..

Быстро, кувырком, словно обезьянка с дерева, с полатей спрыгнул белоголовый мальчик лет десяти и скрылся

за перегородкой так проворно, словно боялся, что его поймает сердитый барин.

— Ко-ко-ко! — тревожно закокал где-то петух, а барин подумал: «Вот оно чем разит!..»

— Вместе с курами живете...

— Холода стоят, барин!.. — ответил старик с льняной бородой, вешая на стену потушенный фонарь.

Барин сел к столу и стал развертывать вынутые из корзины закуски. Барину очень хотелось есть, поэтому он торопился и глотал слюни, и, как нарочно, под руки лезло не то, что надо. Барин развертывал и небрежно швырял на стол то жестянку с кильками, то жестянку с омарами, то коробки с конфетами.

— Ну, слава богу! — прошептал он, попав на колбасу и сыр.

Потом тоже случилось с выпивкой: хотелось рюмку коньяку, а попадались виноградные вина, настойки, наливки... И когда барин отыскал все, что ему было нужно, стол представлял довольно живописную для обжоры картину. Баба подала котелок с кипятком и, поставивши среди стола, не сразу отошла:

— Вишь, как разложился! Словно купец на ярманке. Заваривай чай-то!

Барин только что проглотил коньяк и, прожевывая колбасу, спросил:

— Ну, а как у вас?.. Голодовки нет?.. Врут, что голодаете?

— Плохо, барин!.. Остальный хлеб доедаем... У нас еще, слава богу, до крещенья хватит, а у других... смотреть жалко!.. В Суходолье хворают.

— Скверно.

— А по другим местам, сказывают, лошадей режут, — тихо произнес из темного угла старик и, вздохнувши, прошептал: — Спаси и помилуй!..

С полатей, сверкая глазенками, смотрели две ребячьи головки, стараясь не попадаться барину: когда он отворачивался и становился спиной, — ребята вытягивали шеи, а как только барин делал движение, — головы скрывались. Как черепахи!.. Давно бы ребятишки спали, если бы не этот удивительный гость, занесенный пургой к ним в избу. Исподтишка высмотрев что-нибудь удивительное, ребята прятались и, как тараканы, шептались под потолком.

— Аа!.. И там люди?..— сказал барин, случайно заметив ребячьи головы.

— Много их! — жалобно пропищала баба и стала пространно рассказывать о своем горе: — Отца на войне убили, а в дому из мужиков один дед остался; хлопотали о пособии, ничего не вышло, — некому с землей управиться; старший парень в город ушел на работы и тоже не помогает.

— Лошадку продали, коровку продали... — причитала баба, отирая рукавом кофты глаза, а на полатях хихикали ребята, которым барин был смешон и странен, словно житель с другой планеты. Вошел Спиридон, крякнул, помолился в угол и сказал барину:

— Хлеб-соль, твоей милости!.. Вишь, как у тебя... А боялся, что праздник пропустишь. Праздник-то всегда с вами... Ноги задрогли...

— На-ка вот, выпей! — сказал барин, наливая в чайную чашку коньяку.

— Ну, с праздничком!.. Будь здоров!..

Спиридон выпил и, отирая усы и ставя чашку на стол, заметил:

— Ну и водка!.. Сроду такой не пил... Как огонь!.. В животе горит. Ей-богу!.. Ну, и пуржит! Света божьего не видать... Не попади на Дворики, беспременно замерзли бы!..

Барин успел утолить голод, выпил, разгорелся, размяк и стал совсем другим человеком. Избегнутая возможность замерзнуть в поле рождала доброту в барском сердце, и только было неприятно, что и старик и баба ныли в два голоса о своих несчастьях, о неурожае, о последнем хлебе, о проданной скотине... Только спроси их, — они будут ныть без передышки!.. Ну, а какой толк: он, барин, не может переменить обстоятельств жизни, не виноват, что отца убили на войне с японцами — он сам не одобрял этой войны, — не виноват, что — опять неурожай, что продали корову и лошадь...

— Знаю!.. Слышал! Говорила уж!.. — бросал барин бабе.

Было немного неловко барину есть от этих докучливых разговоров, и жалел он, что на земском собрании был против пособий. «Пожалуй, надо было поддержать!..»

— Что, барин, сказывают, что от земства будет пособие?..

— Мм... Не знаю... Возможно...

— Остальной хлеб доедаем...

— Знаю!.. Слышал уж... Говорили... Повремените говорить!.. Дайте чаю напиться!..

— Пей, пей!.. Докучаем тебе...

Все замолчали. Слышались только вздохи, шепот ребятишек, возня тараканов и одышка барина, глотавшего чай большими жадными глотками. Барин пил чай, а ему все чудилось, что на него смотрят. Было беспокойно на душе. Почему? Никогда еще не было такого странного самочувствия. И когда он попил чаю и стал снова укладывать закуски, было опять неловко. Никто не просил барина, а он зачем-то оставил кусок колбасы, немного сахару, белого хлеба и сыру... Когда подвернулась коробка с конфетами, барин на мгновение задумался, а потом развязал розовую ленточку и вынул несколько конфет. Только после этого он решительно сунул коробку в корзину и произнес:

— Ну-с... Кажется, все... Спиридон! Наливай и пей! Я кончил.

Барин вынул газету и углубился, Спиридон на цыпочках подходил к столу и, налив чашку, так же уходил, и было слышно, как он где-то в уголке грыз сахар.

— Куда мы тебя положим?... На коннике уж ложись... — подумала вслух баба про барина.

— А я на печку! — сказал Спиридон.

— Там бабушка у нас... больная!.. Господь смерти не дает...

Барин встрепенулся: он услыхал про то, что кто-то болен, и услыхал про смерть:

— Что такое?.. Кто хворает? — тревожно спросил он, отрываясь от газеты.

— Да старуха... Ты не сумлевайся... Она от старости... Не пристанет к тебе смерть-то...

— В больницу надо!

— Не берут, барин. Теперь, может, взяли бы, да везти не на чем...

И опять начались жалобы. Словно мухи осенью, эти жалобы. Раздражают и мешают... И в газете все про голод... Бросил газету и стал шагать по избе. Останавливался около оконца и смотрел, не прекратилась ли пурга. Ничего не видать: на стеклах бугры снега. Усталость разливалась по телу, хотелось лечь и протянуть ноги. Где тут ляжешь?.. Вшей наберешься. А на полатях хихикают.

— Эй, вы! Дикари!.. Нате-ка, пососите гостинца!..

Барин взял несколько конфет и протянул руку к полатям. Там стихло, и никто не решался выглянуть.

— А вы, дурни, берите!.. Барин угощает, а вы... Гринька!

Показалась худенькая ручонка с растопыренными пальцами, и барин сунул в нее конфеты. Рука спряталась, и на полатях послышалась возня.

— Спасибо скажите! — наставляла баба. С полатей пропищал тонкий пугливый голосок:

— Спасибо, барин!..

— Спать вам надо, — ласково заметил барин, — вредно маленьким не спать ночью...

— На тебя, барин, всё смотрят.

— А что на меня смотреть?.. Не видали, что ли...

— А где им!.. Ты для них что чудо заморское... Долго будут поминать.

Душно было в избе, и надоедала баба. Барин накинул ергак и вышел на двор. Как только он вышел, в избе шум поднялся; ребята смеяться стали, один скатился кубарем с полатей и стал просить мать:

— Оставил он белу калабашку-то!.. Дай маленько!..

— Нехорошо!.. Вон он идет...

Карапуз опрометью бросился на печку, с печки на полати и исчез...

Баба заговорила со Спиридоном, стала расспрашивать, откуда барин едет, куда, зачем и т. д.

— Домой торопился, а господь сюда завернул...

— Для вашей пользы, — добавил Спиридон, дуя на блюдечко с чаем.

— А какая в ём польза?..

— На чай даст! Он помногу дает... На прошлой неделе на выезжей целковый дал.

— Ну? — со смешком спросил дедушка. — Они которые есть добрые!..

— Этот ничего же, но только ругается больно по-матерному...

— Гм... Вот ведь, и не подумаешь, глядя на него! — подивилась баба, сокрушенно поматывая головой.

— Так пушит, что и не придумаешь!.. Складно в другой раз у него выходит, слово к слову, словно по-печатному!..

— Сколько он тут еды всякой вынимал!..

— Закуски!

— Чай, каких денег стоит?

— Еще бы! Заграничное все... Привезти надо из-за морей...

— А что, слаще, что ли, там стряпают?

— Еще бы! — значительно произнес Спиридон.

Ребята свесили с полатей головы и слушали эти разговоры; иногда они вмешивались, делая замечания по адресу барина:

— Пыхтит он!..

— Брюхо-то круглое у него...

— А на брюхе цепь висит...

— Жрал, жрал... все кончить не может!..

— А вы тише! Нехорошо... Идет он...

Барин постоял за воротами. Скучно и досадно. Дома теперь елку украшают и ждут игрушек. Жаль детей. Жена беспокоится. Вот кабы железная дорога! Тук-тук-тук, и пошла!.. И через час или полтора был бы дома...

— Азия! — сказал барин и медленно побрел в избу. На дворе пофыркивали лошади. Пошел к возку, погладил коренника, через спину которого была перекинута дуга. Коренник стал нетерпеливо топтаться, брякнули бубенчики. Пора овса давать...

Барин вошел в избу и послал Спиридона кормить лошадей.

— Принеси овчинное одеяло!.. И чемодан! — приказал он вдогонку.

Спиридон принес, да не тот.

— Маленький!.. Под козлами!.. Олухи!..

В маленьком — деловые бумаги, а в большом белье и игрушки. Нечего делать. А время еще много. Читать не хочется. Поел основательно... От нечего делать барин раскрыл большой чемодан и стал пересматривать подарки для детей.

Вот этот волчок — Пете; хорошо он поет, этот волчок. Барин завел пружину и пустил волчок на чайное блюдечко. Заиграла удивительная музыка, и все ребята выставились с полатей, а дедушка подошел поближе и начал удивляться:

— Ах, в рот те пирога с горохом! Поет в три голоса... Ах ты!..

Старший Мишка не вытерпел, спрыгнул с полатей и спрятался за дедушку.

— Хорошо? — спросил барин.

— Запусти еще, барин!..

Барин еще пустил волчок, и все, затаив дыхание, слушали его музыку.

— Ровно ангелы поют! — прошептал Мишка.

— Чай, дорого эта штука стоит? — спросила баба.

— Недорого: рубль с чем-то...

— Пуд муки! — сказал старик и вздохнул. Барину стало опять неловко.

Он вынул кошелек, порылся и, подавая старику серебряный рубль, сказал:

— На вот на муку!..

Сперва старик опешил и попятился.

— Бери!.. Почем мука?

— Рупь сорок!..

— Отлично! Вот еще сорок... Бери!

— Мне?!

— Всем вам!..

И старик и баба стали благодарить в два голоса, поминать матерь божию и милость господню. Барин махнул рукой и сказал:

— Будет! будет...

— На эти деньги можно этакую штуку купить! — донесся с полатей сдержанный шепот ребятишек. А старший, Мишка, вскинул глаза к потолку и сердито сказал:

— На хлеб дадено, а они...

— А что, очень вам нравится эта штука?.. Эй, вы там, дикари!

Никто не ответил.

— Эй, вы!.. Кто сказал, что можно на эти деньги волчок купить?.. Вылезай, — подарю эту штуку!..

Сразу выставились четыре руки, и на полатях стали вздорить.

— Я сказал, — а ты не лезь!..

Затем — возня, все четыре руки исчезли, и раздался рев. Там шла борьба за обладание волчком, и соперники подкрепляли свое право силою. Мать кричала на ребят и грозила полезть на полати:

— Никому не будет!.. Не давай, барин... Они искалечат друг дружку.

На полатях стихло. Слышались только всхлипывания. Барин был в затруднении и положил волчок на лавке. Разбирая другие игрушки, он думал: «А что бы дать и

другому?.. А впрочем, дашь двоим, так надо дать и третьему... Раздашь, а потом...» Чтобы утешить подравшихся, он вынул паяца, хлопающего в медные тарелки:

— Эй вы, драчуны!.. Посмотрите-ка сюда!..

Свесились две белые головы с заплаканными глазами, а барин заставил паяца бить в тарелки.

— Гм!.. О!.. Гм!.. Сволочь!.. Как живой!..

— А вы не ругайтесь. Нехорошо, — сказала баба, погрозив на полати.

Ребята забыли горе, хмыгали носами и хохотали. А на глазах блестели слезинки.

— Ну, а энтого — мне! — неожиданно сказал младший...

Барин промолчал. На одно мгновение у него шевельнулась мысль отдать и паяца, но вспомнил про своего Володю, которому предназначался паяц, и сказал:

— С удовольствием бы, голубчик, да не могу!.. Я тебе что-нибудь другое...

— Не клянчить! — крикнула мать и показала кулак. Головы спрятались. Опять на полатях послышался спор и возня.

— Айда на жеребий! Метнем жеребий!..

Хотелось барину показать еще танцующую обезьяну, да раздумал: станут клянчить. Довольно волчка.

— Ну, спите! Больше ничего нет... — сказал ласково барин и стал завертывать и укладывать в чемодан закуски и игрушки. Вернулся Спиридон и сообщил:

— Стихать стало!

— Может быть, можно ехать?..

— Вот покормим, и с богом!..

Спустя час барин уехал. Так никто и не уснул при барине. Когда он вышел из избы, на полатях заговорили, а когда зазвенели колокольчики и вернулся с фонарем дед, ребята спросили:

— Уехал?

— Уехал.

И все трое скатились кубарем с полатей.

— Мама!.. А белую калабашку-то и забыл!..

— Гляди: и сахар.

— Ну, ваше счастье!..

— А это чаво?.. Коробочка на окошке!..

— Тише! Не тронь!..

Оказалось, что барин оставил много всякой всячины:

и конфет, и колбасы, и сыру, и хлеба... А на окошке забыл вынутую коробку с омарами.

Долго мать не подпускала ребят к столу.

— Вот он сейчас вернется!.. — пугала она, но когда дед вынул из кармана волчок и показал ребятам, те бросили стол и окружили дедушку.

— Вам велел подарить!.. Которому хочу, тому и подарю...

— Жребий!.. В жеребьевку... Дедушка, кому достанется!..

Много было шума, криков и волнения, прежде чем волчок попал к Мишке. А когда дело решилось, другие не спорили и утешились тем, что позабыл барин. Пили жиденький чай, сосали сладости и спорили:

— Заморская эта... Сла-а-дкая...

— Врешь, не заморская... У меня — заморская...

Все было так вкусно, что даже удивительно. Глаза лезли на лоб, и слюни текли, только подбирай. Хотели раскрыть и банку с омарами, да мать не дала:

— Непочатая она... Потребовать могут.

Спрятала омары за божницу, перекрестилась и прошептала:

— Матушка-владычица помогла...

— Это, мама, она его к нам загнала?

— Она, матушка... Жалливая она к сиротам.

— Рупь сорок мука-то, — шептал дед, побрякивая на руке серебром.

Сыр забраковали:

— Тьфу... Мыло это...

— Мыло и есть... А он жрал... Ей-господи, жрал... Видел я сам...

Когда напились и наелись, пускать волчок начали:

— Ах, ровно ангелы божие поют...

А маленький Гринька все приставал к матери:

— Она его к нам загнала, владычица?

— Она, родненький... Она. Ложись-ка... Глаза у тебя не смотрят.

— Я ей помолюсь, она еще... другого загонит.

Петух пропел под печкой, а ребята все еще не спали и тихо разговаривали на полатях о барине, о сыре, о волчке, о владычице... Ведь свершилось в пургу под рождество Христово чудо во Двориках, и разговоров хватит теперь на целый год...

МЯТЕЖНИКИ

Откуда пришла тревога?..

На горе, в барском доме, говорили, что ходят по земле злые люди и смущают смирных и покорных мужиков своими рассказами о привольной жизни без господ, без начальников и без податей... Таких людей искали, старались изловить, но не находили. Мужики, когда их спрашивали об этих злых людях, опускали головы, смотрели в землю и говорили:

— Не знаем... Не слыхать... Не доводилось...

На горе, в старом барском доме, говорили, что злые люди распускают в народе вредные книжки, которые кружат головы смирным темным людям. Таких книжек искали и не находили, а мужики, когда их спрашивали об этих книжках, ухмылялись и говорили:

— Когда нам читать?

Под горой, в разбросанных в низине около речки избах, ходили вести и слухи, фантастичные и нелепые, похожие на кусочки сказок, но всегда полные глубокого значения для живущих под горой людей. Иногда эти слухи доносились до старого барского дома. Там пожимали плечами, смеялись и беспокоились... Откуда они берут?! Черт их знает...

Звенели колокольчики с бубенцами, приезжал человек в форменной фуражке и начинал отыскивать месторождение нелепого слуха.

— Кто их знает!.. Разное болтают, — глубокомысленно отвечали мужики, и нельзя было добиться, откуда пришел слух; он обыкновенно терялся в кругу женщин, а те только плакали, божились и выкликали:

— Ничего я не знаю!.. Ничего не слыхала! Ни в чем не причинна!..

Человек в форменной фуражке сажал под арест старосту и еще двух-трех хмурых непонятных мужиков, кри-

чал на всех, стращал тюрьмой, а потом заезжал в гости в старый барский дом.

— Куда он поехал?

— К господам! Куда же ему больше?!

Мужики собирались на бревнышках, в прогаре около глухих стен дворовых построек, и разговаривали вполголоса о слухах, которые так рассердили земского начальника:

— Вишь, как забеспокоился!..

— Чай, он сам помещик!..

— Они все друг за дружку... Их не расцепишь!..

Зря слуха не бывает, как без огня дыма...

Подбегали к мужикам ребятишки, скакавшие верхом на палочках, и спрашивали:

— Верно, что земля наша будет?

— Кыш, вы! Я вот выдеру тебе, ужо, уши, станешь болтать у меня! — пугали отцы, и ребятишки разбегались, мелькая голыми пятками босых ног.

Мужики долго сидели на бревнышках, мало говорили, но одинаково чувствовали, и в этом молчаливом общении было что-то затаенное, глубокое и темное...

— Все еще не уехал, с господами каталажится... — говорил кто-нибудь, и мужики смотрели на гору с беспокойством и тревогой в глазах:

— Что-нибудь затевают... Не иначе...

А старый барский дом, окруженный древними умирающими липами и корявыми раскидистыми березами, угрюмо и подозрительно смотрел на них с горы...

Кругом было приволье: поемные луга, старые леса с гниющей падалью, большое рыбное озеро с камышами и дикими утками и безбрежное море хлебодарных черноземных полей.

Но у них были маленькие клочки земли — подарок от первой воли — и не было выгона для скотины, не было леса, и рыбу в озере можно было ловить им только на удочку, а стрелять уток на озере было нельзя... Они смотрели на окружающую благодать божию и, задумчиво вздыхая, с горечью говорили:

— Обманули они нас...

В селе был семидесятилетний старик Илья, которого все они звали дедушкой. Седой как лунь, с длинной, словно

сделанной из кудели бородой, он походил на ветхозаветного пророка. Дедушка Илья любил рассказывать про старину, но дряхлая память его всегда перемешивала правду с вымыслом: мало ему верили молодые мужики и парни, но послушать его любили. А он говорил, что, когда он был парнишкой, они с отцом косили траву для своей скотины на этих самых поемных лугах, что изба их была выстроена из этого самого старого леса, растянувшегося на много верст вокруг, и что сетями ловили рыбу в озере и ели жареных диких уток...

— Хорошо жили, — говорил он, — куда теперь!..

Слушатели почесывали в затылках и шептали:

— Да-а...

Наступало молчание. Бог весть, о чем думали слушатели: манила ли их дедушкина старина, или занимала будущность... А дедушка Илья пророчески заканчивал:

— Я не доживу, а вы еще покосите и травку эту, и лесом попользуетесь, и рыбки поедите вдоволь, жареных уток, дупелев. Поди дупелев никогда не едали?.. А?..

— Как же это выйдет? — недоверчиво звучал голос сомневающегося.

Дедушка вставал с места и таинственно, с глубокой верой, словно ему были открыты все тайны народного страдания, пророчествовал:

— Еще три года будете маяться, а потом правда божия сойдет на землю, и все зло, яко воск от огня тает, обнаружится и изгонится с земли божией!.. Вот что!

Дедушка Илья стал теперь сильно беспокоиться. Глухой, он с трудом улавливал клочки слухов и толков, бродивших по родному селу, и больше догадывался, чем понимал, что зло обнаружилось раньше, чем он предсказывал. «Крестьянское сословие, — сказал царь, — любезно моему сердцу...» Вот ведь как!.. Господи!.. Теперь *он* знает, дошло до *него*... Илья бродил по селу, многозначительно показывал корявым пальцем в небеса, смеялся одним ртом и торжествующе произносил:

— Яко воск от лица огня!.. Бога не обманешь! Никогда!..

Дедушка Илья стал заходить к попу, отцу Григорию, и искушать его:

— Батюшка, отец наш многомилосливый! — спрашивал

он отца Григория, — ты вот поближе стоишь ко господу, тебе виднее оно...

— Ну, что, старик, скажешь? Садись — гостем будешь!..

— Постою, батюшка... семьдесят годов стою... Привычные мы... Что хочу я тебя спросить...

— Ну, спрашивай!

— По-божьему ли закону люди промежду себя землю божию поделили?

Отец Григорий смущался вопросом:

— Как сказать?.. Одно дело — божеское, другое — человеческое... В наши грешные дела не следует путать господа бога... Грех, старик...

— Знаю!..

— И нам с тобой лучше этого вопроса не касаться...

Но дедушка Илья не отставал:

— А ты мне, старому дураку, вот что растолкуй: кто такие были наши прародители?

— Первые люди, сотворенные господом на земле...

— Знаю! Не про то я... Господа они были али крестьяне?.. Адам-от с Евой?..

— Хм!.. Вопрос твой, старик, нелепый и, можно сказать, — непристойный...

— Ну, прости мне, старому дураку... Темный мы народ... Все вот думаю теперь и многого понять не могу, а все хочется, хоть перед смертью-то узнать, как и что было, что к чему идет...

— Праздное любопытство, старик!.. Больше надо богу молиться да о грехах думать...

Дедушка Илья наклонялся к батюшке и радостным шепотом восклицал:

— А я про что же?.. Вот про это самое... Господь бог прародителям нашим сказал: в поте лица своего будете есть хлеб, то есть собственный хлеб, трудовой. Господь бог приказал *самим* им землю пахать... Вот, говорит, вам земля моя, и в поте лица пахайте ее! Сказал это господь? Верно?

— Верно. Ну!..

— Есть ли где, батюшка, в писании про аренду-то? Где оно сказано, чтобы одни забрали ее, землю-то матушку, да другим исполу али как там... в аренду, что ли... отдавали?

— Про это в писании ничего нет.

— Нету?.. Вот то-то же и оно-то! Земля всем людям отдана, а не то чтобы господам...

Отец Григорий говорил о неисповедимых путях божиих; о том, что без воли господней ни один волос с головы человеческой не упадет; что грех роптать на нужду и страдания, и многое другое. Старик слушал, покачивал головою и подтверждал:

— Это уж конечно! Само собой!

И уходил от отца Григория угрюмый, с сомнением в сердце своем.

— Был я вечор опять у попа Григория, — говорил он с глубоким вздохом своим сродственникам.

— Ну, что он тебе сказывал?

Илья разводил руками:

— Не ухватить его, словно налим...

Старший сын Ильи, Пахом, молчаливый, вспыльчивый мужик, злорадно ухмылялся:

— Все ходишь к попу правду пытать?..

— Ходил... Ничего не добился...

Пахом встряхивал головой и как бы мимоходом произносил:

— Барин, поп да становой — все с одной головой...

Каждую неделю Пахом уходил в соседнее село Подгорное. Там у Пахома был какой-то «верный человек». Должно быть, этот верный человек и рассказывал Пахому о том, что делается на свете, в далеких деревнях, в больших городах и в других странах. Пахом возвращался домой с большим запасом знаний и новостей и целую неделю питал ими своих односельцев. От верного человека он узнал, что какой-то князь ездил к царю и разговаривал с ним:

— Как вот я с вами — вплоть!..

Всю правду рассказал князь царю про крестьянскую нужду и про обиды от господ и чиновников, и будто бы царь обещался облегчение сделать...

— Я, говорит, давно, днем, говорит, и ночью — думаю о крестьянской жизни и теперь стараюсь...

— Неужели правда?

— Ждите, говорит, милости: скоро праведный закон выпущу!..

В глубоком благоговейном молчании слушали Пахома мужики, бабы и парни. А дедушка Илья крестился широким крестом и шептал:

— Все обнаружится... Все!..

— Вот ведь и промежду господ есть душевные да жалостливые! — удивленно восклицали бабы про князя, который дошел до царя и рассказал ему всю правду...

— Есть, которые совесть имеют... действительно...

— Случается...

— Мало только этаких, — говорил Пахом.

— Верно ли только? Может, ничего такого и не было?

Пахом сердился:

— Не было! В газете пропечатано! Своими глазами видел...

— Вот бы ты достал нам эту газетину да почитал бы.

Радость была большая. Каждый день в избу к дедушке Илье и Пахому приходили потолковать и еще раз послушать, как было дело.

— Милости, говоришь, велел ждать?

— Давно, говорит, я сердцем за них, — то есть за нас, — страдаю и теперь стараюсь... Ждите, говорит, праведного закона.

— Ну, слава те, господи! Может, что и выйдет...

— Не дадут *они*, — мрачно говорил Пахом.

— Кто?

Пахом делал молчаливый жест рукою на гору, по направлению к барскому дому, а дедушка Илья начинал вспоминать старину и говорил, что тогда, когда первую волю давали, *они* обошли: волю велено было дать с землей, сколько кому надо, а они прикинулись ласковыми, да и подарили по куриному наделу...

— А раньше хорошо жили... И луга, и лес, и рыба... всего сколь хочешь... А вышло вот как: некуда скотину выгнать, нечего есть и нечем избу топить...

— Теперь все купи... у них же!..

— А рыбы этой ели... Господи!.. У меня был бредень пятнадцать сажен!.. Чай, вы никогда дупелев не едали?.. Вот то-то и оно!.. Теперь разя жизнь?.. И опять *они* обманут...

— Обманут? — переспрашивал молодой парень и добавлял, поднимая кулак:

— А вот это видали?!

И все радостно, с удовлетворением, смеялись.

— Это верно, — вмешивался Пахом, — ты знаешь ли, сколь крестьянского населения? Больше ста миллионов! А их всех сто тысяч!..

— Не больше?

— Сто тысяч, — положительно утверждал Пахом, — высчитано.

Они давно ждали, а с тех пор как узнали про разговор князя с царем, — они начали ждать с нетерпением. Это ожидание они всегда носили в своих сердцах, и оно светилось в их карих и голубых глазах затаенной радостью. Чего они ждали?.. Праведного закона и милости. Под милостью они разумели землю, под праведным законом — избавление от господ и от земских начальников, становых и урядников, которых называли «барскими кумовьями»...

Начали ждать манифеста. Когда царь запретил народ розгами пороть, поп Григорий объявил об этом в церкви с амвона. Конечно, и теперь милость и праведный закон объявят прежде всего там же... Каждый день дедушка Илья ходил к отцу Григорию и справлялся:

— Не слыхать ли чего?

— А чего ты ждешь?

— Манифест скоро должен быть.

— Откуда ты это знаешь?

— Слухом, батюшка, земля полнится, — уклонялся дедушка Илья и, помолчав, осведомлялся:

— Чай, если будет царская милость, ты опять в церкви прочитаешь?

— Всеконечно...

Шли дни за днями, а манифеста не объявляли...

— Задержка вышла, — в раздумье говорили мужики и терялись в догадках.

Раза два они собирались около казенного леса и наслаждались будущим: обсуждали, какие из господских полей должны к ним отойти, а которые за господами остаться, с которой стороны нарежут казенного леса и сколько на душу.

Они смотрели на поля и лес жадными глазами и говорили:

— Лес правильный!..

— А хорошая тут земля!

— Земля жирная, как сало... Настоящая земля!..

— А которую они нам сдают, та много хуже!..

— Еще бы! Та совсем другого сорта... Эту в руки возьмешь, она тает...

— Как творог! Ей-богу!

Они брали в руки сырую пахучую черную землю, мяли ее пальцами и нюхали:

— Как творог!.. Никакого навозу не надо... Дух-от какой от нее идет?!

Окидывали взором безбрежное море полей, встречали на горизонте барскую усадьбу, окруженную старыми липами и березами, и хмурились:

— Задержка вышла...

— Господа задерживают...

— Не иначе, как они...

— Начальство за них стоит...

— У земского-то, сказывают, у самого больше тысячи десятин...

— Надо подождать... Что будет к осени...

Однажды Пахом принес известие, которое подтвердило их догадки: в Подгорновское правление пришла из губернии бумага, документ; писарь читал его: в этом документе объявлено про разговор князя с царем и пропечатано, что сказал царь. Надо было эти документы народу объявить на сходах, а приехал земский начальник и все их отобрал и увез.

— Все отобрал! Дочиста! Почему такое? В каком праве?

— Задержку делают...

— Так оно и выходит!..

— Жулики, — говорили крестьяне, злобно сверкая глазами на гору.

— Может, в том документе и про землю было сказано?

— Все может быть...

— Поглядим, что дальше будет... Хм... Ах ты, в рот им малины!..

Они стояли в тяжелом раздумье, опустив головы и расставя ноги.

В селе жил лавочник, Парамон Игнатьич Щегольков. Раньше он был мужиком, но теперь вышел в мещане и мужиков не любил:

— Грубый народ, без всякого понимания, распущенный!..

Парамон Игнатьич ходил в пиджаке с круглыми фалдочками, в брюках навыпуск и в синем картузе, который сидел на его маленькой голове глубоко и крепко, оттопыривая уши. Когда Щегольков открыл лавочку, он носил брюки в сапоги, но в селе было несколько твердых мужиков, которые тоже носили брюки в сапоги; не желая с ними

смешиваться, Парамон Игнатьич начал носить брюки навыпуск и надевать крахмальную манишку с галстуком. Торговля у него шла бойко, и все на свете казалось ему устроенным хорошо, всем он был доволен и любил говорить о премудрости божией:

— Всякому свое место: и барину, и крестьянину, и мещанину, и дворянину... И как нельзя без мужика, так и без барина: барин — голова, а мужик — руки, ноги... Воистину премудро все устроено...

— Ну, скажем, барин — голова, мы — руки, а ты что же выходишь? Брюхо, что ли? — подсмеивались слушатели.

— Без торговли тоже нельзя: купец, торговец — без них опять ты же, дурак, наплачешься!

«Всякому свое место», — поэтому Парамон Игнатьич терпеть не мог, когда мужики занимались не «своими» разговорами, а особенно, когда они непочтительно отзывались о господах, критиковали господскую повадку, осуждали попа, ругали земского начальника...

— Грязь, а тоже рассуждение желает иметь!

Щегольков был очень набожный человек: любил служить молебны и панихидки, пел в церкви на клиросе тенором, а апостола старался читать басом, часто говел, и, когда стоял в церкви, лицо у него делалось умиленным, благочестивым и кротким, но как только он выходил за церковную ограду, мирские заботы делали его сердитым.

— Эй! Павел! Это что же? Молишься, каешься — а долг в лавку не платишь? — окликал он, заметив должника. — Или теперь это у вас грехом не считается?

Когда баба приходила в лавочку купить на пятачок сахару, Парамон Игнатьич по привычке обвешивал ее, с небрежностью бросал пятачок сидевшей у кассы жене своей, Глафире, и, записывая пятак на приход, укорял бабу:

— Тоже сахару захотела... Кто ты такая?

— Чай, не грех маленько полакомиться-то...

— Полакомиться! Лаптей хороших нет, а подай сахару...

— Счастливо оставаться! — смущенно говорила баба, уходя из лавки, а Парамон Игнатьич долго еще возмущался:

— Сколько этого баловства в народе развелось!.. И бабы стали! В прежнее время опустит взоры и молчит, а теперь ты ей — слово, а она тебе — десять... Теперь попробуй — ударь ее муж, она...

— А небойсь меня не бьешь? — не без кокетства замечала Глафира, по целым дням сидевшая у кассы и с изумительным проворством щелкавшая подсолнечные семечки.

— Вы из порядочных, с вами и обращение другое... А, между прочим, вы все-таки не сорите семечками-то: неприлично!

Парамон Игнатьич держал при лавке мальчика, которого называл сопляком. Лавка была универсальная: в ней было все, начиная от мануфактурного товара и кончая дегтем; сопляк отпускал керосин, деготь, мыло и все, что марало руки или имело «тяжелый запах».

— Отойди в сторонку: дух от тебя тяжелый! — сердилась Глафира, когда сопляк вертелся поблизости.

Тяжелый дух не мешал сопляку возиться с ребенком, подмывать полы, носить дрова, воду. Сопляк жил из-за хлеба и хозяйского обещания: сделать из него человека...

— Отец у тебя мужик, а ты чистым делом займешься, вырастешь — меня благодарить будешь... Нечего реветь, коли тебя уму-разуму научаю!

— Чай, больно!..

— Затем и бьют, чтобы было больно...

Парамон Игнатьич выписывал газету «День» со всеми приложениями и в свободное от покупателей время садился на стуле перед лавочкой и глубокомысленно читал.

Подходил мужик, кланялся:

— Все читаешь?

— Читаю...

— Нет ли чего касательно нас, крестьян?

— Есть!

— Что же? Почитай-ка!

— Пороть почаще приказано! — не отрываясь от газеты, наставительно говорил Парамон Игнатьич. Мужик ухмылялся:

— Шутишь... Достаточно попороли... Теперь царь не дозволяет касаться...

— Пороть нельзя, а по морде — сколько угодно!

Мужик терялся. Действительно, по морде урядник бил до манифеста, бьет и после манифеста...

— Да и как вас не бить?

— А что? Чем мы тебе повинны?!

— Вот здесь в газете пишут, что мужики сахарный завод сожгли...

— Сожгли? Вот чего!..

— Завод им заработок давал; без заводу с голоду станут дохнуть, а они взяли да сожгли...

— Что им за это будет?

— Что!.. Думаешь — похвалят?! — которые в Сибирь на каторгу, а которые дома останутся — с голоду подохнут...

Парамон Игнатьич читал в газете про смуту, про крамолу и мятежников, про крестьянские волнения и ругался:

— Понять не могу, как это все дозволяется!..

— Ты что там, кого ругаешь? — спрашивала Глафира, подходя к крылечку лавочки.

— По всей Рассее эта погань пошла... а настоящей распорядительности нет!..

— А тебе что? Тебе какой убыток? — равнодушно, щелкая семечки, говорила жена.

— Как это?! Понятия у вас нет! Сегодня торгуешь, все как следует, по-хорошему, а завтра аграрные безобразия эти — и иди по миру!..

— У нас, слава богу, народ смирный, тихий, — успокаивала Глафира.

— Смирный! А я вот замечаю, что и у нас что-то есть... Рыло отворачивают...

В своей газете Парамон Игнатьич вычитал, что вся смута идет от жидов и студентов, и верил этому, потому что сам был всем доволен и все казалось ему премудро устроенным.

— Ежели я русский, православный, — какого мне рожна надо? Живи, трудись, не пьянствуй! Всякий, который с умом, хорошей жизни добьется... Я с чего начал? С коробом ходил! Сам — лошадь, сам — купец, лавка за плечами да молитва в мыслях! А вот, благодарение богу, вышел на дорогу...

Поэтому Парамон Игнатьич уважал себя и зажиточных мужиков и презирал тех, у которых к рождеству Христову жрать было нечего.

— Шантрапа! Грязь! — говорил он о таких мужиках.

Два года подряд был неурожай, голодали, болели тифом и цингой. Нынешний год маленько оправились. В прошлом году приезжали какие-то господа со студентами и барышнями: устраивали столовую...

— Жалеют которые... Али их кто послал?..

— Кто их знает!..

Парамону Игнатьичу не нравилось это: «баловство разводят».

— Господа, конечно, жалостливые, добрые, — говорил он, — только хуже бы не было... Привыкнут к казенному хлебу, потом палкой на работу не загонишь...

Как будто бы нынешним летом так оно и вышло: пришло время жнитва, испольники сжали и убрали свою половину, а барскую оставили на корню.

— Как же это выходит? — спрашивал Парамон Игнатьич у баб, которые, лежа на снопах, провозили хлеб на гумна.

— Мы не знаем... Мужиков спроси!

А мужики словно не понимали и с хитрой улыбкой в глазах спрашивали:

— Какую рожь?

— А барскую? — задорно спрашивал Парамон Игнатьич.

— Сперва свою уберем, а там поглядим... Будет досуг — и барам поможем...

— Вот оно как?!

— Этак! Довольно, что вспахали, взборонили да засеяли... Не век на них работать.

— Вот тебе и смирные! По всей Рассее эта погань идет! — хлопая руками по бедрам, говорил Парамон Игнатьич и возмущался поведением крестьян не меньше, чем возмущались на горе в барском доме.

— Все может быть. Сделают аграрный беспорядок и разорят дочиста...

— Ты ведь не помещик, — чего ты-то хлопочешь? — недоумевала Глафира.

— Понятия у вас нет. Врагов и у нас с тобой много: в другой раз кому в кредит не дашь, с кого долг через земского взыскиваешь, кого за пьянство поругаешь... Они без понятия: они не считают, что ругаешь для их же пользы, что сахару в кредит не отпустишь — ихнюю же копейку бережешь!..

Парамон Игнатьич с благоговением смотрел на гору. Там настоящие люди живут: с умом, с понятием, благородные, с обхождением... Сколько они добра делают для мужиков сиволапых! Сдохли бы без них... А тут все-таки

зарабатывают на голодное брюхо: и косьбой, и жнитвом, и грибами, и ягодами, и всякой мелочью, случаем... В прошлом году барчонок пропал: народ нанимали искать, по целковому платили ребятишкам! Больше четвертной заработали!.. А что господа им исполу землю отдают, так не даром же им, дуракам, отдавать? Ее в банке заложить, так капитал получишь...

— Несподручно выходит! Считай сам: вспахать сколько считаешь за десятину?..

— Чего мне считать! Не желаешь, не бери! Вольному воля.

— А где же взять-то?

— А уж это твое дело. Этак ты ко мне в лавку придешь да скажешь: не моги керосин по пятаку за фунт продавать, по три продавай!

Парамон Игнатьич любил показать господам, что он не мужик — понимает деликатность. Когда ему удавалось купить на озере хороший улов рыбы, он отбирал самую крупную, надевал манишку с галстуком и отправлялся на гору.

— Папашенька с мамашенькой у себя? — спрашивал он у барчонка.

— Папа в саду, а мама дома...

Парамон Игнатьич шел черным ходом в барский дом, рыбу оставлял в сенях, а сам заглядывал в комнаты и добивался личного свидания с Зинаидой Николаевной.

— Зная о вашей привязанности к карасям, я обеспокоил — принес!

Барыня подавала Парамону Игнатьичу руку, и он потел от удовольствия.

— Караси?

— Карасики... Живые, дрягаются!.. Извольте посмотреть...

Шли смотреть карасей и радовались, и всем было приятно.

— Какие огромные, мама!..

— Карась отборный, — с гордостью говорил Парамон Игнатьич, выхватывал из корзины самого крупного и тряс его в руке.

— Какая сила в нем... Не удержишь!

— Сколько же вам за них?

Парамон Игнатьич конфузился: не все же деньги!.. Они рыбой не торгуют. Это из уважения. И, подарив карасей и

возвращаясь под гору, он чувствовал себя как бы приобщившимся к господам, словно породнился с ними через этих карасей, и при встрече с мужиками небрежно кивал им на поклоны.

Иногда он заводил на горе разговоры о смуте:

— Погань-то какая по Рассее идет?

— Что такое?

— Я про аграрный беспорядок и эти самые забастовки говорю... Мужики-то что делают в южных местах?!

— Бедность с одной стороны, невежество с другой...

— Но неужели если я — бедный, так должен безобразничать? — возражал Парамон Игнатьич. — Трудись, работай! Я тоже был бедный, а вот теперь, слава богу... И никогда я на чужое добро своих глаз не заворачивал... А ведь они что? Отдай им всю землю...

— Ну, это конечно... невозможно... Это им вскружили головы прокламации...

— Именно! В законе сказано, чтобы собственность была свята и нерушима. У тебя, например, есть худое корыто, и все-таки никто никакого права касаться этого корыта не имеет...

— Конечно! Конечно!

— А у другого — земля, а у третьего — лавка... Всякому свое дорого... Не убрали еще рожь-то?

— Отказались... Вот приедет земский... Посмотрим...

Приехал земский, собрал сход. Не хотят. Постращал казаками...

Дело уладилось: барский приказчик выставил два ведра водки, и мужики помочью сжали и свезли барскую рожь с полей. Парамон Игнатьич и земскому начальнику поднес карасей и долго говорил с ним о мужиках.

— Я их всех знаю... Есть между ними безо всякой совести...

Земский перед отъездом вызвал к себе человек пять мужиков и сказал, погрозив пальцем:

— Смотрите!

— А что? Почему?..

Но земский ничего не сказал и уехал.

С виду все пошло по-старому, но молчаливая неприязнь между барским домом на горе и теми, которые жили под горой, с этого времени начала расти и крепнуть. С горы подозрительно смотрели вниз, а снизу подозрительно смотрели вверх, и старый барский дом, и горсть брошенных

под горой домиков с соломенными крышами — с каждым днем все более походили на два неприятельских лагеря.

— Скоро вам крышка, — говорили мужики, глядя на гору.

По ночам на горе стали колотить в чугунные доски и заказали к окнам ставни с железными болтами.

В начале осени тревога усилилась: пошли слухи, что вышел манифест...

— Сказывают, вышел...

— Что ж они?!

Долго отыскивали манифест... Подсылали баб на барский двор: Агашка сказывала бабам, что господа за обедом говорили про манифест. Ходили к попу Григорию:

— Мне сие неизвестно.

Заговаривали с Парамоном Игнатьичем:

— Чай, у тебя в газете видать?

— Видать, как вы барские усадьбы жгете... Манифест... В Сибирь вас надо!..

Что манифест есть — верили, но что было в этом манифесте — никто хорошенько не мог растолковать. Несколько дней прожили в томительном ожидании; радость перемешивалась с сомнением и злобой. Наконец Пахом добыл манифест: принес от верного человека газету с манифестом.

— Есть! — таинственно шептали мужики друг другу.

— Добыли?!

— Не спрячешь!.. Вечером, как смеркнется, в лес сходитесь! Под озеро!

Пахом держал газету с манифестом в секрете, за онучами, потому что уже два раза приезжал из Подгорного урядник и отбирал у мужиков всю печатную бумагу, попадавшую в село каким-нибудь случаем, и грозил сгноить в тюрьме.

— Чтобы этих газет, книжек разных — не держать! Не умничать!

— Разя грех полюбопытствовать?

— В первый раз прощаю, на замечание беру, а у кого во второй раз обнаружу — в тюрьме сгною!

Под вечер разными дорогами, тропинками, межами, потянулись силуэты людей к озеру, и, когда совершенно стемнело, они сошлись в том месте, где лес сползал с горки почти к самому берегу озера.

— Сюда! — звучал резкий шепот в кустах, и темная фигура бродившего в поисках около озера исчезала в лесу.

Здесь, около маленького костра, они с напряженным вниманием слушали, что читал сидевший около огня на корточках Пахом. В манифесте объявлялось о том, что царь прикажет собрать думу, которая разберет все дела.

Пламя костра колыхалось, освещая сосредоточенные лица стоящих и сидящих вокруг людей; свет дрожал по полянке и по листве деревьев, и красные искорки бегали в устремленных на чтеца неподвижных глазах... Шел мелкий дождик, и казалось, что в лесу шепчутся злые духи. Всякий звук пугал этих людей, тайно собравшихся, чтобы узнать, что объявлял царь своему народу. Треск валежника под ногой, крик ночного хищника, шорох сваливающихся сосновых шишек, свист крыльев пролетавших на озеро с гречихи диких уток — все заставляло этих людей, напоминавших заговорщиков, вздрагивать, настораживаться и прерывать чтение.

— Тихо! — тревожно шептал вдруг голос, и Пахом прятал газетный лист, все таили дыхание; наступала полная тишина, и только дождик падал сильнее, наполняя лес тревожной таинственностью. Несколько раз прерывали чтение и решили поставить свой дозор: на берегу озера, на двух дорогах, в лесу и со стороны поля, и условились в сигналах.

— Теперь не накроют... Сызнова читай!

Прочитали и начали обсуждать дело...

— Про землю ничего не сказано...

— Нет ничего!..

— Должно быть... — уверенно пробормотало несколько голосов разом.

Они разбирали отдельные слова и выражения: может быть, под этими словами именно и надо понимать про землю? Перечитывали манифест снова, спорили и начинали горячиться и галдеть.

— А вы — тише! Не орите! Чай, не на сходе! — останавливал Пахом и условным свистом спрашивал дозорных, нет ли опасности. Дозорные успокаивали условным «го-го», и заговорщики снова начинали искать в манифесте землю и праведный закон...

— А кто в эту думу сядет?

— Населье...

— Какое такое?

— Думаешь, тебя, мужика, посадят? Господа же опять.

— Они же! Покажут они землю!

— *Должно* быть про землю!.. Что-нибудь не так... Все ли прочитал?

Начинались сомнения относительно самого манифеста: быть может, был другой манифест и про землю, а господа подменили — думу придумали?..

— Как узнаешь?

Долго молчали, угрюмо глядя в колыхающееся пламя огня. Пахом встал и выругался нехорошим словом.

— Ничего не выходит!

— Дитя не плачет, мать не разумеет! — глухо сказал чей-то голос под кустами.

— Достаточно плакали! — ответил Пахом.

— Плачь не плачь, а толков никаких! — прошептал кто-то, и тихий иронический смешок смешался с шепотом дождя. Кто-то бросил в костер желтую сосновую корягу, — она затрещала, обнялась с огнем, и яркий свет отогнал дальше темноту и запрыгал на смуглых лицах...

— Ничего не выходит!

Они не расходились. Не хотелось и все думалось, что надо еще почитать, и, может быть, обнаружится...

— Надо идтить!

Вздыхали, топтались на месте, бормотали что-то себе в бороды. Пахом засвистал и медленно пошел от костра, задвигались и все другие.

— Потушить огонь-то надо!

— Дождик потушит...

— И сгорит, так наплевать! У казны его много... Ни себе, ни людям...

Когда они шли сюда, радость играла в их душах, и ноги не слушались, ускоряя шаги. А теперь радость опять померкла, опять злоба зашевелилась в сердцах, и опять они думали, что им нечего ждать и не на кого надеяться...

— Подождем еще, а там...

— Жди! Помрешь — и слава богу...

Ночью, в дождь и темень, пробирались они по двое, по трое из лесу в глубоком молчании, шлепая лаптями по лужам, и разбрелись по избам, угрюмые и злые. Дома не спали, ждали хороших вестей; бабы и старики беспокоились — не похватали ли мужиков...

— Ну что? — с жадным любопытством спрашивали бабы.

— Как есть ничего!

— А про землю-то?

— Жди! На тот год об эту пору...

Бабы смолкали, не расспрашивали. Они чувствовали, что мужики — злые, и знали, что лучше не растравлять... Значит — опять обман... Но на полатях просыпался сынишка, паренек 10—12 лет, и сиплым спросонья голосом хозяйственно осведомлялся:

— Тять! Отдал нам царь барску землю-то?

— Отдал... Помещик ты теперь... Спи уж!

«Помещик» быстро засыпал, а отец долго лежал на коннике, смотрел в темный угол избы, где охал старик, и думал о том, как же теперь жить?.. Дождик шумел за стенами, и под его монотонный шум жизнь казалась еще тяжелее; подползали думы о хлебе, о скотине, о податях, об отработках господам, заботы мелкие и надоедливые обступали со всех сторон мужицкую голову, и сон не приходил.

— Что, сынок, вздыхаешь все? — спрашивал старик сына.

— Не спится что-то...

— О, господи милосливый!..

И опять в избе стихало. «Ничего не выходит», — шептал кто-то в тишине ночи, и скверная ругань висла в избе, злобная, захлебывающаяся...

Бабы прислушивались и прикидывались спящими... А дождик шумел, шумел...

Несколько дней все говорили про думу: господа, поп Григорий, Парамон Игнатьич и все мужики и бабы. Манифест не скрывали; напротив, и поп и господа прислали в село газеты с манифестом и при случае разговаривали о нем с мужиками.

— Теперь нечего вам вздорить и самовольничать, — объяснил барин работникам.

— Мы ничего... Мы стараемся...

— Не вам, а мужикам, всем мужикам...

— Они как хотят...

— Кто аграрные беспорядки сделает, тому и от думы нечего ждать...

— Уж это конешно!

Отец Григорий имел праздничное лицо.

— Есть! Есть! Действительно манифест вышел... Могу вас порадовать! — говорил он прихожанам. — За царем служба, а за богом молитва не пропадает...

— Почему же ты, батюшка, в церкви с амвону его не объявляшь?

— Не имею к тому надлежащего распоряжения...

— А тогда читал, как пороть-то нас запрет вышел...

— Бумага была.

— Эко дело-то! Это почему же?

— Сие неизвестно.

— Может, не в настоящей форме он пропечатан, манифест-то?

— Не могу сказать... Хотя едва ли...

— Говорили, про землю должно быть пропечатано, а тут ничего нет.

Парамон Игнатьич стоял у лавочки и говорил:

— Теперь надо чинно, благородно... Дума для пьяниц, воров и разбойников никакого снисхождения не сделает...

Он читал вслух манифест и объяснял потом:

— Все о вас, дураках, заботятся, а вы безобразничаете...

— Что же теперь эта дума самая? Вроде как бы земство?

— Соберутся умные люди, выборные, и обсудят... Отчего эта погань по Рассее идет? Почему бедность: может, налогов много, а может, окажется, что пьянствовать меньше надо!.. Это вернее...

— Поди и от нас выберут? — пытливо, прикидываясь дураками, спрашивали мужики.

— Уж без вас как же? — иронически говорил Парамон Игнатьич. — Без вас кто же в думе паркетные полы марать будет?

— Чудак ты! Ей-богу!

— Собирайтесь! Плетите новые лапти!

— А сказывали, что землю дадут... Нет в манифесте-то!

— Было — да все вышло! — острил Парамон Игнатьич.

— Может, еще какой манифест выйдет?

— Пишут!

«Что-нибудь тут есть... Задержка идет», — думали мужики. Пахом отправился в Подгорное поговорить с верным человеком.

В Подгорном случилось что-то неладное: народ толпился около волостного правления, заглядывал в окна, гудел разговором. На крыльце правления, упав головой на лестницу, выли, словно по покойникам, бабы...

Пахом был человек осторожный. Заметив что-то необычайное, он подошел к толпе и потихоньку полюбопытствовал:

— Что такое?

— Захватили Королевых! Обоих братьев: и Миколая и Василия! — жалобно простонала баба.

— Нашто?

— Какие-то, бают, книжки у них захватили...

В толпе жалели Королевых и никак не могли понять, что они наделали: смирные, обходительные, непьющие... Обращались к стражнику, время от времени появлявшемуся на крыльце правления.

— За что их?

— Народ смущают...

— Что с ними теперь сделают?

— Увезут, и духу ихнего не будет... И во веки веков не узнаешь, живы или нет...

В толпе говорили, что всю избу у Королевых разворотили, пол подняли, кивот сняли — все искали чего-то...

— А они стоят белые с лица, словно обмерли, сердечные!..

— Праведный закон у них нашли...

— Прокламацию, сказывают, какую-то?

— Дурак! А что она, прокламация?.. Что в ней написано?

— Уж я этого не знаю...

— А не знаешь, так и молчи!..

Около ворот правления стояли две тройки, верховая лошадь и телега. Скоро из правления вывели братьев Королевых, окруженных жандармами, бледных, растерянных, печальных. Они поклонились народу и что-то заговорили, но жандармы стали кричать и на Королевых и на народ, — и не было слышно, что пытались сказать Королевы...

— Разойдись!.. Дальше!.. — сердито кричал жандарм с пакетами в разносной книжке. Баб прогнали с крыльца, и они выли, перебегая с одной стороны крыльца на другую.

— Дальше, говорят!..

Королевых посадили в телегу, куда сел еще жандарм и двое сотских, и телега, сопровождаемая верховым

стражником, покатилась вдоль улицы. Две бабы бежали, как собаки, за телегой и вопили; стражник отгонял их плеткой, а они снова бежали и причитали:

— Соколик мой ясный!.. Вася мой желанный!.. И что теперь будет!..

Народ торопливо шел за удалявшейся телегой и, смотря на поднятую с угрозою плеть стражника, двигался вперед на некотором отдалении... Проводили за околицу и долго смотрели вслед телеге и всаднику, пока они не скрылись за опушкой леса... Две бабы упали на траву и выли жалобно, жалобно... Народ потянулся обратно, словно после похорон.

— За что же это?..

Как ни раскидывали умом, не могли понять. Народ знал Королевых «сызмальства»; «окромя хорошего», за ними ничего нет: ходили уполномоченными от общества в город судиться с господами из-за спорного клочка земли, заступались за своих, когда их бил по морде урядник; книжки они, действительно, читали и газету выписывали, понимали больше других, и было чему у них поучиться темному человеку...

— Так неужто за это в тюрьму?

— Что-нибудь господа наговорили...

— Верно. Правдой не возьмешь, так они вон как!

— Видно, за жалобу царю?!

— Смотри, так оно и есть!

Недели две тому назад Королевы написали прошение на высочайшее имя по поводу проигранной по каким-то формальностям тяжбы крестьян с местной помещицей, — и в этом прошении написали про какие-то незаконные действия земского начальника.

— Перехватили, видно, нашу жалобу...

Вернулся Пахом из Подгорного сумрачный, рассказал, что Королевых увезли в тюрьму за то, что они написали царю жалобу на суд и на земского начальника.

И здесь жалели братьев Королевых.

— За простой народ стояли, вот и увезли...

— Что против *них* сделаешь? Нигде правды не найдешь! — говорили мужики, кивая на гору...

— Жгут их теперь...

— Жгут...

И что бы ни случилось неприятного с мужиками, мысли их невольно искали теперь причину на горе в барском до-

ме. Иногда казалось невозможным связать неприятность с этим источником, но вся логика ума и сердца работала теперь у них в эту сторону, и хотя отдаленная, но связь всегда отыскивалась...

Пала корова — баба плакала, причитала и проклинала господ:

— Самим вам сдохнуть бы, проклятым...

Если бы господа спросили бабу, за что она проклинает их, воя над павшей коровой, она сказала бы, что у нее нет корму, а корму нет потому, что нет выгона и лугов, а нет лугов и выгона «из-за них, проклятых»: все себе забрали...

Старые «барские грехи» вылезали из могил, где теперь гнили скелеты бывших рабовладельцев, и реяли над старым барским домом, переплетаясь с вольными и невольными грехами живых наследников...

— Дедушка Илья сказывал, что, когда крепостными были, они наших баб заставляли своей грудью кобелей вскармливать!..

— Они и теперь хотели бы, да воли им прежней нет!

— Забастовку им надо сделать... Жгут их, проклятых...

Жутко бывало в старом барском доме длинными осенними вечерами и ночью. Мелкий дождь шуршал по крыше, дождевая вода жалобно звенела в ржавой поломанной водосточной трубе, ветер шумел в саду, раскачивая вершины деревьев и отрясая с них желтую листву, и голые прутья разросшейся под окнами сирени, качаясь, касались стекол и рождали, под отблеском света из комнат, смутные колыхающиеся призраки.

Вот уже во второй раз Зинаида Николаевна остается одна в это ужасное, пропитанное тревогою время: муж опять уехал в город, где напуганные помещики собрались, чтобы сообща потолковать: что делать и как остановить разрастающееся среди мужиков брожение?..

Страшно одной, с двумя мальчиками, в большом пустынном доме, с поскрипывающими половицами, с чуланами и переулочками, с портретами покойников на стенах... Никогда не верила в домовых, в злых духов, в привидения, а теперь напуганная, трепещущая душа полна мистическим ужасом, и встают позабытые поверья и сказки испуганного человеческого воображения... Говорят, что мужики несколько раз видели, как похороненная в церковной

ограде бабушка Зинаиды Николаевны сидит на своей могиле, на старом, обросшем земной плесенью камне, и плачет...

— Опять бабушку твою видели, — захлебываясь от страха, сообщала Агашка, — плачет все...

— Вздор...

— Ты бы панихиду, барыня, отслужила на могиле-то!.. Грешница, бают, она была большая: бают, собак кормить грудью баб приневоливала...

Конечно, бабушка давно сгнила; вероятно, даже кости ее рассыпались серым пеплом... Но пусть отец Григорий отслужит панихиду... Пошли служить панихиду и нашли осиновый кол, вбитый около камня над могилой... Старые мужики и бабы молились, а молодые стояли, скрестив на груди руки, и только смотрели...

Не верила Зинаида Николаевна в приметы, а когда собака выла на дворе, — становилось жутко; когда появлялись в комнате три огня, — испуганно тушила один из них, вздрагивая от непонятного страха... Дождь, как нарочно, шумел, шумел...

Иногда чудилось, что по лужам садовых дорожек кто-то ходит осторожно, тая враждебное чувство. Кто там ходит? Калитки наглухо забиты... Скоро ли сделают новые ставни к окнам?!

Зинаида Николаевна тихо подходила к окну и, закрывшись от света кистями рук, всматривалась в темную бездну ночи... Никого нет! Почудилось... Темно, темно... По небу, спеша куда-то, пробегали причудливые тучи, шевелились и вздымались, как волны бурного моря... Под горой теплились два-три огонька в невидимых избах... «Почему там не спят?» Деревья шумели порывами, старые стены дома вздрагивали, жалобно скрипел на крыше флюгер. Зинаида Николаевна всматривалась, прислушивалась и смутно вспоминала, что когда-то она, в темную ночь, сидела на палубе морского парохода и с радостным трепетом смотрела в колыхающуюся морскую бездну, вглядывалась в одинокий огонек далекого еще встречного парохода и прислушивалась к жалобному скрипу рулевых цепей... Очень похоже!.. С кем она ехала тогда?.. Ох, да! С мамой и бабушкой... В воображении рисовалась бабушка в гробу; иллюзия пропадала, и опять делалось страшно... Где-то Гектор лаял тревожно и подозрительно: непременно во тьме ходит мужик, замышляющий что-нибудь ужасное... И за окном

не было больше моря, а ясно представлялся овраг и разбросанные под горой избы с соломенными крышами. Огоньки под горой тоже начинали казаться подозрительными... Почему, в самом деле, там до сих пор огонь?.. Мужики рано ложатся спать... Может быть, около этих огоньков собрались они теперь и что-нибудь затевают... Зинаида Николаевна всматривалась в мигающие огоньки, и ей чудилось, что из-под горы на нее смотрят чьи-то злые глаза... Дрожь пробегала по спине... Зинаида Николаевна громко кашляла, чтобы прогнать зловещую тишину в доме и ободрить себя своим голосом. Она шла в детскую и будила старую няньку:

— Опять ты не зажгла лампадку?

— Потухла... что-то тухнет все... Нехорошо это...

— Сени заперты?

— А как же!

— А Михайло спит в чулане?

— Там...

— Что-то, няня, собака все лает?..

— Что-нибудь не зря беспокоится...

— Сходи-ка, разбуди Михайлу!

Нянька, кряхтя, отыскивала свечу, зажигала и шла в сени будить Михайлу. Михайло храпел так, что чулан вздрагивал, и большого труда стоило разбудить Михайлу.

— Да проснись, что ли! Ну и караульщик... Михайло!..

Просыпался наконец Михайло.

— Чего еще?!

— К барыне!

— Не спится вам с барыней... Спите до обеда, а потом... — ворчал Михайло и шел в комнаты.

— Обойди усадьбу!.. Кругом! Собака чует кого-то...

— Зря она, барыня, брехат...

— Раз тебе приказывают, должен слушать, не рассуждать!

— Я обойду... Долго ли?!

Михайло уходил, стоял за воротами, гладил Гектора и говорил:

— Что ты, собачий сын, все барыню беспокоишь?.. А из-за тебя мне спокою нет!

Постояв четверть часа за воротами, Михайло возвращался и успокаивал:

— Благополучно.

— Обошел?

— Два раза обошел. Кто пойдет? Мокрота, слякоть, зги не видно...

— Ну, иди спи!..

— Счастливо оставаться!..

Уходил Михайло, а Гектор снова начинал лаять... Что он? Можно ли положиться на Михайлу?.. Зинаида Николаевна начинала думать о Михайле: что-то он не смотрит прямо в глаза...

С отъездом мужа подозрительность к окружающим превратилась у Зинаиды Николаевны в болезненную мнительность: все служащие в экономии — кроме няньки, управляющего и Агашки — стали казаться ей тайными врагами; в голосе, жестах, взглядах, даже в походке у них она стала замечать что-то враждебное, затаенное... Двоих работников, Степана и Курносого, особенно подозрительных, она рассчитала, не дожидаясь мужа... «Грубые и любят разговаривать...» Несколько неясных ворчливых слов, брошенных Степаном и Курносым при уходе, теперь страшно беспокоили Зинаиду Николаевну... Что они тогда сказали? Что-то непонятное, должно быть, угрозу какую-то... Об этих мужиках Зинаида Николаевна сейчас же написала земскому начальнику: «Дерзкие и подозрительные, могут поджечь...»

По ночам она плохо спала: в широком капоте, в туфлях, она, как привидение, бродила по комнатам большого дома с револьвером в одной руке и со свечой в другой. Всякий стук и шум в доме: возня мышей в детских игрушках, скрип половиц от неведомых причин — заставляли Зинаиду Николаевну идти и посмотреть, что это стукнуло; приблизившись к темной комнате, откуда, как догадывалась Зинаида Николаевна, исходил звук, она с робостью останавливалась у порога дверей и дрожащим голосом спрашивала:

— Кто здесь?.. Я сейчас выстрелю!.. — стращала она дрогнувшим голосом и звала громко: — Ну-ка, Михайло, посвети!..

Тихо. Показалось. Никого нет. И ей самой становилось смешно: револьвер был не заряжен, и никакого Михайлы с нею не было.

Иногда на Зинаиду Николаевну находил такой ужас, что она будила няньку и посылала ее за управляющим.

Управляющий, старик, только весною поженившийся на молоденькой дочери диакона из села Подгорного, сердился: это не относится к его обязанностям, — но лениво облачался в валенки с кожаными подошвами, в грязный чесучовый пиджак и, встрепанный, шел к барыне. А жена управляющего, — маленькая, кругленькая женщина с чувственными губами, — оскорблялась, плакала и не спала, потому что она была ревнива и ей казалось, что Зинаида Николаевна, которая называет чужого мужа «Мазепой», вовсе не из страха посылает по ночам за Петькой, а просто пользуется тем, что *своего* мужа нет дома.

— Простите, Мазепа! — говорила Зинаида Николаевна.

— Ничего, — хмуро отвечал управляющий. — Вы опять взволновались?

— Да. Бабушку во сне увидала. Давайте посидим вместе, — я успокоюсь...

— С удовольствием...

— Что-то все Гектор лает?

— Собаки осенью всегда... Под горой лают, ну и у нас...

Михайло приносил самовар. Зинаида Николаевна поила Мазепу чаем. Не о чем им было говорить, и становилось обоим скучно.

— А вы, действительно, очень похожи на Мазепу!.. Ваша супруга права! Она вас так прозвала?

Управляющий конфузился. И ему начинало думаться, что что-нибудь тут есть, кроме страха... Ведь эти сорокалетние барыни с двойными подбородками — ух какие! Служил он в Полтавской губернии у одной помещицы...

— Николай Георгиевич скоро вернутся? — напоминал он барыне о законном муже.

— Должно быть, завтра к вечеру.

— Уважут ли их просьбу господин губернатор?

— Какую?

— А они, между прочим, хотели попросить об охране имения... Небойсь земский начальник держит у себя троих стражников... а на каком основании?..

— Скорее бы. Не сплю которую уже ночь!

— Женщины вообще очень пугливые.

Так они сидели, пока за окнами не начинал колыхаться дрожащий серый свет недалекого рассвета.

— Теперь уж ничего... Вы спать хотите? Я вас измучила?

— Меня?.. Нисколько. Я могу три ночи подряд не спать, — хвастался Мазепа, разглаживая свою седую бороду.

Зинаида Николаевна, не раздеваясь, бросалась в постель мужа и, истомленная призраками ночи, засыпала как убитая, позабыв все на свете. А во флигеле, где жили молодые, не угасал зеленый огонек лампы под абажуром: там маленькая кругленькая Маша металась в муках ревности.

— Как она смеет называть тебя Мазепой?! Что она тебе? Родственница? Я — Мазепой, и она — Мазепой.

— Оставь, Маня, это так...

— Разве *так* любят! Ушел на всю ночь к этой... и...

— Хочешь, побожусь, что между нами ничего не было?..

— Отстань! А еще поешь романсы: «Коль меня любить, всех других забыть!..»

— Ну, кончим...

— Отстань! Не касайся!.. Сперва вымой руки!..

— Фу, ты! Боже мой! Брошу место и... наплевать...

Проходила ночь. Со светом пропадал ужас и оставалось тихое, надоедливое беспокойство. Иногда в кухню заходили бабы с груздями и белыми грибами.

Они как-то странно озирались, словно хотели что-то высмотреть, и встречали барыню очень уж ласковыми приветами...

— Для тебя, лебедушка, груздочков принесли...

— «Лебедушка», а сами...

— Что, матушка?!

— Ладно... Небось в нашем лесу собирали грузди-то? — с укоризной спрашивала Зинаида Николаевна.

— В казенном, в казенном, — почему-то врали бабы, и Зинаида Николаевна это чувствовала.

— Хозяин-то твой, видно, уехамши?

— А вам что?

В этом вопросе чудилась задняя мысль. Осведомляются... Зачем им понадобилось? Мужики подослали...

— Скучно, чай, тебе одной-то, без мужика-то? — не отставали любопытные бабы.

— Сегодня приедет.

— А куда он уехал?

— По делам. Недалеко...

«Так и есть!»

Под вечер зашел дедушка Илья. Помолившись богу, он попросил допустить его до барыни. Зинаида Николаевна спрятала в соседней комнате Мазепу — «Кто их знает! Народ дикий» — и велела пустить Илью. Старик вошел, еще раз помолился, поклонился барыне очень низко и сказал:

— До вашей милости!

— Ну!

— Наслышаны мы, что барин хочет испольную землю хуторским сдать?

— Хочет. А тебе какое дело? Вы отказались брать исполу?

— Я что! Я — старик, мне земли только три аршина надоть, для могилы, а вот мужикам-то нашим... про них разговор... Нельзя сдавать-то...

— Кому хотим, тому и сдадим...

— Повременить надо! — серьезно посоветовал Илья.

— Не желаем... Кланяться не будем...

— Начто кланяться? Свары бы между нами не вышло...

— Ты что же, от общества?

— Сам я! Без земли им нельзя, помирать надо, а помирать кому охота? Мне вот восьмой десяток идет, а все еще жил бы... Общество-то и беспокоится: надо, бают, сперва манифеста обождать, а там видать будет... А без манифеста и вам как-то несподручно: тоже уж надо всем стараться, чтобы царскую волю исполнить, чтобы уж по-хорошему, по закону все было...

Долго Илья говорил таинственно и непонятно, вставляя оговорку: «Вы сами это понимаете хорошо»; говорил какими-то загадками, недомолвками и никак не желал объяснить прямо, в чем дело...

— Дело-то? — переспрашивал он. — Повременить надо, послушайся меня, старика. Твой папашенька меня уважал, на что уж крутой человек был... Я на сто лет назад и на сто лет вперед вижу... Вот что!..

Сгорбленная фигура рослого старика с длинной театральной бородой и сухой указательный палец, которым Илья поминутно тыкал в потолок, показались Зинаиде Николаевне пророческими, внушали непреодолимый страх, а загадочные слова казались полными угрозы.

Мазепа не вытерпел; он вышел из засады и закричал:

— Вот как! Поджечь стращаешь?

Илья обомлел и растерялся:

— Окстись! Что ты, бог с тобой! Я этакого слова не говорил...

— Михайло! Михайло!

Прибежал работник.

— Вот этот человек сейчас угрозу барыне сделал: поджогом! Будь свидетелем!

— Когда? Крест-от на тебе есть? — испуганно и возмущенно спрашивал старик.

Барыня и управляющий постоянно боялись поджога и думали о нем, и в каждом мужицком слове, в котором сквозила неопределенность и загадочность, они теперь слышали поджог... Зинаида Николаевна расстроилась, расплакалась, просила сейчас послать мужу телеграмму с нарочным. Мазепа кричал на старика и грозил тюрьмой. Дедушка Илья с растерянной улыбкой на лице вышел на крыльцо, перекрестился и развел руками:

— Что с ими делается? Хм!

Выбежал барчонок и тоже закричал:

— Сегодня приедет папа!.. С солдатами! Они вам покажут!

Выскочил из-под крыльца Гектор и хриплым лаем долго провожал дедушку Илью...

— Ну, как они? — спрашивали под горой старика.

— Не поговоришь с ими! Сейчас кричать начали, руками замахали... поджечь, говорят, хочу...

— Прикидываются...

— Как оборотни! Ей-богу! То ласковые, а то как собаки...

В эту ночь с барского двора выехал нарочный на почтовую станцию, чтобы отправить телеграмму барину. Огни на горе не угасали всю ночь; у ворот и на задворках барского дома усиленно трезвонили в чугунные доски. Мазепа два раза выходил ночью к воротам и стрелял из старого охотничьего ружья в темное небо, где бежали неуклюжие мрачные тучи, похожие на зловещие чудовища...

В село приезжали разные начальники, собирали сход и успокаивали мужиков ласковыми словами и угрозами.

— Мы ничего, — говорили мужики и смотрели в землю.

Барин с светлыми пуговицами ласково объяснял, что

люди, которые сулят мужикам землю и волю, называются мятежниками, — они встают против царя и начальников, чтобы самим захватить власть и забрать народ в свои руки.

— Поняли?

Мужики молчали.

Барин с светлыми пуговицами ласково объяснял, что всякая власть поставлена от бога, и в доказательство ссылался на попа:

— Спросите вашего духовного отца, священника: он вам разъяснит это...

Мужики молчали. Они вспоминали урядника, который многих из них бил по морде ручкой револьвера, и не верили, чтоб урядник был от бога; они вспоминали, как поп вымогал с них деньги за свадьбы и похороны, как он разговаривал с дедушкой Ильей о священном писании, — и не верили попу.

«Толкуй тут! Знам мы вас!» — думали мужики.

Приезжал земский, приезжал становой, приезжал исправник, и все говорили одно и то же, только один сперва говорил ласково, а потом уж кричал, а другой сперва кричал, а потом говорил ласково, словно отец... Один грозил тюрьмой, другой — розгами, а третий — солдатами. Вся и разница. А про землю и манифест никто не говорил, и никто из них не желал знать, что больше так жить они, мужики, не могут...

Однажды земский сказал, что всех перепорет, если посмеют обидеть своих господ. Не стерпел дедушка Илья и сказал:

— Так-то оно так, только ведь царь-то, ваше благородие, не приказал нас пороть-то! Кто царя не слушает, тот выходит, мятежник, а не мы...

— Кто это там говорит? Ну-ка, выходи из-за спин-то!

Дедушка Илья вышел вперед, поклонился:

— Сказал эти слова я, ваше благородие! Нам в церкви с амвону батюшка указ царский читал, чтобы нас розгами не касаться, а ты говоришь: «Запорю...»

Земский покраснел и с угрозой спросил, как зовут старика, как его прозвище, где живет, — и все это записал в маленькую книжечку.

— Запиши! Запиши! — ласково сказал старик. — Царские слова нельзя забывать...

Сход зашевелился, стал покашливать, и послышались в разных концах толпы восклицания, одобрявшие старика.

— После манифеста нельзя... Ответишь за это — вот что!..

— Тише, вы!

Уехали власти, а народ долго держался кучками и обсуждал разговор с начальником, и все чаще прорывался ропот, насмешки над угрозами уехавших.

— Вот те и запорю!

— Нынче, брат, нельзя тоже... кричать — кричи, а руками не касайся!..

— Ни с чем и уехал...

Парамон Игнатьич, стоя у своей лавочки, покачивал головою и возмущался:

— Как они разговаривают нынче?! А! За такие слова что бы им сделать надо?!

Были в селе и мужики, не одобрявшие таких слов: красивый мельник Фома Василич, арендовавший у господ мельницу, мужик Парфен, арендовавший у господ рыбное озеро, братья Обручкины, снимавшие наделы у безлошадных и платившие за них недоимки, еще двое-трое обстоятельных крестьян: красильщик и лесоторговец Овсянкин, наживший от господского леса капитал в две тысячи целковых и поставивший себе двухэтажную избу с тесовой крышей. Все они держались в стороне от остальных и, прислушиваясь к толкам односельчан о господах, о начальниках, восклицали:

— Баловство-то какое!

Иногда несколько таких мужиков сходились у лавки Парамона Игнатьича и рассуждали про «нонешние дела»:

— Земли, земли! А того не подумают: что они с ней, с землей-то, станут делать? Земля не хлеб, есть ее не будешь. Она требует хозяйства хорошего, струменту, скотины, а не как-нибудь...

— У которых и есть надел, да мне сдают... Вот идет... Молодец! Зачем ему землю?..

Мимо проходил захудалый мужичонко Лаврентий. Они останавливали его и начинали вышучивать:

— Говорите вот, что уравнение в земле надо сделать...

— Надо бы...

— Куда тебе землю?.. На чем пахать будешь? Мне же сдашь... Без лошади, а землю хочешь?..

— Так уж найдем как-нибудь...

— «Найдем!» У господ украдешь, что ли?

Лаврентий ухмылялся, беспечно сплевывал в сторону и добродушно отшучивался:

— У тебя, Парфен Ягорыч, лошадей много... Чай, одну, плохонькую, отдашь, что ли?

— Вон ведь они куда гнут! — с злобным смехом говорил Парфен, обращаясь к сочувствию единомышленников. — Ты послушай, какую они прокламацию разводят!.. А?!

— Жалко? — спрашивал Лаврентий. — Ну у господ много...

— Да понимаешь ли ты, что за такие слова тебе...

Лаврентий, отмахнувшись рукою, уходил прочь, а они, ругаясь с невероятными вывертами вслед Лаврентию, выходили из себя от дерзкого поползновения на чужую собственность.

— Ваше благородие! Вернись!.. Выбирай любую из моей конюшни!

— Не хошь ли попову кобылу?

— Шантрапа! Пропил ум-то, да чужим хочешь жить?.. Землю ему!.. Помещик!..

— Мы вот становому скажем про твои разговоры, он те...

— Грязь, а тоже рассуждение желает иметь!

Зажиточных мужиков беспокоила смута, шедшая быстрыми шагами по губернии; беспокоили беспорядки, пожары, грабежи и кражи; беспокоили толки, что где-то там стараются сделать уравнение в земле, устроить так, чтобы бедных не было, — и они с искренним сокрушением восклицали:

— Подлец народ стал! Дай им волю, так они остальные штаны пропьют!..

Барин приехал сердитый, озабоченный. На съезде ничего не вышло, только все перессорились.

— И среди нас завелись социалисты... Безобразие!..

— Кто же это? — с ужасом спрашивала Зинаида Николаевна.

— Есть!.. Этот, например... Болотный дворянин! Скупил болот для ценза, а теперь программы аграрные сочиняет!.. Князь еще! Ему все равно: его болота гроша медного не стоят... Что тут у вас? Кто грозил поджогом?.. Позовите эту тюрю, управляющего!.. Вздумал когда жениться!.. Дурак... Нашел время!..

Охраны губернатор не дал. По его сведениям, — у них это преждевременно... Оказывается, что становой поручился исправнику за спокойствие в его стане, а исправник поручился за спокойствие в его уезде...

— Черт ли мне в их поручительствах, когда кругом...

Пришли братья Обручкины. Они просили сдать им в долгосрочную аренду ту землю, от которой отказались испольники.

— Раз они не желают трудиться, мы берем... Назначайте цену!.. Где вам с ними возиться? Народ грубый, беспокойный... А мы — привычны... С нами другой разговор... Потом придут да нам же поклонятся... Без этой земли им тоже не обойтись.

Долго торговались.

— Мало даете; этак выгоднее нам исполу...

— А скандалу сколько? Не считаете?

— Мало... Обидно...

— Как хотите, а только с мужиками у вас ничего не выйдет... Зря земля пролежит...

— Подумаю...

Узнали мужики об этом — в селе шум начался. Испольники обозлились на братьев Обручкиных, другие поддерживали испольников:

— Жадность-то какая! Готовы изо рта хлеб вытащить... У них и так карманы от денег оттопыриваются!..

— Только посмейте, идолы окаянные!..

Обручкиным подбросили записку, в которой грозили спалить их «дочиста», если они снимут у господ испольную землю. Обручкины представили записку уряднику — тот начал дознание.

— Ничего не знаем... Мы неграмотные...

— Может, они сами эту записку написали? Жулики они...

— Нам что же, пущай сдают, кому хотят... Хоть черту-дьяволу — господская воля!

Вскоре на задах у Обручкиных нашли пузырек с керосином и коробочку спичек. Угол повети обгорел: дождь помешал пожару... Тревога усиливалась. Все боялись пожара: и бедные и богатые. Господа отказались сдать землю Обручкиным.

— Как собаки на сене, — говорили Обручкины про мужиков, — сами не едят и другим не дают... Разбойствуют, и никакой на них управы!..

Парамон Игнатьич сделал, по примеру господ, крепкие ставни на болтах к своим окнам и толстую накладную дверь к лавочке, которую запирал на ночь большущим замком с секретом. Он трепетал с каждым днем все сильнее, тайно прислушивался к толкам и слухам в народе, и все, что казалось ему преступным или подозрительным, сообщал земскому начальнику с подписью «доброжелатель».

«Еще доношу вашему благородию, что мужики все толкуют про праведный закон, и по оному закону будто бы надо всю землю отдать тем, которые не держат работников, а пашут сами. Этак, которые порядочные крестьяне есть, все должны разориться, а останется одна грязь, шантрапа да пьяница. Который человек в поте лица заработал себе хорошую жизнь, где недоедая, а где недопивая, который, например, в третьем году у нас бесплатно церковную ограду за два раза масляной краской окрасил, тот человек должен на одну доску встать с пьяницей, у которого одни штаны и те худы...»

Парамон Игнатьич боялся кражи. Всю наличность он держал теперь в кованом сундучке, а сундучок прятал в старый валеный сапог и хранил в бане за печкой. Темной ночью пробирался он на зады, в огород, и, как вор, прокрадывался в закоптелую баню и вкладывал денежный прирост за день в валеный сапог, оставляя лишь мелочь на размен и расходы. Книжку ссудо-сберегательной кассы на сумму тысяча восемьсот рублей пятьдесят шесть копеек он держал днем за голенищем сапога, а на ночь с молитвою засовывал за образ, вручая капитал охране Николая-угодника, в благодарность за что на всю ночь зажигал перед ним лампаду с гарным маслом.

— Сохрани и помилуй! — шептал он, становясь на стул, чтобы засунуть книжку.

— Не грех ли, Парамоша, гарное-то масло заместо деревянного палить? — спросила как-то Глафира.

— Ну! А не все одно?.. Спорее оно, гарное-то...

— А может, грех?..

Парамон Игнатьич сходил к отцу Григорию посоветоваться. Отец Григорий успокоил:

— Конечно, деревянное масло желательнее... Так уж издревле... Но точных указаний про гарное масло в писании не имеется, поелику не возбраняется...

После этого Парамон Игнатьич не сомневался и, когда кум, мельник Фома, указывая на стоявшую на подоконнике бутыль с гарным маслом, спросил: «Идет ли оно для бога-то?» — кратко ответил:

— Разрешение от иерея имею!..

По воскресным дням, поработав для души и господа на клиросе, около воска, ладана и отца Григория, Парамон Игнатьич заходил вместе с женой на чашку чая к батюшке. Все было чинно и благородно: чистая скатерть на столе, румяные булки, сливочки топленые с пенками, варенье красной и черной смородины, самовар ведерный, вычищенный, и хозяева в праздничных одеждах: отец Григорий в новом коричневом на шелку подряснике, и попадья в новом зеленом шерстяном платье с наколочкой на голове. Чинно, степенно сидели за столом и беседовали о том о сем. Глафира держала руки больше на животе, а Парамон Игнатьич на коленях, — и оба щеголяли хорошим обращением.

— Откушайте еще чашечку!

— Много довольны! Благодарствуйте!

— Во благовремении очень приятно... Со сливочками? Мой поп постничает, а я, грешная, люблю топленые сливочки... Грешу...

— Не согрешишь, не замолишь!

Теперь беседы велись и около смуты.

— Бедны они, что и говорить... Это истинно так, — вразумительно так и кротко говорил отец Григорий. — При таком достатке прихожан и пастырь живет неважно... Что с них возмешь? Сами они чуть только живы. А все-таки да не возмутится дух мой!.. Здесь плохо, *там* будет хорошо...

И отец Григорий показывал перстом в потолок.

— Пишут вот в газетах, что мятежники хотят земли церковные отобрать! Поистине не знают, что творят... Нет истинной веры, и некому заступиться...

— Ну, уж этакого безобразия не дозволим, чтобы церковные земли отнять! — успокаивал Парамон Игнатьич, — жиды это все!..

— Выкушайте наливочки! Сама настаивала... И откуда эта смута пошла?

— Инородцы мутят, погубить Россию вознамерились, — вздыхая, произносил батюшка.

— Конечно, жиды! Ежели я православный — какого рожна мне надо?!

— А что, батюшка, фельдшер, который в Подгорном на земском пункте, жид ведь он? — спрашивала Глафира.

— Жид! Видно ведь... — радостно восклицала попадья, — нос-то в кармане не спрячешь...

А отец Григорий разъяснял:

— Хотя он и приемлет православие, но по происхождению, действительно, из жидов. Ничего себе человек, хотя не люблю я их: по-моему, жид все-таки жид и жидом останется... Его не приручишь... Настоящей веры не имеет: с крестом не принимает — больным сказывается, в храм божий редко ходит и еще там кое-что... безнравственное...

— Чего тут укрывать? — сказала попадья и, посмотрев на попа, договорила: — Невенчанный живет...

— А ведь вот за жену настоящую выдает!

— И мысли у него не русские... Как-то я палец поморозил — лечил... говорил с ним о разных делах, — отец Григорий покачал грустно головой и причмокнул языком, — нет в нем, в жиде, этой... настоящей верноподданности!.. Чего нет, того нет... И книжки безнравственные у него, и газеты опять все вольные...

— Бьют их теперь, жидов-то?..

— Бьют... — соглашался отец Григорий.

В соседней губернии мужики бунтовали. Проезжие и прохожие рассказывали, что там господ выжигают; отбирают и делят между собой барские земли; рубят барские леса; отбирают скотину... Господа бросают усадьбы и уезжают в город... Слушая эти рассказы, мужики довольно ухмылялись:

— В городу им сподручнее! Веселее!..

— Чай, все-таки отвечать будут?

— Господа, конечно, судят, да... разя всех засудишь?..

— Сказывают, много народу запороли?

— Не без этого... До смерти которых...

— Как же так! Не слушают царского приказу?

— До царя, брат, далеко... как до бога!.. Он поди ничего не знает, как тут с нами...

— Ничего!.. Всех не запорешь, останется народу... Сколь их, а сколь нас?..

— А у вас как? Тихо?..

— У нас?.. Хм... Ждем вот, что дальше будет... Стращают тоже, что запорют...

— Небойсь господа боятся?

— Прижали хвосты-то!..

Спрашивали про манифест: «Нет ли другого манифесту?»

— Не слыхать. А только в городах забастовку делают: бедный народ богатых припирает... Рабочий человек хозяина донимат!..

— Ловко!

— Студенты хорошо орудуют...

— За нас они, что ли?

— За нас!.. Их в тюрьмы заточают...

— А говорили — против царя они идут?

— Кто говорит?.. *Они?*.. Хх!.. Они всегда за бедного человека!

Две ночи на горизонте горел красный отблеск далекого пожара... Мужики собирались на горке, смотрели — и опять в их душах шевелилась радость... Зато тревожнее становилось в барском доме... Все сильнее беспокоилися Парамон Игнатьич и зажиточные мужики, да и поп Григорий стал подозрительно прислушиваться и приглядываться к своим прихожанам... Попадья держала добро в запертых сундуках, на ночь обходила двор с иконой «Неопалимой купины» и спускала с цепи собаку... На дворе всегда стояла бочка с водой, а в сенях — две кадки большие и одна маленькая. Звали ночевать старика, церковного сторожа.

— А как же, матушка, церковь?.. Я уйду, а, не дай бог, что-нибудь...

— Господь не допустит! Мощи там!..

— Ладно! Приду!

Сторож спал в каретнике, в старой кибитке, подаренной отцу Григорию господами для зимних разъездов по приходу с требами, после того как он поморозил себе большой палец на левой ноге... Попадье каждую ночь снились страшные сны: то разбойник с громадным ножом, то пожар, то покойный диакон Варсонофий, спившийся и повесившийся в бане на вожжах. Ночью попадья вскакивала вся в поту и, несмотря на постный день, бежала к батюшке, топая по полу босыми ногами.

— Опять видела! Опять!.. Господи!

— Кого видела?

— Его! Варсонофия!.. Болтается... синий весь... глаза выкатились... — трясясь от ужаса, шептала попадья и не хотела идти на свою постель. Отец Григорий, внезапно потревоженный, долго не мог заснуть; встав с кровати, он ходил на двор посмотреть, все ли благополучно, выглядывал в калитку: тут ли церковь.

— Все благополучно... А на горе не спят: огонь видать в доме... — сообщал он попадье.

— Боятся...

— Боятся...

— Чего им: у них все застраховано!

— То-то вот и беда, что не платят премию-то, если сгоришь от бунта или мятежа... Ничего не получишь...

— Ах ты, господи! И когда это кончится? Прикройка меня; зябнется что-то...

Поп прикрывал попадью. Они долго молчали. Вдруг попадья шевелилась и говорила:

— Хоть бы ты, поп, другой приход попросил.

— Думаешь, в другом приходе спокойнее? В Левашевке вчера благочинного обокрали!..

Охраны господам не дали, а прислали в село стражника Соколова. Господа взяли его к себе на гору; отвели ему во флигеле комнату, которую он называл «фатерой»; от господ же он имел верховую лошадь и прокорм для нее, а жалованье шло ему от казны. Пищу он должен был иметь свою, но от господского стола бывало много остатков, и покупать приходилось только водку.

— Жить можно! — говорил Соколов, рыгая после обеда.

Каждый день Соколов обходил село, смотрел, «нет ли где какого беспорядку», и покрикивал на мужиков. Соколов отвык от деревенской жизни, и многое теперь казалось ему в мужицкой жизни неприличием и безобразием. У него на руках были готовые бумаги от земского начальника, за его подписью и печатью, и стоило только вписать в такую бумагу имя и звание провинившегося мужика, чтобы присудить его к наказанию под арест на трое суток... Иногда Соколов делал ночные обходы и, если встречал прохожего, производил допрос:

— Что за человек?

— Проходящий!..

— Куда идешь?

— В Подгорное, к фельдшеру!

— К жиду за газетами?

— Зачем?!

— Что у тебя в пещере? Покажи!

Мужик раскрывал пещер:

— Все по домашности...

— Шляетесь все... Дома надо сидеть!

— Жона при смерти. К фельдшеру иду...

— И без фельдшера помрет: не барыня! А документ есть?

— Нашто документы? Я тутошний, меня знают...

Начинался разговор про документы, и стражник начинал подозревать:

— Как же я могу поверить без документа?

Стражнику было приказано ловить смутьянов, мятежников, студентов и жидов, а господа обещали за каждого такого человека благодарить от себя тремя целковыми.

Соколов старался поймать, но не находил — и это его сердило...

— Может, ты мятежник или ревацанер... как я без документа узнаю?

— Что ты, бог с тобой!.. Мы крестьяне, хуторские... Сделай милость — не задерживай: жена помирает...

Видя, что проходящий — самый обыкновенный мужик, за которого никакой благодарности не получишь, стражник давал ему тычка в спину.

— Шляетесь, сукины дети, по земле!.. Без документов!

— За что бьешь?..

— Поговори у меня еще!..

С приездом стражника господа немного успокоились: на улицах села сделалось тихо и безлюдно, народ больше сидел по избам и еще глубже спрятался в упорное молчание... Но там, в домиках под соломенными крышами, в душах молчаливых людей, шла прежняя работа мысли, росла ненависть и истощалось терпение.

Стражник был молодой, видный, и когда он объезжал село, то чувствовал, что его побаиваются. Это льстило, и стражнику хотелось, чтобы его боялись еще больше и потому «уважали».

— Скинь шапку, когда с тобой говорят! Невежи!

Мужик снимал шапку, потому что в руках стражника была нагайка.

— Идите домой! Нечего около церкви околачиваться, не трахтер это!

— Что такое? С кем говоришь? С кем? С кем?

И, гарцуя на коне, стражник сопровождал вопросы ударами нагайки...

Ловко и крепко сидел стражник в седле, и когда он медленно ехал вдоль улицы, оглядывая ее прозорливым взором строгого начальника, бабы, посматривая на него из окон, говорили:

— Опять наш енерал куда-то поехал!..

На огородах под ветлами, около тинистого пруда, ютились мужицкие бани. Выстроенные в большинстве «по-черному», без труб, закоптелые и подслеповатые, они выпускали по субботам из низких раскрытых дверок клубы черного дыма; дым расстилался по траве и огородам, вис над прудом, полз вверх по оврагу и беспокоил господ на горе, потому что запах гари и дым теперь страшно пугал живущих там и сердил их напрасными тревогами.

Стражник объезжал огороды, ломая прясла и не щадя гряд и капусты, и вызывал этим проклятия баб.

— Нашто по грядам едешь?! Енерал!.. — отчаянно кричала баба, выглядывая из бани.

— Что такое?

— Разя тебе тут дорога, окаянный! Чтоб те лопнуть, черт!

— Это кто дозволяет произносить такие слова?..

Стражник подъезжал к бане, слезал с лошади и заглядывал в дверку:

— Ты, дура, что это ругаешься? Кого это ты?

— Уйди, охальник!

Стражник оглядывал голую бабу жадными глазами и смягчался:

— Вишь ты... какая...

— Не тронь, охальник!

Баба корчилась от стыда и вдруг начинала кричать:

— Митрий! Митрий!.. Мужики!..

Из соседней бани выглядывал мужик, встревоженный диким криком бабы.

— Разя тут тебе место? — спрашивал мужик, тряся мокрой бороденкой.

— А это видел? — отвечал стражник, показывая мужику нагайку, ловко вскакивал в седло и, покручивая красивый ус, медленно ехал дальше. Если баба мылась одна, стражник начинал шутить и привязываться, а если замечал мужика, то строго приказывал:

— Жару в печах на ночь чтобы не было! Баню заколочу!

Соколов привык в городе к «барышням в шляпках» и к нарядным горничным в корсетах, и бабы казались ему теперь существами самого низшего разряда.

— Что с ней долго разговаривать? Корова!.. — говорил он про деревенских баб и действовал с циничной простотой первобытного человека... На барском дворе, где было много женщин: кухарка, коровница, горничная, жены работников — стражник чувствовал себя, как чувствует петух, окруженный многочисленными курицами... Весельчак с замашками городского донжуана, мастер играть на балалайке, здоровый и красивый самец в ореоле власти и могущества — Соколов не знал на барском дворе соперников. Но там ему было тесно, и решетка барского двора не могла ограничить его ненасытной похоти здорового животного... На всякую красивую бабу и девку, которая попадалась ему под горой, он смотрел с высоты своей власти и полагал, что стоит только захотеть — и больших препятствий не встретится... По субботам объезд мужицких бань, а по праздникам — объезд барского леса сделались его любимыми развлечениями. Время было грибное; после продолжительных дождей из сырой земли, покрытой прелыми листьями, вылезали боровики, подберезовики, грузди и рыжики. Бабы, девки и ребятишки с кузовами чуть свет тянулись к лесу партиями, как перелетные утки... В лесу они разбредались, аукались и пропадали в зеленых сумерках старого угрюмого леса, мелькая кумачом и пестрядиной...

— Сегодня на охоту за утками! — потягиваясь, говорил Соколов. — Барин на озеро, а я — в лес...

Тихо, чуть перебирая ногами, шла лошадь по узкой лесной дороге под нависшими лапами сосен. Соколов мурлыкал песенку, покачивался в седле и посматривал по сторонам.

Колесили тропинки, убегая с дороги в чащу леса, и

манили туда, где молодой женский голос кричал: «Ау!..» Если голос был одинок и никто не отвечал на призывы — Соколов свертывал на тропинку.

— Катька-а-а!..

Лес глухо шумел вершинами, и глубокая тайна была в его сумерках... Кругом — ни души; даже птицы чуждаются лесных сумерек, даже небо не видит хорошенько, что там, в глубине, в чаще, в хаосе переплетающихся ветвей, прутьев, желтеющих и краснеющих осиновых и дубовых порослей, где прячутся ящерицы и змеи...

Баба, углубленная в поиски грибов, отбивалась от стаи и, жадная, ползала по грибному месту, ничего не видя и не слыша...

— Ты что тут делаешь? — строго и внезапно, словно из земли, раздавался чей-то голос.

Баба обмирала со страха и сразу чувствовала себя виноватой... Если попадалась особенно пугливая, то стоило только постращать хорошенько, чтобы она потеряла от страха всякую сообразительность и волю и начала просить прощения...

— Нагайкой надо!.. Стрелять вас, дур, следует... из левольвера!

А как только баба испугалась настолько, что начинала в чем-то просить прощения, тут уж ничего не стоило поступить с ней, как с коровой...

— Черт с тобой, ищи грибы!.. Тебе разрешаю... и в господском...

Стыдно было бабе рассказывать про встречу со стражником в лесу: засмеют, а узнает муж — изобьет ее же, как собаку; лучше уж помолчать... «Не стало море погано, коли собака полакала... Тьфу! Чтоб те сдохнуть, окаянный!..»

А лес глухо шумел, и глубокая тайна была в его зеленых сумерках...

Стражник присматривал за некоторыми избами с особенным вниманием: он имел уже кое-какие сведения о зловредных мужиках от господ, от отца Григория, от Парамона Игнатьича и других «порядочных жителей», как он называл мельника, братьев Обручкиных... Изба дедушки Ильи и его сына Пахома была в числе самых вредных... Была и еще причина, по которой эта изба очутилась под особым надзором стражника: в семье имелась красивая баба, солдатка Лукерья.

Муж Лукерьи, младший сын дедушки Ильи, Иван, не вернулся с войны, и никто не знал, жив он или помер. За все время было от него одно письмо с дороги, и с тех пор — ни слуху ни духу. Посылали три письма — никакого ответа... Целый год Лукерья плакала по Ване, а теперь перестала и только жалобно говорила:

— Что я теперь? Ни вдова, ни мужняя жена, ни стара девка...

Тосковала, а жизнь брала свое: снились грешные сны, молодое лицо играло красками, а карие глаза то делались бархатными, то искрились и смеялись радостью молодости, силы и здоровья... Как-то Лукерья, встретившись на огородах со стражником, заговорила с ним, как бы узнать что-нибудь про мужа.

— Пропал, и нет... не знай теперь, за упокой, не знай — за здравие поминать...

Стражник оглядел молодуху... «Крепкая, как огурец, сладкая, как репа с грядки!»

— Сейчас некогда. Зайди вечером на фатеру ко мне: надо прошение написать, — ответил стражник.

— Уваж уж! Я за тебя богу буду молиться...

— Надо тебя уважить... Зайди! — ласково говорил Соколов и посмотрел на высокую грудь, которая упруго шевелилась под прямой ситцевой кофтой.

Никому не сказала Лукерья, что пойдет на барский двор: боялась, что не пустят; свекор заругает, а Пахом... Что ей Пахом, а вот боится Пахома! Пахом и говорить-то со стражником не велит... А как не сходить? По крайности про Ваню можно узнать... Ушла под вечер, никому не сказала... Обошла усадьбу, вошла на барский двор задами и остановилась около флигеля... Упало у Лукерьи сердце... Идти или нет?.. Залаяла вдруг собака... Лукерья хотела уйти, но на черное крыльцо флигеля вышел человек в рубашке, заправленной в брюки, и строго спросил:

— Что за человек?

— Я это... Лукерья!.. Наказывали зайти...

— Эге!

— Может, не время тебе? В другой раз? — спросила Лукерья, пугливо поглядывая по сторонам.

— Надо уважить... Иди, бабочка!.. Ну!

Опустив голову, Лукерья прошла в сени. Здесь было темно, и рука не находила скобку дверей.

— Темень-то какая, — прошептал урядник и, отыскивая дверь, нечаянно нашел грудь Лукерьи...

Та отодвинулась и испугалась.

— Загородила я, дура, дорогу-то! — виновато проговорила она, потянув носом.

Вошли в комнату... На столе — бутылка с водкой, огурцы, кусок барского пирога, шашечная доска... На стенке — шашка, ружье. На кровати — балалайка. Пахнет табаком и сапогами.

— Присядь!

Стражник взял с подоконника пузырек с чернилами, ручку и бумагу, поплотнее прикрыл на окне занавесочку... «Надо уважить! Нельзя не уважить!»

— А ты садись!

— Ничего, постою... Ты скорей, а то я ушла не сказамшись!..

Стражник легонько и ласково подтолкнул Лукерью в плечо и посадил на стул, рядом. Стал спрашивать, как зовут, много ли лет, какого вероисповедания...

— Замужем?

Лукерья ухмыльнулась:

— А то как же? За мужа хлопочу, знашь ведь... пиши — солдатка...

Вспомнила своего Ваню и, опустив голову, стала утирать концом кофты глаза.

— Чего реветь? Мало их, мужиков? И на твою долю хватит...

Совсем расстроилась. Стражник положил ей на плечо руку:

— Будет!.. Не плачь!..

— А ты пиши, что ли...

— Напишем...

Потухла вдруг лампа, на столе зазвенела упавшая рюмка, с шумом опрокинулся на пол стул...

— Оставь! Ваше благородие! Что уж это? К чему?..

Лукерья была сильная и упорно отбивалась. Но Соколов разжегся. И они боролись впотьмах, пока за стеной не прозвучал голос маленькой кругленькой Манечки:

— Что там такое?

Стражник прикусил язык и опустил руки; Лукерья скользнула из двери в сени... Пока она искала впотьмах выхода, мелькнул свет, и опять сильные мужские руки больно схватили ее...

— Услышат... потом... опосля... нехорошо...

Чтобы отвязаться от стражника, Лукерья пообещала ему пойти завтра в лес за грибами.

— Не обманешь?

— Нашто? Сказала — приду...

— Ну, смотри!

Вырвалась и опрометью кинулась вон с барского двора... Прибежала домой не своя...

— Что ты? Где была?..

— На огород ходила за огурцами, да испугалась что-то...

Ничего не скроешь: видели, как Лукерья бежала с барского двора. Дошло до дедушки Ильи, до Пахома.

— Нашто ходила?

Пришлось сознаться. Дедушка ругал. Молчаливый Пахом рассвирепел; стражника он считал первым врагом после господ, и его сердце вскипело от обиды... а может быть, тут примешивалась еще и ревность: вдовый Пахом втайне тяготел к красивой невестке, и нередко в темные ночи дыхание спавшей Лукерьи пробуждало в нем «нехорошие мысли»... Но всякий раз в тишине и темноте ночной перед ним вставал вдруг образ пропавшего на войне брата Ивана, и грех отлетал, оставляя тоску по разнесчастном Ване... Пахом узнал, что стражник «играл» с Лукерьей. Как узнал?

Может быть, свои грешные мысли натолкнули его на это, а может быть, и правда, — что сказал он Лукерье в сенях после того, как дедушка Илья побранил ее:

— Во сне Иван мне сказывал, что ты целовалась с... ним, — сквозь зубы прошептал тогда Пахом, сверкнув белками глаз в темноте.

— Я непричинна... Нешто я за этим ходила?

— Значит, правда?

Пахом развернулся и ударил невестку по лицу...

А ночью он потихоньку плакал на полатях и, глотая соленые слезы, шептал:

— Эх, Ваня, Ваня!..

«Надула, стерва, не пришла в лес.. Ну, погоди же!» Стражник сдружился с мельником. Несмотря на сорок лет, мельник выглядел молодцом и любил тоже «побаловаться». В этом они сходились со стражником и теперь сделались большими приятелями. С женой мельник жил хорошо, в согласии, называл ее «супружницей» и отдавал ей долж-

ное в любви и уважении, но это не мешало ему, как он говорил, не давать спуску бабам и девкам, потому что:

— Все одно: не я — так другой!..

Иногда они сходились на плотине, около выброшенного отработанного жернова, и под шум сбегавшей по шлюзу воды разговаривали о своих похождениях по бабьей части.

— А вот как случилось: привезет баба мешок ржи смолоть... Угощу наливочкой, даром пообещаю...

— И смелешь?

Стражник поделился с ним своей досадой на неудачу с Лукерьей:

— Вот баба! Кажется, помереть можно... Надула, стерва!..

— С этой ничего не выйдет: сказывают, там Пахом заместо брата наладил дело-то...

— Я добьюсь!..

— Пахом тебе ноги переломает...

— Некого мне бояться... Что сделают? Вот она! — сказал стражник и постукал нагайкой по голенищу сапога.

Стражник стал добиваться. Неподатливость Лукерьи делала его упрямым, сердила и все больше приковывала его мысли к красивой бабе. Иногда он встречал ее на улице, на огородах, с бельем около пруда и всегда донимал своим ухаживанием.

— Ничего тебе не будет... Напрасно стараешься, — говорила Лукерья, с усердием колотя вальком мокрое белье, и даже стращала: — Скажу нашим мужикам, они тебя поцелуют.

— Пахом твой, что ли? Твоего Пахома в тюрьму следует: мужиков мутит... Дождется!

Часто по ночам урядник лежал, закинув ноги на спину кровати, думал о неудаче и строил планы, как добиться. Вырастала в нем злоба на Пахома, и казалось, что Пахом — главная помеха...

Два раза он делал обыск в избе дедушки Ильи и Пахома — ничего не нашел.

Пахом ругался:

— Ты бы поменьше за бабами гонялся, может быть, и нашел бы что-нибудь!..

— Кому говоришь?

— Тебе! Ежели будешь наших баб и девок донимать, мы тебе башку свернем!

Стал ходить стражник по ночам и заглядывать в окошко к Пахому. Однажды он увидел в избе незнакомого человека: сидят у стола с лампой, читают что-то и размахивают руками... Тихо вошел он во двор, на цыпочках поднялся на крылечко и растворил дверь в избу:

— Что за человек?

— Крестьянин!

— А почему одежа городская?..

— А тебе какое дело?..

— Забирать этаких приказано...

— Наш это! Здешний! — пояснил дедушка Илья. — С завода он... племянник он мой!..

— Это меня не касается... Отдай газету! — прикрикнул стражник на племянника.

— Не отдам. За нее деньги заплачены... Не имеете никакого права!..

— Отдай, Егор!.. — ласково сказал дедушка Илья, но племянник не желал отдавать.

— Прочитаю, а потом пусть попросит... Может, и дам!..

— От вас житья нет!.. Ни мужикам, ни бабам... — прозвучал голос Лукерьи с печки.

— Кто там лежит?

— Не лезь к бабе! — крикнул Пахом, заметив желание стражника осмотреть печку.

— Желаю обыск произвести, и ты не можешь препятствовать!.. — закричал стражник и оттолкнул Пахома. Кровь бросилась Пахому в голову, и, развернувшись, он со всего размаха ударил стражника по лицу и неистово закричал:

— Разбойники! Что вы делаете?! Когда конец будет?!

И не мог остановить себя вспыльчивый Пахом, несмотря на просьбы отца и баб. Они сцепились, как звери, стараясь повалить друг друга на пол; было слышно, как тяжело они дышали и как скрипели у них крепкие зубы и хрустели пальцы.

— Бросьте! Бросьте!

Стражник выхватил револьвер, но Пахом крепко держал его руку с револьвером и, нанося удары противнику, хрипел:

— Стрелять хочешь! Убить хочешь!.. Разбойники!

Бабы заголосили и, боясь смертоубийства, выбежали за ворота и стали кричать о помощи.

Стражник вырвался, выскочил во двор и, увидав сбегавшихся на крик людей, испугался и выстрелил, чтобы попугать мужиков...

— Что ты делаешь?!

И вдруг в темноте ночи раздался отчаянный вопль женщины: «Убил-и!..» Народ погнался за стражником, а тот бежал и, чувствуя настигающую погоню, останавливал ее новым выстрелом в темноту. Проснулась улица, забегали по ней темные тени, и зазвучали тревожные перекликающиеся голоса:

— Убил!

— Дарью пристрелили!..

Около избы, где жила Дарья, жена Лаврентия, толпился народ; другая кучка сбилась около избы дедушки Ильи, — и обе толпы росли, шумели и скоро сомкнулись в одну шумную, негодующую... Кое-где по окнам засветились огни... Возвратились, тяжело дыша, гнавшиеся за стражником: хрипло, задыхаясь, кричали что-то и вливали новую злобу и возмущение в мужиков. Пришел староста. Подошел перепуганный Парамон Игнатьич в ватном тулупчике, в цветных панталонах и резиновых калошах на босую ногу:

— Что такое?

— Стражник бабу пристрелил!

Со всех сторон объясняли, ругались и кричали на разные лады; рассказывали, как все это вышло, и трудно было разобраться во всем испуганному Парамону Игнатьичу... Одно он знал хорошо: Пахом — мужик вредный... «Что-нибудь не так», — думал он...

— Поучить надо!

— Житья от него нет!.. — кричали злые голоса со всех сторон.

А на горе светились огни, суетились люди. Господа узнали, что мужики под горой бунтуют, напали на стражника, что, быть может, они скоро явятся в усадьбу... «Звери!..» На горе наскоро впрягали лошадей; господа, объятые ужасом от страшного призрака смерти, которая подползала из-под горы, под покровом ночи, торопливо одевались, бегая по комнатам со свечами...

С горы поскакали: верховой на почтовую станцию с телеграммами губернатору и исправнику о начавшихся аграрных беспорядках и стражник, избитый, с синяками на лице, — к становому, чтобы сделать личный доклад...

В полночь господа покинули усадьбу.

Впереди ехал верхом Мазепа с охотничьим ружьем, далее тарантас парой, без колокольчиков, в котором сидела барыня с детьми, а позади, на бегунках, барин с револьвером.

Страшно было выезжать: из-под горы все еще доносился угрожающий шум мужиков; в некоторых избах светился огонь, и все чудилось, что по кустам, около оврага, сидят и ждут мятежники... Мазепа проскакал галопом вдоль оврага и вернулся:

— Тихо!.. Проедем...

Перекрестились и двинулись. Крики из-под горы долетали до ушей Зинаиды Николаевны, и ей все чудилось, что кто-то их догоняет.

— Я чувствую, чувствую... Гони лошадей!..

Около Орловки повстречали пару с колокольчиками и верхового. В темноте трудно было узнать, кто едет, и, только поравнявшись, догадались: становой со стражником поняли, что это бегут из имения Нарыковы, а Нарыковы — что это едет становой туда, к ним, спасать усадьбу и прекращать мятеж...

— Началось! — крикнул Нарыков и потряс фуражкой с красным околышем.

— Будьте спокойны! — ответил знакомый голос, и они пропали друг для друга в темноте.

Зинаида Николаевна оглядывалась и смотрела вслед удалявшимся колокольчикам, и на душе у ней становилось спокойнее... «Он очень энергичный!» — думала она с благодарностью о становом. «Он им задаст!..» Мазепа проводил господ до Орловки и стал прощаться: он догонит станового, и будет безопаснее ехать домой...

— Мама! А нам теперь уж нечего бояться? — спросил один из мальчиков.

— Спи! Спи!

Зинаида Николаевна удивилась: она думала, что и Паня и Петя спят; любовно похлопала она рукой старшего сына, прикрыла шалью спящего Петю, и ей стало так хорошо-хорошо, как наседке, когда все ее цыплята в безопасности, под распущенными крыльями... И слезы умиления выступили на ее глазах...

— Ну, дай вам бог сохранить дом... и все!.. А главное — себя берегите! — сказала она Мазепе, который, подъехав

к тарантасу, пожелал «всяческого благополучия» и поцеловал у ней руку.

— В столовой на окне — бутыль с наливкой! Распоряжайтесь! Можно заколоть индейку! — крикнула она в темноту.

Отвязали колокольчики, и всякий страх пропал. Только мысли все еще бежали назад: барин думал о том, что в случае поджога с «Саламандры» ничего не получишь; он был серьезен и больно подхлестывал лошадь ременными вожжами; барыня думала о том, что мужики отнимут имение, пропадет большой сад, где она когда-то гуляла с мамой, и не будет близко маминой могилы... «А дети?.. Бедные мальчики: они останутся нищими...»

— У-гу-гу-гу! — глухо мычал Михайло на козлах, помогая лошадям взбираться на крутую глинистую гору.

— Слезь! Видишь?! — сердито прозвучал голос барина в темноте.

Михайло слез и пошел рядом с тарантасом. Михайло был угрюм, несловоохотлив и старался не смотреть на господ... Бог знает, о чем думал Михайло, увозя господ из усадьбы... Тарантас медленно вползал на гору, а Михайло что-то бурчал себе в бороду...

На рассвете становой, стражник и Мазепа подъехали к усадьбе. Было сыро, холодно, и под горой над прудом и огородами колыхалась серая мгла. У ворот стоял работник Гаврила в дырявом овчинном тулупе и Гектор. Гаврила оправился и, заметив в тарантасе светлые пуговицы, снял шапку, а Гектор хрипло залаял.

— Цыц! — крикнул Гаврила, пихнув ногою Гектора, и тот заскулил, поняв свою нетактичность.

— Благополучно? — спросил стражник, соскакивая с седла.

— Слава богу! Приходили вас требовать, погалдели да разошлись...

— Меня?.. Кто приходил?

— А кто их знат! Темно было... — уклончиво ответил Гаврила, отворяя ворота.

В доме и во флигеле тускло засветились на рассвете окна. На дворе забегали бабы, булькали колокольчики и бубенцы, и фыркали выпрягаемые лошади. Становой вышел на черное крыльцо и, сурово крикнув: «Послать за

старостой!» — скрылся... Гаврила нехотя, с ворчанием, пошел под гору за старостой. Мазепа ходил из флигеля в дом и обратно. Не спавшая всю ночь маленькая кругленькая Манечка, с тоской и тревогою поджидавшая мужа, теперь успокоилась и, сидя у окна в одной рубашке с кружевцами, приподнимала занавесочку и выглядывала на двор: что там делается?..

Приехал становой, с которым они однажды играли в преферанс... видный и красивый из себя, все время смешивший публику веселыми и немного нескромными анекдотами... От хохота тогда у Манечки разболелся живот...

Пришел из-под горы староста, озабоченный, недовольный. Он топтался около тарантаса, вполголоса разговаривал с Гаврилой, потом шел к крыльцу, охал и причмокивал губами. Всякий раз, когда где-то хлопала дверь, он снимал шапку и выпрямлялся, поправляя на груди медный кружок с выбитыми словами: «сел. стар.». Всякий раз он предполагал станового, но, увидя свою ошибку, медленно надевал шапку и нетерпеливо шептал:

— Эка оказия-то!..

Из людской Агашка пронесла кипящий самовар, потом прошел из своей «фатеры» в дом стражник.

— Что вы, сукины дети, делаете? А? — спросил он, проходя мимо старосты, и показал пальцем на свое лицо в синяках и ссадинах.

— Видишь это? Мы вам, сукиным детям...

Не договорил и скрылся в сенях...

Становой был сердит. Он устал, не выспался и чувствовал себя изломанным: всю дорогу спина его колотилась о твердый край тарантаса и голова моталась из стороны в сторону... Раньше жилось спокойно, а теперь — каторга: каждый день разъезды, и кажется, что всю жизнь сидишь в тарантасе, слушаешь колокольчики, бьешься спиной о тарантас и мотаешь головой. Дороги скверные, с выбоинами, оврагами, лужами... Мерзавцы мужики совсем не заботятся о дорогах, слава богу, если сделаешь шесть-семь верст в час, и то если тыкаешь поминутно ямщика... А исправник делает выговоры за медленность... Черт бы их всех взял со службой! Если бы не семья, давно бы бросил эту собачью карьеру!.. А главное — три недели тому назад поручился перед исправником за полное спокойствие в своем стане.

Вошел стражник с синяками на лице:

— Староста явился, ваше благородие!

Становой взглянул на стражника и строго сказал:

— Какой же ты стражник, если позволяешь мужикам бить тебя по морде?

Стражник виновато пожал плечом.

— Какое уважение может питать к тебе население, если ты ходишь в синяках?

— Защищался, ваше благородие, но что сделаешь: их много, а я — один...

— А зачем тебе дан револьвер? Шашка? Капусту рубить?..

— Постараюсь, ваше благородие, — прошептал стражник, поправил на боку шашку и подал рапорт с подробным описанием вооруженного нападения. «Обнаружив в избе Ильи Семенова Шалаго неизвестного подстрекателя, я сего числа ночью явился для заарестования мятежника, который оказал сопротивление при участии крестьянина Пахома Ильина Шалаго, православного вероисповедания, совместно с солдаткой Лукерьей Ивановой Шалой, причем все трое совместным поведением старались меня лишить жизни. В самозащитительстве я произвел выстрел, на каковой сбежались сообщники названных лиц с явным намерением не допустить меня до ареста и обыска и с криками долой самодержавие и другими противоправительственными словами, после чего я стал стрелять при виде разных тупых орудий и нанес поранение женщине, коя угрожала мне ударом лома железного по голове при исполнении служебных обязанностей». В конце рапорта стражник называл имена некоторых мужиков, которых он заметил в толпе, и добавлял: «Все вышеуказанные крестьяне мне лично известны как самые вредные для жителей и укрывателей жидов и студентов, что могут подтвердить лавочник Парамон Игнатьич Щегольков, мельник Фома Васильев Уздечкин и Парфен Кривошеев».

Становой прочитал рапорт.

— Где же жиды и студенты? Пойманы?

— Никак нет. Слыхал я, а поймать не доводилось.

— Зачем же ты сюда прислан?

— Разве их поймаешь...

Становой помолчал и спросил стражника о фельдшере, служащем в Подгорном на пункте.

— Он жид, ваше благородие, действительно... Мужикам газеты дает, — у меня есть свидетели. Когда я поранил неизвестную женщину, ее повезли к этому жиду и грозили

засвидетельствовать, и меня — под суд... Он их, действительно, мутит, как мною замечено из разговоров...

Становой спрашивал и писал карандашом. Потом он велел привести старосту.

— Ну-ка, поди к становому! — с угрозою в голосе сказал стражник старосте.

— Мы пойдем!.. Тоже, брат, нельзя...

Как только становой увидел старосту с бляхой на груди и с деловым видом в фигуре и глазах, — гнев охватил его, как пламя сухую стружку... Черт знает, что творится, а он, староста, смотрит нахально, словно ничего не случилось! А рядом — стражник с синяками на лице...

— Что у тебя тут? — крикнул становой.

— Обчество, ваше благородие, просит убрать ейнаго стражника, потому он...

Становой не дал ему кончить: вместо виноватого и покорного тона раскаявшегося преступника, староста заговорил дерзким требованием! Избили должностное лицо, выгнали из имения помещиков и еще...

— Это что такое? — закричал становой, показав пальцем на лицо стражника, и не успел староста понять вопроса, как покачнулся от сильной пощечины.

— За что? Ваше...

Лучше бы не спрашивать: это «за что?» еще больше взбесило станового... Не понимает, за что!.. Прикидывается ягненком!.. Староста пятился к дверям, а становой тяжелой рукою с перстнем-печаткой на пальце, бил его по лицу, по голове, по ушам, по чему попало...

— Задержать! — тяжело отдуваясь от нервного потрясения, прошептал становой и почувствовал боль в сердце и дрожание в ногах... С ними, мерзавцами, когда-нибудь удар хватит!..

Стражник на цыпочках вышел в сени, где староста вытирал полою кафтана кровь, льющуюся из носа и зубов, и, ударив его по голове, приказал:

— Иди за мной!..

Староста шел за стражником через двор; тот оглядывался, показывал на свое лицо в синяках и злорадно спрашивал:

— Будешь помнить?.. Ссукины дети!..

Становой почувствовал слабость и прилег на диване. Тихо, на цыпочках, вошел стражник и робко заглянул в кабинет... Никого. Становой, должно быть, вздыхает там

где-то и отдувается... Стражник тихо, на цыпочках же, вышел из комнат. Аришка несла из флигеля присланные маленькой кругленькой Манечкой к чаю ржаные сдобные лепешки, которыми она пожелала угостить станового.

— Тихо! Не в себе они! — предупредил стражник, но Аришка не поняла.

— Корова! Не топай сапожищами-то! Говорю, не в себе они!..

— Не заигрывай — муж дома! — ответила Аришка и подмигнула стражнику.

Прискакал верхом урядник с испуганным лицом.

— Становой здесь уж?..

— Давно.

Урядник выглядел виноватым: во-первых, он опоздал, а во-вторых — ручался становому за спокойствие в своем участке.

— Службы не знаешь! — упрекнул он стражника. — Сперва ты должен был дать знать своему ближайшему начальнику, а ты... А тоже лезете служить!..

Урядник заходил к управляющему. Сказали — спит, а между тем слышно, как разговаривает с женой... Сердится. А раньше принимал внимательно, и был даже разговор, что, когда родится наследник, потребуется кум... Лошадь плохая, а то приехал бы раньше станового... И то вся в мыле...

Урядник ходил и думал, как объяснить становому опоздание, сердился и ругал сотских, которые были вызваны им на барский двор:

— Я вам, сукиным детям, покажу!..

Только в полдень становой стал кашлять в комнатах, звонить чайной ложечкой в стакане и ходить по скрипящим половицам. «Проснулись!» — сообщил стражник на крыльце. Началось оживленное сообщение между селом и барским домом. Сотские приводили вызванных к допросу мужиков. Угрюмо глядя в землю, шли они на гору, провожаемые родственниками и детьми... Провожающие останавливались в отдалении, толпились и возбужденно обсуждали что-то... Прошли дедушка Илья, Пахом и Лукерья; их сопровождал сам урядник. Старик шел с доброй улыбкою на лице, словно на исповедь, а Пахом был мрачен и шагал крепко, словно вколачивал каждый шаг свой в землю; Лукерья, смиренная и смущенная, шла, не поднимая глаз с

дороги, и только горящие щеки выдавали ее волнение и ужас перед грядущим...

Урядник собрал всех перед парадным крыльцом и проверил, выкрикивая имена и прозвища по бумаге. Когда очередь дошла до Лукерьи, та вдруг тихо заплакала.

— Не реви! Не нам, а им надо плакать...— сердито сказал ей Пахом.

Привели Лаврентия в худых лаптях и дырявом синем армяке.

— Ты Лаврентий Сивухин?

В толпе тихо засмеялись.

— Я — Лаврентий Миколаич Бубенцов, а Сивухин — это меня... в насмешку называют...

— Твою жену поранили?

— Так точно, мою Дарью... В ногу ей... Вот здеся!.. Лаврентий приподнял армяк и хотел показать, куда попаля пуля Дарье, но урядник остановил:

— Стой смирно! Про это после...

Пришел в манишке с галстуком и в брюках навыпуск Парамон Игнатьич с мельником и батюшка, отец Григорий. Только отца Григория допустили сейчас же в барский дом, а все другие остались на дворе. Когда проходил отец Григорий — дедушка Илья поклонился ему и ласково сказал:

— Не продай Христа-то!

Мужики тихо засмеялись, а отец Григорий оглянулся и укоризненно покачал головой.

— Вам бы надлежало больше помнить бога-то и покоряться властям! — сказал он и, сокрушенно вздохнув и подобрав полы черной рясы, стал подниматься на крыльцо.

Здесь стоял избитый стражник. Он склонил голову, сделал руку горсточкой и поцеловал благословившую его мягкую руку... Мужики опять засмеялись...

— Над чем смеетесь? — спросил Парамон Игнатьич и плюнул от возмущения. — Ни бога, ни черта... Люди называются...

Парамон Игнатьич с мельником держались в сторонке, не смешивались со всеми прочими.

Первым становой допросил отца Григория. Обменявшись приветствиями, становой спросил, как поживает батюшка, как здорова матушка, а потом попросил батюшку

присесть к столу, взял карандаш в руку и очень мягко, деликатно, почти просительно, сказал:

— Скажите, отец Григорий, все, что вы знаете по этому делу!..

— Положительно ничего не могу сказать...

— Ну, что-нибудь!.. Вы были дома, когда произошло все это... Не видели, так слышали...

— Мы спали и проснулись, когда раздался выстрел как бы из пушки... — начал эпическим тоном отец Григорий.

— Позвольте, батюшка, в котором приблизительно часу это было?

— Положительно не могу сказать!.. Ложимся мы в десятом, а долго ли спали до выстрела, не скажу...

— Часов в одиннадцать?..

— Должно быть...

— Ну-с?

— Выстрелил как бы из пушки... Что сие могло бы означать? — подумал я и вознамерился выйти и поглядеть... Но попадья в большом смятении духа воспрепятствовала мне в этом намерении. А тут вскоре еще выстрелы!.. Только поутру узнали все это грустное явление нашей жизни... Больше мне ничего не известно! Кто стрелял, с какою целию, — положительно не могу сказать! Положительно!..

— Вы, батюшка, не скрывайте... Этого нельзя. Божие, как говорится, богу, а кесарево — кесарю!..

Становой начал спрашивать отца Григория про агитаторов, про слухи и толки среди крестьян, про отдельных мужиков. Когда дело дошло до дедушки Ильи, батюшка сказал:

— Сей старик неоднократно спрашивал меня, скоро ли отнимутся от господ-помещиков земли, и задавал многие непристойные вопросы, изобличая дерзновенные мысли как по отношению властей, так, к сожалению, и самого господа нашего и всего его творения.

— Не раскольник он?

— К стыду нашему, православный!..

— Сына этого старика, Пахома, знаете?

— Всеконечно пастырь обязан знать всех пасомых! Мужик сей в церкви бывает редко, когда же бывает во храме, то, как неоднократно замечалось, остается равнодушным при молении за государя императора... Не далее, как полчаса тому назад, когда проходил я в сию горницу,

в числе смеющихся над данным мною вашему служащему благословением, я заметил и отца и сына...

Становой спросил, не имеют ли эти люди сношений с революционерами и мятежниками.

— Возможно, хотя я не могу утверждать. Однако мне положительно известно, что они находились в близких отношениях с арестованными в селе Подгорном преступными братьями Королевыми... К сему могу присовокупить, что Пахом человек безнравственный и, как ходит слух, находится в преступном сожитии с женою брата своего, положившего живот в Маньчжурии за други своя... Позабыл еще присовокупить, что крестьянин Пахом имеет знакомство с фельдшером из села Подгорного... Фельдшер сей из жидов и снабжает крестьян мятежными газетами...

После допроса отец Григорий выпил стакан чая с лимоном, помолился перед образом и простился со становым.

— Передайте поклон матушке!

— Буду кланяться! Премного благодарен... Быть может, соблаговолите в свободное время к нам...

Вышел с крыльца отец Григорий, потный и взволнованный. Он боялся всякого соприкосновения с политическими делами, а тут — он это чувствовал — «есть нечто политическое»...

Когда пошел на допрос Парамон Игнатьич, Пахом вздохнул и произнес:

— Этот расскажет!..

Действительно, Парамон Игнатьич оказался самым ценным свидетелем по делу. У него в записной книжке были какие-то буквы, отметки, числа, — и по этим отметкам Парамон Игнатьич делал очень подробные сообщения о разных случаях, разговорах и слухах, которые он относил к числу противозаконных. О Пахоме он отозвался:

— По нем давно Сибирь плачет! Он шантрапу да пьяницу раза два в лесу собирал, прокламации там читали и забастовку устроить сговаривались... У них и сейчас колышки на барском поле поставлены... Они уж размежевку делали... Через него испольники барскую рожь отказались убрать... Самый зловредный!..

Становой прочитал вслух рапорт стражника и спросил, так ли было.

— Верно все!.. Стражник у нас человек хороший... Строгий, конечно, да ведь с ними как же?.. От них житья нет... Живешь тихо, мирно, а они что хотят? Который поря-

дочный, который, например, бесплатно за два раза церковную ограду масляной краской выкрасил, чтобы тот сравнялся с шантрапой и пьяницей... Спросите-ка вот Лаврентия Сивухина... Грязь, а какие он слова произносит!.. «Разделить всю землю и скотину, отставить земского начальника!..»

Когда допрос Парамону Игнатьичу кончился, он вежливенько поклонился и пошел было, но вспомнил, подошел, скрипя сапогами, к столу и тихо добавил:

— Извольте, господин становой пристав, записать: Пахом такое суждение имеет: «Барин, поп да становой — все с одной головой...» Можете нашего мельника спросить, — при нем эти слова были сказаны...

Потом допрашивали мельника, Фому Уздечкина и братьев Обручкиных. Все они после допроса молча и торжественно спускались с парадного крыльца и шли с барского двора не торопясь, с гордой осанкой непорочного человека. Первое недоразумение вызвал случай с Лаврентием Сивухиным. Лаврентий чувствовал себя главным потерпевшим, потому что стражник подстрелил его жену, Дарью. До вызова он пообещал «засудить стражника», и теперь все ожидали с страшным волнением возвращения его из барского дома. Очень скоро, неожиданно скоро, Лаврентий показался на крыльце без шапки, красный и растерянный, и, вместо того чтобы «ослобониться» и рассказать про допрос, пошел следом за стражником, хлюпая носом.

— Куды? — крикнул кто-то из удивленных.

Лаврентий развел руками и скрылся за дворовыми постройками вместе со стражником.

— Куды они его? Что за оказия!..

Мужики считали себя потерпевшими и потому до сих пор спокойно ожидали очереди, когда можно будет рассказать всю правду про охальника... Дальнейший допрос поставил их в тупик, огорошил своей неожиданностью. Вызвали дедушку Илью. Продержали очень долго. И когда он вышел на крыльцо, позади его блеснули светлые пуговицы урядника. Дедушка Илья поглядел на небо, перекрестился и, поклонившись односельчанам, произнес:

— Прощайте! Нет на земле правды!..

И дедушку Илью повели опять в ту же сторону, куда увели Лаврентия. Беспокойный ропот тихо пробежал среди мужиков.

— Это как же теперь понять, господин урядник?

— Поймешь! Не торопись!

Так же поступили с Пахомом, Лукерьей и Тимофеем Барсуком, громадным страшным мужиком с мохнатыми сросшимися бровями; против Барсука никаких улик не было, но он показался становому приставу несомненным преступником... Остальных четверых отпустили... Отпущенные очень медленно, в тихом раздумье, пошли к воротам и смешались с любопытными.

Ночь была темная. Опять дождик перешептывался с сухими желтыми листьями, с голыми ветками сирени и с ржавой водосточной трубой, и флюгер на крыше опять крутился и жалобно верещал в темноте. Из больших щелей в новых ставнях протягивались золотые полосы света и вырывали из темноты кусочки хмурой осени: лужу, вздрагивающий голый пруд, мокрую клетку изгороди, облетевшие стебли цветов на клумбе, печально трепыхавших скорчившимися листочками... Работники, Михайло и Гаврила, накрывшись кулями из-под овса, стояли на своих постах — один около ворот, другой на задах, около огорода, — и стучали в чугунные доски часто и резко, чтобы становой не подумал, что они не исполняют приказания и спят. Грустный мягкий звон металла, разносимый ветром, напоминал тревожный далекий набат, и двое десятских, приставленных караулить арестованных, прислушиваясь к этому звону, думали о зареве пожаров, которые все чаще появлялись теперь на небе... Они сидели на бревне, недалеко от амбара с арестованными, и тихо, осторожно разговаривали о том, вернутся ли господа в усадьбу и получат ли они выкуп, когда земля отойдет к крестьянам... Временами ветер доносил из запертого амбара голоса арестованных, и они обрывали разговор... Один тихо подходил к амбару и, приложивши рот к щели, шептал:

— Эй, робята? Курить кому надо?

— Ты, Степан?

— Я.

— Что слышно?

— Наказал утром две подводы: в острог, бают, вас повезут!..

— Нет на земле правды, — говорил кто-то в амбаре, и было слышно, как плачет Лукерья. Гектор бегал по двору, обнюхивал десятских и ворчал.

— Цыма, проклятый!

Гектор начинал хрипло лаять, раздавался усиленный перезвон чугунных досок, на черном крыльце флигеля появлялась фигура человека в заправленных в сапоги брюках:

— Караул на месте?

— Здесь! — отвечали сразу два голоса. И снова на дворе затихало и делалось слышно, как визжит на барском доме железный флюгер.

— Ровно плачет кто...

— Как есть махонький робенок!..

Около полуночи, когда везде погасли огни и только дождик наполнял темноту ночи своим шепотом, к изгороди подошел Михайло и резким сдавленным голосом позвал сотского Степана.

— Ровно Михайло?..

— Откуда? Чай, слышишь, в доску он бьет...

Степан огляделся вокруг, послушал и осторожно пошел к изгороди.

— Ты, Михайло?

— Я! Из-под горы пришли, поговорить зовут... Мужики прислали... Ты тут подожди: сейчас к тебе подойдут... Они там заместо меня в доску колотят...

— Собака тут бегает. Не помешала бы...

Михайло поманил Гектора, тот подлез под изгородь, и оба они пропали в темноте, шурша бурьяном. На минуту перестала звонить доска, потом запела металлом весело и сильно, словно заиграли плясовую.

— Ты, Степан? — спросила выросшая в темноте фигура человека.

— Я.

— Что у нас делается, — и-и! Обчество приказало вам ключи от амбара мне сдать!

— Нашто?

— Ослобонить жалают... Против закона посадили... Не могут этого...

Они тихо говорили и поминутно оглядывались.

— Нет ключей-то; у стражника они!

— Тихо!

Человек за изгородью присел к земле, и Степан отошел: показался свет в окне у стражника... «Не спит, проклятый!» Заскрипела дверь, и на крылечке показался огонек папиросы и стал плавать в темноте по двору.

— Кто идет? — с напускной строгостью спросил Степан.

— Стражник! — гордо ответил голос.

Подошел стражник в рубахе, заправленной в брюки, пахнуло водкой, и огонь папиросы осветил красивые темные усы.

— Благополучно?

— Так точно!

— Все в амбаре?

— Все там!

— А баба?

— И она...

Стражник походил, посвистал и вернулся:

— Становой приказал отделить бабу от мужиков... Нехорошо вместе, неприлично...

— Уж ладно, до завтрава...

— Надо ее перевести куда-нибудь... На огород, в предбаннике можно ее...

— Забоится, ваше благородие, одна-то... Дура баба: всего боится...

— Вызови и уведи!

— Можно... Нам все одно...

Стражник пошел в сад, и десятские стали шепотом советоваться:

— У него в башке пакость... Греха не вышло бы...

— Хм... Что теперь делать-то?.. Надо поговорить...

— Поди — скажи!

Степан подошел к амбару:

— Велел Лукерью в баню выселить...

— Ловкий!

— Не пойду я...

— Пущай к черту идет! — злобно выкрикнул Пахом, и все поддержали его, наполнив амбар негодующими голосами.

— Знам мы, зачем ему понадобилась Лукерья!

— Пусть сам к ней сюда придет...

— Он мне проходу не дает... Что я ему? Чай, у меня муж...

Лукерья вспомнила Ваню и заплакала...

— Не плачь! Никуда не пустим... Разбойники! Пра, разбойники!..

Степан сообщил в щель, что из-под горы приходили за ключами, — «ослобонить хотят».



— Тихо!

Стражник вышел из сада.

— Бабу перевел?

— Никак нет.

— Почему?

— Народ ее не выпущает...

— Сукины дети! — проворчал стражник и тихо побрел в людскую к Агашке. Но Агашки на месте не было: она ушла в барский дом прибрать на столе посуду и с тех пор не возвращалась...

И в доме, и во флигеле спали. Всех спокойнее спала маленькая кругленькая Манечка. Сознание, что все кончилось благополучно и что тут же, недалеко, — становой, прогоняло прочь все страхи, и Манечке чувствовалось так уютно в большой постели с седым Мазепой. Давно уже она не спала так вкусно и безмятежно, словно маленькая девочка в кроватке за решеткой.

На рассвете, когда над прудом клубился густой туман и барский дом, как мираж, поднимался в полумраке, молчаливый и угрюмый, когда все притаилось и молчало, словно околдованное чарами долгой ночи, и даже настойчивый дождик перестал шептаться с садом, — из-под горы потянулись странные призраки людей, едва рисующиеся в

сером мглистом тумане... Часть этих призраков двигалась прямо к воротам барского дома, а часть исчезала по дороге, убегавшей за усадьбу... И вдруг тишину серого утра пронизал резкий свист...

С гиком, криками и свистом закружились люди на барском дворе, и двери сарая затрещали под тяжелыми ударами топоров... В каком-то исступлении люди кричали хриплыми голосами, и этот крик разбудил и наполнил ужасом всех, которые спали...

Становой сел в кровати, прислушался и вдруг соскочил с постели, выхватил из-под подушки револьвер и начал бегать по комнатам... Тяжело отдуваясь, он топал босыми ногами по полу, приостанавливался и опять метался, словно за ним гнались. Ужас близкой смерти охватил этого жестокого, властного человека, и вдруг он сделался кротким, ничтожным и смешным...

— Вот... Господи!.. Вот!.. Вот!.. — шептал он и плакал, как маленький мальчик, потерявший на улице свою мать. В спальне Зинаиды Николаевны за большим гардеробом, оставшимся после бабушки, он присел на корточки и стал хныкать, продолжая держать в руках револьвер.

Манечка спала так крепко, что ее пришлось разбудить.

— Началось! — тревожно говорил Мазепа, наскоро натягивая сапоги. — Маня, началось!..

Манечка не сразу поняла, что началось, но когда увидела, что муж снимает со стены охотничью двустволку, соскочила с кровати и обвила волосатые ноги Мазепы своими руками:

— Не пущу!.. Не пущу!..

Одно окно из квартиры управляющего выходило в сад. Раскрыв это окно дрожащими неслушающимися руками, Мазепа опустил в сад жену и ружье, потом выбросил туда красное байковое одеяло, Манечкины чулки и один ее башмак...

— Готово! — сказал он и сам выпрыгнул в окошко.

Под горкой в саду стояла старая беседка, заваленная разной хозяйственной рухлядью.

Там, за тачками, прикрывшись одеялом, они сидели и дрожали от страха и холода, прислушиваясь к отдаленному крику и грохоту на барском дворе... Хлопнул выстрел, и ему ответил гул толпы.

— Ага! — прошептал Мазепа.

Манечка вздрогнула и прижалась к мужу.

— Что это, папочка?

— Становой открыл огонь...

Опять грохнул выстрел, опять загудели мужицкие голоса, и опять Мазепа произнес: «Ага!»

— Он молодец! — прошептала Манечка и опять прижалась к Мазепе... Она представляла себе станового в красивой позе сражающимся с мужиками... Их много, а он один, сражается, как рыцарь, поражая одного за другим... Он победит... Он был на войне, он — неустрашимый... В маленьком сердечке Манечки рождалось чувство умиления, благодарности, почти нежности к герою...

Стрелял стражник Соколов. Выскочив с револьвером в руках на крыльцо, он выстрелил в воздух. Мужики озверели и, разбежавшись по двору, начали кричать:

— Братцы! Братцы! Он опять стрелят!

— Что они разбойничают!..

— Братцы! Бери его!..

Пахом, со сверкающими белками глаз, размахивая топором, ринулся к крыльцу. Стражник выстрелил в него почти в упор и промахнулся. Пахом упал ему под ноги и сдернул его с крыльца. Над скатившимся на землю стражником поднялся топор и захрястал, впиваясь в тело и разрезая кости... Вывели освобожденных из сарая за ворота усадьбы, и гул радости понесся под гору, навстречу бежавшим сюда мужикам и бабам.

— Ура, братцы?!

— Урра-а-а!..

Они спустились с горы. Шум стихал, удалялся и пропадал в густом сыром тумане.

— Убежали? — спросила Манечка и облегченно вздохнула. Она почувствовала вдруг сильный приступ лихорадки; ее мелкие беленькие зубки стучали, и она смеялась безвольным, расслабленным смешком человека, который только что спасся от страшной опасности...

— Он храбрый... ужасно храбрый! Милый он... я его обожаю!

И Манечка больно сжимала седому Мазепе руку повыше локтя...

Всю ночь ветер гнал на восток мрачные тучи, и к утру стали появляться голубые колодцы чистых небес. Солнышко торопилось выглянуть в эти колодцы и грустно

улыбалось мокрым избам, с нахохлившимися соломенными крышами, и барскому дому, который загадочно смотрел под гору своими закрытыми наглухо ставнями окон.

Мужики смотрели на гору и видели, что там происходит что-то необычайное: люди верхом и пешие, в странных мохнатых шапках, двигались по лужайке, гарцевали над оврагом, перекликались, махали руками и копошились в сизом дыму около костров, разложенных по горному спуску.

— Что-то там неблагополучно?

— Смотри: не казаки ли это и есть, эти люди?

Ребятишки, проходя речку бродом, поднимались по горному склону и издали с изумлением и страхом рассматривали странных пришельцев; одни наблюдали на большом расстоянии, а смелые исподволь подбирались поближе к кострам, рассаживались, как птицы, по желтой траве и, как птицы же, вскакивали и разбегались при всяком крике и движении странных пришельцев, если этот крик или движение казались им подозрительными... Насмотревшись, они вприпрыжку бежали в село и, захлебываясь, рассказывали:

— Ружья стоят... На боку — сабли! Страшные!

— Мамка! Они наших гусей ловят!

Действительно, около речки скакал по лужку человек на лошади и бил, сползая с седла, разбегавшихся с тревожным гоготанием гусей и гусенят, яркими белыми пятнами сверкавших по лугу... Встревожились и вышли за околицу домовитые бабы.

— Что вы, разбойники, делаете? — кричали они тонкими звонкими голосами и манили гусей: «Тега! тега! тега!..» Грунька, смелая, отчаянная девка, побежала к речке и стала гнать свое стадо домой, оглашая воздух визгливыми, истеричными ругательствами... Человек на лошади пронзительно засвистел, припал к седлу, вихрем понесся по лугу и на лету огрел Груньку нагайкой... Грунька завыла от боли и, сверкая голыми ногами, помчалась к околице, а с горы доносился хохот и крики:

— Держи ее!.. Держи!..

Под горой встревожились... Кучками сбивались там и сям, на перекрестках улиц, мужики и шумно обсуждали, как теперь быть... Не особенно беспокоило их то, что они разбили амбар и освободили арестованных, а вот страж-

ника убили... «Это, пожалуй, того... как бы плохо не было...»

— Как это неповинных людей запирать в господский амбар? Не крепостное время...

— А они хотят все по-старому!..

— Стражника надо было запереть, чтобы не разбойничал... Тогда бы и ему лучше: жив бы остался...

— А становой на нас же все оборотил!..

— Пес бы с ним, не стоило бы топора об его башку марать!.. Кто это его?..

Молчали, потупясь в землю.

— Кто знат!.. Темно еще было...

— А не убей его, проклятого, может, он еще бы пятерых наших убил? Раз человек охальничает, в живого человека палит из пистолета, — что с ним сделаешь?..

— Это верно... Никакой на него управы... Как царь: что захотел, то и сделал!..

— Вот что: раз дело вышло, нечего толковать! Все одно: как он лежит на барском дворе, так и останется, — не встанет... Теперь надо крепче друг за дружку держаться, чтобы друг на дружку не наговаривать!..

— Знать ничего не знаем — больше никакого разговору!..

К полдню, на тройке с колокольчиками и бубенчиками, в сопровождении трех стражников, приехал исправник и остановился тоже в барском доме. Суматоха на горе увеличилась еще больше.

— Сам приехал... Исправник...

— Ему надо обжаловать... Упредить надо станового, чтобы исправник не поверил ему, а как следует сам бы все дело разобрал!

— По совести! По закону!.. Разбери, а тогда и сажай!.. А зря разя хорошо?..

Подбегали бабы и с визгом и плачем жаловались и требовали заступиться за гусей. Отчаянная девка Грунька, обнажив окровавленную нагайкой ногу, кричала, поднимая юбку:

— Глядите! Что же это? Что я сделала?.. За что окровянили?..

— А ты помолчи покуда!.. Не до тебя...

Погалдели, поспорили и выбрали двух мужиков, трезвых и толковых — Петра Огородникова и Павла Бирюкова, чтобы «упредить» станового и «обжаловать»...

Только Пахом отрицал переговоры с господами.

— Какой с ними разговор? Вот он, разговор какой! — хмуро повторял он, сжимая кулак.

— Надо попытать!.. Пущай идут!..

— Идите с богом!..

Жены Петра и Павла причитали по мужьям, как по покойникам, да и сами выборные были смущены.

— Получим в рыло — и больше ничего! — грустно шутил Павел.

— Ладно, если еще в рыло! — поддакивал Петр.

— Что вам сделают? Чай, вы ни в чем не причинны! На гору не ходили! — урезонивали их выборщики.

— Так-то оно так, да ведь... кто их знат? Они ведь не разбирают... Им неколь!..

Солнышко окончательно вырвалось из туч и обрызгало золотым веселым светом мокрую скучную землю... На горе заиграл рожок; казаки сбились вместе, сняли мохнатые шапки и запели хором «Царю небесный»... Мужики потянулись на сход к церкви. Староста согнал сюда всех домохозяев, всех избитых и оскорбленных в разное время стражником, чтобы составить какой-то приговор и передать его исправнику прямо в руки. Когда сход был в сборе и шумел, как улей, вдоль улицы на двух тройках промчались жандармы: на второй тройке, между двумя жандармами, сидел худой, тщедушный фельдшер села Подгорного.

— Жида арестовали! — высунувшись из окна, радостно кричал кому-то Парамон Игнатьич.

На передней тройке привстал офицер, что-то прокричал мужикам и погрозил пальцем. Тройки пронеслись вдоль улицы, миновали мягкую насыпь плотины, простучали колесами по деревянному трясущемуся мосту и лихо взлетели на гору к барскому дому.

— Все едут и едут!

— Идут и едут, ползут и лезут! — хмуро пошутил Пахом и развеселил весь сход.

— Сюда едут!.. Сюда! — звонко закричали ребятишки и запрыгали на месте не то от страха, не то от удовольствия.

Мужики замолчали: взоры всех устремились на гору, откуда медленно, упираясь передними ногами, спускались две лошади с всадниками в мохнатых шапках.

— Сюда и есть!..

Бабы испугались: одни побежали к своим избам, другие стали прятаться в глубину схода.

— Чего испугались, дуры?!

— Скачут!

Толпа зашевелилась, закашляла, стала топтаться и тихо гуторить.

— Стойте, вы! Чего испугались? Сколь их, а сколь нас?

Казаки подскакали, разом осадили лошадей и закричали:

— Ежели кто выстрелит либо лошадь ушибет, — рубить станем!..

— Палкой, что ли, в тебя выстрелишь? — спросил Лаврентий, и все захохотали.

Один из казаков подъехал поближе и громко сообщил, что исправник приказал всем, которые ночью из амбара убежали, немедленно явиться к нему.

— Сперва пусть выборные воротятся! — ответило несколько голосов сразу.

— Который у вас староста? — спросил казак.

— Нет его! — ответил сам староста. — Вчера его становой избил, — захворал он!..

Мужики опять весело засмеялись.

— Помер он! — кричали они.

— На́што наших гусей воруете? Жулики! — пропищал бабий голос.

Казак ткнул лошадь шпорой, — та взвилась на дыбы и заржала. Мужики, у которых были в руках палки и жерди, вышли на всякий случай в передние ряды.

— Куда прешь? Али слепой? На людей норовишь!..

— Расходитесь! — прикрикнул казак и помахал нагайкой.

— Вы вот что: куражиться вам нечего! Собрались, значит — дело есть... А нагайкой не махай: царь не дозволил касаться!..

Казаки съехались рядом. Резвые лошади, бодрясь, красиво перебирали ногами, подплясывали на месте и задирали головы, сверкая белками глаз и показывая белые зубы.

— В соху бы их! Не стали бы плясать-то! — шутили мужики и смеялись, беспечно любуясь всадниками в мохнатых шапках. Смех ободрял мужиков, и они переставали бояться казаков, о которых слышали много страшного.

— Им ведь тоже зря нельзя... Не дозволено... Мы беспорядку не делаем, значит, и они тронуть не могут!..

— Который из вас стражника убил? Выходи вперед! — полунасмешливо крикнул один из казаков.

— Угадай вот! — ответил Лаврентий и опять развеселил сход.

Казаки поругались, повернули лошадей и поскакали к барскому дому. Фигуры их в мохнатых шапках мерно покачивались в седлах, и винтовки за спинами сверкали на солнце полированной сталью... Мужики перестали бояться.

— Поехали!

— Отворачивай, значит!

Исправник, становой, жандармский ротмистр и казацкий офицер, под защитой вооруженного караула, сидели в столовой барского дома, за большим столом около самовара, и обсуждали, как поступить с мятежниками. Дело представлялось весьма серьезным: нападение ночью на барскую усадьбу с целью разгрома, убийство должностных лиц, дерзкое освобождение арестованных преступников... Мазепа, его супруга, нянька, Агашка и исчезнувшие в момент освобождения преступников работники, только утром вернувшиеся на барский двор, — все говорили:

— Всех бы прикончили, кабы не успели вовремя скрыться!..

— Я не скрывался, — поправлял становой свидетелей, — я был осажден в доме... Я открыл огонь с парадного крыльца...

— Если бы не они, едва ли уцелела бы усадьба, — подтвердила Манечка, бросив на станового благодарный и нежный взгляд.

Агашка путала и ставила в неловкое положение станового. Непонятно, пространно, с трепетом души рассказывала она, как все было, и со страху вдавалась в такие подробности, которые заставляли станового опять поправлять свидетельницу.

— Барин приказали мне ночевать с ими в горницах... Ну, вот я легла... и слышу я, как во сне... задремала... Мы

с барином уже давно огонь задули... Ну вот лежу и слышу, — гудет что-то, бунит!.. Ваше благородие! — говорю, — гудет, чаво-то!.. А они заснули, крепко они заснули... Тут я выбегла, в чем была, в сени, — слышу крик, гам, шум, как в ярманку, а то на пожаре... А потом и пальнули!..

— Кто же пальнул? Ты, что ли? Говори толковее.

— Они...

— Я стрелял. Я приказал ей прибрать на столе, а сам прилег на диване, задремал... — объяснял становой, но Агашка мешала:

— Чай, не на диване, а на бариновой кровати спали, — с детской простотой поправляла Агашка.

Становой рассердился и строго приказал ей:

— Отвечай только на тот вопрос, который задает тебе господин исправник!

— Запалить хотели?

— Надо быть, хотели...

— Кто хотел?

— Кто их знат! Разя ночью узнаешь? Мужик кричал, а который — не знаю...

— А если тебе показать этого мужика, — узнаешь?

— Может, узнаю, а может, нет...

— Если будешь скрывать, то и тебе будет плохо: будешь судиться за укрывательство!

Агашка стала божиться, креститься и вдруг заплакала и упала в ноги исправнику.

— Встань! Я — не бог...

— Помилуйте! Ни в чем я не виновата... Пусть мне с места не сойти, если я...

— Известно ли тебе, что крестьянин Илья Шалый приходил к господам и грозил поджогом! Встань!

— Встань, дура! — сердито прошептал стражник, поднимая с полу Агашку. — Встань как следует!..

— Сказывали, ваше высокое благородие!.. Грозил!.. Барыня тогда плакала-плакала...

— Уходи!..

Агашка, счастливо улыбаясь, утирая рукавом кофты слезы, вышла, потрясывая торсом, как сытая лошадь — крупом...

— Корова! — прошептал стражник, затворяя за ней дверь передней.

Привели Петра Огородникова, выбранного сходом для «обжалования».

— Кто убил стражника? Ты убил? — строго, с сердцем, спросил исправник, не дождавшись, пока Петр Огородников кончит молиться на образ.

— На́што я? — удивился Петр. — Да я и на дворе-то не был, как сарай разбивали... А как нас выбрали до вашей милости объяснить, как становой неправильно сделал...

— А кто же? Ты — правильно сделал?..

Опять — вместо раскаяния и смирения — осуждают, мерзавцы, должностных лиц!..

— Ты разбери, ваше благородие, все!.. Спроси народ-от!

— Кто убил стражника?

— Мы не знам...

— Кто же, сукин ты сын, знает? Кто? Говори!

— Чаво я тебе скажу?

Петр Огородников не знал, кто убил стражника.

И никто не знал. А исправник кричал и допытывался и не верил, что Огородников не знает. Покрывают друг друга... Исправник это отлично понимает. Он еще раз спросил, кто убил стражника, и ударил Петра по зубам.

— Как перед богом, так и перед тобой! Что хошь со мной делай, а не знаю, и не знаю...

— Скажешь, сукин сын!.. Уведи его в людскую да спроси там хорошенько, кто убил стражника, — сказал исправник.

Отвели Петра Огородникова в людскую, и долго на дворе слышался вой и глухие стоны. Манечка прислушивалась к этим визгам и стонам и содрогалась, пожимая плечиками:

— Точно поросенок визжит!..

Привели Павла Бирюкова.

— Кто убил стражника?

— Этого мы не знаем, а только от него житья не было... Ночью это было дело-то...

— И ты не знаешь? Кто же из вас знает? — перебил исправник.

— Может, только бог знает да тот человек, который убил!..

Павел сказал, как думал, но все люди с светлыми пуговицами были поражены нахальством и дерзостью. Ответ Павла всем им показался грубым, вызывающим. Жандармский ротмистр пристально, не мигая, посмотрел на Павла Бирюкова и произнес:

— Фрукт!

И Павла Бирюкова, пришедшего по поручению схода «упредить станового и обжаловать исправнику», увели в людскую, и опять оттуда исходили глухие воющие стоны. Манечка слушала и вспоминала, что вот так же кричала «мамаша», когда родила последнего ребенка, Капитошу...

Пришел казак, пошептался со стражником, и тот доложил:

— Отказались выдать! И староста не пошел!

Дело становилось еще серьезнее: освободили силою преступников и теперь отказываются добровольно выдать их. Сидевшие за столом переглянулись и сделались очень серьезными. Исправник взял под руку жандармского ротмистра, и они вышли в соседнюю комнату. Потом они позвали к себе казачьего офицера, а станового не позвали... Становому было обидно, что его игнорируют. Урядник, поняв свою неуместность, тихо удалился «покурить» в сени, а становой забунчал что-то, подошел к окну и стал смотреть под гору, где на церковной площади шевелились и ходили маленькие, как муравьи, мятежники...

Со двора принесли вещественные доказательства: револьвер убитого стражника, железный сердечник и топор.

Становой взял в руки топор, повертел его, но, увидев кровь по лезвию и прилипшие к железу волосы, поморщился и брезгливо передал топор стражнику.

— Как же вы, батенька...

Становой вздрогнул и отошел от стола: совещание в соседней комнате кончилось.

— Как же вы, батенька, доносите, что у вас никаких беспорядков быть не может, когда тут битком набито революционерами? — с укоризной сказал исправник и, добавивши: «Не угодно ли полюбопытствовать», — подал становому телеграмму: «Принять решительные меры к подавлению мятежа, делаю вам строгий выговор», — прочитал становой, покраснел и вынул платок, чтобы отереть выступивший на лбу пот.

— Теперь расхлебывайте: потрудитесь немедленно арестовать всех этих! — сухо сказал исправник и небрежно бросил на стол клочок бумаги: список главных мятежников.

— Помогите ему! — любезно обратился он к казачьему офицеру и опять вышел в соседнюю комнату, где оставался жандармский ротмистр.

Становой и казачий офицер сказали: «Слушаюсь», — и, отойдя в сторонку, начали обсуждать порученное им дело.

А мужики под горой все еще не расходились: они составили приговор с жалобой на покойника и теперь подписывали и ставили кресты закорузлыми трясущимися руками...

— Задержались что-то! — говорили они про Петра Огородникова и Павла Бирюкова и озабоченно смотрели на гору и на плотину, откуда должны были показаться выборные...

По настоянию жандармского ротмистра, арест мятежников и обыски во всех подозрительных избах отложили до ночи. Сильно устали, всем хотелось отдохнуть, вспомнили, что не обедали, и Мазепа попросил разрешения угостить «чем бог послал»...

— Если не стесним, то...

— Все готово! Все...

Агашка и кухарка зазвенели посудой и, руководимые самим Мазепой, накрывали большой стол в зале. Жандарм с исправником никак не могли оторваться от деловых разговоров и в ожидании обеда чертили план села, отмечая избы главных мятежников красным карандашом, а избы подозрительные — синим. А казачий офицер бродил по комнатам, рассматривал портреты на стенах, подробности женского туалета на комоде в спальне Зинаиды Николаевны, где все было брошено, как попало: подвязки, шпильки, пудра... В гостиной офицер подошел к роялю, поднял крышку и одной рукою проиграл отрывок грустного романса «Вы не могли понять меня, понять моей любви».

— Прошу, господа, откушать!.. Чем бог послал!..

Манечка ждала, что ее попросят хозяйничать за столом: весь день она возилась около плиты, полная кухонного творчества, и теперь причесалась и оделась. Но никто о Манечке не вспомнил, хотя Мазепа несколько раз напоминал, что жене его было очень приятно потрудиться для редких гостей.

— Идти? — спрашивала Манечка. Мазепа пожимал плечами.

— Ничего не говорят, а без приглашения как-то неудобно: ведут служебные разговоры...

— Ну и наплевать! Не очень нужно! Позови ко мне станового пристава!

Становой был очень доволен приглашением: исправник на него дулся и поминутно давал понять, что недоволен им... Отлично! Он избавит их от своего общества.

— Куда вы? А по рюмочке? — спросил казацкий офицер, увидя, что становой взял с окна фуражку.

— Куда уж нам... среди высокопоставленных! — обиженно произнес становой и пошел во флигель.

Манечка встретила его восторженно: после «вчерашнего» она обожала станового, а тут еще обида: не пригласили.

— Пусть муж кормит их там, а я хочу пообедать с вами... в тетатете!..

Личико Манечки пылало от плиты, обиды и волнения, от близкого соседства с героем.

— Какой дивный у вас цвет лица!

— Полноте, пожалуйста! Разве я такая была до замужества?..

— Вы так недавно замужем: свежее чувство любви для молоденькой женщины — это то же самое, что... если можно так выразиться... поливка водою цветка в сухое жаркое время...

Стол был сервирован посудой и ложками, которые Манечка получила в приданое и впервые вынула из сундука. Наливок и настоек было больше, чем у «тех», в барском доме, — и нельзя было не попробовать все их, потому что Манечка приготовляла их собственными руками. А руки эти... Рукава с раструбами, обшитые легкими кружевами цвета «крем», показывали полные гладенькие руки почти до локтей, и когда попадали случайно в поле зрения, то делали лицо станового загадочно кротким: из рукавов пахло духами, свежим бельем и молодым женским телом...

— Как хотите, а они невежи! Целый день возилась для них в кухне, и хотя бы из деликатности вспомнили обо мне... Конечно, я отказалась бы, но, насколько я понимаю, вежливость...

— Люди вообще неблагодарны! — соглашался становой, делаясь печальным, и тянулся к наливке.

— Позвольте и вам... хоть немножечко? — упрашивал он.

— С вами?

Манечка на мгновение подняла глаза к небу и несколько раз утвердительно кивнула становому головкой. От этих кивков, скрывавших еще что-то, кроме согласия выпить

вместе наливки, становой совершенно забыл о всех мятежниках на свете, а не только в своем стане. Изредка прибегал Мазепа с хлопотливой торопливостью в жестах и заботой в лице и спрашивал: «Как мороженое?..»

— Я к ним в кухарки не нанималась! — сухо произносила Манечка и с презрением щурила глаза на Мазепу. Он казался ей смешным и совсем был непохож на того, который танцевал на свадьбе мазурку... Тогда он действительно походил на Мазепу, а теперь...

В то время как в барском доме, насыщаясь индейками, обсуждали вопрос: возможен ли арест мятежников без вооруженного сопротивления со стороны мужиков, становой мысленно думал, окажет ли подвыпившая и очень игриво настроенная барынька сопротивление, если он попытается ответить на ее улыбочки, глазки, кивки...

— Отчего я не встретил вас год тому назад?

— Что же тогда было бы?

Становой не ответил, и Манечка не настаивала: она поняла и стыдливо потупилась.

В их душах говорило молчание...

— Вас, Марья Игнатьевна, требуют господин исправник! — сказала Агашка, впопыхах появившаяся у дверей комнаты.

— Меня? Требуют?.. Много чести!.. Скажи — у меня гости...

Агашка ушла, а становой молчал.

— О чем вы думаете?

— О жизни вообще... Был я в сражениях, ходил в штыки и остался жив... А сегодня ночью, когда отправлюсь туда... под гору... Кто знает?.. Быть может, не вернусь...

Манечка подперла головку обнажившейся рукой и пристально смотрела в померкшее лицо героя, который сейчас вот сидит здесь, рядом, а ночью, быть может, будет уже спать непробудным сном, — и ей было грустно и приятно... А день совсем разгулялся. Светило солнце с голубых, словно вымытых, небес, и птицы щебетали за окном, в саду, обрадованные теплом и светом; на полу шевелились солнечные пятна; на подоконнике грелась на солнышке кошка Шурка, щуря зеленые глаза... Вспомнилось лето, тепло, поля, цветы, — и хотелось, чтобы вернулось в жизни что-то, что прошло и не вернется...

— Пойдемте в сад!..

Они вышли черным ходом на двор. Почти у самого

крыльца лежал прикрытый рогожею труп стражника: ветерок шевелил махры рогожи, и от этого казалось, что стражник еще жив. Манечка вздрогнула и подхватила спутника под руку:

— Я закрыла глаза, не могу видеть этого... Ведите меня, слепую...

В саду около бани стоял жандарм.

— Зачем он тут?

— Там — политический преступник.

Манечка сделала страшные глаза: она никогда в жизни не видела политического преступника. Какие они бывают? Страх и любопытство овладевали ею при взгляде на баню, где она часто мылась, а теперь — политический преступник.

— Можно посмотреть в окошечко?

Манечка, прикрыв ладонями рук щеки, прильнула к стеклу и вдруг весело расхохоталась:

— Да ведь это фельдшер из Подгорного!..

— У него кое-что найдено... Он из жидов...

— Я его знаю! Я играла с ним в преферанс!.. Можно с ним поговорить?

— Вот этого не могу... Все, что угодно, но не это!.. Строго воспрещено... и не дай бог...

Странно все это: играли в преферанс, смеялись, запретил он мужу ездить верхом, — вредно ему, — а теперь он сидит в бане, теперь — политический преступник! Манечка старалась проникнуть в тайну этого превращения и не могла понять и проникнуть...

— Посматривай хорошенько! Не отлучайся! — строго сказал становой жандарму, и тот ухмыльнулся: сам отлично понимает это дело...

— А вот там, под горкой, есть старая беседка! Мы в ней прятались вчера ночью от мужиков... Пойдемте, покажу вам!.. — возбужденно говорила Манечка и обжигала станового загадочным выражением своих влажных глаз.

Прошли по тропинке и скрылись под горкой, за елями... Ворон, сидевший на сухой сосне, около невидимой беседки, хлопнул крыльями и, каркая, полетел над садом...

В барском доме было тихо: плотно пообедали, выпили, покурили, разбрелись по комнатам и залегли; стражники стояли у черного крыльца, у парадного, по углам сада и

оберегали покой их, останавливая всякий шум при самом его зарождении.

Часть казаков отпустили погулять до вечерней поверки. Луга, речка, широкие горизонты, соломенные крыши пробуждали в них далекие воспоминания о родине, и в души их пахнуло, после долгого житья в городских казармах, вольной жизнью. Словно собаки, долго сидевшие на привязи, они радостно завизжали и разбежались по лугу, по огородам, по селу. Молодой, сильный смех звучал под горой, похожий на ржанье каких-то здоровых, жизнерадостных животных. Несколько казаков успели сходить в Подгорное, где была винная лавка, и вернулись пьяные, с запасом водки в карманах... Никого они не трогали, разговаривали с мужиками ласково, шутили с бабами и девками и потеряли решительно всякий престиж. Девки отпихивали их локтями, когда они давали рукам волю, бабы называли их жуликами за гусей, — и те только смеялись, сверкая белыми зубами.

— На́што вас, леших, принесло к нам? Гусей воровать?

— На охрану усадьбы прибыли...

— Сказывают — душегубы вы...

— Мы что? Не своей волей... Пригнали...

— Чисто лешие! Право!

Только около лавочки вышла ссора. Казаки пришли за папиросами, а лавка была заперта. Начали ботать каблучищами в дверь. Парамон Игнатьич выглянул в окно:

— Заперто! Видят люди, а...

— Отопри, коли заперто!

— Сегодня не откроется.

— Ну, так сами откроем!

— Как же это? Разя вы разбойничать сюда присланы?

Казаки стали бить камнем по замку с секретом и ругаться. Парамон Игнатьич выкинул из окна две пачки папирос и сказал: «Этакая невежливость!» Казаки захохотали:

— То-то, купец! Скупиться, брат, для воинства — грех!..

Вышла еще неприятность с казаками у отца Григория: у него на огороде потоптали капусту. Пьяный казак гонялся там за работницей, играл с ней на воле, как буйный самец с самкой, и вызвал нарекание со стороны батюшки.

— Что ты делаешь, неразумный? — закричал отец Григорий, выглянув в огород чрез маленькое окошечко в коровнике. Казак остановился: посмотрел вокруг, вверх, вниз — никого не видать... Кто кричит? Баба убежала, а раздосадованный казак крикнул в воздух:

— Кто ругательства произносит?

Отец Григорий вышел в огород:

— Возможно ли в чужом огороде топтать растения и притом преследовать беззащитных?

— Чай, поиграть не грех?.. Сама она... — ответил казак, смущенный появлением батюшки.

— Грех, сын мой... Ты прислан к содействию начальникам охранить достояние, а между тем ты собственными ногами мнешь у меня капусту!.. Я доложу господину исправнику...

Когда закатилось солнышко, на горе заиграл рожок и забил барабан. Потом в мягких сумерках загорелись там костры. Потом там хором запели «Царю небесный» и «Спаси, господи, люди твоя»... Грубоватый, с преобладанием низких голосов, хор пел гимны богу — и они далеко разносились по долине. И там, под горой, люди, сняв шапки, молились на церковь и шептали: «Спаси, царица небесная!..»

Совсем стемнело. Ночь прикрыла мраком и гору и долину, и только огни костров ярче пылали в разных местах, освещая барский дом вздрагивающим красноватым отблеском... Изредка пьяные голоса затягивали песню, изредка раздавалось ржанье ссорящихся лошадей... Прозвенели и замерли колокольчики: это поехала тройка, увозя куда-то политического преступника... Мужики прислушивались к этим звукам, мирно разговаривая около завалин, и медленно расползались по своим избам:

— Прощайте покуда! Что бог даст завтра...

В небе горели звезды... Из-под горы выползал густой туман.

Туман сгущался и, смешиваясь с темнотой ночи, уносил легкие контуры крестьянских изб в бездну. Только белая колокольня церкви плавала своим куполом, словно в небесах, и, казалось, была совсем близкой к далеким звездам. Колокол церковный, старый, треснутый колокол, отбивая часы, жалобно дребезжал, словно плакал над соломенными

крышами измученного народа, каждый день засыпающего с мыслью: «Что бог даст завтра...»

Петухи запели, перекликаясь из конца в конец. Им вторили петухи на барском дворе и на мельнице, около пруда, на пчельнике и на хуторе, — и казалось, что они никогда не перестанут перекликаться... Тихо было под горой и на горе, и молчаливая ночь плыла, спокойная, одинокая, загадочная...

На горе, однако, не спали... Казацкие лошади, выкормленные и оседланные, стояли в ряд на привязях около ограды на лужке, и в темноте лоснились их крупы, то черные, то рыжие... Казаки стояли около лошадей и тихо переговаривались между собою в ожидании приказаний из барского дома. Было свежо, сыро, хотелось спать, — и лица под мохнатыми шапками были сумрачные и недовольные.

— Всю ночь в карты проиграют, а ты стой тут, — ворчали люди, переминаясь с ноги на ногу, и поглядывали на окна с светлыми полосками в щелях ставней. Хлопнула дверь...

— Смирно!

Становой в полном облачении, с шашкой через плечо, с револьвером на боку, со свистком на толстом шнурке через шею, в сапогах военного образца, сошел с крыльца и посмотрел на звезды... Потом заскрипели по земле его ноги в лакированных сапогах, и становой исчез куда-то... Казаки ждали своего офицера и всякий раз, когда дверь хлопала, начинали оправляться...

— Становой это!..

— Во флигель пошел...

Становой вернулся и вышел за ворота.

— Скоро, ваше благородие?

— Ничего не знаю... Холодная ночь...

— Так точно! — ответило несколько голосов, и кто-то несмело прибавил: «Водочки по стаканчику бы!»

Становой пошел к обрыву и смотрел в темную бездну, где таилась неизвестность... Мелкая дрожь пробегала у него по спине, и все хотелось позевывать... Вода глухо шумела внизу на мельнице, и от этого овраг казался еще глубже и таинственнее. Становой вынул из кобура револьвер — неуклюжий «Бульдог», посмотрел на него, повертел пощелкивающий барабан и вздохнул... Мысль инстинктивно отворачивалась от тревожной неизвестности и спешила вернуться во флигель, где уютно мурлыкал брошенный само-

вар и было слышно, как за стеной тихо покашливает и вздыхает маленькая кругленькая женщина с карими глазами и с родинкой на шее...

— Мда!..

Становой снял фуражку, перекрестился и отвернулся от темной бездны оврага. Тихо пошел он прочь, прислушиваясь к громкому биению своего сердца, которое выстукивало, как часы, секунды жизни, выстукивало во всем теле: в груди, в ушах, в висках, коротенькие секунды человеческой жизни...

— Смирно!

В темноте мелодично зазвякали шпоры: обрисовалась стройная фигура казацкого офицера.

— Это вы?

— Я.

— Ну, как? Не чувствуете волнения?

— Двух смертей не бывать, — ответил становой, и они закурили папиросы. Попыхивая огоньками, они еще раз обменялись планом нападения на мятежников...

— В случае вооруженного сопротивления — сейчас же ложитесь наземь, чтобы не мешать ружейному огню!

— Лягу, — сказал становой и потянулся.

Опять звякнули шпоры, много шпор: вышел из ворот жандармский ротмистр, окруженный унтерами:

— Жида отправили?

— Так точно, ваше благородие!

— Шерстнев! Выкати за ворота бочонок с водкой!

Прикатили бочонок. Поочередно подходили люди и наклонялись, присаживаясь на корточки.

В тишине было слышно, как жадно глотали люди водку и издавали странные звуки, словно обжигались. Те, которые не пили, уступали свою очередь товарищам, и около бочонка тихо, вполголоса ссорились, завидуя друг другу.

— На лошадей!

Быстро, словно у них были крылья, взлетели люди в мохнатых шапках на лошадей и закачались в темноте по лугу.

— Тихим шагом вперед!

Над обрывом заколыхались темные фигуры с огромными страшными головами и, выпукло нарисовавшись на фоне небес на одно только мгновение, исчезали одна за другою в темной бездне глубокого оврага...

И все стихло, все... Дребезжащий колокол опять заплакал в темноте... Удары его глухо обрывались в сыром воздухе, словно его душила чья-то невидимая рука, желая оборвать на полуслове...

Ударив последний раз, церковный сторож привязал веревку к березе, постоял, посмотрел на звезды. «Царица небесная, матушка-заступница!» — прошептал он и пошел в сторожку, но на пороге остановился: где-то кричали мужики и выли бабы...

Прогремел выстрел, прорезал темноту ночи резкий свисток, и чей-то сиплый голос закричал: «Убили! Убили!..» Сторож подбежал к березе, ухватился обеими руками за веревку, — и тревожные торопливые удары набата понеслись, перегоняя друг друга, в темноту ночи...

Мужики в паническом ужасе выбегали на улицу, что-то кричали друг другу, махали руками и куда-то бежали... Куда?.. Они не знали... Где-то хрипло кричали: «Братцы!.. Братцы!» Где-то визжали женщины и плакали дети... И дребезжащий колокол все плакал, плакал, заглушая крики и вопли людей... Потом заиграл рожок, и, как искорки, стали вспыхивать желтые огоньки и с резким сухим треском гаснуть в сырой темноте... «Братцы! Братцы!..»

Колокол вдруг оборвался и загудел дрожащим металлом: старик сторож покачнулся и выпустил из рук тяжелую мокрую веревку... Теряя силы и сознание, старик цеплялся за березу и пачкал ее белую кору теплой кровью... Не слушались ноги, и, присев под березой, он замер вместе с стихающим гулом колокола...

КОРОЛЕВНА

Было это давно, в те годы, когда молодежь мечтала поднять на плечах своих счастье родины, когда она твердо верила словам поэта: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», — и потому сотнями гибла в разных беспорядках и демонстрациях.

Теперь принято думать, что чувство «общественного долга», во имя которого молодежь гибла, вырабатывало сухих доктринеров политической морали, что стремление быть «гражданином» убивало в юношах и девушках того времени поэзию юности, что политика загораживала все горизонты души и сердца...

Ах, какая это ошибка!.. Ведь юность — всегда юность, и когда юноша, сгорая в огне общественного долга, говорит, что поэтом он может не быть, но гражданином быть обязан, — он уже поэт и мечтатель, прежде всего поэт... и мечтатель.

Разве есть мечта шире и красивее, чем мечта сделать человечество счастливым? Разве в этой мечте не больше поэзии, чем политики?.. И разве не были правы отцы, когда они называли «блудных детей» своих «мечтателями»?..

Нет, тысячу раз нет: никогда среди молодежи не было столько поэтов, как в то далекое время, не бумажных поэтов, а поэтов жизни, не бумаге, а жизни отдававших свое вдохновение...

Тургеневские Кукшины уже прошли, а чеховские Львовы еще не народились. Мечта о счастье человечества пережила уже писаревщину и базаровщину и еще не выродилась в сухое сектантство с программами, как жить, чувствовать и говорить. Борьба личного счастья с общественным долгом рождала героев трагедии, а не комедии, и, может быть, никогда еще любовь не была так красива, как в то время...

Я хочу рассказать вам один эпизод из жизни молодежи того времени, маленький эпизод, в котором так ярко

вспыхнуло на одно мгновение это «трагически-прекрасное» юной души того времени.

Покончив с гимназией, я приехал в университетский город и сделался студентом. Конечно, как и большинство молодежи того времени, я горел жаждой перевернуть весь мир и, вопреки всяким препонам, даже вопреки склонностям самого человечества, осчастливить его... Как это сделать, я хорошенько не знал; знал только, что без равенства, братства и свободы обойтись невозможно. А так как провозвестниками этих лозунгов были революционеры, то, конечно, я уже был революционер. Очень быстро я попал в один из студенческих кружков, обслуживавших, так сказать, революционную партию, и очень скоро столкнулся с людьми из подполья...

В числе наших услуг «политическим» было устройство свиданий с заключенными в местной тюрьме, доставление им обедов, книг и т. д. В том случае, когда у заключенных имелись на месте мать, сестра или другие родственники, все это делалось через них, но когда у сидящего в тюрьме никого из близких не было, мы поставляли им невест. Среди учащихся девушек и просто знакомых мы находили всегда достаточное количество желающих помочь в этом деле; поэтому недостатка в невестах у нас никогда не было...

Милая, прекрасная Королевна! Ты до сих пор стоишь пред моим взором, и до сих пор мучаешь меня загадкой своей нежной, прозрачной души, так недолго погостившей с нами на земле и покинувшей ее в красоте подвига и в экстазе первой девичьей любви...

Мы все называли ее Королевной... За что? Было в ней что-то трогательно-прекрасное и хрупкое, облеченное в величавую гордость сказочной царевны из любимых сказок Андерсена. Она ушла из богатой семьи, где жила в беспечной роскоши, где не было никаких преград исполнению капризов и прихотей избалованной любимицы, где она привыкла повелевать людьми и жизнью, и пришла к нам, чтобы жить жизнью полуголодных мечтателей, ютиться в мансарде, питаться колбасой и чаем, не бояться худых башмаков и вместе с нами мечтать о великом подвиге осчастливить человечество... И теперь еще, порвавши с богатыми родителями, она была среди нас миллионершей: замужняя сестра тайком присылала ей время от времени по сто рублей... Сто рублей! О, это в наших глазах были тогда такие деньги, которые делали товарища Ротшильдом.

— Королевна получила сотню.

— Опять?!

— Да.

И всем казалось, что это не Королевне, а ему присланы деньги. Все равно: если у тебя нужда, а Королевна получила сотню, с нуждой покончено, все будут обедать каждый день, никто не будет закладывать пальто, чтобы бегать зимой в одном пледе, побывает в театре или концерте, поест конфет и фруктов... Конфеты!.. Это была слабость Королевны, принесенная ею из родительского дома. Бывало, на последний полтинник купит конфет и сидит без булки. А башмачки просят каши. Странно было видеть эту красивую девушку, с изысканными манерами и грациозными позами и жестами, с капризными нотками в привыкшем повелевать голосе, с величавой гордой походкою и привычкою красиво одеваться, странно было видеть ее за починкой дырочки на башмачке, или за переделкой старой шляпки в новую, или за штопанием шелкового чулка, от которого уже осталось одно воспоминание. Это было так странно и трогательно, что хотелось каждому из нас сделаться сейчас же башмачником, чулочником, шляпочником... Исколет себе до крови руки иглою, сердито кричит на башмак или чулок, а на столе коробка с конфетами:

— Не угодно ли?..

С приветливой улыбкой указывает на коробку, — и в ее жесте головкой и глазами столько благородного изящества, что опять вспоминается сказочная королевна. Как люди демократических принципов, мы отрицательно относились к аристократам и их манерам и приличиям, иногда намеренно бывали грубыми; но все мы, иронизируя над аристократическими замашками Королевны, втайне любовались красотой и изяществом ее манер, поз и жестов, а многие были без ума влюблены в нее и скрывали это друг от друга... и от нее. Она была красивее всех других девушек нашего общества и, быть может, втайне сознавая это, бывала иногда горда с подругами.

— Королевна! Имейте в виду, что вы не имеете подданных! — кололи ее иногда девушки, замечая слабость повелевать.

— Разве?.. Неужели никто, господа, не подаст мне шубки?..

И мы, забыв все принципы, старались опередить друг друга в «лакейских обязанностях», а она торжествовала.

— Объявляю всем моим подданным, что завтра у меня будут конфеты.

Так вот однажды, когда нам понадобилась для тюрьмы невеста, а весь наличный состав уже обневестился, мы предложили это место Королевне.

— Но... у меня худые башмаки!.. — с печалью и досадой сказала Королевна.

— Наплевать! — сказал кто-то.

— Нет... Я не пойду к жениху в таком виде...

— Глупо, Королевна!.. Помните, что здесь вы исполняете долг, а не...

— А не выхожу замуж?..

— На коробку конфет для жениха вам будет выдано из общественной кассы.

— Нельзя ли и на башмаки? Я отдам.

— На это не имеем уполномочий.

Начались споры, которые были прерваны в самом разгаре неожиданной вестью:

— Королевне повестка на сто рублей!

— Жертвую вам в кассу на башмаки для невест половину... — с радостным смехом объявила Королевна и начала танцевать вальс... Ах, как она танцевала! Можно было подумать, что она не подчинена законам тяжести и движения: летает по комнате, кружится, едва касаясь пола, и все кажется, что вот-вот она поднимется на воздух и поплывет, продолжая ритм своих изящных движений. И опять мы, относившиеся к танцам отрицательно, засматривались на танцующую Королевну и начинали думать: «Ах, если бы я умел танцевать!..»

— Но кто он, кто мой жених? — неожиданно спросила Королевна, оборвав танец.

— Комитетский.

— О-о! Значит, настоящий революционер... Не такой, как все вы?

На другой день Королевна пропала с утра и явилась к нам неузнаваемой: в светлом платье, в новой шляпе, в перчатках, с цветами, восторженная и волнующаяся, словно она и в самом деле была невестой и горела радостным ожиданием свидания с любимым человеком.

— Ну, я готова...

Однако ей пришлось разочароваться: прежде чем ехать на свидание с женихом, пришлось поехать на свидание с жандармским полковником. Так как недавно еще был та-

кой случай, что явившаяся на свидание одна из наших невест, войдя в контору тюрьмы, не знала, который из двух студентов ее жених, и вернулась обратно с конфетами, навсегда лишенная права ходить на свидание с заключенными, то во избежание такого недоразумения Королевне показали портрет ее жениха...

— Этот?.. Какой он... красивый!.. — вырвалось у Королевны, и она вспыхнула ярким румянцем.

Нареченный был действительно красив той особенной красотой одухотворенности, которая невольно приковывает глаза встречных людей и заставляет их думать: «Какое хорошее лицо... Кто он?»

— Королевна покраснела, господа...

— Почему вы покраснели?

— Не знаю...

Начали острить над Королевной и чуть не довели ее до слез.

— Не поеду... Пусть другая!..

Но другой на этот раз не было, да трудно было и отыскать другую, которая бы больше подходила к роли невесты, что теперь, после недавней истории с невестой, которая не узнала своего жениха, было особенно необходимо. Королевна раскапризничалась, съела сама почти всю коробку конфет, предназначенных в подарок жениху, и, глотая слезы вместе с шоколадом, гордо повторяла:

— Пусть другая!..

Большого труда стоило переломить упрямство Королевны. Убеждали в несколько голосов и страшно обрадовались, когда она наконец спросила:

— Как его зовут?

— Николай.

— По отчеству?

— А черт его знает...

— Не надо отчества... Называйте Колей: жених ведь!..

Это развеселило Королевну и вернуло ей прежнее жизнерадостное настроение.

— Коля!.. Отлично. Я буду называть его Колей... А он — меня? Ведь он не знает, кто к нему придет?

— В первую голову скажите ему: «Вот и я, твоя Вера!..»

— Ах, как это забавно!.. Ну, ладно уж... Еду к жандармскому папаше просить благословения...

И Королевна, взяв хорошего извозчика на резинах, гордо помчалась, провожаемая восхищенными взорами всей компании, наблюдавшей за нею из окон.

Кто-то из нас вздохнул, отходя от окна. В комнате как-то разом стихло и потускнело, словно вместе с Королевной ушел смех и ушла наша шумная радость.

— Поехала...

— Да...

Всем хотелось поговорить о Королевне, у всех она была в голове и в сердце, да что-то мешало нам. Должно быть, все мы были тайными соперниками, чувствовали это и потому предпочитали не говорить. А Королевна была со всеми одинаково любезна и никому не отдавала предпочтения. Она жадно прислушивалась к нашим серьезным разговорам, внимательно слушала чтение только что добытой нелегальной книги или брошюрки, и глаза ее, серые, начинали темнеть и казаться черными, когда мы узнавали о страданиях политических в каторжных тюрьмах, или об удачном побеге арестованного, или о смерти неизвестного нам товарища, покончившего жизнь в тюрьме каким-нибудь ужасным способом...

Пропадала у ней тогда веселость, и долго она молчала, усевшись где-нибудь в полутемном уголке, и казалась одинокой, живущей своими думами, которыми ни с кем не хотела делиться... Мы негодовали в шумных восклицаниях, не скупились на ругательства для врагов, а она сидела в отдалении с опущенной головою и не двигалась...

Только один раз она приоткрыла мне свою душу. Поздно ночью я провожал ее после такого чтения до дому. Она была молчалива и долго не проявляла желания поддерживать разговор, которым я хотел занять свою даму, опиравшуюся на мою руку. И вдруг, после продолжительного обоюдного молчания, она вздрогнула, приостановилась на одно мгновение и спросила:

— Когда же мы... когда мы кончим разговоры и начнем?..

— Что?

— Ведь надо же когда-нибудь перейти от слов к делу!..

— Всякий делает, как и что он может и на что... пригоден.

— Ах вот как!.. А как узнать, на что человек пригоден?

Я не сразу ответил, и, пока соображал, Королевна спросила:

— Разве не всякий годен на то, чтобы отдать жизнь?.. Как вы думаете, пригодна я на пушечное мясо?..

— Ах, Королевна, как странно вы говорите!..

— Я только о себе, только о себе!.. Я знаю, что гибнут лучшие, но...

Спуталась, растерянно засмеялась и сказала:

— Простите... Не надо об этом говорить... Я так... по глупости...

В этот вечер мы только что ознакомились с двумя враждующими мнениями в революционном лагере: одни требовали от революционного деятеля основательной научной и моральной подготовки, поэтому советовали молодежи усиленно заниматься саморазвитием, а другие говорили, что самоусовершенствование не имеет пределов и потому всю жизнь можно проучиться и не почувствовать, что ты достаточно подготовлен к вступлению в партийную деятельность. Для Королевны это разногласие сразу сделалось «проклятым вопросом»: она окончила институт благородных девиц, прекрасно знала языки, читала в подлинниках классиков немецкой и французской литературы, но по части общественных наук и родной истории и литературы была очень слабовата. Она не могла понять, почему царь не может наделать столько бумажных денег, чтобы хватало их на всех бедных; русская литература кончалась у ней Гоголем, а история состояла из одних войн и подвигов императоров. Очень часто, слушая наши дебаты после рефератов по экономическим и политическим вопросам, Королевна приходила в уныние, почти в отчаяние:

— Ничего я не знаю и ничего не понимаю!..

И теперь, когда она узнала, что по части научной подготовки существует разногласие, душа ее потеряла равновесие: отчаяние боролось с надеждой, и никто из них не мог победить...

Однажды она пришла ко мне и сказала:

— Я решила заняться политической экономией и пришла просить вас помочь.

— С радостью!

— Давайте читать вместе... Только вдвоем, иначе я не могу... Вы не будете смеяться над моим невежеством?..

— Что вы, Королевна!..

— Я решила, что я безграмотна. Нельзя требовать, чтобы мы все были учеными, но грамотными надо быть всем... Начну с политической экономии.

— Отлично...

Я был на седьмом небе: заниматься с Королевной политической экономией — да ведь это... блаженство!

Начались занятия. С обеих сторон удивительное усердие и добросовестность. Королевна смотрит на меня с такой благодарностью и уважением, что я начинаю чувствовать себя настоящим учителем жизни.

— Оставьте, Королевна, конфеты!..

— Только одну... Простите... Слушаю.

Кончится урок, Королевна уйдет, а я долго еще не могу прийти в нормальное состояние. Черт знает, кажется, начинаю влюбляться окончательно... В комнате еще пахнет духами.

— Вот аристократка!.. Не может без конфет и духов...

На столе маленький кружевной платочек. Это называется — платок! Короче воробьиного носа... Беру платочек, прикладываю к лицу, к губам и чувствую, что есть в нем какая-то притягательная сила, ласкающая лицо такой нежностью и ароматом, что не хочется оторваться... На следующий день:

— Вы забыли у меня платок...

— Мерси...

— Ну-с, на чем мы остановились?..

— На «железном законе».

— Знаете, Королевна, велим соорудить самоварчик и будем прихлебывать вместе с политической экономией...

— А в таком случае я требую льгот относительно конфет!..

— А у вас есть?

— А вот...

Ах, проклятый железный закон!.. Случилось, что должно было случиться: влюбился окончательно и стал меньше всего думать о политической экономии, когда читал ее страницы...

— Королевна, я устал. Читайте вы, а я буду слушать...

Королевна берет книгу и читает, а я сажусь вдали и слушаю, смотрю и слушаю. Смотрю на склоненное над книгой лицо девушки и слушаю ее голос... Исчезает политическая экономия, остается только это лицо и голос...

Люблю бесповоротно... А она?.. Не замечает... Она только уважает, симпатизирует, пожалуй, но не больше...

И вот, когда я окончательно убедился, что попал под власть этого железного закона, наши уроки оборвались: Королевна была назначена невестой...

— Ну, пока... остановка. Я — невеста! — радостно сообщила мне Королевна, придя в час, назначенный для урока.

— Я полагаю, что это не помешает нам продолжать...

— Нет! Я волнуюсь и... опять сделаюсь бестолковой... Отложим.

Отложили.

Когда я увидал Королевну в белом костюме, в новой шляпе, в перчатках и с цветами, у меня шевельнулась ревность к тому неизвестному, который сделался женихом... Вот если бы я сидел в тюрьме, а она приходила ко мне на свидание!.. Зачем я не в тюрьме?..

— Когда мы будем продолжать железный закон, Королевна?..

— Какой закон?

— Вы уже забыли!

— Нет... Но я не поняла, о чем вы...

Выше я сказал вам, что, когда Королевна уехала на резинах к жандармскому полковнику, кто-то из нас, отходя от окна, вздохнул...

Нечего скрывать: этот «кто-то» был я!.. Словно предчувствовало мое сердце, что не суждено нам больше заниматься политической экономией!

Когда на другой день Королевна вернулась из тюрьмы, после первого свидания с женихом, я убедился, что люблю безнадежно. Королевна вернулась сияющая и возбужденная, меня не заметила и со мной не поздоровалась. Она вся была полна какой-то радостью, мешавшей ей понимать и слушать окружающих.

— Какой он милый!.. Он еще лучше, чем на карточке... Я думала, что он грустный, а он такой бодрый, остроумный... Я много смеялась... Называет Верочкой!.. Поцеловал руку и сунул записочку... Улыбается и говорит: «Не скоро наша свадьба, Вера; боюсь, что тебе надоест ждать». Какие у него странные глаза!..

— Позвольте! А где же записка, которую он вам передал?..

— Ах, да! Где она?... Была здесь, за перчаткой... Неужели я потеряла?..

Мы с яростью накинулись на Королевну, обвиняя ее в легкомыслии и других пороках аристократического происхождения. Но записка нашлась. Мне было досадно, что записка нашлась... Я, кажется, всех больше рассердился на Королевну и всех больше бранил ее.

— Слава богу: вот она!.. Как я испугалась!..

— Читайте!

— Нельзя.

— Почему?

— В комитет... Нельзя посвящать всех в эту переписку... Я протестую...

— Как он сказал, Королевна?

— «В комитет»...

— Давайте, я передам!..

Я взял записочку и спрятал ее в кошелек. А Королевна продолжала рассказывать про жениха... Все еще восхищается!

— Ну, одним словом, вы влюблены... Вени, види, вици!..

— Милые девицы!

Каждую неделю Королевна ездила в тюрьму на свидание с цветами и конфетами. Подозрительно: очень уж ждет очередного свидания и очень много хлопочет о цветах. Наряжается, как на бал. То грустит, то много смеется, иногда без достаточного повода... Обзавелась портретом жениха и поставила его на своем туалете... Когда спрашивают, кто это, отвечает уклончиво:

— Один... господин...

И переводит разговор на другую тему.

Однажды я застал ее за цветочным жертвоприношением этому идолу: украшает портрет фиалками.

— Здравствуйте, Королевна!.. Что вы это делаете?..

Очень смутилась.

— Знаете: уже появились фиалки и подснежники... Видите?.. Хотите в петличку?..

— Нет... Недостоин... чтобы мой путь усыпали цветами. Пусть уж другие... счастливцы...

— Эх, вы! И не стыдно?.. Он второй год сидит в тюрьме, а вы...

Дело было вечером. Ранней весной. Я страдал сильнее обыкновенного, напевал: «Не для меня придет весна», — ревновал, как новобрачный муж, и ненавидел неизвестного...

— Как только пройдет Волга, его отправят с первым этапом в Сибирь... Овдовеете, мадемуазель!..

— Он убежит. Он задумал такое... такое...

— А вы почему знаете?

— Знаю!..

— Умный человек не станет откровенничать с первой встречной...

— С первой встречной!.. А если я не «первая встречная»?..

— Вы полагаете?.. А, впрочем, кто вас знает...

— Какой вы... нехороший!.. Раньше я вас больше любила...

И тут я не выдержал:

— Я должен знать правду!.. Я, Королевна, не могу так, я должен знать...

— Что знать, голубчик?..

— Он вас любит?..

— Ах, почему я знаю!.. Я сама ничего не знаю... Я... сама...

И Королевна отвернулась и спрятала лицо.

— Вы плачете?..

— Уйдите!.. Оставьте меня одну... Ради бога, уйдите! Прошу вас...

— Вы его любите, Королевна?..

— Зачем вам?.. Ну, да, да!.. Неужели не видите?.. Уходите!..

А я не уходил. Стоял в двери со шляпой в руке, с опущенной головою, и не уходил.

— Что вам от меня надо?.. Я выхожу за него замуж!.. Слышите? На Фоминой я выхожу за него замуж... Я поеду с ним этапным порядком. Не могу вас даже просить в шафера... Мы венчаемся в тюрьме... Поняли?..

— Я в шафера не собираюсь... Прощайте!..

— Нет, нет... Простите меня, голубчик!.. Я виновата... Я сама не понимаю, что говорю и делаю... Ради бога, не уходите!.. Я очень прошу...

Продолжая плакать, она схватила меня за руку и не отпускала.

— Хорошо, я не уйду... Но зачем вам мое присутствие?..

— Сейчас... Не могу говорить... Подождите...

Выпила воды. Села, спрятав лицо, и, с трудом подбирая слова, заговорила:

— Я ведь знаю, что... вы любите меня... Но... я... Что же мне делать?! Я не виновата... Вы мне очень, очень нра-

витесь, но... вы такой хороший, милый... Вы очень, очень симпатичный... Но... может быть, мы оба несчастны, одинаково несчастны!.. Я люблю Николая... Да, это случилось...

— О чем же, Королевна, плакать?.. Я вас ни в чем не обвиняю...

Мне вдруг так жалко сделалось Королевну, что захотелось ее утешить:

— Не надо плакать, милая Королевна... А главное, — не о чем. Ведь вы выходите замуж, стало быть, любите друг друга... Нельзя же считаться с тем, что кто-то там еще будет страдать!.. Наконец я вовсе не из тех, которых любовь сводит с ума... Я сумею найти выход... в любви к... родине, Королевна!.. Она будет моей Королевной!..

Королевна притихла. Я ходил по комнате крупными шагами и чувствовал себя так, словно Королевна была маленькая, а я — большой, обязанный к жертвам в пользу маленькой...

— Ну, будет... останемся прежними друзьями!.. Кроме вашей дружбы и вашего уважения, мне ничего не надо...

— Милый вы!..

— Если вы любите друг друга, то...

— Но я не знаю... Я его люблю... Я так его люблю, что... Не знаю как!

— Но как же?.. Вы сказали, что на Фоминой венчаетесь с ним в тюрьме...

— Да. Это правда... Но это так... Не по-настоящему... Я хочу ехать с ним в Сибирь, поберечь его и... помочь ему убежать с дороги... Ведь таких людей мало!.. А я... На что я нужна?.. Но я... Ах, если бы он любил меня вот так, как вы!.. Мне кажется, что он любит... Иногда кажется, а иногда... Не поймешь его... Неудобно в тюрьме говорить: слушают...

— Напишите...

— Но ведь письма читают, а я невеста... Как же писать... Догадаются, что...

Королевна улыбалась и отирала кружевным платочком слезы. А мне было ее жалко и все сильнее хотелось помочь ей чем-нибудь.

— Посоветуйте, что мне делать!..

Королевна схватила мою руку и подняла на меня умоляющие взоры. Я почувствовал себя отцом, любящим дочь.

— Бедненькая милая Королевна!.. Вы напишите несколько слов на клочке бумаги и при свидании суньте ему в руку. Попросите ответа...

— Да, это правда... Надо же мне знать...

— Только не поздно ли, если ваша свадьба решена уже?..

— Ах, это все равно!.. Мы все равно обвенчаемся. Я должна это сделать.

— Ну тогда и узнаете все... любит или нет...

— Нет, тогда — поздно... Тогда я уж не решусь сказать ему...

До сих пор помню я тот день, когда решалась судьба Королевны. Помню ее испуганное лицо, ее страх пред неизвестностью, то отчаянную решимость поехать в тюрьму и сейчас же узнать по первому взгляду на жениха, любит или нет... то колебание и стыд, от которого горело пятнами лицо девушки...

— Не купила конфет... Забыла купить конфет... Как же быть?..

— Опоздаете, не пустят на свидание...

У Королевны захватило дух. Закрыла лицо и, постояв несколько минут неподвижно, вдруг перекрестилась и решительно и очень быстро пошла на улицу. На прощанье улыбнулась мне с извозчика и скрылась. Я остался ждать в ее комнате. Волновался не меньше Королевны. Время тянулось невыносимо. Мне хотелось счастья для Королевны, но моментами вспыхивала ревность и откуда-то из темных глубин души вылезала туманная бесформенная мысль без слов:

«А вдруг все расстроится, и она будет любить меня?..»

«Вот ерунда!.. Дурак!» — бранил я себя, отгоняя непрошеную и глупую мысль.

«Ну, скоро ли? Это наконец невыносимо...»

«Едет!.. Нет, проехали мимо... Что за черт?.. Можно подумать, что свидание — не в тюрьме, а где-нибудь на воле, в парке, в лесу...»

«Едет. Да!»

Выглянул в окно и сразу понял, что больше мне не на что надеяться: Королевна слезала с пролетки так величаво и торжественно, лицо ее было так прекрасно и радостно, жесты так повелительны, что не оставалось никакого сомнения в том, что она любима и счастлива...

Она и так была красива, а теперь ее лицо, озаренное счастьем любви, было неописуемо прекрасно! До сих пор это лицо стоит в моей памяти. Вошла, посмотрела и радостно засмеялась...

— Да?

Кивнула головой и вдруг кинулась ко мне порывистым движением...

— Как я счастлива!.. Боже, как я счастлива!..

Я протянул ей руку, а она отстранила ее и крепко меня поцеловала...

— Королевна!..

— Я вас люблю *после него* всех больше... Уверяю вас!..

— Ну, а зачем же на глазах слезы?

— От счастия... Теперь я настоящая невеста... Мне хочется петь, плясать, кричать, что он любит меня... Я не знаю... Идем! Идем! Я не могу оставаться в комнате...

— Куда?

— Не знаю... Все равно!.. Куда-нибудь!..

Мы вышли на улицу и пошли. Королевна торопилась, я едва поспевал за ней.

— Куда вы торопитесь?..

— Не могу...

Хохочет. Я взял ее под руку и стал сдерживать ее торопливость.

— Ведите меня в комитет!..

— В комитет? Я этого не могу сделать, Королевна... Я знаю только одного члена комитета, но раскрыть его никому не могу...

— Даже мне, его невесте?

— Даже вам!

— Глупый комитет... у вас! Воображает, что он ближе Николаю, чем я...

— Конспирация и дисциплина...

— Наплевать мне на вашу дисциплину!..

Я стал объяснять, почему важна конспирация и дисциплина, и Королевна смирилась. Она повела меня в тихую безлюдную улицу и тихо, поминутно оглядываясь, сообщила, что Николай решил бежать с дороги. Решено, что они повенчаются на Фоминой и поедут вместе, то есть этапным порядком, а при первом удобном случае он бежит с дороги и проберется за границу...

— А я приеду к нему и... кончено!

— Едва ли разрешат ехать вместе...

— Тогда я поеду на ближайшем пароходе, впереди или позади арестантского...

— Уж лучше впереди, чтобы подготовить почву...

— Да, пожалуй... Вот по этому делу мне и надо поговорить с комитетом. Ведь надо паспорт...

— Добудем!..

— Ах, если бы все это вышло так, как мы мечтаем!..

И Королевна неожиданно заговорила по-французски, не считаясь с тем, что я говорю только на одном русском. Потом вспомнила, что я не понимаю, и махнула рукой, расхохоталась...

Начались хлопоты к венцу и приготовления к побегу. Королевна таки добилась своего: им разрешили повенчаться. Потом она ездила куда-то за деньгами, должно быть, к той сестре, которая посылала ей иногда по сту рублей. Комитет рекомендовал им ехать врозь, дал Королевне несколько шифрованных писем в сибирские города. Паспорт был добыт самый настоящий. На Фоминой Королевна повенчалась в тюрьме с Николаем и получила от него нитку с узелками, которая должна была служить меркою для костюма беглецу. Надо было торопиться, потому что Николая уже погнали по этапу в Нижний, где он будет водворен на первый арестантский пароход в Каму. Только два дня после венца Королевна прожила в нашем городе. Последний день мы с ней бегали по лавкам, покупали дорожные вещи и костюм для Николая. Когда проходили мимо оружейного магазина, Королевна испуганно приостановилась:

— Чуть-чуть не забыла!.. Зайдем: надо два хороших револьвера.

— Зачем два?

— Один себе, а другой — Николаю. Будут ловить...

— А вам?

— На всякий случай...

— Тогда сделаем так: я сейчас пойду и куплю один, а вы пойдете спустя четверть часа и купите другой...

— Ах, какой вы умница... Я вас поцеловала бы... Ну, вот деньги: идите и покупайте!..

Купили два револьвера.

— Теперь все... Завтра утром уезжаю...

— Поеду провожать...

— Нет... Лучше приходите вечером ко мне: посидим и поговорим в последний разок...

— В последний разок!..

Сжалось сердце тоской...

— Нет уж... Все равно... Надо, Королевна, сразу... Больно мне, милая, тянуть эту... операцию... Прощайте!

— Ну, зайдите сейчас... На минуту!..

Мы стояли у крыльца друг против друга, и оба были печальны...

— Зачем?.. Прощайте! Желаю вам много-много счастья!..

— Когда-нибудь, может быть, увидимся... За границей...

— Разве это так необходимо?..

— Тогда... Прощайте!..

— Прощайте!..

Королевна ушла. Я медленно побрел к своему дому. И когда очутился в своей комнате, такая тоска поползла в мою душу от угрюмых стен и тишины ее, что не было сил бороться. Точно я только сейчас вернулся с кладбища, где оставил все, что привязывало меня к жизни... Чувствуя, что к горлу поднимается судорожная волна отчаяния, я попробовал запеть... И только хуже сделал... Бросился в постель и начал стонать:

— Королевна!.. Королевна!.. Зачем все так случилось?.. Ведь я люблю тебя, люблю безумно!.. Без тебя я...

На другой день утром пришла горничная из той квартиры, где жила Королевна, и принесла мне сверток.

— От кого?...

— Барышня велели вам отнести...

— Королевна!..

Я выхватил посылку, отдал последний целковый горничной и, спрятавшись в запертой комнате, начал дрожащими руками развертывать бумагу...

— Что такое?!

Коробка конфет из кондитерской! Перевязана розовой ленточкой. На крышке цветы незабудки!.. Больше ничего!.. Письма не было.

Более месяца прошло, как уехала Королевна. Обещала написать, если все устроится, как они мечтали. Но письма не было. И вдруг телеграмма в газетах: «Вчера ночью, при переправе партии арестантов с парохода на поезд же-

лезной дороги, бежал важный политический преступник. Побег, видимо, был подготовлен, бежавший был настигнут в лесу в сопровождении неизвестной женщины, причем при попытке задержать их было оказано вооруженное сопротивление. При перестрелке бежавший преступник успел скрыться, а сопровождавшая его неизвестная женщина убита».

— Она! Она!.. Моя милая, прекрасная Королевна! — подсказало мнё сердце, и горячей скорбью облилась душа.

«А может быть, не она... Как узнать правду?.. Как узнать? И если она, то кто мне расскажет о последних минутах этой так ярко и красиво вспыхнувшей и угасшей девичьей любви?.. Некому рассказать...»

Несколько дней я ходил как помешанный по тем улицам и домам, где встречал Королевну. И так невероятна казалась мне смерть Королевны, что иногда я пугался, обманутый призраком сходства проходящих вдали девушек с любимой... Ускоряя шаг, я догонял призрак, и ил-



люзия исчезала... Нет, не она и совсем непохожа!.. А была какая-то надежда... Почему? Разве мертвые воскресают?.. По ночам я плохо спал: все думал о Королевне и старался нарисовать картину последних минут ее жизни... Как в сказке: ночь, глухой лес, мерцающие в темных дебрях фонари, беглец и королевна из сказок Андерсена... Последняя отчаянная попытка спасти любимого принца, глухой стук выстрелов и тишина... Спит в глухой дебри темного леса прекрасная королевна, и улыбка застыла на ее мраморном лице... Только маленькое алое пятно крови на груди говорит, что не проснется прекрасная лесная королевна и не запоет песни о своем недолгом счастье... Зачем вы наклонились над ней и светом фонаря в прекрасное лицо мешаете ей закрыть глаза и вздохнуть в последний раз?!

Каждое утро я с жадностью набрасывался на газеты: быть может, есть какие-нибудь подробности о «неизвестной женщине»... Нет, так и осталась она для людей неизвестной женщиной...

Если бы встретить того человека, за которого она отдала жизнь!.. Он рассказал бы все, все... Справлялся в комитете: об этом человеке ничего не знают. Слонялся по товарищам, которые были знакомы с Королевной, и надоедал им своими разговорами о ней. А те готовились к экзаменам и неохотно слушали мои сумбурные, взбудораженные речи. Это меня оскорбляло, и я уходил, чувствуя безграничное одиночество. Искал у общих знакомых портрет Королевны, — ни у кого не было портрета... Дома перерыл все ящики и уголки с бумагами и книгами, надеясь найти записку Королевны, написанную ею накануне венца... Нет, не нашел записки!.. И вдруг...

— Коробка с незабудками!..

Да ведь эту коробку мне прислала Королевна, уезжая навсегда!..

— Ах, милые святые незабудки!.. Как любила вас моя Королевна!..

Я держал в руках коробку, целовал незабудки, и слезы текли из моих глаз...

— Незабудки!.. Любимые цветы!..

Ничего не осталось у меня от Королевны, кроме этой коробки с незабудками. Долго, много-много лет, я берег эту коробку из-под конфет: она неразлучно путешествовала со мной из города в город... как святыня, она стояла у меня на столе... Теперь нет ее... Затерялась, не уберег...

Зато до сих пор я люблю незабудки и, встречая их на поле, смотрю на них с такой нежностью, как когда-то в юности смотрел на Королевну...

Недавно я прочитал о том, что в одной из каторжных тюрем скончался от чахотки политический арестант Н. К. Тревожно забилось усталое сердце, как яркая молния осветила память кусок далекого прошлого: ведь этот Н. К. — тот самый человек, за которого отдала жизнь Королевна!..

Не мог уснуть... Все вспоминал это далекое и невозвратное... И захотелось вдруг рассказать вам о Королевне.

СУДЬБА

Бывают, господа, такие случаи в жизни, за которыми, ей-богу, чувствуется судьба, рок или что там еще... Вы говорите, — стечение обстоятельств... Гм!.. Конечно, стечение обстоятельств, но разве этим вы что-нибудь разрешаете?.. Ничего! Ведь, в сущности, каждый данный момент есть стечение обстоятельств.

— Вот тебе и позитивист!..

— Господа! разве позитивизм, отграничивая область доступного пониманию от недоступного, тем самым не утверждает, что это недоступное имеется?..

Начались длинные и скучные споры о позитивизме, которые продолжались бы бесконечно долго, если бы женщины не оборвали нас дружным протестом:

— Надоели ваши умные разговоры!..

— Бросьте!.. Еще поссоритесь... Говорите, Иван Николаевич, о судьбе!.. Это очень интересно.

Женщины уже окружили Ивана Николаевича тесным кольцом, усадили его в кресло перед камином, подали ему бокал вина и настойчиво требовали продолжения рассказа про судьбу.

— Вы так хорошо рассказываете...

— В таком случае я попрошу у вас, милые противницы позитивизма, разрешения закурить сигару. Сигара помогает фантазировать, воскрешать прошлое...

— Сочинять никогда не бывшее! — добавил сердитый мужской голос.

— Да, и сочинять... не бывшее!.. Ведь «прошло и не было — равны между собой», — сказал поэт, — и кто скажет, где граница между «есть» и «кажется, что есть»? Быть может, самая жизнь наша есть только мираж.

— Вон чеховский Чебутыкин из «Трех сестер» усумнился даже в своем собственном существовании...

— Но он был пьян окончательно, а я, господа, только навеселе...

— Браво, Иван Николаевич!.. — радостно закричали женщины и стали подливать ему в бокал вина.

— Так вот, господа, я говорю, что бывают такие исключительные стечения обстоятельств, за которыми стоит не простой случай, а...

— Судьба!

— Да. Ведь количество стечений обстоятельств в миллион, в биллион раз больше, чем комбинаций, например, в шахматах. Жизнь наша на протяжении непонятной вечности есть неуловимый момент. И вот надо же случиться так, чтобы в один из моментов этого момента ты, блуждающий во вселенной, попал как раз в некий узел обстоятельств, которому суждено сыграть главную роль во всей твоей жизни, быть может, перевернуть весь ход и все направление твоего бега во вселенной...

Здесь Иван Николаевич затянулся сигарой, и некоторые из женщин успели вздохнуть и подвинуться поближе к рассказчику.

— Был я юн, и душа моя, как костер под ветром, пылала любовью к человечеству, томилась от жажды подвига и без оглядки шла в бой... быть может, с ветряными мельницами — не в этом дело... По-моему, господа, неважно — с чем, а важно, чтобы душа горела пламенем, а не тлелась и не дымила. Все хорошо и все красиво, когда идет от горящей души, потому что только в этом правда. Где нет огня, а одна логика, — там и ложь... Это в качестве науки логика чиста и прекрасна, а в качестве повседневной руководительницы — это мошенник и плут!..

— Вот так позитивист!..

— Браво, Иван Николаевич! Верно, Иван Николаевич!.. — хором закричали женщины, а позитивист обиженно заметил:

— Женщины, как известно, — самые ярые враги логики...

— Ох, как он мешает! — сказал Иван Николаевич и, отхлебнув из бокала, продолжал:

— Господа! Ведь я не говорю, что в юности мы — дураки. И в юности есть логика. Я только утверждаю, что в повседневной жизни наша логика — плут и мошенник. Если твоя душа и твое сердце чисты, твоя логика побежит в одну сторону, если твоя душа и твое сердце успели оподлиться, логика потянет в другую сторону, — к подлости... Вот и все! А логика всегда и у всякого есть. Это — неиз-

бежная спутница, это — наша тень. В ту пору моя логика тянула туда же, куда рвалась душа. Времена были тревожные. Зрелые люди, отцы, трусливо поджали хвосты, а юные, дети, несли на плечах своих все тяготы жертвы тому государственному Молоху, который особенно любит молодую кровь и молодое мясо... Однако мы весело пели, и среди нас не оскудевали жаждущие сразиться с Змием Горынычем... в честь прекрасной Королевны, которую мы никогда не видали, но все рыцарски любили. Единичные и групповые жертвы время от времени подкреплялись гекатомбами. Я говорю о студенческих беспорядках, которыми в то время называлось всякое проявление со стороны молодежи любви к родине, к народу, к справедливости и вообще всякое проявление враждебных чувств к наследию монгольского ига и крепостного права... Я уже кончал курс: оставалось всего пять месяцев до благополучного завершения высшего научного образования. Жили мы — мать, сестра и несколько меньших братьев — бедно, скудно. Мои уроки, переписка лекций, сотрудничество в местной газете да иголка в руках матери и сестры — вот все, что давало нам возможность не просить Христа ради и не помирать с голоду. Чай, колбаса, вобла и белый весовой хлеб иногда весьма долгое время заменяли нам обед и ужин. Одним словом, жили впроголодь и то, главным образом, благодаря моим заработкам. Желудок был в загоне, но тщетно склонял на свою сторону логику: душа парила к небу и логика тянула туда же. Настал момент гекатомбы: начавшиеся с Москвы студенческие беспорядки покатились волною по лицу родины и докатились до нашего провинциального университета. Вы поймете все рыцарство того далекого времени, если я вам скажу, что все студенчество взволновалось циркуляром какого-то попечителя, который имел смелость высказать, что гимназии существуют не для детей кухарок и прачек. В то же время молодежь была настолько чутка к общественной несправедливости, что не могла пройти мимо этого слишком откровенного циркуляра. И вот покатился горячий поток возмущенности, и тысячи юношей сломали свое благополучие в защиту неведомых кухаркиных детей. В числе этих юношей был и я. Чтобы видно вам было, как ярко пылал тогда в нас огонь гражданского чувства, расскажу о своих переживаниях того времени. Жертва приносилась совершенно сознательно. На завтра назначена общая сту-

денческая сходка в актовом зале, а сегодня я ликвидирую свое относительное благополучие: я знаю, что дни мои сочтены, что с родным университетом будет покончено, что на днях придется или сесть в тюремное заведение, или выехать из города с почетным караулом и переселиться в какой-нибудь новый, неизвестный еще пока город, — и вот, как больной перед смертью, я торопливо творю свою последнюю волю: продаю книги и лекции, которые больше не нужны, передаю уроки тем товарищам, которые решили уцелеть, укладываю в потертый чемоданчик несколько любимых книг, небольшой запас белья, восьмушку чаю и два фунта сахару, фотографические карточки писателей и родных...

— Куда ты собираешься, Ваня? — тревожно спрашивает мать.

— Не знаю, мама. Все может случиться: завтра у нас сходка.

— Ты решил участвовать?

— Да, мама... Иначе нельзя. Ты не беспокойся: быть может, ничего особенного не произойдет, — утешаю мать, но она понимает, что все кончено: вместо университетского диплома — волчий билет, вместо давно жданного отдыха от нужды, такого близкого уже отдыха, — разрушение даже и того минимального благополучия, которое получалось от моих уроков, сотрудничества в газете, переписки лекций и других вольных заработков.

— А как же... мы, Ваня?

Острая тревога в голосе и слезы в глазах. Сестра и братья слушают наш разговор, отвернувшись к окнам, и молчат. Мне невыносимо жаль бедную старушку мать, и не знающую радости девушку-сестру, и маленьких братишек...

— Я думала, — вот ты скоро кончишь курс, и тогда все мы...

— Мама!.. Я не могу, понимаешь, не могу я... Ведь во имя семейного благополучия у нас совершают всякие подлости... Если так рассуждать, то... надо сделаться Молчалиным...

— Боже тебя сохрани!.. Я вовсе не хочу этого...

— С голоду не умрем... Миллионы людей живут хуже нас... На-ка вот на случай: получил сегодня с уроков.

Передал матери все, что успел набрать с уроков, от продажи книг и лекций, из редакции; себе оставил пять

рублей и отправился на тайное совещание «выборных» для окончательного установления порядка завтрашнего дня, то есть выработки порядка для беспорядков. Вернулся домой поздно ночью. Все, кроме матери, спали. Мать встретила меня с прежним тревожным выражением на лице.

— Я думала, что тебя арестовали уже...

— Цел и невредим. Проголодался, мама.

С огарком свечи мы сидели за столом и разговаривали шепотом. Мать уже не пробовала меня разубеждать и отговаривать от участия в беспорядках, она только хотела посоветоваться, как им быть, если меня арестуют...

— Там видно будет. Сейчас трудно что-нибудь посоветовать, мама.

— Без тебя приходил Николай Егорыч... Очень жалел, что не застал тебя.

Николай Егорыч — лаборант в химической лаборатории; мы с ним — большие приятели. Профессор химии возлагает на меня большие надежды, имеет желание, чтобы я остался при университете, и оба вместе они беспокоятся, как бы я, в случае возможных в столь тревожное время беспорядков, не увлекся и, не окончив начатой магистерской работы по органической химии, не вылетел из университета.

— Зачем он приходил?

— Ты там не кончил какую-то работу...

Ну конечно! Ясно, что приходил спасать. Вместо благодарности за внимание я почувствовал досаду на профессора химии и его лаборанта.

— Для этих господ весь свет существует только для одной химии.

— Он очень хвалил твою работу...

— Ну конечно! Уж не думает ли он, что, когда товарищи будут гибнуть, я буду спокойно продолжать эту работу — выпаривать, высушивать и взвешивать?.. Спрятались в своих пробирках, как моллюски в раковинках, и... Ничего они не любят. Даже и науки своей не любят. Притворяются, что для них наука — все... Николай Егорыч мечтает о кафедре... Я, мама, не желаю быть ученым... Презираю я этих моллюсков!..

— Да уж теперь какая наука!..

— Я прежде всего — человек, сознательная личность!..

Выглянул братишка в одеяле:

— Пришел Ваня!..

— Да.

— Ну, слава богу! — прошептал мальчик и скрылся.

На другой день рано утром я простился с матерью и сестрой, поцеловал спящих братьев и ушел на подвиг. Дело было зимой. Шубы у меня не было, ее заменяли осеннее пальто и плед. День был морозный, садовые деревья стояли в мохнатом инее, лошади бегали по улицам седые, с снежными бородами, дым из домовых труб поднимался над городом багровыми столбами. Солнце сверкало ярко, и снег горел бриллиантами. Со всех сторон к университету тянулись студенты-заговорщики. По плану выборного комитета было решено начать этот день обычным порядком: все должны быть на лекциях и ничем не выдавать своего тайного замысла. Ровно в двенадцать часов все лекции должны быть прерваны, и студенты должны двинуться в актовый зал. Вы представьте радость лаборанта, Николая Егоровича, когда он увидал меня за работой! Крепко пожав мою руку, он сказал:

— Слава богу!.. Был слух, что сегодня — сходка... Боялся я за вашу работу. Все пошло бы прахом... Вы-то, конечно, не приняли бы участия, но... но университет-то могли бы закрыть...

— Я кончаю курс. Какой смысл мне путаться в беспорядки?..

— Конечно!

Николай Егорыч еще раз пожал мне руку, поинтересовался, в каком положении моя работа, одобрил и успокоился. Когда часы стали бить 12, я разбил колбу, в которой хранилась моя научная истина, и закричал:

— Господа! На сходку!

Подбежал Николай Егорыч, схватил меня за руку:

— Что вы!.. Опомнитесь!..

— Подите вы к черту!..

Я вырвал руку и побежал в главное здание университета. За мной, побросав работы, последовали почти все бывшие в лаборатории студенты. Остался только один, как и я, «подававший надежды» и впоследствии сделавшийся профессором. Актовый зал оказался запертым. Огромная толпа студентов с горящими лицами, с сверкающими глазами махала руками, гудела, как потревоженный пчелиный рой... Вот треснули под дружным напором двери, и толпа полилась в высокий пустынный зал, сразу

оживший и потерявший всю свою научную серьезность. На подоконниках, на кафедре, на столах и стульях уже появились новорожденные демагоги: они махали руками, требовали внимания, желали говорить, но попытки их были напрасными и тонули в общем шуме и криках. До сих пор не могу забыть пережитых ощущений. Вся душа трепетала под наплывом особого гражданского чувства и пылала жаждой гражданского подвига. Войди в зал солдаты и потребуй, под угрозами пуль, оставить зал, — мы не моргнули бы глазом и остались! Пропала логика разума, осталась только логика сердца. В каком-то экстазе я вскарабкался на кафедру и закричал, потрясая кулаками:

— Товарищи! Поклянемся, что мы все, как один человек, будем отстаивать наши требования, не предадим друг друга и, если будет нужно, принесем себя в жертву царящему произволу!

Дружный взрыв криков: «Клянемся!», поднятые к небу руки, какой-то вопль жаждущей подвига молодости. Затем выборы председателя сходки и торжественная тишина открывшегося заседания. Прочитаны и единогласно одобрены: обращения к «правительству», к «обществу», двенадцать пунктов «наших требований», в которых упоминались и кухаркины дети, а затем — речи с разных пунктов огромного зала: с кафедры, со стульев, с подоконников. Явился ректор. Председатель временно уступил ему кафедру.

— Разрешаю господину ректору слово! — сказал председатель.

Маленький, седенький старичок не нашел ничего лучшего, как обратиться к благоразумию присутствующих, а когда в ответ на этот призыв раздался свист, ректор сказал:

— Университет оцеплен полицией и войсками. Если через полчаса вы, господа, не разойдетесь, — придется обратиться уже не к вашему благоразумию, а к содействию...

— Я лишаю вас, господин ректор, слова! — заявил председатель сходки, — и как председатель обращаюсь к вам с требованием принять нашу петицию и представить ее правительству. Если вы примете и обещаете, нам можно будет прекратить сходку: она будет исчерпана.

— Могу...

Ректор принял от председателя нашу петицию, поло-

жил ее в боковой карман и пообещал дать ей какое-то «дальнейшее движение». Мы почувствовали полное удовлетворение и дружно зааплодировали старичку, а затем стали расходиться... Этим все бы и кончилось, если бы на улице не стали нас хватать и бить нагайками. Но это, к сожалению, случилось, и потому все пошло обычным порядком: уличный бой, обход с двух флангов, захват в плен значительных сил и завоевание увиверситета полицией и войсками. Я уже был в плену: меня вели в группе других товарищей под конвоем нескольких будочников по направлению к пересыльному замку, но в одном из переулков внезапно появился отряд студентов и, после небольшой схватки, освободил нас. Теперь каждый день был дорог: многие из руководителей движения были уже захвачены, а дело только что разгорелось. Я как один из таких руководителей должен был погулять на свободе в интересах общего дела. Аресты и избиения требовали новой сходки и нового протеста, а потому надо пока поберечь себя. Я забыл вам сказать, что в момент переполоха при освобождении нас товарищами на улице я не успел поднять свалившейся шляпы; когда все мы рассыпались в разные стороны, спасаясь от погони будочников, и я утекал без головного убора, с одной лохматой шевелюрой, шедшая навстречу барышня подала мне свою котиковую шапочку...

— А вы? — задыхаясь, на бегу, бросил я прекрасной незнакомке.

— У меня платок!..

И я шмыгнул в проходные ворота, едва запечатлев хорошенькое личико девушки. Очутившись в безопасности, я перевел дух и пошел тихим шагом непричастного к уличному происшествию человека. Мороз был крепкий, щипало нос и уши. Я передвинул шапку на ухо и в тот же момент вспомнил про странную незнакомую барышню, которая отдала мне свою котиковую шапочку, такую нежную, легкую. Я не вытерпел: мне так захотелось взглянуть на эту шапочку, что я снял ее с головы и погладил. Бархатная такая, словно черная мурлыкающая кошечка! Милое личико, разгорелись от мороза щеки, черные глаза сверкнули, как два светящихся угля, рука в коричневой перчатке... Мимолетное воспоминание!.. Иду и жалею, что оно мимолетно. Никогда я не встречу больше этой девушки и никогда не узнаю, кто она и как ее имя!.. Однако к чему мне это знать?..



Весь этот день прошел в беготне по городу: необходимо было спаять полуразрушенную организацию, подсчитать уцелевшие силы, собрать наиболее смелых и деятельных и выставить новое ополчение. Делать это приходилось с большой осторожностью, потому что легко было нарваться на засаду: по городу шли обыски и аресты среди студентов, и частенько уже по направлению к тюрьме мчались пролетки с парочками в виде студента, любовно поддерживаемого за талию усатым жандармом. Формы я не носил, ибо новый университетский устав разрешал нам, поступившим при старом уставе, сохранить эту привилегию, — и меня выдавал только плед и длинные волосы. Необходимо было преобразиться. Встретив знакомого фармацевта, я завел его в «биргалку», и здесь мы поменялись верхней одеждою: я получил пальто на вате, а он — без ваты, но зато с пледом. Затем я зашел в парикмахерскую, остригся «под польку» и стал совершенно неузнаваем. В таком виде я уже бестрепетно проходил мимо университета, обложенного военными силами, и заходил во дворы, где снимали комнаты нужные мне товарищи. Конечно, я не шел прямо к цели, а сперва нащупывал почву и, если положение вещей внушало подозрение, немедленно, с спокойным достоинством, уходил. Таким путем мне удалось составить новый комитет, который и сделался главным штабом кампании. Началось уже брожение в ветеринарном институте, в духовной акаде-



мии и семинарии, — оставалось только сплотить все силы и дать последнее генеральное сражение.

Сходка ночью на кладбище...

До сих пор не могу забыть этой символической картины!.. Морозная лунная ночь. Старые липы и березы загородного кладбища, убранные в белые, сверкающие под лунным светом, снежные ризы, стоят, словно заколдованные, в торжественном странно - значительном молчании. Главные улицы города мертвых сверкают золотом и серебром крестов, памятников и решеток. Образцовый порядок: снег прибран, дороги ровные и гладкие, линии памятников правильные, в окнах склепов, — огни неугасимых лампад... Главный проспект, где всю ночь горят фонари!.. Бронзовые и мраморные ангелы, словно бдительная стража, охраняют покой и порядок этих главных улиц, испещренных надписями-вывесками... Всюду — визитные карточки, с полным указанием чина, звания, профессии...

Странное движение в городе мертвых! Уж не покойники ли встали из могил и гуляют под лунным светом, любуясь снежными кружевами на деревьях своих бульваров?..

— Нет, это живые и молодые, с горячими сердцами и неутомимою жаждою жизни и подвига, не находя приюта в городе живых, пришли к мертвым!.. Мертвые будут слушать их страстные речи о братстве, равенстве и свободе, мертвые будут видеть эти пылающие огнем юные

лица и гневно сверкающие глаза, — мертвые, только мертвые!..

И вот на перекрестке двух проспектов, где жили мертвые статские советники, генералы, купцы первой гильдии, с женами и детьми, заслуженные профессора и прочие почтенные люди, — остановились и сгрудились юноши и девушки. Я начал говорить, но слушатели потребовали, чтобы я влез на памятник: не видать и плохо слышно в задних рядах! Нечего делать... Надо лезть. Какая ирония: мне приходилось взобраться на памятник покойного жандармского полковника и оттуда говорить неприятные покойнику речи!..

— Господа! Здесь покоится жандармский полковник! — сказал я, остановившись в раздумье. Ближайшие засмеялись, и кто-то крикнул:

— Теперь он переменил убеждения!..

— Здесь тесно. Предлагаю, господа, перейти в конец кладбища: там есть площадка!..

Покричали, поспорили и торопливо потянулись в конец кладбища, к бедным могилам, без памятников и склепов, без чугунных решеток и мраморных ангелов... Набрали гниющих остатков от валявшихся там и сям крестов, зажгли костер и открыли сходку... Пламя костра трепетало на лицах, сверкало в глазах, окрашивало снежные кружева деревьев красками утренней зари... Что-то фантастическое было в этой картине... Словно мы, молодежь, справляли тризну по погибшим и обреченным на гибель! Когда агитационные и деловые речи были кончены, какой-то юноша влез на березу и стал махать шляпой... Стихло. Юноша дрожащим, негодующим голосом сообщил, что смятый вчера лошадьми студент Иванов сегодня вечером скончался... Наступило гробовое молчание. Слышно было, как потрескивал костер. Высокий, долговязый студент духовной академии Богоявленский вышел в круг и гулким басом провозгласил «вечную память».

Хор молодежи запел вечную память, но кто-то крикнул:

— Полиция!..

И молодежь рассыпалась по кладбищу... Начались стычки, погони, избиения... Ворота кладбища были заперты, но здесь, на окраине города мертвых, не было каменной ограды, а была невысокая деревянная изгородь, которую мы и употребили на самозащиту при отступле-

нии. Потери наши, однако, были столь значительны, что все нити порвались, и мы почувствовали себя одинокими, разбитыми...

Почти до рассвета я блуждал по пустынным переулкам...

— Теперь все кончено!.. Не стоит далее скрываться...

Захотелось домой. Бедная мама, она ничего не знает о моей судьбе. Вероятно, страдает невыносимо, ищет меня между живыми, то есть арестованными, и между мертвыми — в анатомическом театре. Ведь я исчез бесследно. Захотелось тихо посидеть в кругу родных, успокоить их всех, поцеловать и сказать:

— Не грустите: бог не выдаст — свинья не съест!

Хочется есть, и чувствуется страшная усталость в душе и теле. Так и повалился бы в мягкий снежок на улице и уснул бы! Отказываются ходить ноги. Не имеет смысла скрываться: все я сделал, что мог сделать. Получайте меня!

Побрел к дому. У ворот ничего подозрительного. Заглянул в калитку — пусто и спокойно. В окне у матери, чрез опущенную занавеску, мерцает красноватый огонек: когда мать в унынии или в беде, — всегда в углу пред образом спасителя — огонек. Бедная!.. Жив я и здоров и очень счастлив, что исполнил долг честного гражданина! А вот только устал и проголодался... и хочу спать. Все равно: надо идти.

Поднялся на крыльцо, послушал, — тихо и спокойно, никакой опасности... Осторожно стукнул в скобку двери, — торопливые шаги босыми ногами. Должно быть, не спала бедная старушка, все ждала, и днем и ночью ждала.

— Кто здесь?

— Я, мама.

— Кто?

— Да, я, я!.. Ваня!

Растворилась дверь, блеснул одинокий огонек свечи в руке матери, и она испуганно попятилась в глубь передней.

— Что ты, мама!..

— Господи, я тебя не узнала, Ваня!.. Как ты изменился!..

— Я, мама, обстригся, больше ничего...

— Ты!.. Ты!..

И заплакала старушка радостными слезами. И сквозь слезы говорила:

— Мы думали, что тебя нет уже на свете! Говорят, нескольких задавили, забили...

— Врут, мама! Одного, действительно, смяли лошадьми...

— Вот видишь!.. Господи, сколько муки!.. Я бегала... И Варя бегала, искали везде...

— Да не плачь же! Все прекрасно. Лучше дай мне чего-нибудь поесть. Я ужасно проголодался. Я давно уже не ел и не пил чаю...

Затуманилась старушка. На глазах слезы, а на лице радостная улыбка. Гремит самоваром, тарелками, шмыгает по комнатам. Слышу, будит сестру:

— Варя!.. Ваня-то пришел!..

— Ваня!..

Радостный шепот, возня: сестра наскоро одевается... Выбегает и — прямо на шею.

— И ты плакать? О чем? Чудаки!.. Этак и я заплачу.

Скипел самовар. Сидим в кухне, чтобы не разбудить маленьких братишек. Я рассказываю во всех подробностях о том, что случилось и что я пережил. Они как-то сжались, кутаются в теплые платки, нервно посмеиваются, пожимаются и возмущаются всем начальством на свете, апеллируют восклицаниями к богу, к справедливости, гуманности, к сердцу и к разуму.

— Я тебя не узнала... Без волос и в какой-то шапочке... Откуда ты взял эту шапочку?.. Никак, женская...

— Шапочка-то?..

Рассказываю про шапочку и про девушку, которая дала мне эту шапочку.

— Вот ангельская душа!.. Вот милая-то!.. Кабы знала, пошла бы и поцеловала...

— Удивительная девушка!.. Какие у нее, мама, глаза! До сих пор стоят они в моей памяти...

— Что же теперь будет? Дальше-то?

Стук в дверь. Мы тревожно переглянулись.

— За мной, мама!..

Мать и сестра вскочили и стали метаться по комнате.

— Уходи, Ваня, черным ходом!..

— Одевайся же!..

— Не хочу. Некуда и... незачем.

Опять стук, более сильный и нетерпеливый. Ну с двух сторон: в кухонную дверь тоже стучат!

— Господи!.. Как же быть?! Кто здесь?

— Телеграмма.

— Слава богу!..

Мать откинула крючок, и в распахнутой двери блеснули светлые пуговицы.

— Милости просим! — сказал я невозмутимо спокойным тоном... Полезли в дверь жандармы, штатские, дворники, какие-то странные субъекты. Заполнили всю маленькую квартирку. Начался обыск. Проснулись маленькие братья и с ужасом в заспанных глазах, в одних рубашонках, в наброшенных на плечи одеялах, стояли и волчатами смотрели на нежданных людей. Они неясно понимали, что делается в комнатах, но чувствовали инстинктом, что все эти «дяди», штатские и военные, — наши враги. Обыск кончился скоро. Ничего не нашли. Начали составлять протокол, и когда его читали вслух и дошли до того места, где было сказано, что ничего предосудительного не найдено, мать облегченно вздохнула и прошептала:

— Мы никаких преступлений не совершали... Зря людей беспокоят!

— Одевайтесь! — сказал, обратившись ко мне, жандармский офицер.

— Куда? Зачем? — испуганно спросили в два голоса мать и сестра.

— Вы арестованы...

— Прекрасно! — почему-то ответил я на это заявление и усмехнулся.

Оделся, взял приготовленный чемоданчик и стал прощаться с родными. Все они плакали на разные голоса, поэтому получалось очень тягостное впечатление. А мать еще и причитала... Подступали к горлу спазмы, но я выдержал:

— Мать!.. Ты должна не плакать, а радоваться, что твой сын не мерзавец! — сквозь зубы проскрежетал я и, вырвавшись из объятий матери, сказал:

— К вашим услугам...

Когда меня привезли в пересыльный замок и вели по коридорам, я все громче и яснее различал шум молодых голосов, веселый смех и крики. Казалось, что меня снова вели на тайную сходку студентов.

— Что такое?..

— Ваши безобразничают.

— Меня куда же?

— Да к ним! Всех в одну кучу. Потом рассортируем.

Отперли дверь и всунули. Огромная общая камера была битком набита студентами. Сидели на нарах, словно в аудитории на лекциях, в несколько рядов, сидели на полу, на лавках. Один высокий с длинными волнистыми русыми волосами, стоя в углу, на «парашке», говорил или декламировал. Когда я появился, несколько голосов радостно прокричали мою фамилию и дружный взрыв аплодисментов оборвал литературно-вокальное утро.

— Брраво! Урра!.. Давно ждем!..

Меня стали хватать в объятия, целовать, рвать на куски, и не успел я опомниться, как стал летать в воздухе.

— Эх, ребята, а я и не думал, что тут у вас так весело!..

— Мы никаких уступок начальству: поем, пляшем, говорим речи, покупаем с воли все, что угодно... Хочешь: вон там в углу на верхней наре буфет с холодными закусками!..

— Устал я, ребятушки... Спать хочу... Сил нет.

— Валяй повыше!..

В полутемном углу, на верхних нарах, где неряшливой грудою было брошено верхнее платье, я нашел себе мягкое пристанище и скоро, под неумолчный говор и смех товарищей, заснул крепким и сладким сном. Проснулся бодрый и легко слился с общим настроением веселья и бесшабашности. Пели хором запрещенные песни, декламировали запрещенные стихи, говорили грозные речи и сами себе хлопали. Едва ли когда-нибудь и где-нибудь тюрьма скрывала в себе столько веселья, смеха и радости, как это было в нашем пересыльном замке! Два дня продолжалось это противозаконное сборище, ежечасно пополнявшееся все новыми и новыми членами! На третий день нас стали поодиночке вызывать в контору замка и спрашивать.

— Вы куда желаете ехать на жительство? Назовите город, только не столичный и не университетский.

Большинство ехало на родину и решало это сразу, а нам, покидающим родину, было все равно, и мы решали вопрос «за компанию»:

— Куда ты, дружище?

— А не знаю. Вон Разумовский в Вятку заявил.

— Почему в Вятку? Разумовский, почему ты в Вятку?

— А черт меня знает... Подвернулось в голову... Был я там...

— Хороший город?

— Ничего... Вятский — народ хватский: семеро одного не боятся.

— Давай и мы — в Вятку!

— Черт с вами. Если вы — в Вятку, я — тоже!

Так, за компанию с любимыми товарищами, и я заявил желание попасть на жительство в Вятку. От суматохи, бессонных ночей и непрерывных разговоров и споров все стали утомляться, нервничать, ссориться и встретили общей радостью сообщение, что сегодня в ночь начнется высылка партиями. Распределить порядок высылки предоставили нам самим. Много мы спорили, как быть и кому первому отправляться, — ничего не могли придумать, и начальство решило по-своему: высылать в города по алфавиту. Заявленных городов на буквы А и Б не оказалось, и Вятка оказалась первою...

Мы были рады, а другие досадовали:

— На кой черт я выбрал Пензу!.. Почему я еду в Пензу, а не в Вятку?

Нас, вятских, оказалось шесть человек. Трогательно было наше расставание ночью, когда смотритель тюрьмы вошел в нашу камеру и крикнул:

— Кто заявил в Вятку — пожалуйте на высылку!

Губы заболели от поцелуев, и голоса охрипли от клятв, обещаний и угроз врагам.

— Прощай-те, товари-щи!..

— Не падайте ду-хом!..

На дворе замка стояли две расшивы, запряженные тройками лошадей, и так приятно и мелодично позванивали бубенчиками; на облучке одной из них, кроме кучера, сидел жандармский унтер.

— Ээ, да мы с почетным караулом!..

Вышел бравый полицеймейстер и, когда мы уселись, очень ласково сказал:

— Ну-с, счастливого пути, господа! Трогай!

Забулькали бубенчики, и мы покатились в темную яму тюремных ворот. Ночь была достаточно теплая, мигали

огни на земле и на небе, загадочно поглядывала из-за плывущей тучки луна... Хорошо на свете!.. Только у всех у нас есть нечто на душе, что портит нам хорошее настроение и эту прогулку на тройках за 600 верст от родного города: у кого — мать и отец, у кого — невеста... Город остался позади, а мы все еще оборачиваемся и смотрим на мигающие и гаснущие огни.

— Не видать. Пропали огоньки...

— Да-а!..

— Не скоро их теперь увидим!..

— Не скоро.

— Тпру! Развязывай колокольчики... Какого черта!..

— Не приказано, господа... — говорит жандарм.

— Почему?

— Чтобы без особенного внимания.

— Да какое тут внимание!.. Ночь и снег, да звезды, да лошадиные хвосты!..

— Развяжи уж... — соглашается жандарм.

И началась музыка в четыре голосистых колокольчика и несколько горстей бубенчиков... Ах, какая это музыка в снежном одиноком поле! От нее хочется и плакать и смеяться... Все мы подняли воротники, закрыли глаза и отдались во власть дорожной русской мелодии. Бродили в голове неясные мысли, ощущения, воспоминания, рисовались картины из недавно пережитого, обрывались, и снова в ушах играла веселая и грустная мелодия колокольчиков и бубенчиков... А сверху холодно сверкали звезды... Не оглянуться ли еще один последний раз?..

— Ты что смотришь?..

— Так... Ничего...

— Не дали нам проститься... У тебя — мать?

— Да, и еще есть... сестра, братья...

— А у меня, брат, невеста!.. У тебя как на сей счет?..

— Не имеется, — сказал я и вдруг вспомнил про милую незнакомую девушку, котиковая шапочка которой ехала теперь на моей голове в Вятку. — Симпатия есть, только так это... мимолетное... Вот видишь: шапочка!

Я снял с головы котиковую шапочку и ткнул ею в физиономию соседа:

— На память подарила!

— А я не успел словом перекинуться... Ну, да все равно. Запоем, братцы, что-нибудь веселое... Будет мирихлюндию-то разводить...

И сосед затянул.

По доро... по доро...

А мы подхватили:

По дорожке зимней, ску-у-учной
Тройка бо... тройка борзая бежит.
Ах, тройка бо-рзая-а бежит!..
Колоко... колоко...
Ах, колокольчик однозву-у-чный
Утоми... утомительно звенит...
Ах, утоми-и-ительно звенит!

Услыхали на передней паре и тоже затянули песню...

— С чего это, господа, на вас веселье-то?.. — дивится жандарм. — Чудны дела твои, господи!.. Не угостите ли папиросочкой?..

Разговорились с унтером.

— Ну, хорошо: вы беспорядок сделали, вы едете в Вятку за наказание, а я за что? По долгу службы. А почему я, а не Миронов?

— Да, это несправедливо... — шутливо соглашается мой сосед, а унтер принимает это замечание всерьез и, чувствуя поддержку, продолжает осуждать всякие несправедливости со стороны начальства:

— А ваше дело: разве сами не уехали бы без этого конфуза?

— Какого конфуза?

— А я — на козлах!

— Да, это возмутительно...

— Разве вы преступники! Я ведь понимаю, что такое политический. Вы — против своего начальства, а не то чтобы ниспровержение там или подобное...

— Вон куда махнул!..

— Я про то и говорю, господа. Я понимаю, все понимаю, а только молчу.

Так мы ехали, то пели, то болтали между собою, то пропагандировали перед унтером, то затихали и грустили, то дремали под ласковый перезвон колокольчиков и бубенчиков.

— Это что там? Много огней?

— Город Свияжск. Первый этап. Можете шесть часов пробыть.

— Э, господа, впереди еще тройка: уж не наши ли? Вот бы весело было!

— Гони! В Свияжске на водку дадим.

Ямщик стегнул по всем трем, и мы, обогнав тройку товарищей, пустились вдогонку за третьей. Товарищи не захотели отставать и тоже погнали свою тройку... Под самым городом мы нагнали-таки неизвестных путников и радостно и громко закричали «ура!», увидя на облучке тоже жандарма. Наши тройки обогнали эту новую на всем разгоне, так что трудно было рассмотреть путников.

— Курсистки!.. Ей-богу, господа!.. Видел, что женщины...

— Ну, и везет же нам!.. Впрочем, кто их знает, куда их...

— Один тут тракт. Некуда им. Может, дальше, верст за сто, свернут, а покуда попутчики, — сочувственно успокоил унтер и добавил:

— А, кажись, с ними — он, Миронов!.. Не успел разглядеть... Гм!.. Попридержи-ка лошадей-то. Нам некуда торопиться.

Ямщик сдержал тройку и пустил ее шагом. Спутники нагнали нас и поехали следом, позади. Унтер соскочил и скрылся.

— Он, Миронов!.. Ах, драть его... — радостно произнес он, возвращаясь, и весело прыгнул на облучок.

— Теперь и у меня — компания!..

— А кого везут?

— Женское сословие... Эх, горе!.. Чего они-то лезут?.. Понять невозможно...

Приветливо вздрагивали огоньки маленького города, доносился лай собак, навстречу попадались тяжелые обозы с хлебом, пахло дымом, овчиной и еще чем-то, присущим человеческому гнезду, занесенному чистыми снегами... А вот и первые домики, маленькие, кривенькие, словно калеки-нищие...

— Подвяжи колокольчики: нехорошо — город!.. Исправник есть! — скомандовал унтер.

Разом остановился весь кортеж из трех троек и стал мелодично переговариваться бубенчиками и колокольчиками. Ночь была тихая, и в этой тишине вздрагивающие колокольчики и бубенцы, фырканье уставших лошадок и перекликание ямщиков раздавались как-то особенно рельефно и красиво. Так хорошо было чувствовать, что все три тройки — не чужие, что они — единомышленники и друзья, связанные прошлым и будущим. Должно быть, и лошади чувствуют это содружество: они тоже шлют при-

веты друг другу, — ржут то впереди, то позади. И бубенчики — тоже: разговаривают между собой так ласково, словно улыбаются друг другу... Разбирает любопытство, кто там сидит в последних санях. Вылезаю, закуривая папиросу, иду к товарищам, делимся общей радостью и тихо разговариваем:

— Попутчицы!..

— Да! Иди — познакомься...

— После... Успеем!..

Отхожу, искоса взглядываю на последнюю тройку: все три так закутали головы, что трудно разглядеть лица, видно только одно: женщины...

— Садитесь, господа!.. Готово!..

Бегу к своей тройке. Здесь горячее совещание о предстоящем привале: ночевать в сем граде или, закусив и напившись чаю, мчаться дальше? Весело, с гиканьем ямщиков, с хором бубенчиков, с комьями бьющих в лицо снежков из-под копыт пристяжек, въехали мы в широкую и безлюдную улицу засыпающего уже городка и всполошили всех собак и жителей: три тройки с светлыми пуговицами на козлах. Не губернатор ли едет?.. Редкие прохожие с изумлением останавливались, провожая нас долгим недоуменным взглядом, а некоторые при этом нерешительно приподнимали еще и шапки: на всякий случай! Беспокоила мысль: «А вдруг мы привалим, а третья тройка с таинственными незнакомками проедет дальше и навсегда скроется, а мы так и не познакомимся и не узнаем, кто они?..»

— Стратонов! — обратился я к унтеру, — твой Миронов, пожалуй, дальше проедет, и ты останешься без компании?..

— Здесь лошадей менять. Им тоже остановка...

Наша тройка круто свернула с дороги. Впереди мигнул уличный фонарь, полосатый столб и вывеска.

— Тпру!..

Ну, слава богу: все в одно место... Вылез высокий академик Богоявленский, провозглашавший «вечную память» на кладбище, вылез ветеринар в енотовой шубе, вылез председатель сходки в овчинном мужицком тулупе... А где же мой сосед, «жених»?.. Ах, черт его побери: он успел уже познакомиться с последней тройкой и помогает девицам, которые отсидели ноги и не могут вылезти из саней... И Спиридонов там... Хохот... Как подбадривают и

радуют этот веселый женский смех и женские голоса!.. Я стоял на крыльце и молча улыбался, прислушиваясь к смешанной музыке из бубенчиков и женского смеха... Смеются девушки, смеются бубенчики...

— Господа, а вы пожалуйте в горницу!.. Не прогулка, а по делу едете...

Общий хохот, остроты и ворчание оскорбившегося унтера:

— Вы мне счетом сданы, по книге, под расписку, я за вас отвечаю... Вам смешно, а я...

— Не пропадем, Стратонов!

— Человек не иголка, — поддержал нас другой унтер...

Ожил угрюмый дом почтовой станции. Непохоже было, что мы едем «по делу», а было, действительно, похоже на увеселительную прогулку. Едва ли когда-нибудь этот угрюмый дом видел в своих стенах столько молодых и веселых людей, слышал столько смеха, песни и беззаботности. Мы расположились в большой комнате, которую начальник почтовой станции называл «залой», а женщины — в соседней маленькой, которую он называл «спальней». Наша комната должна была служить и общей столовой...

Женщины сейчас же юркнули в свою комнатку, так что я все еще не успел разглядеть их лиц и мучился любопытством. Пока было известно только одно: две — курсистки, а третья — просто барышня; две первые участвовали на сходке, а третья и сама не знает, за что...

— Она самая красивая! — шепнул мне мимоходом «жених», не успевший проститься с невестой...

Узнав, что мы — студенты, высылаемые за участие в беспорядках, начальник почтовой станции с тревожным лицом подсел к столу и начал расспрашивать, как и что там случилось:

— У меня, господа, сын в духовной семинарии...

— И в семинарии беспорядки!

— Господи!.. Что вы, господа, делаете со мной?.. Зачем все это?

Председатель сходки вытащил из кармана кипу бумаг и, выбирая из нее, подавал начальнику станции:

— «Обращение к обществу!» Из него вы усмотрите, что нас заставило выступить на борьбу. Вот — «обращение к правительству», вот — «к гг. профессорам», вот — «наши требования!..»

— Мне не надо-с... Куда мне?!

— Повесьте на стенку для сведения господам проезжающим!

— Но ведь это... противозаконное, господа?..

Принесли огромный самовар. На столе появились разнообразные яства: колбаса, яйца, сыр, белый и черный хлеб...

— Откуда водка?..

— Аз есмь грешный! — пробасил академик.

— Кто хозяйничает?.. Наливайте чаю!..

— У нас есть женщины... Господа женщины, вы — скоро?

— Сейчас!..

В двери, одна за другою, появились девушки. Я с жадным любопытством устремил на них взоры и... испугался: лицо одной из них ударило меня прямо в сердце... Неужели?! Не может быть!.. Это было бы каким-то чудом... Началось чаепитие. Я взял стакан и ушел в полутемный уголок. Отсюда я продолжал присматриваться к той третьей, которая была «просто барышня» и не знала, за что ее изгнали из города... Она!.. Или природа просто повторила одно из своих произведений, создала двойник... А может быть, *ту* я не успел хорошенько запечатлеть... Но глаза, глаза!.. Это те самые глаза, которые так странно взглянули в мои глаза, когда она протянула мне свою шапочку... Невероятно!.. Она была тихая, неразговорчивая и казалась среди нас дальней родственницей...

Если это — она, — неужели она не узнала бы меня?.. Я подсел к столу и поместился напротив черноглазой девушки. Изредка наши глаза встречались, и я готов был крикнуть:

— Ведь мы знакомы!

И хотелось показать ей котиковую шапочку, которая ехала теперь со мной в Вятку. Да, эта шапочка должна мне дать вполне точный ответ. Как-нибудь показать ей эту шапочку, обратить на нее случайный взгляд черноглазой девушки. Ах, какие у ней глаза!.. Удивительные глаза!..

— Скажите ваше имя!

— Мое?

— Да, ваше!..

Черноглазая девушка покраснела, тихо произнесла: «Поликсена... Владимировна», — и спряталась за самовар...

Поликсена!.. Странное имя. Красивое.

— За что вас, Поликсена Владимировна, выслали?

Опять замешательство, краска на щеках и мимолетный взгляд:

— Не знаю... Смешная история... Как-нибудь расскажу. Сейчас не хочется.

— Жаль. А мне хотелось бы узнать...

— Нет, вы не думайте, что я... за убеждения!.. У меня есть известные симпатии, но я... я... — просто барышня. В чужом пиру похмелье.

Опять спряталась за самовар. Странная. Не хочет разговаривать. Я заговорил с бойкой курсисткой, миловидной, маленькой умницей и хохотуньей. Она выбрасывала по тысяче слов в минуту, перемешивая их с задорным смехом и гримасами, успевала в то же время пить чай с хлебом и резать тоненькими ломтиками сыр. Изредка я вставлял реплики, а сам ловил на себе пристальный взгляд из-за самовара. Я чувствовал на себе эти взгляды и, поднимая свои глаза, заставлял черноглазую девушку смущаться и краснеть. Почему она так взглядывает на меня? Вспоминает и тоже мучится сомнением? Наша встреча была столь мимолетна, что...

— Скажите: у вас нет брата, студента?

— Вы спрашиваете меня, Поликсена Владимировна?

— Да, вас.

— Нет, мои братья — маленькие ребята... А что? Почему вы спрашиваете об этом?

— Так. Пустяки.

Она!.. Теперь я почти убежден, что это — она, та самая девушка, которую я не мог выкинуть из памяти все последние дни, несмотря на вихрь чувств, ощущений и переживаний, который крутил меня в быстрой смене мест, лиц и положений... Надо положить конец обоюдным сомнениям. Но как это сделать? Не хочется при всех. Мне казалось, что у нас с черноглазой девушкой есть тайна, которую надо беречь и хранить. Почему? Не знаю. Эта тайна уже чувствовалась на расстоянии и без слов тянула нас друг к другу. Когда черноглазая исчезала, я беспокойно искал ее взорами и радовался, когда находил. То же я читал и в мимолетных взглядах девушки: появляясь после небольшого отсутствия в комнате, я ловил на себе этот мимолетный, но значительный взгляд, в котором чувствовал необъяснимую симпатию... После того как мы поели и напились чаю, нам захотелось погулять. Брошенная

мысль о прогулке была встречена общим одобрением. Противником ее был один только унтер Стратонов.

— Ночь. Какое гулянье? Не гулять, а по делу едем. Сосните лучше!

— Спи, кто может, я спать не могу! — продекламировал басом академик и предложил Стратонову:

— Господин начальник экспедиции! Выпейте стакан водки и идите или спать, или сопровождать нас, охраняя от соблазнов и искушений!..

— Не убегут они! — произнес Миронов.

— Вера твоя спасет тебя! — сказал академик и поднес другому унтеру тоже стакан водки.

— Пейте от нея вси, — добавил он, постучав по стеклу бутылки.

Шумной толпой мы высыпали на улицу и двинулись по обмерзлым деревянным тротуарам. Академик предложил руку одной из курсисток, плотной, здоровой, краснощекой вятчанке с так подходящей к ней фамилией Ржаных; оба они, как потом выяснилось, происходили из духовного звания и сразу почувствовали взаимное тяготение. Задорная умненькая хохотунья Зинаида Веселова отвергла руку «жениха», который не успел проститься со своей невестой.

— Не хожу на поводах! — заявила она и стала бросаться снежками...

А я... А мы... Странно, что при выходе из дома станции я задержался на крыльце, а она что-то забыла, и потому без всякого уговора мы очутились рядом и позади всех...

Мертвая улица ожила: компания шла с неумолчной болтовней, с обрывками песен, с взрывами хохота, с войной снежками. Некому было вразумлять: пожертвованная академиком бутылка с водкой в пользу почетной стражи моментально убедила обоих унтеров, что никуда мы не денемся, что человек не иголка — не потеряется. Председатель сходки и еще двое студентов подходили ко всем парадным дверям с визитными карточками и щелями для газет и писем и совали в эти щели гектографированные «Обращения к обществу», «К правительству», «Наши требования» и т. д.

— Что вы там делаете, господа?

— Просвещаем местных граждан. Они должны быть в курсе государственных событий первостепенной важности.

А мы шли рядом и немного отстали. Долго шли молча, но в этом молчании чувствовалось приближение к чему-то очень для обоих нас важному.

— Так вы, Поликсена Владимировна, и не скажете, за что вас выслали?

— Аа! Да пустяки. Обвинили в том, будто я помогала освобождать арестованных студентов, а я просто случайно шла по улице и наткнулась на схватку студентов с полицией... и...

— Ну, и что же?

— Один вырвался и бежал без шапки... Ну, я и отдала свою шапочку. А меня арестовали и обвиняют, что я уговорилась раньше и помогала...

У меня вырвался смех радости, я не выдержал наплыва этой нечаянной радости, а черноглазая девушка не поняла меня:

— Я говорила, что все это смешно, и не хотела рассказывать, а вы...

— Вы не так поняли мой смех и мою... радость!

— Радость?

— Да, радость!

— Почему — радость? Не понимаю вас...

— Сейчас вы поймете, Поликсена Владимировна...

Я снял с головы котиковую шапочку и, подавая ее черноглазой девушке, сказал:

— Возьмите, посмотрите!.. Быть может, вы узнаете эту шапочку...

— Что это!.. Как же она к вам попала? Наденьте! Простудитесь!.. Ну же, скорей!

— Узнали?

— Мне кажется, что моя, но... Кто вам ее дал?

— Вы, милая Поликсена Владимировна!.. Вы, добрая душа!.. Я не успел тогда даже поблагодарить вас.

— Вы!.. Не шутите?.. Но вы и похожи и не похожи на того, который...

Мы невольно остановились и устремили взоры в глаза друг друга.

— Неужели — вы?..

— Тогда у меня были большие кудри, а теперь... Призванный к исполнению революционной повинности, я должен был снять свои кудри и потому теперь не совсем похож сам на себя...

— Эй, почтенные! Что вы отстаете? — гулко пронесся по тихим улицам бас академика.

— Это — нас!.. Идем! Дайте руку: здесь такие панели, что того и гляди сломаешь ногу...

И мы пошли под руку догонять ушедшую далеко вперед компанию...

— Боже мой!.. Такая случайность!.. Удивительное совпадение!.. — шептала черноглазая девушка, и я чувствовал, как вздрагивала ее рука под моею.

— Судьба, Поликсена Владимировна!..

— Да, да!.. Даже страшно как-то... Я суеверна!.. Ведь это как в сказке. Точно придумано, сочинено, а не...

— Да, как в сказке... Помните потерянный башмачок и как принц по этому башмачку...

— Да, но я не «Замарашка»!..

Я сконфузился и стал поправляться:

— Какая же вы «Замарашка»... Вы... вы...

Эх, никогда не надо поправляться, потому что при этих поправках очень легко попасть из кулька в рогожку. Так это и вышло со мной:

— Вы не «Замарашка», а...

— «Замарашка» была очень красива, недаром она свела с ума принца, — перебила девушка.

— Нет, вы именно «Замарашка»!.. Дело не в кличке, а... Ах, какой же я счастливый!..

— Почему?

— Не догадываетесь?.. Ну, смотрите!

Я снова снял котиковую шапочку и стал целовать ее...

— Милая шапочка!.. Если бы ты только знала!.. Если бы только могла чувствовать!..

Одним словом, я объяснялся в любви котиковой шапочке, а черноглазая девушка нервно смеялась и говорила:

— Перестаньте!.. Услышат!.. Не надо... Я не хочу, чтобы все знали...

...Рассказывать ли дальше? Случилось так, как должно было случиться. Железных дорог тогда в этих краях не было, до Вятки надо было ехать на лошадях суток шесть-семь. А семь дней в юности часто длиннее, чем семь лет в зрелости!.. При этом путешествие сильно располагает к сближению, особенно такое продолжительное. Даже наши унтера настолько сжились с нами, что в конце дороги всех нас величали по имени и отчеству и скорее походили на

заботливых нянек, чем на приставленных церберов. Академик на каждой остановке дарил им по бутылке водки, и они выплывали на сцену только в тех случаях, когда требовались их услуги. Дело дошло до того, что Стратонов, желая нам спокойной ночи на «привалах с ночевой», напоминал, уходя в кухню:

— Не забудьте сапожки и башмачки выставить! Почистить надо...

Ах, эти «привалы с ночевой!..» Эти морозные лунные ночки, колокольчики и бубенчики, ласковые черные глазки, запушенные инеем ресницы, раскрасневшиеся щечки!.. Кружилась от вас голова, и радостно болело сердечко...

— Стратонов!

— Что прикажете, ваше благородие?

— А что, если я пересяду на последнюю тройку, а сюда посадим барышню?

— Сделайте такое удовольствие! Разве я не понимаю. Сам был молод, ваше благородие!..

— В таком случае зови сюда, к нам, вятскую, — требовал академик.

— Тпру!.. Пересадка!..

Морозная ночка. Небо усыпано звездами. Пытливо смотрит с далеких бледно-синих высот луна. Кругом снега, снега, снега, словно безбрежное море. Тишина изумительная. Только булькают бубенчики, вздрагивают звезды и колокольчики, хрустит снег под ногами...

— Поликсена Владимировна!.. Я — к вам, а Наталью Васильевну просят туда, на нашу тройку!.. Академик умоляет... Я, собственно, для него.

— Лень шевелиться. Ни за что! — отвечает чрез муфту Ржаных.

— Ради бога!..

— Несите на руках!

— Но я не... могу уронить вас!.. Академик! Вылезай на подмогу!

— Что такое?!

— Переноска тяжестей!

— Ага!.. Бегу...

С хохотом, шутками переносим Наталью Васильевну Ржаных на переднюю тройку, а я вваливаюсь рядышком с Поликсеной Владимировной.

— Ой, какой медведь! Вы задавите меня...

— Трогайте!

Одна за другою вздрагивают тройки, визжит снег под полозьями, и опять музыка колокольчиков и бубенчиков. Но еще громче — музыка в сердце. Черноглазая девушка так укутана, уверчена и замотана, что не скоро найдешь руку... Горячая ручка, маленькая, бархатная! Жму эту ручку и чувствую ответное пожатие... Ах, всю жизнь бы ехал так, и как жаль, что Вятка так близко! Надо было нам выбрать северный полюс!.. Мало мы говорили между собою, но в тихом звездном молчании морозной ночи кто-то всемогущий говорил за нас и все сильнее переплетал наши души сладкими предчувствиями и трепетами первой нежной и властной любви. Иногда, взглядывая в глаза друг другу, мы закрывали их от неудержимого тяготения, какого-то страшного и томительного тяготения, влекущего к поцелую. Должно быть, мы были так наэлектризованы этим томлением, что третий седок в санях — говорливая умница и хохотунья, Зина Веселова, — начинала нетерпеливо возиться на месте и ворчать:

— Двадцать пять градусов мороза: амуры могут поморозить носы!..

— А? Что вы, Зина, говорите?

— Амуры — голые, а морозы — свирепые. Больше ничего.

Я испуганно выпускаю руку милой, смотрю в небо и говорю:

— Да, зябнут ноги...

— Но не руки!.. И не сердца!.. Сердца горят и тают.

— Не понимаю... При чем тут сердца?

— Какой вы... непонятливый!..

И веселый, заразительный смех Зины Веселовой уносится в снежную степь, мерцающую синими огнями под лунным светом...

На последней станции перед Вяткой скрытое тяготение вырвалось, разрешившись первым решающим судьбу поцелуем. Столкнулись в темных сенях почтовой станции:

— Ты... Ваня?

— Да...

И трудно объяснить, как наши губы нашли так быстро друг друга в темноте и так же быстро оторвались, не сказав ни одного слова... О чем тут разговаривать? Губы сказали все одним прикосновением. Я въезжал в Вятку с гордым сознанием исполненного гражданского долга перед родиной и с чувством самого полного и глубокого

личного счастья... Принц нашел-таки прекрасную «Замарашку»!..

Не так счастлив оказался академик. Он успел влюбиться в здоровую вятчанку Ржаных, но успех его был сомнительный.

— Ну, как дела?.. Объяснился? — спросил я его, когда впереди засверкали огни неведомой Вятки.

— Да...

— Ну, и что же?..

Академик подумал, вздохнул и грустно произнес:

— Подумает!..

— «Подумает...» А не сказала: «Поговорите с мамашей»?

Академик промолчал, спрятался в поднятый воротник и застыл.

...Вот, господа, и все!..

Слушательницы запротестовали:

— Как все? А конец? Чем же все кончилось?..

— Конец обыкновенный.

— Женились?

— Да нет, не женился. Разве когда-нибудь первая любовь завершается бракосочетанием?.. Тем-то она и прекрасна, что не имеет завершения!..

Слушательницы были не только разочарованы, но прямо рассердились на рассказчика...

— Это какой роман!.. Без конца!..

— Где же ваша судьба и рок?..

— Вот тебе раз!.. А шапочка? Котиковая шапочка?..

— Почему же вы не женились на этой милой черноглазой девушке?

— Бессовестный какой!.. Увлек и... Как смели не жениться? Говорите!

Рассказчик помолчал, нахмурился и, опустив голову, сказал:

— Умерла она... Приехала в Вятку и умерла... От воспаления легких... Теперь довольны?

Все разом смолкли, и стало слышно, как часы в столовой мерно и торжественно выстукивали:

— Так! Так! Так!

И вдруг среди водворившейся тишины послышалось тихое сдерживаемое всхлипывание: кто-то из женщин плакал! Все словно обрадовались и, кинувшись к плачущей, стали смеяться и утешать...

— Софья Николаевна!.. Голубушка!.. Что вы!...

— Но мне жаль эту милую черноглазую девушку...

Дамы накинулись на рассказчика:

— Не надо было так грустно кончать!.. Испортили у всех настроение!..

Рассказчик грустно ухмыльнулся и ответил:

— Милые слушательницы!.. Я могу вас утешить... Не все кончается так грустно: академик Богоявленский женился на Ржаных... Ей-богу! Даю вам честное слово!.. Женился и ушел в попы. И оба теперь они довольны, оба счастливы и... неимоверно растолстели!.. Года два тому назад я ехал по Каме и встретил на пароходе эту счастливую парочку. Случайно разговорились и узнали друг друга.

— А это моя супруга!.. Если изволите помнить, с нами ехала в Вятку некая девица Ржаных... Так это — она самая!..

— Ну, как живете?..

— Слава богу, помаленьку... — пробасил благочинный.

— Помаленьку, полегоньку! — пропищала супруга, похожая на беременную свинью.

Я ушел в каюту и... спустя двадцать лет после смерти моей «Замарашки» поплакал о ней и порадовался за нас обоих...

ГОРОДОК

Рассказ

...Вот вы, столичные люди, провинциалов презираете и так рассуждаете, будто мы, провинциалы, и не люди совсем, а так, вроде как насекомые. А я вам скажу, что люди — везде люди, а в маленьких городках они даже много интереснее: у вас, в столицах — все на один фасон, все под одну гребенку подстрижены; душа-то у вас так запрятана, что и не видать ее совсем, а у нас, провинциалов, она всегда нараспашку и притом — во всей натуральности, а у нас что ни человек, то — на особицу...

Вот хотя бы наш городок. Действительно, ни в истории, ни в географии про него ничего не написано. Так, дескать, хлебная пристань на Волге, и кончено. Однако не единым же хлебом жив человек. Даже обидно: на карте маленький черненький кружочек поставлен, вроде как муха погуляла и памятку свою поставила, а название обозначено такими крохотными буковками, что и прочитать невозможно. Географии эти про самое главное забывают: про *человека*, про венец творения божьего.

Да-с, пожить надо самому на месте, тогда только и поймешь, что в каждом божьем городке непременно есть много замечательного, что ни историки, ни географы во внимание не принимают... Я вот достаточно пожил и скажу прямо: конечно, дураков везде больше, чем умных, были они и у нас. Но и дураки и всякое безобразие свой смысл и свое оправдание имеют: рядом с глупостью и безобразием ярче ум и красота сияют. Почему же я должен судить о городе и презреть его из-за дураков и безобразий. Господь вон соглашался из-за трех праведников два города Содом и Гоморру пощадить. Ум и красота, господа, никогда местом не стесняются. Ну, и у нас в городке было кое-что, кроме дураков и хлебных амбаров с крысами...

Конечно, давно это было и, как говорится, быльем заросло, притом же я был молодым человеком, а молодости свойственно ошибаться, однако дожил я до седой бороды и до потери гибкости во всех членах, спросите меня, чем был замечателен наш городок в старые времена, я и теперь скажу: многими замечательными людьми, как мужского, так и женского пола; среди первых были люди ума и образованности, люди душевной красоты, а среди вторых — красавицы первого сорта и высоких женских добродетелей. И перед ними отмеченные в географии хлебные амбары не заслуживают никакого внимания... Начну из деликатности с женского пола. Всю, почитай, матушку Россию я изъездил в своей жизни, а такой девицы, как Леночка Боголюбова, дочка соборного благочиннаго, нигде и никогда больше не видывал. И могу со вздохом сказать: из-за этой красоты я на всю жизнь холостым остался, сколько случаев было предложение сделать и согласие на бракосочетание получить, а вспомню Леночку Боголюбову, примерку на нее сделаю, и желание отходит, опять на поиски. Так и проискал до седой бороды. А между нами говоря, если бы не несчастный случай, так... Об этом, впрочем, речь впереди... Ну, и другие имелись. Молодая попадья от «Варвары-великомученицы», например, Глафира Никодимовна. Или дочка исправника Ниточка Варягина, или взять хотя бы дочь купца Расторгуева, Капитолину Ивановну... Конечно, вкусы у людей разные. Но относительно Леночки Боголюбовой все наши настоящие ценители красоты сходились и иначе, как Прекрасной Еленой, ее не называли. Да что там ценители, — все жители мужского пола, не потерявшие чувствительности к прекрасному, проходя мимо дома отца благочиннаго, посматривали: не выглянет ли в окошечко златокудрая и синеокая Леночка. Из истинных ценителей красоты только один Платон Фаддеич Попов, смотритель уездного училища, попадью от «Варвары-великомученицы» выше ставил и по праздникам к обедне, не в собор, а туда ходил, но и то, как я подозреваю, из одного упрямства. Особое мнение любил! Бывало, сцепятся они с учителем истории и географии, Пантелеймоном Алексеевичем Иероглифовым (человек, можно сказать, всемирнаго образования!), так только перья летят:

— Позвольте-с, Платон Фаддеич!

— Извольте, Пантелеймон Алексеевич!

— Признаете вы, что самая красивейшая женщина во всем мире и во все века была и пребудет Елена Прекрасная, из-за которой Троя погибла?

— Допустим! — говорит Платон Фаддеич, а сам как ерш ощетинится, и на лице полное противоречие: согласился, а сам ждет, чтобы зацепиться за какое-нибудь словцо и противника на клочки, как говорится, разорвать. — Допустим!

— А насколько известно, эта божественной красоты женщина была не брюнетка, а чистокровная блондинка... и вообще я должен сказать, что идеал женской красоты — именно блондинка с голубыми глазами, то есть тип именно Леночки Боголюбовой, а не брюнетки Глафиры Никодимовны...

Вот тут Платон Фаддеич и наскочит с научной точки зрения:

— Это, — говорит, — не доказано. — И ручки в брючки засунет, да на каблучках начнет покачиваться, а на лице ехидная улыбка.

— То есть что не доказано.

— А не доказано ваше голословное утверждение, что Елена Прекрасная была блондинка!

Ну, тут уж мы все на него, как на чужую собаку, разом набрасывались: уж не могу сказать, откуда у нас такое историческое убеждение было, но все мы твердо были уверены, что Елена Прекрасная была блондинка чистейшей воды.

— Вы, Платон Фаддеич, всемирному факту противоречите! Это даже недобросовестно со стороны образованнаго человека, каким вы себя заявили...

А он свое:

— Докажите путем исторических документов!

Ну, а какие же тут документы? Где их в нашем городе достанешь?

— Ну, а раз вы, господа, документов не имеете, ваше утверждение столь же голословно.

Однако, когда этот спор повторился на именинах у господина Иероглифова, даже крупная ссора вышла: я подоткнул-таки Платона Фаддеича! Выпил я тогда и, конечно, осмелел. Хотя я в гимназии до пятого класса и дошел, но в трезвом состоянии понимал, что не мне лезть в споры с таким образованнейшим человеком, как Платон Фаддеич.

Ну, а выпил — сами понимаете — на «ура», как говорится, пошел.

— Вы, — говорю, — документ требуете? Отлично! Я в гимназии и греческий и латинский языки изучал и вот, господа, публично заявляю: в «Иллиаде» у господина Гомера Елена Прекрасная «златокудрой» названа! Дальше идти некуда, — говорю, а между тем и сам не знаю: вру я или вспомнил исторический факт. Смотрю: Платон Фаддеич замялся. Тогда я еще надбавил:

— Что же, — спрашиваю, — и самого Гомера опровергаете? Современника?

Платон Фаддеич покашлял — даже в горле у него от неожиданного научного удара пересохло — и говорит, поигрывая от волнения своей золотой цепочкой с брелочками:

— Допустим, что даже и документ имеется. Однако у всякого свой вкус и свой образчик: один любит арбуз, а другой свиной хрящик...

Не могу вам сказать, до чего сильно оскорбила меня эта неуместная пословица, примененная в нашем споре! Собственно, не лично меня. Себя я защитил моментально, в два слова.

— Я люблю, милостивый государь, как арбуз, так равным образом и свиной хрящик!

Но оскорбился я всего больше за вылазку Платона Фаддеича против моего идеала в образе Леночки Боголюбовой.

— Раз вы, — говорю, — утверждаете, что пред нами арбуз и свиной хрящик, то позвольте, за отсутствием беззащитных женщин, спросить вас, кого вы называете арбузом и кого свиным хрящиком. Под какую рубрику вы относите Леночку Боголюбову?

Не знаю, как бы оно вышло, если бы Платон Фаддеич искренне подтвердил, что именно Леночку Боголюбову он разумел в образе свиного хрящика. Но, видя мое напряженное и решительное выражение лица, он ретировался:

— Не ту, — говорит, — и не другую, а наши вкусы.

— Раз вы утверждаете, что мой вкус — свиной хрящик, между тем как вам известно, что мой идеал — Леночка, значит вы приравниваете именно ее к свиному хрящику. За подобные слова порядочных людей бьют по физиономии...

Но тут нас схватили и растащили в разные стороны, а потом Платон Фаддеич всем доказывал мою нелогичность: он, дескать, не утверждал, что сам любит арбуз, а что я — свиной хрящик и что в данном случае оскорбление недоказуемо. Хотя нас заставили чокнуться и одновременно выпить за обеих женщин, а в дополнение и вообще за всех женщин, блондинок, брюнеток и шатенок, лишь бы в них запечатлелась красота создания, однако мы потом целую неделю не разговаривали. Предметы раздора, можно сказать, послужили и к нашему примирению. Как-то я гулял с Леночкой Боголюбовой, а Платон Фаддеич — с Глафирой Никодимовной. Встретились, и все неожиданно смягчилось: улыбнулись друг другу, а когда Леночка с Глашенькой поцеловались, и мы друг другу руку протянули. И стали разговаривать с взаимным уважением, по-прежнему:

— Денек-то какой? — сказал я.

— Красота неописуемая! — ответил Платон Фаддеич и научно так добавил:

— Следует ценить красоту во всевозможных видах, формах и образах, и кто может утверждать, что земля красивее небес или что небеса могут заменить нам землю? Все мы одинаково тяготеем, как доказано Лапласом, к земле, а духом и очами, как говорит Кант, возносимся к звездным небесам...

— Днем звезд не бывает! — сказала со вздохом Глафира Никодимовна, но увертливый Платон Фаддеич объяснил:

— Звезды сияют на небесах во всякое время и во всякий час. Стоит только сейчас залезть в глубокую яму, и мы увидим их, как видим ночью.

Когда Платон Фаддеич говорил о «любви к красоте во всякой форме и во всех видах», я сейчас же раскрыл тайный смысл его слов и в душе вполне согласился, что сколь прекрасны небесно-синия очи Леночки, столь же хороши и земно-огненные темные глаза Глафиры Никодимовны, а Платон Фаддеич, окончив про звезды на небесах, задумчиво покрутил тросточкой с серебряным вензелем и произнес очень мечтательно:

— Если бы я был мусульманином, я имел бы только двух супруг: брюнетку и блондинку!

А Глафира Никодимовна засмеялась и сказала:

— Бодливой корове бог рог не дает..

Однако Платон Фаддеич очень тонко отразил женский удар.

— Да, ваша правда, — говорит, — рог не имею, ибо они даются нам в приданое к женщине...

Эта чересчур смелая для чистой девушки проблема заставила Леночку Боголюбову густо покраснеть и опустить глаза в землю. Боже мой, как она была в эту незабвенную минуту прекрасна! Между тем, скользнувши по лицу Глафиры Никодимовны, я приметил лишь лукавые искорки в глазах и шаловливость в полных губах. Вот, думаю, какая разница обнаружилась сразу между нашими идеалами и между красотой земной и небесной. Поджала Глашенька губы сердечком... (Вы уж извините, что я буду называть даму, чужую жену при этом, — Глашенькой: этим я не хочу указать на какую-либо интимность в наших отношениях, а просто для сокращения разговора!) Так вот, поджала она губки сердечком и, как говорится, пустила шпилечку в адрес своего кавалера, в его, так сказать, ахиллесову пятку:

— Теперь понятно, почему вы боитесь жениться.

Платону Фаддеичу надо бы уж воздержаться от щекотливого разговора, а ему, как говорится, вожжа под хвост попала: брыкаться начал:

— Вашего сравнения с бодливой коровой не принимаю, ибо холост, а рога суть отличие законных супругов. Им я и уступаю это удовольствие, рога то есть!

Вижу: обе дамы наши в лице изменились: Леночка побледнела, а Глашенька губки надула. Неприятно, конечно, слышать такое голословное мнение холостого человека о своем поле. Молчание наступило между нами, и я решил смягчить этот неприятный момент.

— Всякия жены, говорю, бывают, и не все мужья с рогами ходят. А если правду говорить, так вот что: если бы сделать на этот счет правильную земскую статистику, так и оказалось бы, что процент рогатых жен вдвое больше рогатых мужей, а только мужчина умеет хорошо все концы своего поведения в воду прятать...

Леночка платочек обронила и отстала: женская хитрость, — не пожелала такого щекотливого разговора выносить, а Глашенька и говорит очень серьезно:

— Надо бы, Платон Фаддеич, все-таки поосторожнее выражаться. Леночка, правда, тут ни при чем, потому что девица еще и рога к ней никак не относятся, но,

во-первых, для девиц неподходящий совсем разговор, а во-вторых, с вами идет замужняя женщина, так что про рога-то эти как будто бы...

Попал, думаю, голубчик, как кур во щи! Как теперь вывернешься? Так что вы думаете?.. Ну, и остроумный же, находчивый человек! Что значит образованность!

— Во-первых, — говорит, — о присутствующих не говорят, а во-вторых, это духовного звания совершенно касаться не может, и в этом смысле, — говорит, — вы, Глафира Никодимовна, жена Цезаря!

— Что такое? Как жена Цезаря? Вам хорошо известно, чья жена я...

— Не подлинная жена Цезаря, а подобны жене Цезаря, которая в истории числится вне всяких подозрений. Про нее говоря по-латински, аут бене, аут нигиль! [1]

Глашенька смутилась и, пожавши плечиками, сказала:

— То-то же... Вообще прошу поосторожнее в выражениях! — А на лице улыбка и удовольствие: понравилось, что с супругой Цезаря ее сравнил.

Ну, до чего ловок, хитер и увертлив наш Платон Фаддеич! А ведь вот тоже житель нашего города. Как же можно говорить, что наш город ничем не замечателен, кроме как хлебными амбарами и крысами? Такой человек и в столице многих за пояс заткнет. Возьмем опять-таки молодого батюшку в храме «Варвары-великомученицы», супруга Глашеньки. Прямо, можно выразиться, божественный человек. Какая духовная красота совместно с телесной, какая подлинно ангельская кротость, какое смиренномудрие и бессребреность! Поищите-ка в разных известных городах, в столицах! Из-за таких именно праведников господь Содом и Гоморру щадит! Стыдливая женственность и умиленность. И притом же рыбарь, рыбак по призванию, подобно первым апостолам. Боюсь, что это кощунство с моей стороны, но при виде отца Константина я всегда любимого ученика Христова, Иоанна, вспоминаю. Однако простите уж — все мы во грехах погрязли — и греховное на мысли одновременно приходит: когда я видел отца Константина рядышком с законной супругою, то прямо дивился, как такой богоносный, можно сказать, человек возлюбил и сочетался с греховностью мирскою. Не подумайте, что я имею скрытое намерение опорочить пове-

---

[1] Или хорошо, или ничего (*лат.*).

дение Глашеньки. Ни боже мой! Не в пример другим, я ничего худого сказать про эту женщину не могу, но говорю лишь про видимость. А видимость телесная у ней была совершенно лишена святости, от природы. Она, конечно, не виновата, что такою сотворена от рождения. Все в ней напоминало о первом человеческом грехопадении, нам, мужчинам, конечно. Она и пококетничать, и потанцевать полечку с фигурками, и веселые песенки на святках попеть, и глазом в проходящего офицерика стрельнуть, и по последней моде приодеться, шляпку какую-нибудь с пером от «жар-птицы», и перчаточки... Вся мирская, земная, суетная, и думается мне, что про небеса даже и во снах не интересовалась. По гостям любит ходить и рюмочку наливочки вишневой другой раз, зажмурив глазки, проглотить и губки облизать, как кошечка после сливочек. А отец Константин от всякого греха сторонился, по гостям не ходил, хмельного в рот не брал, скоромное только в положенные дни употреблял и вообще точно на земле между прочим и ненадолго. С виду совсем они неподходящими друг для друга были, а вот поди: жили без сучка, без задоринки! Ни ссор, ни грубаго слова, даже никогда и не посердятся друг на дружку. Одним словом — замечательная парочка. Непостижимое для нас воссоединение земного с небесным. Однако человек всегда человеком останется. Даже святые угодники земные слабости имели и непрестанно боролись с таковыми. Тем паче отец Константин, человек молодой, второй год только священствовавший. Слабости, впрочем, довольно простительные даже и для священника: гитару и рыбную охоту очень уж любил! На гитаре, конечно, больше божественное играл и баритоном, таким умиленным и бархатным, подпевал, что иной раз прямо слезу прошибал, хотя я, например, трудно вообще поддаюсь умилению божественному и больше цыганское люблю послушать. А поди вот, как, бывало, отец Константин запоет псалом Давыдов: «Камо пойду от духа твоего», — капает слеза, и кончено! Не остановишь. Поет, словно рыдает человек в бессилии своем человеческом! Некуда деться! Глашенька тоже играла на гитаре, но она только и знала, что полечку да марш персидский, а больше так пальчиками тонкими кокетничала. Зато на пьянине хорошо упражнялась. По случаю у станового купила. Хотя два лада не играли, а видно сразу было, что тут она — на своем месте: звону и грохоту, бывало, на всю улицу,

и все проходящие послушать останавливались. Всяких Шопенов и Шубертов могла. Глядишь на руки, и словно их штук пять у ней: во все концы поспевает. Извините, начал про отца Константина да опять на Глашеньку свернул. С сюжета, как говорится, соскочил... Так про слабости-то. Рыбная ловля — главная, если гитаре значения не придавать. Вот уж верно сказано: охота пуще неволи! Тоже как вроде ахиллесовой пятки у отца Константина была эта рыбная ловля. Нечего грех таить: иной раз батюшка для этой охоты готов был и божественное на второй план поставить. Приедут из деревни пригородной за батюшкой — исповедовать там больного, что ли, а он — за Волгой на рыбалке вместе с гитарой и с супругою. Конечно, эту страсть, человеческую слабость, от постороннего глазу приходилось прикрывать. Однако у города и глаз и ушей — великое множество, и к тому же на чужой роток не накинешь платок. А главное — сама Глашенька в этом случае осторожность не соблюдала. С лицом духовного звания с ночевой за Волгу, и к тому же с гитарой! Едут на лодочке вечером. Тишина. По вечерней зорьке по тихой воде далеко слышно: трень да брень, а навстречу в лодке с лугов косцы, мужики с бабами. И видят: батюшка на веслах в исподнем, в одной соломенной шляпе на голове, а на корме — попадья с гитарой, — трень да брень. Разя простой человек поверит, что тут безгрешное времяпрепровождение, а не грехопадение? Ну, и начнут наши мещане по городу языками чесать. Да еще и прибавят: выпимши, дескать, и оба голые. Сочинять-то все мы мастера. А ведь среди народа православного, не в обиду будь сказано, мало ли святош, которые у себя в глазу бревна не замечают, а у ближнего своего и малый сучец в осуждение ставят? А главное: очень молод уж был отец Константин, и потому плохо в его святость верили жители, и всё за ним примечали, и всякое лыко, как говорится, в строку ставили. Зачем по вечерам иной раз под ручку с попадьей ходит? Зачем на гитаре упражняется? Зачем попадье модную шляпку дозволяет? И почему музыка в поповом дому на всю улицу громыхает? Соблазн, видите ли, для них, блюдущих чистоту и непогрешимость. Душа беспрерывно в грязи, как свинья, роется у самих-то, а они с больной головы на здоровую. Вот уж тут наш городок действительно прихрамывал. А и то сказать: помойные ямы в каждом городу есть, где помельче, где поглуб-

же, а ведь вонь-то одинаковая! Публика, одним словом! Каждого в отдельности рассмотришь: ничего, приличный и даже добрый человек, а как очутится в публике, то и смотри, чтобы не подпакостил. Особливо в любовных делах. Тут всякий с своим рылом суется, куда его не просят, и норовит всю подноготную взрыть и посмеяться над идеальными чувствами твоими. Уж на что я, например, как говорится, ничем и никогда себя в женском вопросе не запятнал, а у публики не выходил из подозрения и, главное, — куда камешки-то бросали? Возмутительно сказать. В батюшкин огород! То есть относительно нравственности Глафиры Никодимовны. И это в то время, как я публично, всем своим поведением доказывал, что мой идеал — Леночка Боголюбова. Обожая эту девицу, я никогда никаких претензий на внимание со стороны супруги отца Константина не заявлял, а если частенько у них бывал, то во-первых, по-медицинским соображениям (я был земский фельдшер и зубы великолепно рву), а во-вторых, из страсти моей к рыболовству, а вовсе не к Глашеньке. С малых лет я к этому удовольствию пристрастился и, конечно, сдружился на этой почве, то есть на рыбной, с отцом Константином. Рыбак рыбака, как говорится, видит издалека, а мы «навизави» жили, так что из окна в окно летом разговаривали. А потом я — человек одинокий. Тоскуешь иной раз, размышляя о невозможности пожать тонкую женскую руку, и вдруг из раскрытых окон попова дома загрохочет музыка на всю улицу и начнет тебе душу бередить. Всякие бредни о счастии, которого на мою долю, видно, не было заготовлено. Ну, схватишь шляпу и марш через улицу в дом музыкальной волшебницы — послушать этих Шопенов и Шубертов и поглядеть, как женские ручки по ладам инструмента скачут друг за дружкой, словно в горелки играют... А кстати и относительно рыбалки с отцом Константином условишься: когда и куда в ближайшую очередь двинемся? У отца Константина — и лодка, и снасти, и подпуска. Полное оборудование. Одним словом — дружба на рыбной подкладке, а уж совершенно не на романической. А вот что касается Платона Фаддеича, так у того действительно рыльце в пушку было. И всего обиднее, что про меня болтают, а он — в сторонке. Слепота-то человеческая! Я-то его давно раскусил и насквозь все его хитрости видел, а прочие, а в том числе и сам отец Константин, и усом не вели. В своем любовном

деле этот человек хитрее лисы был. Любителем рыболовства прикинулся и к нашей компании припаялся исключительно для ради возможностей ближайшего соприкосновения с духовным домом и через то — с своим идеалом красоты, а понятнее сказать — с Глашенькой. И опять скажу: хитрее этого образованнейшего ухажера и в столице не отыщешь!..

Книгу господина Аксакова про рыболовство купил и по ней всю рыбную биографию до тонкости изучил. Своей рыбной образованностью окончательно обворожил отца Константина. Начнет, бывало, молоть относительно рыбьей жизни, так только уши разевай! Со стороны послушать — словно он сам в рыбьем звании побывал. Как и где рыба живет, какие места любит, что кушает, как любовными делами занимается, — все расскажет. Характер и поведение каждой рыбины. Однажды Глашенька слушала-слушала, да и говорит:

— Видно, вы, Платон Фаддеич, раньше какой-нибудь рыбой были?

А тот хорошо знал, что Глашенька стерлядку любит, и отвечает:

— Я до своего человечества в Суре-реке стерлядью плавал.

А я, человек прямой, не удержался, видя, как ловкий ухажер свои делишки обделывает:

— По моим соображениям, — говорю, — Платон Фаддеич, не иначе, как щукой был! — А потом в сторону святого человека нашего, отца Константина, поглядел и добавил:

— На то и щука в море, чтобы карась не дремал.

Однако святой человек ничего не понял по чистоте своих чувств, а Глашенька, видимо, смекнула: залилась звонким хохотом, а потом — к инструменту и стала музыкальным грохотом отвлечение щекотливому разговору делать. Серенаду Шуберта закатила: «И никто, о друг мой милый, и пр.» Музыка музыкой, а Платон Фаддеич наклонился к моему уху и шепчет:

— Бывают на свете ерши колючие, а щука все-таки и ерша может проглотить. С хвоста они глотаются...

Надо вам сказать, что видимость дружбы у меня с Платоном Фаддеичем соблюдалась, однако мы оба чувствовали оттолкновение душевное и даже телесное друг от друга. И бог знает по какой причине. Только не из-за женского пола! Ни боже мой! Тут, как говорится, делить

нам было нечего: разные идеалы красоты. Однако с его стороны ко мне неприязнь, как я наблюдал, проистекала и по женской линии. Есть такие мужчины: лежит собака на сене, и сама не ест, и другим не дает. Именно такой породы он был. Царствовать самодержавно между всеми кавалерами нашего города желал, и тут никакой конституции не признавал, а между тем самых либеральных взглядов придерживался и даже тайно в «кадетской партии» состоял. Никаких соперников в женском вопросе не терпел, а жениться — мерси боку! Пожилые дамы нашего общества частенько его под обстрел брали: такой, дескать вы, Платон Фаддеич, любитель женскаго полу, в годках уже и притом с положением, за всеми молодыми дамами и девицами ухаживаете, а приличных предложений никому не делаете. А он покашляет и скажет:

— Не перебесился еще.

— Долго ли же вы беситься еще предполагаете?

Приперли его так однажды почтенные особы в клубе, на семейном вечере, а он такой козырь и выкинул: изучаю, дескать, я естественные науки и намерен сразу на третий курс университета поступить и потом по научной дороге. И когда курс окончу, тогда немедленно и подругу жизни изберу...

А надо правду сказать: жених он был у нас для очень многих девиц завидный, и ревность между собой весьма многими проявлялась. Многие мамаши и дочки зарились, да разя такого хахаля ухватишь? Как налим в руке! Склизкий и вертлявый. Особенно мечтала о нем дочка купца Расторгуева, Капитолина Ивановна... Хлебные лабазы и мучная торговля, собственный буксирный пароход «Самсон» и легкий — «Стрела», до Симбирска и обратно бегает! Можно сказать — находка, а не невеста. Хлебная крыса и притом девица в полном расцвете всех целомудренных прелестей первого сорта, со сверканием бриллиантов в ушах, на шее, на всех, почитай, пальцах и особенно на возвышенной груди! Сколько конкурентов из мучной торговли к ней присватывались — всем отказ: родители образованного и благородного человека желают, а стороной, через просвирню, Платону Фаддеичу намеки делают: пусть, дескать, дерзает, отказа не будет. И всем про это в городе известно было. Любой с руками ногами такую невесту оторвал бы, а Платон Фаддеич дураком прикинулся, будто это дело к нему не относится и полной бес-

чувственностью на все намеки отвечал. А в Капитолину Расторгуеву наш историк и географ уездного училища был по самую маковку влюблен и, как человек тоже достаточно образованный, зная, что Расторгуевы на Платона нацелились, не решался в дом к ним с рукой и сердцем подъехать: афронт получишь. И от этого тайно возненавидел своего начальника, стоявшаго поперек дороги редкому счастию. Вот он-то и пустил в обращение по городу касательно «собаки, которая на сене лежит». Истинной же причины платоновскаго бесчувствия к прелестям Капитолины Иероглифов не понимал. Не догадывался, что собака-то на поповом дворе, так сказать между нами, зарыта. По простоте своей историк и географ слухам верил, что не Платон, а я намерения мужские касательно молодой попадьи от «Варвары-великомученицы» имею. Теперь я так соображаю, что сам же Платон Фаддеич и замутил воду вокруг попова дома и самому себе из меня любовный щит тогда сделал. Но недаром сказано мудрецами, что все тайное по миновании времен сделается явным. Так оно и вышло. На «Мать-Елену, царя Константина», в батюшкины именины, на ту сторону Волги погулять да порыбачить компанией поехали. Незабвенный для меня день! Леночка Боголюбова тоже именинница была, и ее с нами отпустили... Иероглифов Пантелеймон Алексеевич тоже за нами увязался. Про Платона Фаддеича говорить нечего: он всегда за юбкой Глашеньки, как мочалка, волочился. Значит, всех шестеро. Глашенька к Расторгуевым ходила — просила Капитолину с нами отпустить. Капитолина плакала, а не отпустили: ее строго держали в безусловном целомудрии: раз в нашей компании трое холостых, девице, дескать, рискованно. Что поделаете? Дикие понятия! Другой и женатый человек, а один опаснее трех холостых. Вон взять хоть бы почтеннаго купца Еропкина Василия Петровича: свое семейство в сам шесть, жена да четверо детей, а каждый год к крыльцу младенцев подкидывали! Мне вот не подкидывали. Баба зря своего младенца не подкинет. Это, как говорится, знает кошка, чье мясо!.. Так вот и поехали. Бредень и наливочки захватили, котелок и прочее, чтобы рыбки побродить да под свежую уху именинников поздравить: Елену и Константина. Пусть сами они хмельного не вкушают, а мы должны обычай предков соблюдать. Вечерок выдался удивительный. Точно весь мир застыл от нежности в закатных колерах. Не шелохнет!

Тишь, да гладь, да божья благодать. День был жаркий, а тут отпустило, и в небесах благоволение и на земли мир. Едем точно на облаках: отражение в зеркале вод. Прямо как в раю. Отец Константин, конечно, на веслах, Иероглифов кормовым правит, а мы парочками: я — с Леночкой, Платон — с Глашенькой. Вся моя организация трепещет от радости, что сижу рядом со своим идеалом тайным. В душе вроде как на мандолине играют. Посмотрю на Леночку, и даже в пот ударит от быстрого кровообращения. А Леночка вся в бело-розовом, с цветочками сиреневыми, а головка золотится, глаза как василечки. И столько в ней этой девичьей скромности, что на десять девиц хватит и еще останется нашим дамам. Сижу и думаю: как к этому созданию божьему фамилия Боголюбова подходит! Прямо нечто божественное, ангелоподобное. Личико, в сиянии румяного вечера, такое радостное и кроткое, что оторваться невозможно. Смотрел бы всю свою жизнь и больше ничем не занимался. Ну, ей-богу, что-то совершенно неземное!

— Почему вы молчите? Скажите что-нибудь! — говорит вдруг мне Леночка.

И вот досада: в разговорах с другими дамами и девицами я за словом в карман не лезу. Пожалуй, даже мало уступлю в этом и самому Платону Фаддеичу. А вот тут, с Леночкой, точно и самый дар слова потерял. Не могу и не знаю, *что* ей сказать. Словно лошадь стреноженная: словами-то скок! скок! а все на одном месте. А почему? Леночкина красота всякую смелость мысли разрушает. Хочется необыкновенные слова говорить, особенные. Не как со всеми прочими особами женского полу. А возвышенными словами и говорить надо что-нибудь возвышенное. А ничего возвышенного не придумаю. Начнешь возвышенными словами про погоду, про здоровье, про уху, про знакомых, — и чувствуешь, что все это неподходящее к твоим чувствам: в чувствах умиленность красотою и мандолины играют, а слова летят, как чурбашки, когда мальчишки в «городки» играют... Вот когда я позавидовал образованности Платона Фаддеича! Сколько угодно у него возвышенных слов на все случаи человеческой жизни. Скажет тоже, а выходит торжественно и более чем прилично. Начал было говорить про свой знаменательный в моей жизни день, когда я почитаю себя как бы на небеси, но Леночка не поняла, и я запнулся и перескочил на темноватую тучку, что вылезла за Волгой, из-за леса.

— Не было бы, говорю, дождичка...

Весь узор и рассыпался: пошло про зонтик, про калоши, про насморк...

Эх, к земле нас больно уж тянет! Начнешь с облака, а кончишь калошей...

Однако я уклонился в свои личные чувства. Не про них хотел рассказать, а про ту неожиданную неприятность в обществе, которой омрачилась наша прекрасная прогулка.

Переехали Волгу и на песках, под леском, на стоянку стали. Песочек, как золотая россыпь. За день солнышко его накалило, — теплом дышит. Сосенки да березки из леса под бережок выбежали. В лесу, не дальше полуверсты — озеро раковое. Раки огромные, усатые, черные. Ну, и караси в озере фунта на два попадаются. Янтарные от жира, ленивые. Батюшка с Иероглифовым захватили бредень, ведро — и на озеро. Всем раков захотелось. Я за валежником для костра пошел, а женщины — по хозяйству: скатерть-самобранку, самовар и прочее.

И вот случилось... это самое, уж затрудняюсь, как определить: срамное или божественное. Забрался я в лес, закружился, набрал валежнику — чуть волоку, и обратно. Выхожу к Волге, однако не на стоянку нашу, а шагов так на сто от нее, где лесок, почитай, к самой воде подбежал. Лезу тальниковым кустом напролом, а валежник за кусты цепляется, шум идет, словно медведь продирается. Думаю: выберусь к воде и самым бережком до стоянки доберусь, чем лесом переть. И вот вылез и от страха и удивления понять ничего не могу; стоит на бережке вся розовая от солнышка заходящего голая тонкая женщина необыкновенной красоты, золотые волосы под платочек красный собирает. Так и застыл я на месте от этого видения. Откуда взялась такая русалка? Кто такая? И тут метнулась в глаза одежда женская на кустике: бело-розовое платьице. Она! Она! Леночка. Мог ли я даже во сне увидать подобное! Милая! Божественная... Купаться вздумала. Что же, думаю, мне делать? Если назад в лес полезть, может увидать и подумать, что я умышленно тут, подглядываю. Уж лучше спрятаться и пролежать, покуда она не искупается и не уйдет. Упал на месте, в тальниках, и затаил дух. Могу образ снять, что никаких греховных помыслов у меня не проявилось, а совсем напротив, но разя поверят, если откроется, что случайно наткнулся на такую красоту? Никогда! Однако и лежать

в засаде тоже опасно. Накроют, тогда уж никак не отворотишься. Полежал, да и тягу. Хворост на месте бросил, да на четвереньках, по собачьи, — единственный способ сокрытия. В лесу очутился, дух перевел, хвать, а шляпы нет! На месте преступления, значит, осталась: сбросил, когда пот с лица вытирал по случаю сильного волнения. И шляпу — жалко, только весной приобрел за полтора рубля, да и ворочаться за ней — значит, снова на рожон лезть. Бог с ней, со шляпой! Шляпу за полтора рубля можно купить, а то, что увидал нечаянно, за полторы тысячи не увидишь во второй раз, да вообще никогда и ни за какие деньги. Это было вроде романса, который Платон Фаддеич любил петь у батюшки под музыку Глашеньки: «Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как ангел чистой красоты». Именно ангел чистой красоты! Если потом кто-нибудь и сподобился законным образом это узреть, так мне как с неба свалилось. Такие мысли убедили меня плюнуть на шляпу, и я вторично занялся валежником, чтобы с пустыми руками и без шляпы не вернуться. С путей сбился: в голове от видения полный беспорядок, не могу определить, где восток и где запад. Ну, и вышел к озеру на голоса. Тоже картина! Отец Константин и Иероглифов бредень мокрый расправляют и в лихорадке словно трясутся. Вода в озере холодная, солнышко село. И до того оба тощие и поджарые, что без смеха невозможно смотреть. Бурчат, подплясывают, бороденками трясут...

И вот тут я подумал: всю красоту человеческую бог отдал женщине, а все безобразие — мужчине. Почему такая несправедливость! И про Адама вспомнил: худ и ребрист, должно быть, был вроде отца Константина. А за Адамом, само собою, и об Еве подумал, и тут повторилось в памяти моей случайное видение, и с той поры, читаю ли про Еву, разговор ли про нее идет — Ева мне в образе Леночки представляется. Это — между прочим, добавляю, для психологии моих чувств. Извиняюсь и за шляпу: я задержался на шляпе по той причине, что шляпа имела роковые, можно сказать, последствия, о которых считаю своим непременным долгом рассказать в доказательство, как осторожно следует мужчине обращаться со своей шляпой, тросточкой и прочими предметами мужских потребностей. Кончили раков и карасей ловить и направляемся

к месту стоянки. Надо вам заметить, что мы с Платоном Фаддеичем в один день, в одном магазине и совершенно одинаковые шляпы купили. Он первый выбрал, мне его выбор понравился, да и на вкус образованнейшего человека я положился. «Дайте, говорю, такую же!» Смерили мою голову в окружности, — оказалась точка в точку, тот же номер мозгов, только сорт разный, значит, — посмеялся тогда я. И еще я пошутил тогда: думал, дескать, я, что кому много дано, у того голова больше, а оказалось, что не в величине дело. А Платон Фаддеич точно маленько на меня обиделся: как же, говорит, вы, фельдшер, изучали анатомию, а не понимаете, что дело не в окружности головы, а в мозговых извилинах? Конечно, я когда-то знал это, про извилины, да не удержалось в мозгах по давности. Ну, купили одинаковые шляпы, надели и разошлись в разные стороны. Смотрю ему вслед и думаю: шляпы точка в точку, а на нем шляпа красивее кажется! Было это не дальше месяца тому назад, и вот опять роковая случайность в мою пользу! Приходим на стоянку, а тут уж и костер пылает, и самовар песенки поет с комариным хором, и все приготовлено — любо посмотреть. Вот что значит женщина: как под каждым-то кустом приготовит стол и дом! Бросил взор на Леночку: сидит молчаливая и зонтиком по песочку фигурки выписывает. На лице оскорбленное выражение, бровки попрыгивают, точно заплакать все собирается. Что думаю такое? Уж не увидала ли она, как я на четвереньках полз от нее? Отошел к кустику и, к своему огорчению, вижу — на веточках две шляпы висят одинаковые: наши с Платоном Фаддеичем. Как же две? Значит мою кто-то нашел на месте преступления и принес сюда. Кто? Да кому же, кроме Леночки же! Даже залихорадило от своей шляпы, — до того она меня испугала. Теперь уж не шляпа, а прямо сказать — вещественное доказательство моей безнравственности! И тут меня словно свыше осенило! Вспомнил про одинаковые окружности! Оглянулся, — никто не смотрит. Я переменил местоположение шляп на кустике и поскорее прочь! К самоварчику. Вижу, Платона Фаддеича нет. Оказывается, рассердился, что я долго хворосту не несу, и сам за ним отправился. Вот где мое спасение, думаю! Подсел к Леночке:

— Что это вы, Елена свет Михайловна, словно в грустях? По какому поводу? — Вижу, губки передернулись, в глазах будто слезка сверкнула, голос с вибрациями:

— Потрудитесь со мной пройтись! — говорит. Поднялась с земли, отряхнула платьице от песка и гордо, как лебедь, шейку вытянула.

— С большим, — говорю, — наслаждением! Весь к вашим услугам...

Иду рядом. Она торопится, молчит и направляется прямехонько к кусту, на котором наши шляпы висят. Подвела к кусту и говорит:

— Наденьте вашу шляпу!

Я прикинулся, что удивлен таким распоряжением без объяснения причин.

— Потрудитесь надеть вашу шляпу!

Я пожал плечами, взял с веточки свою собственную шляпу и надел.

— Значит, вот эта шляпа не ваша? — спрашивает, указывая на ту, что осталась на кусте.

— Я чужими шляпами не интересуюсь, — говорю и добавляю: — Не откажите в милости: объясните вашу загадку!

Улыбнулась, точно солнышко через тучки.

— Так... Пустяки... Извините меня. Пойдемте!

Глашенька, как Марфа Евангельская: вся в хлопотах хозяйственных. Своего задрогшего супруга и Иероглифова ублажает. Чаем с церковным винцом отогревает, рыбу чистит, раков варит. Леночка стала за мной ухаживать. Точно виноватая, старается свою виновность загладить. Никогда такой ласковой раньше со мною не бывала! Вот уж именно «дело в шляпе» оказалось. Появился наконец и Платон Фаддеич с хворостом. Заблудился, говорит. А Леночка на него волком посмотрела и бровки сморщила. Немного помолчала и с вибрацией спрашивает:

— А где, Платон Фаддеич, ваша шляпа?

Тот развел руками и говорит:

— А черт ее знает. Куда-то положил, а не помню. А что такое?

— Не она ли вон там, на кустике?

— Весьма вероятно. Я в таком состоянии, что не только шляпу, могу и голову потерять...

— Кажется, это уже случилось с вами, — прошептала Леночка.

— Из-за женщин люди жизнь часто теряют, — говорит тот.

А я и подоткнул Платона Фаддеича:

— Раз голова потеряна, трудно жизнь сохранить.

А он рассердился, что я его словесную промашку отметил, и ехидно меня поддел:

— Вы, — говорит, — полагаете, что мало по земле безголовых субъектов ходит?

Неприязнь между нами огоньком пробежала. Вроде как треск и блеск в машине электрической. Потом все смягчилось. Ели уху из жирных карасей, раков, пироги с разными начинками, и мы трое, то есть я, Платон и Иероглифов, пили и за именинников наших, и за Глашеньку, и «за того, кто любит кого» и просто так, без объяснения причин. И, конечно, незаметно для других и самих себя через барьер трезвенности перескочили и вечный разговор про любовь затеяли... Самая, можно сказать, жгучая тема во веки веков, аминь! Наговорено и написано про нее столько, что и самую землю нашу можно утопить, а между тем половые проблемы ни на шаг не продвинулись. Как было в раю, так и осталось до наших дней. Наподобие белки в колесе: вертится — и все ни с места, а видимость, будто все вперед бежит. Обман зрения и прочих чувств. Глашенька, как видно, тоже наливочки пригубила, и на эту тему откликнулась душа ее. Только отец Константин с Леночкой уклонялись и так себя вели, словно не касалась их эта страсть человеческая. Уж не припомню, как мы на любовь перескочили и кто первый этот сюжет выставил. Сидели у костра отпылавшего. Не заметили, как ночка нас принакрыла, а ночка без луны, темная. Только Волга в бережок поплескивает и около лодки — буль! буль! буль! бубенчиком. Соловушки на лесной опушке вскрикивают: ой! ой! ой! тра-та-та-та, фють-фють-фють! запахи всевозможные, головокружительные, с лугов тянут, а тут еще Глашенька на гитаре своими пальчиками чуть-чуть позванивает... Ага! Вспомнил, с чего началось! Ландашем запахло, а Платон Фаддеич и заметил:

— Свадьбой пахнет! Флеромдоранжем!

Не сразу мы поняли, а Глашеньке смешно стало, и она залилась. Платон Фаддеич разъяснил: говорит, — ассоциация воспоминаний. Ну, со свадьбы на любовь и перескочили. При своих либеральных взглядах Платон Фаддеич позволил себе указать на то, что сейчас — май месяц — время любви для всех животных как для инфузорий, так равно и для млекопитающих, а Глашенька заметила:

— Животных можно оставить!

Иероглифов же, как безумно и безнадежно влюбленный в Капитолину Расторгуеву, вздохнул и поддержал даму:

— Человек весною всего сильнее поддается любовному томлению.

А Платон Фаддеич сейчас же и подоткнул его:

— А по-вашему, человек — не млекопитающее? Я дал общую формулу для всего животного царства, а в том числе и для нас, людей.

Иероглифов, когда лишнее выпьет, всегда в мрачность впадает, ну и в эти минуты был на краю мрачности:

— К черту, — говорит, — вашу зоологичность! Я себя не признаю млекопитающим! Я, — говорит, — человек милостью божией, царь природы, единодержавный властелин вселенной! Если, — говорит, — вы считаете себя животным млекопитающим, — это дело вашей совести и политических взглядов...

А Глашенька заливается на всю Волгу, — всех соловушек раздразнила. Отец Константин встал и пригласил Леночку с ним на лодку — подпуска вынимать: видимо, хотел девичью целомудренность охранить от такого вольного разговора. Притом же отец Константин очень политики боялся и всяких разговоров таких избегал, а надо сказать, что Платон Фаддеич с Иероглифовым по своим взглядам политическим были на разных диаметральных концах, вроде как кошка с собакой. И вот, когда Иероглифов произнес насчет «совести и политических взглядов», Платон Фаддеич взметнулся, как уколотый.

— Я, — говорит, — не идиот, чтобы любовь с политикой смешивать...

Иероглифов весь передернулся, но промолчал. Только рюмку коньяку хватил, отошел в сторонку и тихо и с тоскою запел свое любимое: «С кем я эту ночь буду ночевать». Вижу, что человек страдает и зря оскорблен. Подошел к нему и говорю:

— Обы мы люди одинокие, никем не любимые... Ночевать ко мне поедем...

А он отмахнулся:

— Ну, — говорит, — всех вас к чертям под мышку!

Вижу, что лучше оставить человека одного. Пусть маленько ветерком обдует. Тут в чем загвоздка? Платон-то — смотритель училища, начальник оскорбленного человека. Не будь этого, дал бы за «идиота» в морду и полное удовлетворение получил. Ну, а раз — начальство, хотя и очень

тянет, конечно, к морде, а не так еще намочился алкоголем, чтобы о всех последствиях позабыть. Ну, а от воздержания душа еще сильнее вскипает. Психология! Вернулся я к костру: Платон с Глашенькой все еще про любовь говорят. Вот ведь характер женский: видит, что Платон в нее, как говорится, по уши, знает, что ей это томление кавалера ни к чему, а подзадаривает и улыбочками со значением, и позитурою, и стоном гитары под пальчиками. Подошел и говорю:

— Платон Фаддеич!

— Что такое?

— Возьмите «идиота» обратно! Нехорошо оно вышло: вы — начальник, Пантелеймон Алексеевич — подчиненный. Тут, как говорится, такое напряжение происходит в человеке, что буксир может лопнуть. Ну, а случается, что в таких случаях другим концом и убить неосторожного может.

— А что такое? Я сказал, что *я* — не такой идиот!..

— А вы полноте. Ваше красноречие совсем прозрачное. Всякий должен был «идиота» себе на приход записать. Вы человек, — говорю, — на полголовы по крайности выше Иероглифова, вам больше дано, с вас больше и спросится...

— Извинитесь, миленький! Вам ничего не стоит, — просит и Глашенька умильным голоском — и трень-брень струнами. Как она попросила, моментально вскочил, надел шляпу на затылок и в темноту ушел. Сидим — слушаем: сперва оба злобно говорят. Всего не разберешь, а только оба «идиота» поминают. Потом — помягче. А минут через десять из темноты оба выплывают под ручку и смеются. И так нам стало приятно, что и мы с Глашенькой давай хохотать. Благородный поступок всегда умиляет со стороны.

— Предлагаю выпить общую за наше примирение! — говорит Иероглифов, — у меня, — говорит, — своя заготовка имеется.

И вынул бутылочку «зубровки». И все как рукой сняло. Опять все — друзья-приятели. И снова про любовь. Никак разговор с этой зарубки соскочить не может. Все мы трое, Платон, Пантелеймон и я, очень задеты этим сюжетом: я — через Леночку, Платон — через Глашеньку, Пантелеймон — через Капитолину Расторгуеву. Глашенька все это хорошо понимает, и занятно ей на наших сердечных ранах поигрывать. Ковырнет пальчиками струны на гитаре, а словом до сердечной раны прикоснется, да еще не просто неж-

ным пальчиком, а острым ноготком норовит. Ноготки точит, как кошечка, особым инструментом, в виде копья каждый ноготок у ней. Одним ударом двоих подкалывает:

— Нехорошо, когда мужчина долго холостым ходит, — говорит, — как вы, Платон Фаддеич! Почему бы вам не жениться?

— На ком прикажете?

— Да на Капитолине Расторгуевой!

Платон Фаддеич плечом пожал, а Иероглифов весь передернулся и с некоторым огорченным издевательством поддержал эту идею:

— Правильно, говорит. *Там* давно ожидают этого. Счастье, коллега, только раз в жизни нам дается.

И выпил в одиночку зубровки прямо из горлышка в горлышко. А Платон Фаддеич как захохочет!

— Во-первых, — говорит, — я есмь Платон, и все платоническое мне свойственно, а во-вторых, и главное — мерси боку! Для меня Капитолина ни больше, как амеба!

Матушка подумала, что Платон Фаддеич Капитолину Расторгуеву нехорошим словом обругал, да и Иероглифов едва ли правильное понятие об этой амебе имел, потому что сразу в озлобленность и мрачность впал, начал на месте топтаться и своей тростью с набалдашником поигрывать. Вроде как лев в клетке вокруг самого себя вертится. И подкашливает: как будто бы сказать очень грозное хочет, а от волнения не может. Что касается меня, то я про амебу знал по своей специальности давно уже и скажу так: конечно, в названии этом, если оно к месту употреблено, ничего ругательного нет, но для человека слово это неподходящее: если про клопа, например, в обществе говорить, то ничего неприличного в этом нет, а если вас клопом назовут — совсем в другом смысле выходит. Однако и то надо принять во внимание, что клоп — насекомое крайне неприятное и имеет противный запах, всем нам хорошо известный, между тем как амеба — ничего отталкивающего в себе не содержит, а так, вроде... ну, вроде как минимальный кусочек, капелька такая, студня или как заливную рыбу подают, так желе называется. И притом без всякого неприятного запаху. Это я — на случай, если вы об амебе в первый раз слышите, как многие в нашем городе. Глашенька, видимо, услыхала это слово впервые от Платона Фаддеича, потому что, как только он его употребил в разговоре, очень смутилась и говорит:

— Прошу при мне честную девушку не оскорблять и так не выражаться!

Это относительно амебы-то! Платону Фаддеичу следовало бы уж кончить на этом, но научная гордость, как я думаю, не позволила и он — на дыбы:

— Ничего, — говорит, — предосудительного и не сказал. В мироздании, — говорит, — амеба на самом первом месте числится, и все начинается, — говорит, — не с Адама, а с этой самой амебы, которая и есть, дескать, наша общая прародительница. А тут отец Константин с Леночкой, вернувшись с рыбой, подошли, и когда Платон Фаддеич Адама с Евой амебой подменил, батюшка тоже очень возмутился и сказал, что это кощунство, недостойное интеллигентного человека, стоящего на страже воспитания учащихся, которые ежедневно молятся за родителей и учителей, ведущих нас к познанию блага. Леночка слушала с возмущением, долго молчала, а под конец тоже не выдержала, и, когда Платон Фаддеич, в свое оправдание на господина Дарвина уперся и заметил, что были времена, когда все мы на четвереньках ползали, Леночка, смеясь сквозь слезы, то есть истерически, начала обличать Платона Фаддеича:

— Мы никогда, — говорит, — на четвереньках не ползали, а вот вы действительно и теперь этим делом занимаетесь, когда девушки купаются! Да, да, да! Сама я видела, как вы в лес ползли... как животное... И после этого вы смеете честных девушек амебами называть?

Вот она «шляпа»-то как обернулась! Мне даже жалко стало Платона Фаддеича, потому что за мой невольный грех он же страдал невинно, вот я, чтобы облегчить его положение, и вступился: начал про амебу разъяснять, чтобы не очень уж обижались. И сперва как будто дело смягчаться стало. А черт дернул Платона Фаддеича тоже огрызнуться:

— Я, — говорит, — выразил только духовную оценку структуры девицы Расторгуевой фигуральным выражением. Не могу отрицать, — говорит, — возможно, что *некоторым* субьектам мужского пола эта девица представляется венцом божьего творчества, но лично для меня, — говорит, — она — примитивное животное, кусок мяса, бифштекс с гарниром!

А потом Леночке начал возражать насчет ползания на четвереньках. Ничего, конечно, не разобрал в ее обличии

и стал опять с научной подкладкой доказывать, что я, дескать, с гордостью принимаю, что когда-то на четвереньках ползал, а теперь громами повелеваю! Тогда Леночка вскрикнула: «Вы нахал!» — и тут случилось оскорбление действием: внезапно выскочил, как зверь из клетки, Иероглифов и стал работать своей тростью с набалдашником. Как безумно влюбленный в девицу Капитолину, он, как я думаю, взорвался, как паровой котел без предохранительного клапана, от скопления злобы и возмущения за свой идеал. Мы все растерялись, женщины визжат и плачут, а Иероглифов прямо остервенел и, повалив Платона Фаддеича на обе лопатки, продолжает бить лежачего и притом произносит такие слова, пред которыми «амеба» теряет всякое значение. Я опомнился и решил принять меры. А я человек сильный. Схватил господина Иероглифова за ноги и оторвал от несчастной жертвы — оттащил подальше по песку и говорю:

— Во-первых, лежачего не бьют, а во-вторых, опомниться надо: здесь дамское общество.

Сел Иероглифов на песке и башкой во все стороны машет, а от злобы хрипит даже. Ну, прямо — тигр разъяренный. А батюшка трость с набалдашником поднял и в кусты ее забросил, из понятной предосторожности... Розняли, значит. Жертва лежит и никакого звука не подает. Подошел ко мне отец Константин и шепчет: «Жив ли?» Вы, говорю, этого тигра посторожите, а я посмотрю, в каком состоянии жертва неосторожного обращения. Захватил ведро с водой — и к побежденному. Вся физика в окровавленности, глаз вздулся, галстука нет, дыхание затрудненное: в неполной сознательности... Поливаю ему главу водой и говорю.

— Люди образованные, интеллигенция, а при дамском обществе так оскорбительно, господа, себя держите...

Он один глаз открыл и с удивлением смотрит на меня:

— Где, — спрашивает, — я и что со мною?

— На именинах, — говорю, — в честь «Матери Елены и царя Константина» избиты. За неосторожное словоупотребление.

Приподнялся, сел, сморкаться кровью стал. «Будьте, говорит, свидетелем!»

— Помириться, — говорю, — следует, а не заводить скандалу.

— Подобные вещи, — говорит, — не забываются. Я не позволю, чтобы посторонняя рука касалась безнаказанно

человеческой личности. Государство должно гарантировать неприкосновенность, и только у нас...

И начал государственное устройство наше кастерить!

— Водицы, — говорю, — выпейте...

Пил, пил... я даже побаиваться начал, не опоить бы человека. Конечно, в нутре пожар душевный и телесный, — горит человек. Напился, встал и спрашивает:

— А что, очень заметно?

— Да, — говорю, — шила в мешке не утаишь. Однако надо иметь в виду, что теперь ночь и все кошки — серые. А меры следует принять: зайдите попутно ко мне: свинцовой примочки дам и пасты цинковой. От побоев превосходно. В три дня благообразие возвратите... — А он головой замахал: я этого, говорит, не прощу, я его, ретрограда паршивого, выведу на чистую воду, пусть запомнит, как на свое непосредственное начальство руку поднимать. Я до последней границы благородства дошел: извинился перед мерзавцем и обратно «идиота» взял, а он... Обращаюсь, говорит, к вам, как к лицу официальному, и требую выдать мне удостоверение о побоях, пока они доступны всеобщему обозрению! А затем — протокол. Свидетелей, говорит, более чем достаточно. Как я ни вразумлял, что дело житейское и выгоднее для всех нас этим инцидентом пренебречь, однако не вразумил этого образованнейшего человека в городе. Кипит гневом.

— У меня, — говорит, — физиономия собственная, а не казенная и на всю жизнь в одном издании напечатана.

Озираюсь: никого вокруг не видно. Тишина, только соловушки в разных концах зажаривают, коростели в лугах тарахтят, лягушки в озере соловьям подражают, а человеческого голоса, ни мужского, ни женского, не улавливаю. Прислушался: где-то веслами лодка плещет. Неужели наши утекли? Это уж опять неделикатность! Я понимаю, если бы дело одного Платона Фаддеича касалось: ну не пожелали с ним продолжать компанию ввиду неподходящего с его стороны поведения, а я тут при чем? С моей стороны только и было, что проявление сострадания к ближнему, подобно евангельской притче. Как же меня бросили на произвол судьбы! Потом-то дело разъяснилось: испугались они, что Платон Фаддеич поедет совместно с Иероглифовым, так снова скандал в лодке может загореться, и тогда в драке все потонуть могут. Ну, а в ту пору мне так обидно сделалось, что на всех рассердился. Бредем мы в темноте,

болтаемся, и вдруг это точно вся ночь вздрогнула: на гитару наступил. Раздавил инструмент!.. Очень тогда оба испугались; точно стон ангельской души и предзнаменование разбитого счастья...

Побродили по бережку. Скучно, точно и говорить больше не о чем. Все внезапно оборвалось и лопнуло. Стеснение какое-то. Не я, конечно, человека избил, а все-таки как-то неудобно ему в опухшую физиономию глядеть. Инстинкт такой. Будь мы оба избитые, лучше бы время проводили, а тут — как будто только что познакомились... Часа три молча на берегу сидели и вздыхали. А как светать стало, видим — лодка за нами...

— От отца Кистянтина за вами! — лодочник заявил.

Ну, сели и поехали.

— Кого, — спрашивает лодочник, — тут у вас избили али убили?

Вот он, язычок-то наш! В городе уже узнали. Ну и публика!.. Лодочник пригляделся к Платону Фаддеичу и говорит доброжелательно:

— Эх, как тебе, барин, морду-то разбередили! Я тебе вот что присоветую. Натирай морду-то сметаной и давай черному коту вылизывать! Три разá так проделаешь, и кончено: как новенькая будет. У нас на прошлой неделе, вот этак же одному пареньку харю отполировали, а пожалуй, что и почище твоего. Сейчас кота принесли попова, жирнаго, рожу — сметаной и пошла работа!

А Платон Фаддеич насупился, молчит. На часы поглядывает да на восток: солнышка боится: при полном-то свете по городу, при людях, как будто и неудобно идти.

— Ты не разговаривай, а греби добросовестно! — лодочнику говорит и носовым платочком прикрывается.

А против нашего города Волга широкая, версты две, не меньше. Пока доехали, солнышко засверкало, и все жители зашевелились: день-то базарный был. Идем в гору, а бабы останавливаются. Хотя Платон Фаддеич и прикрывается платочком, а платок в крови. Не спрячешь. Бабы охают да спрашивают, кто раскровянил, а лодочник позади идет и объясняет: избили барина за Волгой! Ну, и конечно, дня не прошло, как всему городу стало известно, что господин Иероглифов господина смотрителя училища, кавалера ордена Станислава третьей степени, первого, можно сказать, кавалера дамского, ручным способом обработал. И, конечно, каждому жителю без различия пола и возраста любопытно

все подробности такого редкого удовольствия узнать: когда? где? кто? при ком? за что? Не прошло трех дней, как в клубе нашем, за винтом или преферансиком, под рюмочку водочки и так, для занятия дам разговорами, — сплетня завиваться и кудрявиться начала, вроде хмеля на огороде: смотритель, дескать, неприлично очень о девице Расторгуевой отозвался, а господин Иероглифов рыцарское поведение проявил, за честь девицы вступился и бескорыстно Платону Фаддеичу за это морду набил. Между тем я удостоверение в побоях Платону Фаддеичу выдал за своей фельдшерской подписью, с приложением печати, по полной форме, как он требовал, по горячим следам. С моей стороны — служебная обязанность, а с его стороны — куй железо, пока горячо. Уж не могу сказать, прибегал ли Платон Фаддеич к попову коту за врачебной помощью, но ко мне за свинцовой примочкой и розовым пластырем свою молоденькую кухарочку присылал, Машеньку. Невредная солдаточка, и я так подозреваю, что есть причины не торопиться ему с бракосочетанием. Однако это — к слову пришлось и должно остаться между нами: неопровержимых фактов не имеется, а не пойман, говорится — не вор.

— Что, — спрашиваю, — бабочка, как твой барин себя чувствует?

Фартучком прикрывается, пожимается, а в глазах — любовное сострадание.

— Слава богу, — говорит, — маленько лицо проясняться начало, а то и глядеть страшно.

Помялась это, глядит вбок воровским косым взглядом и интересуется:

— Неужели люди правду говорят, что из-за девки Расторгуевой его избили?

Вот я и подшутил:

— Невеста-то, говорю, больно завидная: есть из-за чего и подраться!

Вижу, бабеночка огнем загорелась, и глаза злобой сверкнули. Платок на глаза надвинула, хвостом вильнула, и за дверь. Я за ней! Кричу с крыльчика:

— Машенька! Пластырь-то забыли!

Плюнула и не повернулась даже.

Вот единственный факт, а уж как вы его примете, — дело вашей совести. Ну, время ползет, разговоров в городе все больше. Вышел вечерком на берег погулять, к при-

станям пароходным, приятную новость узнаю: купец Расторгуев, дескать, господину Иероглифову пятерик самой лучшей крупчатки в подарок прислал! И будто записочка пришпилена: «За благородство»! Совершенно новый оборот дело, вижу, принимает. Любопытно! Зашел к Пантелеймону Алексеевичу: радостный, точно именинник, при новом галстуке и ус подвитой.

— Ну, как дела? — спрашиваю. — Нет ли чего новенького?

— Есть! — говорит и улыбается.

Вот, думаю, про мешок с крупчаткой заговорит, а он вот что докладывает:

— Дознание производится. Сегодня у исправника на допросе был.

— Ну, и что же?

— Чувствую, что норовит под оскорбление действием начальника при исполнении служебных обязанностей меня подвести, только это у них сорвется. Во-первых, он мне начальник в училище, а не за Волгой, а во-вторых, мы не служебными делами занимались, а именины праздновали. Я все, — говорит, — по чистой совести показал. Надеюсь, что вы, как честный человек и свидетель всего происшедшего, под присягою подтвердите мои слова. Неприятно одно: потомственным дворянином он оказался: говорят, что дело в Симбирский окружной суд может попасть.

— Это, — говорю, — как писатель Гоголь выразился: «Пошла писать губерния!»

А сам удивляюсь: такая неприятность, а Иероглифов с блаженством на лице. Что-нибудь тут мешок с крупчаткой значит.

Прошло еще несколько дней, и опять крупная новость: купец Расторгуев вместе с Иероглифовым в кабриолете куда-то поехали. Никогда раньше никакого дружества не замечалось, а тут рядком. Иероглифов барином сидит, а Расторгуев своим жеребцом правит, а больше похож на кучера. Правильно, думаю, в пословице говорится: нет худа без добра. Не набей он морду Платону Фаддеичу, никогда бы к семейству Расторгуевых не приблизился. Значит, судьбе так угодно было. Можно сказать, амеба выручила, все с нее началось, а чем кончится, одному господу ведомо. Только город сплетнями досыта наелся и задремал, хвать — оглушительное событие: кто-то ворота у дома купца Расторгуева дегтем ночью вымазал! Покуше-

ние опозорить целомудренность дочери. Кто так подло напакостил почтенному семейству купца Расторгуева, множество благодеяний родному городу оказавшего, первому нашему боготворителю бедных и сирот? Тут, как говорится, темна вода во облацех, но для меня одного во всем городе было ясно: Машенька из неуместной ревности и по бабьей глупости постаралась. И, между нами сказать, я самого себя тут виню: пошутил, когда она за пластырем ко мне приходила. С дураком, выходит, шути поосторожней! Ворота в тот же день заново выкрасили, да разя такой факт красками закрасишь? Дело сделано. Теперь хотя позолоти их, ворота, а подозрение на девичье целомудрие опубликовано. А Расторгуев купец гордый, к разному почету привыкший, с медалями. Губернатора ли, архирея ли стретить — без него не обходится. И вдруг такой срам! Всю полицию на ноги поставил, награду за раскрытие виновника назначил. По ночам, говорили, плачет, а днем в окно сторожит: публика из любознательности мимо дома гурьбой ходит и пальцем убеждается, что ворота покрасили. Поймает Расторгуев такого любознательного и прикажет дворнику рожу ему в зеленый цвет выкрасить. «Колупай, говорит, пальцем свою собственную рожу, а чужих ворот не касайся!» Время ползет, а успокоения в городе незаметно. Совсем напротив. Захожу как-то к Платону Фаддеичу, — хотя на лице никаких воспоминаний не осталось, но узнать человека нельзя: точно что родную мать схоронил. Никакой воинственности не осталось. Смирненький такой. Как будто бы даже меня боится.

— Что, — спрашиваю, — нигде вас не видать?

— Предпочитаю, — говорит, — одиночество. Жизнь животных изучаю.

— Бросьте, — говорю, — мало вам из-за амебы досталось?

Помалу разговорились. Поинтересовался насчет суда с Иероглифовым. Махнул рукой:

— Остановил я свою жалобу. Сгоряча тогда сглупил, а потом понял, что вы правильно посоветовали плюнуть на всю эту историю. Огласка повредит только. Я, — говорит, — Иероглифову предложение сделал помириться и все забыть, однако ответа не поступает. Правда ли, — спрашивает, — что он на Капитолине Ивановне Расторгуевой женится?

— Доподлинно утверждать не могу, но кажется, что дело в эту сторону клонится. Каждый праздник у них в дому бывает и с отцом в кабриолете разъезжает. Теперь, — говорю, — какой-то дурак путь к счастью ему раскрыл: ворота деготком подмазал, — теперь папаша будет об одном заботиться — как бы поскорее бракованный товар сдать. А Пантелеймон Алексеевич — жених на очереди. Вы, — говорю, — в тираж вышли.

Побывал и у Иероглифова. Тоже не узнаешь. Только в другом смысле. В гордом блаженстве плавает. Флеромдоранжем от него пахнет. Новая тройка английского трика, вместо «спасибо» «мерси» говорит, и поведение такое, что будто он не меня, а малознакомого просителя принял. С холодком таким, как из погреба. Заговорил я про Платона Фаддеича:

— Мы с Иваном Потапычем, — говорит, — еще посадим его на свое место.

— А он вас простил, — говорю, — по-христиански и дело прекратил...

— Струсил, подлец. Ханжой прикинулся. Нас этим не разжалобишь. Мне яму рыл, а сам в нее попадет.

Тогда я, признаться, не придал особенного значения этой угрозе, но вскоре выяснилось, что Иван Потапыч Расторгуев публично в клубе заявил:

— Господин Иероглифов в благородном порыве душевного состояния набил ему морду, а я, родитель, без внимания эту обиду оставлю? Да что я? Бревно, что ли, бесчувственное? Моя супруга — животная, чтобы вместо младенца амебу родить?.. Тройное оскорбление: меня самого, моей законной супруги и нашей любезной дочери. Никаких денег не пожалею, а в арестанты оскорбителя произведу!

И вот действительно: встречаю однажды Самолетский пароход сверху и вижу, — слезает с парохода Иероглифов в сопровождении очень представительного и франтоватого господина в золотом пенсне, с портфелем в одной руке и с зонтиком в футляре — в другой. Позади матрос новый чемодан желтой кожи, с медной оковкой, несет. Сразу видно, что господин деловой и зря в наш город не поедет. Для мучного дела тоже неподходящий: мучники в пенсне у нас не наряжаются. Со столичным форсом мужчина. Сели в пролетку Расторгуева и покатили. Что, думаю, за явление? Заглянул вечерком в наш «Гран отель» и осведомился. Знал, что у нас больше такому субъекту деться некуда.

И попал в точку. Здесь! Навел справочку у швейцара: самый знаменитый на всей Волге адвокат, Коломейцев! Ну, думаю про Платона Фаддеича, пропала твоя головушка! От такого знаменитого оратора не отвертишься научностью. Словами утопит!

Навестил отца Константина с Глашенькой, объясняю положение дел, — оба в уныние впадают. Приятно ли попасть свидетелями в такое щекотливое дело? Да еще лицу духовного звания! Если Платон Фаддеич вовремя свою жалобу задержал без движения, так именно из-за общей оппозиции со стороны батюшки, матушки и Леночки: они заявили Платону Фаддеичу, что ничего не видели и показать не могут, если тот поставит их в свидетели происшедшего за Волгой мордобития. Когда Платон жалобу обратно взял — успокоились, а тут опять угроза публичного рассмотрения всех похождений! Ну, и началась катавасия. Отец Константин скорехонько облачился и к благочинному, Леночкиному отцу. Тот — к Расторгуеву, а отец Константин — к Иероглифову: тогда уже открыто в городе Иероглифова женихом считали, и тот, хотя и не подтверждал, но и не отрицал. Потом благочинный — к исправнику, исправник — к Расторгуеву. Весь город, в лице значительных особ своих, завертелся вокруг Расторгуевского дома на манер, как земля и всякие планеты и кометы — вокруг солнца.

Иван Потапыч всех очень пышно принимал, обедами с мороженым угощал и всякими напитками, но что касается своего предприятия, — ни на какие уговоры и увещания не поддавался. Говорят, что, когда исправник сделал ему намек, что он не привык, чтобы ему в чем-либо отказывали, Расторгуев послал ему сахарную голову при письме: «Кесарево — кесарю, а божие — богови, ваше высокородие, господин исправник! Не токмо всякому животному, но и человеку дан завет защищать своих детенышей. Никто же плоть свою возненавидит, но питает и холит ю. А мы — люди крепкие вере православной и наставникам древляго благочестия, а потому признать, что от нашего благословенного церковью брака родилась заместо дитя амеба, не можем, даже ежели бы нас о сем просил сам господин губернатор». Копия с письма, хотя и не засвидетельствованная, по всему городу ходила тайно по рукам нашего высшего общества и передается мной без всякого изменения. (Снял копию с копии!)

Так и не могли никакими силами остановить Ивана Потаповича. Дело поступило к городскому судье. Жалобу писал знаменитый адвокат, который за лето раза два приезжал в наш город и проживал откровенно в доме Ивана Потаповича как свой человек. Ходили слухи, что раз он выиграет процесс этот, то получает десять тысяч и полнокровного заводского рысака.

И вот осенью, насколько помню, в день «Веры, Надежды и Любви», когда многие горожане и горожанки по случаю ангела должны были за обедней стоять, все в камеру городского судьи направились. День судный! Любознательность публики была столь многозначительна, что исправник наряд полицейских чинов у камеры поставить распорядился. Судейская зала, конечно, и десятой части всех устремившихся вместить не могла, а между тем не только интеллигенция целыми семействами разрядилась как для представления в театрах и пришла послушать, а все купечество и мещанство грамотное, все лабазники, приказчики, конторщики с пароходных пристаней, с мельницы. Поглядеть издали — мобилизация, а не камера городского судьи! Полицейский надзиратель, человек неопытный, без году неделя на месте, растерялся: кого пустить, кого — не пускать? Сперва так объявил: «Допускается одна интеллигенция, дескать». Видит — публика такого слова не понимает: все поперли. Тогда он заявил:

— Могут, которые в шляпках и если брюки навыпуск!

Конечно, народ у нас дошлый. Чего другого, а законы обходить мастера: у которого мужчины брюки в сапоги, выправлять поверх голенищ начали, а женщины, которые в платочках, скидывать их стали, заметя, что есть барыни в прическе, но без шляпы. Одна в шляпке проскочила, а свою шляпку в окошко другой выкинула. Надзиратель оторопел: видит, что очень много недостойного пролезло, а почтенным сесть негде. Тогда он решил залу очистить и заново отбор сделать. Не слушают, не желают уходить! Приказал наряду действовать, не употребляя оружия. Ну, а день «Веры, Надежды и Любови», — некоторые с утра алкоголем зарядились, — ну и начали огрызаться, распоряжение начальства критиковать, с употреблением неподходящих слов, одно сословие на другое натравливать. Должно быть, полицейский в шею кого-нибудь с крыльца — сразу общий ропот, крик, ругань, — выглянул в окошко из свидетельской комнаты: вроде как манифестация — с полицией

сражение! Вот, думаю, тебе и амеба! Неблагоразумно было в такой пьяный день разбирательство дела назначать. А почему назначили? Исправник хотел обессилить Расторгуева главным по неопровержимости свидетелем: отец Константин обедню служит, и неявка, значит, вполне уважительная. А свидетелей и без того мало явилось: ни Глашеньки, ни Леночки!

Умышленно выехали из города, на кумыс, дескать, и докторское свидетельство из Симбирска представили. Значит, — я да Иероглифов, а Иероглифову, как лицу заинтересованному (собственноручно бил обвиняемого!), Платон Фаддеич мог отвод сделать. Что же, думаю, выходит: народу было много, а я один за всех отдувайся! Слышу — за окном опять крики, шум, драка. Выглянул, что же происходит? Привезли пожарную машину с кишкой, чтобы публику распугать, а слободские парни машину у полиции отбили и давай ее же поливать. Потом как струя ударит в окна! — только звон и крик «ура». Чуть отвернуться поспел, как в свидетельскую ударило и прямо в спину господину Иероглифову! И смешно, знаете, и страшно. Не суд, а осадное положение выходит. Что же вы думаете? Так в этот день и не состоялось: судья животом заболел, и дело отложили. Кто-то в «Симбирскую газету» корреспонденцию про это напечатал. Как ни дознавались, автора не обнаружили. Сдается мне, что написал не иначе, как сам знаменитый адвокат, потому что очень уж задорно написано было — прямо со смеху умереть можно. Ну, кому, знаете, смех, а кому — горе: за революционное настроение публики нашего исправника убрали. Говорят, губернатор его вызвал и сказал ему в упор: «Вы, дескать, баба беременная, а не исправник». А кстати надо сказать, что действительно исправник имел живот прямо не от мира сего: ежели в профиль посмотреть: точно одно брюхо в сапогах!

Непременный член окружного суда потребовал, чтобы дело об оскорблении девицы Расторгуевой, ввиду столь напряженной обстановки, сложившейся в нашем городе, рассматривалось не у нашего судьи, а было перенесено в более спокойную обстановку. А тем временем Платон Фаддеич озлобился. Все равно, говорит, пропадать, и пустил в действие свою жалобу об избиении его подчиненным лицом, учителем Иеороглифовым, тростью с оловянным набалдашником, при таких-то свидетелях. С волками, говорит, жить — по-волчьи выть! И господин исправник, новый,

принявший сторону смотрителя принципиально (невозможно, дескать, допустить, чтобы подчиненный своего начальника по морде бил, даже и на именинах!), поручился перед судебными властями, что он никаких нарушений благочиния и демонстраций с революционным настроением в своем городе не допустит. И вышло так, что дело Платона Фаддеича первым разбиралось и притом в нашем городе... незадолго до рождества Христова. Расторгуев в защитники Иероглифову того же знаменитого адвоката из Симбирска выписал. Обстоятельство это публично перед всем городом засвидетельствовало, что Расторгуевы облюбовали Пантелеймона Алексеевича в зятья. Чрез банк известно было, что Расторгуев адвокату пять тысяч перевел. Зря такую сумму не выбросил бы. Как-то забежал я к Платону Фаддеичу: ну, а кто вас, спрашиваю, будет защищать? Равенства сил не будет на суде, специалиста хорошего вам бы тоже надо выписать!

— Положение, — говорит, — очевидное.

— Да то-то не очевидное, потому что, к сожалению, никаких следов на вашей физиономии не осталось.

— А документ освидетельствования, произведенный вами своевременно? Вот мой самый красноречивый адвокат, — говорит. — А затем — свидетели...

И вот настал приснопамятный день 20 декабря! Морозище был исключительный. Как сейчас помню. Новый исправник распорядился публику только по билетам пускать и притом только для совершеннолетних и по суду не опороченных. Впрочем, простая публика на сей раз никакой любознательности не проявила. Зато вся интеллигенция была налицо. Из свидетелей все, кроме Глашеньки, явились: оштрафования напугались. А Глашенька, сославшись на свое интересное положение, к тем порам наглядно выяснившееся и притом земской акушеркой удостоверенное, в суд не явилась.

Ну, скажу вам откровенно: такого суда никогда я больше в жизни не видал и не увижу. Сколько раз я на веселых представлениях в театре бывал, а такого хохоту и там никогда не наблюдал. Конечно, свидетелям смеяться на суде недозволительно, но я не в силах был удержаться и делал вид, что сморкаюсь, страдая насморком. Да чего спрашивать со свидетеля, если сам судья раза два перерыв объявлял, как заметно было, исключительно потому, что никакой возможности соблюдать нейтралитет у него не было,

а между тем знаменитый адвокат как деревянный сидел — точно и улыбаться не умел, а когда судья в первый раз засмеялся, он потребовал в протокол занести. Ну, судья и делал перерывы. Скроется в своем кабинете и там досыта высмеется и опять за дело. Всех свидетелей к присяге привели. Благочинный приводил, потому что отец Константин сам свидетелем оказался. Начали с Иероглифова. Признаю, говорит, себя виновным: не вынес глумления над честной беззащитной девушкой и раза три смазал по физиономии, но истязанием это назвать нельзя. Посмотрите на физиономию обвинителя, и всем будет ясно, что здесь недобросовестное преувеличение со стороны обвинителя. Тогда Платон Фаддеич вынимает из бокового кармашка документ и просит огласить и приобщить к делу. Читают мое освидетельствование. А я писал сгоряча и в волнении и возможно, что преувеличил: глаз, дескать, затек, и возможна потеря зрения на 50 процентов, левое ухо надорвано, есть основание предполагать, что поврежден носовой хрящ, что часто осложняется не только потерей обоняния, но загноением и потерей самого носа или приведением его в состояние полной невменяемости. Выпивши, конечно, писал и настоящей формы не соблюдал, тем более, что, сочиняя, не думал, чтобы документ этот в действии оказался. Защитник попросил разрешения задать мне вопрос и начал нас с Платоном Фаддеичем под орех разделывать. Где я учился? Сколько взимаю за освидетельствование? Не было ли случая, когда я вместо больного зуба вырвал здоровый? Что ни вопрос, то оскорбление публичное. Я кучеру Расторгуева, действительно, заместо одного больного и соседний, здоровый, прихватил, так ведь это единичный случай на тысячу зубов! Знаменитые доктора, профессора иногда ошибаются, так как же мне, фельдшеру, не прощается? Я тогда начинал только зубную практику. А что, если бы покойники раскрыли нам, сколько их из-за докторов на тот свет отправилось? Все это потом мне в голову пришло, а тут прямо дар словесности утратил от налета. Меня оттяпал и на Платона Фаддеича: перед нами, говорит, человек зрячий на оба глаза и даже без очков, оба уха на месте, нос в полном порядке, и очень и очень красивое лицо без всяких признаков прогулки по нему палки с оловянным набалдашником... Судя по прочитанному документу, говорит, мы могли ожидать в лице потерпевшего калеку без ушей, глаз и носа, а между тем... Вот тут судья

и хихикнул вместе со всей публикой, а тогда защитник потребовал занести в протокол, что судья смеялся во время процесса. Начали свидетелей допрашивать. Отец Константин очень тихо говорил, а знаменитый адвокат все покрикивал:

— Прошу громче! Ничего не слыхать!

А от этого батюшка еще сильнее робел, и выходило так, что адвокат ему подсказывал, что говорить надо. Начала, говорит, я не застал, спорили про амебу, но он не вникал. Темнота была полная, и как началась драка, и кто кого бил, и насколько сильно, — разобрать было невозможно.

— Кричал потерпевший? Призывал на помощь? — спросил адвокат.

— Нет. Ни крика, ни стонов я не слыхал, — говорит отец Константин, — женщины кричали и плакали, но полагаю, — от неделикатности самого же потерпевшего.

— А вы, батюшка, находили поведение его неделикатным?

— Не только неделикатным, но даже кощунственным.

— Конщунственным, говорите? Расскажите подробнее...

Вот отец Константин и начал про Адама с Евой и как Платон Фаддеич их амебой заменил. И снова хохот. А другие, женщины главным образом, возмущаются. Одна крикнула: «Вон они чему наших детей в училище учат!» А защитник Иероглифова опять на дыбки: «Прошу занести это в протокол для ознакомления попечителя округа с религиозными воззрениями сего наставника и педагога!» Но самый главный номер при допросе Леночки вышел:

— Что можете показать по настоящему делу? — спросил судья.

— Конечно, — говорит, — ничего хорошего сказать про Платона Фаддеича не имею. Вполне, — говорит, — безнравственный человек. Девушка купается, а он на четвереньках, как животное, подползает и уползает. Сама видела...

И тут опять взрыв в камере произошел от хохота, даже стекло у шкафа с книгами вывалилось, всех испугало, а судья внезапный перерыв объявил и скрылся. Хохот кругом, а Леночка стоит с пунцовыми щечками, в глазах — слезки, головка вниз, свои золотые косы ручками щиплет. Умилительное зрелище оскорбленной невинной красоты! Точно на позор выведена. Прямо икону великомученицы пиши и молись! Кончился перерыв, опять для нее пытки начались. Судья очень строго сказал ей:

— Прошу вас, милостивая государыня, рассказывать только то, что относится к настоящему делу, а не все, что болтают посторонние люди!

— Да в настоящем деле Платон Фаддеич и ползал на четвереньках! — со слезой говорит Леночка. Ну, и опять — хохот. А Платон Фаддеич плечами пожимает, головой укоризненно на Леночку качает и только руками разводит. Судья же, видя, что Леночка заплакать может, как с бестолковой девочкой, с ней начинает разговаривать:

— Вы, свидетельница, хотите сказать, что потерпевший был настолько пьян, что не мог ходить на двух ногах, как мы с вами ходим, и потому как бы ползал? Правильно я вас понимаю?

— Неправильно, — говорит Леночка. — Я, — говорит, — пошла искупаться подальше, к леску, где никого не было. Разделась, а в воду лезть не хочется. Ну, стою...

— Ну, стоите. Дальше. Не стесняйтесь, вы присягу дали...

— Если бы я присяги не давала, никогда про эти гадости не стала бы говорить!

— Ну, стоите и... что же?

— Обернулась к лесу и вижу: ползет что-то в кустиках. Подумала сначала, что животное какое-нибудь... домашнее, присмотрелась, — человек...

— Куда он полз?

— К лесу.

— Значит, лица вы не видели? Как же вы можете утверждать, что это был Платон Фаддеич?

— Он подглядывал, а потом уполз, — говорит Леночка и рассказывает про шляпу. А Платон Фаддеич с места кричит:

— Клевета! А еще дочь благочинного!

Леночка перекрестилась и вдруг разрыдалась. Все притихли. Видя простоту и чистоту этой девушки, невозможно было ей не поверить, а потому вся публика прониклася к ней жалостью и полным доверием и в такой же мере почувствовала презрение к невинному в этой истории человеку. Многие женщины точно опасность для себя от Платона Фаддеича почувствовали, хотя, если бы они купались, никто б на них не только ползать, а с разрешения не стал бы глядеть. «Безнравственный негодяй!» — одна из таких прошипела на всю камеру, а Платон Фаддеич вскочил и заявляет:

— Я требую, господин судья, оградить меня от оскорблений во время суда!

А в ответ опять хохот публики. Судья пригрозил публику удалить, и тогда притихли, никому неохота с бесплатного представления уходить. Гляжу на Платона: бледный с зеленью стал, рука трясется, губа нижняя смеется, а левый глаз подмигивает... И в этот момент я угрызение совести почувствовал: ведь не он, а я ползал! А ведь я тоже присягу принял! Леночка не рыдает, но плачет и всхлипывает. Как есть подросточек обиженный. Что же, думаю, так тайным подлецом перед людьми и явным пред господом и останусь? Великая сила в нас богом заложена, совесть эта самая. Понатужился духом и встал:

— Дозвольте, — говорю, — относительно показания Елены Михайловны Боголюбовой срочное заявление внести! Ввиду присяги и долга совести публично заявляю, что не Платон Фаддеич, а я лично на четвереньках тогда ползал и без всякого безнравственного умысла, а совсем напротив!

— Неправда! — вскрикнула Леночка.

Я стал разъяснение давать относительно недоразумения со шляпами, — все хохочут, и чувствую, что никто мне не верит. А Платон Фаддеич платком пот вытирает и произносит:

— Хотя один человек честно показывает!

А адвокат знаменитый: «Позвольте вопрос задать!»

— Свидетельница! — говорит, — а не допускаете вы, что ползали двое, но один уже успел выползти из вашего поля зрения?

И опять вся камера рявкнула от хохота, а судья моментально перерыв объявил и проворно в дверь кабинета! Смотрю на публику и вижу вместо одобрения моему искреннему и честному поведению одну насмешку и враждебность.

— Два сапога — пара! — произносит совершенно нейтрально адвокат — точно вслух обдумывает, и карандашиком постукивает. А обвиняемый Иероглифов сидит именинником, галстучек оправляет и знакомым улыбку посылает в публику. Прямо вся душа возмущается: человека избили, а вместо удовлетворения — один позор и будто судят не господина Иероглифова, а Платона Фаддеича! Да, и я начинаю себя вроде как обвиняемым, а не свидетелем

чувствовать. Вот ведь как выписанный защитник все дело повернул! Вот и выходит, что дорого, да мило. Будто еще и никаких речей не произнес, а уже одними подковырками своими, как ему надо, все шашки расставил. Раздавил, можно сказать, Платона Фаддеича мимоходом, как муравья. Дошла очередь ему свое слово сказать, вот, думаю, всю свою образованность покажет, а он с голосу спал и, вместо того чтобы о своей избитой морде, в чем фундамент его дела, об амебе городит. Публика хохочет, судья говорит, что у нас не лекции по естественным предметам для учащихся, и требует говорить по существу. Платон Фаддеич обиделся и заявил: раз мне затыкают рот, я предпочитаю ничего не говорить. И так взволновался, что взял шляпу и пошел было вон. Бессознательно вышло.

— Потрудитесь остаться! Дело не окончилось.

И всем опять смешно стало. Так поняли, что сам не рад, что дело затеял. Раза два судья примириться сторонам предлагал, — оба головами отмахиваются. Пришла очередь защитнику Иероглифова говорить. В зале, как в церкви — перед причастьем: тишина и вздохи. Встал, пенсне на носу поправил, встряхнул львиной башкой своей и начал говорить. Говорит будто серьезно, а от смеха точно в пчелином улье. Прямо котлетку из Платона Фаддеича сделал. И про Адама с Евой, и про амебу, и про четвереньки, и как только он его не называл: и дарвинистом, и сатиром, и субъектом, а по пути и мне влетело и за удостоверение, и за зуб кучера, и за покаяние в ползании...

— Вы, — говорит, — слышали показание чистой девичьей души и видели чистые девичьи слезы, а с другой стороны — дружескую самоотверженность умудренного житейской пошлостью приятеля; с циничной откровенностью, как о подвиге, признававшегося, что и он тоже ползал для платонического наслаждения девичьей красотою! Надо бога благодарить, что в такой среде каким-то чудом сохранились еще и такие идеалисты и подлинные рыцари, как обвиняемый, благородный человек, бескорыстно выступивший в защиту честной и невинной девушки, за ее доброе имя, на которое, в надежде на безнаказанность, набрасываются ползающие и пресмыкающиеся...

Слушаю я, а с моего лица пот катится: точно тебя плюхами кормит, а настоящего ругательства нет и придраться не к чему. Все слова от нас же, свидетелей, берет, а пово-

рачивает их так, что плюха кому-нибудь получается. Вот что значит специалист своего дела! То же слово, да как и куда его вставить!

Поглядел я на Платона Фаддеича, — точно рак вареный: обе клешни на коленях в полном бессилии и в глазах туман бессознательный. Голову преклонил и не шелохнется. Как обухом прихлопнул его специалист красноречия!

А Иероглифов с улыбочкой по потолку взор свой поводит, и видно, что ему прямо плясать хочется.

Кончилась комедия, дивертисмент остался: судья удалился взвешивать все обстоятельства. Однако не больше десяти минут прошло, как обратно вернулся, и все на ноги вскочили: приговор:

— По высочайшему, дескать, указу и так далее... слушал дело такое-то и постановил: три рубля штрафу!

Все в ладоши захлопали, шапку в охапку и гурьбой — к выходу!

Вот ведь публика: человека избили, опозорили до последней границы, а им все мало. Уходят и говорят полным голосом:

— За такую морду и трех целковых много!

Я в последней партии удалился, а Платон Фаддеич все еще в задумчивости сидел, в самоуглубленности. Постоял я маленько у крыльца: выйдет, думаю, — надо с ним пойти, укрепить несчастного человека в несчастии. Да ведь вот натура человеческая: посовестился вдруг с ним вместе по улицам города идти, махнул рукой и скорехонько домой — обедать! До трех часов проморили, а я утром только стаканчик чайку успел перехватить...

Пришел домой, наелся щей до отвала да спать! Надо быть, от волнения до самого вечера проспал. Я от волнения всегда крепко засыпаю. Ну, проснулся, — стемнело уж. Хотел после чаепития на прогулочку пойти, а на дворе снежная пурга. Думал в клубе побывать, да не решился: стыдно что-то на людей было смотреть. Вот ведь меня мимоходом только специалист красноречия коснулся, а и то какое унижение в душе осталось, а каково теперь, думаю, Платону Фаддеичу?

Так никуда и не пошел. А на другой день, часов так в пять утра, темно еще было, кто-то в ставню стучит. Обругался, конечно: думал, у кого-нибудь зуб заболел (нас ведь публика не жалеет! Полагают, что мы и спать не имеем права, когда у них зубы болят!). Чертыхнулся раза

три, а вставать надо. Запалил лампу, накинул на плечи одеяло, иду отпереть. Отпер и удивился: Машенька! Солдаточка!

— Беги, — говорит, — Христа ради, со мной!

— Что такое? Куда?

Заревела и кричит:

— Удавился он, Платон-то! Что делать-то? Тепленький еще...

— С петли-то сняла?

— Боюсь я! Пойдем ради господа!

Обругал Машеньку дурой, надел на босу ногу валеные сапоги, полушубок на исподнее, побежали. А снегу навалило, — сугробы! Вязнешь. Покуда добежали — труп образовался. Радуйтесь, говорю, люди добрые: победили! А у самого — слезы в глазах и судороги в горле. Снял его, несчастного: поглядеть и страшно и совестно перед самим собой. Припал и заплакал...

Ну, а дальше что рассказывать? Полиция, понятые, протокол, панихида, — все своим порядком, как установлено. Думали — записку какую ни на есть оставил, как обыкновенно. Все ящики в столах, бумаги, в кармашках всяких обыскали, — ничего! Не пожелал с нами, с живыми, никаких разговоров душевных.

Мы с доктором вскрытие производили. Никаких ненормальностей не обнаружили. Я, между прочим, мозгами поинтересовался: все-таки большого ума человек был. И ничего особенного не обнаружил. Я всегда говорил: мозги мозгами, а главное — душа. А ее в мертвом человеке не увидишь. Помимо всего я в высшую справедливость верю... Хотя бы и этот случай. По нашему суду Иероглифов тремя рублями отделался, и дело против него, за смертью истца, было прекращено, а вот господь бог по-своему распорядился: заместо Иероглифова на Амебе-то знаменитый специалист, адвокат, женился и увез ее в Симбирск.

Говорили, что за Амебой тот сто тысяч приданого взял!

Вот тебе и жених! Сперва невесту потерял, а в скором времени и учительское место потерял. Без мундира и без пенсии, как говорится... Уж и потешались же над ним насчет женитьбы! Я думаю, что от этих насмешек он и пить начал. Года два еще в нашем городе проболтался, шлялся по трактирам, кляузы да стихи писал, постоянно купцу Расторгуеву скандалы на улице устраивал. Тот сперва боялся его и все рубликами откупался. А потом терпение

лопнуло, пожаловался губернатору, и выслали этого жениха куда-то. А он однажды летом самовольно вернулся и хлебные лабазы купца Расторгуева поджег. И ведь как удачно для «Саламандры» вышло: страховка в двенадцать ночи кончилась, а в два часа ночи — пожар. Не успел перестраховаться-то... Сам в Сибирь пошел, ну да и купца Расторгуева разорил...

Вот как вышло: люди вознесли, а бог на свое место всех поставил!

ПРИМЕЧАНИЯ

Тексты повестей и рассказов настоящего сборника печатаются по первому изданию семнадцатитомного Собрания сочинений Е. Н. Чирикова, выходившего в «Московском книгоиздательстве» в 1910—1916 гг., за исключением следующих произведений, не вошедших в это Собрание сочинений: «Хлеб везут», «Судьба» и «Городок». В настоящем сборнике повести и рассказы располагаются в порядке их первых публикаций, так как даты написания произведений указываются автором лишь в отдельных случаях и для многих произведений не установлены.

В работе над сборником большую помощь оказали Е. П. Пешкова и дети писателя — В. Е. Ульянищева и Е. Е. Чириков.

«Созрел». 1887 г. Дата указана Е. Н. Чириковым в т. 12 Собрания сочинений, изд. «Московского книгоиздательства».

Место первой публикации неизвестно.

Рассказ входил также в Собрание сочинений, изд. «Знание» (т. 1, СПб. 1901).

«Студенты приехали». 1890 г. Дата указана в т. 2 Собрания сочинений, изд. «Московского книгоиздательства». Впервые опубликовано в 1891 г.: Чириков Е., Студенты приехали! (Очерки уездной жизни), Казань.

Рассказ входил в Собрание сочинений, изд. «Знание» (т. 1, СПб. 1901).

«Gaudeamus igitur» 1893 г. Дата указана в т. 2 Собрания сочинений, изд. «Московского книгоиздательства». Впервые напечатано в журнале «Русское богатство», 1894, № 7.

Рассказ входил также в Собрание сочинений, изд. «Знание» (т. 1, СПб. 1901).

«Хлеб везут». Впервые напечатано в журнале «Новое слово», 1897, № 7, с подзаголовком «В летопись голодного года».

Печатается по книге: Чириков Е. Н., Собрание сочинений, т. 5, изд. «Знание», 1906.

«Инвалиды». Впервые опубликовано в журнале «Новое слово», 1897, № 11—12.

Повесть вызвала большой интерес читателей и резкие замечания критики, особенно народнической. Как вспоминает В. А. Поссе, «из беллетристических произведений, помещенных в «Новом слове», особенно читались и комментировались «Инвалиды» Чирикова. Повесть эта, где народники были выведены идейными инвалидами, задела народнических публицистов сильнее и больнее, чем публицистические статьи Струве и Булгакова» (Поссе В. А., Мой жизненный путь, ЗИФ, М.—Л. 1929, стр. 133). В этой первой редакции повесть была помещена в Собрании сочинений Чирикова, изд. «Знание» (т. 2, СПб. 1903).

При подготовке повести для Собрания сочинений «Московского книгоиздательства» (т. 3) Чириков значительно переработал текст, смягчив основной конфликт повести, — столкновение представителей марксизма и народничества. Он снял резкие характеристики внешнего облика Крюкова и его народнических взглядов и сделал авторское примечание к заглавию, как бы стремясь вывести повесть за границы этого исторически конкретного и острого столкновения.

Приведем несколько характерных примеров авторской правки. После слов: «Крюков взял в руки довольно объемистую тетрадь и углубился в чтение» (стр. 132) — в журнальной редакции шло изложение содержания статьи: «Суть крюковского проекта заключалась в следующем: необходимо устроить особые «трудовые поселки», куда и выселять всех кулаков, как для охраны целомудрия деревни, так и для нравственного исправления их самих. В главе «Что такое наш кулак» автор не жалел мрачных красок. Что-то чудовищно злое и безнравственное вставало перед читателем при чтении этой главы; кулак, по мнению автора, продукт деморализации народа ложной культурою, продукт заразы города, это какой-то «выродок» со злой волей и без всякого сердца, мало похожий даже и на человека... «Чумазый идет!» — заканчивалась статья, и следовал ряд нервных точек...»

Автор снял несколько реплик, в которых отразилось его сочувственное отношение к марксизму. После слов: «Акционерам нужен известный процент на капитал, а все эти «наши обязанности» для них плевка не стоят» (стр. 159) — в первой редакции было:

«— Ты, кажется, марксист? — с иронической улыбкой, насмешливым тоном произнес Крюков.

— Нет, я не марксист... Какой я, к черту, марксист? Либерал, и больше ничего!.. Хотя ты напрасно думал, что можешь обидеть меня

этим званием. Я в нем решительно ничего обидного не вижу... Выстрелил, брат, в воздух... Я только читаю, слежу, в качестве наблюдателя, за этим направлением, интересуюсь им и, скажу тебе откровенно, — нахожу, что это — единственная живая струя на мутном и сером фоне нашей общественной жизни... А я... я что же?.. Либерал, отчасти даже буржуй... Может быть, я им был и раньше, да только теперь оформился окончательно...»

«**Цензор**». Впервые напечатано в журнале «Мир божий», 1899, № 11, под названием «Как это случилось». Рассказ входил в Собрание сочинений, изд. «Знание» (т. 3, СПб. 1903).

Под названием «Цензор» опубликован в Собрании сочинений «Московского книгоиздательства», т. 2.

«**Капитуляция**». Впервые напечатано в «Журнале для всех», 1901, кн. IX—X.

Рассказ входил в Собрание сочинений, изд. «Знание», (т. 5, СПб. 1906) и в Собрание сочинений «Московского книгоиздательства», т. 4.

«**Танино счастье**». Повесть была опубликована в книге: Чириков Е. Н., Очерки и рассказы. Изд. О. Н. Поповой и А. Е. Колпинского, СПб. 1901, кн. 3, и в этом же году вышла отдельным изданием в Харькове, в изд. В. И. Раппа и В. И. Потапова.

«Танино счастье» было напечатано также в Собрании сочинений, изд. «Знание» (т. 3, СПб. 1903) и в Собрании сочинений «Московского книгоиздательства», т. 5.

«**На поруках**». Впервые опубликовано в Сборнике товарищества «Знание» за 1903 г., кн. II (СПб. 1904).

При прохождении сборника через цензуру возникли осложнения: «Евреев» (Юшкевича. — *Е. С.*) не пропускают, «На поруках» Чирикова — тоже. 2-й сборник арестован, в понедельник решается его судьба», — писал А. М. Горький Е. П. Пешковой в начале апреля 1904 г. (Архив А. М. Горького, т. 5. Гослитиздат, М. 1955, стр. 109). Рассказ вошел в сборник с большими цензурными сокращениями: не были напечатаны две последние главы; после слов: «Они со Степаном Никифоровичем были большие приятели» (стр. 289) — сняты рассуждения Ардальона Михайловича о наказаниях политическим арестованным (до слов: «И Ардальон Михайлович рассказывал, что он читал...») и др.

Чириков, узнав о результатах борьбы издателей «Знания» с цензурой, писал 15 апреля 1904 г. К. П. Пятницкому. «Спасибо за отстойку «Евреев» и «На поруках»!.. Спасибо, 1000 раз, дорогой товарищ, спасибо! Я отлично понимаю, каких трудов и какой ловкости потребовалось для сего дела... «На поруках» я не думал, что встретит такой прием. Жаль последних глав, но и без них двух, —

ничего себе: читатель поймет, что другого исхода не может быть» (Архив А. М. Горького).

В Собрание сочинений Е. Н. Чирикова изд. «Знание» (т. 5, СПб. 1906) рассказ вошел без цензурных изъятий и в том же виде был перепечатан в Собрании сочинений «Московского книгоиздательства», т. 7.

«**Коля и Колька**». Впервые напечатано в «Журнале для всех», 1904, № 2.

Рассказ входил в Собрание сочинений Е. Н. Чирикова, изд. «Знание» (т. 6, СПб. 1906) и в Собрание сочинений «Московского книгоиздательства», т. 1.

«**Добрый барин**». Место первой публикации и дата написания неизвестны.

Рассказ не мог быть написан раньше 1904 г., так как в нем упоминается русско-японская война.

Вошел в Собрание сочинений «Московского книгоиздательства», т. 1.

«**Мятежники**». Повесть была опубликована в Собрании сочинений, изд. «Знание» (т. 6, СПб. 1906) и в этом же году вышла отдельным изданием за границей, в Штутгарте. Вошла в Собрание сочинений «Московского книгоиздательства», т. 7.

«**Королевна**». Впервые опубликовано в журнале «Вестник Европы», 1912, № 1. Рассказ вошел в Собрание сочинений «Московского книгоиздательства», т. 12.

«**Судьба**». Впервые опубликовано в газете «Русское слово», 1912, №№ 154, 155, 156 (5, 6, 7 июля).

Рассказ вошел во 2-е изд. т. 12 Собрания сочинений «Московского книгоиздательства».

«**Городок**». Рассказ опубликован в книге: Чириков Е., Вечерний звон. (Повести о любви), Белград, 1932.

СОДЕРЖАНИЕ

Чириков
Евгений Николаевич

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Редактор *Е. Жезлова*
Художественный редактор *С. Данилов*
Технический редактор *С. Розова*
Корректор *Р. Пунга*

Сдано в набор 1/IV 1961 г. Подписано к печати 4/VIII 1961 г. Бумага 84×108 $^{1}/_{32}$ — 16,75 печ. = 27,47 усл. печ. л. 29,5 + 1 вкл. = 29,55 уч.-изд. л. Тираж 60 000 экз. Заказ № 2392. Цена 95 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29.

